



Первая мировая









ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ,
ДОКУМЕНТАХ

ВЕК
XX

Первая мировая

С.Н.Сергеев-Ценский

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Роман



ВОСПОМИНАНИЯ
РЕПОРТАЖИ
ОЧЕРКИ
ДОКУМЕНТЫ

Москва

•МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ•

1989

ББК 84Р7
П 26

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ, ДОКУМЕНТАХ»:**

*Алимжанов А. Т., Бондарев Ю. В., Дервянко А. П.,
Десятерик В. И., Кузнецов Ф. Ф., Кузьмин А. Г., Лихачев Д. С.,
Машовец Н. П., Новиченко Л. Н., Осегров Е. И., Рыбаков Б. А.,
Сахаров А. Н., Севастьянов В. И., Хромов С. С., Юркин В. Ф.*

Составление, предисловие, комментарии
С. Н. СЕМАНОВА

Рецензент
доктор исторических наук
А. Ф. СМИРНОВ

Оформление библиотеки
Ю. БОЯРСКОГО

Иллюстрации
Э. ШАГЕЕВА

**Первая мировая / Сост., предисл., вступ. статьи
П 26 к документам и коммент. С. Н. Семанова. — М.:
Мол. гвардия, 1989. — 608 с., ил. — (История Оте-
чества в романах, повестях, документах. Век XX).**

ISBN 5-235-00324-1 (2-й з-д)

Очередной том библиотеки «История Отечества в романах, повестях, документах» посвящен участию России в первой мировой войне. В него войдут роман С. Сергеева-Ценского «Брусиловский прорыв», документы и воспоминания этого времени.

Книга рассчитана на массового читателя.

П 4702010000—138—125—89
078(02)—89

ББК 84Р7+63.3(2)524

ISBN 5-235-00324-1 (2-й з-д)

© **Издательство
«Молодая
гвардия»,
1989 г.**



ПРЕДИСЛОВИЕ

Произведения на исторические сюжеты всегда были чрезвычайно популярными среди читателей, но особенно на сюжеты военные. Рискнем даже сказать, что они стали самыми популярными среди всех жанров литературной словесности. Вспомним знаменитых «Трех мушкетеров» (как уж там к ним ни относись), а в русской литературе — «Князя Серебряного», «Петра Первого», «Дмитрия Донского»... до романов Д. Балашова включительно.

Ну а как же сочинения уже сугубо исторического характера? И тут спрос велик, и он растет. Множество читателей — образованных и не очень, пожилых и молодых — с наслаждением читают про походы Александра Македонского и Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, Суворова и Кутузова, про оборону Севастополя и Порт-Артура, про морские баталии Нельсона и Ушакова. Читают-то с великой охотой, да вот книг на такие сюжеты в наших издательствах появляется до обидного мало.

В последнее время у нас и во всем мире резко поднимается интерес к литературе документально-исторической. Романы и повести на исторические темы все более уравниваются в восприятии читателей с подлинными мемуарами, дневниками, документальными сборниками, перепиской участников событий и т. п. Характернейший тому пример — многомиллионные издания воспоминаний маршала Г. К. Жукова, хотя написаны они без всякой попытки развлечь читателя, даже несколько суховато. Видимо, человеческое общество делается с годами более зрелым... И хотя читательские запросы и вкусы у нас изучаются пока неважно, можно с уверенностью предположить, что читатель жуковских воспоминаний более культурен, чем почитатель романов про Штирлица.

Настоящий сборник — сугубо военно-исторический. Он посвящен истории первой мировой войны — грандиозной, планетарной военной катастрофы, небывалой до той поры в жизни человечества. В сборнике представлены, пожалуй, все виды исторического жанра: роман, воспоминания, очерки, документы, репортерские зарисовки и пр. Сделаем же несколько предварительных замечаний для читателя.

Ученые хорошо знают, как ужасно порой искажается подлинная история в романах, кинофильмах, живописных полотнах

и театральных представлениях. Особенно резко это заметно в изображении истории военной, в батальных сюжетах и сценах. Скажем сразу: художественные произведения нельзя упрекать за такую неточность — никто не станет изучать войну Алой и Белой розы по пьесам Шекспира, а Бородинскую битву — по роману Льва Толстого. Свои, особые стремления были тут у великих авторов...

В настоящем сборнике художественно-исторический жанр представлен романом С. Н. Сергеева-Ценского. Автор этот, разумеется, до классического уровня не поднялся, но написано произведение опытной рукой профессионального литератора, легко и заинтересованно читается. Обратим внимание также на одну, весьма немаловажную для нашего сборника сторону: Сергеев-Ценский был непосредственным участником войны, окопным офицером, он знал про «батальные сцены» той поры по собственному опыту, что необычайно важно для художника. Вот почему публикуемый в сборнике роман исторически весьма достоверен (отдельные неточности отмечены нами в примечаниях).

Очень дурное влияние на читателей оказывают искажения истории (в данном случае ограничимся историей военной), которые оседают в так называемой научно-популярной литературе, кинофильмах, называемых документальными, учебных пособиях. Тут неправда особенно опасна («это вам не романы»), потому что она невольно искажает саму историческую память. Читателям нашего сборника необходимы наглядные примеры, и мы их приведем.

1242 год, знаменитое всем Ледовое побоище: немцы, как им и положено по кинофильмам, атакуют пресловутым строем «свинья», то есть узкой и глубокой колонной. Изображения этой самой «свиньи», весьма точно расчерченные, имеются не только в любом школьном учебнике — даже в пособиях для военных училищ они есть! Откуда пошло это наваждение, не ясно. Но хорошо известно, что в сражениях до появления моторизованных колонн (то есть до второй мировой) подобного войскового строя не существовало, да и быть не могло: самое страшное для всякого войска — обход, окружение, а именно на такую судьбу обрекала себя несчастная «свинья», буде она существовала в природе. Рыцарская конница всегда наступала строем, растянутым по фронту, впереди тяжелые всадники, позади легкие и вспомогательные. В знаменитом многотомном исследовании Х. Г. Дельбрюка, ставшего военно-исторической классикой для всего света, нет даже упоминания о так называемой «свинье»...

И еще для полноты картины, совсем кратко. Многократно повторялось с древних времен до наших дней, что под стягом Дмитрия Донского на Куликовом поле собралось до 150 ты-

сяч воинов (так писали даже в энциклопедиях). Число это легендарное, ибо при тогдашних средствах связи управлять такой армией было невозможно, как нельзя было в ту эпоху запасти столько продовольствия и фуража. Историк А. Н. Кирпичников, изучив все возможные источники, доказал, что в битве с ордынскими полчищами участвовало 40—45 тысяч, но его точные выкладки все еще не торопятся признавать...

Конечно, о новой и новейшей истории, лучше обеспеченной достоверной информацией, таких грубых толкований немного, но и тут ошибок хватает, особенно для тех, кто ищет исторической истины в кинофильмах.

Со дня окончания первой мировой войны только что миновало семьдесят лет. Срок для исторической памяти ничтожный, да и сколько крупнейших событий и драм разыгралось на земном шаре с ноября 1918 года! И каких событий: Октябрьская революция, вторая мировая война, появление губительного ядерного оружия, раскол мира на два лагеря, да сколько их еще случилось, этих драматических событий, потрясавших континенты, страны и народы! Казалось бы, изучение первой мировой войны можно отложить на более поздние времена, не делая особой разницы между ней и войнами Столетними или Тридцатилетними?

Оказывается, нет. Первая мировая война напряженно изучалась и изучается историками многих стран, и интерес к этой теме не ослабевает. Не станем здесь касаться развития данной темы на Западе, скажем лишь, что научная разработка вопроса осуществлена там на весьма высоком уровне, особенно в странах — главных участницах войны. Разумеется, сделано это в соответствующем идеологическом ключе, а также не без пристрастий в каждую отдельную сторону, но факт есть факт: количество работ на самые разнообразные темы весьма значительно, как научных, так и популярных, с привлечением множества разнообразных источников. Немало сделано и в нашей историографии, но о том речь пойдет далее.

Долгий и многообразный интерес этот отнюдь не случаен. Мало ли было в истории человечества разного рода войн, битв, опустошительных нашествий и героического отпора захватчикам? Но та самая война, именуемая первой, — после бесчисленного множества предшествующих — была все же особой.

Во-первых, она была действительно мировой, то есть впервые охватила так или иначе пространство всего земного шара. Конечно, главные боевые действия велись в Европе и на относительно небольшом пространстве Азии, точнее — в Передней Азии. Но, кроме того, война, причем небывало кровавая и ожесточенная, велась на всех морях и океанах, включая Северный Ледовитый. В военные действия были вовлечены многочисленные

армии различных стран Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Такого примера взаимного истребления не наблюдалось еще никогда — ни по численности воюющих, ни по размаху боевых действий, ни по числу потерь.

Невиданная до тех пор массовая и изощренная жестокость и гекатомбы жертв — вот другая особенность первой мировой войны. Причем разразилась она после относительно благоправных войн XVIII и XIX столетий. Да, тогда тоже случались кровопролитные битвы и отдельные жестокости (примерами такого рода изобилуют, например, действия Наполеона), но все-таки сохранили свою силу и традиции рыцарского благородства и воинского великодушия. С августа 1914 года совершенно неожиданно для народов в обнаженной сущности выступил на авансцену империализм, взращенный в недрах банкирско-гешефтмахерского благополучия. В кровавой бойне отныне были попорчены все законы морали и нравственности, в том числе воинской. Людей травлили газам, втихомолку подкравшись, топили суда и корабли из-под воды, топили и сами подводные лодки, а их экипажи, закупоренные в отсеках, живыми проваливались в морские бездны, людей убивали с воздуха и в воздухе, появились бронированные машины — танки, и тысячи людей были раздавлены их стальными гусеницами, словно люди эти и сами были не людьми, а гусеницами. Такого, да еще в массовом масштабе, не происходило в любых прежних войнах, даже самых истребительных.

Третья особенность первой мировой войны лежит уже в области духовной, и это, пожалуй, самое мрачное ее порождение. Теперь-то доподлинно известно, что породила войну мировая плутократия в сугубо своекорыстных интересах. Разные группировки плутократов поссорились меж собой — не все ведь и не всегда удается решать в тиши кабинетов или уединенных лож для избранных... Разумеется, нужды народа, любых его слоев, для данной сверхнациональной силы не имели никакого значения, просто-напросто не существовали. Но ведь сражаться и умирать за интересы различных групп врагов-друзей должно все же собственное «быдло», одетое в солдатские шинели. На дворе стоял как-никак двадцатый век, появились уже профсоюзы и другие сообщества трудящихся, независимая печать, всякое прочее. Простым указом о мобилизации в этих условиях было уже не обойтись.

Никогда, пожалуй, за всю историю мировых злодейств не расцветала так открыто и так нагло социальная демагогия, как в начале первой мировой войны. Все средства тогдашней пропаганды истошно заголосили вдруг о родине, свободе, защите отечества, о миролюбии и гуманности. Упрощенно было бы судить, будто все тут делалось по команде или из корысти. Духовная

трагедия той эпохи как раз и состоит в том, что множество людей искренне поверили интригам плутократии и пошли за ней даже как бы по своей воле. Осенью 1914-го большинство немцев, русских, французов и англичан были твердо убеждены в том, что именно на их страну напал враг, что их страна — невинная жертва агрессии. Увы, очень скоро выяснилось, что «жертв» почти не было, налицо существовал только лишь гнусный заговор темных сил. Вот почему первая мировая война породила после своего окончания в западном обществе неслыханное разочарование и безверие. Характерно, что такое настроение в равной степени коснулось и «победивших» англичан и французов, и «пораженных» немцев. Возникло даже целое течение в тогдашнем искусстве — литература «потерянного поколения», произведения которой, порой очень талантливые, проникнуты глубочайшим пессимизмом, отравлявшим души народов.

Духовное опустошение народа, в особенности его образованного сословия, — одно из самых тяжких наследий, порожденных той бессмысленной бойней. Именно этот-то упадок народного духа, неверие в идеалы справедливости и добра — именно это в существенной степени и позволило фашизму, а также другим сходным идеологическим течениям увлечь за собой немалую часть народа и на какое-то время восторжествовать. В этом смысле первая мировая являлась непосредственным прологом ко второй мировой, со всеми ужасающими итогами последней.

Как видно, первая мировая война, ее происхождение, ход и общественные результаты достойны внимательного изучения.

Уже упоминалось, что на Западе создана солидная литература на данную тему. Остановимся только на одном сюжете. Почти все крупные деятели той поры, военные и политические, оставили свои воспоминания, причем вышли они, как правило, вскоре после описываемых событий. Назовем лишь тех (не всех, конечно), чьи произведения переведены и изданы у нас и имеются в любой солидной библиотеке.

Немцы: император Вильгельм II, крупнейшие военачальники П. Гинденбург, Э. Лютендорф, Э. Фалькенгайм, гросс-адмирал А. Тирпиц, германский посол в Петербурге Г. Пурталес, один из руководителей Германии при заключении Брестского мира в 1918 году, генерал М. Гофман.

Французы: президент республики Р. Пуанкаре, верховный главнокомандующий войсками Антанты маршал Ф. Фош, посол Франции в Петербурге-Петрограде М. Палеолог.

Англичане: премьер-министр Д. Ллойд Джордж, военный министр У. Черчилль, посол в Петербурге-Петрограде Д. Бьюкенен.

Сюда можно было бы добавить американцев, австрийцев, сербов, бельгийцев, итальянцев и многих иных, но ограничимся на-

званным. И заметим: почти все эти издания появились в нашей стране вскоре после их выхода на родине. Похвальная быстрота!

Ну а как обстоит дело с корпусом воспоминаний участников войны на русской стороне? К сожалению, неважно. Из видных деятелей были изданы в двадцатых годах мемуары верховного главнокомандующего А. Брусилова (отрывок из них публикуется), бывшего военного министра в 1909—1915 годах В. Сухомлинова и его недолгого преемника на этом посту А. Поливанова, а также посла в Париже А. Извольского. Ну а другие видные военные и политические деятели России той поры, где же они? Увы, мало интересовало это советские издательства двадцатых годов. Сколько пропало воспоминаний, дневников, фотографий, писем! Даже в архивы не попадали, а какая это была бы ценность для сегодняшней науки! И хуже всего, пожалуй, то, что безвозвратно погибли записки рядовых участников войны — солдат и младших офицеров. Невосполнимая потеря для русской военной истории...

Множество воспоминаний на данную тему были написаны и изданы в эмиграции. В 20—40-х годах, да и позже, у нас решали просто: эмигрант — значит враг, как можно его публиковать?! Да, конечно, среди мемуаристов было немало таких, как генералы А. Деникин и П. Врангель, накал страстей еще не прошел, эти и подобные имена стали плакатно-символическими, как образ мирового зла. Но множество других?.. Тех поручиков и подполковников, которые были частью российского демократического офицерства, подлинными наследниками суворовских традиций? А о них упрощенно судили так же: враги... Так и не попали в наши библиотеки, хоть бы и за семь печатей, скромные те работы. А потом в вихре бурного двадцатого столетия затерялись по западным архивам и библиотекам, частным собраниям, да и сохранились ли вообще до наших дней?..

Любопытно и достойно признательности, что за рубежом мемуарная литература о первой мировой войне продолжала публиковаться, пусть о скромных сюжетах и малыми тиражами, до недавнего времени. В пятидесятых, шестидесятых и вплоть до семидесятых в Брюсселе выходил на русском языке небольшой журнал «Военная быль» — раз в два месяца на скромной бумаге, с редкими, но обычно интересными иллюстрациями. Тираж его был, видимо, столь же ничтожен, как и цена. Почти все полосы издания предоставлялись ветеранам первой мировой войны, по разным причинам оказавшимся вне родины, на всех континентах. Трогательно было читать «воспоминания б. корнета Сумского гусарского полка» об атаке против баварской кавалерии... о действиях 14-й гаубичной батареи при осаде Перемышля... о работах подразделения саперов 8-й армии под Луцком, написан-

ные б. штабс-капитаном таким-то... Что ж, когда-нибудь и такие неприятельные воспоминания войдут в оборот наших исследований.

Изучение истории первой мировой войны прошло довольно сложный путь, о чем необходимо кратко рассказать. Поначалу все шло достаточно хорошо. Уже в ходе гражданской войны, в условиях величайшей разрухи, началось издание семитомного труда «Стратегический очерк войны 1914—1918», который был закончен в 1923-м. То была выдающаяся публикация, выполненная в основном бывшими русскими генштабистами, она состояла из оперативных документов, непосредственно извлеченных из армейского делопроизводства. В двадцатых годах появились и другие важнейшие публикации документов. В те же годы вышло в свет немало исследований по отдельным операциям и сражениям на русском фронте (только два примера: Вацетис И. И. Операции на восточной границе Германии в 1914 г.; Белой А. Галицийская битва). Уже в 1925 году появилась обобщающая работа по истории мировой войны, написанная виднейшим нашим военным историком А. М. Зайончковским. Наконец, множество интересных исследований появилось в тогдашней военной печати, в журналах «Война и мир», «Военный вестник», «Труды военно-исторической комиссии», «Морской сборник», «Военный зарубежник» и др. Скажем в заключение, что большинство данных работ не потеряли своей научной ценности и по сию пору.

Однако общий размах исследований был куда меньше, чем можно было ожидать от наших превосходных тогда военных историков. Причины тут кроются в общем неблагоприятном положении и тогдашней исторической науки. Виднейшие идеологи 20-х годов Н. Бухарин, Г. Зиновьев, Л. Троцкий и другие придерживались открыто русофобских взглядов в оценке истории и культуры нашей родины. К сожалению, их взгляды оказали сильное влияние на молодое советское общество, хотя и находились в вопиющем противоречии с ленинскими сценками на этот счет.

Определенную дань русофобии отдал, нельзя не признать, крупнейший историк того времени М. Н. Покровский. Ученик В. О. Ключевского, талантливый ученый и публицист, он сделал немало для становления советской исторической науки, но его общие оценки российской истории в двадцатых годах были не только ошибочными, но и вредными. Покровский написал несколько работ по истории первой мировой войны. В них содержатся ценные материалы и интересные суждения, однако главные выводы делались Покровским не из объективного анализа, а из предвзятых суждений. Не видя в российской истории ничего светлого, он и войну оценивал в этом же примитивном клю-

че. Он провозгласил, что «виновником войны» была Россия (см. итоговый сборник его трудов «Империалистическая война». М., 1928).

В ту пору Покровский являлся фактически руководителем советской исторической науки. Его выводы разносились по всей стране во множестве статей и брошюр его бесчисленными «учениками» (когда карьера «учителя» в конце его жизни поколебалась, они же стали его поносить громче всех...). В этих условиях издавать объективные работы по истории мировой войны было не только трудно, но и чревато последствиями. В конце 20-х годов виднейший ученый академик Е. В. Тарле высказал верную мысль (в полном, кстати, соответствии с Лениным): германский блок и Антанта равно виноваты в развязывании войны. Какой гвалт разразился! Тогдашний ученик Покровского Рубинштейн печатно обвинил почтенного академика в «ярой защите англо-французского империализма». Страшное обвинение по тем временам; заниматься данной темой всерьез стало действительно опасно.

Но времена менялись. К середине 30-х стало очевидно, что на западных и на дальневосточных границах родины сгущается грозная военная опасность. От тех врагов милости ожидать не приходилось, выбор оставался один: готовить страну к суровой обороне. И тогда вспомнили о Ледовом побоище и обороне Севастополя, про героев Бородина и Порт-Артура. Однако имелся и другой боевой опыт, сравнительно недавний, сопоставимый с современностью, а потому особенно ценный — наследие минувшей мировой войны. Насущные жизненные задачи, как обычно, подправили умозрительные теории, даже самые грозно-решительные из них...

С середины 30-х и вплоть до июня 41-го вышел целый ряд первоклассных, объективных исследований по истории первой мировой войны. Изучались, и углубленно, все театры военных действий и опыт всех стран-участниц, но особенно опыт русской армии. Рассматривались отдельные операции и сражения, действия различных родов войск и видов оружия, война на море и в воздухе. Добротных книг появилось много, но итоговой, обобщающей работой, вобравшей в себя основные достижения той поры, стала трехтомная монография Зайончковского, вышедшая последним изданием в 1938—1939 годах. Там значительно углублялся и расширялся фактический материал и выводы прежних работ того же автора. Нет сомнений, что тогдашняя военно-историческая литература по истории первой мировой войны выполнила не только свою научную задачу — объективный показ прошлого, но и огромную задачу гражданскую: готовила народ к грядущим испытаниям. Опыт первой мировой, освоенный труда-

ми наших историков, тщательно изучался в военных училищах накануне и уже в ходе Великой Отечественной.

Сразу после войны и в 50-х годах достижения в развитии данной темы оказались невелики, сказались общие неблагоприятные условия для развития гуманитарных наук той поры. Однако уже в шестидесятые годы появился новый цикл серьезных исторических работ. Отчасти толчком послужило тут 50-летие первой мировой войны, но главным, конечно, стало улучшение всей научно-издательской работы в стране. Среди прочих отметим солидные исследования Д. Вержховского и В. Ляхова, которые как бы подвели итог всей деятельности того периода в историографии.

С тех пор и в течение всех семидесятых началась серьезная полемика со многими историками Запада (а также некоторыми последователями крикливых публицистов времен Покровского) о роли и значении русского фронта в общем ходе той войны. Вопрос в высшей степени серьезен. Недооценка военного опыта России и ее военачальников издавна стала общим местом для определенных западных авторов. Первая мировая не исключение.

Еще в 1914 году печать всего мира, в том числе, к сожалению, и немалая часть российской, до небес превозносила победу немцев в Восточной Пруссии в августе 14-го, хотя то был чисто тактический успех, купленный к тому же дорогой ценой. В то же самое время в грандиозной по размаху Галицийской битве русская армия učinяла стратегического значения разгром австро-венгерским войскам. От этого поражения сильнейший союзник Германии, по существу, не смог оправиться до самого конца войны. События были несравнимы по своему значению, но долгие годы и десятилетия наше общество получало необъективную их оценку. К сожалению, так бывало и у нас на родине, где русофобские настроения начала 20-х годов время от времени проявлялись в различных формах, прикрытых или не очень.

В обобщающих трудах и монографиях семидесятых годов наши историки объективно и всесторонне описали роль и значение русского фронта в ходе первой мировой войны. Сделалось очевидным, что именно на русском фронте (Восточном по наименованию противника) сосредоточены были основные силы Австро-Венгрии и Турции, а также существенная часть германских военных и морских сил. Наступательные действия русских войск в августе — сентябре 14-го года спасли Францию от разгрома, упорная оборона в 15-м против основных сил германо-австрийского блока позволила англо-французам сберечь силы и накопить средства для будущих операций, наконец, Брусиловский прорыв летом 16-го облегчил критическое положение Италии. Это далеко не все, хотя и важнейшие обстоятельства данной темы. В ито-

ге деятельности отечественных историков очень много вопросы прояснились, и западные коллеги (из числа, разумеется, добросовестных) поспешили сделать исправления на этот счет в своих новейших трудах.

Углубилось и понимание внутривнутриполитической обстановки в тогдашней России, скукоживались газетно-пропагандистские легенды прошлых лет, вошедшие порой даже в учебные пособия. Выяснилось, например, что императрица Александра Федоровна не была «немецкой шпионкой» и не помогала Германии (см. исследования историка В. С. Дякина). Установлено, что верхи российской буржуазии вели упорную пораженческую линию в своих узкокорыстных интересах и, опираясь на сеть тайных лож, стремились к захвату государственной власти (см. труды Н. Н. Яковлева и В. И. Старцева).

Отчетливее выяснились достижения русской военно-теоретической мысли, а также в области техники (последнее особенно долго «не замечалось», даже у нас...). Оказалось, что идеи русских авиаторов, кораблестроителей и первых танкистов нередко опережали свое время, своих тогдашних союзников и противников. Шире и глубже осмыслялось революционное движение в русской армии, а с 1917—1918-го — братание на империалистическом фронте, что имело громадные политические и исторические последствия.

Первая мировая война — ключевая тема XX столетия, интерес к ней не ослабевает. Более того. Сейчас, на исходе века, становится все более очевидным, что насилие, в том числе и военное, как лучшее средство разрешения общественных вопросов уходит в прошлое (будем надеяться, что так!). В это время особенно полезно задуматься над тем, как пытались в 14-м году перекроить мир насильственными средствами и что из этого вышло. Бессмысленная бойня первой мировой войны — одна из самых, кажется, впечатляющих картин для осмысления подобного вопроса.

В настоящий сборник включен ряд подлинных и достоверных материалов — капля из великого их множества. Отобранное представляет собой, на наш взгляд, не только интересное по сюжету и содержанию, но и типичное по оценкам и подбору фактов, по стилю, отражающему дух времени. Читатель получит объективную возможность увидеть реальные события, рассказанные реальными людьми, понять, кем были и что чувствовали люди той эпохи.

Два слова о некоторых материалах сборника. Воспоминания великого русского полководца Алексея Алексеевича Брусилова были впервые опубликованы вскоре после его кончины по завещанной им рукописи в 1929 году. С тех пор они переиздавались

еще пять раз (последний уже в 1985-м). Книга того безусловно заслуживает, но вот незадача: во всех тех пяти изданиях сделаны большие выброски из первоначально опубликованного текста, причем сделаны они, как водится, тайно, без оговорок и отточий. Например, одобрителыные слова Ерусилова о боевой мощи и выучке германской армии были кем-то сочтены «непатриотичными», хотя свой высокий патриотизм русский генерал доказал среди прочего и тем, что был великодушен к бывшему противнику, отдавая должное его качествам. Мы убеждены, что полный текст тех достойнейших мемуаров вскоре будет опубликован, а пока мы воспроизводим отрывок по изданию 1929 года.

Михаил Лемке (1872—1923) был уже до революции известным журналистом, издателем и комментатором сочинений Добролюбова, Герцена, Стасюлевича и др. С сентября 1915-го до июля 1916-го он был прикомандирован к Ставке, находившейся тогда в Могилеве. Тогда верховным главнокомандующим был Николай II, а начальником штаба генерал М. В. Алексеев. Записки Лемке представляют большой интерес, полны любопытных наблюдений и подробностей, но следует иметь в виду, что от освещения некоторых вопросов он уклонился. Среди генштабистов Ставки скопилось немалое число членов масонских лож, они вели свою игру, пока точно не выясненную. Генерал Алексеев, выходец из простой семьи, талантливый военачальник и патриот, был, по достоверным сведениям историка В. И. Старцева, тоже втянут в ложу и, увы, принимал участие в некоторых интригах. По-видимому, позже он осознал, что играл чужую роль. После Февраля Гучков, Керенский и иные назначили его главноверхом, но сотрудничества меж ними не получилось. Алексеев вышел в отставку, а затем стал одним из основателей Добровольческой армии, но вскоре умер. Писатель Георгий Георгиевич Степанов — кубанский старожил и знаток истории гражданской войны на Северном Кавказе, недавно скончавшийся, рассказывал, что подростком, в 1918-м, в кафедральном соборе Екатеринодара, он часто видел генерала Алексева, который истово молился в самом дальнем приделе и плакал; кубанские казаки, почитавшие старого генерала, шептались: за грехи против присяги кается...

Чрезвычайно интересны воспоминания Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича (1870—1956), выпускника, а затем преподавателя Академии генштаба. Командующий фронтом в 17-м году, он был среди первых генералов, перешедших на службу Советской власти, и позже стал видным военачальником (любопытно: он был генерал-лейтенант русской армии, а с 1944-го сделался генералом Советской Армии). Он был родным братом широко известного Владимира Дмитриевича — давнего соратника Ленина, управляющего делами Совнаркома с 1917 по 1920 год. Воспо-

минания М. Д. Бонч-Бруевича написаны исключительно интересно, содержат многие сведения, которые в других источниках не содержатся.

И в заключение сделаем для читателей, которые заинтересуются данной темой, ссылку на последнюю научную работу, где приведена вся основная библиография по данной теме: Ростунов И. И. Первая мировая война. М., 1977. Там читатель найдет многие отсылки на литературу, старую и новую, где подробно освещается тема настоящего сборника.

В конце книги помещены комментарии составителя ко всем опубликованным материалам, в тексте комментируемые места отмечены звездочками. В то же время, читая книгу, вы встретите и подстрочные примечания, отмеченные арабскими цифрами. Это или ссылки на исторические источники, или уточнения, принадлежащие перу самих авторов, или же разъяснения редакции.

С. Н. СЕМАНОВ

С.Н.Сергеев-Ценский
БРУСИЛОВСКИЙ
ПРОРЫВ

Роман





Экстренный поезд, в котором ехал Брусилов, направлялся не в ставку верховного главнокомандующего, то есть царя, а в Бердичев, где была ставка главкоюза генерал-адъютанта Иванова *. Положение создалось такое, что Брусилов хотя и назначен был на место Иванова, но тот не сдавал ему фронта около двух недель.

Крестный отец маленького наследника, великого князя Алексея, имел слишком сильную руку при дворе в лице императрицы Александры Федоровны и старого наперсника царя — министра императорского двора, графа Фредерикса *. Шли интриги. Иванова обнадеживали, что приказ царя о его смещении еще не окончательный, что он вырван у слабовольного главковерха настояниями союзников, но совершенно нежелателен «святому старцу» — Распутину. Привыкший менять по своему капризу министров, создавший «министерскую чехарду» в России, «старец» полагал, что то же самое можно делать и с главнокомандующими, тем более с такими, которые проявляли строптивый воинственный дух, когда он плел уже закулисную паутину сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Иванов был вполне хорош для этих целей, — он считал войну безнадежно проигранной, — Брусилов же мог повести себя совершенно нежелательно: при дворе известно было, что восьмая армия, которой командовал перед новым назначением Брусилов, считалась на фронте наиболее боеспособной.

О Куропаткине, главнокомандующем Северо-западным фронтом, не могло быть двух мнений: он полностью проявил себя в Маньчжурии, поэтому ни императрицу, ни Распутину не беспокоил и теперь. Генерал Эверт *, главнокомандующий Западным фронтом, был тоже испытан как в Маньчжурии, так и теперь. Наступление, ко-

торое он провел на своем фронте в первой половине марта, обошлось в девяносто тысяч человек и не дало никаких результатов. Много погибло от весенней распутицы, так как фронт обратился в сплошное болото, разливавшееся днем и замерзавшее ночью. По обыкновению не хватало ни снарядов, ни сколько-нибудь способных генералов, чтобы наступать на сильно укрепленные позиции немцев.

В то же время никаких попыток к наступлению не делали ни немцы, ни австрийцы: первые увязли под Верденом, где перемалывали французские дивизии, но несли и сами огромные потери, вторые — на итальянском фронте, в Тироле, где дела их были весьма успешны. Момент для заключения сепаратного мира казался там, во дворце в Петербурге, наиболее благоприятным, но Румыния, которая считалась лестной союзницей, если бы решила наконец присоединиться к Антанте, вела себя выжидательно: покупала в России тысячи лошадей для своей кавалерии, продавала Германии миллионы тонн кукурузы для ее скота, о чем немецкие газеты писали как о крупнейшей победе.

Нужен был шумный разворот сил, нужен был блеск и гром наступления, и об этом-то наступлении, необходимом и для Франции, и для Италии, и для Румынии, усиленно думал начальник штаба верховного командующего, генерал Алексеев *, человек большой трудоспособности и совсем не царедворец.

Им был уже подготовлен обширный доклад, которым нужно было начать совещание главнокомандующих в ставке под председательством царя, и подходил уже день, назначенный для этого совещания, — 1 апреля, — между тем Брусилов еще не принял фронта.

Столкнулись две русские власти того времени — царя и Распутина *. Царь через Алексеева требовал, чтобы Брусилов как можно скорее приехал в Бердичев принять должность генерала Иванова, а министр императорского двора Фредерикс сообщил Иванову, что ему пока нечего спешить сдавать должность и уезжать из Бердичева, почему Иванов и отклонял всячески приезд Бруслова.

Только категорическая телеграмма Алексеева, что царь 25 марта будет в Каменец-Подольске, где его должен встретить новый главнокомандующий Юго-западным фронтом, заставила Бруслова поверить наконец, что его назначение остается в силе, и выехать в Берди-

чев, тем более что от Иванова тоже была получена телеграмма, что он его ждет.

Генерал Иванов был главнокомандующим Юго-западным фронтом с начала войны, и Брусилов, командуя одной из четырех армий этого фронта, являлся его подчиненным. Теперь обстоятельства очень резко изменились: бывший подчиненный как бы сталкивал с места начальника.

Неудобство своего нового положения Брусилов чувствовал очень остро. Он знал, насколько был самоуверен, глубоко убежден в своих достоинствах, в своей незаменимости Иванов, и представлял поэтому с возможной яркостью, как тяжело он переживает свое назначение в Государственный совет, то есть на покой.

Однако казалось, что он не в состоянии был даже приблизительно представить, как состарила этого бравого еще на вид старика отставка, хотя и одобренная «всеми-любезнейшим рескриптом» с собственноручной надписью «Николай».

Иванов жил не в городе, а в поезде, в своем вагоне. Вечером, в день приезда Брусилова, он принял своего заместителя один на один в купе, освещенном только настольной лампочкой под желтым шелковым абажуром.

Первое, что бросилось в глаза Брусилову в этом осаптом бородатом старике с простонародным лицом, — были слезы. От желтизны абажура они блестели, как жидкое золото. Первое, что он услышал от него, были два сдавленных слова: «За что?»

Так мог бы сказать в семейной сцене кто-либо из супругов и скорее жена, чем муж; так мог бы сказать друг своему старому другу, уличив его в гнусном предательстве, угрожающем смертью; так мог бы сказать, наконец, отец своему любимому сыну, на которого он затратил все свои средства и силы и который сознательно подло его опозорил.

Но между двумя главнокомандующими — старым и новым — никогда не было никаких отношений, кроме чисто служебных, и они очень редко виделись за время войны и только за год до войны познакомились друг с другом.

— Что «за что»? — озадаченно спросил Брусилов, сам понимая всю нелепость этого своего вопроса, но в то же время не подыскав другого.

Он пытался понять это «за что?», как «за что вы под меня подкопались и меня свалили?», но тут же отказал-

ся от подобной догадки: Иванову было, конечно, известно, что его подчиненный никогда не был в ставке, и ни доносами, ни искательством не занимался. Да и сам Иванов, который был и выше ростом и плотнее Брусилова, положил обе руки на его плечи и приблизил свою мокрую бороду к его лицу, как бы затем, чтобы у него найти сочувствие, если не защиту.

Впрочем, он тут же сел, обессиленный, и... зарыдал,— зарыдал самозабвенно, весь содрогаясь при этом, как будто его заместитель только затем и спешил сюда с фронта, чтобы увидеть его рыдающим, как может рыдать только ребенок, как полагается рыдать над телом близкого человека.

Брусиллов с минуту стоял изумленный, потом тоже сел, но не рядом с рыдальцем, а напротив, пряча глаза в тень от режущего их сквозь желтый абажур света.

— И вот... и вот итог... всей моей службы... на слом! — бормотал, затихая, Иванов.

— Почему «на слом», Николай Иудович? — принялся утешать его Брусиллов. — Мне сказали, что вас назначили не в Государственный совет, а состоять при особе государя.

— Состоять... в качестве кого?.. Бездельника?.. Как Воейков? — опустив лобастую голову на руку, лежавшую на столе, хрипловато спрашивал Иванов.

Брусиллов знал, что дворцовый комендант генерал Воейков, обыкновенно сопровождавший царя во всех его поездках, действительно бездельник, и если когда-то раньше он мог развлекать Николая анекдотами, то теперь в этом смысле окончательно выдохся и занят только рекламой какой-то, якобы целебной, минеральной воды, найденной в его имении «Кувака», почему один остроумный депутат Государственной думы назвал его «генералом-от-кувакерии». Но в то же время Брусиллову был совершенно непонятен такой припадок слабости в недавнем еще руководителе нескольких сот тысяч человек на фронте, а кроме того, генерал-губернаторе двух военных округов — Киевского и Одесского, в которые входило ни мало ни много как двенадцать губерний; поэтому он сказал:

— По-видимому, причиной перемены вашего служебного положения, Николай Иудович, послужили ваши жалобы на усталость.

— Жалобы на усталость? Только это? — возразил, подняв голову, Иванов. — А вы разве не устали почти

за два года войны?.. Кому из нас не хотелось бы отдохнуть, а, скажите?.. Однако отдых — это... это только временный отпуск... а совсем не отставка!

Он достал платок, как-то очень крепко надавил им, скомканным, на один глаз и на другой, провел по щекам, полузаросшим бородою, по бороде и ждал, что скажет Брусилов, ждал с видимым интересом и даже нетерпеливо.

— Если не эти ваши жалобы причина, то я теряюсь в догадках, — сказал наконец вполне искренне Брусилов, но Иванов подхватил живо и даже зло:

— Теряетесь в догадках?.. А разгадка очень простая!.. Разгадка эта — ваше поведение, Алексей Алексеевич!

— Мое поведение? — удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. — В каком же смысле я должен это понять?.. Я против вас никому не говорил ни слова.

— Нет, именно против меня... говорили! — тихо, но упрямо сказал Иванов.

— Когда же, кому и что именно? — еще больше удивился Брусилов.

— Разве вы не говорили, что можете наступать?

— Ах, вот что-о! — протянул облегченно Брусилов и сел на диване плотно. — Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю.

— Может быть... Все возможно... Может быть, вы были уверены в своей восьмой армии. А в седьмой? А в девятой? А в одиннадцатой?.. Ведь у меня перед глазами был весь фронт, а не одна ваша армия! Весь фронт... как теперь вот он будет перед вами. Генерал Лечицкий болен крупозным воспалением легких, — едва ли выживет, — с кем же будет вести наступление его девятая армия?

— Я по приезде сюда узнал уже, что болен Лечицкий, — ответил Брусилов. — Очень огорчен этим, конечно, но думаю, что временно его мог бы заменить генерал Крымов*.

— Крымов?.. Он ведь моложе по производству другого корпусного командира в той же девятой армии! — возразил с живейшим интересом к этому вопросу Иванов, так что Брусилов даже слегка улыбнулся, когда сказал на это:

— Совершенно не важно, кто из них старше, кто моложе!

Улыбка была слабая, еле заметная, но Иванов был ею

уколот в больное место, и в тоне его появилась горячность, когда он заговорил, теперь уже более плавно:

— Нет, как хотите, а наступать мы все-таки не можем! Живое доказательство этому — наступление Западного фронта, которое провалилось. А кто же, как не я, предсказывал этот провал? Я говорил об этом Алексееву, я предостерегал от этого шага его величество! Однако меня не послушали, и вот — поплатились за это жестоко!.. Так что же вы, Алексей Алексеевич, хотите повторить неудачу генерала Эверта?

— Напротив, Николай Иудович, совершенно напротив. Я уверен в полной удаче! — всячески стараясь сдерживаться, не слишком тревожить так тяжело раненного отставкой и в то же время не противоречить и себе самому, ответил Брусиллов, но этой уверенностью только разбередил рану.

Трудно было и представить, конечно, чтобы так в корне не согласны между собой были два главнокомандующих — старый и новый, казалось бы, одинаково хорошо знавшие свой фронт. Но Иванов говорил, признавая только за собой знание всего фронта:

— Вы уверены в удаче, но какие же основания для этого имеете, — вот вопрос!.. Вы получаете девятую армию — и что же? Лечицкий безнадежно болен, а Крымов... ошибетесь вы в Крымове, ошибетесь, я вас предупреждаю!.. Нет у нас генералов!.. Вы получаете седьмую армию во главе с генералом Щербачевым *, а что такое оказался этот Щербачев? Были и у меня на него надежды, когда он прибыл ко мне на фронт... Вот, думал я, не кто-нибудь, а сам начальник генерального штаба, и не из старых теоретиков, а из молодых, из протестантов против рутины, — заставил ведь опыт японской кампании изучать, а не поход Аннибала на Рим... Мне, участнику японской кампании, это говорило, конечно, много... Молодой еще сравнительно с другими, не ожиревший, а скорее даже к чахотке склонный, и государь к нему был так расположен, и все прочее, — а что же вышло на деле, а? Что вышло из его наступления, я вас спрашиваю?

— Вышел конфуз, разумеется, но я думаю, что он зато приобрел опыт, — спокойно сказал Брусиллов, тщательно взвешивая слова. — Как теоретик, он, конечно, сильнее очень многих, но вот опыта в современном ведении боя ему не хватило. Этот пробел его теперь, я полагаю, заполнен.

Говоря это, Брусиллов представлял и высокого, дейст-

вительно плохо упитанного Щербачева, присланного из Петербурга командовать сразу целой армией «особого назначения», названной потом седьмою, и неудачное наступление на Буковину, которое он вел в декабре и которое обошлось почти в пятьдесят тысяч человек, но не дало никаких результатов.

— Вы полагаете, — иронически произнес Иванов. — А вот я слышал, что генерал Клембовский *, ваш же теперь начальник штаба, отказался принять бывшую вашу восьмую армию. Почему это, а?

— Он говорит, что не имеет военного счастья.

— Вот видите, видите, чего не имеет? — Военного счастья!.. А почему вы уверены, что Щербачев или, скажем, Сахаров, командующий вашей одиннадцатой армией, это военное счастье имеют, хотел бы я знать?

— Да ведь в конце-то концов, имеют или не имеют они военное счастье, они будут исполнять мои приказания, Николай Иудович, я и буду нести главную ответственность за неудачу, в случае, если она нас постигнет... Наконец роль армий Юго-западного фронта будет, насколько меня известил Алексеев, только подсобная, а главные роли будут в руках Эверта и Куропаткина, — сказал Брусилов уверенным тоном, но Иванов очень живо возразил:

— О нет, нет!.. Я весьма сомневаюсь, весьма сомневаюсь!.. Эверт и Куропаткин, — они не так... самонадеянны, чтобы брать на себя главные роли!

— Если им прикажет государь, то возьмут, конечно, — примирительно, не повышая голоса, отозвался Брусилов.

Он считал жестоким спорить с разбитым нравственно стариком, который худо ли, хорошо ли все-таки двадцать месяцев без отдыха работал на фронте. Другой подобный старый генерал-от-кавалерии фон Плеве, командовавший Северо-западным фронтом, не выдержал и нескольких месяцев, заболел нервным расстройством, и были слухи, что он теперь лежит при смерти в одной из лечебниц Петрограда.

Дальше разговор велся уже более вяло — заметив, что Брусилов отвечает ему неохотно, Иванов стал делать большие паузы и вздыхать, а когда один из его адъютантов явился доложить, что в салон-вагоне рядом приготовлен ужин, поднялся с места с не меньшим облегчением, чем и Брусилов.

Свита Иванова почтительно выстроилась перед новым главнокомандующим для представления ему. Каждый в

ней, от генерала до обер-офицера, был озабочен мыслью, оставит ли его Брусилов или отчислит от штаба. Чтобы никого не огорчить, Брусилов счел нужным тут же заявить, что он не намерен никого из них заменять какими бы то ни было «своими» людьми, которые были бы новыми на новом для них месте, поэтому мало пригодными для дела.

Ему не хотелось, чтобы первое знакомство со своим штабом прошло натянуто, он хотел видеть живых, непри-
нужденно беседующих с ним помощников, но Иванов как бы оледенил всех полной молчаливостью и крайне насупленным видом.

Брусилов с трудом досидел до конца и ушел в свой поезд, поставленный рядом с поездом Иванова.

* * *

Обыкновенно Брусилов, втянувшийся уже за двадцать месяцев войны в боевую обстановку, и засыпал и вставал в одни и те же часы. Иначе было нельзя: сложная обстановка войны требовала от командующего армией большой мозговой работы, которую можно было вести только с ясной головою. Бывали дни, когда приходилось прочитывать тысячи телеграмм, и телеграммы эти присылались для того, чтобы дать по ним то или иное заключение. Строгий режим в распорядке суток диктовался необходимостью: ни одна минута не могла, не имела права пропасть праздно; поэтому вошло в привычку засыпать тут же, как можно было для этого лечь.

Однако здесь, на путях станции Бердичев, Брусилов долго не мог заснуть: рыдающий, как ребенок, генерал-от-артиллерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, «состоящий при особе его императорского величества», Николай Иудович Иванов неотступно стоял перед глазами.

Как можно сурово судить человека, способного так рыдать? Этот вопрос решал и не мог решить Брусилов. Не обладает военными талантами, необходимыми для такой во всех отношениях новой войны, однако несомненно честен, если даже и заблуждается в главном, что русские не в состоянии наступать... Не изменник, как бывший военный министр Сухомлинов *, не беспечен в отношении судеб своей родины и оскорблен до глубины души только тем, что отставлен, чем иной генерал в его положении был бы только обрадован, пожалуй: сам царь

дает возможность умыть руки ввиду поражения России, которое, по мнению многих, было неизбежно.

И поднимался другой вопрос: «А что же я, занявший место отставленного? Не слишком ли самопадеян, что было бы непростительно в таком почтенном возрасте, как шестьдесят два года с лишним, не слишком ли мало сведущ в общем положении как фронта, так и тыла?» Ведь только теперь он должен был как следует познакомиться не только с генералами Щербачевым, Сахаровым, Лечицким, если он не умрет, но и с командирами корпусов их армий, и с состоянием их позиций, и со снабжением, как оно у них налажено, и с состоянием всех двенадцати губерний, входящих в Киевский и Одесский военные округа.

Перед войною он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, — немец, убежденный в том, что Германия должна была командовать Россией. Будучи назначен помощником Скалона, Брусиллов оказался окруженным немцами — высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но тем не менее, часто переходя в разговорах между собою на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот выдавшийся на запад округ уже завоеван немцами мирным, дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели, Эгельстромы и прочие уверяли, что они — подлинные русские патриоты*.

С легким сердцем он уехал от этих «патриотов» в Подольскую губернию, в город Винницу, когда был назначен командиром корпуса. Это было ровно за год до войны. Тогда, на маневрах, он впервые познакомился с генералом Ивановым, занимавшим в Киеве такое же положение, какое было у Скалона в Варшаве.

Даже и трех лет не прошло с того времени, — и какая разительная перемена! Кто бы мог думать тогда, что так будет рыдать теперь этот важного вида бородатый старик, руководивший маневрами в то лето?

Он же руководил и действиями восьмой армии, действиями его, Брусилова, путем телеграмм из довольно глубокого тыла, откуда было мало что видно! На фронте его не видели даже и во время длительного затишья. Распоряжения его всегда являлись или совершенно неосуществимыми, или запоздалыми, или нуждались в таких существенных поправках, которые сводили их на нет. Чаще всего приходилось командующим армиями обращаться

к нему за разрешением занять такую-то позицию, туда-то передвинуть войска, и он разрешал. Но больше всего, конечно, сыпалось к нему просьб о подкреплении, и Брусиллов теперь с горечью вспоминал, что именно его просьбы такого рода чаще всего оставались Ивановым без исполнения. «Ничего, — говорил он, — Брусиллов как-нибудь вывернется!» Это «как-нибудь» означало, конечно, что понесет большие потери, так как восьмая армия была приучена защищать свои позиции путем наступления на позиции австро-венгров и немцев.

Так было в начале войны, когда она брала Миколаев, Галич, штурмовала Перемышль, так было потом, когда боевые действия велись в Карпатах, в особо трудных условиях. Так было и совсем недавно, зимою, когда коротким ударом по хорошо защищенным позициям немцев части его армии взяли город Чарторыйск, разбили наголову 14-ю германскую дивизию, захватили много пленных и между ними почти целый «полк кронпринца».

Это последнее дело восьмой армии, когда немцы, хотя и не так далеко и в одном только месте, были отброшены на запад, происходило тогда, когда Иванов был занят постройкой нескольких мостов через Днепр и нескольких укрепленных линий в сотни верст длиною, причем первая из них проходила в окрестностях Киева, а прочие были предназначены защищать более отдаленные подступы к нему.

На это тратились Ивановым громадные средства, и он был уверен, что обладает даром предвидения, что все затраты эти необходимы ввиду того, что весною, как немцы об этом и пишут в своих газетах, начнется «колоссальное» наступление их армий на востоке.

Раньше, когда Брусиллов слышал об этом, он временно думал, что Иванову издали, может быть, виднее и общая обстановка на фронте и общая картина разрухи в тылу, а его личная самоуверенность происходит исключительно от незнания.

Теперь он видел, что на постройку мостов через Днепр и укреплений около Киева толкали бывшего главнокомандующего фронтом чересчур расстроенные нервы и рыдал он два-три часа назад только потому, что ему не удалось довести до конца того, что он задумал. Так мог бы рыдать и маленький мальчуган, которого нянька взяла под мышки и оттащила от его сооружения из сырого песка.

Однако не мог ведь сказать и он, Брусиллов, что армии, стоящие на Юго-западном фронте, даже теперь, после

долгого зимнего отдыха, таковы, как всем бы в России хотелось. Совсем напротив: эти армии по сравнению с теми, какие начинали войну, были очень слабы в смысле их людского состава.

Почти совершенно не оставалось уже в них ни кадровых младших офицеров, ни унтер-офицеров, ни солдат. Прибывавшие на фронт пополнения приходилось учить всему, начиная со стрельбы из винтовок. Для снабжения частей унтер-офицерами пришлось ввести во всех полках учебные команды. Наконец, очень энергично пришлось бороться и с пораженчеством, так как случалось, что во время сражения кто-нибудь из солдат начинал вдруг кричать: «Что же это, братцы, на убой, что ли, нас сюда пригнали? Давай сдаваться!» — и целые роты, а иногда и батальоны нанизывали белые платки на свои штыки и шли в плен.

Он припомнил свой же приказ по восьмой армии в июне 15-го года, когда русские войска откатывались на восток под нажимом войск Макензена, прорвавшего жидецкий фронт третьей армии на Карпатах:

«Пора остановиться и посчитаться наконец с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве сил, утомимости, непобедимости и тому подобное, а потому приказываю: для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пушечный, и оружейный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом... Глубоко убежден, — писал он дальше в том же приказе, — что восьмая армия, в течение первых восьми месяцев войны прославившаяся несокрушимой стойкостью, не допустит померкнуть заслуженной ею столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славе и приложит все усилия, чтобы побороть врага, который более нашего утомлен и ряды которого очень ослабли. Слабодушным же нет места между нами, и они должны быть истреблены!»

Восьмая армия первой на всем Юго-западном фронте остановилась тогда и остановила натиск немцев, что дало возможность оправиться и другим армиям.

Сравнение себя самого с рыдающим — потому что «оставлен при особе государя» — Ивановым заставило Бруслова вспомнить и то, как он, первый во всей вообще

армии, доброжелательно отнесся к действиям у себя организаций городского и земского союза.

Он отлично знал, что эти организации едва терпят царь, делая только необходимую уступку общественности, выступившей на помощь фронту; он знал и то, как стремятся дуть в дудку царя другие командующие армиями и всячески пытаются выказывать им свое нерасположение. Он же лично исходил из того, что войну ведет не только армия, а вся Россия в целом.

Так ли думал царь, которого он должен был встречать через два дня в Каменец-Подольске, и, вообще, что он думал, — этот вопрос тоже долго не давал заснуть Брусилу, и забылся он только под утро.

* * *

На другой день он знакомился с делами штаба, а также и со всеми своими новыми сотрудниками — генералами и полковниками, академистами, между тем как сам он не был в Академии.

Он давно уже замечал, что академисты держались в армии как избранная, высшая каста; он знал, что и в Петрограде все успехи предводимой им восьмой армии всячески снижались и брались под подозрение только потому, что сам он не изучал так тщательно, как академисты, походов Карла V или Фридриха II. Эта подозрительность к нему отражалась и на тех, кого он представлял к наградам: они или получали их с большим опозданием, или не получали совсем. Они же настраивали и царя не в пользу Брусилова, который давно бы уже мог получить главнокомандующего фронтом если не Юго-западным, то другим. Иванов относился совершенно безучастно к сдаче дел фронта, — это делали его начальник штаба генерал Клембовский, генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс и начальник снабжения — генерал Маврин. Иванов же только просил у него разрешения остаться при штабе фронта еще на несколько дней и снова при этом пролил слезу. Вид у него был поистине жалкий.

Прежде чем представлять царю девятую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусилу, приняв дела, отправился в Каменец.

Винница, в которой пришлось жить Брусилу три года назад, небольшой, но чистенький городок, очень нравилась ему смесью культурности с простотою: там были шестизэтажные дома с лифтами и рядом — одноэтажные

домики, окруженные садами, — в общем же это был город-сад с тихо протекавшей жпзною. Совсем не то оказался Каменец-Подольск, красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок и поляков.

Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей до войны тюрьмой. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзамчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название «Польские фольварки». В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, — город вполне оправдывал свое название.

У генерала Лечицкого болезнь приближалась к кризису. Брусилов тут же по приезде заехал к нему на квартиру. Дежуривший при нем врач высказал уверенность в том, что больной поправится, и это обрадовало Брусилова, так как он знал Лечицкого еще до войны с самой лучшей стороны, — таким же оставался он и во время войны.

Порядок, заведенный им в штабе, конечно, был одобрен Брусиловым. Тут все готовились к царскому смотру, о чем предупредил штаб армии Алексеев; поэтому Брусилову оставалось только навестить ближайший к Каменцу участок фронта, что он и сделал.

Придирчиво осматривал он окопы одной из дивизий армии Лечицкого, желая найти основания полной безнадежности Иванова, но, к радости своей, увидел, что и окопы эти, и люди в них ничем не хуже людей и окопов его бывшей армии. Это укрепило его в мысли, что Юго-западный фронт вполне может и будет хорошо защищаться, как бы старательно ни было подготовлено весеннее наступление немцев.

Об этом ему пришлось говорить с царем, когда тот прибыл в Каменец вечером, уже затемно, и, только приняв его рапорт, обошел выставленный на станции почетный караул и пригласил нового главнокомандующего к себе в вагон.

Бывали короли и императоры, которые если даже и не имели природных внешних данных для представительства, не были «в каждом вершке» владыками государств, так хотя бы старались путем долгой тренировки привить

себе кое-что показное, производящее благоприятное впечатление на массы, более или менее удачно играли роль королей, императоров.

Владыка огромнейшей империи в мире — Николай II изумлял Брусилова и раньше, но особенно изумил теперь тем, что «не имел виду».

Толстый и короткий нос-картошка; длинные рыжие брови над невыразительными свинцовыми глазами; еще более длинные и еще более рыжие толстые усы, которые он совсем по-унтерски утюжил пальцами левой руки; какая-то, неопрятного вида, клочковатая, рано начавшая седеть рыжая борода, — все это, при его низком росте и каких-то опустившихся манерах, производило тягостное впечатление.

При первом же на него взгляде он чем-то неуловимым напомнил ему Иванова, и первое, что он услышал от него, когда вошел вслед за ним в вагон, было как раз об Иванове.

— Какие-такие недоразумения произошли у вас с генералом Ивановым? — спросил Николай.

— Насколько я знаю и помню, не было никаких недоразумений, ваше величество, — удивившись, ответил Брусилов.

— Как же так не было?.. Мне доложили, что у вас было с ним какое-то столкновение, вследствие чего и получилось разногласие в распоряжениях, какие вы получили от генерала Алексеева и от графа Фредерикса... э-э... касательно смены генерала Иванова.

— Ваше величество! — с виду спокойнo, но глубоко пряча раздражение от этих слов, начал Брусилов. — Я получил распоряжение только от начальника штаба ставки, но не от графа Фредерикса! Никаких вообще распоряжений от графа Фредерикса я не получил и осмеливаюсь думать, что и получать не буду, поскольку дела чисто военные, дела фронта, так мне кажется, имеют прямое касательство только к ставке, а не к графу Фредериксу.

Договорив это, Брусилов почувствовал, что выразился как будто несколько не по-придворному, но он никогда не был придворным, а вопрос царя не то чтобы объяснил ему поведение Иванова, затянувшего сдачу фронта, но, по крайней мере, навел на это объяснение. Для него несомненным стало и то, что Иванов не хотел уезжать из Бердичева, все еще надеясь остаться. Словом, оправдывались

доходившие до него стороною слухи, что его назначение нельзя еще считать окончательным.

Он видел, что его фраза о Фредериксе не понравилась царю, хотя тот и постарался скрыть это и ждал наконец разъяснения, точно ли бесповоротно назначен он главнокомандующим, или придется ему все сдавать Иванову и возвращаться в штаб-квартиру своей восьмой армии.

Царь довольно долго был занят своими усами, внимательно приглядываясь к нему, и спросил вдруг совсем для него неожиданно:

— Что вы имеете мне доложить?

Брусилов не сразу понял, что имел в виду царь, задавая такой вопрос. О чем именно должен он был докладывать? О «недоразумении» с Ивановым было уже доложено все; что же еще могло интересовать царя?

Он медлил с ответом едва ли не больше, чем царь со своим весьма неопределенным вопросом, и решил наконец связать то, что занимало так царя, с тем, что наполняло его лично, особенно после объезда позиций девятой армии.

— Имею очень серьезный доклад, ваше величество, — начал он, — в связи с общим положением дел на Юго-западном фронте вообще, насколько я успел познакомиться с ним за последние дни.

— Хорошо, говорите, — безразличным тоном отозвался царь, вынув серебряный портсигар и вертя в худощавых пальцах папиросу.

— В штабе генерал-адъютанта Иванова при приеме мною дел мне подтвердили то, что я слышал уже и раньше, — стараясь выбирать выражения, начал Брусилов, — а именно, что мой предшественник, при всех положительных качествах своих, отличался недоверием к войскам Юго-западного фронта, к их боевым возможностям, к их подготовке, а общий вывод его был таков: армии фронта наступательных действий вести не в состоянии, они могут только защищаться и то не очень стойко. Словом, на них положиться нельзя. С этим взглядом я в корне не согласен, ваше величество, о чем и считаю своим долгом вам доложить.

— Это интересно, — тем же безразличным тоном заметил царь, закурил папиросу и протянул ему свой портсигар.

— Мой предшественник, — продолжал Брусилов, взяв папиросу, но не закуривая ее, — несомненно имел большой опыт в управлении фронтом, я же имею довольно

длительный боевой опыт, смею надеяться поэтому, что моя оценка боеспособности войск, мне теперь врученных волей вашего величества, окажется ближе к истине. Я до сего дня был вполне уверен в войсках только своей бывшей армии и мог с полным знанием вопроса говорить только о ней, но, приехав сюда, я успел уже несколько познакомиться с армией генерала Лечицкого, который, к сожалению, тяжело болен...

— Как его здоровье? — перебил царь.

— Есть надежды, что он поправится, ваше величество, и, может быть, даже примет участие в наступательных (Брусиллов особенно подчеркнул это слово) действиях нашего фронта. По совести могу сказать, что та дивизия его, семьдесят четвертая, какую я сегодня видел на фронте, не хуже любой из моих бывших дивизий. По этой дивизии можно, мне так кажется, судить и об остальных в девятой армии. Я не успел познакомиться с седьмой и одиннадцатой армиями, но зато я знаю командующих ими генералов Щербачева и Сахарова и думаю, что положение дел у них не хуже, чем у Лечицкого...

Брусиллов понимал, что этот импровизированный доклад его в царском вагоне может иметь большое значение для того, чем он жил в последнее время, то есть для решительного выхода из пассивного ожидания удара со стороны австро-германцев к активным действиям против их, пусть и очень сильно укрепленных за долгую зиму, позиций, и старался не пропустить ни одного довода в пользу этой своей мысли.

Он говорил обстоятельно и долго. Думал ли царь о том, что он говорил, или о чем-нибудь еще, совершенно не относящемся к теме его доклада, но царь молча курил, и этого было довольно; он не перебивал, не задавал отвлекающих в сторону вопросов, он был терпелив, а это Брусиллов считал хорошим знаком.

И действительно, когда доклад подошел к своему естественному концу и Брусиллов заключил его словами:

— Вот, в общих чертах, то, что хотелось мне доложить о состоянии вверенного мне фронта, ваше величество, — царь, поднявшись и тем заставив подняться его, протянул ему руку и сказал по виду благожелательно:

— Хорошо, вот первого апреля на совещании в ставке вы повторите, что мне говорили сейчас, и другие главнокомандующие тоже выскажутся по этому вопросу.

В этих словах царя Брусиллову почудилось, что боеспособность Юго-западного фронта все-таки берется под

сомнение, что он не совсем переубедил его, напичканного мнениями Иванова, поэтому Брусилов счел нужным добавить:

— Прошу, ваше величество, предоставить мне в будущем наступлении инициативу действий, равную другим главнокомандующим, в противном случае я буду думать, что мое пребывание на посту главнокомандующего бесполезно, даже вредно, почему и буду просить вас заменить меня другим лицом.

Царь при этих словах насупил брови так, что глаз его уже не было видно, и сказал:

— Я думаю, что на совещании вы столкнетесь с другими главнокомандующими и с начальником штаба. Покойной ночи!

Брусилов вышел из вагона царя, хотя и не совсем убежденный в том, пробил ли он каменную стену его равнодушия, однако с чувством удовлетворенности от того, что ему все-таки разрешено было высказать откровенно все, что он думал. Но в следующем за царским вагоном был Фредерикс, который ждал окончания беседы Брусилова с царем, чтобы... заключить нового главнокомандующего Юго-западным фронтом в свои объятия!

Эта костлявая, старая, хитрая придворная лиса, неизвестно чем именно жившая, однако весьма живучая, захотела замести следы своей интриги, через камер-лакея пригласив Брусилова в свой вагон, едва только он покинул царя.

Длинный и узкий, с пушистыми белыми усами, Фредерикс весь так и светился радостью, оттого что видит — наконец-то! — его, Алексея Алексеевича, главнокомандующим.

— Давно пора, давно пора! — несколько раз повторил он, сияя. — И я всегда — верьте моему слову! — всегда считал своим долгом докладывать его величеству о ваших заслугах, о том, что вы вполне достойны принять в свои руки фронт... тот или иной, тот или иной... Вот, например, Северо-западный: дважды ведь поднимался мною вопрос о вашем назначении туда, — однако... находились люди... не будем же теперь говорить о них, дорогой мой Алексей Алексеевич: все хорошо, что хорошо окончилось, — вот! Прошу вас иметь в виду, что и на этот пост, какой вы получили, выдвигалось ведь несколько кандидатов, но я-я-я... я всячески отстаивал вас!

— Благодарю вас, — отозвался на это Брусилов, что-

бы сказать что-нибудь, и тут же увидел, что эти два слова ожидалось графом, чтобы перейти к самому для него важному.

— Что же касается телеграммы моей генерал-адъютанту Иванову, о чем вы извещены, конечно, — держа руку Брусилова в своей холодной руке, очень оживленно продолжал граф, — то ведь эта телеграмма касалась совсем не того, послушайте, — совсем не его смены, а вашего назначения на его место, — вот что мне особенно хотелось вам сказать!

И он не только пожал руку Брусилова, но не выпустил ее и теперь, ожидая, как и что ему тот ответит; и Брусилов ответил так, как счел нужным:

— Поверьте, граф, мне никто ничего не говорил ни о какой вашей телеграмме Иванову!

— Не о чем, не о чем было и говорить, — подхватил Фредерикс, — совершенно не о чем! И будьте уверены на будущее время, что если вам что-нибудь понадобится передать непосредственно его величеству — я всегда к вашим услугам!

Это покорило наконец Брусилова, и он не удержался, чтобы не сказать в ответ:

— Искательством, граф, я ведь никогда не занимался, — я исполнял свой долг на всех постах раньше, буду исполнять и теперь, насколько буду в силах, но ваши слова принимаю как доброе обо мне мнение и благодарю сердечно!

Фредерикс обнял его слова, и, расцеловавшись, они расстались, по виду очень довольные друг другом.

На следующий день с утра начался смотр войск одновременно и царем и самим Брусиловым, и если царь обращал внимание только на выправку солдат, на их умение ходить церемониальным маршем, то в глазах Брусилова эти новые для него войска — сначала 3-я Заамурская пехотная дивизия, потом 9-й армейский корпус — держали строгий экзамен на право вести наступление через месяц и выдержали его с честью.

Царь вел себя на смотре, как обычно: тупо смотрел на ряды солдат, державших винтовки «на кра-ул», запаздывая поздороваться с ними; тупо смотрел, как они шагали, выворачивая в его сторону глаза и лица, — и только. Ни с малейшим душевным словом он не обращался к тем, которые должны были проливать кровь и класть свои головы за него прежде, чем за родину: не было у него за душою подобных слов.

На Каменец-Подольск довольно часто налетали неприятельские самолеты, так как был он недалеко от фронта. В городе мало было целых стекол в домах и часто попадались развалины и кучи мусора на месте бывших построек. Конечно, воздушные разведчики дали знать на ближайший аэродром противника о скоплении большой массы русских войск, выстроенных для смотра, и над 9-м корпусом закружилось до двух десятков аэропланов.

Впрочем, этого уже ждали и приготовили для встречи их свои самолеты, а также зенитные батареи, так что перед смотром корпуса произошло небольшое сражение: разрывались высоко в воздухе снаряды, летели вниз дистанционные трубки, осколки, шрапнельные стаканы, — наконец поднялись свои машины, и налетчики ушли ни с чем, хотя и без потерь в своем строю.

Разумеется, на Брусилова ложилась обязанность предупредить царя об опасности не только смотра, но и вообще пребывания его в Каменце: всегда можно было ожидать налета врагов даже и на царский поезд, который не так трудно было рассмотреть среди кирпично-красных и отдаленно поставленных обычных прифронтовых поездов.

Но царь ни одним словом не отозвался на эту о нем заботу и не уехал из Каменца, пока не закончил того, зачем приехал, — то есть смотра всех расположенных тут в окрестности частей войск.

Сам склонный к мистике, Брусилов приписал было такое равнодушие царя к опасности фатализму, но, приглядываясь в тот день к своему верховному вождю пристальнее, решил наконец, что это только равнодушие к жизни.

* * *

Ответить на весеннее наступление немцев, — о чем как о вполне решенном и вполне подготовленном они кричали во всех своих газетах, — наступлением русских войск было, конечно, разумной мерой. Эта мысль принадлежала начальнику штаба верховного главнокомандующего Алексееву, олицетворявшему собою мозг русских сил, раскинувшихся от моря до моря. И для того, чтобы остановиться на этой мысли, подсчитать свои силы и согласиться с ней, были собраны главнокомандующие всех трех фронтов на совещание в ставке 1 апреля под председательством царя.

Председательство царя, впрочем, всеми понималось, как присутствие на совещании, которое должен был вести и вел действительно Алексеев. Он и встречал приехавшего в Могилев утром в назначенный день Брусилова, как хозяин ставки.

Можно было по-разному относиться к этому седому высоколобому генералу среднего роста, с простым русским лицом, но никто все-таки не отказывал ему в больших военных способностях.

Он вышел из нечиновной и небогатой трудовой семьи, этот генерал, которому не было еще шестидесяти лет. Он не держался «за хвостик тетеньки», чтобы подняться на тот пост, какой занял, он и не добивался его — просто этот пост был ему предложен, и ему оставалось только его занять.

Около десяти лет он прослужил офицером в пехотном полку, пока наконец, тридцатилетним, начал готовиться в Академию генерального штаба. Окончив Академию, он был в ней потом профессором. В чине прапорщика он провел русско-турецкую войну 77—78-х годов, а в русско-японскую был уже генерал-квартирмейстером третьей Маньчжурской армии. Когда в 1912 году начала бряцать оружием Австрия, было решено в Петербурге, что Алексеев станет начальником штаба армий, если разразится война, так что, запоздав на два года, война дала этим возможность Алексею подготовиться к ней настолько добросовестно, насколько мог только он, с большой серьезностью относившийся даже и к маневрам в царском присутствии, которые в подобных случаях обращались в какие-то спектакли на огромной сцене.

Одно время он был начальником штаба у Иванова, в Киевском военном округе, и с тех пор привык относиться с большим почтением к этому бесталанному бородачу. Перед войной он командовал армейским корпусом в Смоленске, так что прошел все этапы как низшей, так и высшей офицерской службы, пока не был назначен начальником штаба Юго-западного фронта, то есть к тому же Иванову.

Но в марте 15-го года он получил Северо-западный фронт, а в августе того же года был вызван в ставку, чтобы стать там тем, кем он был теперь.

Сухомлинов, когда был военным министром, не назначил (это было перед войною) Алексея начальником Академии генерального штаба, когда освободился этот пост, потому что он, не имевший в детстве гувернанток-француженок, не мог свободно говорить по-французски.

— Ну как же он поедет во Францию на маневры, и как он один будет разговаривать с начальником французского генерального штаба? — говорил Сухомлинов.

Тогда начальником Академии был назначен светский человек — генерал Янушкевич, который потом, с начала войны, был начальником штаба в ставке. Заменить его пришлось Алексееву. И теперешний военный министр, бывший главный интендант, генерал Шуваев, был под стать хозяину ставки: человек простых привычек, он, появившись в первый раз в столовой ставки, мягко попросил себе постной пищи, а когда ему сказали, что постного тут ничего не готовят, пошел искать по городу подходящей для себя кухни, сказав при этом:

— Я — человек старый и менять своего режима не могу. —

Шуваев выделялся не только большим практическим умом, но и тем, что поколебал привычное представление в обществе об интендантах как неутолимых хапугах.

Теперь он тоже приехал в ставку из столицы, так как вопрос о наступлении был прежде всего вопросом снабжения фронта.

Генералы Эверт и Куропаткин явились со своими начальниками штабов, Иванов — в одиночестве, как состоящий при особе царя.

Брусиллов не был участником японской войны, эти же трое как бы принесли с собою незримо тот горький запах поражений, который им неизменно сопутствовал в те дни.

Как у Шуваева была глубоко укоренившаяся привычка к постному столу, так и эти трое были привычно битые генералы.

О Куропаткине, бывшем в Маньчжурии главнокомандующим и начальником Эверта и Иванова, ходило в военной среде чье-то меткое четверостишие в связи с поражениями, которые он нес от командующего японской армией Куроки:

Куропаткину Куроки
на практике
дает уроки
по тактике

А один из великих князей назвал его Пердришкиным, производя эту фамилию от французского *perdre*, что значит куропатка.

Его назначение главнокомандующим Северо-западным фронтом состоялось незадолго перед тем, в начале фев-

раля, когда пришлось отставить фон Плеве по болезни, от которой он и умер. В ставке появился маленький старый генерал, очень усердно кланявшийся всем, даже и молодым полковникам, смотревшим на него с недоумением, — кто он и зачем он в ставке, хотя и видели, что он — полный генерал.

Даже когда стало известно всем, что этот маленький старенький генерал — Куропаткин, то, хотя это и вызвало к нему некоторое любопытство, никто не думал все же, что он появился потому, что получает высокое назначение.

Не было мало-мальски опытных генералов, поэтому пришлось вытащить из нафталина и Куропаткина, которого еще Скобелев аттестовал, как хорошего штабного работника и совершенно неспособного командира во время боевых действий.

Громоздкий Эверт имел куда более воинственный вид по сравнению со своим бывшим начальником. Всею осанкой он подчеркивал ежеминутно, что он птица весьма высокого полета.

У себя в главной квартире Западного фронта он любил писать приказы по армиям, причем вместо обычных, принятых в русской азбуке букв ставил такие готические палки, хотя и крупных размеров, что офицеры его штаба проводили все время только в том, что разбирали и расшифровывали его каракули. Иногда он приводил их в неподдельное отчаяние тем, что вместо одних слов писал другие, несколько сходные по начертанию, — например: написанное им «Мария» получало в тексте его приказа смысл только тогда, когда читалось как «армия».

Один гоголевский чиновник тоже писал вместо «Авдотья» — «Обмокни», но, во-первых, он делал это с умыслом, во-вторых, он не командовал фронтом.

Кажется, главнокомандующему фронтом должно бы быть известно, что ручные гранаты употреблялись еще в Крымскую кампанию, однако это не было известно генералу Эверту, почему он и писал в одном из своих приказов: «Из получаемых мною донесений видно, что употребление ручных гранат совершенно не налажено, причем в корпусах их возят в обозах или при саперных батальонах, а потому это *новое средство* к отражению неприятельских и поддержке своих атак, как ручные гранаты, может остаться неиспользованным до конца войны...»

Чтобы ни у кого, кто его видел за общим столом в его

штабе, не возникало сомнения в том, что он, несмотря на немецкую фамилию, природный русский, он истово крестился — и садясь за стол и вставая, обедал ли он, завтракал или ужинал. Мало того, — он требовал этого же и от всех чинов своего штаба, как могли бы этого требовать только в бурсе от семинаристов.

* * *

По сравнению с Каменец-Подольском, хотя и страдавшим от налетов австрийских аэропланов, Могилев-губернский показался Брусилову чрезвычайно грязным, захудалым, вымирающим, несмотря на то, что в нем была ставка.

Сеялся мелкий дождь из густых низких туч; трепал ветер порывами голые, еще рыжие деревья на бульваре; уныло тащилась мокрая худоробная рослая пегая лошадь, вытягивая по рельсам на главной улице небольшой линиялый зеленый вагончик городского «трамвая». Еврейская беднота сновала по тротуарам. Домишки были обшарпанные, облезлые, давно не выдавшие никакого ремонта; и только одни полицейские на постах стремились держаться парадно, выставя свои руки в белых нитяных перчатках из-под черных плащей, с которых скатывались дождевые капли.

Около царской ставки грязи, правда, было меньше, порядка больше, но даже и в новизне кое-каких, наскоро, видимо, сделанных низеньких строений, похожих на бараки, сквозила какая-то убогость, а главное — лагерность, временность, неуверенность в прочности положения на фронте: строили в расчете на то, чтобы с большою легкостью можно было все это бросить и перекочевать дальше, в глубь страны, благо страна огромна.

Так как Брусилов не мог выехать в ставку ни раньше царя, ни в одно время с ним, когда он уезжал из Каменца, и так как ему хотелось на месте подготовиться к тому, что он мог сказать на совещании, то оказалось, что и Куропаткин, и Эверт, и Шуваев явились раньше его, поэтому они, как и сам Алексеев, встретили его, уже будучи в сборе. Кстати, они и поздравляли его с новым назначением с виду одинаково благожелательно к нему, но только у Алексеева и Шуваева Брусилов уловил искренность и в тоне их слов и в выражении лиц.

Обезьяноподобный великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор полевой артиллерии, находившийся в

ставке, как приглашенный на совещание, тоже поздравлял Брусилова, но не позаботился даже и на йоту изменить при этом свою глубоко безразличную ко всему внешность.

В руках Алексеева Брусилов заметил свернутый в трубочку доклад, который он приготовил для совещания. Этим докладом совещание и началось, когда явился царь и когда все приглашенные, а также и начальники их штабов (Брусилов приехал с генералом Клембовским, Эверт — с Квединским, Куропаткин — с Сиверсом), уселись по приглашению царя за стол, покрытый красным сукном.

Алексеев читал очень отчетливо, громко, делая особые ударения на тех местах, которым придавал большое значение, хотя значительным в этом совещании было все, так как на нем решалась дальнейшая судьба России, уже в достаточной степени потрясенной.

От быстрой смены впечатлений за последние дни, от их пестроты, при всей их важности лично для него, Брусилов чувствовал утомление, тем более что он не успел и часа отдохнуть после дороги. И все же он заставлял себя следить, не пропуская ничего, за нитью алексеевского доклада.

Он понимал, в какое трудное положение попал этот способный человек при таком верховном главнокомандующем, как царь, ничего не понимающий в военном деле и теперь сидевший с видом манекена из окна парикмахерской. Полномочий быть хозяином не только ставки, но и всего фронта Алексеев не имел и, конечно, не мог иметь; напротив, он в каждом отдельном случае должен был на свои соображения и замыслы испрашивать разрешение царя, а это ставило его, человека и без того не очень сильной воли, в зависимость от человека с явно для всех пониженной психикой и воли более чем слабой.

Открывая совещание огромной государственной важности, царь не обратился к созванным им своим непосредственным помощником с какою-либо хотя бы и самой краткой речью, как это сделал бы на его месте кто угодно другой; он только сказал милое слово, как говорил обычно за обедом в своем присутствии:

— Кто желает курить, курите.

И вынул свой серебряный портсигар, уже известный Брусилову, — серебряный потому, что императорский сервиз, взятый в ставку, был тоже серебряный, — походный, не способный разбиться, как фарфоровый, при переездах с места на место.

Алексеев говорил о том, что решено произвести прорыв германского фронта ударом на Вильно, причем прорыв этот должен быть выполнен силами войск генерала Эверта. Для этого на Западный фронт должна стянуться вся тяжелая артиллерия, находящаяся в резерве; для этого туда же будет направлен и общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего. Однако не весь этот резерв: часть его предназначается для передачи Северо-западному фронту, который должен собрать достаточно внушительный кулак, чтобы ударить тоже на Вильно, в прорыв, для его расширения и для выхода в более глубокий тыл германских войск.

Пока говорил это Алексеев — таким тоном, как будто решить поставленную ставкой задачу было так же легко, как и поставить ее, — Брусилов наблюдал за лицами Эверта и Куропаткина.

Конечно, это не могло быть и не было для них новостью, но Брусилов заметил, как они выразительно переглянулись, эти бывшие маньчжурцы, точно были и в самом деле удивлены.

Но вот настала очередь удивиться, только по-настоящему, и самому Брусилову: его фронт объявлялся Алексеевым совершенно не способным вести наступательные действия, почему и предполагалось, что он будет только обороняться до тех пор, пока не определится, что войска Западного и Северо-западного фронтов достаточно далеко уже продвинулись на запад; только тогда может перейти в наступление и он, что будет вполне для него возможно.

Теперь Брусилов неотрывно глядел на одного только Иванова, который как-то прищипился, наподобие кота, только что проведавшего шкaп со снeдью.

Когда царь спрашивал в Каменец-Подольске, какие были у него, Брусилова, недоразумения с Ивановым, и Брусилов ответил, что никаких не было, он имел в виду только последнее время. Теперь он сидел и вспоминал, что происходило несколько месяцев назад, когда он собирал все силы для контратак против наседавших полчищ Макензена, отступая к реке Бугу.

Тогда от Иванова сыпались телеграммы за телеграммами с такою резкой критикой всех его действий, что он считал за лучшее приехать для объяснений к нему лично в Ровно, где была его штаб-квартира. Произошло объяснение не совсем обычного рода: Брусилов тогда категорически поставил вопрос о доверии к нему, о том, чтобы его не дергали, чтобы над ним не было няньки, которая

бы ежедневно вмешивалась в его действия, не имея понятия о том положении, какое создавалось на фронте его армии. Он даже предложил отозвать его и передать командование другому, если Иванов считает, что он не на своем месте.

В ответ на все это Иванов совершенно некстати начал ему рассказывать о каких-то случаях из времен японской войны, пытаясь этим развлечь его, успокоить и кончить дело ничем.

Теперь Брусилов видел, что столкновение в Ровно с Ивановым нашло отклик: несомненным для него было, что именно Иванов внушил Алексееву мысль о слабости Юго-западного фронта, о полной невозможности для него наступать, и ему хотелось тут же после окончания доклада Алексеева встать и доказать то, что знал только один он среди всех, здесь собравшихся: Юго-западный фронт наступать может и будет, если получит приказ это сделать.

Но Алексей, который вел совещание, так как царь только курил и молчал, предоставил высказаться не ему, а Куропаткину, почтительно обратившись к нему:

— Алексей Николаевич, было бы желательно высказать ваши соображения по данному вопросу!

Старичок поспешно попробовал левой рукой седенькую свою бороду, слегка кашлянул и заговорил, наклонившись в сторону царя, но взглядывая время от времени и на Алексева:

— Я глубоко понимаю всю желательность наступательных действий. Не может быть никакого сомнения, что только они одни могли бы принести вполне осязаемые и крайне необходимые результаты, соответственные и величию и достоинству России, но я знаю, к сожалению, и то, насколько сильны немецкие позиции, лежащие против всего вообще моего фронта, а в особенности в направлении на Вильно... в особенности, повторяю, в этом направлении, как наиболее существенном как для нас, так, в равной степени, и для нашего сильного противника. Разве не делалось уже попыток как с моей стороны, так и гораздо более серьезных со стороны Алексея Ермолаевича (повернул он голову к Эверту), однако они были безрезультатны. Точнее, — результаты были, но совершенно отрицательные: огромные потери у нас и едва ли большие у немцев, а прорыва не получилось.

Что необходимо для успеха дела? Это известно: личность тяжелой артиллерии и неограниченное количе-

ство снарядов к ней. Есть ли это у нас? Насколько я знаю, тяжелой артиллерией мы не богаты. На что же мы можем рассчитывать? На то, что она у нас в скором времени будет? Едва ли я ошибусь, если скажу, что надеяться на это мы не можем. Имеем ли мы право надеяться на то, что немцы сейчас и дальше, скажем, в мае, есть и будут слабее, чем они были в истекшем марте или в феврале? Нет оснований у нас на это надеяться. Наш противник был силен и будет оставаться таким же. Так что единственный вывод, к которому я прихожу, взвесив все «за» и все «против», — это продолжать стоять на занимаемых нами позициях и постараться защитить их, если неприятель перейдет в наступление. Что же касается активных действий с нашей стороны, то они невозможны.

Тут Куропаткин остановился, вопросительно поглядел на царя, увидел полное равнодушие в заволоченных голубым дымом свинцовых царских глазах и умолк, решив, что дальше говорить незачем.

Брусилов сделал нетерпеливое движение, но его готовность возразить Куропаткину предупредил Алексеев. Слегка приподнявшись на месте, он сказал, точно продолжал начатый раньше дружеский спор, мягко и ни для кого не обязательно:

— С вашим взглядом на невозможность наступления не только на Северо-западном фронте, мне достаточно хорошо известно, но и на Западном, я не могу согласиться. Наступать на обоих этих фронтах мы не только должны, но и можем. А что касается поднятого вами вопроса о тяжелых снарядах, о их у нас недостатке, то это мне, к сожалению, приходится подтвердить. Да, у нас мало и тяжелых орудий, но совершенно недостаточно снарядов к ним. Следовательно, надо изыскать способы и средства к устранению этого недостатка. — Тут он обратился к Шуваеву: — Быть может, какие-либо светлые перспективы может нам указать Дмитрий Савельевич?

Человек приземистый, плотный и деловито-спокойного вида, Шуваев отозвался на этот вызов неторопливо, но тоном, не допускающим сомнений:

— Наша военная промышленность дать тяжелые снаряды в большом количестве пока не может. Остается только ожидать, когда их могут доставить наши союзники, но этот процесс — доставка из-за границы теперь, морем — сделался чрезвычайно сложен, тем более что ведь и союзникам нашим дозарезу нужны те же тяжелые снаряды: у себя оторвать, когда у тебя самого не хвата-

ет — на это кто же решится? Своя рубашка ближе к телу. Слов нет, должно наступить время, когда производство тяжелых снарядов там, за границей, перекроет потребность в них, но этим летом такого положения не будет во всяком случае.

Он умолк сразу и с сознанием честно исполненного долга — это заметил Брусилов по выражению облегченности на его широком лице.

Конечно, Алексеев не думал, что великий князь скажет что-нибудь для него новое, когда обратился потом к нему. Но Брусилов понимал, что этого требовал весь ритуал совещания в царском присутствии, и Сергей Михайлович, поерзав по сморщенному немудрому лбу весьма подвижными бровями, заявил, что военный министр вполне в соответствии с фактами обрисовал тяжелое положение с тяжелыми снарядами; как генерал-инспектор полевой артиллерии, он может только подтвердить это.

— Но зато, — оживленно добавил он, — легкие снаряды имеются у нас в изобилии. Легкими снарядами мы можем буквально засыпать фронт. Так что, если бы для наступления достаточно было бы одной только легкой артиллерии и снарядов к ней, то в этом отношении мы богаты.

Алексеев склонил голову, как склоняет ее человек, вполне покорный неизбежной судьбе, но, сделав рукой пригласительный жест в сторону Эверта, добавил к этому жесту многозначительно:

— Ваш фронт, Алексей Ермолаевич, мы считаем и наиболее сильным и наиболее важным. Имея в виду на помощь вашему фронту бросить почти все резервы, просим вас ответить на поставленный вопрос о возможности наступления, приняв во внимание именно это: все или почти все резервы — вам!

Брусилов не то чтобы пытал к Эверту какие-либо личные чувства неприязни, — он его слишком мало знал для этого, — но он просто не признавал в нем способностей, необходимых для руководства фронтом.

Он знал, что Эверт, как и его бывший начальник Иванов, никогда не бывает на позициях, ограничиваясь чтением телеграфных донесений, хотя и сам же поднимал в ставке вопрос о том, что донесения эти сплошь и рядом бывают лживы, что лгут все от мала до велика, чтобы или представить положение лучше, или обрисовать его гораздо хуже, чем оно есть, в зависимости от того, что для них полезней в смысле получения наград и продви-

жения по службе, и что не лгут один только солдаты, которые совершают иногда чудеса геройства, но донесений не пишут.

Брусиков считал также, что последняя операция Эверта, когда он потерял чуть ли не сто тысяч человек, не удалась потому, что была поручена совершенно неспособному генералу Плешкову, что она была подготовлена из рук вон плохо, что для нее было выбрано совершенно неподходящее время: главнокомандующий фронтом преступно непростительно оттягивал начало операции и был захвачен во время ее развития бурным таянием снегов, сделавшим ее продолжение невозможным.

Брусикову чудилась какая-то умышленность, злость со стороны Эверта во всем, что тогда делалось на Западном фронте при его попустительстве. От его выступления теперь он ожидал только открытого нежелания наступать и не ошибся, конечно.

С первых же слов Эверт заявил, что вполне разделяет мнение Куропаткина, но, в полную противоположность униженно и виновато склонявшемуся над столом в сторону царя апостолу «терпения, терпения и терпения», Эверт не поступился ни одной йотой из своего вполне благополучного, молодцеватого вида.

— Оборонительные действия — это все, что мы можем вести на всех фронтах и, в частности, на вверенном мне Западном, — говорил он с большой авторитетностью в голосе жирного тембра. — Наступать при отсутствии у нас тяжелой артиллерии — это значит совершенно бесполезно для дела истреблять людей, как бы значительны у нас ни были людские резервы. Как можно верить в успех наступления, когда попытки к этому уже были и окончились для нас весьма печально? Другое дело, если у нас будет тяжелой артиллерии и снарядов столько же, сколько у нашего противника, — тогда... тогда мы можем быть уверены в полном успехе защиты наших позиций, так как сейчас мы и в этом не вполне уверены, а для наступления мы должны быть сильнее противника по крайней мере вдвое, если не втрое. Вот все, что я могу сказать на основании своего опыта в наступательных действиях.

Совершенно неожиданно для Брусикова его неприязнь к Эверту, укрепившаяся после таких слов, как бы перекинула мост к тому, с чем мог выступить он непосредственно тут же, когда в его сторону обратился Алексеев, сказав не то с улыбкой, не то с какою-то надеждой, осве-

тившей подобно улыбке его простонародное курносое лицо:

— Ну вот! Теперь хотелось бы выслушать вас, Алексей Алексеевич!

Хотя Брусилов и не готовился предварительно к речи, понимая, что это совсем не нужно, но он был в достаточной степени переполнен доводами в пользу если не наступления вообще, то наступления именно со стороны своего фронта, чтобы и начать горячо и продолжать убежденно:

— Я слышал сейчас неоднократные заявления о том, что у нас нет или почти нет, что по существу одно и то же, тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, и, признаюсь, весьма удивлен, что ничего не слышал о наших недостатках в авиации. А между тем, говоря о тяжелой артиллерии, не мешает вспомнить и о том, что мы не в состоянии корректировать навесного огня, потому что не имеем хоть сколько-нибудь порядочных аэропланов в своем распоряжении. В этом отношении противник решительно подавляет нас и количеством аппаратов и умением ими пользоваться. Наши «Ильи Муромцы» оказались ввиду их громоздкости мало пригодными для дела, да их и мало: на моем фронте их совсем нет. Заграничные аппараты в большинстве своем износились, и если кому в состоянии принести ощутительный вред, то это — самим же нашим летчикам. Меня поражает, что мы, столько претерпевшие от неприятельской авиации, все еще недооцениваем этого средства борьбы. У нас были неудачные попытки наступления, и я считаю большой беспечностью с нашей стороны, что мы не изучили всесторонне причины наших неудач, как будто они касаются только одного, скажем, Западного фронта, а не всех других фронтов. У нас, несомненно, есть много недостатков и в повседневном управлении войсками, и в снабжении их боевыми припасами, и во многом другом, и все-таки я беру на себя смелость утверждать, вопреки высказанным здесь мнениям главнокомандующих Западным и Северо-западным фронтами, что мы наступать можем!

Тут Брусилов остановился на момент, чтобы приглядеться к выражению лиц царя и Алексеева. Царь смотрел на него в упор, но без малейшего выражения в глазах, Алексеев же, как ему показалось, удовлетворенно наклонил голову.

— Не может быть никакого сомнения, что общее состояние чужих фронтов знают гораздо лучше меня их

главнокомандующие. Прошли считанные дни, как я сам принял врученный мне Юго-западный фронт. Мне могут сказать, что я и его не знаю, я знаю только свою бывшую восьмую армию, с которой провел много месяцев и которую испытал в многих боях. Но зато я знаю, — уверен, что знаю и очень хорошо знаю секрет наших общих неудач: он состоит в отсутствии со-гла-со-ванности действий.

На огромном общем фронте нашем собраны громадные силы, и численно мы гораздо сильнее нашего противника. Чем же объяснить то, что, когда бы и где бы мы ни вздумали наступать, он в конечном счете оказывается сильнее нас в этом именно пункте и осаждает нас назад? Ответ простой: противник несравненно более подвижен и к раненному нами месту сейчас же притягивает не только закупорку, но и внушительные силы для контратаки. Откуда же он берет эти силы? Из общего резерва? Отнюдь нет: с другого участка своего фронта, против которого наш фронт совершенно бездействует. Из вашего доклада, Михаил Васильевич, — обратился он к Алексееву, — я услышал, что Юго-западный фронт к наступательным действиям не способен.

Я не знаю, на основании чего вынесен этот поистине смертный приговор вверенному мне фронту. Мне кажется, что тут что-нибудь одно из двух: или, вручая мне этот злополучный фронт, меня самого, так сказать, выводят в тираж, исходя из принципа: «по Сеньке и шапка» или «каждый сверчок знай свой шесток», или же, — на что я и надеюсь, — Юго-западный фронт доверен мне затем, чтобы он доказал свою боеспособность под моим руководством. Если я так именно понимаю свое назначение, как оно было предположено высочайшей волей, то мне ничего и не остается больше, как доказать, что я достоин выраженного мне доверия. Стоять в стороне в спокойной позе наблюдателя в то время, как не на жизнь, а на смерть дерутся рядом мои товарищи, я никогда не был способен. Я всегда держался старинного суворовского завета: «Сам погибай, а товарищей выручай!» И теперь я осмеливаюсь думать, что если ударные задачи будут возложены верховным командованием на Западный и Северо-западный фронты, то они не минуют и Юго-западного. Пусть я не добьюсь даже успеха, но зато, несомненно, я значительно облегчу задачу, которая будет решаться к северу от меня. Я привлеку на свой фронт резервы противника и этим его обессилю в других направлениях.

Если на это мое предложение можно мне что-нибудь возразить, то я выслушаю возражение с величайшим интересом, на какой я способен.

Брусиллов чувствовал большой подъем, когда говорил это, но когда он посмотрел на царя, прозрачно окутанного табачным дымом, то увидел, что царь зевал.

Это был не короткий, прячущийся зевок, а очень длительный, самозабвенный, раздражающий челюсти и вызывающий на глазах слезы.

Конечно, царь плохо спал в своем вагоне, пока ехал сюда, но ведь и все здесь, кто приехал на совещание, едва ли спали лучше. Брусиллов вспомнил, что и сам он в истекшую ночь спал не более двух часов. Зевота царя его оскорбила. Зато Алексеев глядел на него вполне благожелательно, и теперь уже ясно было, что он улыбался.

Алексеев сказал, выждав с полминуты, когда он закончил:

— Я ничего не могу возразить против вашего, Алексей Алексеевич, желания принять в наступлении участие и своим фронтом. Но только я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не надеялись напрасно, — мы ничего на ваш фронт дать не можем: ни тяжелых орудий, которых у нас в резерве в обрез, ни больше, чем вашему фронту приходится получить по разверстке, снарядов для тех орудий, какие у вас имеются. Это действительно просу иметь в виду.

— Да ведь я и не заявлял, что надеюсь получить что-нибудь, кроме того, что имею, — отозвался на это Брусиллов. — Для меня будет важно уже и то, что я делаю общее дело вместе с другими, что я не изгой, что фронт мой не какой-то заштатный, и только. Зато ведь я и не обещаю непременно никаких особенно блестящих успехов: я не мечу в какие-то Наполеоны, я не юноша. Роль вытяжного пластыря для резервов противника, вот и вся скромная роль, на которую я прошу, но по крайней мере я буду знать, что вместе со всеми чинами своего фронта буду в свое время занят полезным делом, а не обречен бить баклуши.

Алексеев совершенно успокоенно и даже благодарно, как показалось Брусиллову, кивнул раза два ему головой и перевел ожидающие глаза на Куропаткина. Тот понял, что после заявления Брусиллова ему необходимо выступить снова, что Брусиллов поставил его в неловкое поло-

жение. И он заговорил, стараясь все же избегать какой-нибудь определенности:

— Разумеется, если только от меня не будут требовать успеха во что бы то ни стало, то наступать могут и вверенные мне войска. Наступать хотя бы для того, чтобы создать затруднительное положение для противника в смысле свободного распоряжения резервами, когда будут развивать свой удар армии Западного фронта.

Пришлось сказать несколько слов в том же духе и Эверту:

— Это совсем другая постановка вопроса, когда требование непременно успеха, притом успеха крупного, решающего чуть ли не всю кампанию, снимается и остается просто наступательное действие, а там уж что выйдет, то выйдет. При таких условиях, конечно, свою долю пользы общему делу может принести и вверенный мне фронт.

— В таком случае, как полагаете, можете ли вы быть готовы к наступлению в первые же дни, как позволит это установившаяся погода, — скажем, к середине мая? — быстро спросил его Алексеев.

— К половине мая? — переспросил Эверт, поглядев при этом на Куропаткина. — К половине мая, пожалуй, да. Думаю, что смогу подготовиться.

— А вы, Алексей Николаевич? — так же быстро атаковал Алексеев ученика Куроки.

— К половине мая? — счел нужным повторить и тот. — То есть, через шесть недель? — он посмотрел вопросительно на Эверта и ответил: — Думаю, что это достаточный срок.

— Отлично! Очень хорошо! — заметно повеселел Алексеев. — Вас, Алексей Алексеевич, не спрашиваю, — добавил он.

— Да, разумеется, я постараюсь подготовить свой фронт к середине мая, — сказал Брусиллов, взглянув при этом на царя.

Царь снова затяжно и судорожно зевал.

* * *

Так как подошло время завтрака, то совещание было прервано, хотя оно должно было рассмотреть и обсудить много еще вопросов более мелкого характера — по части снабжения войск продовольствием, оборудования медицинской помощи, бань и прочего, приобретающего те-

перь немалое значение, раз наступление в мае было решено.

Завтракать все были приглашены в дом к царю.

На охране всей ставки числилось полторы тысячи человек, но, конечно, особо тщательно охранялся дом, в котором жил царь, когда приезжал в ставку. На отдельных площадках около дома размещены были пулеметы для защиты от цепелинов.

Дом этот был двухэтажный. Там были и парные наружные часовые, и казаки-конвойцы внутри, и лакеи, и скороход — лицо немалых полномочий. Кроме того, весь дом был наполнен лицами царской свиты, начиная с неизбежного «генерала-от-кувакерии» Воейкова, гофмаршала князя Долгорукова и других свитских генералов и кончая флигель-адъютантами. Фредерикс появился несколько позже вместе с начальником конвоя графом Граббе и флаг-капитаном адмиралом Ниловым.

Зал был не слишком обширен и небогато убран: белые обои, недорогие портьеры, бронзовая люстра, рояль, портреты отца и матери царя в багетовых овальных рамах и стулья вдоль стен.

Здесь царь здоровался с теми, кого не видал в этот день, потом, пригласив движением головы ближайших к нему в столовую, первым вошел в отворенную перед ним настежь изнутри дверь.

Гофмаршал Долгоруков, со списком царских гостей в руках, указал каждому его место за большим столом. Брусилов невольно улыбнулся, глядя, с какой серьезностью он это проделывал, и представляя в то же время, сколько пришлось ему ломать голову, кого куда посадить, чтобы соблюсти и общие правила, — визави царя, например, всегда садился граф Фредерикс, — и примениться к обстоятельствам такого экстренного случая, как сбор в ставку главнокомандующих фронтами и их начальников штабов.

Рядом с царем были посажены — по одну сторону — великий князь Сергей Михайлович, по другую — Алексеев. Рядом с Фредериксом — Иванов и Куропаткин. На них двоих пришлось смотреть во время завтрака Брусилову, так как он сидел рядом с Алексеевым, и потому завтрак в ставке очень живо напомнил ему обед в салон-вагоне Иванова: как там, так и здесь Иванов сидел обиженно молча.

Так же молчалив был он, впрочем, и на совещании, но там случилось Брусилову поймать обращенный к не-

му тяжелый, не то презрительный, не то ненавидящий взгляд: это было как раз в то время, когда он говорил о возможности наступления.

Брусилов понимал, конечно, что ничего сложного не происходит теперь в темной душе этого старого бородача: только тяжкое оскорбление, нанесенное ему тем, что он, считавший себя незаменимым, заменен своим бывшим подчиненным. Даже Фредерикс, по-видимому, понимал, что к нему лучше не обращаться с разговорами, и говорил только с Куропаткиным.

Перед каждым завтракавшим стояли серебряные стопки для вин, причем вина были в серебряных же кувшинах, — однако этим и ограничивалась вся роскошь царского стола в ставку: на войне, как на войне.

Умилительно было наблюдать, как Фредерикс и Куропаткин, оба — старые царедворцы, стремились превзойти друг друга в изысканной угодливости, но Брусилов, которому Куропаткин последних лет был не вполне известен, с интересом наблюдая его, не мог не заметить, что и тот наблюдает его довольно пристально.

После завтрака Куропаткин неожиданно для Брусилова подошел к нему, взял его за локоть, отвел в сторону и заговорил пониженным голосом:

— Послушайте, Алексей Алексеевич, — я в полном недоумении был, когда вы говорили, что можете наступать!

— В недоумении? — повторил тоже недоуменно Брусилов. — Почему же именно, Алексей Николаевич? Да, я вполне могу наступать на своем фронте, — тут никакой решительно натяжки нет.

— Вы можете?.. Впрочем, если даже вы думаете, что можете, то ведь это заставило и меня тоже сказать, что и я могу, а между тем я вполне убежден, что наступление наше окончится провалом.

Маленький старик-полководец, говоря это, совсем потерял всю свою недавнюю приторность: он казался теперь необычайно серьезен.

— Провалом или успехом, — этого мы с вами не можем знать наперед, Алексей Николаевич, — столь же серьезно сказал Брусилов. — Наконец, роль вашего фронта, насколько я понял, будет вспомогательная, а главная выпадет на долю Западного.

— Западного? — Куропаткин быстро оглянулся, ища глазами Эверта, и продолжал почти шепотом: — Западный, кажется, доказал уже, что наступать он не способен.

Каких же еще нужно доказательств, если его мартовская операция для вас неубедительна? Я чрезвычайно сожалею, что не был осведомлен заранее о ваших взглядах на этот предмет. Мне кажется, я мог бы поколебать вас в этом решении вашем, если бы знал о нем. Генерал Эверт тоже изумлен, — я успел перекинуться с ним двумя словами. Однако, мне думается, еще не поздно заявить о том, что вы... как бы это выразиться... переоценили возможности своего фронта и недооценили нашей общей бедности в снаряжении. Вот вы же говорили, что у нас очень мало аэропланов. Да, да, конечно, до смешного мало сравнительно с немцами! Как же мы можем надеяться на успех, когда мы — слепые, а они — зрячие? Они о нас будут знать решительно все в то время, как мы о них ничего! Какой же успех мы может иметь, — не понимаю.

— Успех зависит от очень многих причин, — сказал Брусилов, — а самое главное, от того, как будут вести себя войска.

— Вот видите! — подхватил Куропаткин. — Как будут вести себя войска? Отвратительно будут они себя вести, ниже всякой критики будут себя вести, — вот как!.. Алексей Алексеевич, прошу вас выслушать мой совет, — переменял он тон на вкрадчивый и сладкий. — Советание еще не закончилось. Поднимите этот вопрос снова под предлогом внести в него ясность!

— Поднять вопрос снова? Зачем? — удивился Брусилов. — Чтобы его перерешили?

— Разумеется! Разумеется, именно за этим!

— Нет, Алексей Николаевич, этого я не сделаю, — твердо сказал Брусилов, и Куропаткин потемнел и начал смотреть на него с сожалением.

— Охота же вам рисковать всею своей военной карьерой! — покачал он сокрушительно головой. — Ваше имя сейчас стоит высоко. Вы получили фронт за боевые заслуги в этой войне, и вам бы надо было поберечь свой ореол, а вы сами подвергаете его опасности!.. Раз о вашем фронте сложилось в ставке убеждение, что он не боеспособен — и превосходно! В наступление, значит, не переходить, своим новым постом не рисковать, шеи себе не ломать, — чего же вам больше? Какую пользу, скажите мне, желаете вы извлечь из поражения, которое совершенно неизбежно?

— Пользу мне лично? — оскорбленно вскинул голову Брусилов. — Я ищу и желаю пользы только для России,

а совсем не для себя. Поста главнокомандующего я не искал, и он свалился на меня, как полная неожиданность, и если для дела, для пользы службы России, а не моей личной, меня отчислят за негодностью в отставку с назначением ли в Государственный совет, или даже без такой любезности, я несколько не буду этим оскорблен или огорчен, поверьте!

Последние слова вырвались у Брусилова потому, что он вспомнил Иванова. Куропаткин же, как бы испуганный даже нетактичностью своего собеседника, который незаметно для себя несколько повысил голос, поспешно отошел от него, вздернув плечи.

После завтрака совещание продолжалось еще несколько часов, но вопрос о наступлении уже никем не поднимался больше, — он считался решенным как Алексеевым, так и царем, который звал теперь совершенно неудержимо.

Совещание закончено было к обеденному часу. Обедали в той же царской столовой. Тут же после обеда главнокомандующие разъехались, едва успев проститься друг с другом и ни одним словом не обменявшись по поводу будущих совместных действий.

Единственное, что подметил Брусилов в лице царя, когда откланивался ему, было довольное выражение, что наконец-то скучнейшее совещание он кое-как высидел и теперь может уснуть.

Брусилов не знал, однако, что был человек, покушавшийся на это вполне законное предприятие монарха величайшей империи в мире. Человек этот был «состоящий при особе царя» Иванов.

Он вдруг обрел дар речи, оставшись около царя, когда разошлись почти все другие. Он имел чрезвычайно взволнованный вид, и голос его дрожал, когда заговорил он:

— Ваше величество, умоляю вас, верноподданнически умоляю вас, предотвратите!

— Что такое? Что с вами?.. Что я должен предотвратить? — изумленно спрашивал его царь, совершенно не понимая, что творится с крестным отцом его единственного сына.

— Предотвратите наступление, ваше величество! — выдавил горлом Иванов, так как его душили спазмы. — Брусилов — гнусный карьерист, — вот кто он, я давно его знаю... Он погубит все армии моего фронта!.. Он послужит причиной гибели и армий всего Западного фронта.

та! Он все дело обороны России погубит, ваше величество!

Иванов сделал такое движение, как будто хотел упасть на колени, и царь едва удержал его. Тем недовольнее он глядел на него сквозь узкие щели отяжелевших век и сказал наконец:

— Почему же там, на совещании, вы не заявили об этом? Ведь вас никто не лишал права выразить мнение... больше того: вы затем и были приглашены на совещание, чтобы высказаться по этому вопросу.

— Я не предполагал, ваше величество, я отказывал себе в мысли допустить, что подобное решение будет принято! — не совсем внятно от душивших его чувств проговорил Иванов, приложив обе руки к сердцу в знак доказательства полной правдивости своих слов, однако он рассчитал плохо.

Был ли причиной тому совершенно неподходящий момент, — ведь говорится, что сон милее родного брата, — или царем были приняты в уважение другие, гораздо более серьезные причины, только он несколько брезгливо и даже в нос отозвался Иванову:

— Теперь во всяком случае вы докладываете мне ваше мнение очень поздно. Решение об открытии наступательных действий принято на совещании и внесено в протокол. Перерешаться этот вопрос не будет.

И он отошел от Иванова, который понял наконец, что возврата к деятельности полководца ему уже больше не будет, что «состоять при особе царя» ему совершенно незачем, что это только позолота горькой пилюли, что единственное осталось ему: отправиться в Петроград, где можно поселиться на казенной квартире с видом на Неву, числиться по Государственному совету, читая газеты с осторожными статьями о неудачах наступления на всех фронтах, доказывать другим, таким же отставным, как и он, что был в свое время совершенно прав, но его не хотели слушать, и запоем писать мемуары.

* * *

Только что вернувшись из ставки в Бердичев, Брусилов разослал телеграммы командующим всех четырех армий своего фронта с приказом собраться в Волочиск.

Он не хотел терять ни одного дня в подготовке наступления. Волочиск был выбран им потому, что был гораздо ближе к линии фронта, чем Бердичев, и добраться

до него участникам военного совета было удобнее и скорее.

И вот они сидели за общим столом для того, чтобы обдумать общее мероприятие огромной важности — наступление на Юго-западном фронте, который, по мнению ставки, к наступлению был совершенно не способен.

И Щербачев, и Крымов, и Сахаров, и тем более Каледин *, — все эти четыре генерала, были гораздо лучше известны Брусилову, чем Эверт и Куропаткин, а главное — они были его подчиненные. Однако даже исполнять прямые приказы они могли всячески, — это зависело от того, насколько они сами способны были верить в успех общего дела.

Еще не открывая беседы с ними, Брусилов вглядывался в их лица, стараясь угадать, можно ли их зажечь тем огнем, какой горел в нем самом. Он переводил глаза с одного на другого, но убеждался, что видит обычные их выражения: внешнюю настороженность, какую особенно ярко проявлял в ставке и Куропаткин, прикрывавшую глубокое внутреннее равнодушие.

Даже наиболее молодой из его помощников, Крымов, — человек большого роста, вполне картинный боевой генерал, — и тот сидел с таким видом, как будто проницательно думал про себя: «Послушаем, послушаем, что ты такое скажешь!»

Вспухшее, точно искусанное пчелами, лицо Сахарова вообще выразительностью не отличалось, и здесь он спокойно-загадочно глядел узенькими, как у калмыка, глазками, выжидая.

Каледин, взявший в свои руки восьмую армию, к которой Брусилов питал вполне понятное доверие и на которую надеялся больше, чем на другие, имел заранее обреченный, понурый вид, а Щербачев, испытавший такую крупную неудачу в декабре, хотя и старался держаться так, как будто ничего особенного с ним не случилось, а главное — он совсем не виноват, но маска привычной самоуверенности плохо держалась на нем.

С выздоровлением генерала Лечицкого, испытанного уже руководителя девятой армии, Крымов, правда, должен был вернуться к своему корпусу, но ведь и от действий этого корпуса тоже многое могло зависеть при наступлении. И Брусилов перебирал в памяти известных ему понаслышке или лично командиров корпусов в других армиях, кроме бывшей своей восьмой. Ему хотелось подвести как можно более прочный фундамент под то

свое убеждение, какое он с большой энергией отстаивал в ставке, — что Юго-западный фронт может наступать и будет, поэтому он медлил открывать совещание.

Но и открыл он его наконец только затем, чтобы передать решение ставки и свое. Он так и начал немногословно и категорично:

— Я счел необходимым, господа, со всей возможной поспешностью, притом лично, поставить вас в известность, что на совещании в ставке решено: в наступлении, предприняемом в первых числах мая Западным и Северо-западным фронтом, принять активное участие и нашему фронту. О мерах подготовки к этому наступлению мне и хотелось бы поговорить с вами, поскольку каждый участок фронта имеет свои особенности.

Сказав это, Брусилов сделал намеренную паузу. Он не думал, конечно, что слова его явятся новостью: он сам приехал с начальником своего штаба, генералом Клембовским, и командующие армиями взяли сюда с собой своих начальников штабов, — при таком многолюдстве нельзя было и надеяться ошеломить слушателей новостью, — но ему хотелось все-таки проследить бегло за выражением лиц, а потом пойти дальше.

Однако его пауза понята была Щербачевым как предлог к дебатам. Он поднялся, узкий, худощавый, стремительный, и заговорил вдруг торжественно:

— Алексей Алексеевич, вы знаете, что я всегда предпочитал наступательные действия оборонительным по той простой причине, что оборона, как бы она ни была блестяща, никогда не приводила и по самой сути своей не может привести к победе. Но в данное время я считаю своим долгом доложить вам, что вверенная мне седьмая армия, по общему состоянию своему, к наступательным действиям совершенно не способна.

— Это все, что вы хотели сказать? — сухо спросил его Брусилов.

— Я могу развить это общее положение, перейдя к частностям, — сказал Щербачев.

— В этом никакой надобности нет, — перебил его Брусилов. — Состояние вашей армии мне известно, также и других армий. И такого вопроса, может или не может та или иная армия наступать, я прошу всех вообще не поднимать на этом нашем собрании. Раз вопрос о наступлении решен в ставке под председательством верховного главнокомандующего, то как же можно заявлять тому или иному из командующих армиями: «Я наступать

не в состоянии»? Решение ставки — это приказ, а приказ должен быть выполнен. Значит, о чем же мы можем говорить и что именно обсуждать сегодня? Только и исключительно об одном и одно: какими способами можем мы выполнить приказ о наступлении, что необходимо для этого сделать?

Сказав это, Бруслов снова сделал паузу, длившуюся всего несколько секунд, но за эти секунды он успел заметить, как выразительно переглянулись два старших командующих армиями — Щербачев и Сахаров — и оба младших — недавние корпусные командиры — Каледин и Крымов. Он видел, что им не понравился даже самый тон, каким заговорил с ними новый главнокомандующий фронтом (Иванов не говорил таким тоном), поэтому он решил укрепить на заседании именно этот тон, сделать его категоричней, чтобы сразу пресечь всякую возможность кривотолков.

— Я очень прошу вас всех, — продолжал он, попеременно глядя при этом то на Щербачева, то на Сахарова, — отнестись к тому, что я сказал уже и что буду развешивать в дальнейшем, не только как к приказу, полученному мною в ставке, но и как к моему личному приказу. Требую от вас отнестись к задаче нашего майского наступления сообразно с правилами воинской дисциплины, от которой вы не только не избавлены своими высокими постами в русской армии, но которую, именно ввиду этого, вы-то и должны в первую очередь соблюдать. Поэтому никаких отговорок ни от кого я не приму, и самое лучшее с вашей стороны будет, чтобы они вами не поднимались.

После таких полновесных слов глаза всех, сидевших за столом, обращены были только на Бруслова, точно он стал освещен вдруг вспышкой магния. Сам же Бруслов, видя это и хорошо зная генеральскую среду, понял, что не столько его резкий тон, не столько смысл его слов произвели впечатление на этих косных людей, сколько убеждение, появившееся, конечно, у каждого, что их новый главнокомандующий получил от царя в ставке какие-то необыкновенные полномочия, каких не имел даже Иванов, несмотря на свою близость ко двору.

Поймав это выражение на всех лицах, Бруслов продолжал говорить дальше уравновешеннее и спокойней, так как основное им было уже достигнуто:

— Показывая его величеству девятую армию в Каменец-Подольске и около него, я удостоился благодарно-

сти государя за тот порядок, в каком были найдены части, хотя заслуга тут была не моя, а генерала Лечицкого. Порядок этот действительно никак иначе нельзя и назвать, как только образцовым. Я вполне убежден, что подобный же порядок найду и в одиннадцатой и в седьмой армиях, которым назначу смотр в ближайшие дни. О своей бывшей восьмой не говорю, так как ее очень хорошо знаю.

Что нам всем известно из опыта последнего года войны? Я не ошибусь, конечно, если суммирую этот опыт в немногих словах: наступательные действия противника удаются, как, например, всем хорошо памятный прорыв фронта третьей армии Макензенем, и приводят к неисчислимым потерям, а наступательные действия наши не удаются, как это мы видим на примере седьмой армии в Буковине и Галиции, или как недавнее наступление на Западном фронте, у генерала Эверта. Возникает естественный вопрос: почему то, что удается противнику, не удается нам?

Тут Брусилов сделал было новую паузу, вопросительно глядя при этом на Щербачева, однако, чуть только тот несколько приподнялся, чтобы сказать, конечно, всем уже набившие оскомину слова о недостатке снарядов и вообще технических средств, Брусилов сделал ему рукою останавливающий жест и ответил на свой вопрос сам:

— Все дело только в тактических приемах, которые наши руководители наступлений стремятся слепо заимствовать у немцев, вместо того чтобы создавать сообразно с обстоятельствами свои приемы. Прием немецких тактиков грубо прост и остается пока неизменным, а именно: собирается кулак против намеченного для прорыва места, и множество собранной артиллерии начинает долбить позиции, пока не продолбит брешь, в которую бросается пехота, а потом конница пускается по тылам, вот и все. Приказываю, — повысил он голос, — этот немецкий прием при нашем готовящемся наступлении решительно отбросить!

Генералы переглянулись в недоумении, а Брусилов, который и не ожидал ничего другого, продолжал уверенно и спокойно:

— В дело должен быть введен другой прием, тоже, разумеется, весьма простой, но почему-то до сего времени никем не применявшийся: каждая из четырех армий вверенного мне фронта должна наметить свой участок для прорыва фронта противника, и, сообразно с тем, ка-

кая из армий будет действовать удачнее других, ее успех незамедлительно будет поддержан и развит силами общештурмового резерва. Но, кроме того, некоторые корпуса, — тут Брусилов проникновенно посмотрел на Крымова, — тоже должны будут начать земляные работы, как подготовку к наступлению, причем это, разумеется, неминуемо станет известным противнику и неминуемо же собьет его с толку относительно настоящих направлений прорыва в каждой из армий. Противник будет видеть сверху, с аэропланов, и будет фотографировать, конечно, нашу подготовку на боевое сближение с ним в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, наконец, — и куда же именно командование его должно будет стягивать свои резервы? Между тем резервов у него немного, это известно нам. Вся сила его заключалась только в том, что эти резервы он умел стягивать к одному, нужному в тот или иной момент пункту, а мы этого не умели делать. Чем же он превосходил нас? Только ли тем, что у него более совершенная техника и более развитый транспорт? Нет, еще и тем, и главным образом тем, что держал в своих руках инициативу. Этот-то шанс мы и выйдем из его рук, когда начнем наступление сами.

Брусилов говорил долго, так как ему было о чем говорить, и с подъемом, так как здесь, в кругу своих ближайших помощников, он уже почти осязательно представлял, во что может вылиться задуманная им операция, при одном только условии — если на фронте той армии, которой удастся прорыв, сумеют ковать железо, пока горячо, не дадут остыть развязанной энергии войск. Эта армия, на долю которой выпадет успех, должна была быть, по его мнению, не какая-либо другая, как только его бывшая, восьмая, и в конце своей речи он сказал об этом:

— Каждый успех той или иной армии я буду поддерживать всемерно, но главный удар все-таки намечается мною в направлении Луцка, то есть почетнейшая задача выпадает на долю восьмой.

Так как при этом он остановил глаза на Каледине, то это привело в смущение очень быстро выдвинувшегося генерала, к тому же только недавно вернувшегося после тяжелого ранения в строй. Теребя усы и с заметным трудом поднимая голову, запинаясь, глухо заговорил Каледин:

— Я не могу не быть благодарным за доверие ваше, Алексей Алексеевич, к моим... э-э... возможностям... глав-

ное же — возможностям командуемой мною армии... но не могу также не напомнить... э-э... что неприятель именно на Луцком направлении... чувствительно укрепился, так что мне кажется, что атака в лоб таких позиций не будет... э-э... не может даже быть успешной... Это заявить я считаю своим долгом.

Брусилов довольно давно уже знал Каледина, — еще до войны, по Киевскому военному округу, — и знал его тогда как прекрасного начальника кавалерийской дивизии. Благодаря его личному представлению Каледина получил корпус и никому другому, после отказа Клембовского, он, Брусилов, не хотел бы передавать своей армии, — только этому сумрачному с виду, но деловому генералу. И вот этот генерал повторяет то, что сказано было до него Щербачевым и что он, Брусилов, требовал не повторять.

— Я... я знаю позиции противника в Луцком направлении лучше, чем можете знать их вы, — резко возразил Каледину Брусилов. — Я... я знаю состояние восьмой армии также гораздо лучше, чем успели узнать ее вы! Если мною выбрано именно это, Луцкое направление, то я преследовал тут и другую цель: поддержать наступление соседних с восьмой армией войск генерала Эверта, так как ему, Эверту, вручается главная роль: он — в корню, а мы — на пристяжке. Но в крайнем случае, если вы заранее уверены в неуспехе на Луцком направлении, мне придется из восьмой армии передать решающий удар в смежную — одиннадцатую и действовать в направлении на Львов.

После этих слов пришла очередь обеспокоиться генералу Сахарову, но он только покорно наклонил круглую голову на апоплексической шее в сторону Брусилова, понимая уже, что какие-либо возражения будут совершенно бесполезны. Но зато Каледина оказался не в состоянии перенести то, что он оттирается от основного удара, а Сахаров, которого он нисколько не уважал, может вдруг получить большую славу только потому, что смалодушествовал он, Каледина. Поэтому он заговорил снова:

— Алексей Алексеевич, позвольте мне объясниться: я не так вами понят! Я ведь сказал только, что... э-э... позиции противника на Луцком направлении очень сильны, и они действительно сильны... Но я ведь не отказываюсь атаковать их! Ответственность, только одно это, — ответственность за неудачу, в случае если она постигнет мои усилия, — вот единственное, что мною учитывалось...

э-э... что меня беспокоило и сейчас беспокоит... а усилия, все усилия с моей стороны, разумеется, будут приложены.

— Ответственность за неуспех, если оп вас или другого постигнет, падет в конечном итоге на меня, конечно, — спокойно сказал на это Брусилов. — А я ведь не непременно жду успеха там, где мне хотелось бы его схватить. Очень может случиться, что на Луцком направлении дело ограничится слабым успехом, а решительный результат обнаружится, скажем, на Львовском или любом другом. Ясно должно быть для всех, что я буду стараться раздуть этот решительный удар всеми резервами, какие у меня найдутся, так как руководить всею операцией в целом буду ведь я, и единственное, что я прошу от вас, это — донесений мне незамедлительных и правдивых. Конечно, все вы будете просить подкреплений, но вы понимаете, что я-то должен же на основании фактического, а не сумбурного какого-то, с бухты-барахты, донесения расходовать резервы и слать их туда, где без них вполне могли бы обойтись, и лишать их тех, кто в них действительно нуждается, хотя и предпочитает истошным голосом не вопить об этом.

Новшество, предложенное Брусиловым, казалось со стороны как будто и небольшим, однако оно совершенно опрокидывало привычные представления собранных им на совет генералов, причем все эти генералы были академисты, не академистом же среди них был только он сам, их начальник. Вспомнив об этом, Брусилов добавил:

— Мне могут сказать, что если с волками жить, то по-волчьи надо и выть, и что тактический прием немецкого командования, а именно — сильнейший кулак только в месте намеченного прорыва, есть прием безусловно существенный, а тот прием, какой я хочу провести на своем фронте, с самого начала уже распыляет мои силы, и вместо кулака может получиться только пятерня, годная разве что для пощечины, а не для сокрушения зубов, но справиться с такими безусловно сильными позициями нельзя без военной хитрости. Позиции эти укреплялись девять месяцев; они стоили австро-германцам и много трудов, и много искусства, и много средств. На что же я надеюсь, решаясь атаковать их? Как это ни звучит парадоксально, я надеюсь только на то же самое, на что надеются и австро-германцы, то есть на то, что они очень сильны.

Это заявление не могло не вызвать недоумения со стороны генералов, и Брусилов закончил так:

— Надеюсь на их неприступность, высшее командование германской армии начало оттягивать свои дивизии с нашего фронта на запад: падеясь на их крепость, высшее командование австрийцев снимает кое-какие свои дивизии на итальянский фронт. По данным нашей разведки, против нас теперь, то есть против Юго-западного фронта, стоит армия общими силами не свыше полумиллиона человек, но есть надежда у меня, что она с течением времени отнюдь не увеличится, а только уменьшится. Так что численность неприятельских войск нас страшить не может, а преодолеть то, что они понастроили против нас, это уж дело вашей настойчивости и вашего искусства.

Сказав это, Брусилов поднялся, давая этим понять, что им сказано все и что теперь должна начаться усиленная подготовка фронта.

* * *

Дивизия, в которую входил полк Кюна, была третьеочередная, собранная исключительно из бывших ополченских дружин, но зато командовал ею боевой генерал-лейтенант Константин Лукич Гильчевский*, и вскоре после того, как он узнал, что паступление окончательно решено и намечено на средние числа мая, он явился в расположение своих полков в целях окончательного подсчета всех своих сильных и слабых сторон.

Были в старину сверхсрочные унтера, остававшиеся на военной службе до старости: таким унтером, украшенным серебряными и золотыми шевронами на рукавах мундира и шинели, был и отец генерала Гильчевского в одном из кавказских полков, и едва ли надеялся он когда-нибудь на то, что сын его, поступивший добровольцем в пехотный полк во время русско-турецкой войны, получит прапорщика, как отличившийся при взятии Карса, будет принят после войны в Академию генерального штаба, которую успешно окончит, и пойдет потом шагать от чина к чину.

Он и шагал бы безудержно и далеко бы, может быть, шагнул, если бы не отказался умирять рабочих в Кутаисе, когда командовал Мингрельским полком в 1905 году. Это сильно затормозило его дальнейшее продвижение по службе, но все-таки он получил второй гене-

ральский чин и вместе с ним дивизию из второочередных полков, с которой и прославился в начале войны и прощтрафился снова, так что был временно отставлен. Однако недостаток генералов заставил высшее начальство снова поставить его во главе дивизии и даже больше того: теперь ему, как боевому генералу, дали ни больше, ни меньше как задачу прорыва фронта. — одну из нескольких, правда, подобных задач, но другие задачи выпали на долю кадровых дивизий, его же, ополченская, носила трехзначный номер, а названия полков в ней были неслыханные до этой войны в русской армии.

Ему было уже под шестьдесят, но у него задорно еще светились круглые серые глаза под получерными-полуседыми бровями, и серый волос на голове его был еще густ, и голос еще звонок, и в поясе он был гибок, и по-кавказски неутомимо подолгу он мог держаться в седле, предпочитая верховую лошадь генеральской легковой машине, на которой далеко не везде можно проехать, а близко к позициям лучше и совсем не подъезжать.

Он любил также по-кавказски кутнуть в хорошей компании и по приличному поводу и, разойдясь, спрашивал, хитровато щурясь:

— А ну-ка, ответьте на Наполеонов вопрос: что будет выгоднее для дела — войско львов, предводимое баранами, или войско баранов, предводимое львами?

Конечно, Наполеонов вопрос этот знали и отвечали, как требовал сам Наполеон, что войско баранов под предводительством льва выгодней, потому что боеспособней.

Тогда он бил себя кулаками в грудь и добавлял:

— Это — я и моя ополченская дивизия!

Так же было и с его первой дивизией из запасных, которая делала в его руках чудеса на фронте, но, воспользовавшись однажды его крепким сном после кутежа, как-то так, здорово живешь, ненароком, по небрежности сожгла целый небольшой австрийский городок, только что перед тем взятый ею же с бою.

За это-то художество «баранов» и отчислили в резерв «льва», однако не сразу. Он должен был совершить еще подвиг, от которого благоразумно отказался генерал, уже явившийся было ему на смену. Этот подвиг был — форсирование с боями реки Вислы, имевшей в том месте полверсты в ширину, причем на реке не было никакого моста, — его еще нужно было сделать.

По замыслу высшего командования предполагалось произвести здесь не столько переправу через Вислу,

сколько демонстративные действия, имеющие характер переправы. Настоящая переправа войск происходила гораздо севернее, но об этом не было дано знать Гильчевскому, он понял приказ буквально и принялся за дело с тою энергией, которая его отличала, тем более что распоряжение шло от Лечицкого, а это был генерал серьезный.

В виду неприятеля, занимавшего позиции на другом берегу Вислы, с лесопильного завода, расположенного верстах в двенадцати от русских позиций, начали доставлять доски для постройки моста. Над этим трудилось много полковых лошадей и много людей, но это был мирный труд. Немцы с другого берега широкой реки наблюдали его спокойно: пока мост не был перекинут через реку, им и беспокоиться было нечего, а вот строить мост под орудийным и пулеметным огнем — это могло, конечно, привлечь пристальное внимание кого угодно, не только немцев.

Гильчевский достал не только доски, но и булыжник для башмаков козел моста, — горы этого булыжника привезли подводы на берег, — и железо, и скобы, и гвозди, и канаты, — строить так строить, — нужно, чтобы все при этом было под руками, но прежде всего, конечно, надо было отогнать подальше зрителей с другого берега, а для этого переправить каким-нибудь образом свою дивизию на тот берег и занять позиции немцев.

Это было то самое, чего испугался его заместитель, засевший пока в штабе корпуса в ожидании, когда сломает себе на этом голову Гильчевский.

Однако Гильчевский ломал голову только над переправой и ломал не зря. Он изъездил верхом весь свой участок берега, — приблизительно верст двадцать, — и хорошо изучил и глубокую реку с ее быстрым течением, крутыми берегами и широкой, версты на три, на четыре, долиной, и небольшие заросшие ивняком острова на ее старом русле. В эти-то острова он и вцепился.

Берега Вислы здесь были чрезвычайно густо заселены: польские деревни, еврейские местечки, отдельные фольварки, господские дома в имениях польских помещиков, окруженные парками, — все это, с одной стороны, содействовало продвижению дивизий к намеченным для переправы островам, с другой же — убеждало в том, что сделать это втайне от противника, хотя бы и пользуясь ночами, было невозможно: глаза и уши его непременно должны были таиться тут везде.

Гильчевский пустился на хитрость, чтобы сбить с толку и противника и его шпионов: днем он развил большую суету в одном, более удобном для переправы месте, чтобы ночью начать переправу в другом, менее удобном на любой взгляд. Он учел при этом и то, что против места, выбранного им для демонстрации, тянулись позиции, занятые германцами, а позиции против островов, намеченных для переправы, занимали австрийцы.

Но где бы и как бы ни переправлять дивизию, этого нельзя было сделать без каких-нибудь, хотя бы и небольших, лодок. Однако у приречных жителей лодок не оказалось. С трудом удалось узнать, что лодки были, но владельцы сознательно утопили их, чтобы сохранить от реквизиции. Действительно, когда в хмельниках помещичьих имений нашли длинные жерди, то при помощи жердей этих разыскали утопленные лодки; выбрали из них камень, подняли, и Гильчевский довольно потер руки от удачи. Теперь оставалось только приступить к переправе передовых отрядов там, где намечена была демонстрация.

В сумерки 9 октября эта демонстрация началась и, конечно, встречена была орудийными залпами немцев, но зато в ту же ночь на 10 октября пять батальонов переправилось где вброд, где вплавь, где на лодках, которых было всего несколько штук, от острова к острову, на другой берег Вислы, выбили австрийцев из их окопов и закрепились в них при поддержке артиллерии, стоявшей на берегу.

Беспрерывная артиллерийская пальба доносилась на другой день с севера, около Ивангорода, где завязались серьезные бои, так что, выйдя на левый берег, дивизия Гильчевского должна была ударить во фланг австро-германцам, — так он сам понимал свою задачу. Поэтому, лично руководя переправой полков, он руководил и боем, пока наконец то, что считалось совершенно невыполнимым с точки зрения теории, — форсирование широкой реки без малейшего подобия моста и под обстрелом сильно укрепленных позиций противника, — не закончилось вполне успешно, хотя проводилось и не одну только ночь, а захватило еще четыре дня и три ночи.

За это время у самого Гильчевского не раз возникали сомнения, не подтянет ли противник достаточных сил, чтобы опрокинуть и утопить в Висле и авангард его и другие батальоны, которые он вводил в дело постепенно, не имея средств для переброски их разом: на пяти-шести

лодчонках много людей не поместишь, но ведь, кроме людей, нужно было переправлять и лошадей и орудия.

В то же время никаких новых указаний он не получал, — значит, прежние оставили в силе. Ему приходилось думать, что начальство знает и силы и замыслы врага и где-то в другом месте проводит против него основательный нажим, а он должен не только приковать к себе немецкие и австрийские части, но еще и расколотить их и все это сделать со своими запасными, которые весьма упорно продолжали считать себя если и взятыми в ряды армии, то исключительно для службы в тылу, а не для сражений на фронте.

Во всей дивизии был только один штаб-офицер — подполковник, командовавший одним из полков, и его-то поставил Гильчевский начальником авангарда. Однако и он, кадровый офицер, не был уверен в успехе штурма неприятельских позиций, назначенного Гильчевским в ночь с 12 на 13 октября; он просил перенести его на утро, когда солдаты будут, по крайней мере, видеть, куда именно они идут на штурм.

Гильчевский в ответ на это только подтвердил свой приказ и ждал потом, что из этого выйдет: он считал, что штурм подготовлен артиллерией, и думал, что ночью его запасные будут действовать отчаянней. Артиллерия замолкла как с русской стороны, так и со стороны врага. Настала тишина. И вдруг — «ура» с того берега. Сначала жидкое, оно становилось все могучей, и трескотня пулеметов и винтовок не могла его заглушить.

Это значило — начался штурм. Но его могли отбить, могли опрокинуть штурмующие колонны в Вислу... В землянке у своего офицера связи сидел Гильчевский и смотрел на него выжидающе, время от времени повторяя: «Ну? Что? Ничего нет?..» Провод мог быть, конечно, и перебит пулей теперь или перед атакой осколком снаряда... Гильчевский скрипел зубами, выходил из землянки, вглядывался в сырую темь, откуда «ура» хотя и продолжало еще доноситься, но уже гораздо слабее, а выстрелы показались громче и чаще.

Наконец затихло там все — ни ура, ни выстрелов... Что же там происходит? Тонут его солдаты в реке?.. Не забыл в то время Гильчевский никаких крепких слов, которыми вспоминал он свое начальство, давшее ему приказ, заведомо неисполнимый... Но вдруг дошло до связи-ста первое донесение с того берега: «Позиции противника взяты, идет подсчет пленных...»

— Ого! Ого, запасные!.. Вот тебе и запасные! Знай наших! — радостно выкрикнул Гильчевский и вытянул из кармана полфляги коньяку.

Потом пришло другое донесение: «Пленных 700 с лишним человек, из них 13 офицеров».

Для того чтобы броситься на штурм, солдаты должны были перейти вброд через проток — рукав Вислы — по грудь в воде, держа вещевые мешки и винтовки над головой. Как бы ни энергично вели обстрел батареи в течение дня, но гарнизон противника понес не такие большие потери, если после сопротивления сдалось еще несколько сот человек: можно было предположить, что не меньше бежало в тыл, пользуясь темнотой ночи. Эти бежавшие, конечно, должны были притянуть к утру гораздо более крупные силы, и вот перед Гильчевским встал вопрос, что делать дальше. Он решил в эту же ночь перебросить на тот берег всю остальную дивизию.

И переправа началась, тем более что накануне удалось поднять со дна реки уже не рыбацью лодку, а целую баржу, на которую погрузили теперь пушки. К утру на другом берегу было уже одиннадцать батальонов, восемь орудий и две сотни донцов. Это позволило отбить контратаку противника, который ввел на другой день в дело бригаду босняков с артиллерией. Отбитые босняки окопались вблизи, ожидая подкреплений. Гильчевский тоже мог бы, как сделал бы другой начальник дивизии на его месте, остаться вблизи боевых действий около остальных пяти батальонов и пяти восьмиорудийных батарей, расположенных на правом берегу, и отсюда руководить действиями большей части дивизии, переброшенной на левый.

Однако он предпочел переправиться на каком-то наскоро сбитом плоту, причем случилось так, что через проток ему пришлось идти вброд наряду с солдатами. Это его отличало от других генералов, тем более от академиков, что он не переносил неизвестности, неразлучной с сиденьем в тылу, когда дивизия его вступила в бой.

Свои одиннадцать батальонов на бригаду босняков он вел уже сам, начав штурм их окопов в четыре часа ночи. Штурм этот был так же удачен, как и первый. Окружены были все передовые позиции противника, захвачено больше шестисот пленных с офицерами, гаубичный парк, и от окончательного разгрома босняков спасли только их быстрые ноги.

Впрочем, преследовать их было запрещено командиром

корпуса, приславшим в этом смысле строгий приказ. Предписывалось заняться постройкой моста.

Пришлось приступить к строительству, хотя материалов для моста было собрано не так много и качество их было плохое. Но через несколько дней на буксирных пароходах прибыл наконец из Ивангорода понтонный мост.

Вслед за тем явилась возможность отчислить Гильчевского в штаб корпуса с передачей им своей дивизии тому самому генералу, который выжидал в штабе более легких задач, чем форсирование Вислы без всяких надежд на удачу.

Никто из высшего начальства не обратил внимания на то, за что иного любимца судьбы могли бы выдвинуть или хотя бы отметить, и целую зиму Гильчевский был не у дел. Только в марте 1915 года он получил дивизию, которую надо было еще самому формировать из дружин, притом в большом портовом городе — Одессе.

Впрочем, долго с этим возиться не пришлось, — фронт требовал пополнений.

Вооруженные берданками, снабженные старинными запасами патронов с дымным порохом, дружины потянулись в Буковину, — в тот краешек ее, который был близок и к Каменец-Подольску, и к Хотину.

В каждой бригаде этой дивизии было шесть дружин, а при каждой из дружин по конной сотне и по батарее в шесть орудий. Так они и действовали в первых своих боях: стреляли отсыревшими патронами сорокалетней давности, причем пули летели не дальше как за пятьдесят шагов, а сами стрелки окутывались непроницаемым для глаз дымом, под защитой которого можно было бросать свои окопы и уходить, что они и делали, так как никакой дисциплины не знали. Бывало и так, что и окопы свои рыли они, обращая их фронтом не к противнику, а в тыл, — до того не умели они располагаться на местности. Офицеров было очень мало; все они были или из отставки, отягченные годами, болезнями, но отнюдь не знаниями боевых действий, или зауряд-прапорщики, что было не лучше.

И вот такую дивизию получил боевой генерал, причем времени на ее обучение ему не было дано, — она была брошена на фронт отстаивать отечество. Выходило так, что не зачисление в резерв генералов на полгода, а назначение командиром такой дивизии было подлинным наказанием для Гильчевского. Он все-таки привык ценить себя, если даже не ценило его начальство, но в

первые дни и недели на новом для себя фронте и с совершенно небоеспособными дружинами что мог он сделать против неприятеля, прекрасно укрепившегося, вполне дисциплинированного, в изобилии снабженного новейшим оружием и боеприпасами?

Он мог удивляться только тому, что не делал ничего и противник, только сидел в своих отлично оборудованных окопах и не то чтобы стрелял даже, а постреливал, — держал фронт и давал понять, что всего у него вдоволь, что воевать для него — приятное занятие, поэтому к каким-нибудь решительным действиям, которые бы сократили это удовольствие, он не стремится.

В то время как австрийцы защитили свои окопы сплошной стеной колючей проволоки на четырех рядах кольев и выбрали для окопов командующее положение, дружины должны были закапываться в землю в сырой низине, и ни колья, ни проволоки им не доставляли долгое время. Много настоятельных требований об этом послал по начальству Гильчевский, пока наконец-то явилась возможность забить хоть один ряд кольев, а также раздать в дружины вместо берданок японские винтовки, которыми надо было еще научить пользоваться ополченцев, привыкших уже из-за дыма берданок не замечать, производит ли какое-нибудь действие их стрельба или нет.

Каждый день делал Гильчевский то, чего нельзя было даже и вообразить в русской армии того времени, — он, начальник дивизии, обходил окопы всех своих двенадцати дружин, проверяя лично чуть ли не каждого ополченца, не говоря об офицерах. Но когда в конце апреля 1915 года получил приказ о наступлении на своем участке фронта, он все-таки ахнул от изумления.

— Кто же сидит в штабе корпуса и армии, какие мерзавцы, хотел бы я знать? — кричал он у себя в штабе дивизии. — Как же мы будем наступать, когда у нас нет даже ножниц для резки колючей проволоки? Как наступать, когда у нас почти нет снарядов? И против кого наступать мы должны с голыми руками? Против австрийцев, у которых снарядов горы, которые по одиночным людям нашим не стесняются из орудий лупить! Хороши мы будем, если начнем наступать! Красивый вид мы будем иметь, когда нас возьмут в работу!

Однако приказ он выполнил и если к чему стремился, то только к тому, чтобы уберечь своих ополченцев от больших потерь, когда австрийцы пошли в контратаку,

показав при этом, что у них есть в глубине позиций даже и двенадцатидюймовые орудия, а по колючей проволоке пропущен с электростанции ток. Так защищали они в апреле 1915 года г. Черновицы, который штаб девятой армии намерен был взять силами двух рядом стоявших дивизий из ополченских дружин.

Впрочем, отогнав вздумавшие наступать дружины, австрийцы тоже не пошли вперед: они снова засели в свои чистенькие сухие окопы, наводя этим на размышления привыкшего к кинучим действиям Гильчевского. Но это был крайний левый фланг тогдашних русских позиций Юго-западного фронта, а серьезные действия готовили австро-германцы не против девятой армии генерала Лечицкого, а против третьей, — которой командовал Радко-Дмитриев, — стоявшей на Карпатах и угрожавшей вторжением в богатые долины Венгрии.

Гром и грянул именно там в ближайшее время, а здесь, против Черновиц, раздались только его отголоски. Со стороны противника появились новые части, между ними и бригада баварских улан, и началось наступление, которое готовилось с ранней весны. Штаб корпуса приказал Гильчевскому, как и начальнику другой ополченской дивизии, отступать планомерно, а сам умчался в тыл сразу верст на сто.

Отступать под натиском значительно превосходящих сил — трудное искусство. Не раз случалось, что, поддавшись панике, ополченцы-артиллеристы бросали свои орудия, хотя и бесполезные, правда, в тот момент из-за отсутствия снарядов, а пехотинцы накидывались на свои же обозы, сбрасывали с повозок обозных, садились в них сами и, нахлестывая коней, мчались в тыл по дорогам и по хлебам вдоль дорог...

Гильчевский сам собирал, кого только удавалось собрать, чтобы приостановить напор противника арьергардными боями, пока не закрепился наконец там, где представлялась возможность защищаться продолжительное время. Но это было уже за Хотинном, на подступах к Камепец-Подольску, так что пришлось бросить и долину Прута и перейти через Днестр.

Не только удалось укрепиться, но даже неугомный Гильчевский решил перейти сам в наступление на австро-германцев, пользуясь тем, что они тоже приостановились и начали окапываться на вновь занятых рубежах.

Местность была богатая. Огромные сливовые сады окружали частые деревни. В одной из них, прилегавшей



к Хотинскому шоссе, был большой сахарный завод, занятый противником. Туда-то и решил направить Гильчевский свой удар. Это была вполне понятная для всех ополченцев цель, и радовалось сердце начальника дивизии, когда, после артиллерийского обстрела завода, ринулись туда среди бела дня, — в четыре часа пополудни, — три дружины.

И завод был взят к ночи — это было первое удачное дело дивизии, за которое Гильчевский готов был расцеловать каждого из своих ополченцев, будь то зауряд-прапорщик, будь то рядовой. Этот завод был ключом новых позиций противника, поэтому последствия успешной атаки оказались гораздо более крупными, чем ожидал Гильчевский: в следующую ночь австрийцы очистили все, что было ими занято, и откатились к старой линии своих окопов.

Гильчевский повел свои дружины следом за ними, чтобы не потерять соприкосновения с врагом, между тем как другой ополченской дивизии рядом с ним теперь не было, а штаб корпуса успел забраться так далеко, что о нем ничего не было слышно. Дивизия действовала так, как будто одна она представляла все русские силы между Днестром и Прутом в направлении Черновиц.

И нужно же было, чтобы как раз в то время, когда дивизии удалось нагнать противника, нагнал дивизию и офицер, посланный вдруг проявившим признаки жизни где-то в тылу командиром корпуса генералом Федотовым. Офицер этот привез категорический приказ остановиться и ждать подхода остальных частей корпуса — второй ополченской дивизии и конных полков.

Пришлось остановить дружины, горевшие желанием боя, но это значило дать противнику возможность и время подготовить как следует отпор, тем более что он занял холмистую местность, покрытую буковым лесом, — очень удобную для защиты и трудную для нападения.

Подошла вторая дивизия; подошли даже и кавказские пластуны, которые, пробыв перед тем несколько дней в Севастополе, отправлены были потом морем в Одессу. Однако, как ни приятно было Гильчевскому иметь у себя под боком кавказцев, с одной стороны, и вторую дивизию ополченцев — с другой, он горестно бил себя по бедрам, прикусывал ус и грозил кулаком в сторону предполагаемой штаб-квартиры Федотова, приговаривая:

— Эх, вот кого бить некому, а следует! Пропустил время, лодырь божий!

Относительно пластунов он знал еще по Кавказу, что они не признают никаких окопов и никогда не занимаются саперным делом, что вместо окопов у них кусты, пеньки, камни, но они — местные стрелки. Пренебрежение к окопам прощалось им на Кавказе, но здесь была другая война, и тревожно было за них: как-то они себя здесь покажут?

Впоследствии пластуны приспособились и к этой войне, и противник их очень боялся, но в эти дни неудача ожидала всех, так как пришлось атаковать врага на его старых, давно им обжитых позициях.

Даже те двенадцатидюймовые гаубицы, которые были уже знакомы дивизии Гильчевского, заговорили снова, делая огромные воронки десятиметровой глубины. Три атаки одна за другой были отбиты венгерскими и хорватскими частями, и, хотя несколько окопов было взято, их все-таки пришлось оставить. Потери были значительны, и единственным результатом этих атак явилось только то, что, укрепившись потом вблизи австрийских позиций на австрийской же территории, ополченская дивизия Гильчевского оказалась единственной в этом отношении дивизией во всей русской армии, продолжавшей отступление в глубь своей страны.

После того надолго установилось затишье в этом углу фронта. Летом из двенадцати дружин каждой из двух ополченских дивизий 32-го корпуса были сформированы по четыре трехбатальонных полка, командиры которых были присланы из полевых войск, а бывшие командиры дружины стали командовать батальонами. Самое слово «ополченец» было с тех пор вычеркнуто из обиходной даже речи.

— Ну, братцы, раз вы назвались груздями, так полезайте теперь в кузов! — сказал своим теперь уже обстрелянным питомцам Гильчевский и приступил к их окончательной шлифовке, когда тот или иной полк поочередно находился в резерве.

Тут все тогда делалось при нем: и показная атака позиций, укрепленных рядами проволочных заграждений, и решение тактических задач на местности, и вождение войск в лесах, для чего было выписано много компасов. Последнее было самым трудным делом: части, попадавшие в лес, очень быстро теряли и направление и связь и становились беспастушьим стадом. Тут же делались са-

перами ручные гранаты из консервных жестянок, заготовлялись рогатки, которые потом по ходам сообщения выносились к передовым окопам.

Все научились тогда резать ножницами колючую проволоку, но на деле оказалось, что одно дело заниматься этим у себя в тылу и совсем другое — под огнем противника. Однако введенного тогда уже французами способа уничтожения проволочных заграждений при помощи гранат в русской армии еще не знали.

Даже учебную команду на триста человек для подготовки унтер-офицеров учредил в своей дивизии Гильчевский. Никто не помогал ему в работе ни из штаба корпуса, ни тем более из штаба армии, но он был рад и тому, что никто не мешал. Так простояла его дивизия до конца года, когда весь корпус был переведен в восьмую армию Брусилова, в район города Ровно, на Волыни, где и застала его весна 16-го года.

Через месяц после того, как утвердился здесь Гильчевский, он, по своей личной инициативе, повел атаку одним из полков на высоту противника, с которой тот обстреливал и днем и ночью из винтовок и пулеметов дорогу между местечком, где был штаб дивизии, и деревней, где был штаб этого полка, — нельзя было ни ходить, ни ездить, много было потерь.

Высота эта взята была ночным штурмом, и два батальона не только заняли на ней бывшие окопы австрийцев, но и удержали их за собою, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и неоднократные попытки противника их отбить.

Так как штурм высоты произведен был без ведома корпусного командира Федотова, то он задержал список отличившихся при этом, представленных Гильчевским к награде. Но вскоре после этого явился на смотр нового корпуса своей армии Брусилов, и для него приятной новостью оказалось, что доложил ему сам Гильчевский о взятой его полком высоте.

— Как же вы не донесли мне об этом? — обратился Брусилов к Федотову.

— Дело это у меня совершенно подготовлено, но просто по недостатку времени, ваше высокопревосходительство, — вывернулся Федотов.

Сам он никогда в окопах не бывал и теперь, идя следом за Брусиловым, видимо, даже не понимал, как может командующий армией ходить там, где все время свистят над головой пули.

— Я представил к награде командира полка, а также всех отличившихся в этом деле, — не постеснялся сказать Брусилову Гильчевский, — но до сих пор, однако...

— Как же вы так? — обращаясь к Федотову, перебил Гильчевского Брусилов. — Сегодня же передайте мне список представленных, — добавил он сухо, — и на будущее время прошу вас этого не делать.

И тут же, остановившись под пулями, которым то и дело кланялся Федотов, Брусилов, поняв уже, что не Федотов отважился приказать взять высоту штурмом, а этот храбрый начальник дивизии, сердечно поблагодарил Гильчевского. Это была первая благодарность, какую получил от высшего начальства во всю войну боевой генерал.

* * *

Ливенцев за два-три дня успел познакомиться и со своей ротой и со всеми офицерами четвертого батальона, благо их было пока немного, да и весь батальон еще только составляли тут из маршевых команд, окопы же, которые он занял, оставила ему другая часть, переведенная гораздо левее по линии фронта.

Оказалось, что на людей в эту весну не скупилась ставка, — людей в тогдашней России нашлось еще очень много, несмотря на огромные потери летом 15-го года: мало было тяжелых орудий и снарядов, мало вагонов, так как сотни тысяч их было занято под постоянное жилье беженцами, мало было даже винтовок, но людей пока хватало для того, чтобы создать подавляющее превосходство в силах на всех фронтах войны.

И люди были не плохи, — это видел и Ливенцев по своей и по другим ротам. Кроме вятских, тут были и волжане — довольно рослый и крепкий на вид народ. Наметанный уже глаз Ливенцева давал им оценку не только как окопникам, — он представлял их впереди своих окопов, с винтовками «на руку» и с ярыми лицами, какие, он помнил, были у солдат его прежней роты при атаке высоты 370 в Галиции, и говорил Обидину:

— Ничего, народ в общем храбрый... Главное, много молодых, а старых гораздо меньше.

Но Обидин смотрел на него растерянно.

— Храбрый, вы говорите? Это просто орда какая-то, — никакой дисциплины, — бормотал он и махал безнадежно рукой.

— Какой же вы хотели бы дисциплины? Как в казар-

ме? Такой нельзя и требовать, ведь это — позиции, — пробовал убеждать его Ливенцев. — Тут они не перед лицом устава гарнизонной службы, а перед лицом ее величества Смерти.

— Однако без дисциплины как же перед лицом Смерти чувствовать себя? Скосит — и все!

У Обидина было при этом такое обреченное, отчаявшееся во всем лицо, что ему не нужно было и делать того слабого жеста рукой, какой он сделал, чтобы представить косу смерти над его ротой. Это заставило Ливенцева мгновенно стать на его место и тут же попятиться назад. Он сказал ему наставительно, как старший младшему, как опытный новичку:

— Разумеется, вы сами, лично вы должны себя чувствовать так, как будто и сидеть в окопах, вшей кормить, для вас ничего не значит, и в атаку идти если, — пожалуйста, сколько угодно, — вот тогда и будет у вас дисциплина в роте, а иначе откуда же она возьмется? Солдат в роте все равно, что ученик в классе: вы наблюдаете его, а он вас. Ведь вы тут живете с ним рядом и терпите то же, что и он, ведь вы не начальник дивизии, а всего только командир роты — невеликая птица. Вот и покажите ему на своем примере, как надо терпеть все солдатские нужды, тогда он вас и слушать будет и за вами куда угодно пойдет.

— А вы? — вдруг, как будто раздраженный его тоном, спросил Обидин.

— Что я? — не понял Ливенцев, так как, говоря Обидину, он старался как бы убедить самого себя.

— Вас слушают?

— Ну еще бы!

— И за вами пойдут? — качнул Обидин головой в сторону австрийских окопов.

— Непременно! — постарался убедить самого себя Ливенцев.

— Непременно?.. А зачем? — вызывающе спросил Обидин и снова махнул рукой в знак безнадежности.

Это случалось иногда раньше с Ливенцевым, что другой человек для него становился мгновенно вдруг чужим, ненужным, даже ненавистным — иногда после одного какого-нибудь слова, если только это слово выражало его неприглядную сущность, с которой он не мог мириться. Так вышло и теперь с Обидиным, который как будто воплотил в себе все дряблкое, что таилось и в самом Ливенцеве под его внешней бравадой, но совершенно

было ни к чему тут, где все жестко, жестоко, стихийно-бессмысленно, трагично в огромнейших масштабах, а не в личных и не в семейных, и даже не в масштабах одного города, пусть столь же населенного, как Лондон или Нью-Йорк...

Ливенцев сам как будто вырос сразу, в один этот момент, когда появилась в нем острая неприязнь к человеку располагающей внешности, с которым он ехал сюда в одном вагоне и ночевал по приезде первую ночь в одном блиндаже.

— Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? — спросил он резко. — Помните, как он бросил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой же я капитан?» * Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?

— Ничего в этом страшного не вижу, — убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.

— Ну, если так, то... то, признаться вам, я не хотел бы иметь вас своим соседом по роте, — столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно.

Это произошло как раз на той самой дороге, которая теперь была безопасна для ходьбы и езды, так как на некрутой высотке перед нею, версты за полторы-две, сидели теперь в окопах не гонведы, а русские солдаты другого полка той же дивизии, которые и взяли штурмом эти окопы, и сидели они там упорно, несмотря на долговременный и сильнейший артиллерийский огонь австрийцев, которые наконец примирились с потерей и умолкли.

Иногда нужны бывают толчки извне, чтобы осмыслить то, что в себе самом еще недостаточно ясно. Таким толчком и был для Ливенцева этот короткий разговор с прапорщиком, хотя и побывавшим в военной школе, но не вынесшим оттуда ничего, кроме равнодушия к судьбам своей родины.

Ливенцев не знал о себе самом и многого другого, что удалось узнать только во время войны. Он не думал, например, даже и представить не мог, что он способен так стойчески переносить все неслыханные и невиданные им до того неудобства фронтовой жизни и даже привыкать к ним; он не думал, что может засыпать под залпы тяжелой артиллерии и в то же время вскакивать, как резиновый, когда его будили по неотложному делу; он

не думал, что в нем найдется то же самое сопротивление разным воздействиям извне, какое он с изумлением наблюдал у солдат в первые недели своей службы, — однако сопротивление это нашлось у него под тяжелым ворохом математических формул и прочего, очень многого, совершенно ненужного теперь, но что он усваивал всю свою жизнь ревностно и жадно.

Если бы ему сказали раньше, что те два-три месяца, какие он провел вне фронта, не заставят его ни возненавидеть, ни проклясть, ни даже прочно забыть фронт, — он бы ни за что не поверил, и, однако, это было именно так: в госпитале он просто скучал по тому, что осталось на фронте, хотя остались там только снега, бураны, замерзающие солдаты, «самострелы», окопы, в которых нельзя было ни сесть, ни лечь от избытка в них почвенной воды, и случайные товарищи по несчастью, среди которых не было и не могло быть друзей.

Выздоровев от раны в грудь, он не искал себе места в тылу, как делали многие другие, — его тянуло снова на фронт, и он объяснял самому себе эту тягу несколько сложно.

Человек науки, он сравнивал это с тягой ученых в неведомые страны, обозначаемые на картах белыми пятнами. В этих странах что могло ожидать путешественников? Всевозможные виды лишений, опасностей и даже смерть от чего бы то ни было. Однако ученые шли, подчиняясь тому, что было в них сильнее любви к тихому удобному кабинету, и иногда погибали, но зато белых пятен на картах мира становилось все меньше и меньше. Или он сравнивал это с наводнением, которое угрожает залить город, и вот все от мала до велика начинают работать кирками и лопатами, строить дамбу, способную защитить город. Тут нельзя отговариваться тем, что никогда не копал земли, что это гораздо лучше могут сделать грабари, привычные к земляным работам: вода не ждет, она приближается, она вот-вот хлынет и разрушит город, поэтому всякая сила нужна, хотя бы и стариков и ребят. Наконец, он сравнивал это и с созидательным трудом, в котором участвуют миллионы. Ничто в природе не пропадает, на развалинах одного воздвигается другое и непременно более совершенное... «Что такое эта война? — спрашивал он себя самого и отвечал себе: — Гигантский процесс отмирания отживших форм, понятий и представлений и зарождение других», и вспоминал при этом известные стихи:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Все это ничуть не мешало ему возмущаться тем, как делалось то или другое на фронте, однако гораздо больше возмущало его то, что делалось в тылу, где все оставалось по существу своему довоенным, как будто тут, на западе страны, не совершалась титаническая ломка всех старых устоев.

В числе многих сторон в себе, которые были ему до войны не известны, оказалось, неожиданно для него самого, и то, что он любит Россию. Если бы перед войной кто-нибудь спросил его: «Как вы смотрите на Россию?», он бы ответил, улыбаясь: «Посмотрите лучше в том словаре Брокгауза, так и озаглавленный «Россия», там вы, наверное, найдете ответ на свой вопрос». А если бы вопрос повторили, с нарочитым ударением на «вы», он процитировал бы две тютчевские строчки:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...

и на этом бы кончил. Теперь же слова Обидина показались ему кощунством и по смыслу и по тону, каким были сказаны: русскому человеку, каким был Обидин, он их простить не мог.

Генерал Гильчевский не то чтобы производил смотр своим полкам в эти дни, — строгое по содержанию слово «смотр» сюда не подходило, — он просто знакомился с тем пополнением, какое ему присылали, так как основные полки знал хорошо. Однако фронт насыщался людьми с большою щедростью, так что в пополнениях, приходивших в каждый полк, было почти столько же человек, сколько во всех трех старых его батальонах: дивизия удваивалась, она становилась крупной военной единицей, что, с одной стороны, повышало значение начальника дивизии, а с другой — значительно осложняло его роль.

Новые десять тысяч человек могли совершенно изменить весь установившийся уже облик и уклад дивизии, так как боевого опыта они не имели. Особенно беспокоили Гильчевского четвертые батальоны, которые должны были действовать вполне самостоятельно наравне с тремя первыми, а разве их можно было поставить наравне с теми, которые провели уж на фронте целый год?

Обыкновенно и прежде Гильчевский каждый день посещал тот или иной участок своей позиции или даже, если позволяло время, обходил ее всю из одного конца

в другой, но последние дни он был занят только резервами, и полк Кюна был последним, куда он попал уже обеспокоенный тем, что пришлось ему видеть в других полках.

Его беспокоило не то, что люди плохо знали службу, что у них была плохая выправка, даже и не то, что они плохо умели стрелять, — все это в его глазах было дело наживное, но он заметил среди них довольно много людей тяжелого, как он сам определил, взгляда.

— У моей матери, — говорил он своему начальнику штаба, полковнику Протазанову, — было маленькое домашнее хозяйство и, между прочим, водились коровы. Она сама их, конечно, доила и по части коров, как я потом по части лошадей, кое-что понимала. Так вот, помню я это еще с детства, говорила она своей соседке: «Ты хочешь корову себе приобрести, а того не знаешь, какую. Ты ей на имя глядишь, — она, моя мать, так и говорила, не «вымя», а «имя», — а ты бы ей еще и в глаза поглядела: как если глаза у нее тяжелые, нелюдимые, ту корову не покупай, — она тебе и доенку ногой может из рук выбить, а то когда в углу прижмет, то и рогами забрухтает...» Вот я это мамино наставление и вспомнил, как на наших маршевиков смотрел: тяжелый какой-то у многих, действительно — «нелюдимый» взгляд!

— Это и я тоже заметил, — отозвался Протазанов, очень всегда подтянутый, размеренно-деятельный человек, с красивыми сухими чертами лица, — академист. — Физически народ подходящий, а психика стала уж не та, какая была у наших ополченцев год назад. Это — действие затяжной войны. Через год люди, надо полагать, будут глядеть на свое начальство еще нелюдимее. И вполне объяснимо это, — ведь больших удач нет, а только большие неудачи.

— То-то и есть... И только у меня и надежды, что через год и у немцев пополнения будут глядеть нелюдимо.

Так настроенный пришел в четвертый батальон Гильчевский, где его встретили Кюн со своим адъютантом, прапорщиком Антоновым, и командир батальона подполковник Шангин.

Шангина Ливенцев определил с первого с ним знакомства словом «разболтанный». До своей отставки, откуда был он взят, Шангин служил в корпусе военных топо-

графов и, по его же словам, «топографию прилично знал во время оно, а что касается тактики — ни в зуб!»

Он и просто пехотного строя не знал и путался в командах, подзубривал их по уставчику, и ходил не только по-стариковски, хотя шестидесяти лет еще не имел, но и по-штатски, как-то сгибаясь в поясе и виляя плечами. Борода его, еще не седая, желтая, расчесывалась им веером от подбородка, а выцветающие глаза смотрели на всех подслеповато-приветливо, так как здоровьем он, по видимому, был еще крепок и «переносить труды походной жизни», как писалось в «аттестациях штаб-офицеров», мог, почему и был назначен командиром батальона, идущего на фронт. От недостатка зубов говорил пришепетывая и перед большим начальством робел.

Так как тринадцатая рота Ливенцева была первой в батальоне, то с нее и начался смотр.

Ливенцев успел уже кое-что услышать об этом новом для него начальнике дивизии в штабе полка и потому глядел на него с большим любопытством, но он заметил, что не меньшее любопытство было в серых, под получерными бровями, круглых глазах генерала.

— Зауряд? — коротко спросил Гильчевский.

— Никак нет, ваше превосходительство, бывший прапорщик запаса, каким стал еще в прошлом столетии. В японскую войну призывался из запаса, в эту призван из отставки, — обстоятельно ответил Ливенцев.

— А-а! — довольно протянул Гильчевский. — И, может быть, даже в боях бывали?

— Так точно, бывал, и в эту войну, так как служу уже больше чем полтора года.

— Бывали? — очень оживился Гильчевский. — На каком именно фронте?

— На Галицийском.

— Отступали, ну-ка, а?

— Никак нет, пришлось наступать, — невольно улыбнувшись затаенному лукавству, с каким был задан вопрос, ответил Ливенцев и добавил: — Моей ротой была занята высота с австрийскими окопами... Впоследствии я был ранен, лежал в госпитале, по выздоровлении зачислен в четыреста второй полк.

— Прекрасный рапорт! — почему-то с ударением на «о» весело сказал Гильчевский. — Вполне уверен, что вы прекрасно представите и свою роту.

— В этой роте я всего только три дня, так как при-

ехал сюда прямо из госпиталя, — сказал Ливенцев, но Гильчевский отозвался на это по-прежнему весело:

— Это не составляет сути дела, когда вы приехали!

И Ливенцев понял, что этот начальник заранее готов простить ему все недочеты, но вышло так, что ни о каких недочетах он и не говорил.

К тому, чтобы иметь под своим начальством полтора-ста, двести или даже полностью двести пятьдесят человек, Ливенцев уже привык; столько людей он способен был и быстро запомнить и долго держать в памяти, тем более что рота делилась на равные части взводов и отделений. Человек пятьдесят из разных взводов он успел узнать за эти три дня несколько ближе, чем других, потому что спрашивал их, откуда они и чем занимались до призыва в армию.

Он спрашивал это для себя лично, чтобы иметь понятие о людях, которых придется когда-нибудь ему вести на окопы противника: как же он будет вести на смерть тех, кого совсем не знает? И как они могут идти за ним, когда его не знают? Обоюдное знание это казалось ему гораздо более необходимым, чем знание разных мелочей службы.

Поэтому он становился искренне рад, если вдруг оказывалось из расспросов, что бывал сам в той или иной местности, откуда родом его новый подчиненный, или даже просто читал, слышал о ней. Так один, Селиванкин, оказался из села Ижевского Рязанской губернии.

— Постой-ка, братец, село Ижевское, это, кажется, Спасского уезда? — начал припоминать Ливенцев.

— Так точно, Спасского! — радостно ответил Селиванкин.

— И там ведь у вас все бондари, насколько я знаю, — должно быть, и ты — бондарь?

— Так точно, бондарь я! — еще радостнее отозвался и прямо засиял Селиванкин.

— Ну, значит, мы с тобой земляки, выходит, Селиванкин!

Но и волжанин из Большой Глушицы под Самарой — Дымогаров тоже был назван им своим земляком, хотя он сам никогда не был в Большой Глушице, а только случайно слышал о ней.

Подобных «земляков» из опрошенных им оказалось около тридцати человек, и он знал наперед, что когда опросит таким образом всю роту, то окажется их не меньше двухсот: всегда ведь можно было что-нибудь припом-

нить о той или другой местности вроде: «А-а, это у вас там битюгов разводят?» или: «Знаю, знаю: у вас там паточный завод Понизовкина!..» Когда один оказался из села Березайка и Ливенцев припомнил, что когда-то слышал: «Там возле села и станция Березайка, — кому надо, вы-лезай-ка!» — то березаевец заулыбался во все широкое заросшее сорокалетнее лицо: ведь это и ему было знакомо едва ли не с детства.

К удивлению Ливенцева, приблизительно в таком же духе знакомился с его ротой и генерал Гильчевский, только у него оказался еще и язык, богатый народными словечками, красочными и яркими, и язык этот очень шел к нему с его лохматыми серыми усами: по годам своим каждому солдату он мог годиться в отцы.

Он обратил внимание на то, что в тринадцатой роте трубы окопных печей были прикрыты мешками, чтобы дым из них не поднимался столбом, а расплзался над землей. В других ротах этого не было, и он, не говоря об этом ничего самому Ливенцеву, сказал солдатам:

— Это ваше счастье, ребята, что у вас такой ротный командир оказался! Будь бы я рядовой, а не начальник дивизии, я бы знал, что с таким ротным нигде бы не пропал, а немцам бы по первое число всыпал! Впрочем, и мне, начальнику дивизии, тоже не плохо, раз у меня нашелся офицер до того к вам заботливый, что от неприятельских пушек вас и в резерве спасает!

И только тут он показал пальцем на трубы в мешках.

Каганцы вместо телефонных проводов уже появились в окопах по хлопотам Ливенцева; привезли и свежей соломы, — вообще окопы приведены были в более сносный вид, что тоже не укрылось от зорких глаз Гильчевского, и к смотру четырнадцатой роты он приступил уже в приподнятом настроении.

Там приказал он Обидину вывести первый взвод на укрытый от противника участок, чтобы узнать, умеют ли его новые солдаты если не стрелять из австрийских винтовок, которые получили они перед отправкой сюда, так хотя бы заряжать, и знают ли они сборку-разборку.

Но когда взвод роты Обидина, расстелив на земле шинели, принялся по команде Гильчевского разбирать винтовки, действуя отвертками, случилось то, что смутно ожидал начальник дивизии от людей с нелюдимыми глазами.

Он посмотрел ствол одной винтовки, другой, третьей — оказались грязными, несмазанными; разбирать магазин-

ную коробку не умели; не знали даже, как называются отдельные части.

Гильчевский не ставил этого в вину Обидину, зная, что он в роте — человек новый, не винил и солдат, зная, что винтовки эти выданы им только перед отправкой, а до того в их руках были берданки. Он только говорил Обидину:

— Надо вам подналечь, подзаняться этим делом!

И солдатам:

— Прежде всего, ребята, береги винтовку, а винтовка убережет вас! Сборке-разборке, — этому вас научат, а чистить ствол вы уж должны уметь...

Так, переходя от одного к другому, подошел Гильчевский и к рядовому с тяжелым взглядом. Это был рослый малый со сжатыми губами и с желваками под скулами; держа в правой руке ствол винтовки, как дубинку, глядел он на генерала явно ненавистно.

— Как фамилия? — спросил Гильчевский, сразу насторожась.

— Мослаков, — протиснул тот сквозь зубы.

— Отвечать не умеешь! — слегка поднял голос Гильчевский, беря в то же время ствол его винтовки за нижний конец, и разглядел, что он забит землей.

— Кэ-эк это тэ-эк не умею? — с выдохом, с запалом протянул Мослаков, глядя не только ненавистно, но и вызывающе.

Предчувствуя уже недоброе, Гильчевский крепко держал обеими руками гладкое железо за свой конец, но вдруг Мослаков сильно дернул ствол к себе и тут же сделал им выпад вперед, в грудь генерала.

Очень острый момент этот не ускользнул от зорких глаз тех, кто окружал Гильчевского, и первым подскочил к нему на помощь Протазанов, — человек крупных и крепких мышц — потом адъютант дивизии, и командир полка Кюн, и Антонов, и Шангин, и другие...

Мослакова свалили наземь, связали ему солдатскими поясами руки.

Когда его уводили потом под конвоем, он совсем не казался обескураженным: напротив, он старался идти браво, поднимая голову и презрительно и часто поплеывая, как будто случилось с ним все именно так, как ему хотелось.

На допросе в штабе дивизии он тоже держался вызывающе, намеренно не желая отвечать по-солдатски. Его спросили, чем он занимался до призыва в армию.

— Чем занимался? — надменно переспросил он. — Мослакова вся Одесса знает, а вы — «чем занимался»! Знаменитый я вор-домушник... Между прочим, и «медвежатник» тоже.

— Это что же значит такое «медвежатник»? — спросили его.

— Не знаете? А это же по части несгораемых касс, — подмигнул он. — Считается — высшая марка!

— И что же, — сидеть приходилось?

— Разумеется, сидел, — что же тут диковинного?.. А вы лучше спросите, почему я аж до самого фронту с маршевой ротой дошел, — это, конечно, вопрос!

— В самом деле, почему же именно?

— Так себе, признаться, ради интереса, — беспечно с виду ответил Мослаков.

— Ради интереса? Хорошо, допустим. А вот что ты сегодня выкинул — эта штука зачем?

— Это, прямо вам сказать, ради скуки.

— Как «ради скуки»? То есть в видах развлечения, что ли? — спросили его.

— Так точно, — для пущей веселости, — шевельнув желваками, ответил он с напускным спокойствием.

Когда Гильчевскому доложили о результатах допроса, он сказал:

— Мерзавец этот врал насчет скуки. А вот в расчете на то, что его пошлют по этапу в тыл для суда, а он, конечно, сбежит при первой к тому возможности, он ошибся! Судить его полевым судом за покушение на начальника дивизии!

В то время, как Гильчевский, растирая под шинелью грудь, уходил из четырнадцатой роты, он ничего не сказал прапорщику Обидину, но посмотрел на него долгим тяжелым взглядом.

Мослаков на другой день был расстрелян; Обидин же переведен в другую роту.

* * *

В конце апреля Брусиллов должен был ехать из своей штаб-квартиры сначала в Одессу, а потом в Бендеры снова встречать царя. Верховный главнокомандующий отправился из ставки на смотр сербской дивизии, в которой, кроме сербов, было много и других славян, бывших подданных Франца-Иосифа, попавших в плен.

Все не нравилось в этой новой встрече с царем Брусилову.

Прежде всего то, что из пленных воюющей страны формировались дивизии, — это противоречило международному праву и давало основание немцам делать то же самое в отношении русских военнопленных. Правда, немцы кинули на Юго-западный и Западный фронты польские легионы, но они прикрывались тем, что поляки в них — подданные Германии и Австрии, а не из бывшего «Царства Польского». Что же касалось привлечения пленных русских солдат к работам в тылу фронта, то к подобным мерам прибегали и русские военные власти, только назначались на работы австрийцы, а не германцы; пленным германцам выдавались кормовые деньги, но делать они ничего не делали, на чем настояла сама императрица.

Не нравилось Брусилову и то, что царь, объявивший себя главнокомандующим, как будто все время только и думает о том, куда бы ему улизнуть из ставки, где одолевает его смертельная скука. Брусилов часто признавался и самому себе и своим близким, что совершенно ничего не понимает в этом императоре величайшего государства в мире. Не понимал он и его вечного стремления куда-то ехать, хотя с точки зрения дела ни малейшей в этом не было нужды. Можно было только поставить эту особенность царя в прямую зависимость от наследственности. Любил ездить без всякой ощутительной цели Александр I, любил ездить брат его Николай, причем царские кучера постарались два раза вывалить его из тарантаса, и один раз, на Кавказе, он чуть было не свалился в пропасть, — едва удержался за колючий куст, — другой раз, под городом Чембаром, в Пензенской губернии, сломал себе ключицу; любил ездить и Александр II, который бывал даже во времена своего долгого наследничества и в Сибири, жители которой принесли ему за время путешествия шестнадцать тысяч письменных жалоб на лихоимство чиновников; более тяжел на подъем был Александр III, но много ездил и он, и умереть ему довелось не в Петербурге, не в Гатчине, и не в Царском Селе, а в Ливадии.

Но, как бы ни была эта черта в Николае II наследственной, все-таки наиболее бесцельные поездки, лишь бы убить время, были у этого, очень незадачливого человека.

Наконец, не нравилось и то, что его, Брусилова, отры-

вают на несколько дней на то, что совершенно и ни для чего не нужно, от того, что в высшей степени необходимо: от подготовки к наступлению на его фронте, для чего ценен и важен каждый час.

Царю было скучно в ставке, где он ежедневно по утрам принимал Алексеева с докладом о положении дел на фронте, чем и оканчивались все его заботы о взятых на себя огромных обязанностях, а семье царской скучно было в Царском Селе, тем более теперь, весной, когда, как известно, даже и счастливых тянет вдаль: поэтому-то теперь царь путешествовал вместе со своим семейством.

В Бендерах на вокзале встречал царя Брусилов, потом представлял ему новую, только что сформированную пехотную дивизию. Смотр этот прошел так, как ему уже было известно по Каменец-Подольску: у царя не нашлось ни одного сердечного слова для обращения к полкам, которые предназначались на фронт, где готовились невиданные еще в эту войну бои.

Впрочем, и с самим Брусиловым царь не говорил о подготовке к наступлению, как будто не об этом наступлении шло целый день совещание в его присутствии в ставке с месяц назад. Брусилов не заговаривал об этом сам, так как ждал вопросов царя, но так и не дождался и терялся в догадках — почему же именно это? Была ли это забывчивость, была ли это деликатность, — дескать, я в вас уверен, и мне незачем задавать вам вопросы, как у вас там на фронте и что; была ли это осведомленность из других источников, например от Алексеева, или, наконец, было ли это полнейшее равнодушие ко всему, что делалось и во всей армии и во всей России? Брусилов боялся думать, но все же не мог не думать, что последнее предположение, быть может, самое верное, если только он вообще способен понять что-нибудь в таком тщательно закупоренном человеке, как царь.

Так как сербская дивизия была в Одессе, то нужно было ехать туда в свитском вагоне, где приходилось делить время с такими пустыми людьми, как Воейков, флаг-капитан адмирал Нилев, способный пить сколько угодно, начальник конвоя граф Граббе, гофмаршал князь Долгоруков, — все уже знакомые ему по завтраку и обеду в царской столовой в Могилеве, в день совещания.

К дивизии сербской в Одессе царь выказал не больше внимания, чем к дивизии из своих ополченцев в Бендерах. Но зато в Одессе Брусилов неожиданно для себя был приглашен в вагон императрицы.

Жена Брусилова деятельно трудилась по части поездов-складов и поездов-бань, обслуживающих армию на фронте и носивших название «поездов ее величества», так как через канцелярию царицы шли средства на их содержание; жена Брусилова не раз получала от императрицы и благодарственные телеграммы за труды, — сам же Брусилов впервые удостоен был ее внимания.

Стояла яркая южная весна, синело ласковое на вид море, а в вагоне перед Брусиловым сидела бледная узкогрудая женщина, с высокой тонкой шеей, с высокой прической жидких темных волос и с какими-то брезгливо-тоскливыми карими глазами.

Ничего живого не было в этом лице, — не было и награнной величавости. Напрашивался вопрос, не было ли усталости, но тут же отпадал: нет, усталости не было, но на худое длинное лицо это с прямым продолговатым носом как будто давно уже была плотно надета маска, так что оно лишено было способности изменяться; улыбающимся это лицо Брусилов никак не мог представить, однако и очень раздраженным тоже. Но что чрезвычайно удивило Брусилова, так это то, что она с первых же слов заговорила о готовившемся им наступлении на Юго-западном фронте.

Вот кто оказался равнодушным к тому, что он затеял, на что сам напросился в ставку, не царь, а она — эта слабая на вид женщина с брезгливо-тоскливыми глазами.

— Я слышала, что вы хотите переходить в наступление на своем фронте? — с легким немецким акцентом, медленно подбирая слова, спросила она по-русски.

— Да, ваше величество, — удивленный, что с этого вопроса началась беседа, ответил, поклонившись ей, Брусилов.

— И что же, вы уже вполне готовы к этому наступлению? — делая ударение на «вполне», спросила она с таким выражением глаз, что он не знал уже, чего в них стало больше — брезгливости или тоски, видел только, что в них отнюдь не было равнодушия, как в рано выцветших глазах царя.

— Я не могу уверенно сказать, что вполне, ваше величество, но и я и мои подчиненные командующие армиями, командиры корпусов, дивизий, все мы делаем все, что в наших возможностях и силах.

Брусилову показалось после этих слов, сказанных тоном доклада, что брезгливости в глазах царицы стало

как будто больше. Она ничем не отозвалась на сказанное, только смотрела прямо ему в глаза долго и внимательно, так что ему стало не по себе, наконец спросила:

— Когда же именно, какого числа думаете вы переходить в наступление?

Этот вопрос заставил его насторожиться. Он лично считал, что наступление нельзя откладывать дальше 10 мая, и чуть было не сказал так, но тут же себя одернул: подозрительным показалось ему вдруг любопытство этой женщины к тому, что касалось только ее мужа, как верховного главнокомандующего, и в то же время не возбуждало никакого любопытства в нем. Кто из них пытался стать вождем русской армии, — царь ли, бегавший из ставки, она ли, благословляемая на это своим «святым» старцем? Ее симпатии к немцам были ему известны, и он ответил на ее вопрос, насколько можно было, туманно:

— Пока ничего еще определенного на этот счет мне неизвестно, ваше величество... Обстановка на фронте ежедневно меняется, а момент должен быть выбран наиболее подходящий... Об этом нам, главнокомандующим фронтами, будет дано знать, я полагаю, только накануне наступления, ваше величество. Тогда мы получим телеграммы из ставки и начнем.

— И что же, вы надеетесь на успех? — быстро спросила она, очевидно заранее подобрав слова.

В этом вопросе, в самом его тоне почудилась Брусилову тонкая ирония, хотя выражение маски-лица как будто несколько не изменилось. Это подстегнуло Брусилова, как удар хлыста, и он ответил твердо:

— В этом я вполне убежден, ваше величество: в этом году мы разобьем противника!

Тоскливая брезгливость глаз дополнилась еще и сожалением, — так показалось Брусилову, но вот отвернулись от него глаза, тонкие руки начали искать что-то и нашли: она протянула ему маленький серебряный образец с эмалью — Николая Мирликийского.

— Вот примите от меня, — сказала она совершенно неопределенным тоном, и Брусилову оставалось только пробормотать слова благодарности и взять образец.

— Приносят ли пользу на фронте мои поезда? — спросила она без любопытства.

И когда Брусилов ответил, что приносят и очень большую, она подала ему руку.

Беседа была окончена. Эмаль же с образка Николая-угодника почему-то отскочила, и Брусилов принес в свой вагон только серебряную пластинку.

* * *

— Главнокомандующий большим фронтом несколько похож на театрального режиссера, — говорил Брусилов своему начальнику штаба Клембовскому, возвратясь из этой поездки в Бердичев, — разницу между ними я вижу только в том, что режиссеру-то известна во всех мелочах пьеса, какую он собирается ставить, а главнокомандующий только еще собирается писать эту пьесу, имея при этом соавтора, который внесет в нее существенные поправки.

— Кого же вы разумеете под соавтором, Алексей Алексеевич? — спросил Клембовский, так попятливо улыбаясь при этом, что Брусилову оставалось только сказать: «Конечно, вас, как начальника штаба», но он сказал:

— Разумеется, я имею в виду австрийского главнокомандующего русским фронтом, а не вас. Точнее, я говорю о нескольких: и об эрцгерцоге австрийском Иосифе-Фердинанде с его четвертой армией, и о генерале Пфланцер-Балтине с его седьмой, и о генерале Линзингене, подпирателем своими немцами австрийцев, а не об одном только главнокомандующем фон Гетцендорфе. Это они все будут вносить поправки в то, что мы с вами тут сочиняем... А все наши расчеты в конце-то концов основаны только на том, что против нашего фронта стоит, по нашим сведениям, до полумиллиона, а у нас, как мы знаем, гораздо больше... Вот, в сущности, и все наши шансы: у нас есть резервы, у нашего же противника их нет. А когда он их подтянет, то наши шансы сойдут на нет, но зато мы прикуем к себе силы противника и не дадим их бросить на Эверта и Куропаткина, которые тем временем будут громить немцев. Только так мне рисуется наше будущее.

На умном, нервном лице Клембовского улыбка, погасшая было, разгорелась вновь.

— Не всякий рожден для того, чтобы счастливо командовать сотнями тысяч людей, — сказал он. — Я, например, как уже не раз говорил вам, Алексей Алексеевич, не рожден для этого. Но что касается генералов Эверта и Куропаткина, то мне кажется, что и они...

Вместо того чтобы договорить, он предпочел вздохнуть и развести руками.

— Не-ет, теперь уж им нет выбора, — теперь уж жребий брошен! Теперь им просто прикажут из ставки наступать, и тогда берлинские и венские умники поймут, как оставлять весь фронт без резервов! — с горячностью возразил Брусилов. — На всем фронте в тысячу верст, если мы нажмем единовременно, — чего ведь не было за всю войну и что составляет всю мою идею наступления — они затрепещат, они откатятся!.. Бить противников по частям, — сегодня одного, завтра другого, — вот и вся их стратегия. Сейчас, когда они сцепились — германцы с французами, австрийцы с итальянцами, — если мы не выступим всем фронтом, то что же мы такое будем, а? Байбаки, дураки или... или даже просто-напросто негодяи, а? Ведь своим бездействием даже и сейчас, когда идет уже май, а мы не двигаемся, мы только играем на руку Вильгельму! А вот если выступим вовремя, то Вильгельм будет уже не Вильгельм, а журавль!

— Почему журавль? — не понял Клембовский.

— А это я о том журавле говорю, который «птица важная и вальяжная: нос вытащит, — хвост увязит, хвост вытащит, — нос увязит». Тогда немцам придется метаться между Верденом и нашим Западным фронтом, а фон Гетцендорфу — между итальянцами и нами, а кто за двумя зайцами гонится, ни одного не поймает, или вот еще, как это говорят у нас на Кавказе горцы: «Два арбуза под одной подмышкой не унесешь». Только на это мы и можем идти при нашей отсталой технике, а больше на что же нам ставить?

Вопрос женщины с тоскливо-брезгливыми глазами: «Вполне ли вы готовы к наступлению?» стоял перед Брусиловым каждый день с утра до поздней ночи, когда он приехал в свою штаб-квартиру. Он придавал ему особенную нарочитость: склонный к мистике, он считал эту женщину роковой для России. Все немногие слова, какие он от нее слышал в вагоне, он по многу раз перебирал в памяти, стремясь проникнуть в то, что таилось за ними.

Что она не хотела никакого наступления, это он понял, конечно, еще тогда, в вагоне.

Чего же она хотела? В каком направлении она действовала на царя — вождя всех войск?

«Ничто немецкое, конечно, не было ей чуждо, и все русское непременно должно было казаться ей чужим, — раздумывал над словами царицы Брусилов, — а как же согласовать это с русским конокрадом, пьяницей и сатиром, «святым старцем» Распутиным? Наконец, пусть это —

перазрешимый вопрос, но не по желанию ли царицы сделан главнокомандующим Северо-западного фронта Куропаткин, разумеется, для того только, чтобы фронт его двигался назад, а не вперед, так как он испытанный мастер отступлений? И не действовал ли по тайному приказу царицы Эверт, когда проваливал свое большое наступление в марте и когда остановил в самом начале наступательные действия в апреле? Не изменник ли он, попросту говоря, такой же, каким оказался бывший военный министр Сухомлинов, — когда-то свой человек во дворце?»

Обилие и острая горечь этих мыслей угнетали Брусилова.

В апреле, две недели спустя после совещания в ставке, Эверт, как бы желая воочию доказать царю, что его фронт к наступлению совершенно не способен, приказал одной из своих армий продвинуться на коротком участке при озере Нарочь, потерял за два дня до десяти тысяч человек и на том закончил, послав донесение с ядовитым вопросом в конце: следует ли ему попытаться вернуть потерянную территорию и уложить ради этого еще три корпуса или «упрочить только современное положение»? Алексеев предложил остановиться на последнем.

Алексеевым руководила вполне понятная Брусилкову мысль: не спешить с наступлением на каком-либо одном фронте, пока не подготовлено оно на всех, — а какие мысли владели Эвертом? Это была загадка для его соседа по фронту Брусилова, загадка, которую решить он не мог, пока не началось наступление, и которую было бы поздно решать, если наступление на своем фронте тот провалит.

Если к позициям Брусилова подходили подкрепления из резервов и подвозились орудия и снаряды, то это вызывалось только необходимостью развернуть трехбатальонные полки в четырехбатальонные и дать им пополнения на первый случай, — это делалось, само собою разумеется, и на других фронтах. Но, кроме того, Эверт в первую голову, Куропаткин во вторую — получали еще и новые части, и тяжелые орудия из общearмейских резервов, и обильные запасы снарядов к ним.

Брусиллов понимал, конечно, что сломить противника, стоявшего против Эверта, труднее, чем ему сломить смешанные австро-германские армии, но зато и средства для этого отпускались щедро, а он был обделен. И к Эверту, и к Куропаткину, как к старым генералам времен японской кампании, у Алексеева как бы оставалось еще старинное подчиненное отношение, хотя могло бы уж, кажет-

ся, оно выветрится с годами. Брусилова возмущало в Алексееве именно то, что он, будучи теперь выше по положению, чем эти двое, все-таки был с ними в ставке преувеличенно любезен, чуть ли даже не низкопоклонничал перед ними, а между тем...

Когда 11 мая из ставки, в телеграмме от Алексеева, подтверждено было то, что уже просачивалось в газеты, об отчаянном положении итальянских войск на плоскогорье Азиаго, где теснили и местами гнали уже их австрийцы, забирая огромные трофеи и массу пленных, Брусилов принял это как долгожданный сигнал к действиям.

Об этом именно, по словам телеграммы, и просило высшее командование итальянской армии: наступать, чтобы оттянуть от них петлю, уже занесенную над их головой сыграть роль вытяжного пластыря. Алексеев запрашивал почти теми же словами, как и царица в вагоне: готов ли он выступить на помощь союзникам и когда мог бы он это сделать?

Брусилов ответил, что вполне готов — теперь он уже не опасался слова «вполне» — и начать наступление мог бы через неделю — 19 мая, если только в тот же самый день приступил к боевым действиям и Эверт.

Послав такую телеграмму, Брусилов ждал приказа, чтобы немедленно передать его всем четырем своим армиям, однако напрасно ждал день, два, три. Наконец, Алексеев вызвал его для разговора по прямому проводу. Оказывалось, что он не бездействовал эти дни: он уламывал Эверта и добился того, что 1 июня обещал начать действия этот упрямец. Поэтому-то, чтобы сократить разрыв во времени, он предлагает Брусилову начать наступать не 19, а 22 мая.

Напрасно доказывал Брусилов, что десять дней — это огромный срок, что за десять дней можно или разгромить чужую армию, или потерять свою, если не будет поддержки. Он убедился, что Эверта, от имени которого говорил Алексеев, ему не переубедить, — приходилось мириться и на этом сроке.

— Ну, а могу я получить гарантии, Михаил Васильевич, что Эверт не передвинет свое выступление на несколько дней? — спросил Брусилов.

— Нет-нет, Алексей Алексеевич, об этом не беспокойтесь: этот срок зафиксирован прочно, о нем доложено государю, — донесся вполне твердый, убеждающий голос Алексеева, и на этом закончилась деловая беседа.

Брусилову оставалось только передать своим командирам, что день наступления приурочен к 22 мая, что он и сделал. Однако напрасно он думал, что с этим все уже кончено: сколько ни вопили о помощи итальянские генералы, ставка стремилась под тем или иным предлогом, очевидно, в угоду Эверту и Куропаткину, оттянуть решительный день.

Теперь в дело вмешался сам царь и вмешался как раз накануне открытия действий — вечером 21 мая.

Опять был вызван к прямому проводу Алексеевым Брусилов, и, как оказалось, для того, чтобы он отказался от своей тактической мысли, от своего детища, которое вынашивал так долго, руководясь опытом своих и чужих боевых действий.

— Алексей Алексеевич, прошу не принимать этого за мое личное вмешательство, этого желает государь, чтобы вы сосредоточили свой удар в одном месте, а не разбрасывались по всему фронту, — кричал Алексеев, отчетливо произнося слова.

Как ножом по сердцу ударили эти слова Брусилова! Менять всю тактику наступления, назначенного через несколько часов, на рассвете следующего дня, — что это такое было: самодурство царственного невежды в военном деле? Явное желание оттянуть срок наступления, так как произвести новую перегруппировку войск для удара в одном месте нельзя было даже и за несколько дней? Может быть, тут-то именно и вмешалась роковая женщина с ее брезгливыми ко всем русским усилиям глазами? А может быть, это просто нажим Куропаткина на своего бывшего подчиненного, хозяина ставки?..

— Прошу меня сменить! — прокричал в телефонную трубку Брусилов.

— Что вы такое говорите? — испуганным тоном отозвался ему Алексеев.

— Прошу его величество сменить меня, если мой план ему не угоден! — повысил голос Брусилов. — Сейчас же сменить, сейчас же!

Очевидно, и резкий тон и смысл сказанного Брусиловым ошеломили Алексеева, — этого-то он во всяком случае не ожидал от человека, так умевшего владеть собою, как Брусилов, насколько он был ему известен.

— Что вы, что вы, Алексей Алексеевич, как так смелить вас, — успокойтесь! Речь идет ведь не о вас совсем, а о системе действий, — заговорил Алексеев как будто даже испуганно. — Несколько дней еще большой раз-

ницы не составят, а зато испытанный уже прием удара в одном месте принесет большие результаты.

— Испытанный кем? Противником, у которого транспортные средства вчетверо больше наших? — кричал в ответ Брусилов. — Да пока я успею перевести дивизию, он переведет пять, если не шесть, и все наступление пойдет прахом! Сейчас он не знает, где будет нанесен ему удар, и даже я сам этого не знаю — где удастся! А начни я перегруппировку, — для него все карты будут раскрыты!.. В одном месте? К этому месту он и стянет пятёрные силы против моих!.. Нет, я вижу, что мне не суждено ничего сделать, нет!.. Прошу меня сменить! Доложите верховному главнокомандующему, что я прошу заменить меня кем угодно, хотя бы генералом Эвертом!

— Я не могу сейчас ничего докладывать верховному: он лег спать, — ответил Алексеев, — а вы все-таки подумайте, Алексей Алексеевич.

— Зато я не сплю и не могу спать, когда у меня все готово и все на своих местах! И мне не о чем думать, и сон верховного меня не касается, — раздражаясь до предела, кричал Брусилов. — Прошу доложить немедленно, чтобы меня сменили!

— Ну что вы, что вы, как же я могу его будить ради этого, — примирительно уже заговорил Алексеев и закончил вдруг: — Ну, бог с вами! Делайте, как задумали сделать, — желаю успеха! И да поможет вам бог!

Алексеев был человек религиозный, и бога призвал он к концу разговора не зря. Он знал, что и Брусилов был человек тоже религиозный, хотя и оказался излишне горяч и несдержан.

* * *

Но если горяч оказался Брусилов, то потому только, что слишком холодна была ставка. Да и что могло загореться в ней, если верховный главнокомандующий являл собою образец превосходной воспитанности, то есть невозмутимости? И для чего же торчали в ставке вместе с ним все эти Фредериксы, Воейковы, Долгоруковы, Граббе и прочие, как не для того, чтобы ставка имела вид невозмутимого царскосельского дворца в миниатюре?

Если исконный, вошедший в дворцовый ритуал, обряд христосования на Пасху царя с «народом» производился ежегодно во дворце, то разве он мог быть отменен в ставке? И 10 апреля царский скороход (совершенно, ка-

жется, ненужная должность в век телеграфа, телефона, автомобилей и самолетов) по заранее составленному списку выкликал в ставке фамилии лиц, допущенных к христосованию с царем. Тут были и генералы, и офицеры ставки, и духовенство, и придворные служители, и служители гаража, и рабочие гофмаршальской части, и администрация императорских поездов, и иностранные военные агенты, и певчие штабной церкви, и вся почтовая контора при штабе, и могилевский губернатор Пильц.

По мере того как их выкликали, они выстраивались и шли в затылок к царю в его обеденный зал. Царь стоял там около стола с горою фарфоровых яиц разных цветов с его вензелем и украшенных лентами. Генералам и офицерам при христосовании он подавал еще руку, остальных же только слегка касался губами ли, бородкой ли, вообще касался, — и каждому подавал фарфоровое яйцо. Разумеется, о каждом из попавших в список скорохода было заранее известно, не болен ли он чем-нибудь неподходящим для такого торжественного обряда.

На другой день обряд был продолжен и для войск, несущих наружную и внутреннюю охрану ставки, причем предварительно все офицеры и солдаты должны были пройти через медицинский осмотр.

Но если Пасха бывала только раз в году, то ритуал каждого дня, сложный и затруднительный для непривычных, не изменялся, как бы ни менялось положение на фронте. И если в основные понятия царской ставки вошло такое новое понятие, как «прорыв», то оно уж и должно было держаться прочно, как христосование царя с «народом», а не заменяться по своеволию одного из высших генералов чем-то совсем небывалым: «прорывами» в нескольких местах! Такой невоспитанности не могли допустить ни министр императорского двора, ни дворцовый комендант, ни гофмаршал, ни даже начальник штаба Алексеев, который, как пасхальное фарфоровое яичко, получил на Пасху генерал-адъютантство, причем сам царь преподнес ему два ящика: в одном — золотые аксельбанты, в другом — погоны с царским вензелем.

Благодаря тому, что верховным главнокомандующим был сам царь, ставка жила своею жизнью, а фронт своей, и даже Алексеев, не замечал он этого или замечал, безразлично, хотел он этого или не хотел, становился по-немногу придворным.

Удар, который готовил Брусиллов, был направлен на Луцк, чтобы приковать к этому участку своего фронта,

смежному с Западным фронтом, дивизии противника и этим дать возможность развернуться во всю мощь Эверту, с его тяжелой артиллерией и громадными людскими силами.

Когда Брусилов попытался обратиться как-то в ставку с требованием дать ему еще хотя бы один только корпус, он получил отказ: Алексеев мягко, но решительно ответил: «Все, что у нас есть, отправляем на Западный фронт». Это значило, что даже и против своей воли, но именно Эверт был избран в спасители России. Так приходилось на него смотреть и Брусилову, которому давалась только подсобная роль.

Против Луцка должна была действовать стоявшая на этом участке восьмая армия с Калединым во главе. Но была еще задача, решение которой зависело от другой армии: нужно было вывести из выжидательного состояния Румынию и притянуть к себе крупным успехом. По соседству с Румынией стояла девятая армия, — она-то и должна была одержать этот успех: задачи седьмой и одиннадцатой армий сводились к тому, чтобы подпирать девятую и восьмую.

Но саперные работы кипели на всем фронте. Размякшая весенняя земля была податлива для саперных лопат, — старинная русская земля, воспетая еще в «Слове о полку Игореве». В разных местах, чтобы сбить противника с толку и запутать, рылись окопы в направлении к неприятельским позициям, подходя кое-где к ним уже всего только на полтора-два шага, даже на сто шагов, чтобы накопить в них пехоту, необходимую для штурма укреплений, когда они будут разгромлены артиллерийским огнем. Каждый солдат понимал, зачем он копал подходы к врагу, вдыхая волнуемый землеробов запах сырой земли. Бесчисленные ходы сообщения связывали передовые линии окопов с тылом: огромная армия подбиралась к засевшей в земле армии врага: это оказался единственный удобный путь.

В тот вечер, когда происходил последний перед началом действий разговор Брусилова с Алексеевым, весь фронт напрягся для прыжка вперед, и в дивизии Гильчевского, назначенной для прорыва против чешской колонии Новины, все было закончено: подтянуты резервы, расставлена артиллерия, устроен для самого начальника дивизии наблюдательный пункт в расстоянии всего лишь семисот шагов от окопов. Попавшие в плен 15 апреля мадьярские офицеры ахнули от изумления, когда их при-

вели в штаб начальника дивизии, расположенный всего в трех километрах от передней линии укреплений, — теперь им пришлось бы удивиться чудаку русскому генералу гораздо сильнее.

А Гильчевский весь полон был подмывающей гордости оттого, что его ополченскую дивизию командующий восьмой армией Каледин поставил в ряд с двумя боевыми кадровыми дивизиями: четырнадцатой — с ее полками Волынским, Минским, Подольским, Житомирским, прогремевшими на весь мир еще во времена Крымской кампании, и четвертой стрелковой, «железной» дивизией, покрывшей себя славой в русско-японскую войну. Могло показаться, что исторические традиции стойкости русских войск как бы непосредственно от него одного впитали четыре полка с новыми для военного слуха именами: Карачевский, Усть-Медведицкий, Вольский, Камышинский.

Усть-Медведицкий полк, 402-й, в котором командиром был Кюн, равнодушно относившийся к выстрелам даже своих пушек, наряду с другими готовился к необычайному. Офицеры писали письма своим близким, прощаясь с ними на всякий случай; иные составляли духовные завещания.

Ливенцеву нечего было завещать и некому. Его старая мать, которой он посылал ежемесячно часть своего жалованья, должна была как-то одна перебиваться, если ему суждена была смерть, и она знала это. Она жила в Орле на Садовой улице. После каждого получения от него денег она неизменно справлялась письмом, не обижает ли он себя самого, — что-то уж очень расщедрился, а к чему? И добавляла: «Мне-то ведь, старухе, немного надо, а тебе деньги гораздо нужнее, — у тебя товарищи: тот придет в гости, — угощай; тот придет взаймы просить — дай, а на позициях жизнь, это уж всем известно, очень дорогая...»

К Пасхе от нее получилось письмо с поздравлением, но пришло также письмо и от Натальи Сергеевны, пахнувшее духами л'ориган. От нее же передали ему письмо в штабе полка и 20 мая, и он держал его в кармане гимнастерки нераспечатанным. У него, человека энергичного, знающего себе цену, была такая маленькая странность — не спешить знакомиться с письмом человека, которого он любил. Письмо есть ведь, — вот оно, здесь, ближе к сердцу, чем что-либо другое. Меня помнят, обо мне думают, — и вот доказательство этого — письмо в закрытом конверте. Милым твердым почерком, крупными буквами в нем

может быть написано и то, и другое, и третье. Ну, а вдруг написано совсем не то, чего бы мне хотелось, или не так выражено, не теми словами? Это письмо — слишком дорогой подарок, чтобы в нем обнаружился вдруг какой-нибудь изъян. И когда же? Как раз тогда, когда здесь совершается такое, совершенно ведь невидное из Херсона, напряжение огромнейших сил, о котором будет сказано в телеграммах мертвыми казенными словами: «Войска Юго-западного фронта перешли в наступление». Наконец, что бы ни было написано в этом письме, пусть оно звучит в душе только как пароль — «Россия». Впереди — позиции противника, укреплявшиеся им всеми средствами техники в течение долгих девяти месяцев и потому признанные знатоками этого дела совершенно неприступными; рядом — смелое желание сотен тысяч людей русских переступить через них, а позади — золотонивая, голубо-небая Россия.

* * *

Когда, год спустя, в 1917 году, англичане готовили атаку немецких позиций на Ипре *, они выпустили для этой цели четыре с половиной миллиона снарядов стоимостью в двадцать два миллиона фунтов стерлингов, то есть двести двадцать миллионов рублей золотом, или около того. Вес этих снарядов был равен 107 тысячам тонн, так что для доставки их из Англии на материк нужно было пустить 27 судов по 4000 тонн водоизмещением, а для подвоза с берега к линии фронта — 36 тысяч трехтонных грузовиков.

Когда генерал Макензен * в 1915 году осуществлял свой прорыв на Карпатах, на фронте третьей армии русских войск, его артиллерийская фаланга развивала огонь такой силы, что на два погонных метра фронта приходилось сорок три снаряда.

О таком поражающем воображение богатстве снарядами не мог и мечтать Брусиллов, когда разослал своим командирам приказ начать бомбардировку австро-венгерских позиций на рассвете 22 мая, и все же внушительность начавшейся канонады явилась совершенно неожиданной для австрийских и германских генералов.

Всего за неделю до того совещались два союзных главнокомандующих — Конрад фон Гетцендорф * и Фалькенгайн *, не опасно ли будет снимать с русского фронта большое число дивизий для переброски их на итальян-

ский фронт, и первый убедил второго, что никакой опасности нет и быть не может, что без тяжелой артиллерии было бы безумием со стороны Брусилова пытаться прорвать неприступные позиции, а чтобы подвезти тяжелые орудия в достаточном числе, а также снаряды к ним, русским при их отвратительных дорогах потребуется не меньше месяца, — время вполне достаточное, чтобы совершенно разгромить итальянцев.

Гетцендорф был так увлечен своим проектом натиска на Венецию из Тироля через плоскогорье Азиаго, что сумел убедить Фалькенгайна в полной безопасности этого шага, давшего уже с первых дней наступления большое количество пленных и трофеев и сулившего полный успех.

Фалькенгайн не выдержал роли строгого опекуна и развязал руки Гетцендорфу. Несмотря на то, что местность, по которой шло наступление, была высокогорная, покрытая снегом, что затрудняло военные действия, австрийские войска, окрыленные удачами, рвались преследовать отступающих итальянцев, — оставалось только поддерживать их пыл новыми и новыми частями: любая армия наступает стремительно, если перед ней бежит противник и о ней заботится начальство.

Победы в Италии приказано было праздновать на австрийских позициях как раз 22 мая, слив этот праздник с торжеством по случаю дня рождения австрийского эрцгерцога Фердинанда, командующего четвертой армией, которую была брусиловская восьмая армия в предыдущем году.

Очень кстати оказался, таким образом, салют огромного числа русских орудий, — среди которых, вопреки уверениям Гетцендорфа, были тяжелые, — раздавшийся на фронте в четыреста километров почти одновременно на рассвете: трудно было бы и придумать лучшее начало для празднования побед в Италии, с одной стороны, и для рождения одного из членов австрийского императорского дома, с другой.

Когда начинают свой разговор тысячи орудий, далеко разносится он по земле: салют эрцгерцогу Иосифу-Фердинанду слышала вся Подолия, слышала вся Волянь, слышали Карпаты, Галиция, Буковина, Румыния, а скоро услышали его в Вене и Берлине.

Это была торжественная увертюра к тому, что потрясло основы одной из старейших монархий Европы, решительно повернуло лицо победы в сторону держав Антан-

ты и могло бы привести к полному разгрому Австро-Венгрии летом, если бы ставка с царем во главе так же поверила в русского бойца, как поверил в него Брусилов, и дала бы тому, кто хотел наступать, а не тем, кто решил, как Эверт и Куропаткин, отсидеться, все средства к наступлению.

Западный и Северо-западный фронты считались ставкой важнейшими, так как они прикрывали Москву и Петроград, что же касалось Юго-западного, прикрывавшего Киев и Одессу, — Украину — житницу России, с ее криворожской рудой и донецким углем, то он считался второстепенным.

Эта предвзятость привела к тому, что обделенный тяжелой артиллерией, без которой нечего было и думать о прорыве укреплений, имевших накатники в шесть-семь рядов толстых бревен, присыпанных слоем земли в несколько метров толщиной, а где и бетонных, с рельсами вместо бревен, — Брусилов вынужден был перебрасывать тяжелые мортиры не только из одного корпуса в другой, которому давалась ударная задача, но даже из одной армии в другую.

И все-таки к началу бомбардировки австро-германцы семидесяти брусиловским тяжелым орудиям и мортирам могли противопоставить сто шестьдесят, — важно было только то, что внезапность русского огня не дала времени их сосредоточить именно там, где оказалось нужней и важней. Случилось то, на что надеялся Брусилов, открыто ведя саперные работы, как подготовку к наступлению, во многих местах своего фронта.

Для многих австрийских генералов неожиданным оказалось и то, что сила русского огня не только не слабела с часами, напротив — росла. За первыми выстрелами следили с наблюдательных пунктов, и, только убедившись, что снаряды ложатся в намеченные цели и производят там, у противника, ожидаемый вред, учащали пальбу.

Расстояние между окопами местами доходило до трехсот, а где даже и до ста шагов, что позволяло австрийским солдатам во время Пасхи выкрикивать поздравления с праздником.

Теперь поздравляли минами и бомбами из минометов и бомбометов, причем минометов было больше у австро-германцев, бомбометов оказалось больше в русских окопах.

В апреле, в двухдневных боях у озера Нарочь, на За-

падном фронте впервые в ту войну были введены и только что изобретенные немцами огнеметы, но на брусиловский фронт они еще не успели попасть.

* * *

Приведя в действие большие силы, каких никогда до этого не было под его начальством, Брусилов в штабе, в Бердичеве, не мог, конечно, чувствовать себя спокойным и вполне уверенным в успехе, особенно на фронтах одиннадцатой и седьмой армий, где он за полнейшим недостатком времени не успел даже и побывать.

Он не был по натуре сухим человеком. Он всегда склонен был верить в приметы, отыскивать таинственное и непостижимое в жизни, одно время даже увлекся спиритическими сеансами, которые, впрочем, вообще были в моде во второй половине прошлого века.

Теперь он мог бы назвать себя пифагорейцем: он стал себя чувствовать во власти магии чисел. Отлично изучив по карте фронта расположение частей своей бывшей восьмой армии, он изучал также соотношение сил своих и австро-германских на фронтах Сахарова, Щербачева, Лечицкого и еще перед началом наступления говорил в штабе:

— Да, вот видите, как вышло, господа, оказывается, наше превышение в силах над противником сводится к пустякам, — сто с чем-то тысяч всего на четыреста верст по линии фронта! Ведь это совершенно ничтожно для наступающего на такие крепкие позиции... А вот Эверту создают тройное превосходство в силах! У нас едва набирается двадцать процентов перевеса, а у него целых триста!.. Да, плохо, плохо быть пасынком даже и среди главнокомандующих... Конечно, мы не старшие козыри в игре, однако же, с нас начинают игру, а мы... все ли мы подсчитали как следует?

И подсчеты людей, орудий, пулеметов, снарядов, патронов, лошадей, повозок и прочего начинались в штабе снова.

В день, назначенный для открытия бомбардировки по всему фронту, уже не занимались подсчетами, а ждали телеграмм от командующего армиями.

Важнейшая задача прорыва была оставлена за восьмой армией, которая, соответственно задаче, была и сильнее остальных, вобрав в себя больше трети всех сил Юго-западного фронта, — пять пехотных корпусов и один конный.

Ей приказано было Брусиловым действовать путем штурма не раньше утра на второй день бомбардировки, так что ожидать донесений об успехах или неудачах пехоты можно было из других армий, и первая радостная телеграмма пришла в полдень. Генерал Сахаров доносил, что его 6-й корпус прорвал фронт противника в назначенном для того месте, захватил одну из командующих над его позициями высот и закрепился на южном скате другой высоты.

За этой радостной вестью часа через два пришла и другая от того же Сахарова: второй его корпус — 17-й, который, как знал Брусилов, должен был только содействовать 6-му, в свою очередь прорвал позиции австрийцев против деревни Сопаново.

— Вот видите, вот видите, как! — ликовал Брусилов, впиваясь глазами в карту-верстовку.

— Странно только, что против Сопанова, а не против Богдановки, — заметил на это Клембовский, хорошо помня, что 17-му корпусу предписано было действовать против Богдановки, а Сопаново называлось только на всякий случай.

Но Брусилов тоже помнил все эти деревни, против которых готовились плацдармы.

— Да, да, Богдановка, совершенно верно, но успех, успех ожидал нас у Сопанова, — в этом все дело! — объяснял он оживленно своему начальнику штаба, доставшемуся ему в наследство от Иванова. — В этом только и состоит вся суть моего плана!.. Умница комкор Яковлев решил, значит, против Богдановки, где его ждали, устроить только демонстрацию, а ударить по-настоящему от Сопанова, вот и все, — и получился успех! А между тем, — вы ведь знаете это, — сам же Сахаров в Волочичке на совете заявлял, что успеха не ожидает!

— Не рано ли все-таки он пустил пехоту, Алексей Алексеевич? — раздумывал, глядя в ту же карту, Клембовский. — Артиллерия у него не так сильна, особенно в шестом корпусе... да и в семнадцатом тоже. Не погорячился ли Гутор, вот чего я боюсь.

Генерал Гутор был командир 6-го корпуса, только что оправившийся от тяжелой раны и как раз накануне наступления, 21 мая, вновь принявший свой корпус.

— Да ведь что же Гутор? Он ведь боевой генерал, а не штабной, и свой корпус знает и позиции немцев знает, — вступился за Гутора, известного ему еще до войны, Брусилов.

— Но ведь против него немцы, а не австрийцы, и командующие высоты, а не ровное место, и даже не лес, как против Яковлева.

Брусилов знал, конечно, что против 6-го корпуса стояла часть Южной германской армии генерала Ботмера, — именно две дивизии — 32-я и 29-я, — что командующие над всей местностью там высоты — 369, 389, 390 — были чрезвычайно сильно укреплены за девять месяцев упорно сидевшими там немцами, знал и то, что артиллерия 6-го корпуса слаба, как и всей армии Сахарова, — ведь несколько батарей тяжелой артиллерии он сам приказал передать оттуда в восьмую, ударную, армию.

— И артиллерия слаба, и корректировать стрельбу по второй линии немецких укреплений нельзя без аэроплана, однако же вот держатся в занятых окопах, — молодцы! — скорее подбадривал самого себя, чем понимал причины успеха Гутора и верил в его прочность Брусилов. — Да, наконец, ведь задача всей армии Сахарова только завязать дело, задача вполне второстепенная — оттянуть на себя резервы армии Бем-Ермоли, а завтра ударит восьмая, и это уж будет настоящий удар.

Армия генерала Бем-Ермоли была австрийская, расположенная севернее армии Ботмера, против восьмой русской.

Телеграммы шли за телеграммами, сплошной поток телеграмм, но из седьмой — от Щербачева и из девятой — от недавно вступившего снова в ряды несущих службу командармов Лечицкого — телеграммы касались только работы легкой артиллерии, пробивавшей проходы в проволоке, и тяжелой, долбившей вторые линии укреплений и уничтожавшей неприятельские батареи.

О том же самом доносил неоднократно и начальник штаба восьмой армии генерал Сухомлин. Брусилов замечал за собою, что все донесения Сухомлина, с которым работал он последние месяцы перед назначением главным командующим, его особенно волновали, хотя они пока касались только подготовки к атаке пехоты; отделаться от пристрастия к делам своей бывшей армии он все же не мог.

Однако день 22 мая был днем начала наступления, и начинала сбивать врага с давно насиженных им мест одиннадцатая армия, а не восьмая.

— Доброе начало — половина дела, доброе начало — половина дела, — механически повторял Брусилов, внимательнейше между тем слушавший и просматривавший сам

телеграммы и Сахарова и непосредственно обоих комкоров — Яковлева и Гутора.

Корпус Яковлева — 17-й — был временно взят в одиннадцатую армию из восьмой и примыкал к левофланговому корпусу восьмой армии — 32-му, — поэтому действия Яковлева занимали большую часть интересов Брусилова по сравнению с действиями Гутора. Но корпус Гутора стремился пробить брешь в наиболее сильных позициях на всем фронте одиннадцатой армии, притом в позициях, защищаемых германцами. Атака 6-го корпуса шла на Воробьевку, Глядки, Цебрув, но от этих галицийских деревень очень далеко было до армии кронпринца, осаждавшей Верден, однако удар здесь был направлен против нее там: били здесь, чтобы облегчить положение французов под Верденом, дивизии которых с тупой методичностью перемалывались артиллерией германцев; били здесь, чтобы оттянуть силы, таранящие Верден, на себя. Это была жертва на общий алтарь европейских жертв и вместе с тем это был вызов Эверту: против 6-го корпуса, как и против всего почти его фронта, стояли одни и те же германцы, которые, по убеждению Эверта, были неодолимы.

Одна из телеграмм-донесений особенно взволновала Брусилова. Сахаров доносил, что, по показаниям пленных немцев, им было известно, что наступление не только готовится против линии укреплений на высотах 369, 389 и 390, но и начнется не раньше, не позже, как 22 мая, поэтому у них все было готово к достойной встрече русских.

— Что они знали о наступлении, это понятно: такого шила в мешке не утаишь, но откуда они могли узнать заранее о дне наступления? — недоумевал Брусилов и вспоминал любознательность царицы, но Клембовский отнесся к этому проще, — он сказал, вздохнув:

— По-видимому, это только объяснение неудачи, постигшей Сахарова, о которой сообщено им будет несколько спустя.

Действительно, несколько спустя пришло донесение о больших потерях 6-го корпуса. Боевые полки 16-й дивизии — Владимирский и Казанский — держались в занятых ими укреплениях, но им пришлось выдержать несколько контратак противника, которые нечем было отбивать, кроме как оружейным и пулеметным огнем, для чего уже теперь, в самом начале дела, не хватало патронов.

Артиллерия оказалась не в состоянии успешно бороться с многочисленной артиллерией врага. Кроме того, складки местности на высотах так укрывали неприятельские батареи, что наши наводчики не в состоянии были их нащупать. Змейковые аэростаты ничуть не помогли делу: во-первых, они не могли подняться выше как на двести метров, откуда ничего не было видно; во-вторых, их так раскачивало ветром, что наблюдатели заболели морской болезнью и сделались вообще ни к чему не пригодны.

В семнадцать часов (суточный счет часов был введен в ставку в ночь с 3 на 4 апреля) пришло донесение из штаба восьмой армии, что особая группа генерала Зайончковского двинулась в наступление на штурм германских позиций из деревни Черныж, но вслед за тем новое донесение обрисовало этот штурм как неудачный: он был отбит с большими потерями для частей 30-го корпуса, виною чему была плохая артиллерийская подготовка.

Брусиллов встретил это донесение спокойно.

— Что из того, что отбит первый штурм? — говорил он. — Первый не удался, — второй удастся. Зато немецкие резервы не пойдут оттуда на юг и не помешают тридцать второму корпусу и восьмому прорваться на Луцк и Ковель. Хорошо сделал Зайончковский, что выступил вовремя: и раньше выступить было бы хуже и позже еще хуже. А немецкие резервы припаяны теперь к Черныжу, — кончено!

Он не хотел допускать и мысли, что на его фронте, на который смотрят теперь злорадно Эверт и Куропаткин, скептически Румыния, с надеждой отчаянья Италия, с проблеском надежды Франция и с верой исстрадавшаяся за двадцать два месяца войны Россия, может провалиться все начатое им большое дело в самом начале.

Он пил крепкий чай, курил папиросу за папиросой и вчитывался в подносимые ему телеграммы, всем существом стремясь найти в них что-нибудь радостное.

Но через час, — это было уже совсем к вечеру, — донесения рисовали картину еще более безотрадную: противник, не считаясь с числом расходуемых снарядов, развил ураганный огонь по занятым владимирцами и казанцами окопам, не переходя в атаку, и таким образом создал большие затруднения, даже полную невозможность поддержки наших бойцов, несущих большие потери.

— Это уже похоже на то, что было в марте и апреле у Эверта, — сказал Клембовский.

— Нет, не похоже, нет! — вскипел Брусилов. — Генерал Гутор — прекрасный корпусный командир, но... но он только вчера вернулся в корпус свой из госпиталя — вот причина! Подготовка велась без него — вот!.. Кто ее вел? Как ее вел? — Вот где причина! Говорится: без хозяина дом — сирота, так и это. Нужно телеграфировать Сахарову: «Завтра с утра во что бы то ни стало занять на участке шестого корпуса обе главные высоты — триста восемьдесят девять и триста девяносто, для чего ночью произвести перегруппировку артиллерии и подготовить к атаке части четвертой дивизии».

Записав сказанное, Клембовский вспомнил и о высоте 369:

— На высоте триста шестьдесят девять тоже ведь положение трудное, Алексей Алексеевич.

— Ну вот и добавьте об этом: «Шестнадцатой пехотной дивизии расширить плацдарм на высоте триста шестьдесят девять, оставив при этом только один полк в корпусном резерве».

Заметив некоторую нерешительность на нервном лице Клембовского, записавшего и это добавление к приказу, Брусилов спросил резко:

— Что вы хотите мне сказать?

— Неизвестно, как велики потери шестого корпуса теперь и насколько их будет больше к ночи, Алексей Алексеевич, — осторожно выбирая слова, ответил Клембовский. — Вдруг эти потери уже сейчас доходят до численности целого полка?

— Вы так думаете?

— Это вполне возможно... А к ночи там, может быть, потеряют еще два батальона, раз наша артиллерия не может соперничать с неприятельской.

Брусилов раза два прошелся по кабинету, остановился у окна и сказал, не поворачивая головы:

— Добавьте в таком случае: «Исполнение по усмотрению командира корпуса».

* * *

В штабе Брусилова, как и в штабах всех четырех командармов, писались и оттуда сыпались на линию фронта телеграммы с приказами, ясными, категоричными и очень требовательными к людям. Все было рассчитано, — магия цифр и чисел владела всеми, — не было только предусмотрено такой досадной мелочи — дождя, а дождь,

сильный весенний дождь, притянутый дневной канонадой, хлынул как раз ночью, когда нужно было совершать перегруппировку войск и передвигать артиллерию.

То, что действительно могло быть сделано за ночь в сухую погоду, при напряжении всех сил, не успели сделать под дождем, когда глубоко размок и без того сыроватый грунт, когда за сплошной сеткой споро падавших крупных капель люди даже и в трех шагах перестали что-нибудь видеть, точно заболели куриной слепотой.

Кроме того, не в одной ведь дивизии Гильчевского, а во всех дивизиях одно и то же, не солдаты, а народ, одетый в серые шинели. Народ же этот был разный, и чем только он ни занимался до войны!

Крестьяне и рабочие городов, попав в армию, проходили, конечно, и военный строй и стрельбу из винтовок, но неискоренима была в них привычка отдыхать в то время, когда работает дождь. Так что даже и здесь, на фронте, за несколько часов до боя, когда тысячам из них грозили смерть или увечье, многие не хотели понять, что дождь ли, грязь ли, ночь ли, а работать надо: им все казалось, что это как-то не по закону с них требуют.

К утру, впрочем, дождь перестал.

Четвертый батальон 402-го полка продолжал оставаться в резерве, но был предупрежден все-таки, что как только пойдут на штурм первые два батальона, он должен быть готовым по команде немедленно двинуться по ходам сообщения вперед в определенном порядке.

Готовиться к возможной смерти и не прочитать письма, — может быть, последнего письма от любимой женщины, — было невозможно, конечно, и Ливенцев нашел время уединиться с письмом утром и вскрыл конверт. И, только когда вскрыл его, осознал, почему все откладывал это; он понял, что боялся каких-нибудь не тех ее слов, не тех ее мыслей даже, таящихся между строчек письма, — боялся какого-нибудь разительного несоответствия ее мира с тем, который окружает его; но с первых же строк письма увидел, что напрасно боялся.

Письмо Натальи Сергеевны начиналось с того, чем иная на ее месте могла бы закончить:

«Храни вас бог! Благословляю, целую!»

Он остановился на слове «благословляю». Почему «благословляю»? Не иначе ли как-нибудь? Может быть, «обнимаю»? Но почерк четкий, буквы крупные, — не «обнимаю», а действительно «благословляю»... Это наполнило его тою торжественностью, какая была, несомненно,

в ней, когда она писала, и дальше он читал уже без опасений и с огромным вниманием к каждому ее слову, как будто она была рядом и он ее слышал:

«Мне было очень тревожно за вас все последние дни. В газетах так много пишут страшного, а говорят люди еще больше. Мы все живем для лучшего будущего, конечно, но хотелось бы все-таки, чтобы оно настало, не требуя от нас такой слишком дорогой цены. Если за него придется отдать все, что еще осталось у нас, тогда зачем нам и это лучшее будущее? Тогда, значит, мы его просто-напросто недостойны и напрасно его добиваемся. Если к лучшему будущему приходится делать прыжок через такое море крови, то можно ведь и не перепрыгнуть, а утонуть, то есть, я хочу сказать... утонуть всем лучшим, что у нас есть, и что же тогда останется? Вы меня умнее, и вам виднее там, на месте, где творится наша новая история, какими средствами она творится и какими именно людьми. Не обо всем можно писать, — вам известно это, не все бумага терпит, но мне хотелось, чтобы с вами лично ничего плохого не случилось. Говорят и пишут, что летом должны начаться на фронте какие-то большие события, — они и начнутся, конечно... Я не пишу вам: «Не сдавайтесь в плен!» Я знаю, — вы и так не сдадитесь. Но мне бы хотелось, чтобы у вас были хорошие начальники, чтобы они знали, что надо делать, чего нельзя. Это ведь не так много я хочу, не правда ли? Ведь я имею право этого хотеть?.. Жду от вас письма. Пишите мне каждый день, если можно, хотя бы по два слова только! *Н. Веригина*».

Ливенцев украдкой поцеловал письмо, тут же написал на клочке бумаги: «Жив, здоров», подписался, надписал на обороте адрес Натальи Сергеевны и сунул клочок этот в карман, так как не знал, кому передать его. Трудно было и знать это перед боем, который мог вырвать из списка живых кого угодно.

Артиллерия уже гремела, готовя бой.

Перед позициями 401-го и 402-го полков стояли две высоты — 100 и 125 метров, — на них-то и были расположены мадьярские окопы. Но если к окопам первой линии почти вплотную подобралась в земле русские окопы, то вторая линия укреплений была запрятана за гребни высот. Аэроплан поднялся было, чтобы корректировать стрельбу тяжелых батарей по второй линии, но, обстрелянный, быстро улетел в тыл.

За ночь всюду в пробитых проходах мадьяры успели

понаставить рогаток, но горные и легкие орудия, а также бомбометы очень быстро разметали эти препятствия.

Гильчевский с Протазановым с раннего утра были уже на наблюдательном пункте и видели, как тяжелые снаряды мадьяр ищут батареи, переставленные все-таки ночью, несмотря на дождь и грязь, — ищут ревностно, однако неудачно. Но снаряды падали и в передовые окопы обоих ударных полков, и это обеспокоило Гильчевского.

Начало штурма было назначено командармом в девять часов. Гильчевский решил применить хитрость: ввести в заблуждение солдат противника тем, что прекратить огонь и заставить их выскочить из окопов для отражения штурмующих штыками, а в это время накрыть их новым градом артиллерийских снарядов и тем обеспечить дело штурма.

Но вышло не так, как ему представлялось.

Командир 402-го полка Кюн получил этот полк не так давно — в январе. О том, что у него сильная протекция в Петрограде, Гильчевский знал; что он — исправный службист, — это видел; проверить, каков он в деле, не пришлось, не было случая — и всю зиму и раннюю весну тянулось позиционное сиденье. Если даже и говорил кто-нибудь ему о Кюне, что он не выносит артиллерийской стрельбы, Гильчевский принимал это за злую шутку. В первый день канонады не случилось его видеть, а на второй день злополучная нервность Кюна испортила штурм.

Гильчевский приказал прекратить оружейный огонь ровно в половине девятого, а через четверть часа, когда мадьяры выскочат из окопов, чтобы отражать штурм, открыть пальбу снова и продолжать ее до девяти, когда всем батареям умолкнуть.

Этот приказ был передан и командирам полков, но Кюн был точно в столбняке, — так он был оглушен канонадой, — приказа не понял и, чуть только упала в половине девятого тишина на окопы, погнал две передовые роты на штурм.

Точнее, его полковой адъютант, прапорщик Антонов, не успел предупредить в этом ставшего совершенно невменяемым Кюна, как удалось ему приостановить движение вперед других ударных рот.

Гильчевский с часами в руках считал минуту, когда должна была вновь открыться пальба по врагу, поддавшемуся на хитрость, как вдруг услышал впереди «ура».

— Что это там такое, что? Кто это? — ужаснулся он,

но остановить тех, кто уже бросился в неприятельские окопы, не мог, конечно.

Роты были полного боевого состава, высокого боевого духа. Неудержимой лавиной бросились они в проделанные проходы и вскочили в окопы противника, не дав ему времени выбраться оттуда для встречи штурмующих.

У Гильчевского была еще надежда, что окопы мадьяр, быть может, сильно разбиты артиллерией и уже наполовину пусты. В этом он почти убедился, когда вдруг очень быстро по ходам сообщения начали проводить партии пленных. Непредвиденный оборот дела, казалось, обещал удачу, но следом за пленными кинулись назад остатки рот, браво бежавших на штурм и оставшихся без поддержки.

Только гораздо позже узнал Гильчевский, что прекрасно построенные окопы врага дали возможность мадьярам оправиться после первых минут растерянности и забросать гранатами с обоих флангов ворвавшихся к ним.

Оба командира рот были убиты, роты потеряли управление, и хотя до трехсот человек насчитывалось пленных, но зато и потери рот были не меньше.

Менять данный раньше приказ было нельзя из-за того, что несвоевременно вырвалась вперед часть ударных батальонов двух полков, — четверть часа молчания батарей были выдержаны точно, и началась новая пальба. Она, несомненно, с лихвой отплатила мадьярам, так как, кое-где видно было, они все-таки выскочили из окопов, и снаряды накрыли их, пока остатки их успели спрятаться снова.

Гильчевский был очень взвинчен первой неудачей, однако он не знал, что гораздо более крупная неудача ожидала его дивизию вслед за этой, сравнительно мелкой.

Тяжелые батареи, стихнув только на время, чтобы дать этим сигнал к общей атаке, начавшейся точно в девять часов по фронту всех трех ударных дивизий Каледина, перенесли потом огонь на вторую линию австрийских укреплений. Вот тогда-то и ринулись очень дружно и остальные роты первого батальона 402-го полка и все роты тоже первого батальона 401-го, Карачевского.

Гильчевский наблюдал за их действиями не отрываясь, до боли в глазах, и увидел вдруг то, что им просто не предполагалось даже. Бешеный заградительный огонь открыла австрийская артиллерия, точно заранее ей была известна минута штурма; началась жестокая трескотня бесчисленных пулеметов, и, что всего неожиданней вышло,

он заметил своих солдат, не только падавших кучами около разорванной проволоки вражеских окопов, но еще и таких, которые вертелись пылающие, как факелы.

— Огнеметы! — догадался он. — Огнеметы!.. Неужели успели доставить?!

Да, их успели доставить, эту дьявольскую выдумку немцев, принесшую много потерь русским полкам в апреле, на Западном фронте, в боях у озера Нарочь. Для отражения штурма мадьяры выступили во всеоружии. Может быть, канонада предыдущего дня и уничтожила многие пулеметные гнезда, но или их было чрезвычайно много, или на место выбывших появились за ночь новые пулеметы из резерва, только и противоштурмовой и заградительный огонь оказался необычной силы.

Можно было рассмотреть в бинокль, как выскакивали на бруствер своих окопов неприятельские стрелки и расстреливали из винтовок залегших у проволоки солдат обоих полков. Пришлось отдать приказ открыть самую частую стрельбу по этим проклятым окопам, чтобы хоть обеспечить этим отступление в свои окопы тем, кто еще в состоянии был бежать оттуда назад, иначе можно было потерять оба батальона в весьма короткий срок.

И стрельбу подняли сразу из всех орудий, и остатки батальонов отползли к своим окопам, благо не так далеко это было.

Гильчевский приказал немедленно произвести подсчет потерь и, когда узнал, что около восьмисот человек погибло за десять-пятнадцать минут, схватился за голову. Установить точно, сколько именно было заживо сожженных огнеметами, не удалось: донесли, что несколько десятков человек.

Этот новый вид смерти бойцов на фронте особенно волновал старого командира дивизии. Бросать в атаку очередные батальоны своих ударных полков при такой налаженной обороне неприятельских позиций он не считал возможным. Он телеграфировал в штаб корпуса о своей неудаче, приказал продолжать артиллерийскую стрельбу и уехал в колонию Новины на свою квартиру совершенно подавленный и расстроенный.

Единственное, что его теперь занимало, это опрос взятых двумя ротами 402-го полка пленных. Так или иначе, но оказалось, что непредвиденно вырвавшиеся эти роты сделали хоть что-нибудь, — им помогла именно эта самая непредвиденность, внезапность.

— Так что, если бы их поддержать тогда еще шестью

ротами, — говорил дорогой Протазанову Гильчевский, — то, пожалуй, вышел бы толк, а? Но как было знать это? Я хотел сделать лучше, а вышло хуже, а совсем не лучше.

Он ждал, что Протазанов найдет что-нибудь такое, чего не находил теперь он для оправдания своей хитрости, которая послужила на пользу только мадьярам, заставив их подготовиться к штурму за четверть часа передышки. Однако Протазанов, не менее его удрученный неудачей, сказал только:

— Вот показания пленных покажут, как работала наша артиллерия. Ведь только на ее работу и была надежда, а пехота тут ни при чем, как и мы с вами. Не мы назначали штурм в девять часов по всему фронту, а командарм. Кто поручится за то, что это не было заранее известно противнику?

— Было известно, было известно, вы правы! Они знали все в точности, да! — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Хотя от этого и не легче, но это так, — знали!.. Язык наш — враг наш, такой же, как немцы!.. Шпионы, — вот кто воюет против нас прежде всего! А сволочь эта — шпионы — вербуют изменников. Разве можно было назначать заранее один общий час для штурма по всему фронту? Нет, как хотите, как вам будет угодно, а этот наш командарм новый, генерал Каледин, сущий дурак! Не зря он каким-то отпетым дураком и смотрит. Меланхолией он, что ли, страдает, а? У него и усы висят, как у покойника, и глаза мутные... А если ты меланхолик, так на черта же ты командарм, а? Скажите, пожалуйста, — ведь я слышал, что Брусилов его не хотел, — царь назначил!

— Может быть, в четвертой дивизии успех или в четырнадцатой, Константин Лукич, — попробовал возразить Протазанов, но Гильчевский, пробормотав: «Дай бог, конечно, дай бог нашему теляти волка поймати», разошелся вновь, и Протазанов убедился вновь в том, что только опрос пленных может ввести его начальника в потерянное им равновесие, хотя бы одним только краем.

А между тем, когда совершенно упавший и в своем собственном мнении и в том мнении о своей дивизии, какое он себе составил, Гильчевский возвратился, как привычно, верхом в колонию Новины, он заметил, — не мог не заметить, — что к северу от его позиции шел бой. Видны были высоко вздымавшиеся, как смерчи на море, столбы дыма и земли от разрывов тяжелых снарядов; эти снаряды были русские, 8-го корпуса, в который входили

кадровые дивизии — 14-я и 15-я, с овейными боевой славой полками: Волынским, Минским, Подольским, Житомирским — в первой и Модлинским, Прагским, Люблинским, Замосцким — во второй. Эти полки тоже почти целиком состояли из новых уже людей, но положение обязывает: вливаясь, точно новое вино в старые бочки, новые люди спустя короткое время уже говорили о себе с гордостью: «Мы, волынцы», или «Мы, минцы!», «Мы, модлинцы!..» Боевые традиции полков впитывались в них даже и независимо от усилий небольшой кучки кадровиков: они перерабатывались день ото дня сами тем неисповедимым путем, о котором хорошо сказано народом: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Незаметно для самих себя они впитывали в старых полках и выправку, и выдержку, и сметливость, и стойкость: это был тот воздух, которым они дышали.

И первая атака этих старых полков с новыми людьми тоже не увенчалась успехом, но они ее повторили и уже в десять часов прочно заняли первую линию австрийских окопов на участке от фольварка Носовичи до деревни Коруто, откуда был выход на широкое Луцкое шоссе.

Правда, этот участок фронта был все-таки легче для атаки и артиллерии и пехоты, чем участок 101-й дивизии: здесь не было высот, и вторая и даже третья линия укреплений противника отлично просматривалась и простреливалась, — не нужно было прибегать к помощи аэропланов и змейковых аэростатов, чтобы корректировать стрельбу.

Но если бы поднялся на аэроплане Гильчевский, он увидел бы дальше, севернее, те же могучие разрывы тяжелых снарядов русских батарей, дающие высокие смерчевые столбы дыма и пыли: это вели упорный бой с противником тоже боевые и овейные славой полки двух стрелковых дивизий 40-го корпуса — второй и четвертой. Полки эти не имели названий, — только номера: с 5 по 8 — во 2-й дивизии и с 13 по 16 — в 4-й, но и под этими номерами они были известны и всей армии, и России, и ее врагам.

В это утро 2-я стрелковая дивизия и 15-й полк «железной» 4-й взяли штурмом две линии окопов на всем своем участке от фольварка Носовичи и дальше к северу до деревни Дерно. Отсюда шоссе на Луцк было еще ближе, чем от участка 8-го корпуса.

Наконец, еще севернее не переставая гремел бой 39-го корпуса: две молодые дивизии из бывших ополченских

дружин, — 102-я и 125-я, — пробивались тут непосредственно на Луцкое шоссе, которое перекрещивалось на их участке с железной дорогой на Ковель.

В полдень пробита была брешь между двумя деревнями — Ставок и Хромяково. Брешь эта хотя была и не так широка, зато пришлось по соседству с деревней Дерно, занятой стрелками, под фланговым огнем которых австрийцы по всем признакам дожидались только наступления темноты, чтобы бросить и третью линию своих укреплений и откатиться, насколько было можно, на запад.

Брусиллов поднялся в этот день раньше обычного.

Он привык за долгие двадцать два месяца, как командарм, сурово размеренно распределять свое время, — иначе нельзя было бы и справиться со всей работой, которую приходилось нести. Но неудачи предыдущего дня слишком потрясли его, хотя внешне он старался держаться спокойно и даже уверять своего начальника штаба, что все идет именно так, как им и ожидалось.

Нельзя было надеяться, конечно, на то, что ночь внесет какие-либо перемены к лучшему в обстановку, сложившуюся днем. Нельзя было ждать этого и от раннего утра, но когда человеку хочется, чтобы события, в которые втянуты миллионы людей, развивались как можно быстрее, он, совершенно даже против воли, механически начинает, например, переставлять мебель в своей квартире или перекладывать книги на своем письменном столе.

Главкомандующий фронтом Брусиллов жил интересами всего четырехсотверстного фронта в целом, а не отдельной какой-либо армии на нем, не отдельного корпуса пехотного или конного, не отдельной дивизии. Это ощущение биения живого пульса целого фронта в нем самом было ново. Хотел или не хотел он этого, но он уже как будто не вмещался в прежнем своем «я», он расширялся, рос по мере впитывания в себя интересов, нужд, сил и надежд других армий, кроме своей бывшей восьмой.

Этот стремительный процесс роста не мог обойтись, конечно, без слишком большого напряжения всех способностей главнокомандующего, а теперь наступал решительный день, — день отчета, день экзамена, который сдавал его фронт, который сдавала через посредство его фронта вся страна, который сдавал в конечном итоге он сам, напросившийся в ставке 1 апреля на этот экзамен. Ведь если бы он послушался тогда Куропаткина и так решительно выявленное желание привести свой фронт в наступление взял бы обратно, не гремела бы теперь артилле-

рия, по соотношению тяжелых орудий гораздо более слабая, чем австрийская, и не домогалась бы прорвать фронт противника, несравненно более крепкий, чем Юго-западный.

Но дело уж было начато, артиллерия гремела. День 22 мая показал, что гремела она как будто впустую: она не испугала врага, не нанесла ему ощутительных потерь, а если и сделала проходы в колючей проволоке, то — как знать? — может быть, эти-то самые проходы, образуя собою поневоле узкие дефиле, простреливаемые и справа и слева фланкирующим огнем, станут местами гибели десятков тысяч беззаветно храбрых людей без всякой пользы для дела прорыва? Так было у Эверта в марте, и, может быть, он, Брусилов, оказался просто чересчур легкомысленно-самонадеянным, несмотря на свой почтенный уже возраст?

В сотый раз он задавал себе этот последний вопрос и накануне и в этот день, 23 мая утром. За окнами дома, в котором помещался штаб, был разбит небольшой палисадник, и в нем цвела теперь пышными кистями ранняя персидская розовая сирень.

Запах сирени напоминал ему безмятежную жизнь с женою в Виннице, городе садов; однако это воспоминание даже, милое его сердцу, поневоле должно было пронестись мимолетно, — он не смел остановиться на нем. Жена выражала в письмах не раз уже желание приехать к нему в штаб-квартиру, но, как ни хотелось ему этого тоже, он всеми силами давил в себе это и ей писал, что не может позволить себе такой радости.

Он знал, что в девять часов Каледин назначил штурм всеми своими ударными частями, — об этом была получена его шифрованная телеграмма в полночь, — и вот стрелки стенных часов, как и стрелки карманных его старых золотых часов, заводившихся ключиком, показывают ровно девять: штурм!

Кипа бумаг, поднесенных ему на подпись, не давала ему возможности сосредоточиться на мысли, что там сейчас, на фронте одной только восьмой армии. Бумаги были все деловые, касались вопросов снабжения сотен тысяч человек, бывших под его начальством. Сколько из этих сотен тысяч будет «снято с довольствия» сегодня к вечеру?.. Бумаги подписывались им и откладывались в сторону, снова вырастая в толстую кипу. Он не читал их, конечно, это за него делали другие.

Первой телеграммой с фронта, остановившей его вни-

мание, была телеграмма комкора Федотова о взятии в плен двумя ротами 402-го полка трехсот мадьяр.

— Ага! Вот! — радостно сказал Брусилов. — Это — сто первая дивизия, — как же! Там начальник дивизии Гильчевский, — отличный генерал, прекрасный начальник дивизии!.. Отличное начало! Спасибо ему!

О том, что штурм был отбит, что очень много было потерь у Гильчевского, Федотов не сообщал, но это пока и не было нужно. Нужно было другое, и оно приходило с других участков фронта. Радость за радостью: 8-й корпус, 40-й корпус, даже 39-й ополченский корпус — везде успех!

Брусилов опасался радоваться этим успехам в полную меру: он знал, что командиры имели совершенно непреодолимую склонность раздувать даже и незначительные удачи своих частей до размеров больших и, напротив, большие неудачи сводить к незначительным. Он требовал и теперь подтверждения успехов, подробностей, он не отходил от своей карты фронта, чтобы взвешивать все возможности своих войск к дальнейшим действиям и учитывать возможности врага к их отражению.

Но, когда вечером пришли одна за другой несколько телеграмм командарма восьмой армии, что захвачены все три линии окопов противника на самом главном направлении, на Луцком, куда и был направлен основной удар, так тщательно обдуманый еще задолго до совещания 1 апреля в ставке, Брусилов позволил себе наконец довольную улыбку охотника, выстрел которого попал в цель.

В тот вечер было составлено им и послано в ставку на имя Алексеева подробное донесение о действиях его бывшей армии, так же как и о действиях других армий его фронта. В этом донесении заключительной была фраза: «Фронт противника на большом участке, на Луцком направлении, прорван» *.

* * *

При опросе пленных в штаб-квартире Гильчевский все время сидел сам, иногда задавая и вопросы: он не забыл еще немецкого языка, который когда-то штудировал в Академии.

Его занимало главным образом то, какое впечатление в окопах противника произвела пятнадцатиминутная пауза в артиллерийской стрельбе перед атакой. Эту паузу ввел он сам, думая, что так будет лучше, но вышло как будто

хуже, потому что две роты приняли ее за сигнал к штурму, выскочили не вовремя и тем испортили все дело.

Пленные были настроены враждебно, показания их были отрывочны, однако несколько человек из них проговорилось о том, что в передовых окопах их и в ходах сообщения было много потерь от русских гранат, когда обстрел неожиданно начался снова в восемь часов сорок пять минут.

— Ага! Много потерь! — воспрянул духом Гильчевский и переглянулся с Протазановым.

Представить это было можно так: из глубоких блиндажей и «лисых нор» выбегали солдаты противника для отражения штурмующих штыками и заполнили, конечно, и ходы сообщения и передовые, более мелкие окопы, когда их накрыл неожиданно для них новый град русских снарядов.

Установив, что благодаря его выдумке потери мадьяр, считая с пленными, никак не могли быть меньше, чем потери его дивизии, Гильчевский несколько успокоился. У него возник тут же новый план артиллерийской атаки, и он поделился им после опроса пленных со своим начальником штаба.

— Вот что мы сделаем: не будем совсем прекращать огня, когда будет назначен нам новый штурм. Люди пусть бегут на штурм по ходам, а легкие орудия в это самое время пусть лупят по окопам и ходам сообщения, чтобы...

Он имел привычку иногда не договаривать того, что понятно без слов: он любил, когда за него договаривали подчиненные, особенно же солдаты; ему казалось, что таким приемом он приучает их думать.

— Чтобы перенести огонь на вторую линию, когда наши добегут до первой, — договорил Протазанов. — Это было бы хорошо, если бы артиллерия с пехотой спелась как следует, чтобы не накрыть по оплошности своих же.

— Как же так накрыть своих? Что вы это такое? Ведь не ночной же назначат нам штурм? — взмахнул обеими руками, как крыльями, Гильчевский.

— Хотя бы и днем, но видимость может быть плохая, Константин Лукич, — например, дождь... Или плохо будет видно из-за дыма.

— Ничего, мы выберем время, вот что мы сделаем. Теперь уж не командарм и не комкор даже, а я сам назначу время для штурма, — вот что-с. Я отвечаю за действия своей дивизии, я и назначу... Раз у меня опол-

ченцы, то пусть в мой монастырь с кадровым уставом не ходят. У меня свой устав... А все-таки, почему же это выскочили не вовремя две роты, — вот вопрос? — вспомнил вдруг Гильчевский. — Надо бы вызвать к прямому проводу полковника Кюна.

С Кюном по этому поводу еще не говорили, — совсем не до того было. У начальника конвоя при пленных, зауряд-прапорщика, была сопроводительная бумажка и донесение, подписанное Кюном; было потом и новое донесение его же о неудачном штурме в девять часов; но лично с ним еще не говорил Гильчевский, и вот Протазанов вызвал к телефону Кюна.

Оказалось, что Кюн заболел внезапно, и вместо него говорил полковой адъютант Антонов.

— Чем заболел? — удивленно спросил Протазанов.

Прямого ответа он не получил, — Антонов передавал, что командир полка лежит и плохо стоит на ногах, если пытается встать, поэтому ложится тут же снова.

— Что такое с ним? — удивился и Гильчевский. — Вертячка, как у овец от глистов в голове бывает, или, может быть, живот схватило? Спросите определенно.

Однако и на более определенный вопрос Протазанова Антонов отвечал так же неопределенно и путано; приказание же двум погибшим в бою командирам рот о начале штурма ровно в девять часов было, по его словам, утром передано им, как и всем прочим.

— Ну, на мертвых можно валить что угодно, у них не добьешься правды, — сказал Гильчевский Протазанову, — значит, я буду иметь в виду, что полковник Кюн подозрителен по холере... или по чуме, или по сибирской язве, почему и руководство штурмом передать командиру четырехста первого полка, Николаеву, — вот как мы делаем... И теперь пусть оба полка полностью идут на штурм, — была не была, — повидалася... А в резерве остается пусть третий полк. А четвертым пусть подавится комкор Федоров... В такой момент полк у меня взял, а? Только бумажонки строчит в тридцати верстах от фронта, а порох он едва ли когда нюхал!

Зная, что по поводу комкора Гильчевский может говорить много, Протазанов постарался вставить как можно мягко:

— У нас есть еще учебные команды, Константин Лукнич.

— А как же нет? Конечно же, есть полторы тысячи человек, — обрадованно, точно сам не знал этого раньше,

подхватил Гильчевский. — Вот и их тоже, их тоже в резерв... Конная сотня еще имеется, — и конную сотню в резерв: пустим ее за отступающим противником вдогонку... если он, проклятый, вздумает отступить перед ополченцами.

Все-таки он не мог отделаться от мысли, что штурм этого дня провалился потому только, что ополченцы, во скольких водах их ни мой, настоящего военного обличья иметь не будут, и ожидать от них чего-нибудь путного — просто глупо.

Горькие мысли эти несколько раз вкладывал он в течение дня в гораздо более резкие и злые слова. Впрочем, и о себе самом он тоже сказал как-то между делом:

— Дал маху!.. Понадеялся на какой-то кислый сброд, что ни ступить, ни молвить не умеет. На что же я надеялся, скажите, — на счастливый случай? Только Иван-дурак на счастливый случай надеется, и то в дурацкой сказке.

— Хотя бы узнать, как в четырнадцатой дивизии штурм прошел, грому там было пропасть, — сказал Протазанов.

— Авось завтра утром узнаем, — отозвался Гильчевский хмуро.

Но узнать об этом удалось ему еще задолго до утра, когда все распоряжения на завтрашний день были им переданы в полки и команды.

Он уж укладывался спать, когда услышал с надворья громкий круглый голос:

— Генерал Гильчевский здесь квартирует?

Потом кто-то звучно спрыгнул с коня.

— Вот тебе на! Кто же это там такое? — проворчал недовольно Гильчевский, натянул снова на плечи только что было сброшенные подтяжки и взял со стула распяленный на его спинке староватый уже свой диагональный френч.

А за дверью тот же круглый голос:

— Доложи его превосходительству, что полковник Ольхин, командир шестого Финляндского стрелкового полка.

— Ваше превосходительство, полковник Ольхин! — появился и сказал отчетливо, точно подстегнутый бодрым голосом приехавшего, вестовой Архипушкин, которого Гильчевский обыкновенно звал, переставляя ударение — Архипушкин.

— Прости же, что же ты! — крикнул Гильчевский, натягивая френч.

И вот в комнате, служившей начальнику дивизии и кабинетом и спальней, появился молодой еще для командира полка генштабист, крутоплечий здоровяк, и откомендовался по уставу:

— Ваше превосходительство, честь имею представиться, назначенный в ваше распоряжение со своим шестым Финляндским стрелковым полком, генерального штаба полковник Ольхин.

— Как так в мое распоряжение? — подавая ему руку, спросил Гильчевский.

— Точно так же, ваше превосходительство, как и пятый полк той же дивизии, который идет за моим полком и часам к четырем утра, я думаю, будет на месте, — весело ответил Ольхин.

— Вся бригада в мое распоряжение? — удивился Гильчевский.

— Относительно первой бригады мне известно, что она назначена в резерв вашего корпусного командира, генерала Федотова, а уже его распоряжением будет передана в ваше распоряжение в порядке постепенности, начиная с моего полка, — тем же веселым тоном сказал Ольхин и добавил: — Поэтому, в случае надобности, располагайте и мною и моим полком, ваше превосходительство.

— Да это же, позвольте, как замечательно вышло! — обрадованно заторопился Гильчевский, усаживая за стол позднего, но очень вовремя явившегося гостя. — Архипушкин! — крикнул он весело. — Раскачай, бестия, самовар. Будем пить чаем полковника.

Он поднял, конечно, и Протазанова, и весь штаб собрался у стола послушать вести от свежего человека, кстати сказать, умевшего увлекательно передавать эти вести.

Прежде всего Ольхин осведомил всех о том, чего здесь еще не знали, — что австрийский фронт прорван двумя корпусами — 8-м и 40-м.

Все крикнули «ура», подняли рюмки, как-то неизвестно даже кем и поставленные на стол перед чаем, и выпили шустовского коньяку «четыре звездочки», вытщенного из «неприкосновенного запаса» ради исключительного случая, как шутил разошедшийся Гильчевский.

— Странно только одно, — заметил после того, как вспрыснули победу, Протазанов: — Ведь четырнадцатая дивизия рядом с нашей, а мы об ее успехах не извещены.

— У четырнадцатой успехи скромнее, у пятнадцатой

большие, — сказал Ольхин, — а почему в вашей дивизии неудача, этого, простите меня, и в штабе корпуса мне не объяснили.

— А чего же там хотели от ополченцев? — обиженно вскинулся Гильчевский.

— Да ведь ополченцы-то были — ваша дивизия, — улыбаясь, возразил Ольхин.

— Так что же из того, что моя?

— От вас привыкли уже ожидать чуть что не чудес, ваше превосходительство. Я ведь помню, был как раз тогда в ставке, — как вы там всех изумили, что без моста через Вислу дивизию свою, кажется, восемьдесят третью, перекнули.

— Да, восемьдесят третью, только та была второочередная, а не ополченская.

— Хотя бы даже и кадровая, хотя бы даже и наша — финляндских стрелков дивизия, — но чтобы ее под огнем противника перебросить через реку в полверсты шириною, да еще и австро-германцев с того берега выбить, это, знаете ли, до такой степени поразило тогда нас всех, что мы вам аплодировали заочно, как могли бы только Варламову в Александринском театре аплодировать.

Ольхин говорил вполне искренне, — он был увлечен даже воспоминанием о том, что успело полузабыться в самом Гильчевском, а это, с одной стороны, польстило старому генералу, с другой — несколько смутило его.

— Во-первых, там запасные были, — пробормотал он, — а во-вторых, офицерский состав лучше... А то, представьте вот, один полк у меня взял тот же Федотов, полк с хорошим командиром полка Татаровым, а у меня остался полк с таким командиром, что вот он там заболел какой-то сибиркой или чумой, чертом или дьяволом и всю мне обедню испортил.

— Как же именно испортил? — полюбопытствовал Ольхин.

— Как? Не распорядился как следует, — тем и сорвал штурм, — вот как именно.

— А какой же штурм? Первый, второй, третий? — добивался ясности Ольхин.

— Ну-ну, — «второй, третий». Разумеется, первый, он же был и единственный.

— Так вы с одного штурма хотели позиции на высотах взять? — изумился Ольхин. — Да этого не то что от ополченцев, а и от любого кадрового полка едва ли возможно было добиться. Я слышал о трех-четырёх штурмах

поряд, даже о пяти и шести штурмах, а об одном, — простите меня, ваше превосходительство, — только от вас слышу.

— Гм... Вы как к этому относитесь? — обратился к своему начальнику штаба Гильчевский.

— Конечно, мы тоже могли бы попробовать, да испугались больших потерь, — сказал Протазанов.

— Потери у всех были серьезные, но ведь вопрос ставился о прорыве позиций, а не о том, чтобы как можно меньше было потерь. Какие бы ни были потери у нас, у противника они будут несравненно больше, — возразил Ольхин.

— Гм... Вот видите, как? — несколько укоризненно кивнул головой Протазанову Гильчевский и добавил, обращаясь уже к Ольхину: — Так что вы полагаете, если мы завтра рискнем вовсю, то... что нас может ожидать, а?

— Успех! — не задумываясь, но очень твердо ответил Ольхин.

И все выпили еще коньяку за завтрашний успех штурма, а потом уже перешли к чаю.

* * *

Прапорщик Ливенцев ловил себя на том, что несколько раздвоился после чтения письма Натальи Сергеевны: с одной стороны, жизнь приобретала для него почему-то большую ценность, чуть только оживала в представлении ярче эта скромная и тихая женщина, высокая, с четкой походкой, с верой в лучшее будущее России, библиотечарша из Херсона, — самый близкий, хотя и мало все-таки известный ему человек; с другой, — жизнь его уже растворялась, даже почти растворилась, в тысячах (миллионов он не представлял) других жизней около него, пусть даже иные, далекие от войны люди и называют пренебрежительно пушечным мясом все эти жизни. Никому из них не хочется умирать, но все в его роте, в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом, — несколько тысяч людей, — очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однако же они не бегут в ужасе куда попало от одной этой мысли: инстинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт — сохранения своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их Родина: они — граждане Родины, пославшей их на свою защиту; в этом их ценность для них же самих, хотя бы они этого и не представляли

ясно; в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах.

В часовом пробуждается гордость, когда он охраняет полковую святыню — знамя, мимо которого никто в полку не смеет пройти, не отдав ему чести. Но что же такое знамя, как не символ Родины? На часах у Родины, на страже Родины стоит каждый солдат, как и офицер тоже. Во всякого, кто подходит к знамени с целью сорвать его с древка, часовой обязан стрелять, а когда выпустит все патроны, выставить против него штык и не смеет уходить от знамени, если даже чувствует, что он слабее врага, а стоять и биться за него должен насмерть.

Это сурово, но это красиво. Тут если и теряется жизнь, зато на высшей своей точке, в экстазе борьбы за самое дорогое в жизни, за то, что ее освещает, за то, что ее подымает, за то, чем она широка...

Очень много подобных мыслей приходило в голову Ливенцеву, когда он смотрел на своих солдат в окопах, ощущая письмо Натальи Сергеевны в кармане своей гимнастерки. Была какая-то неукротимая потребность поделиться своей радостью, упавшей к нему, может быть, в последний день его жизни, и в то же время желание примирить своих солдат со смертью, какая их тоже, может быть, ждет, но неизвестно было ему, где взять для этого понятные им слова и даже с чего именно начать.

И, остановив глаза на рядовом Кузьме Дьяконове, очень хозяйственного вида пожилом ополченце, всегда аккуратно выбритом, с чистой и хорошо смазанной винтовкой, Ливенцев спросил его для начала:

— Ну-ка, Дьяконов, как ты думаешь, для чего человек живет на свете?

— Для чего живет? — повторил степенный Кузьма Дьяконов, человек широкий, неслабый. — Да как сказать, ваше благородие, для чего человек живет...

— Ну да, — для чего, как полагаешь?

— Полагаю так, что как бы ему хорошо поесть, да вот еще как бы, конечно, получше ему одеться, — вот для этого он, человек, и живет.

Очень серьезное лицо было у Дьяконова Кузьмы, когда он говорил это, — заподозрить его в малейшей тени насмешки над ним Ливенцев не мог, но, пораженный таким ответом, спросил:

— А что же, по-твоему, значит «хорошо поесть»?

— Ну, известно, ваше благородие, значит, чтоб настоя-

щая пищия была, — убежденно-спокойно сказал Дьяконов (голос у него оказался теноровый).

— Не понимаю, что это за «настоящая пищия», какой смысл ты вкладываешь в эти слова, — уже начиная улыбаться, сказал Ливенцев.

— Да вот, к примеру, хоть об себе мне вам доложить, ваше благородие, — безулыбочно начал объяснять Дьяконов. — Жил я до мобилизации под Керчью, — город такой есть...

— Знаю я Керчь, — ну? Селедка там ловится.

— И селедка, и пузанок, и разная там всячина: бычки, судаки, лещи, прочие...

— Чем же это не пища? — спросил Ливенцев с любопытством, но Кузьма только головой повел.

— Какая же это пищия, ваше благородие, — искренне недоумевал он, так как для него-то дело было вполне ясно.

— Что же ты там делал, под Керчью? Хозяйство у тебя там было?

— Да как сказать вам, — было, конечно... Корову баба держала, молоко там, сливки, творогом индюшат кормила... Курей штук двадцать, кролы... Ну, опять же, огородишко там у нас, — летнее дело, — кавуны, дыни там, редиска, морковка, картофля, — все зрящее, а что касается настоящей пищии, — не-ма-а...

Подошел в это время фельдфебель Верстаков с докладом о чем-то и не дал Ливенцеву узнать у Кузьмы Дьяконова, какую же именно пищу считает он «настоящей».

А другой ополченец, Завертяев Тихон, «вредными вещами» назвал как-то в подобном разговоре с ним Ливенцева картины. Он до войны служил в богатом доме лакеем, и там его заставляли каждый день обтирать пыль с картин, развешенных на стенах, — вот из-за этой пыли картины у него и стали вредными вещами; сказать же, что это были за картины, он не мог, так как это ему, по его словам, было «совсем без надобности», — картины и картины... «А кому из гостей интерес был на них смотреть, те смотрели».

Все-таки ежедневная забота о картинах приучила Завертяева к порядку, и солдат из него вышел довольно исправный. Но было много и таких, которые и солдатами были плохими и картинами не были огорчены, так как никогда их не видели, и все слова застывали на языке Ливенцева, когда его подмывало сказать им горячо и ярко

о Родине, о том, какая святая возложена на них задача — защищать своею грудью родную землю.

Он думал, что его поймут если не все солдаты его роты подряд, то хотя бы младший командный состав, и, собрав взводных и отделенных унтер-офицеров в одной землянке, повел было с ними беседу о том, как приходили уж не раз завоеватели на русскую землю, но уходили с разбитыми зубами, а вот теперь такими завоевателями России хотят стать немцы. Но первый же из вызванных им на разговор взводных, бородатый и расторопный и тем похожий на Старосилу, Мальчиков, хитровато щурясь, сказал уверенно:

— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, — мы вятские.

Оставалось только напоминать каждому, что он обязан был делать при штурме неприятельских окопов и что может всех ожидать в этих окопах, которые гораздо глубже русских, имеют отсеки и, пожалуй, будут защищаться упорно.

— Если он, немец, будет упорен, то нам надо быть вдвойне упорней, — говорил Ливенцев. — Теперь нам хорошо, — проволоку разнесла к черту наша артиллерия, а мне в прошлом году пришлось в Галиции через проволоку лезть, и вся рота так под огнем лезла, — через проволоку, даже ножниц не было у нас, чтобы ее резать, — и, однако, мы перелезли и окопы взяли. А теперь что же! — Теперь благодать! Теперь у нас и гранатометчики есть, а тогда ведь не было... Теперь вся армия на немца идет, а тогда один наш полк почему-то послали, и то мы шли с одними винтовками... Только когда мы уж в австрийских окопах сидели, пулеметная команда к нам подоспела, артиллерия же наша где-то в болоте завязла... А почему мы окопы взяли? — Потому что шли дружно, стеной, без отсталых, вот так и теперь будем: ура, — и все на свете забудь, и помни только про австрийские окопы, а прочесал первую линию, — гони во вторую... Главное, от товарищей не отставай, не задерживайся, ни на какую окопную австрийскую хурду-мурду не зрись, что бы там у них ни валялось... Даже и с пленными не застаивайся, — это уж я распоряжусь на месте, кому с ними идти, а не я если, — убит могу быть или тяжело ранен, — то мой заместитель, подпрапорщик Некипелов. Кстати, о ранах. Легкие раны в бою не замечаются: если только с ног не свалило, — действуй, из строя не выходи! В бою каждый человек важен, а легкую рану после сам

перевяжешь, на то у всех индивидуальные пакеты имеются, а не достанешь перевязаться сам, — товарищ перевяжет...

Так и в этом роде говорил Ливенцев, стараясь казаться гораздо опытнее, чем он был на самом деле. Он несколько не подвинчивал себя, — он о себе лично не думал, только о своей роте, от которой себя отделить уже не мог и ответственность за действия которой в предстоящем бою ощущал очень остро.

Но он не отделял и своей роты от всего четвертого батальона, хотя ей приходилось вести весь батальон, так как она была в нем по счету первой. Поэтому он ревниво присматривался, насколько это можно было в окопах, и к батальонному Шангину и к командирам других трех рот.

Шангин, как показался ему вначале разболтанным, так и оставался в его представлении — разболтанным и торопыгой. По опыту он знал, что такие командиры в бою не портят дела только тогда, когда остаются сзади.

Командирами четырнадцатой и пятнадцатой рот были прапорщики, как и он, Коншин и Тригуляев, а в шестнадцатую, несколько позже их, назначен был почему-то старый отставной корнет Закопырин, не способный уже ездить верхом, однако и ходивший, по причине своей толщины, так же плохо.

— Как же вы побежите с ротой в атаку? — спросил его Ливенцев без иронии, но с неприкрытым любопытством.

— Бегать я никому не обязался, я не беговая лошадь, — с достоинством ответил Закопырин.

— Однако ведь придется же и пробежаться до австрийских окопов, — силясь представить этого коротенького и совершенно заплывшего до сокрытия глаз командира роты бегущим, снова спросил Ливенцев.

Но с еще большим достоинством и даже с рокошущим хрипом в жирном голосе сказал на это Закопырин:

— Вы забываете, что я не-е прапорщик пехотный, а корнет.

И Ливенцев вспомнил, что он слышал от прапорщика Тригуляева, человека по натуре довольно веселого, но совершенно пустого:

— Закопырин-то наш — каков! — выражал батальонному свое порицание за то, что вы, прапорщик, командуете первой ротой в батальоне, а он, корнет — последней.

При этом Тригуляев подмигивал и выделял такие сложные штуки губами, щеками и поздраватым посом, что небольшое лицо его морщилось, как у новорожденного.

Копшин, назначенный на место Обидина, был гораздо серьезнее, но по близорукости посыл пепсне, а это тоже, как и солидная толщина, совершенно лишняя вещь в бою. До войны он работал в Тамбовском губернском архиве и сотрудничал там же, в Тамбове, в «Губернских ведомостях», а эти занятия расположили его к основательности действий и непреклонности суждений.

Правда, Ливенцев сомневался в том, был ли он способен бежать впереди роты своей на штурм, но все-таки он был и не такой пожилой, и далеко не так щедро упитан дарами природы, как Закопырин. А привычка копаться в архивах привела его к тому, что он довольно хорошо сумел изучить полевой устав, выпущенный главным штабом еще до японской кампании, когда не было в военном обиходе не только аэропланов, пулеметов и колючей проволоки, но даже и трехлинейная винтовка была введена не во всех частях.

* * *

Утром, на рассвете, пошел вдруг сильный дождь. Солнце, поднявшись, расшвыряло тучи, но сырость в воздухе держалась и повлекла за собой стрельбу химическими снарядами по батареям на участке дивизии Гильчевского: австрийцам непременно захотелось истребить всю артиллерийскую прислугу и этим сорвать новый штурм.

К газовому обстрелу давно уже готовились и носили при себе на всякий случай противогазы. Однако знали, что это слишком сильное средство войны — палка о двух концах: на газовый обстрел заранее приказано было отвечать тоже газовыми снарядами, которых достаточно было теперь как в парках, так и на позициях. Как только раздались крики: «Химия! Газы!» и лишь только успели надеть маски, взялись за эти снаряды.

Батареи в это мглистое утро имели совершенно фантастический вид.

Разрывы австрийских снарядов вообще были красные, чем издали отличались от русских, дававших белый дым, и вот теперь, в красной, как при пожаре, мгле, на батареях металась офицеры, точно на дьявольском маскараде, — с квадратными стеклами в белых черенах из резины и с длинными зелеными хоботами.



Они именно метались, а не ходили от орудия к орудью. Подавать команду наводчикам, тоже смотревшим сквозь стекла масок, было вельзя, — голоса противогазы почти не пропускали, приходилось командовать каждому наводчику на ухо и от него тут же бросаться к другому. А при каждом броске колело в легкие и почти опрокидывало навзничь от удушья. Не верилось, что противогазы рассчитаны на шесть часов, — каждому казалось, что в них невозможно выдержать и часа.

Теперь никто уже не думал о возможности смерти от осколков снарядов, — это отступило на второй план, — выпало из сознания; на первом плане было только это — вот-вот нечем будет дышать... Обстрел тянулся больше часа, и прекратили его австрийцы: они не ожидали, что русские батареи будут им отвечать так же.

Когда часам к девяти приехал на позицию Гильчевский, он увидел на батареях лошадей, валявшихся около своих коновязей с кровавой пеной, бьющей из ноздрей и рта, с мутными глазами: некоторые из них бились еще в судорогах, другие уже издохли. Люди, снявшие противогазы, были бледны, красноглазы, с угольной пылью, осевшей на губах и веках; они качались и с трудом понимали простые слова. Многих пришлось отправить в тыл, передать врачам, а между тем даже и от комкора Федотова пришел приказ о повторении штурма.

Установлена была ночью связь с 14-й дивизией, и от туда пришли ободряющие вести: две линии австрийских окопов были заняты прочно, так что если бы нажала как следует 101-я, то враги очистили бы сами и третью линию.

Хотя полку Ольхина Гильчевский приказал остаться в резерве, но сам Ольхин не усидел в Новинах, — прискакал на позиции и пробрался на наблюдательный пункт начальника дивизии.

Он был вне себя от выходки австрийцев:

— Газы вздумали пустить в дело, мерзавцы, — ого! Порядочные люди так не поступают!.. Вы знаете, что это значит, Константин Лукич?

— Догадываюсь отчасти, — ответил Гильчевский, в то же время пристально вглядываясь в глаза Ольхина. — А вы как думаете?

— Это называется: не мытьем, так катаньем, — вот что это такое! — бурно кричал Ольхин, очень темпераментный человек. — Мытьем, по-человечески, отчаялись взять, а конец свой чуют, — вот и гадят!

— Дескать, семь бед, один ответ? Да-да-да, голубчик мой, я и сам прихожу к тому же выводу... к тому же выводу...

Он присматривался в бинокль к позициям противника, чтобы найти в них новое, чего не было после вчерашнего штурма, однако это новое — были только рогатки, беспорядочно набросанные в основательно проделанных проходах.

— На полчаса работы для донцов и туркестанцев, только на полчаса... — говорил он больше про себя, чем для Ольхина, Протазанова и окружавших его штабных. — Они же теперь злы на мадьяр и разнесут у них все к черту с первых же залпов. Только нужно им все-таки отдышаться и привести у себя все в порядок... Упряжки новые пригнать из парков... А мосты? А в каком состоянии наши мосты? Узнайте сейчас же, — обратился он к начальнику связи.

Заблаговременно, еще перед первым штурмом, приказал Гильчевский сделать мостки через окопы и ходы сообщения, не говоря уже о ручье Муравице; мостки имели особое назначение: по ним должны были, в случае удачи штурма, проскакать горные батареи для поддержки наступающей пехоты; если же удача будет такою, какая могла мерещиться только в пылких мечтах, то вслед за горными могли бы двинуться по этим мосткам и все вообще легкие батареи, — бить по отступающему неприятелю вдогонку.

Однако мостки, возможно, были разбиты утром, и Гильчевский встревоженно ждал сообщения об этом. Но они неожиданно оказались целы, и Гильчевский обвел всех около себя округлевшими и проясневшими глазами и сказал Протазанову:

— Приказываю: артиллерии открыть усиленный огонь ровно в одиннадцать, а ротам повторить штурм ровно через полчаса, — в одиннадцать с половиной... Пехота чтобы не ожидала, когда огонь прекратится, так как он прекращаться не будет, а будет лупить в хвост и гриву первую линию, пока до нее не добегут наши, а когда добегут, вот тогда только по второй пусть жарят все наши батареи: это вместе с тем будет заградительный огонь, чтобы вторая линия не успела подоспеть на помощь первой. Подробные приказания пехоте были отданы раньше без обозначения времени штурма, — теперь, значит, только точно указать время, да чтобы не выскакивал никто раньше времени, как вчера у полковника Кюна! Кстати,

надо узнать, чем он таким вчера был болен, да не болен ли и сейчас этот Кюн?

— Слушаю, ваше превосходительство, — внимательно слушавший и подтянутый, как всегда, ответил Протазанов и отошел для передачи приказа.

И было всего только десять часов, когда и пехота и артиллерия узнали о решении, принятом начальником дивизии, а начальник дивизии узнал, что командир 402-го полка был вчера не то чтобы болен, а всего только несколько недомогал; в том же, что две его роты вчера выскочили на штурм раньше времени, виноваты исключительно только сами командиры этих рот, которые, к сожалению, были убиты и ответственности больше ни за какие свои проступки нести не могут.

* * *

Ровно в одиннадцать грянула вся артиллерия, сколько ее было в дивизии. Обе высоты — 100 и 125 — в первые же минуты окутались дымом от разрывов, однако мадьяры не захотели остаться в долгу: постепенно вступали в борьбу с гаубичными и тяжелыми батареями, громившими пулеметные гнезда, их тяжелые батареи.

Но было все-таки преимущество над 38-м мадьярским, короля испанского полком, и над другими полками мадьяр, занимавшими высоты, у полков дивизии Гильчевского: русская легкая артиллерия оказалась многочисленной, хотя тяжелые батареи противника и были сильнее.

Пальба все учащалась, — ее можно уже было назвать ураганной. Такой силы огня не разрешал Брусиллов, боясь износа орудий, но на полчаса подготовки штурма, при условии чередования батарей, ее разрешил лишь Гильчевский.

Земля гудела и дрожала, — это все замечали в окопах. Перепуганные полевые мыши, ютившиеся между бревнами потолков, падали вниз на головы солдат, не считая уж больше своего убежища прочным; вместе с ними сыпались и мелкие комья сырой земли.

Однако держаться можно было только в глубоких окопах, — ходы сообщения теперь не спасали ни от осколков, ни от шрапнели. Представляя то, что творилось на позициях своих и противника, прапорщик Ливенцев вспоминал прошлогоднюю атаку своей роты на высоту 370 под прикрытием густого тумана, когда не было ни такой ошеломляющей пальбы, ни таких огромных сил, пущенных

в действие с обеих сторон. Случайно тогда ждала его удача, но что ждет его теперь?

О смерти почему-то не думалось. Живого представления о ней, быть может совсем уже близкой, не принес ему и Обидин, назначенный Гильчевским в третий батальон, в одиннадцатую роту, к удовольствию Капитановой. До этого дня Ливенцев и Обидин виделись редко и мельком и почти не говорили друг с другом, теперь Обидин был торжественно-растревожен; он сказал проникновенно:

— Итак, значит, оба наши батальона через час пойдут на убой! Ну что ж, — раньше ли, позже ли, все равно... Николай Иванович, я верю, что вы останетесь живы и невредимы, а меня убьют... убьют, это я чувствую!

— Как же можно это чувствовать наперед, — что вы! — пытался успокоить его Ливенцев, напрасно усиливаясь в это время припомнить его имя и отчество.

— Нет, нет, не говорите, — волновался Обидин, имеющий действительно какой-то обреченный вид.

— Сны, что ли, вы нехорошие видите? В этом нет ничего вещего: при такой обстановке всякий подобные сны может видеть.

— И сны, и все... Нет, я не уцелею, нет, Николай Иванович, — это, может, вам покажется тривиальным, что я скажу, но вы не смотрите так... Вообще, я — не герой, я — человек слабый... У меня есть невеста, Николай Иванович, — вот ее адрес (он сунул в руку Ливенцева бумажку). Сообщите ей, что меня убили, хотя... хотя это, может быть, и жестоко с моей стороны, но я так смотрю на это: пусть лучше она узнает, чем будет оставаться в неведении, считать меня живым, когда я уж буду гнить в земле... если только меня похоронят, а не бросят там, где убьют меня...

Ливенцев очень живо представил при этих словах внимательные глаза Натальи Сергеевны и обещал, конечно, написать невесте Обидина, но тот следил в это время ревниво за своей бумажкой и сказал по-ребячески просительно:

— Спрячьте, спрячьте, пожалуйста, Николай Иванович, а то вдруг потеряете, и как же тогда?

— А почему же вы не допускаете, что меня убьют, может быть, гораздо раньше, чем вас? — спросил, невольно улыбнувшись при этом и пряча бумажку в карман шаровар, Ливенцев.

— Убежден в этом! — уверенно ответил Обидин. —

Бы рождены под счастливой звездой, как принято говорить...

— Или в сорочке, как тоже принято говорить? Впрочем, есть еще такие, что и в талисманы верят: недалеко ходить, — корнет Закопырин верит и что-то такое на шее носит. Блажен, кто держится за тетенькин хвостик какой-нибудь ерунды: дуракам иногда действительно непостижимо везет! — насмешливо говорил Ливенцев.

Обидин смотрел на него проникновенно и вдруг передернул губами, как будто стремясь усмехнуться, и не то чтобы сказал, а как-то выдохнул:

— Хватаюсь, как утопающий, за то, что вы мне бросаете: ведь я-то дурак, конечно, в ваших глазах, а? Так что, может быть, и мне повезет сегодня быть только раненым, а? Пусть даже оторвет хотя бы ногу... или даже руку, — я согласен...

И снова, как когда-то раньше, охватило Ливенцева при этих жалких словах чувство брезгливости к тому, с кем вместе, в одном купе вагона, ехал он в марте, два месяца назад, сюда, на фронт; поэтому он сказал теперь уже безулыбочно, даже хмуро:

— Был такой страшный для нас день во время русско-японской войны, когда взорвался «Петропавловск» и адмирал Макаров, и художник Верещагин, и множество дорогих людей погибло, а Кирилл Владимирович, великий князь, один из сотни ему подобных и нам ненужных и для нас вредных, выплыл каким-то образом из пучины наверх, и его подобрали, и он жив до сих пор, и, говорят, торчит зачем-то в ставке... Помнится, старый боевой генерал Драгомиров* отозвался на это тогда народной поговоркой, не то чтобы великосветской, однако меткой: «Дерьмо плавает!» Так что и с вами вполне может случиться то же самое, что и с вышеупомянутым великим князем.

Обидин не мог не понять колкости Ливенцева, но счел за лучшее не показывать, что понял, пробормотал: «Да вот видите, повезло же ему, — может быть, мне тоже...» и простился, а Ливенцеву было не до того, чтобы думать над Обидиным: у него под началом было около двухсот человек, за многих из которых не мог поручиться он, что они не чувствуют себя теперь так же, как Обидин.

Машинально он вынул бумажку и прочитал на ней: «Г. Касимов, Рязанской губ., Верхняя ул., собственный дом, Вере Андреевне Покотиловой». Он не слышал раньше от Обидина, из каких тот мест, но теперь, хотя это был адрес его невесты, а не его самого, зачислил его тоже

в касимовцы. Почерк у него оказался странный какой-то, как у малограмотных людей, что Ливенцев объяснил, впрочем, отчасти его волнением, отчасти плохо очиненным химическим карандашом.

* * *

Несколько раз за время канонады смотрел Ливенцев на свои часы, и, когда наконец стрелки подошли к половине двенадцатого, он крикнул Некипелову:

— Штурм!

Некипелов снял фуражку и перекрестился. Считая, что это не плохо в такой момент, Ливенцев сделал то же, а вслед за ним, без всякой с его стороны команды, сняли фуражки и крестились солдаты...

Некипелов не зря получил подпрапорщика: он имел Георгия всех четырех степеней. Как-то, разговорившись с ним, Ливенцев узнал, что у него в Сибири есть сестра, которая ходит на медведей с рогатиной и с ножом, и она недавно писала ему, что имеет на своем счету уже двенадцать медведей.

— Какова же она из себя? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Сказать, чтобы была из красивых собою, нельзя, — так она, вроде меня, ну зато она и ростом вышла с меня и силой ее бог не обидел, — объяснил ему Некипелов. — А на медведей это она приучилась с отцом ходить, я уж в это время на службе был... Ну, раз они такого громадину из берлоги подняли, что и сами не рады были... Этот мишка отца тогда повредил, мог бы и совсем задрать, если б не сестра Дуня: она к нему кинулась с ножом, как он стоймя стоял, да снизу вверх ему по брюху — трррр! А конечно же, нож сама точила, — как бритва он был, — вот почему громадина этот повалился, а то бы конец отцу. Так что теперь уж он дома сидит, одна Дуня ходит.

— Да ведь рогатину медведь сломать может или как? — захотел уяснить это Ливенцев.

— Обязательно сломает, — в этом и дело, — невозмутимо сказал Некипелов.

— Ну вот, допустим, сломал, — как же потом?

— А потом очень просто: она подскочит своим этим пожом его снизу вверх по брюху, — трррр! — и медведь стал ее, остается ей только драть с него шкуру да окорока

его положить под шкуру на санки да домой все это везть, — и все дело.

Особенно живописно у Некипелова выходило это «тррр», — звук, которого, может быть, невозможно было и слышать даже сестре его Дуне во время ее богатырского подвига в одиночной борьбе с сильным зверем в глухой зимней тайге. И, когда бы потом ни обращался Ливенцев к Некипелову, всегда и неизменно вспоминалось ему это «тррр».

Теперь, во время сокрушающей все там наверху канонады, отдающей во всем теле не как треск, а как совершенно подавляющий грохот, не смолкающий ни на минуту, мирной идиллией могла бы показаться схватка великорослой Дуни с хозяином тайги; но зато в той схватке, которая предстояла вот-вот, можно было положиться на брата сибирской медвежатницы.

Правда, четвертый батальон назначен был идти по порядку, после третьего, но, во-первых, тринадцатая рота должна была показать пример всему батальону, а во-вторых, третий батальон с двумя Капитановыми во главе его и с такими ротными командирами, как Обидин, Ливенцев не считал надежным. Ему представлялось, что этот батальон непременно испортит дело двух первых и не кому-либо другому, а именно ему, Ливенцеву, придется спасти положение какую-то мгновенной догадкой, каким-то «тррр», без которого все дело может погибнуть.

Батарей не прекращали пальбы, и трудно было судить в окопе о том, что делалось наверху, зато это видел взволнованно следивший за всем со своего наблюдательного пункта Гильчевский.

Слишком смело выдвинутый вперед, — всего на семьсот шагов от окопов, — этот наблюдательный пункт уцелел от артиллерийского обстрела, но пули залетали сюда и звучно шлепались в бруствер, так что стоять здесь было совсем небезопасно.

Однако ни Ольхин, ни Протазанов, ни тем более сам Гильчевский, — никто из них не мог удержаться от соблазна следить за тем, как выбежали из своих окопов первые роты обоих ударных полков, как очень быстро пробежали они по расчищенным снарядами проходам, как задерживались они то здесь, то там на брустверах мадыарских окопов, но потом прыгали вниз и исчезали, а за ними следом бежали, как будто даже еще быстрее и уверенней, вторые роты, потом третьи...

— Пошло дело, пошло дело! — кричал возбужденно Ольхин.

— Подождите хвалить, — не сглазьте! — останавливал его Протазанов.

— Нет, уж теперь не сглазишь! Теперь уж взяли их за жабры! — не унимался Ольхин.

Гильчевского ободряло это, что командир полка чужой дивизии, — притом старой кадровой, стрелковой и академист к тому же, — так близко принимает к сердцу интересы его дивизии, ополченской, к которой принято было в кадровых частях относиться не иначе, как только насмешливо; но он, как и его начальник штаба, все еще не свеял с себя горечи вчерашней неудачи, поэтому он предостерегающе поднимал в сторону Ольхина палец и бормотал:

— Цыплят по осени считают... по осени... по осени...

Глухо из-под земли начали доноситься со второй линии неприятельских окопов взрывы.

— Ага! Наши гранатометчики, наши работают! — радостно закричал Ольхин.

— По-чем вы знаете, а? По-чем вы знаете, что наши, а не ихние? — пробовал даже возмутиться этой преждевременной радостью Гильчевский и не мог: ему тоже казалось, что так рваться могут только русские гранаты!

Одна за другой бежали в проходы и уже без задержки прыгивали в глубокие окопы мадьяр, как в свои, роты вторых батальонов. Вот на высоте 125 появились кучки австрийцев с пулеметами, однако не успели пристроиться, чтобы обстрелять штурмующих, как были обстреляны сами снарядами гаубичной батареи и разбежались, бросив пулеметы и несколько убитых возле них.

— Так их, та-ак! Так-так-так, — молодцы! — кричал теперь уже сам Гильчевский по адресу батарейцев. — Крой их, вонючих, кро-ой!

«Вонючими» стали у него австрийцы только сегодня, когда вздумали взяться за удушливые газы: раньше Гильчевский отдавал дань уважения своим противникам за их благоустроенные деревни, в которых улицы были щедро посыпаны гравием, за то, что вместо наших грунтовых дорог, непроезжих осенью и весной, у них везде шоссе, как везде линии телеграфных и телефонных столбов и повсеместны указатели, благодаря которым безошибочно можно было двигаться в любую сторону, не прибегая к опросам местного населения, не всегда ведь толкового, а иногда даже и сознательно долго скребущего в затылке,

прежде чем ответить что-нибудь такое, что совершенно сбивало с толку.

Враг с сегодняшнего утра стал в его глазах подлым, п, чувствуя к нему личную озлобленность, Гильчевский понял наконец, что та же озлобленность теперь у всех от мала до велика в его дивизии и что поэтому неуспеха уже быть не может, как вчера, а непременно должен быть и будет успех.

Движение рот, одна за другой идущих на штурм, было исключительно дружным, и самое дело штурма чем дальше, тем быстрее текло. Вот уже на той верхушке высоты 125 появились взамен еще недавно там бывших австрийцев кучки бойцов 401-го полка; вот они осматривают и забирают с собою брошенные противником пулеметы; вот они, не мешкая ни минуты, переваливают через гребень к третьей линии укреплений.

— Смотрите, — пленные, пленные! Пленных ведут! — кричит раскрасневшийся от радостного волнения Ольхин, и Гильчевский видит — действительно, группа австрийцев идет под конвоем, а навстречу этой группе бегут и потом проваливаются в окопы и ходы сообщения, кажется, уже четвертого батальона какого-то полка роты... Какого именно, — 401-го или 402-го, — трудно уж и следить стало от влаги, заволакивающей старые глаза.

Вот на высоте 100 свои, — значит, и она взята, а пленные австрийцы, группа за группой, идут сюда безостановочно, — два потока движутся: свои — широкий, туда, враги — узкий, сюда, свои вытесняют врагов, свои занимают их окопы, свои бегут и бегут вперед молодцами, как и надо...

— Как думаете, больше уж, пожалуй, их будет, чем вчера? — кивает на пленных Протазанову Гильчевский.

— Куда там вчера! Гораздо больше! Победа, Константин Лукнич! — кричит Протазанов.

— Победа, победа, — ура! — подхватывает Ольхин.

Оба они кричат потому, что возбуждены, но артиллерия как своя, так и вражеская уже умолкла, а винтовочные выстрелы и короткие очереди пулеметов доносятся теперь уже издалека, с того склона высот, откуда все подходят, одна крупнее другой, новые и новые кучи пленных.

— Ого, ого! Поздравляю! — кидается Ольхин к Гильчевскому.

Тот обнимает его, стряхивая непрошеную слезу на его мощное плечо, и говорит вдруг торопливо-начальственно:

— Поезжайте же за своим полком, — придвиньте его сюда! Сейчас я пушу в наступление свой последний резерв: куй железо, пока горячо!

— Слушаю, ваше превосходительство! Через три четверти часа тут будет мой полк! — говорит Ольхин, уходя поспешно.

А на наблюдательный пункт начальника дивизии сходятся теперь уже отдыхающие командиры тяжелых батарей, чтобы тоже поздравить с победой; а горные батареи уже снимаются с позиции, чтобы мчаться вперед через заготовленные заранее мостки над ходами сообщения и палить отступающему неприятелю вдогонку.

* * *

Когда Шангин дал знать Ливенцеву, что пришло время ему передвигать свою роту в передовые окопы, чтобы оттуда бросить ее на штурм, Ливенцев не представлял еще, что ждет его солдат там, наверху, где перестала уже греметь канонада. Он не знал и того, что было уже известно Гильчевскому и его штабу; он знал только одно и знал твердо, что ему самому придется бежать впереди роты, что бы там ни было впереди: пулеметы, огнеметы, минометы или только те же самые австрийские винтовки, какие были и в руках его бойцов. К этому он уже приготовился. По опыту он знал, что, стоит только ему начать бежать с криком «ура», непременно найдется несколько человек из молодых солдат, которые его обгонят, и тогда ему, в свою очередь, надо будет догонять их, чтобы руководить рукопашным боем. Так как ум у него был насмешливый, то про себя он добавлял, думая об этом: «Необходимо в такие моменты, чтобы физиономия была наводящая ужас на неприятеля и возбуждающая невольное уважение к тебе подчиненных. Почему-то бывает во время штурма именно так, что зверские лица точно вынимаются ради этого из вещевых мешков и приклеиваются моментально поверх обычных лиц; добродушие же исчезает даже из самых кротких в мире глаз, что, конечно, само собою понятно: откуда же и взяться добродушию, когда люди бегут навстречу своей смерти и с чужою смертью, крепко, изо всех сил, зажатой в руках?»

Он как бы раздвоился в эти моменты перед действием, вместо того чтобы быть собранным, но это была только старая привычка его наблюдать за собою со стороны. И когда он беспокойно думал о том, как ему надо сделать,

чтобы не потерять руководства ротой там, в австрийских окопах, где в темноте и тесноте рассыплются его солдаты, — кто-то другой в нем как будто недоуменно пожимал плечами перед такою брэнной заботой.

— Рота, вперед! — скомандовал Ливенцев, и рота пошла, и сразу ясно стало, что не о чем больше думать, что дальше все случится само собою, только бы вырваться из своих окопов и увидеть чужие, теперь, впрочем, уже занятые своими или ставшие просто проходным двором: предвидеть заранее, что может встретиться роте там, наверху, все равно было нельзя.

Рота шла гуськом, змейкой вытягиваясь по ходам сообщения поспешно и молчаливо. Но чем ближе подходила к передовым окопам, тем оживленнее становились в ней все. «Победа!.. Бегут венгерцы! Сдаются в плен!..» — это слышали на ходу чаще и чаще от встречных раненых и вот начали выбираться наконец из своих окопов наружу, и первыми Ливенцев с Некипеловым: нужно было осмотреться, куда и как вести роту.

В несколько коротких, но ярких моментов Ливенцев вобрал в себя: тела убитых впереди в проходе, разорванная проволока задралась кверху, блестит; пара сапог торчит из воронки, венгерские окопы совсем недалеко, — добежать можно в две-три минуты; бруствер их — рыжий, на нем местами тела вповалку; выше — еще линия окопов, блестит задранная проволока, валяются убитые, но их больше: не попали ли под фланговый пулеметный огонь с соседней высоты 125?..

— Наши уж просмолили дальше! — говорит Некипелов и кричит солдатам: — Скорей, скорей, вы там! Какого черта возитесь!

Ливенцев не знает, как лучше сделать: дожидаться ли, когда выберутся из окопов наружу все в его роте, или ждать не стоит, а бежать с теми, кто уже вылез, оставив других на Некипелова? И тут же решает: «Выиграешь в скорости, потеряешь в силе, — нельзя... А главное, потеряешь руководство ротой...»

Он знает, что сзади теперь напирает на его роту четырнадцатая, а на ту — пятнадцатая: ему кажется, что он тормозит порыв всего батальона, а между тем его солдаты сами спешат вылезть из окопов, помогая один другому, и время, потраченное ими на это, в сущности ничтожно, самое же важное то, что он осознает: обе высоты спереди молчат, — ружейные выстрелы доносятся только с задних их скатов.

«Мы — для отражения контратаки мадьяр... они теперь так же спешат отбить эти высоты, как мы спешим их занять», — думает Ливенцев в то время, как последние из его роты вылезают, и, не дожидаясь уже каких-нибудь пяти-шести отсталых, он командует, выхватывая револьвер из кобуры, — командует с огромным подъемом, на какой только способен:

— Рота, вперед, за мной!

Он бежит сам, едва через плечо оглянувшись назад.

Сначала он слышит за собою только топот многих ног и вспоминает вдруг, что нужно было ему крикнуть еще и «ура», — однако тут же кто-то сзади, должно быть Непипелов, исправил его ошибку, и дальше он бежал, крича «ура», как и вся его рота.

По передовым окопам мадьяр и дальше по ходам сообщения расставлена была цепочка из солдат 402-го полка, указывавших, куда бежать дальше. Ливенцев счел это за предусмотрительность полковника Кюна, но Кюн, как и командир 401-го полка Николаев, получил точный приказ Гильчевского о всем порядке штурма: через какие именно проходы вести роты на штурм, через какие санитарам выносить и выводить раненых и через какие вести в тыл пленных; только начальник дивизии, сам руководивший штурмом, а не сидевший в безопасном месте в тылу, мог и дать такой приказ, чтобы ни пленные, ни свои же раненые не тормозили дела.

Пленные? Толпу их увидал мельком Ливенцев, едва задержав на них глаза, когда пропускал первые ряды своих солдат в мадьярские окопы и готовился спрыгнуть туда сам. Пленных вели стороною, лощинкой, спускавшейся с высоты 100 к ручью Муравица. Они шли открыто, и он подумал: почему же ему не вести было свою роту так же открыто прямо ко второй линии укреплений? Но цепочка из солдат стояла не на открытом склоне, теперь безопасном, однако сплошь почти опутанном где разорванной, а где и не тронутой еще проволокой на кольях, где поваленных набок, где стоячих. Наконец, мадьяры могли обстрелять склон этот гаубичным огнем, и неизвестно еще, скорее ли этот «прямой» путь до их третьей линии укреплений.

Самым важным казалось теперь Ливенцеву привести туда, где еще дрались мадьяры, не беспорядочную кучку солдат, а действительно роту — четыре взвода, восемь отделений с их командирами, с полными подсумками патронов. И когда он заметил, обернувшись назад, как со всех

ног бегут догонять своих несколько человек отставших, он успокоенно почти мешком свалился в первый австрийский окоп, какой пришлось ему видеть здесь, на Волыни.

Дивизия занимала большой участок фронта — двенадцать верст, так что на каждый из двух атакующих полков приходилось по шести. Однако занять людьми все шесть верст даже только одних передовых окопов так, как требовала обстановка, создавшаяся к концу мая (началу июня), не могли австро-германцы. Силой своих укреплений они думали заменить недостающие живые силы, как искусственным бензином из угля заменили бензин из нефти; на место отдыхающей на русском фронте тактики они выставили фортификацию — в масштабах, еще не виданных в мире. И вот русская тактика победила, и сознание того, что он — тоже участник победы, необычайно, как он и не думал даже, волновала радостно математика в рубахе защитного цвета — Ливенцева.

Если галицийские окопы австрийцев казались ему, по сравнению с русскими, образцом строительного искусства в земле, то волынские, — он видел, — далеко превзошли те. Они были и глубоки, и сухи, и чисты, вполне безопасные от тяжелых снарядов полевой артиллерии, вполне обжитые за девять месяцев подземные галереи, со стенами, забранными досками, с настоящими полами, — не окопы, — дачи, — так это казалось теперь, в конце весны, когда все жители больших городов неудержимо рвутся на лоно природы.

Конечно, бомбардировка двух предыдущих дней, а может быть, и только что умолкшая испортила кое-где дачное благополучие окопов: были кое-где проломы, торчали бревна концами вниз, а под ними кучи земли, свалившейся сверху, громоздились на полу, и приходилось пробираться вперед уже не во весь рост, а согнувшись: кое-где приходилось обходить тела убитых; где-то пришлось несколько шагов сделать по мягкому, — тут свалены были в кучу бинты и вата, — знак того, что здесь был перевязочный пункт, поспешно оставленный...

Цепочка солдат вывела роту в ходы сообщения, тоже сделанные аккуратно, — Ливенцев даже подумал «любовно»: о побежденном враге можно уж было так думать. И вот — вторая линия укреплений, гораздо более мощная, чем первая: Ливенцев изумился тому, как можно было бросить такие блиндажи, в которых, как определил и Непкелов: «Сорок лет сиди себе, посиживай, был бы только женский монастырь поблизости, а только, лиха беда,

и есть не так далеко монастырь, так не совсем подходящий».

— А вы какой же монастырь имеете в виду? — спросил его на ходу Ливенцев.

— А вы разве не знаете, Николай Иванович? Так Почаевская же лавра от нас верстах в тридцати пяти, люди говорят, если не врут! — весело ответил Некипелов.

О том, что знаменитая Почаевская лавра так, сравнительно, близко, Ливенцев действительно не удосужился узнать, но его удивила явная веселость сибиряка, точно шел он не с ротой на где-то там впереди еще упорно сражающихся мадьяр, а со своей сестрой Дуней после удачной охоты.

Впрочем, как заметил он, у всех в роте настроение было приподнятое, хотя никто ничего еще не ел с утра. И никто не задерживался, как он побаивался перед штурмом, чтобы пошарить под нарами и койками в окопах, не стоят ли где бутылки с ромом и жестянки с консервами.

Даже любитель «настоящей пищи» Кузьма Дьяконов проворно шагал вместе с другими в неведомое грядущее, теперь уже, видимо, никому не казавшееся мрачным.

* * *

Четырнадцатая, пятнадцатая, а вслед за ними и шестнадцатая рота, с ее тяжеловатым и староватым корнетом Закопыриным, подпирала тринадцатую, — это придавало ей тоже немалую бодрость.

Но следом за шестнадцатой ротой двинулись батальоны 403-го полка, — общий поток дивизии сделался совсем неустойчивым, она уже бросала свои окопы надолго, навсегда, чтобы идти вперед далеко, как можно дальше, — на Броды, на Луцк, на Ковель — и куда бы ни приказал командарм!

Это был знаменательный день. Этого дня долго ждали. В этот день далеко не все и верили, однако же он настал в посрамление маловерам. Если не день «настоящей пищи», то настоящий день.

Уже гремели по мосткам сзади пехоты упряжки лихой горной артиллерии. И если четвертый батальон 403-го полка видел, как упряжка за упряжкой по трудным проходам в проволочных заграждениях пробирались на вершину высоты 125, то в роте Ливенцева, добравшейся наконец до заднего ската своей высоты 100, видели, как

батареи горных орудий догоняли своими снарядами поспешно отступающих мадьяр.

Да они уж не сопротивлялись больше. Главные силы их видны были уже далеко и даже еле видны в облаке поднятой ими пыли. В то время, когда шла тринадцатая рота и слышна была ружейная стрельба, это только вяло выполняли свое назначение арьбергартные отряды, оставленные для прикрытия отхода главных сил, начатого под надежным занавесом обеих высот.

Штурм, проведенный накануне, как бы он ни казался неудачным самому Гильчевскому, поколебал решимость мадьярских полков защищаться до последней крайности, а выход им во фланг прорвавшейся 14-й дивизии создавал для них явную угрозу обхода.

Все это стало вполне ясно Гильчевскому после беглого опроса пленных, которых к трем часам дня набралось уже в колонии Новины до четырех тысяч — из них около сотни офицеров. Больше всего попало в плен из образцового венгерского 38-го, короля испанского полка, оставленного в арьбергарте, как полк наиболее надежный из всей дивизии.

Донесения шли за донесениями, и все радостные.

Захвачено было свыше десяти орудий и бомбометов, несколько пулеметов и минометов, семь тысяч винтовок, большие боевые запасы, брошенные венгерцами, и двадцать пять верст конной железной дороги. А потери по общей сводке трех полков едва дошли в этот день до трехсот человек.

Мало того: отличился и 404-й полк, переданный комком Федотовым в 105-ю дивизию. Находясь по соседству, он не захотел отстать от своих трех полков, кинулся в прорыв и сумел захватить полторы тысячи пленных.

— Теперь вопрос: в мою или в сто пятую дивизию будут приписаны эти пленные? — негодуя спрашивал приведшего свой полк Ольхина Гильчевский.

— Практика войны показала, что подобные пленные поступают на счет той дивизии, к какой полк временно был прикомандирован, — отвечал Ольхин, — но я лично считаю это неправильным.

— Ага! Вот в том-то и дело! Неправильным, да, и даже мало того, — преступным, вот что я должен сказать!.. Полк в данном случае действовал один? — Один! Помогла ему сто пятая дивизия? — Нет, — нисколько! Так на каком же основании у сто первой дивизии отнимать этих пленных, а сто пятой дарить?

— Ваше превосходительство, прошу не забывать, что мой полк так же точно прикомандирован к вашей дивизии, — пленительно улыбаясь, отозвался на это Ольхин. — Так что если он в будущем возьмет сколько там нибудь пленных...

— То они пусть и считаются вашей финляндской второй стрелковой дивизии, — перебил Гильчевский, — а мне чужого не надо. И вообще-то зачем было нашему комкору брать полк у меня, а вместо него прикомандировывать ко мне ваш, хотя бы и в двадцать раз лучший? Зачем делать это вавилонское смешение языков? Ведь из этого может быть в конце-то концов только кавардак. Или, как поется в какой-то дурацкой песне:

Сидела честна братия в царевом кабаде,
И всяк из них говаривал на своём языке!

Так или иначе, а сейчас мне надобно ехать догонять полки. Вот пообедаем, и тут же я поеду. И вы ведите форсированным маршем свой полк, стараясь держаться на правом фланге. Пленных же забирайте, сколько вам посчастливится взять, — моя дивизия на них притязать не будет, а вам желаю успехов, каких вы, по всем видимостям, вполне заслуживаете!

Наскоро пообедав и сделав несколько главных распоряжений остающимся, Гильчевский, верхом, со своим штабом, тоже на лошадях, помчался догонять полки, увлекшиеся преследованием венгерцев.

Кавалькада взобралась на высоту 125, еще вчера казавшуюся неприступной. Оттуда должны были развернуться широкие горизонты, — так ожидал Гильчевский; они и развернулись, но ни сам начальник дивизии, и никто из его штаба не мог обнаружить ни одного из полков.

Правда, местность была пересеченная, лесистая, весьма неудобная для наблюдений даже с такой высоты. Только где-то очень далеко в направлении на юго-запад видно было широкое черное полотнище дыма.

— Эге, жгут свои склады, должно быть, немцы, чтобы они не достались нам! — сказал Гильчевский и направил своего серого, секущегося на недавно перелинявшей шее, донского коня в сторону этого дыма.

Попадавшиеся навстречу отсталые и раненые солдаты тоже махали в ту сторону руками, когда к ним обращались или сам Гильчевский или кто-либо из штаба с вопросами, куда пошли полки.

Дорог в тылу австро-германцев оказалось много, однако

небольшие клочки лесов неизменно на топких болотах все-таки способны были сбить с толку людей в горячке преследования такого легконогого противника; этого и опасался Гильчевский.

Рысили уже больше часа, когда вдруг заметили в стороне на холме деревню, возле которой толпилось много русских солдат, — видимо, даже расположившихся на отдых.

Это встревожило Гильчевского.

— Черт знает что! Чьи же они такие, надо бы узнать... Не допускаю мысли, что мои, однако... Чем черт не шутит!.. По плану тут, кажется, должна быть деревня или хутор Пьяново.

Как раз шли по дороге два старика со строгими желтыми лицами, в широкополых соломенных брилях, белых рубахах, забранных в нанковые шаровары; к ним и обратились:

— Это что за деревня такая?

— Деревня?.. Яка деревня? — начали озираться старики. — Оця деревня?

— Ну да, вот эта самая!

— Ця деревня, паночки, кажуть люди, Пьяне, — растановисто сказал один старик.

— Эге ж, Пьяне, пане полковнику, — обращаясь к Протазанову, подтвердил другой.

— Ну, знаете, если Пьяне, то это наводит меня на размышление, — заметил Гильчевский, упорно вглядываясь в солдат в свой бинокль. — Мне кажется, что это люди одного из наших полков, а?

— Как же могли они так забрать в сторону? — раздумывал Протазанов, когда Гильчевский сказал вдруг решительно:

— Вижу! Это четыреста второго полка люди! Едем туда!

И он направил своего серого к деревне Пьяне, переменяв аллюр.

Теперь вся кавалькада скакала галопом, и Гильчевский все больше укреплялся в своей догадке, что деревня эта не зря получила такое имя.

— Ведь они же не слепые там все, они должны нас видеть, как и мы их, — возмущался он, — почему же они так расселись кружками, и что они могут там такое делать с преувеличенным вниманием?

— Не водку ли пьют? — догадался Протазанов.

— Вот то-то и есть, что не пьют ли!

Скоро ясно стало для всех: в деревне Пьяне шло пьянство, и пьянствовал третий батальон.

Он делал это вполне разрешенно, так что даже перед подъехавшим к первому кружку начальником дивизии с его штабом далеко не все солдаты встали.

— Что за черт! Какая рота? — крикнул Гильчевский, глядя на унтер-офицера с тремя басонами, стоявшего впереди других.

Багровый и потный унтер-офицер, не успевший поставить наземь бутылку, которую держал в руке, приосанясь, ответил без запинки:

— Одиннадцатая рота Усть-Медведицкого полка, ваше превосходительство!

— А где же командир роты, а?

— Где-сь отдыхают, ваше превосходительство...

Унтер-офицер добросовестно, оглянувшись, пошарил даже глазами между хатами, не найдется ли где прапорщик Обидин, но Обидин в это время, сидя на крылечке одной из хат, в благословенной тени за столом, вместе с супругами Капитановыми и остальными ротными командирами третьего батальона,пил из стакана коричневый токай, оказавшийся довольно коварным вином: оно не казалось крепким, только вкусным.

— Вот это винцо, так винцо, — говорил Капитанов, причмокивая и блаженно нюхая усы.

— А кто приказал батальону повернуть сюда? Я! Разве тебе пришло бы это в твою лысую голову? — торжествуя возглашала мадам Капитанова.

Очень скоро настроение у всех за столом стало весьма повышенным, но подлинным героем дня чувствовала себя эта дама-казак. Она сидела рядом с Обидиным и относилась к нему с самой бесцеремонной нежностью, то и дело ероша его волосы и сама подливая ему вина в стакан и называя Пашенькой.

Обидин при таком с ним обращении совсем не чувствовал себя неловко: он уже вполне привык к нежностям своей командирши, как привык сам Капитанов к бесцеремонностям супруги. Другие же ротные командиры, — все прапорщики, — были так же, как и Обидин, молодой народ, только смотрели на вещи гораздо проще, чем их товарищ, пытались непринужденно острить и хохотали весело и громко.

Остроухий серый конь с кровавыми полосками на худой шее, а на нем — начальник дивизии, известный своим крутым нравом, потом полковник Протазанов на гнедой

лошади и еще несколько человек штабных, — вся кавалькада эта появилась перед крыльцом до такой степени неожиданно и внезапно, что все встали, оцепенев; не растерялась одна только Капитанова.

— Это что за ка-бак та-кой? — загремел Гильчевский. — Весь батальон валяется пьяный! У всех бутылки в руках!.. И это в то время, когда ведется наступление!.. И попали черт знает куда-то в сторону!.. Командир батальона!

— Я, ваше превосходительство, — попытался сказать поотчетливей и стать так, чтобы быть повиднее, Капитанов.

— Ка-ак вы смели допустить такой разврат, а? — обрушился на него Гильчевский. — Если даже вас занесло почему-то к черту на кулички, где оказался склад вина, то вы и должны были немедленно его уничтожить!

— Вот мы его и уничтожаем, — вступила в разговор с разгневанным начальством дама-казак, — а вы совершенно напрасно горячитесь по пустякам.

Капитанов хотел было остановить свою супругу умоляющим взглядом, но не успел в этом.

— А вы, вы кто такой? — остоленел было Гильчевский.

— Во-первых, я — не «такой», а «такая», а во-вторых... — начала было объясняться Капитанова, но Гильчевский уже узнал и вспомнил ее.

— В обо-оз! — загремел он. — В обо-оз, сию минуту!.. И чтоб я вас больше никогда не видел в строю-ю!.. В обоз!.. А ба-тальону сейчас же строиться и идти форсирован-ным маршем на деревню Надчицу, догонять свой полк!

И Гильчевский со штабом дождался, пока офицеры, так не вовремя занявшиеся кутежом, празднуя не ими добытую победу, разошлись колеблющейся походкой по своим ротам, и роты тронулись в одну сторону, в ту, которую им указали, на деревню Надчицу, а дама в бешмете, которая, как и муж ее, ехала верхом, повернула в сопровождении данного ей Гильчевским ординарца в «обоз», то есть в тыл полка: несколько протрезвев, она поняла, что теперь, пока начальник дивизии слишком разгорячен, лучше не протестовать, а подчиниться.

Гильчевский же говорил, глядя ей вслед, Протазанову:

— Я терпел ее, когда дивизия сидела в окопах, и то, вы знаете, скрипя зубами, терпел, но теперь, когда мы

пастушаем и когда она мне тут портит и офицеров и весь батальон, — не-ет уж, — теперь атáнде, сказал Липранди, — теперь надо ее совсем удалить с фронта.

Дав направление заблудшему батальону, Гильчевский оставил его, когда начало вечереть, однако, хоть и неплохо скакали кони, догнать свои полки до наступления темноты не смог. Встретились только несколько рот из другой дивизии — 14-й, тоже каким-то образом отставших от своих частей.

Между тем небо в нескольких местах озарилось огнем пожаров: это австро-германцы жгли свои склады, весьма стремительно откатываясь на запад.

Деревня Надчица находилась от линии фронта в пятнадцати верстах, и было уже близко к полночи, когда наткнулись в темноте на 403-й полк, подходивший как раз к этой деревне, а несколько впереди их оказались и два других полка, и Гильчевский дал отдых и усталым людям и себе до рассвета.

Укладываясь спать в одной из халуп, он ворчал по поводу венгерцев:

— Можно, конечно, приходится иногда отступать, на то и война с переменным счастьем, но чтобы так можно было драпать во все лопатки, как эти мадьяришки, это уж последний крик моды!

* * *

В двадцатых числах мая в ставке собралась вся царская семья.

Потому ли, что весною и счастливых тянет вдаль; потому ли, что «счастливые» уже начинали тревожиться за свое счастье, — так ли оно прочно и долговечно; потому ли, что царице хотелось быть ближе к своему слабохарактерному супругу, чтобы в критический момент самой стать на страже интересов династии, но она уже водворилась в ставке, заняв в ней половину царского дома и тем нарушив весь «холостой» строй жизни многочисленной свиты царя и заставив ее уплотниться на второй половине.

Впрочем, древний годами граф Фредерикс, гордившийся тем, что шестьдесят лет уже состоял в офицерских чинах, тридцать пять лет — в генеральских и двадцать пять лет на посту министра Двора, собирался ехать в отпуск; генерал По, военный представитель Франции, тоже уезжал в Ессентуки лечиться от подагры; дворцовый комендант Воейков тоже уезжал к целебным водам своей

«Куваки», причем испросил у царя разрешение отправить на работы к нему в имение и на станцию «Воейково» для ее расширения шестьсот пленных из только что взятых армиями Брусилова.

В связи с этим царь издал указ «обратить немедленно к работам внутри империи» многочисленных пленных, так как в результате мобилизаций общее количество работников на полях сократилось почти вдвое, а фронт уже и теперь жаловался на недостатки не только боевых, но и съестных припасов.

Со стороны царицы препятствий к этому указу не было, так как пленные на Юго-западном фронте были главным образом чехи, мадьяры, босняки, хорваты, словаки, — вообще подданные Габсбургов, а не Гогенцоллернов. В покровительстве же своем немцам, как своим, так и чужим, она оставалась неизменной.

Так, когда были изобличены два молодых вольноопределяющихся с немецкими фамилиями в том, что у них и подданство германское, и они — не больше как шпионы, имеющие чины лейтенантов германской армии, — следствие по их делу, порученное сенатору Кауфману, было прекращено по требованию царицы. Сильную заступницу в ее лице нашел и бывший командующий первой армией — генерал Ренненкампф, оставивший без всякой помощи со своей стороны Самсонова с его второй армией, разгромленной Гинденбургом при Сольдау.

Мало того, что ближайшие родственники Ренненкампфа оказались германскими подданными и жили в Германии, но ревизия по делу о нем, тянувшаяся довольно долго и только что в апреле напечатанная материалы следствия, собрала этих материалов пять толстых томов, в которых на каждой странице пестрели слова: «взятничество, лихоимство, мздоимство». Казалось бы, что все должны были отвернуться от такого «деятеля во славу русского оружия», однако перед своим отъездом в ставку царица дала аудиенцию этому мерзавцу и милостиво беседовала с ним около часа.

Четыре царских дочери, появляясь вместе около ли дома, или в аллеях довольно скромного, впрочем, по своим размерам парка, — в белых ли платьях и белых шляпках с белыми перьями, или в красных, как две старшие, или в серых, как две младшие, — все-таки разнообразили унылый в общем пейзаж ставки.

Они весело улыбались, перекидывались шутками и смеялись, когда были одни. Но картина резко менялась,

когда к ним выходила мать. Оледенявшая всех кругом себя, она леденила и своих дочерей.

Она говорила так мало, будто разучилась уже говорить, и ей стоило большого труда вспомнить то или иное общеупотребительное слово. На лице ее почти бесменно во всех уголках и впадинах таилась брезгливость, и она не могла или не хотела согнать ее даже тогда, когда была только с дочерьми и сыном.

Наследник, правда, не стеснялся этим и в силу своего бойкого темперамента проказничал, как мог: щипал сестер, дудел в бутылку, бросал в своего дядьку Деревенко пригоршни песку.

День 25 мая был высокаторжественный — день рождения царицы; к этому дню наследник был произведен в ефрейторы, и дядька его, матрос Деревенко, сделанный кондуктором флота, сам пришел к его погоням по серебряному лычку, что очень понравилось мальчику, которому только больная нога мешала бурно проявлять свою радость.

В этот день другая хромоногая из членов царской семьи — бывшая фрейлина Анна Вырубова прислала царю поздравительную телеграмму не с победой на Юго-западном фронте, а с днем рождения Александры Федоровны: «Горячо поздравляю всем сердцем, помощи всесильный господь. Серенький день, еду в собор, после в ванну. Очень одиноко. Аня». Телеграмма эта была из Евпатории, где она лечилась.

А накануне пришла на имя царя телеграмма из Петрограда: «Государю императору. Славно бо прославился у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славе и не уменьшить его Ваш и с Вами любить архиепископство, пушай там будет он. Григорий Новых».

В аппаратной, принимавшей эту телеграмму, ничего в ней не поняли и даже послали запрос в Петроград, так ли приняли; оказалось, что вполне точно. Но о чем именно телеграфировал друг царя — Гришка Распутин, в ставке так и не разгадали.

В ставке, если кто и переживал по-настоящему радостно успехи армий Брусилова, то два представителя Италии — старый, еще не собиравшийся уезжать, Марсенго, и новый, приехавший только в начале мая, граф Ромео. Они двое были по-настоящему празднично настроены в день 25 мая, когда ставка официально отбывала придворный праздник, когда после обедни все чины ставки, начиная с Алексева

и Пустовойтенко, проходили в зале шеренгой в затылок мимо царя с наследником, обмениваясь с ними рукопожатием, и мимо царицы с дочерьми, тоже построившимися в шеренгу, целуя их руки.

Постороннему наблюдателю не могло не показаться в этот день, что из всех стоявших в православной церкви наиболее истово молились эти два католика — граф Ромео и Марсенго; что из всех поздравлявших царскую фамилию России наиболее преданные ей были эти два итальянца — граф Ромео и Марсенго; даже и за обедом, хорошим, правда, но не роскошным и с русскими винами в кувшинах старого серебра, наиболее довольными и русской кухней и русскими винами были эти два поклонника своего вина — кианти — Марсенго и граф Ромео.

Они получили уже телеграммы, что благодаря победам армий Брусилова австрийцы на плоскогорье Азиаго приостановили свое наступление, что спешившие к ним в подкрепление корпусы отзываются обратно на русский фронт.

В ставке ходила по рукам и телеграмма от адмирала Веселкина, русского военного представителя в Румынии, такого содержания: «В совете министров в Бухаресте на вопрос короля о здоровье министр Филипеско ответил: «Наконец, я напал на хорошего доктора — Брусилова». Сообщаю вам этот курьез».

Телеграмма была адресована адмиралу Нилову и не была секретной.

Между тем ставка, отпраздновав день рождения императрицы, тут же начала готовиться к другому празднеству, гораздо более торжественно обставленному, а именно: нужно было принимать икону божьей матери, называемую Владимирской, отправленную из московского Успенского собора. Разрабатывался ритуал встречи этой иконы на вокзале, куда должны были идти войска и ехать в автомобилях царь с наследником и всем семейством, его свита и чины штаба.

С подобной торжественностью в ставку доставлялась в августе 1914 года другая икона — явление божьей матери Сергию Радонежскому. Она была написана на доске от гроба Сергия, и посылала ее Троице-Сергиева лавра.

Эти внеочередные события и заботы как-то не давали ставке ни возможности, ни даже времени сосредоточиться на телеграммах Брусилова, подводивших итоги наступательным действиям его войск за первые три-четыре дня.

Одни, — к ним относился и сам Алексеев, — их просто не ожидали, этих успехов, и теперь не знали, как их оце-

нить: принимать ли их всерьез, или отнестись к ним выжидательно и осторожно, или даже счесть эти успехи раздутыми ложными донесениями командиров отдельных частей, сумевших втереть очки командармам — Сахарову и Каледину.

Количество пленных было определено в сорок тысяч за три дня, не считая офицеров, которых будто бы насчитывалось до тысячи человек. Отрицать этого успеха, конечно, не приходилось, но в то же время в нем было кое-что и нежелательное для ставки, в этом успехе: с ним просто не знали, что делать дальше, он путал все карты, сводил на нет все заготовленные уже распоряжения об отправке таких-то и таких-то пехотных частей, таких-то и таких-то артиллерийских парков, таких-то и таких-то и столько-то боеприпасов в ударные армии Западного фронта, к Эверту, а также на Северо-западный фронт — к Куропаткину. Становилось даже как-то досадно за путаницу, внесенную в долгие и строгие соображения и расчеты неожиданно крупными размерами брусиловского прорыва. В то же время это был не прорыв, а действительно прорывы в нескольких местах, как и готовил их Брусилов и о чем он говорил в ставке 1 апреля на совещании в присутствии царя, — это тоже было неприятно и всей ставке в целом.

Выходило так, что успехом увенчалось довольно дерзкое предприятие, начатое вопреки всей практике войны с немцами и даже вопреки желанию царя: чтобы прорыв подготовить и провести в каком-нибудь одном месте фронта, не разбрасываясь в силах. Успех Брусилова заставлял прибегнуть к старой поговорке: «Победителей не судят», но от этого не могло быть легче тем, которые осуждали заранее эту затею.

Наконец, в ставке в эти дни был и генерал Иванов, для которого последним гвоздем в крышку его гроба был этот успех Брусилова.

Он все сделал и в марте и в апреле, чтобы помешать Брусилову, объявить его праздным фантазером, поколебать доверие, которое вдруг, неожиданно для бывшего главнокомандующего Юго-западного фронта, возымел к нему царь, подчиняясь советам, идущим извне, от союзников. Он не имел удачи, несмотря на помощь ему в этом и Фредерикса и царицы: царь поддался другим влияниям и не захотел перерешать ни вопроса о назначении Брусилова, ни вопроса о наступлении армий Юго-западного фронта.

Однако Иванов не хотел складывать оружия, которым он действовал. Он стал завзятым шептуном. Он бродил по ставке и только и делал, что всем, с кем бы ни сталкивался, вещим, пророчески-таинственным, пониженным голосом предсказывал полный провал всего начатого так, по его мнению, безрассудно, так опрометчиво наступления. Он подымал указательный палец к бороде, выкатывал сильно запавшие глаза и шептал:

— Эта безумная затея окончится катастрофой, да, да, — прошу мне верить!.. Она окончится такой стра-те-ги-ческой трагедией, размеров которой никто пока даже и представить не в состоянии. Прошу мне верить!

* * *

Но, кроме ставки, была Россия.

И если в ставке семейный праздник царя и приготовления к достойной встрече иконы Владимирской божьей матери отняли у всех, исключая итальянцев, слишком много внимания, чтобы его хватило еще и на дела Юго-западного фронта, то Россия следила за ними.

Она подняла голову, опущенную под впечатлением слишком многочисленных неудач в течение почти двух лет войны; в ее опечаленных глазах засветилась надежда и с запекшихся уст сорвался возглас радости... Пусть не таким и громким еще был этот возглас — всего несколько сот поздравительных телеграмм, — но он дошел до Брусилова и сделал его счастливейшим человеком.

Волей своего правительства Россия лишена была гражданских прав, зато русский народ был горд своей военной мощью. Но вот этой законной гордости был в течение почти двух лет войны панесен ряд таких жестоких ударов.

Страна — та же мать. Страна выдвигала и выдвигала миллионы сыновей на свою защиту, и часть из них была истреблена, часть искалечена, часть уведена в гнусный плен, — а где же мститель за всю эту бездонную пропасть горя?

Где тот, на кого можно было бы возложить хотя бы тень уверенности, что еще не все потеряно, не все погибло, что еще возможен поворот к лучшему, а чашу позора можно еще отбросить в ненасытную подлую звериную пасть врага?

Неужели все эти генералы, украшенные цветными широкими лентами и бесчисленными орденами, с такими длинными титулами, что их невозможно было и сказать



за один прчем, осыпанные с ног до головы всякими благами жизни, — неужели они все до одного оказались до такой поразительной степени невежественны в военном деле и так вопиюще бездарны?

И когда возникло там, на юго-западе тысячеверстного фронта, уже знакомое стране, но ослепительное светом смелых действий и большой победы имя генерала Брусилова, люди протянули к нему руки. Телеграммы шли с разных концов России.

Председатель земского союза Львов прислал Брусиллову такую телеграмму, несколько напыщенную и длинную:

«Ваш меч, тяжелый, как громовая стрела, прекрасен! Молнией сверкнул он на Западе и осветил радостью и восторгом сердце России. Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к героической и несокрушимой армии, которая с великими жертвами, полная самоотверженности, сметает твердыни врага и идет от победы к победе. С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены стремлением по мере всех своих сил служить ей и, чувствуя в эти дни вашу твердую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу, всем сердцем хотим облегчить вам ваше почетное славное бремя».

В его лице, этого председателя союза всех русских земств, как бы на все сотни приветственных телеграмм сразу ответил Брусиллов:

«Опираясь на могучий непоколебимый дух армии и при духовной поддержке всей России, глубоко и твердо надеюсь довести победу до полного разгрома врага. От всего сердца горячо благодарю вас за истинно-патриотическое приветствие и приношу вам и всему земскому союзу мою искреннюю благодарность за приветствия и пожелания».

Имя Брусилова не сходило со страниц газет как русских, так и иностранных, и это шло вразрез с установившейся уже в России почти полной анонимностью войны даже и в отношении генералов, так как верховным главнокомандующим был вначале великий князь Николай Николаевич, смененный потом самим царем. Какие же еще могли появиться герои? Ни малейшая тень чужого героизма не могла заслонять ореола, сияющего над головами «верховных».

И если от Николая Николаевича из Тифлиса Брусиллов все-таки получил телеграмму*, состоящую из четырех только слов: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю», и был этой телеграммой очень растроган, то царь хранил тяжелое молчание.

Он оставался так же непостижимо нем, как на совещании в ставке 1 апреля.

— Однако я-то не могу быть немым, — говорил Брусилов утром 25 мая Клембовскому. — Я должен выяснить свое положение. Вопрос, когда же именно выступит Эверт, для нас коренной вопрос, поскольку мы только застрельщики. Соедините-ка меня со ставкой.

Одно дело — штаб-квартира главнокомандующего фронтом, совсем другое — ставка, где были в этот день свои неотложные и важные заботы. Разговор с Алексеевым удалось наладить только поздно вечером, но он не принес Брусилову никакой отрады.

— Генерал Эверт на мой запрос прислал сообщение, что он может быть готов к наступлению не раньше пятого июня, — сказал Алексеев по прямому проводу.

— Ка-ак так к пятому июня? — испуганно прокричал Брусилов. — Может быть, я ослышался? Может быть, вы сказали — к первому, а мне послышалось — к пятому?

— Нет-нет, именно к пятому, а не к первому, Алексей Алексеевич. Так что вот обойдитесь как-нибудь, а мы выкроим вам подкрепления...

— Помилуйте, Михаил Васильевич, — пока ко мне придет один корпус, немцы успеют подкинуть к своим целых пять, если не все десять! В какое же положение вы меня ставите?

— Что же я могу поделаться с Эвертом, если он не готов?

— Как что? Как что поделаться? — возмутился и смыслом и самым тоном слов Алексеева Брусилов. — Приказать быть готовым к первому числу, — вот что вы можете сделать! Приказать именем государя, — вот что сделать!

— Это не поможет, послушайте, Алексей Алексеевич! Что же и приказывать, если генерал Эверт и сам отлично понимает, что ему надо делать и что значит быть готовым.

— Понимает ли, — вот вопрос! И имеет ли желание понимать это, — вот другой вопрос!

— Ну как так — понимает ли! Разве у него нет опыта в наступательных операциях?

— Мне, как и вам, Михаил Васильевич, отлично известен этот опыт генерала Эверта, но ведь суть дела в том, чтобы он забыл этот опыт и начал дело сначала и заново! Печальные опыты необходимо забыть в интересах общегосударственного дела, — вот что я думаю! И я очень боюсь, что именно этот свой опыт мартовских боев генерал Эверт думает применить снова, почему и оттягивает на-

чало. В марте он тоже оттягивал, пока не началась ростепель и распутица.

— Вы очень строги к генералу Эверту, Алексей Алексеевич!

— Я опасаясь, что он, как опереточный жандарм, придет на помощь очень поздно!

Алексеев счел за лучшее не вступать в дальнейшие пререкания с главнокомандующим Юзфронта, сослаться на загруженность делами, пожелать ему дальнейших успехов и проститься, а Брусилов долго после того ходил взбешенно по своему кабинету и повторял:

— Какая подлость!.. Какая пакость!.. Вот и выбивайся из сил, а они пальцем и о палец не желают ударить!

Он еще не знал того, что как раз 25 мая, когда к нему несся вихрь приветственных и благодарственных телеграмм, другой вихрь телеграмм, с содержанием прямо противоположным, мчался от австрийского командования к германскому. Смысл всех этих телеграмм был один: «Спасите нас, погибающих!» А частности таковы: австрийские резервы на русском фронте пришли к концу; вот-вот, если не подоспеет помощь, вся армия окажется бывшей армией; четвертую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда (едва успевшего отпраздновать свой день рождения!) приходится уже и теперь перестать считать за армию, — она разгромлена; из общего числа в четыреста восемьдесят шесть тысяч человек армия в целом потеряла не меньше двухсот тысяч...

Это был громовой удар с русского неба, которое так еще недавно, — всего несколько дней назад, — считалось совершенно безоблачным.

Телеграммы эти — вопль раненого сердца — ставили в труднейшее положение германскую главную штаб-квартиру. Затыкать австрийскую брешь было необходимо теми небольшими резервами, какие приготовил Фалькенгайн для своей армии на Сомме, где французы уже готовились перейти в наступление и только ждали, когда англичане перевезут все приготовленные ими для своей армии снаряды.

Но отдать эти резервы на австрийский фронт — значило сорвать свою обдуманную операцию на Сомме, где германцы хотели предупредить наступление англо-французов и напасть сами.

Снимать дивизии из-под Вердена, где машина перемалывания французских войск работала безостановочно и успешно, но требовала, чтобы в нее бросали все новые

и свежие свои войска, тоже никак не представлялось возможным: резервы были в обрез.

Фалькенгайн проклинал и день и час, когда он позволил Конраду фон Гетцендорфу убедить себя, что русский фронт безопасен.

Только к концу лета должны были влиться в армию пополнения, а между тем он был, конечно, очень хорошо осведомлен о том, что против германских войск на востоке стоят у Куропаткина двойные силы, у Эверта — тройные и что эти силы вот-вот будут тоже приведены в движение, иначе зачем бы они и собирались.

Он уже думал над тем, как было бы лучше сделать здесь ввиду неизбежности наступления обоих русских генералов: не отодвинуть ли линию обороны, чтобы ее значительно сократить и этим сделать более выгодной для защиты?

Но для этого нужно было бросить укрепления, над которыми сотни тысяч людей работали три четверти года, и переменить их на скороспелые и, быть может, не везде удачные по своим природным данным.

Приходилось поэтому возложить надежду на медлительность англичан, без которых французы переходить в наступление не станут, потому что своими только силами действовать с уверенностью в успехе, конечно, не могут.

И вот, после долгих размышлений и колебаний, Фалькенгайн решил принести в жертву обстановке, создавшейся у австрийцев, свой план самому напасть на союзников на Сомме и взял из резервов пять дивизий для отправки на восток.

Знал или не знал он, что ни Эверт, ни Куропаткин не были для него опасны сами по себе? Может быть, даже и знал, но думал, что их могут заменить другими генералами, как бездеятельный Иванов был заменен энергичным Брусиловым.

Во всяком случае, едва ли он знал, что в то время, как он думал без боя очищать свой фронт против Эверта, сам Эверт говорил в интимном кругу:

— Брусилов думает, что я так вот и кинусь работать для его славы! Очень многого он от меня желает!..

* * *

Местность к западу и югу от деревни Надчицы была богата водой и лесами, — это разглядел как следует Гиль-

чевский утром 25 мая, — удобная для защиты, но гораздо менее удобная для наступления местность.

От Надчицы шла дорога на местечко Торговица, раскинувшееся как раз при впадении довольно широкой, — в тридцать сажен, — реки Иквы в еще более широкую реку Стырь. О реке Икве со времен Академии Гильчевский помнил, что она почти непроходима для войск, так как протекает по весьма болотистой и шириною в четыре версты долине, и вот теперь он был вблизи от этой реки, как и от другой — Стыри. Занять линии обеих этих рек он получил приказ от комкора Федотова.

Федотов продолжал по-прежнему сидеть в своей квартире, где частью по телеграфу, частью по телефону получал донесения от командиров обеих своих дивизий — 101-й и 105-й. За последние два дня он вырос в собственных глазах, так как получил во временное командование еще одну дивизию — финляндских стрелков, поэтому счел нужным прибавить себе важности даже и в тоне, каким было написано им добавление к приказу.

«В общем я должен сказать, — писал Федотов, — что немало удивлен тем обстоятельством, что вы держали дивизию в кулаке, вместо того чтобы развернуть ее возможно шире...»

— Тебя бы, тебя бы надо было держать в кулаке, чтобы ты мне дурацких замечаний не делал! — кричал на свободе Гильчевский, въехав на высотку верстах в четырех от Надчицы вместе с Протазановым и оглядывая местность, сколько ее было отсюда видно.

— Совсем как в басне Крылова, — поддержал Гильчевского Протазанов: — «Знай колет, — всю испортил шкуру!»

— В том-то и дело, что медведей эти господа комкоры предпочитают не видеть: на кой им черт, скажите, пожалуйста, соваться к медведю? Гораздо безопаснее шкуру его делить!.. Какой умница нашелся! «Развернуть возможно шире», — а сам же у меня отнял целый полк! Значит, находил же, что он мне не нужен, этот четыреста четвертый полк? А теперь, не угодно ли, «возможно шире». То один всего батальон «расширился» до деревни Пьяне, а то десять батальонов разошлись бы по деревням Пьяным! Вот это была бы дивизия, любезная федотовскому сердцу!

По карте, бывшей у Протазанова, Стырь протекала верстах в пяти от Надчицы, Иква — вдвое дальше от той же деревни. С той высотки, на которой стояли Гильчев-

ский с Протазановым, видны были купола церкви в местечке Торговице, находившемся на высоком берегу Иквы.

Впрочем, и другой берег Иквы оказался здесь тоже довольно высокий, и оба были покрыты лесом.

— Картина — загляденье! — заметил Протазанов сознательно мечтательным тоном, чтобы отвлечь своего пачдива от грустных мыслей о комкомре Федотове.

— Красота, что и говорить, — отозвался на это Гильчевский. — Важно только, чтобы не вскочила эта красота нам синяками да кровоподтеками.

План наступления на линию обеих рек был составлен им так, как будто в его распоряжении были снова все четыре полка: 6-й Финляндский заменил 404-й, и его, как совершенно свежий, он направил на Торговицу, предполагая там сопротивление австрийских арьергардов.

Два первых полка своих он пустил на реку Стырь, чтобы обезопасить свой правый фланг и иметь их под рукою для форсирования Иквы, за которой, как донесли разведчики, тянулись позиции противника.

— Мосты на Стыри и мосты на Икве, — вот первейшее и главнейшее, что надобно вам занять, — говорил Гильчевский, напутствуя Ольхина и своего командира первой бригады. — Если допустите мадьяр сжечь мосты, то...

Договаривать, конечно, было излишне.

С 403-м полком, идущим непосредственно за 6-м Финляндским, ехал сам Гильчевский. Он, правда, облюбовал для штаба так же, как и Новины, чешскую колонию Малеванку, но не заезжал туда; он и небольшого дела не умел доверять кому бы то ни было, а тем более не хотел быть вдали от того серьезного, что ожидало его дивизию в этой многоводной, болотистой и лесистой местности, хотя на взгляд туриста она и была красивой.

Зелень деревьев была молодая, нежная, пышная; зелень трав в лесу буйная, — и Гильчевский говорил дорогой, дыша полной грудью:

— Эх, хорошо бы тут «под сенью лип душистых» водчонки тяпнуть да вяленой воблой закусить... или копченой кефалью!.. Есть любители или той или другой из этих рыбок, а я, признаться, и ту и другую люблю одинаково пылко.

— Да, маевочку бы тут неплохо сочинить, — места подходящие, — вторил ему Протазанов.

— Можно бы даже и полевую кашу сварить, — с раками! Тут, я думаю, раков бездна... Кстати, слышал я

что-то такое в детстве: «Через Тырь в монастырь» и не понимал, что это за «Тырь», а теперь вполне уверен, что не Тырь, а именно Стырь, к которой мы с вами едем... Уцелела, значит, в народе только рифма, а «С» отлетело и смысл тоже испарился...

Как раз в это время дружно заговорила артиллерия на подступах к Стыри, и Гильчевский умолк: он подмигнул Протазанову и послал своего серого в сторону все разгоравшейся с каждым моментом пальбы.

Хотя ехать напрямик через лес было бы гораздо проще и ближе, но в стороне, правее от дороги, Гильчевский заметил широкую луговину, переходившую в лесную поляну, которая могла вывести если не к реке Стыри, то куда-нибудь на открытое место, откуда было бы видно, что впереди происходит.

Около версты было до этой поляны, а разговор пушек становился все внушительнее, хотя действовала только легкая артиллерия с той и с этой стороны. От нетерпенья Гильчевскому показалась уже нелепой его затея — объезд леса, но зато на поляне ждала его нечаянная радость: как раз в одно время с ним, только с другой стороны леса, на ту же поляну выходила первая рота 404-го полка, и впереди роты ехал верхом командир полка полковник Татаров.

Это был образцовый командир, так же как и полковник Николаев, — спокойный перед боем и неспособный теряться в бою. И внешность у него была внушающая доверие солдатам: солдаты не любили командиров жиденьких, — это давно заметил Гильчевский. «Какой из него командир — так вообще стрюцкий какой-то!..» Татарова даже и в шутку никто не назвал бы «стрюцким», — он был основательный человек во всех смыслах. И то, что он никогда не горячился и в обращении со всеми был ровен, очень к нему шло.

Не успел еще удивиться и обрадоваться в полную меру, увидев его, Гильчевский, как он уже подъехал к нему с рапортом:

— Ваше превосходительство, по приказанию командира корпуса командуемый мною полк откомандирован из сто пятой дивизии.

— Откомандирован? Очень хорошо! Прекрасно! Здравствуйте, дорогой! Я очень рад! — и Гильчевский даже обнял Татарова, точно не видел его целый год. — Со всем как блудный сын: пропадал и нашелся!

— Где прикажете расположить полк? — спросил Татаров.

— Был бы на месте полк, а уж расположить его есть где!.. Здорово, молодцы! — крикнул Гильчевский в сторону первой роты, но на приветствие своего начальника дивизии отозвалась и показавшаяся на поляне вторая рота.

— Ну, с такими молодцами уж австрийские укрепления не страшны! — ликовал Гильчевский, который готов был простить все грехи своего комкора за то только, что вся дивизия теперь снова в сборе, — «в кулаке».

Тем временем канонада в стороне Торговицы начала утихать. Гильчевский указал Татарову место расположения полка, а сам с Протазановым поскакал по направлению к Торговице.

— Мост, мост, — вот что важнее всего! — повторял он на скаку. — Не успеют сжечь, — могут взорвать, отступая! Тогда пропало дело!

Артиллерийская пальба совсем почему-то затихла, ружейная тоже, хотя и доносилась, но была какая-то вялая. Наконец, с опушки роши, в которой австрийцы, как с первого взгляда решил Гильчевский, начали было рыть окопы, но бросили, не успев закончить, уж видно стало все местечко и белую церковь с синими разводами.

Местечко лежало очень кучно на холме и без того высокого здесь берега Иквы, а церковь оказалась как-то не по местечку велика — тем более, что большинство жителей в нем были евреи. На узеньких улочках его везде виднелись русские солдаты.

К местечку пришлось подниматься в гору, зато от церкви широкий разостлался кругозор: долина Иквы, река, мост через нее, который был целехонек и уже охранялся стрелками, лес на другом берегу, более низком, чем этот, дорога в нем, а главное — по этой дороге тянулись отступающие австрийцы совершенно безнаказанно.

— Батарею, батарею сюда! — закричал Гильчевский. — Как же можно дать им уходить, точно с парада? Обстрелять сейчас же!

Полубатарея — четыре горных орудия — нашлась поблизости и подскочила к церкви, где стоял Гильчевский. Орудия установили без всякого прикрытия, лишь бы успеть послать в ряды уходящих хоть несколько десятков гранат.

Но мадьяры оказались не так беззащитны, как дума-

лось Гильчевскому. После первых же трех залпов полетели снаряды противника в церковь и пробили в ней стены.

Щебнем, посыпавшимся вниз, засыпало орудия. Сам Гильчевский едва успел отскочить в сторону. Пришлось тут же оттащить и орудия и поставить их в укрытое место.

— Эге-ге, да у них там, на другом берегу, основательные укрепления, — говорил Гильчевский Ольхину, разглядывая в цейс противоположный берег Иквы.

— Я уж навел справки у местных жителей, когда они выбрались из погребов и обрели дар речи, — живо отозвался на это Ольхин: — линия укрепления там еще с прошлого года.

— Вот видите, как! А проволока? Сколько рядов?

— Насчет проволоки допытаться не мог, — не знают. Ведь укрепления были брошены и только теперь заняты вновь.

— Натянули, я думаю... Но почему-то незаметно: очень высокая трава там.

— Хлеба, а не трава!

— Ночью произвести разведку позиций противника, — тоном приказа сказал Гильчевский, и Ольхин ответил на это, подняв руку к козырьку фуражки:

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Хлеба? Да, кажется, действительно хлеба, — смотря в бинокль, говорил Гильчевский. — Озимая пшеница... Жаль. Завтра от нее там мало что останется: завтра все эти позиции мы должны взять... вместе с мадырами.

* * *

Окопная война, если она затягивается надолго, отучает солдат и офицеров и их начальство всех степеней от войны маневренной.

На сотни, даже на тысячи километров тянется сплошная стена подземных казарм и укреплений, соединенных между собой и с ближайшими тыловыми блиндажами и землянками ходами сообщений в земле, и вся эта длиннейшая цепь искусственных пещер сравнительно безопасна, и «локоть товарища» в них чувствуется очень прочно.

Но вот покинуты свои окопы, опрокинуты чужие, и полки вышли на «дневную поверхность», как говорят

шахтеры; тогда происходят странные явления с людьми: пехотинцы ходят с большим трудом, им приходится восстанавливать в ослабевших ножных мышцах способность быстро передвигаться, а офицеры пехоты с трудом ориентируются на местности. Пространство само по себе, независимо от того, каково оно по своим качествам, кажется слишком огромным и таящим в себе всякие неожиданности и подвохи со стороны врага; пространство, которое необходимо захватить, представляется не просто союзником врага, а как-то само по себе враждебным.

Настроение это или быстро проходит или держится довольно стойко, смотря по тому, отступает стремительно или очень упорно защищается враг.

Пока с быстротой совершенно неожиданной мадьяры, выбитые из своих весьма долговременных позиций, спасали свои жизни, свою артиллерию, свои обозы, — в полках дивизии Гильчевского был подъем; но вот оказалось, что впереди за двумя реками, — одна широкая, а другая еще шире, — снова ушел в землю проворный враг, и неизвестно, как к нему подойти, с чего начать и как провести новый прорыв этих таинственных позиций, которые, может быть, ничуть не слабее только что взятых.

Одно дело долго готовиться к прорыву, готовиться несколькими армиям, включающим несколько десятков дивизий и огромное число батарей, притом выполнять приказы, идущие от главнокомандующего фронтом, непосредственно связанного со ставкой, — и совсем другое дело, когда одна дивизия, хотя бы и подкрепленная еще полком из другой дивизии, должна решать эту задачу на местности, не освещенной даже разведкой, решать сразу и безошибочно, имея в голове только одно твердое знание, вынесенное еще из Академии генерального штаба, что река между твоей дивизией и позициями противника трудно проходима для войск.

Было над чем задуматься Гильчевскому, несмотря на тот азарт погони, в который он только что вошел.

Держать дивизию в кулаке, перед своими глазами было нельзя: она рассыпалась по двум рекам: бригада на Стыри, бригада на Икве, и перед первой — пять верст неприятельских позиций, перед второй — десять.

Нужно было выбрать для себя со штабом наблюдательный пункт. Гильчевский выбрал одну высоту — 102 — из цепи холмов на своем правом берегу Иквы, верстах в четырех от неприятеля; с нее был хороший обзор, однако она могла быть вполне доступна артиллерии

врага. В то же время нужно было установить и свою артиллерию, так как батарейные командиры тут же перессорились из-за более выгодных позиций. Пришлось прибегнуть к строгому приказу, а Гильчевский по опыту знал, что артиллеристы строгих приказов начальников чужих для них дивизий не любят и что лучше всего с ними не ссориться перед боем, исход которого зависит на три четверти от их работы.

Гильчевский заметался, отлично уже начиная видеть, что поставленная перед ним задача превосходит его скромные силы.

Спасительным явился новый приказ комкора: отложить атаку позиций на Икве на один день. Впрочем, тут же, после минуты облегчения, началась новая тревога.

— Хорошо, — отложить атаку на Икве... А как же Стырь? Ведь у меня на Стыри стоит бригада? Значит, как же я должен понять это: завтра атаковать этой бригадой позиции за рекою Стырью? По-видимому, так, а? — спрашивал он офицера из штаба корпуса, привезшего приказ.

— Никак нет, — ответил тот, хотя и не вполне уверенно. — Мне пришлось слышать, что линию Стыри завтра займет другая дивизия.

— Отчего же этого нет в приказе? — недоумевал Гильчевский, вертя в руках бумажку, подписанную Федотовым.

— По-видимому, не совсем еще решено, однако уже намечено, ваше превосходительство.

— Лучше мне нечего и желать, если освобождается моя бригада, — повеселел Гильчевский. — Однако хотелось бы, чтобы так именно и было!

Утро следующего дня внесло полную определенность.

Во-первых: разведчики — финляндские стрелки, подобравшиеся ночью к австрийским позициям, донесли, что позиции нужно признать сильными, а колючая проволока перед ними местами в четыре, а местами и в семь колеев, хотя из-за высоких хлебов ее совершенно не видно с правого берега; во-вторых, бригада с реки Стыри действительно сменялась целой дивизией — 126-й, бывшей ополченческой, как и 101-я; и, наконец, на помощь артиллерии, которой располагал Гильчевский для действий на своем участке, шел дивизион тяжелых орудий.

Так как Гильчевский и раньше знал, что слева его подпирает 105-я дивизия, то теперь, узнав о таком «локте товарища» справа, как 126-я, и такой опоре сзади,

как две тяжелых батареи, которые покажут мадьярам, чего они стоят, — он снова почувствовал себя так, как привык за последние месяцы.

Но ночью случилось то, чего он не мог простить своему командиру первой бригады: австрийские разведчики подождгли мост через Стырь.

Правда, пожар удалось все-таки потушить, и сгорела только часть моста. Гильчевский приказал во что бы то ни стало восстановить мост. Это тем легче было сделать, что он был не настолько громаден, как мост через Икву у Торговицы, который тянулся на триста сажен. захватывая всю долину реки, очень топкую в этом месте, и шириной был в три сажени. Когда Гильчевский прискакал в Торговицу, он прежде всего кинулся к этому мосту и увидел, что австрийцы уже оплели его сваи жгутами из соломы, чтобы поджечь, но не успели этого сделать. Зато они взорвали часть моста, поближе к своему левому берегу, и саперы на глазах Гильчевского, под прикрытием орудийного и пулеметного огня, довольно быстро привели мост почти в прежний вид: во всяком случае он мог бы уже пропустить на тот берег все легкие батареи. Важно было во время боя отстоять его от снарядов противника.

В полдень 26 мая явилась первая бригада, сменная 126-й дивизией; в то же время комкор Федотов дал знать Гильчевскому, что он вполне понимает важность выпавшей на него задачи и дает ему в подчинение остальные три полка 2-й Финляндской стрелковой дивизии.

Это была уже честь совершенно неожиданная: ведь прошел всего день, как тот же Федотов счел нужным поставить ему на вид тактическую, по его мнению, погрешность, теперь же подчиняет ему, начальнику ополченской дивизии, кадровую дивизию, старую и боевую, начальник которой, может быть, не держал бы ее в «кулаке» ему в угоду, а распустил бы веером по всем окрестным деревням Пьяне.

Кстати, шесть мелких деревень насчитал Гильчевский на своем участке атаки по долине Иквы. От них в трех местах тоже шли на этот берег мосты, слабые и тряские, но пригодные для переброски пехоты. План перебросить через эти мостки части двух своих полков возник у Гильчевского, когда он был в одной из этих деревень, расположенной на правом берегу Иквы, и он вызвал к себе Татарова и Кюна, только что ставшего в этой деревне со своим полком.

— Вечером, когда стемнеет, — сказал он им, — по

батальону от каждого полка должны будут переправиться на тот берег реки и там непременно закрепиться. Вашему полку, — обратился он к Кюну, — сделать это здесь, в деревне Остриево, а вашему, — обратился он к Татарову, — против той деревни, в которой вы стоите, то есть против Рудлева.

— Слушаю, — сказал на это Татаров.

— Позвольте мне осмотреться на новом для меня месте, ваше превосходительство, — сказал Кюн.

— Осмотритесь, — непременно осмотритесь, да... И в восемь вечера мне донесите о том, какой батальон у вас начал переправляться.

Весь свой участок атаки, растянувшийся на десять верст, он поделил на две равные части, и правый, в который входила на австрийской стороне сильно укрепленная деревня Красное, расположенная против Торговицы, он предоставил финляндским стрелкам, с 6-м полком в авангарде, а левый — своей дивизии.

От Татарова вечером пришло донесение в колонию Малеванку, в штаб дивизии, что он начал переправу через Икву. Не дождавшись такого же донесения от Кюна, Гильчевский запросил его по телефону сам и услышал неожиданный ответ:

— Операцию по переправе и закреплению на том берегу я считаю совершенно невыполнимой, ваше превосходительство.

Гильчевский был так удивлен этим, что только спросил:

— Вы осмотрелись?

— Точно так, ваше превосходительство, осмотрелся и нахожу...

Тут Гильчевский вспомнил, что из-за нераспорядительности Кюна был сорван первый штурм 23 мая, и прокричал в трубку:

— В таком случае у вас глаза плохо видят! И двадцать третьего числа они тоже видели плохо!.. В таком случае я вам приказываю немедленно сдать полк командиру первого батальона, подполковнику Печерскому! Пошлите его к телефону, чтобы я передал ему приказание лично!

Через четверть часа подполковник Печерский услышал от Гильчевского, что назначается командующим полком.

— Немедленно начать переправу одного, по вашему выбору, батальона на другой берег, где и закрепиться



ему. Об исполнении мне донести, — добавил Гильчевский.

Печерский был ему известен с хорошей стороны, и в нем он был уверен. Однако озабочен он был тем, что по новости положения своего этот хороший батальонный командир может не справиться с серьезной задачей, свалившейся на него внезапно и в ночное время. Это же опасение высказал и Протазанов.

Было тревожно и за 404-й полк, удача которого в этом почном деле казалась Гильчевскому гораздо более важной, чем удача 402-го полка, так как 404-й полк предназначался им для прорыва, а 402-й только для поддержки его успеха.

Но вот около полуночи пришло донесение от Татарова:

— Первый батальон вверенного мне полка, перейдя реку Икву, закрепляется на противоположном берегу. Потерь не было.

И не успел еще начальник дивизии расхвалить по заслугам Татарова, как получилось и донесение от Печерского:

— Доношу вашему превосходительству, что четвертый батальон четырехста второго полка переправился через реку, понеся при этом весьма незначительные потери, и окапывается не тревожимый противником.

* * *

Выбравшись 24 мая из третьей линии австрийских укреплений, подполковник Шангин повел свой четвертый батальон 402-го полка за вторым, а не за третьим, уклонившимся в сторону деревни Пьяне, и это был первый случай в боевой жизни прапорщика Ливенцева, когда он вел роту преследовать отступающего противника.

Усталости он не чувствовал, — был подъем. Этот подъем чувствовался им и во всей роте по лицам солдат. И, шагая рядом со взводным Мальчиковым и видя его широкое, крепкое бородатое лицо хотя и потным, но как будто вполне довольным, Ливенцев сказал ему:

— Ну как, Мальчиков, веселое ведь занятие гнать мадьяр?

Мальчиков глянул на него по-своему, хитровато, и слегка ухмыльнулся в бороду.

— Веселого, ваше благородие, однако, мало, — отозвался он.

— Мало? Чего же тебе еще? Корабля с мачтой? — удивился Ливенцев.

— Не то чтобы корабля, ваше благородие, а, во-первых, жарко, — пить хочется, а нечего.

— Ну, это терпимо, — пить, правда, и мне хочется, да надо потерпеть... «А во-вторых», что?

— А во-вторых, как говорится, — «хорошо поешь, где-то сядешь». Австрияк, он, одним словом, знает, куда идет! Он туда, где у него наготовлено про нашу долю всего — и снарядов всяких и патронов, а мы у него, может, на приманке.

— Как на приманке? На какой приманке? — не понял Ливенцев.

— Приманка, она всякая с человеком бывает, — опять ухмыльнулся Мальчиков. — Например, про себя мне ежесть вам сказать, ваше благородие, то я перед войной на мазуте в Астрахани работал. Я хотя десятником был, ну, по осеннему времени от холодной воды ревматизм такой себе схватил, что и ходить еле насилу мог. А тут пришлось мне раз в мазуте выше колен два часа простоять. Кончил я свое дело, вышел, — что такое? Ну ползут прямо черви какие-то по всему телу, и все! Не то чтоб я их глазами своими видел, а так просто невидимо, ползут, как все равно микроба какая! А тут подрядчик поблизости. «Что ты, — говорит, — обираешься так, как перед смертью?» — «А как же мне, — говорю, — не обираться, когда явственно слышу: черви по мне ползут!» Ну, он мне: «В мазуте, — говорит, — чтобы черви или там микроба какая была, этого быть никак не может. Мазут этот — такое вещество, одним словом, что от него всякая микроба, напротив того, бежит сломя голову. А это у тебя от ревматизма так показывается... Ты вот лучше возьми да искупайся в мазуте по шейку, — спасибо мне скажешь». — «Как это, — говорю, — в мазуте чтобы купаться? Шуточное это разве дело?» — «А так, — говорит, — искупайся, и все. Только не менее надо как четыре раза так, — пщи тогда своего ревматизма, как ветра в поле...» Ну, раз человек уверенно мне говорит, — думаю себе, — дай по его сделаю, — значит, он знает, что так говорит.

— Искупался? — с любопытством спросил Ливенцев.

— Так точно, ваше благородие. Искупался по его, как он сказал, четыре раза, и все одно как никакого ревматизму во мне и не было! Вот он что такое, мазут, — какую в себе силу имеет!

Красное лицо Мальчикова имело торжественный вид, но Ливенцев вспомнил о «приманке» и спросил:

— Хотя в нефти вообще много чудесного, но какое же отношение твой мазут имеет к твоей же «приманке»?

Мальчиков снова ухмыльнулся, теперь уже явно по причине недогадливости своего ротного, и ответил довольно странно на взгляд Ливенцева:

— Да ведь как же не приманка, ваше благородие: ведь это, почитай, перед самой войной было.

— Все-таки ничего не понимаю, — признался Ливенцев, и Мальчиков пояснил:

— Кто ж его знает, что лучше бы было: или мне в Астрахани в мазуте бы не купаться, или что я от ревматизму своего сдыхался... Это я к примеру так говорю. Вот так же теперь, может, и австрияк, ваше благородие.

— Что именно «так же»?

— Выманил нас, одним словом, а там кто его знает, что у него на уме... Ну, а нам итить теперь, конечно, все равно надо, — пан или пропал, — добавил Мальчиков, скользнув по лицу Ливенцева хитроватым взглядом и ухмыльнувшись.

На привале в деревне Надчице, напившись, умывшись и поужинав, Ливенцев спал крепко, уложив голову на чей-то вещевой мешок.

И новый день, который пришлось ему со всем полком простоять бездеятельно на берегу Стыри, был полон для него все тем же ощущением начатого огромного дела, которое было потому только и огромным, что не его личным.

Ощущение это росло в нем и крепло по одному тому только, что бригада — не его рота, не батальон, не полк, а целая бригада — занимала линию фронта в несколько верст. Он видел большую реку, которой никогда не приходилось ему видеть раньше, по которой была исконно русской волынской рекой; гряды холмов, покрытых лесом; зеленые хлеба в долине, деревни; большой кусок мирной и плодотворной земли, по которой скакал когда-то с дружинами удельный князь, в железном шишаке и с «червленым», то есть красным, щитом, скакал к ее «шеломени», то есть границе, чтобы блюсти ее от натиска «поганных» — кочевников, половцев и других.

— Я как-то и где-то читал, что половцы, по крайней мере часть их поселилась на оседлую жизнь в Венгрии и что в семнадцатом веке в Будапеште умер последний потомок половецких ханов, который еще знал половецкий

язык, — сказал Ливенцев прапорщику Тригуляеву. — Так что вот с кем мы с вами, пожалуй, имеем дело в двадцатом веке: нет ли среди мадьяр за Стырю отдаленных потомков половцев?

— Что же касается меня, — очень весело отозвался на это Тригуляев, — то я прямой потомок крушителя половцев Владимира Мономаха!.. Что? Не согласны?

— Все может быть, — сказал Ливенцев.

— Я вижу сомнение на вашем лице, — сложно подмигнул Тригуляев, — но-о... вполне ручаюсь за то, что я — мономахович!

— Вполне вам верю, — сказал Ливенцев, — только контр-адмирал Веселкин, который теперь, говорят, очень чудит в Румынии, все-таки гораздо удачливее вас: он называет себя сводным братцем нашего царя, и в этом никто не сомневается, представьте!

Когда на смену их бригаде явилась целая дивизия — 126-я, — а им приказано было, держась берега Стыри, идти на Икву, Ливенцев услышал от командира пятнадцатой роты, тамбовца Коншина:

— Ну вот, начинается дерганье: то туда иди, то сюда иди, не могли сразу поставить, куда надо!

Коншин и вид имел очень недовольный, а Ливенцеву даже и в голову не пришло пошутить над ним, хотя склонности к шуткам он не потерял; напротив, он был совершенно серьезен, когда отозвался на это:

— Удивляюсь, чего вы ворчите! Я никогда не имел никаких так называемых «ценных» бумаг, в частности акций, но слышал от умных людей, что если уж покупать акции, то только солидных предприятий, обеспеченных большими капиталами. Вот так и у нас с вами теперь: солидно, не какие-то там чики-брики, обдуманно!.. Не знаю, как вы, а я уж теперь, еще до боя, когда нас с вами убьют, вполне готов сказать: если война ведется умно, то быть убитым ничуть не досадно!

Из всего, что сказал Ливенцев, Коншин, видимо, отметил про себя только одну фразу, потому что спросил, поглядев на него тяжело-пристально:

— А вы почему же так сказали уверенно, что нас с вами в этом бою убьют?

— Э-э, какой вы серьезный, уж и пошутить с вами нельзя! — сказал Ливенцев, не усмехнувшись при этом.

О том, что ночью, когда они уже стояли на Икве, был сменен Печерским Кюн, Ливенцев не знал: Шангин счел за лучшее не говорить об этом своим ротным перед ноч-

ным делом. Но Ливенцев, как и другие, впрочем, заметил, что старик волнуется, передавая им приказ перейти мост и закрепиться на том берегу.

— Закрепиться, — вот в чем задача, — говорил своим ротным Шангин. — Что, собственно, это значит? Как именно закрепляться?

— Вырыть, конечно, окопы, — постарался помочь ему Ливенцев.

— Окопы вырыть? — и покачал многодумно вправо-влево седой головой Шангин. — Легко сказать: «окопы вырыть», а где именно? В каком расстоянии от моста?.. А вдруг попадем в болото?.. И как расположить роты? Три ли роты выставить в линию, одну оставить в резерве, или две вытянуть, а две в резерв?..

— Разве не дано точных указаний? — снова попытался уяснить дело Ливенцев.

— В этом-то и дело, что нет! В этом и вопрос, господа!.. Мне сказано только: «Действуйте по своему усмотрению». А что я могу усмотреть в темноте? Я — не кошка, а подполковник... А к утру у меня уж все должно быть закончено: к утру я должен донести в штаб полка, что закрепился.

— А если австрийцы нас пулеметами встретят? — мрачно спросил корнет Закопырин.

— В том-то и дело, что могут пулеметами встретить, — тут же согласился с ним Шангин.

— Когда же нам приказано выступать? — спросил Коншин.

— Сейчас надобно уж начать выступление, — ответил Шангин, и Ливенцев удивленно сказал, пожав плечами:

— О чем же мы говорим еще, если сейчас? Сейчас — значит сейчас. И будем двигаться на мост.

— «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду!» — неожиданно для всех продекламировал Тригуляев, и на этом закончилось обсуждение задачи.

Через четверть часа рота Ливенцева первой подошла к мосту. Ливенцев только предупредил своих людей, чтобы шли не в ногу и как можно тише, на носочках, точно собрались «в чужое поле за горохом»; чтобы не звякали ни котелками, ни саперными лопатками; чтобы шли совершенно молча; чтобы не вздумал никто, пользуясь темнотой, закурить самокрутку...

И рота пошла.

Зная, что мост был жиденький, Ливенцев вел ее по взводных колоннах с интервалами, и когда вместе с пер-

вым взводом перешел на тот берег и услышал, как впереводкой били перепела в пшенице, то сам удивился удаче.

На всякий случай, первому взводу он приказал рассыпаться в цепь. Мост охранялся, конечно, и за ним таился пост от первого батальона, правда, не больше отделения, так что когда подошел второй взвод, Ливенцев уже почувствовал себя гораздо прочнее, а когда собралась наконец вся рота, как-то само пришло в голову, что всю ее нужно рассыпать, отойдя полукругом настолько, чтобы дать место другим трем ротам.

Он оказался в прикрытии батальона, он — в первой линии перед врагом, нападет ли тот утром или теперь же ночью, — Ливенцев даже не предполагал в себе того, что одно это сознание даст ему такую четкость мысли и уверенность не только в своих силах, но и в силах и выдержке всех без исключения своих людей.

* * *

Едва наступило утро, Гильчевский отправился из Малеванки на свой наблюдательный пункт.

Канонада уже гремела на всем десятиверстном участке по реке Икве.

Обе дивизии располагали дивизионом тяжелых орудий каждая, но Гильчевский оставил в своей дивизии еще и восемь гаубиц, на что неодобрительно кивали командиры финляндских стрелков, говоря: «Конечно, своя рубашка к телу ближе!..» Несколько обижены они были и в легкой артиллерии: им Гильчевский дал всего тридцать восемь орудий, а в своей дивизии оставил пятьдесят шесть. Но он просто хотел уравновесить как-нибудь силы своих ополченцев с кадровиками...

Кроме того, в утро этого решительного в жизни своей дивизии дня он чувствовал себя как-то совсем неуверенно, несмотря даже и на то, что Федотов его как бы предпочел начальнику чужой дивизии, а может быть, благодаря именно этому.

С одной стороны, он мог торжествовать над командиром корпуса, который, только что попрекнув его тем, что он держит дивизию в кулаке, вполне потом с ним согласился, усилив его целой дивизией, а с другой — велика была сила внушения, испытанного в молодые годы: «Болотистая долина Иквы — почти непроходимая преграда», — так говорилось в Академии, — значит, это знал и Федотов.

— Непроходимая, непреодолимая, непрístupная, — как там ни выразишь, все равно скверно, — говорил он Протазанову. — А «почти» — что же такое это «почти»? «Почти» может быть какого угодно веса, — смотря по обстоятельствам.

Обыкновенно бывало так, что начальник штаба 101-й дивизии держался осторожнее, чем сам начальник дивизии. Но теперь, чувствуя сомнение в успехе, которое закралось в душу Гильчевского, Протазанов, этот подтянутый, всегда серьезный человек, с сухим, красивым лицом, счел своим долгом уверенно сказать в ответ:

— Как бы кому ни икалось от этой Иквы, а мы сегодня австрийцев гнать от нее будем в три шеи!

Такая решительность, прорвавшаяся вдруг сквозь обычную осторожность, несколько успокоила Гильчевского, но когда они с конной группой человек в двенадцать выбрались на опушку леса, чтобы отсюда, спешившись, дойти до наблюдательного пункта на высоте 102, то невольно остановились. Вся высота была окутана розовым дымом: казалось, не было на ней места, где бы не рвались австрийские снаряды, и в то же время там, в окопе, сидели связные с телефонами.

— Вот так штука! — изумился Гильчевский. — Значит, кто-то им уже передал, что там у нас — наблюдательный пункт! — И добавил укоризненно: — А вы мне только что говорили!..

— За шпионами, конечно, дело не станет, да ведь и без того у них тут пристреляно, нужно полагать, все, — спокойно ответил Протазанов. — А наблюдательный пункт надо оттуда снять и перенести сюда.

— «Надо» — хорошее дело «надо», а как это сделать? Нужно, чтобы пошел туда кто-нибудь и снял связных, а кто же пойдет в такой ад? — прокричал Гильчевский.

— Кто пойдет?

— Да, кто пойдет? Кого послать?

И Гильчевский оглядел бегло всех около себя и так ощутительно почувствовал, что послать придется на явную смерть и, может быть, без всякой пользы для дела, что всех ему стало вдруг жаль. Он понимал, что приступ жалости — слабость, совершенно непростительная в руководителе боем, и в то же время отделаться от этой слабости не мог.

Вдруг Протазанов подкинул голову, поглубже надвинул фуражку на лоб и сказал решительно:

— Я пойду!

— Что вы, что вы! Как я могу остаться без начальника штаба!

Гильчевский испуганно схватил его за руку в локте, но Протазанов мягко отвел его руку.

— Ничего, — я в свою звезду верю.

И, не улыбнувшись, пошел четкой строевой походкой, как на параде, к розовой высоте, а Гильчевский напряженно-испуганно следил за каждым его шагом.

Остановить и заставить его вернуться было нельзя, — он понимал это, и в то же время вышло все неожиданно нелепо: начальник штаба дивизии жертвовал собой успеху дивизии, значит, он тоже не верил в успех без этой жертвы?

Беспокойство и неуверенность только усилились, а между тем показывать их перед чинами своего штаба было бы совершенно непростительно, — это понимал Гильчевский и сдерживал себя, как мог, следя за подходившим уже к высоте Протазановым.

Как раз в это время несколько человек конных показались в лесу близко к опушке, на той самой дороге, по которой только что добрался сюда сам Гильчевский. Он послал узнать одного из офицеров штаба, кто это и зачем, а сам все следил, идет ли еще или уже упал Протазанов: в дыму на горе этого уже нельзя было отчетливо видеть.

Приехавшие спешились и шли вместе с посланным офицером к нему, и Гильчевский подумал: не из штаба ли корпуса? Не прислал ли нового приказа Федотов?

Но подходил какой-то совершенно незнакомый полковник генштаба с двумя обер-офицерами. Мелькнула даже торопливая нелепо-странная мысль, не прислан ли к нему новый начальник штаба на место Протазанова, и он, Протазанов, это заранее узнал каким-то образом, но от него скрыл и, оскорбленный, решил на самоубийство.

Мысль была вздорная, однако Гильчевский яростно воззрился на подошедшего полковника и еще яростнее крикнул:

— Что, а? Вам что?

— Честь имею представиться, полковник Игнатов! — несколько обескураженный таким приемом, проговорил подошедший, но Гильчевский, не протянув ему руки, крикнул снова:

— Зачем?

— Из штаба армии, ваше превосходительство, —

в замешательстве уже, хотя отчетливо, ответил Игнатов. — Разрешите поучиться у вас управлению боем.

— Управлению боем?..

Гильчевский скользнул глазами по обескураженному простоватому лицу полковника Игнатова, тут же отвел глаза к высоте 102, разглядел на ней сквозь расслоившийся дым Протазанова рядом с наблюдательным пунктом, облегченно сказал: «А-а! Пока bravo!» — и только теперь протянул руку полковнику из штаба армии.

Но в следующий момент снова заволокло дымом Протазанова, — снаряды на холме продолжали рваться, — и, неуверенный уже в том, удалось ли начальнику штаба войти в окоп, Гильчевский резко бросил Игнатову:

— Сопроводительный документ из штаба армии извольте предъявить, поскольку я вас не знаю.

Поняв свою оплошность, Игнатов поспешно вытащил из кармана бумажку, о которой он совсем было забыл, а Гильчевский, взяв ее, продолжал неотрывно следить за высотой 102.

Канонада густо гремела сплошь, однако делались ли проходы в проволоке противника? К тем опасениям и сомнениям, которые овладели Гильчевским в это утро, прибавилось теперь еще и это: не видно было отсюда, как действует артиллерия, а высота, выбранная для наблюдательного пункта, оказалась под преднамеренно сильным огнем.

Так прошло около получаса, и когда Гильчевский уже хотел сказать вслух то, что все время вертелось в мозгу и жалило его: «Ну, значит, погиб, аминь!» — вдруг показался Протазанов, а за ним несколько связных, нагруженные аппаратами и мотками проводов, которые они собирали проворно.

— Слава богу, жив! — крикнул Гильчевский, обращаясь непосредственно к полковнику Игнатову, который понял и восклицание это и сияние глаз начальника 101-й дивизии только тогда, когда сам увидел подходившего Протазанова.

— Слава богу, вы — молодец, конечно, вы — молодец! Но-о... но приказываю вам этого больше впредь не делать! — радостно кричал Гильчевский.

Однако с приходом Протазанова и связных около него оказалась уже порядочная кучка людей, и ее разглядели со своих холмов за рекой австрийские наблюдатели: вблизи начали рваться снаряды.

В то же время и наблюдательный пункт нужно было

занять другой, запасной, хотя и не столь выгодный, как высота 102, с меньшим кругозором.

Удача Протазанова подняла настроение Гильчевского: стала уже мерещиться удача всей атаки.

Вот один полк начал цепями сходить с холмов в долину Иквы.

Гранаты и шрапнели рвались в цепях, но цепи шли быстро. Это было захватывающее зрелище торжества человеческого упорства в достижении цели. Видно было сквозь розовый дым, как валялись десятки людей то здесь, то там, но остальные двигались вперед с каждой минутой быстрее. Вот уже подошли к мосту и бегут через мост на тот берег...

— Это какой полк? Какой? — волнуясь, спросил Протазанова Игнатов.

— Это четыреста первый Карачевский... Там командир полка — Николаев, — ответил Протазанов спокойно.

Они с Игнатовым оказались однокурсниками по Академии, но там плохо знали друг друга, даже просто не помнили один другого.

Гильчевский не переставал подозрительно относиться к Игнатову, как соглядатаю, подосланному штабными, которых вообще не жаловал боевой генерал, говоря о них неизменно: «Ни черта не понимают в деле, а только интриги разводят, друг друга подсиживают да представляют себя взаимно к наградам!»

Но простоватое лицо Игнатова было непритворно удивленно.

— Этот полк, что же он, — первым пошел в атаку? — спрашивал он.

— Что вы, что вы, это — резерв! — недовольно кричал в ответ Гильчевский. — Ударные полки теперь уже на той стороне!.. На той стороне, а не на этой!

Не хотелось объяснять, что решить дело должны были два полка: 6-й — от финляндских стрелков и 404-й — от его дивизии, и некогда было объяснять это, и не шли слова на язык.

В мозгу все вертелось: «Проходы, проходы... Проби-ты ли проходы для штурма?..» Ничего на том берегу не было видно из-за высокого хлеба, над которым навис иссиня-белый дым от своих снарядов. Но если не посчастливилось пробить проходы, значит, пропало все: растают полки от ближнего огня австрийцев.

Время шло. Канонада не слабела. Противник отстреливался ожесточенно.

Подходило уже к одиннадцати часам, когда вдруг заметно стало, что там, за зеленой равниной хлеба, к роще, потянулась небольшая кучка австрийцев, — человек сорок...

Это заметили в одно время и Протазанов и Гильчевский, но только переглянулись, отводя глаза от своих биноклей и тут же снова прильнув к стеклам...

Еще кучка левее... Правее тоже, и гораздо больше, чем первая...

Гильчевский опасался раньше времени поверить в успех, он только сказал с виду безразличным тоном:

— Кажется, кое-где идут наши мадьяры рачьим ходом.

— Не отступить ли начали? — тем же тоном отозвался Протазанов, а Игнатов подхватил возбужденно:

— Что? Что? Победа, а? Победа?

Это раздосадовало Гильчевского. Он крикнул яростно:

— Какая там победа! Какой вы скорый!

В это время начальник связи, поручик Данильченко, отрапортовал, подойдя:

— Телефонограмма от полковника Ольхина, ваше превосходительство!

— А? Что? — встревожился Гильчевский.

— «Первый батальон мой обошел через мост позиции противника, ворвался в Красное и гонит австрийцев», — с подъемом отчеканил поручик.

— Ну вот, очень хорошо, очень хорошо... — обрадованно сказал Гильчевский, но тут же добавил, строго глядя на Игнатова: — Хорошо что, собственно? Хорошо, что саперы успели поправить мост там сгоревший, — вот что! Вот мост и пригодился для дела...

И, вспомнив тут же слова донесения «гонит австрийцев», обратился к Протазанову:

— Гонит австрийцев в каком же направлении, а? Ведь вот они отступают прямо на запад, а должны бы отступить на юг!

— Это не от Красного отступают, — сказал Протазанов. — Это гораздо левее.

— Разумеется, разумеется, это уж наши их так!.. Передать на батареи, чтобы открыли по ним заградительный огонь!

Не больше как через десять минут доносил и полковник Татаров, что его передовые роты выбивают мадьяр из окопов и берут пленных.

И только после этого донесения посветлело лицо Гильчевского, и он сказал Игнатову:

— Ну вот, это еще не называется успехом, но, пожалуй, пожалуй, что мы уже толчемся где-то около него, стучим ему в двери, — дескать: «Отворяй, черт тебя дери, на всякий случай!»

Однако сила внушения была все еще так велика, что не поддавалась в нем воздействию первых признаков успеха, тем более что он видел вереницы раненых, которые шли по долине реки к своим перевязочным пунктам. Вместе с ранеными уходили, конечно, и труссы, но легко было представить и множество тяжело раненных и убитых перед окопами противника и в самых окопах.

Наконец, дрогнувший вначале враг мог оправиться потом и защищаться так упорно, что даже отданные им окопы могут быть отбиты снова. Хорошим признаком считал он про себя то, что артиллерийский огонь противника как будто слабел, но поделиться с кем-нибудь около себя этим восприятием он пока еще не решался. Он старался только сохранить спокойный вид, побороть волнение и для этого тоном напускного равнодушия говорил:

— Пока еще бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

* * *

По сравнению с другими прапорщиками в четвертом батальоне Ливенцев считался более опытным, однако и ему не приходилось никогда ночью, с трудом, шаг за шагом, пробираться по кочковатой долине, где местами хлюпала под ногами грязь, вести роту.

Сзади, у воды, урчали лягушки, спереди, в хлебах, били перепела, но противник молчал; однако молчание это могло в любой момент разорваться сверху донизу очередями пулеметов и частым огнем винтовок, а то и легких орудий.

Впереди, конечно, шли патрули, но Ливенцев опасался, что они или преждевременно поднимут тревогу, или сознательно будут пропущены цепью противника вперед.

Однако чем дальше от моста продвигалась рота, тем меньше становилось опасений у Ливенцева, и когда прошли наконец долину реки и начали подниматься к хлебам, то совершенно твердо, как будто не свою только роту, а целый батальон он вел, Ливенцев решил продви-

нуться настолько, чтобы сзади довольно осталось места для остальных рот.

О хлебах ничего не говорил Шангин, но Ливенцев, наблюдая эти хлеба днем, еще тогда про себя подумал, что они, такие высокие и густые, могли бы, как кустарники, надежно укрыть целые полки. И хотя благодаря неожиданной смене командира полка никому не удалось разобраться как следует в поставленной начальником дивизии задаче, но Ливенцеву казалось неопровержимым, что другого решения быть не может.

И вот хлеба. Пшеница. Местами по пояс, местами по грудь ему, человеку выше среднего роста. Она очень густая, от росы мокрая и душно пахнет. Если идти по ней осторожно и не колонной, а цепью, то она будет не слишком и примята, а утром, когда высохнет, даже может и выпрямиться.

Ливенцев сделал все, чтобы рота его продвинулась в хлебах и залегла, пустив в дело лопатки. Земля была рыхлая и поддавалась легко. Для связи с ротой Коншина он отрядил одного ефрейтора с рядовым, но примет ли четырнадцатая вправо или двинется влево от его роты, не знал. Когда же определилось, что она будет у него справа, то почему-то (он не отдал себе отчета, почему именно) это было ему приятно. Пятнадцатая с легкомысленным Тригуляевым выдвинулась левее, — таков был приказ Шангина, который остался при шестнадцатой, в резерве.

В старинном, многовековом черноземе камней не было: камни лежали грядами на спусках в долину реки; лопатки не звякали; люди работали старательно и споро, — это наблюдал Ливенцев. Он не сидел на месте, — он беспокоился и беспокоил, обходя роты в цепи, и не напрасно делал это: троих пришлось ему растолкать, — они заснули, улегшись на росистый хлеб, и забыли о том, что надобно окопаться.

Подозрительным казалось Ливенцеву и то, что мадьяры не стреляли. Это можно было объяснить и тем, что окопы их были еще довольно далеко, — не меньше полуверсты, — и тем, что они теперь спали, готовясь к бою утром, и тем, наконец, что не придавали большого значения переходу русских через Икву, надеясь на силу своего огня.

«Разумеется, — думал Ливенцев, — если они готовят нам разгром, то для них удобнее прижать нас потом к реке, чем самим переходить ее под нашим огнем, хотя



бы и ради преследования...» Это соображение, впрочем, не только не пугало его, но, напротив, придавало ему больше устойчивости, так как он верил в удачу.

Главное, его мозг математика постигал, хотя и отчасти только, какой-то отчетливый ход мысли этого светлоглазого чернобрового старика, начальника дивизии, который понравился ему еще с первого смотра в начале апреля.

Он в него поверил тогда и сейчас ему верил. Он понимал, что мост необходим для переброски на этот берег нескольких тысяч людей и что его рота вместе с другими тремя пока что должна охранять этот мост от возможного натиска мадьяр. Оставалось только ждать этого натиска до рассвета, когда, как обычно, загремят пушки.

Когда против левого фланга роты Тригуляева поднялась было ружейная пальба, Ливенцев подумал встревоженно: «Неужели атака?», но в то же время быстро передал своим, чтобы не стреляли до его команды.

Было не то, чтобы совершенно темно, хотя луна не появлялась и облака проходили низко: от звезд, пробиваясь сквозь облака, шел все-таки небольшой свет, — в двух-трех шагах можно было узнать хорошо знакомого человека.

Стрельба у Тригуляева быстро прекратилась и потом, вплоть до рассвета, не подымалась вновь нигде в цепях. А до рассвета время не тянулось для Ливенцева, потому что рота выполняла приказ закрепиться, и рассвет подошел, — так ему показалось, — гораздо быстрее, чем можно было бы его ждать.

И тут же вслед за рассветом началась канонада.

Это вышло торжественно и строго: начали свои орудия сразу и уверенно, как сознающие свою силу, как передатчики этого сознания силы своим ротам, залегшим в хлебах на страже двух мостов через Икву.

И потом час и два и три чертили в небе над головой расчисленные дуги снаряды, свои и чужие. Иногда слышен был их полет сквозь залпы и разрывы, как бывает слышен свист голубиных крыльев сквозь городской шум.

Подобравшись сзади, укрытый в полусогнутом положении стеною пшеницы, Некипелов сказал Ливенцеву:

— Как приказано, Николай Иванович: нам ли первым в атаку идти, или мы пропускать другие роты должны?

Вопрос был по существу, и небольшие лесные глаза сибиряка смотрели серьезно.

— Никаких на этот счет приказаний не было, — от-

ветил Ливенцев. — Может быть, и нам, может быть, и другим, а в общем, конечно, придется всем.

— Я потому это спрашиваю, что идут уж наши, — кивнул головой назад Некипелов.

Оглянулся Ливенцев, — действительно, роты подходили уже цепями к мосту.

— Вот когда будут бить по мосту австрийцы! — сказал он с большой тревогой.

— Однако ничего, — отозвался на это Некипелов. — Бегут сюда по мосту наши!

Пальба русских батарей усилилась, австрийские отвечали им реже, слабее, — так воспринимало ухо, но Ливенцев боялся поверить этому: может быть, ему просто хочется, чтобы так именно было, а на самом деле нет этого?

— Чья артиллерия сильнее бьет? — спросил он Некипелова.

— Выходит, однако, наша сильнее, — уверенно ответил сибиряк.

— Ну, значит, будем готовиться к перебежке частями! Не может быть, чтобы новые роты шли дальше, а мы чтоб лежали... Они на наше место, а мы вперед... Тогда я подам команду... Идите пока ко второй полуроте.

Ливенцев говорил это спокойно. Он и был спокоен. Наступали очень большие, решительные, может быть последние минуты жизни, но не было ни сосущей под ложечкой тоски, о которой он слышал от других, когда лежал в госпитале, ни нервической дрожи, которая тоже будто бы охватывает все тело и которую надо побороть, чтобы овладеть собою и быть в состоянии действовать.

Он владел собою. Он вспоминал первый штурм, когда много было затрачено каких-то не поддающихся определению усилий нервов и мысли, чтобы подготовиться к настоящему бою, но тогда занесенная для боя рука опустилась скромно и немного даже стыдливо: бой был решен другими. Теперь повторялась во всем теле та же самая собранность, которая появилась тогда, и острота зрения такая, что Ливенцев вспомнил прапорщика Коншина и подумал: «Как же он будет вести своих в атаку, если он — в пенсне?»

Ливенцев даже поймал себя на том, что теперь, с этой минуты ему досадно, что именно так вышло, — что командует ротой по соседству с ним хотя и толковый человек, но в пенсне. А вдруг потеряет он пенсне или

высокая пшеница сдернет его с носа, что он будет делать тогда? Не различит своих солдат от австрийских!

Фельдфебель Верстаков, с того времени как увидел его в первый раз в марте Ливенцев оплывшим наподобие свечного огарка, давно уже подобрался, — «вошел в свою норму», как говорил о себе не без важности он сам.

Он оказался исполнительным, быстро соображающим человеком, способным понимать своего ротного с полуслова, как это умеет делать большинство фельдфебелей.

Ливенцев шутил иногда, что фельдфебелями люди рождаются так же, как и поэтами.

Теперь Верстаков, тоже весь полный ожиданием решительной минуты, занял место ушедшего ко второй полуроте Некипелова и, как до него подпрапорщик, поминутно оглядывался назад и считал своим долгом докладывать, хотя Ливенцев видел это и сам:

— Еще батальон поспешает!.. Это, похоже, второй... Значит, они в оборотном порядке... А потом пойдет первый...

Когда доложил он:

— Ваше благородие, третий батальон добегает к нам! — Ливенцев почувствовал, что наступила решительная минута, что надо идти вперед.

Команды «вперед!» не было дано, но она уже как бы повисла в воздухе, оставалось ей только зазвучать, как звучит телеграфный провод, натянутый между столбами. И она прозвучала.

— Перебежка частями! Первый взвод начинает! — прокричал Ливенцев, вынимая свисток.

Ему казалось, что он командовал едва ли не громче, чем надо было, однако команду эту расслышали только ближайšie к нему солдаты первого взвода, и Верстаков метнулся от него в сторону тех, до которых она не дошла из-за грохота орудийных выстрелов и разрывов снарядов, так как обстрел не только не прекращался, а даже усилился. Гильчевский держался и теперь того, что дал ему опыт недавнего штурма, тем более что он знал, как далеко от окопов противника закрепились ночью батальоны.

Кругозор Ливенцева был гораздо уже, хотя сам он находился ближе к врагу.

Ливенцев видел высокие черные фонтаны взрывов русских тяжелых снарядов над австрийскими окопами, однако он не знал, пробиты ли легкими снарядами и где именно, если пробиты, проходы в колючей проволоке.

При штурме позиций на высоте 100 действие артиллерии было видно издали, так как там укрепления противника шли по скату высоты в два яруса, здесь же высокая пшеница и складки местности скрывали и окопы и заграждения перед ними.

После бомбардировки, длившейся с раннего утра, то есть несколько часов подряд, можно было ожидать, что раздавлены все пулеметные гнезда мадьяр, но, чуть только началась перебежка взводами, застрекотали пулеметы.

К батальону под утро пришли два артиллериста, наблюдатели, оба прапорщики, со связными, по один из них остался при роте Коншина, другой при роте Тригулева, где местность была повыше. Они передавали по телефону батареям, тяжелым и легким, как ложились снаряды, но уничтожены ли пулеметные гнезда, этого не могли, конечно, определить и они.

Ливенцеву не пришлось учить свою роту перебежкам на лагерном плацу, и он не был даже уверен, будут ли бежать вперед его люди под огнем пулеметов, но теперь видел, что они бежали, разбирая на бегу руками густую пшеницу и пригнувшись, бежали деловито, не останавливаясь, пока не раздавался свисток взводного, как это и требовалось по уставу, и потом вытягивались и прижимались головами к земле.

После он объяснял себе это тем, что батареи посылали снаряд за снарядом и иные из этих снарядов удачно накрывали пулеметы; тем также, что бежать солдатам пришлось под прикрытием пшеницы, а не по открытому месту, что было бы неизмеримо труднее; наконец, и тем, что бежали и справа и слева от них, по всему берегу реки, что бежали и сзади, им в затылок, что в атаку шли тысячи людей, — и как же можно было выпасть куда-нибудь из такого стремительного людского потока?

С другой стороны, и огонь пулеметов был как-то вял и слаб по сравнению с тем, что пришлось испытать несколько больше полугода назад Ливенцеву в Галиции.

Он старался отбросить мысль, что раз атака началась издали, то австрийские пулеметчики поджидали, когда цепи придвинутся ближе.

Некогда было ему думать о чем-нибудь другом, кроме как только об этом: как, в каком порядке бегут люди? Сколько еще осталось перебежек до штурма? Есть ли там, в заграждениях, проходы или их придется пробивать еще ручными грабатами?..

Теперь он держался сзади, не вел роту, а направлял

ее. На него же, обгоняя мешкотную, как ее толстый командир, шестнадцатую роту, напирали люди третьего батальона.

«Ну, пропала пшеница, — потопчут!» — думал он бодро, видя такую стремительность. После нескольких перебежек начали попадаться воронки от первых недолетевших снарядов. Наконец, видны стали колья и местами повисшая, местами туго натянутая ржавая проволока на них. Это были не те проходы, которые он видел три дня назад, но все-таки он сказал самому себе успокоительно: «Ничего!», тем более что в них все-таки еще рвались снаряды, значит, минута штурма еще не наступила.

Окопы передовые, как и укрепления второй линии, сооруженные австрийцами еще прошлым летом, теперь заросли травой, по высоте своей не уступающей пшенице, но от действия снарядов все было перебуравлено там: странно-белесыми, опаленными клочьями торчала эта трава из-под засыпавшей ее то черной, то глинистой земли; торчали в разные стороны разбросанные и перебитые колья; не были издали заметны, но чувствовались по буграм земли объемистые воронки, через которые надо будет бежать, где перескакивая через них, где их минуя.

Но вот заметно стало, что перестали рваться снаряды вблизи, что они молотят только вторую линию... Все в Ливенцеве напряглось в ожидании сигнала к штурму, — и сигнал этот он услышал.

* * *

В неглубокой воронке торчали ноги в сапогах со сбитыми набок каблуками, а все тело вывернулось совершенно неестественно в сторону, лицом вверх. По лицу, искаженному, но с открытыми неподвижными глазами, пробежавший мимо Ливенцев узнал взводного унтер-офицера Гаркавого. Мельком подумал: «Убит?» и тут же перепрыгнул через нижний ряд проволоки с расчетом, чтобы не угодить в следующую воронку.

Рядом с ним оказался с одной стороны обычно вальковатый, однако преобразившийся теперь в сообразительного и ловкого бойца тот самый Кузьма Дьяконов, который говорил о «настоящей пищи», а с другой — Мальчиков, из рода столетних жителей вятских сосновых лесов, справедливо сомневавшийся в досягаемости этих лесов для немцев.

Не приказано было кричать «ура», чтобы не прптя-

нуть криком раньше времени больших сил по ходам сообщения к передовым окопам, однако солдаты как будто совершенно забыли об этом.

Орал и Дьяконов.

— Не ори! — бросил ему на бегу Ливенцев.

— Неспособно молчком! — буркнул Дьяконов и шагов через пять заорал снова: — Ра-а-а-а!

Большинство пулеметных гнезд было разрушено, но мадьяры не хотели уступать окопов без боя. От их ружейного огня беспорядочно залегли те, кто остался в живых от первого взвода, не добежав всего шагов двадцати до последнего ряда кольев.

— Па-ачки! — прокричал команду второму взводу, с которым бежал на штурм, Ливенцев. Тут же перехватил его команду и третий взвод, бежавший уступом ко второму и несколько левее. Ливенцев оглянулся туда, увидел там Некипелова и как будто стал вдруг выше ростом.

А на бруствере уже не было многолюдства: мадьяры очищали его; там впереди только убитые или тяжело раненные валялись ничком.

— Урра! — теперь уже сам хрипло орал Ливенцев, до боли сжимая рукой свой браунинг. Потом потерялась отчетливость восприятия: штыки, длинные и синие, согнутые спины солдат, лица, искаженные яростью рукопашного боя, пронзительный чей-то вопль рядом: это тот, обтиравший ежедневно картины от пыли, — фамилию его Ливенцев не припомнил; массивный мадьяр всадил свой штык ему в живот; Ливенцев выстрелил мадьяру в красный вздутый висок, и мадьяр свалился...

Потом рвались в окопах и в ходах сообщения чьи-то гранаты, — вражеские или свои, нельзя было понять. Ливенцев кричал своим солдатам:

— Не входить в окопы!.. Не лезь в окопы, э-эй!

Новые жертвы казались ему уже излишними, но остановить разгоряченных боем не было возможности. Между тем мадьяры уходили в тыл: не уходили, — бежали. Они старались бежать по ходам сообщения, но это не везде им удавалось: местами ходы были засыпаны, приходилось выскакивать наверх... За ними гнались или кричали: «Сдавайся!» Они останавливались и клали наземь винтовки.

И вдруг Некипелов рядом:

— Николай Иваныч! Смотрите!

Он показывает рукой вправо.

Тут же был и Мальчиков. Ливенцев только что спросил его, увидя кровь на рукаве гимнастерки: «Что? Ранен?», и услышал бодрый ответ: «Это ни черта не составляет!» Мальчиков тоже пристально взгляделся в то, что раньше его заметил сибиряк, и сказал изумленно:

— А вот это действительно сволочь!

Шагах в двухстах, — может быть, несколько больше, — за участком окопов, занятым уже четырнадцатой ротой, окопы мадьяр несколько загнулись внутрь, и то, что разглядел там Ливенцев, его поразило.

По фигуре, по фуражке он узнал прапорщика Обидина, державшего руки вверх, стоявшего впереди нескольких своих солдат, тоже поднявших руки. Еще момент, и окружившие эту группу мадьяры потащили бы их в плен.

— По изменникам — пальба взводом! — крикнул вне себя Ливенцев, забыв о том, что рядом с ним всего несколько человек, из которых у Некипелова, как и у него самого, не было винтовки.

Однако залп, и еще залп, и еще один успели сделать Мальчиков, Дьяконов и другие пятеро-шестеро, и залпы эти произвели действие. Там разбежались, а потом туда нахлынули солдаты двенадцатой роты...

Некогда было следить за тем, что делалось за двести шагов по фронту, когда нужно было спешить во вторую линию укреплений, куда уже стремились кучки солдат четырнадцатой роты и где уже перестали рваться снаряды своих батарей.

Ливенцев скользнул глазами по этим кучкам, надеясь увидеть Коншина, но не увидел и крикнул туда:

— Эй! Четырнадцатая рота! А ротный командир ваш где?

Там остановился какой-то ефрейтор, поглядел на Ливенцева и вывел тонко и жалобно:

— Ротный командир наш? У-би-тай! — махнул рукой, покрутил головой и побежал дальше догонять других.

Ливенцев произвольно сделал рукой тот же жест, что и этот ефрейтор, добавив:

— Вот жалость какая!

Как раз в это время поравнялся с ним спешивший тоже вперед прапорщик-артиллерист, наблюдатель.

— Послушайте, прапорщик! — обратился к нему Ливенцев. — Вот рядом в четырнадцатой роте убит ротный

командир, — не возьмете ли ее под свое покровительство?

Прапорщик этот, светловолосый, потнолицый, с растегнутым воротом рубахи, но бравого вида, был понятлив. Он ничего не расспрашивал у Ливенцева, он спешил. У него оказался звонкий голос. На быстром ходу прокричал он:

— Четырнадцатая рота, слушать мою команду! — и, только оглянувшись на двух связанных, спешивших за ним и тянувших провод, тут же побежал впереди десятка солдат четырнадцатой роты, потерявшей своего командира.

А не больше как через пять минут Ливенцев услышал новые залпы своей артиллерии: это был заградительный огонь, который приказал открыть Гильчевский, чтобы задержать бегство мадьяр на участках, атакованных Ольхиным и Татаровым.

* * *

Теперь уж штабу 101-й дивизии можно было перейти не только на облюбованную раньше Гильчевским для наблюдательного пункта высоту 102, но и гораздо ближе к Икве, на высоту 200, находившуюся против деревни Баболоки, однако в этом больше не было пужды: руководство боем закончилось, так как закончился бой.

Это было в начале двенадцатого часа. Заградительный огонь подействовал на значительные толпы отступавших, которые сначала остановились, потом повернули назад, чтобы сдать. Однако основные силы мадьяр все-таки уходили на юго-запад, и уходили быстро.

— Эх, конницу бы нам теперь, конницу! — почти стонал от бессилия Гильчевский. — И вот же всегда так бывает с нами: когда полжизни готов отдать за один полк кавалерии, видишь только хвосты своей ополченской сотни.

При дивизии была и оставалась без переименования ополченская конная сотня с поручиком Присекой во главе. Ее пускали в дело для конных разведок, из нее брали ординарцев, при ней содержались верховые лошади штаб-офицеров, но больше из нее ничего нельзя было выжать.

— Поздравляю, ваше превосходительство! — с искренним восхищением, преобразившим его простоватое

лицо, говорил Гильчевскому Игнатов. — Я видел прекрасное руководство боем!

— Ну, что вы там видели, — ничего вы не видели, оставьте, пожалуйста! — отмахивался Гильчевский. — Сначала вам нужно увидеть настоящих героев этого боя, а их мы с вами увидим, если сейчас поедем в Торговицу, оттуда в Красное, а потом вдоль фронта... И непременно, непременно передайте в штабе армии, что... Я не знаю, конечно, может быть, кавалерийские дивизии выполняют сейчас гораздо более важные задачи, — этого я не знаю, но то, что одной из них нет сейчас здесь, это — большое упущение, это — непростительная ошибка чья-то, чья-то! — вам лучше, чем мне, знать, чья именно!

С высокого берега, в Торговице, около церкви, где чуть было не был убит он дня два назад, Гильчевский наблюдал движение уже последних арьергардных частей противника, скрывавшихся за дальними рощами. Считая беспорядочное преследование отступающих пехотными частями, потерявшими притом многих своих офицеров, совершенно излишним для дела и даже небезопасным, Гильчевский запретил его. В то же время к Торговице приказано было им собирать пленных, взятых в деревне Красной 6-м Финляндским полком и на фронте всей 101-й дивизии.

Пленных еще вели и вели с той и с другой стороны, но и теперь уже они заполнили всю базарную площадь местечка и ближайšie к ней улицы, и теперь уже, до полного подсчета, видно было, что их гораздо больше, чем оказалось после штурма 24 мая. При этом получалось так, что один 6-й полк набрал пленных не меньше, чем вся 101-я дивизия, что несколько даже смутило Гильчевского.

По тому самому мосту, который чуть было не сгорел, но потом очень успешно был восстановлен саперами, Гильчевский и все, кто был с ним в кавалькаде, двинулись в Красное. Однако чем ближе подъезжали, тем меньше радовались.

— Эге-ге, — сказал Протазанов, — тут жаркое было дело!

Деревня дымилась в нескольких местах, хотя пожары, видимо, тушились. Много домов было разрушено артиллерией австрийцев. Разбитая черепица, слетевшая с крыш, краснела всюду на улицах. Тела убитых русских солдат попадались часто. Их сложили санитары возле домов; тут же над тяжело ранеными они хлопотливо

натягивали полотнища палаток, чтобы защитить их от полуденного зноя, пока явится возможность перевезти их, куда прикажет начальство.

На выезде из этой, до сражения очень благоустроенной, большой деревни с каменными домами стали попадаться рядом с телами солдат Финляндского полка тела австрийских солдат, и чем дальше, тем было их больше и больше... и тяжело раненные стонали тяжело для слуха.

— Тут была рукопашная! — сказал Гильчевский. — Мадыры тут отчаянно защищались!

Дорога от Красного на запад была очень оживлена: двигались группы солдат туда и оттуда, шедшие оттуда сопровождали пленных мадыр и своих раненых. Издалека заметил Гильчевского полковник Ольхин, бывший верхом, и подскакал к нему.

— Вот видите, кто настоящий герой этого дня! — Вот кто! — обратился несколько торжественно Гильчевский к Игнатову, когда Ольхин был уже близко.

— Ольхин? Я его хорошо знаю: вместе состояли в штабе армии, — улыбаясь, сказал Игнатов.

Большая вороная, сильная на вид лошадь Ольхина бежала, однако, с трудом: она была ранена пулей в мякоть правой задней ноги. Но не только у лошади, — у самого Ольхина был тоже перетруженный, усталый вид: он, такой обычно бодрый и деятельный, едва шевелил теперь пересохшими губами. Он даже не улыбнулся, здороваясь с Игнатовым, хотя силился улыбнуться.

Свой рапорт Гильчевскому он начал с того, что его более всего удручало:

— Доношу вашему превосходительству: вверенный мне полк понес большие потери... Они еще не вполне подсчитаны, не приведены в полную известность, но не меньше... не меньше, как тысяча человек!

— Тысяча человек? На полк — да, много, — сказал Гильчевский.

— Третий полк, ваше превосходительство, но... трудно было и ожидать таких контратак, какие пришлось отбивать полку, — продолжал, с трудом подбирая слова, Ольхин. — Было пять контратак!.. Деревня Красное была занята полком с налету еще в шесть часов, но потом пошли настойчивые контратаки, одна за другой... Это оказалось очень укрепленная позиция; противник придавал ей очень большое значение... Правда, потом было взято много пленных...

— Сколько именно пленных? — спросил Гильчевский.

— Не вполне подсчитаны и пленные, ваше превосходительство, они еще продолжают прибывать... Последняя круглая цифра — две тысячи шестьсот человек.

— Ну, вот видите, как! — обратился Гильчевский к Протазанову. — Где наибольший успех, там не могут быть ничтожными и потери, — что делать, это — закон. Во всяком случае тут был левый фланг австро-германских позиций, и он был опрокинут и обойден шестым Финляндским стрелковым полком, выдержавшим (Гильчевский говорил это так, как будто диктовал своему начальнику штаба донесение в штаб корпуса) несколько ожесточенных контратак противника за время с шести до одиннадцати часов, когда противник был окончательно сломлен и потерял, кроме убитых и раненых, пленными до трех тысяч... Ну, честь вам и слава! — обратился он к Ольхину и протянул ему руки для объятия.

Когда потом кавалькада двинулась дальше вдоль взятых позиций, в сторону участка 101-й дивизии, Игнатов говорил возбужденно:

— Прошу извинения, ваше превосходительство, но я напросился к вам по своей доброй воле, исключительно, чтобы поучиться, как действовать в бою... Я совсем не намерен оставаться на работе в штабе!

— А-а! — протянул Гильчевский и посмотрел на него гораздо более приветливо, чем за все время, которое провел с ним рядом.

— Теперь же тем более, когда полковник Ольхин оказался таким героем...

— Подождите, я вам покажу скоро другого полковника-героя, — бесцеремонно перебил его Гильчевский, не любивший высокопарности.

Другой полковник-герой был Татаров, перебросивший один из своих батальонов на другой берег Иквы, к деревне Рудлево, и прорвавший своим 404-м полком австрийские позиции. Однако до места прорыва от Красного было верст пять, — весь участок 6-й дивизии, — и эти пять верст нельзя было проскакать галопом. Это были версты подвигов и потеря, торжества и учета, а главным образом, общих сожалений, что разбитый враг ушел и преследовать его так же, как преследовали 24 мая, с большим рвением, но без всякой надежды догнать его раньше, чем он дойдет до заранее заготовленных, еще год назад, позиций, нет никакого смысла.

— Эх, если бы у нас была кавалерия! Вот бы пустить ее в погоню! — говорили Гильчевскому офицеры финляндских стрелков.

— А вот у нас тут есть полковник из штаба армии, — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Достаточно ли у нас в восьмой армии кавалерии?

Игнатов ответил на этот вопрос без колебаний.

— Мы в штабе считаем, что вполне достаточно. Прежде всего, у нас две кавалерийских дивизии — седьмая и двенадцатая.

— Кто начальники дивизии той и другой?

— Седьмой дивизией командует генерал Гилленшмидт, двенадцатой — генерал Маннергейм.

— Та-ак-с! — многозначительно протянул Гильчевский. — Но все-таки где же они сейчас и чем заняты?

— Обе на Луцком направлении... Да ведь генерал Каледин сам кавалерист. Можно думать, что он даст им возможность проявить себя в лучшем виде, — политично ответил Игнатов.

— Да, да, да, да, все конечно! — с явным раздражением отозвался на это Гильчевский. — Будем думать, будем думать, — больше нам ничего и не остается!

Татаров передавал по телефону на наблюдательный пункт, что прорыв удалось осуществить в районе пасеки, и, подвигаясь к участку своей дивизии, Гильчевский искал глазами эту пасеку. Однако определить теперь, где именно до бомбардировки находилась пасека, было трудно; гораздо легче оказалось увидеть Татарова, так как он сам шел навстречу своему командиру.

Он шел привычным для себя строевым шагом, слегка придерживая левую руку как бы на эфесе пашки, хотя пашки у него и не было.

Так как о прорыве он доносил уже, то теперь он сказал только:

— Ваше превосходительство, действиями вверенного мне полка противнику нанесен большой урон. Трофеи полка приводятся в известность.

— Благодарю за отличную службу отечеству! — торжественно, держа руку у козырька, повышенным тоном сказал Гильчевский.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — по-солдатски четко ответил на это Татаров.

Гильчевский легко спрыгнул со своего серого с секущей шеей, а вслед за ним то же самое сделали и Про-

тазанов, и Игнагов, и другие, кроме ординарцев, которые ожидали на это особого приказа.

В 404-м полку Гильчевский пробыл довольно долго, расспрашивая Татарова, как велась им атака на позиции у пасаки, как удалось достичь успеха, какие роты особенно отличились, много ли понесли они потерь...

Объясняя свои действия, Татаров сказал:

— Так как я заранее был извещен, чтобы преследованием разбитого противника не увлекаться, то приказал тут же после прорыва двум ротам идти вдоль окопов противника влево, в сторону четыреста второго полка...

— Ага! Вот, — подхватил Гильчевский, — что и облегчило задачу полку, командир которого оказался трус, и я его, конечно, отчислю, какие бы сильные протекции он ни имел!.. Подробнейший список офицеров и нижних чинов, достойных награды, прошу мне представить сегодня вечером, — добавил он, — а представление к награде вас я сделаю сам.

И, посмотрев на героя-полковника проникновенным долгим взглядом, начальник дивизии не смог удержаться, чтобы не поцеловать его в сухие губы.

* * *

Когда армии русского Юго-западного фронта пробили зияющую брешь в многоверстной заставе, которую воздвигли генералы и солдаты, когда вошли они в более тесные отношения с армиями ближайшего союзника Германии, императора Австро-Венгрии, это очень обеспокоило Вильгельма, это явилось совершенно неожиданным для него после удачно отраженных его войсками наступательных действий на Западном русском фронте в марте и в апреле.

Каковы были надежды на железобетонные укрепления, это видно было из того, что ими захотели даже пощеголять, отбросив всякую заботу о военной тайне: весною в Вене на особой выставке всем невозбранно показывались снимки с них — смотрите и удивляйтесь, какое у вас правительство, какая у вас армия, какова ваша мощь!

Признали, что эта выставка мощи необходима, как дополнение к голодным пайкам, как яркий показатель того, что с русским фронтом покончено после разгрома его в предыдущем году, когда отобраны были и Галиция, и Литва, и Польша.

Брусиловский прорыв спутал все карты Вильгельма: похеренные было русские войска оказались и деятельны и сильны! Верховный главнокомандующий всех сухопутных и морских сил Германии — кайзер послал приказ командующему своим Восточным фронтом генералу Гинденбургу: «Заделать брешь!»

Как ни спокойно чувствовали себя с виду в Берлине, когда оглядывались весной на Россию, но лучшие генералы германской армии — Гинденбург и его начальник штаба Людендорф*, организаторы разгрома русской обороны, — продолжали все-таки оставаться на русском фронте.

Гинденбург был упорен в своей мысли, что «дорога к счастливому для Германии миру лежит через поваленный труп России». Что Россия уже «труп», в этом он не сомневался, но он помнил изречение Фридриха II: «Русского солдата мало убить, — надо еще и повалить потом на землю!»

Что Россия так неожиданно ожила в июне, поразило его так же, как и Вильгельма, но он оттягивал помощь Австрии, надеясь поставить во главе австрийских войск на русском фронте своего генерала, фельдмаршала Макензена, чему противился начальник австрийского главного штаба Конрад фон Гетцендорф, не желавший остаться совсем не у дел, уронив при этом престиж Австрии как великой державы.

На австрийском фронте и без того была допущена чересполосица: два участка позиций занимали германские войска, — один против одиннадцатой армии, другой против восьмой. И как раз этот последний, которым командовал генерал Линзинген, прикрывал направление на Ковель, избранный Брусиловым как главная цель его наступательных действий.

Ковель был обращен немцами в сильную крепость, и значение его действительно было велико. Он являлся ключом ко всему Полесью, на которое, в свою очередь, должен был произвести сильнейший нажим Эверт; это единство усилий Юго-западного и Западного фронтов должно было, по замыслу Брусилова, дать решительные и очень важные результаты.

Однако немецкое командование лучше понимало значение Ковеля, чем русская ставка с царем во главе, принимавшая все резоны Эверта к оттяжке дела. Переговоры с австрийским правительством о том, чтобы весь фронт против Брусилова передать прославленному гер-

манскому генералу Макензену, еще продолжались, а немецкие дивизии уже шли затыкать «луцкую дыру», заделывать брешь.

Ни у кого не возникало сомнения в том, что немцы несравненно скорее смогут подтянуть резервы к любой точке своего фронта, чем русские: в то время как в Европейской России имелось железных дорог только 1 километр на 100 квадратных километров пространства, в Германии на то же пространство приходилось около одиннадцати. Вопрос был только в том, откуда взять резервы.

Как раз в эти дни на Западе французы и англичане готовились к переходу в наступление на реке Сомме. Подготовка эта не составляла секрета для немцев. Было хорошо известно, как напряженно долгие месяцы работала военная промышленность обеих стран. То же было там и с живой силой. Даже Англия сумела накопить миллионы хорошо обученных солдат, не говоря о Франции, — так что снимать дивизии с фронта на Сомме значило повторить ошибку, допущенную в начале войны. Тогда благодаря переброске трех дивизий с запада на восток хотя и была одержана победа над армией Самсонова в Пруссии, при Сольдау, зато проиграно решающее сражение на Марне, что совершенно срывало весь старательно обдуманый план молниеносной войны, — войны «только до осеннего листопада», как выразился в одной из своих речей в начале августа сам Вильгельм.

Война на два фронта тем и была страшна для немцев, что ставила их армию в положение тришкина кафтана и не только грозила затяжкой борьбы на годы, но и не давала просвета, не вызывала даже самых умеренных надежд на окончательную победу, хотя об этом и запрещалось говорить вслух.

Как и ожидали союзники, немцам пришлось ослабить свои войска, долбившие форты Вердена, иначе русские дивизии могли появиться в тылу их позиций к северу от Припяти.

Но Людендорф не надеялся все же на то, что поддержка с Запада поможет ему остановить порыв брусловских войск. Тогда он решил снимать батальон за батальоном с фронта, противостоящего Эверту.

Выжидала ставка, когда подготовится как следует Эверт; выжидал Эверт, когда иссякнет наконец долготерпение ставки; но время не ждало. И отчего же было Людендорфу не снимать батальоны с фронта, который ре-



шил оставаться неподвижным? Даже из-под Двинска начали прибывать в Ковель целые полки...

Усиленно работали паровозы на захваченных почти за год перед тем у русских железных дорогах. Поезд за поездом подвозили генералу Линзингену в Ковель новые и новые части, орудия, снаряды... В то же время и Копрад фон Гетцендорф, талантливейший из австрийских генералов, ни за что не желавший уступить Макензену руководства Восточным фронтом, делал все, чтобы усилить свои разгромленные корпуса за счет корпусов, посланных уже против Италии. Их возвращали с пути; им внушали, что более серьезного момента не переживала монархия за всю свою многовековую историю; от них требовали подвигов; им указывали на памятники их побед в истекшем году, когда бок о бок с германскими корпусами они возвращали австрийской короне Галицию, — освобождали Перемышль и Львов...

Так, к концу дня 2 июня, когда дивизия Гильчевского, форсировав Пляшевку, стремилась не отрываться от опрокинутых ею австрийцев, в штаб Брусилова одно за другим приходили донесения с других частей его огромного фронта, что противник значительно усилился и начал переходить в контратаки.

* * *

Как раз в то утро 2 июня, когда гремели орудия дивизии Гильчевского, подготавливая атаку на станцию Рудню Почаевскую и на весь шестиверстный участок вправо от нее по долине Пляшевки, наштаверх Алексеев послал из Могилева, из ставки, в Бердичев такую телеграмму, помеченную № 2955:

«Читая действия 17-го корпуса и вообще 11-й армии, задаюсь невольно вопросом о плане атаки. Левое крыло противника глубоко охвачено, прорыв неприятеля за Икву бесцелен, следовательно, на Икве можно было сохранить заслон; все же силы 17-го корпуса и дивизию 32-го корпуса собрать в районе восточнее Козина и развить сильный удар на Рудню Почаевскую. Вопрос решится быстро и без тяжелых жертв длительной фронтальной атаки. Позволяю высказать мнение только потому, что хорошо знаю район и условия ведения в нем действий. Алексеев».

Удар на Рудню был произведен удачно, быстро и без особенно тяжелых жертв благодаря энергии генерала

Гильчевского и боевому порыву его дивизии, а главное, решен он был совершенно независимо от «мнения», которое «позволил себе высказать» штаверх.

Донесения командующего одиннадцатой армией генералу Сахарову о победе на реке Пляшевке были посланы своевременно и комкором 32-го — генералом Федотовым, и комкором 17-го — Яковлевым. К вечеру этого дня по прямому проводу об этом удачном деле доносил Сахаров Брусилову. И все же другие донесения, — с фронта восьмой армии в особенности, — оказались в глазах Брусилова гораздо важнее частной удачи в районе Рудни Почаевской.

А еще важнее было для него то, что начинало сбываться самое скверное, о чем он думал еще в апреле, после совещания в ставке. Исключительно зловещим стало представляться ему сухое бородатенькое заискивающее лицо Куропаткина, каким оно было, когда он подходил к нему, Брусилову, за обедом в царской столовой и предлагал взять назад выраженную им готовность вести наступление. Он ссылался тогда и на Эверта, и вот теперь они оба стали в позу равнодушных наблюдателей, когда им-то и назначались царем и Алексеевым главные роли.

Особенно Эверт возмущал Брусилова, поскольку фронт Куропаткина уходил далеко на север, а фронт Эверта был рядом и, по сути дела, только для него, для его решительных и сокрушающих действий пришел в движение Юго-западный фронт.

Сыграна была увертюра, но опера не начиналась. Почему? Этого не в состоянии был ни понять, ни допустить Брусилов, и с каждым новым днем он становился раздражительней и мрачнее, потому что каждый новый день имел для наступления его войск непередаваемое по своей важности значение, но к вечеру каждого дня он убеждался, что ошибается в такой оценке: непередаваемо важное для него оказалось как будто совершенно не важным для ставки, а приказы, которые шли оттуда в штабы Эверта и Куропаткина, — пустой формальностью.

Еще 30 мая он получил копию телеграммы Алексева Эверту, которая как будто могла питать его надежды на раскачку Западного фронта:

«Государь император повелел для более прочного обеспечения операции Юго-западного фронта справа и более надежного нанесения удара противнику в районе Пинска перебросить немедленно в этот район из состава

войск Северного фронта один дивизион тяжелой артиллерии и один армейский корпус по выбору главкосев. Тяжелый дивизион направить по возможности в числе головных эшелонов корпуса. Перевозку войск начать немедленно и вести таковую с наибольшей скоростью, допускаемой средствами железных дорог. Операцию у Пинска начать, не ожидая подвоза корпуса, лишь по прибытии 27-й дивизии, что вызывается положением дел на Юго-западном фронте. Алексеев».

Район против Пинска занимала соседняя с восьмой армией Каледина — третья армия, которой командовал Леш. Леша лично знал Брусилов, как серьезного боевого генерала, и в тот же день, 30 мая, он телеграфировал ему:

«Обращаюсь к вам с совершенно частной личной просьбой в качестве вашего старого боевого сослуживца: помощь вашей армии крайне энергичным наступлением, особенно 31-го корпуса, по обстановке чрезвычайно необходима, чтобы продвинуть правый фланг восьмой армии вперед. Убедительно, сердечно прошу быстрее и сильнее выполнить эту задачу, без выполнения которой я связан и теряю плоды достигнутого успеха».

Это не было обращением одного генерала к другому, стремящемуся идти с ним в ногу к одной важнейшей для государства цели. Тон телеграммы был таков, будто два соседа по имениям выехали в одно отъезжее поле на охоту за волком и один другого «убедительно, сердечно» просит во имя старой дружбы не упустить серого, если загонщики прямо на него выгонят зверя из леса.

Но иначе, как с надеждой, что, может быть, просьба будет уважена, нельзя было в положении Брусилова и обращаться к такому же, как и он, полному генералу, который ни в малейшей степени не был ему подчинен. Его и умолять-то представилось возможным только после того, как получилась телеграмма с торжественным началом: «Государь император повелел...»

Преувеличенная вежливость в письменных отношениях между собою генералов, бывших в одних и тех же крупных чинах, впрочем, была общепринята тогда в русской армии. Так, например, генерал Сахаров, командарм одиннадцатой, донесение свое Брусилову от 31 мая закончил таким оборотом: «Не признаете ли вы, ваше высокопревосходительство, возможным приказать почтить меня уведомлением о решении вашем по вышепозложенному».

Ответа от Леша не было ни 31 мая, ни 1 июня, хотя Брусилов часто спрашивался об этом у своего начальника штаба, тоже необычайно воспитанного генерала-от-инфантерии Владислава Наполеоновича Клембовского.

Леш и не мог ничего ответить в положительном смысле, так как выступить в помощь восьмой армии он не мог без приказа на это своего главнокомандующего Эверта, который тем временем — именно 1 июня — предпочел телеграфировать Алексееву на его «Государь император повелед»:

«Метеорологические данные предсказывают дождливую погоду в районе 3-й армии в ближайшие два дня. Ввиду незаключившегося сосредоточения 27-й дивизии с тяжелой батареей, наступление на Пинском направлении предоставил командарму 3-й отсрочить на 3-е и даже на 4-е число. Прошу сообщить, не признаете ли более соответственным отложить наступление в Пинском направлении до прибытия и постановки на позиции 3-го тяжелого дивизиона и сосредоточения большей части сил 3-го корпуса. Полагаю, что к 6-му это будет выполнено... Эверт».

О содержании этой телеграммы Брусилов ничего не знал, но зато среди дня 2 июня получился, наконец-то, ответ Леша со ссылкой на приказ Эверта не начинать никаких действий раньше 4-го.

Такой ответ не мог не взорвать и без того тяжело переживавшего свою оторванность от других фронтов Брусилова.

Он изорвал поданную ему телеграмму Леша в мелкие клочья. Он начал усиленно шагать по своему кабинету и кричать по адресу Леша:

— А-а, Леонид Павлович, Леонид Павлович!.. Все время до войны, сколько я его знал, был он Вильгельмович, а теперь вдруг слышу — Павлович, по высочайшему соизволению!.. Вроде Саблера, Саблера — обер-прокурора Святейшего синода, который тоже вдруг стал почему-то Десятовский!.. Но уж раз ты стал Павлович, так почему же ты не захотел вдобавок к этому и обрусеть настолько, чтобы поддержать товарища в общем деле? Не осмелился изорвать немецкие мундиры о русские штыки так, чтобы не доложиться об этом своему мерзавцу главкозапу?! Изменники, подлецы, изменники! Вот кого мы имеем соседями по фронту, Владислав Наполеонович, — это прямые и подлинные изменники отечества, изменники России, и я, ничуть не стесняясь, написал бы

об этом государю, если бы не был твердо уверен, что это ни к чему решительно не приведет!.. А между тем вот и Щербачев доносит, что против него уж начали действовать новые германские дивизии, и Сахаров, и Каледин тоже... Это потому, конечно, что Вильгельм вызывал к себе Людендорфа и приказал! Да если бы и не вызывал даже, — Людендорф, конечно, сделал бы все, что нужно, и сам без приказа свыше... А почему же у нас этого нет, я вас спрашиваю? Воюем мы или в бирюльки играем, как сопатые дураки?..

Человек гораздо более спокойный, чем Брусилов, начальник его штаба Клембовский пытался было, но не мог подыскать ничего, что могло бы успокоить главнокомандующего.

Вечером этого богатого волнениями дня 2 июня Брусилов сам составил и приказал послать Алексееву телеграмму, имевшую исходящий № 1702.

Была эта телеграмма не очень многословна, однако весьма значительна по содержанию:

«Вверенные мне армии начали наступление 22 мая. Западный фронт должен был атаковать противника 28 и не позже 29 мая. Затем эта атака была отложена до 4 июня, но для пресечения возможности противнику стянуть с севера резервы к моему фронту было приказано 3-й армии 31 мая овладеть Пинским районом. Только что узнал из телеграммы командарм 3-й № 2265, что и эта атака отложена до 4 июня. Постоянные отсрочки нарушают мои расчеты, затрудняют планомерное управление армиями фронта и использование в полной мере той победы, которую они одержали: враг опомнится, усилится, закрепится для нового отпора, который повлечет за собою потерю времени и потребует новых серьезных усилий. Приказал 8-й армии прекратить наступление. Брусилов».

* * *

Император Австрии и король Венгрии, 86-летний Франц-Иосиф доживал тогда последние месяцы своей жизни.

Только для очень немногих, таких же глубоких старцев, как и он сам, Франц-Иосиф не был с первого дня их жизни монархом, а для всех остальных — первый глоток воздуха, первый крик на постели матери и — Франц-Иосиф. В манифестах он обращался к весьма пестрому на-

селению своей империи патриархально-торжественно: «Мои народы!..» Венгерское восстание 1848 года было направлено против него, и Николай I для укрепления его на троне послал стотысячную армию с Паскевичем во главе, а спустя пять лет спасенный им молодой «австрийский Иуда», как известно, «удивил мир неблагодарностью», бряцая оружием против России.

В 1866 году он воевал с Пруссией и был побежден Вильгельмом I; теперь же он старался быть ревностным союзником его внука Вильгельма II, однако по дряхлости своей редко уж был в состоянии дослушивать доклады премьер-министра, — засыпал.

«Его народы» чувствовали и вели себя в пределах его монархии, как раки в корзине, которые таинственно о чем-то шепчутся и выползают из нее вон. Иные, как венгры и чехи, даже и не шептались, а говорили в полный голос: сепаратные идеи владели ими давно и обсуждались на все лады.

В рачьей корзине этой швабы считали главенствующей нацией себя, венгры — себя; немцы ненавидели чехов, чехи — немцев; галицийские украинцы были на ножах с поляками, никогда не перестававшими мечтать о самостоятельной Польше; итальянцы Триента тяготели к Италии; трансильванские румыны — к Румынии; южные славяне — к Сербии. «Лоскутное одеяло» в любой подходящий момент готово было разодраться на клочки, спитые, как оказалось, на живую нитку. Доходило даже до того, что венгры открыто высказывались против присоединения к землям Франца-Иосифа побежденной Сербии: они опасались, что в этом случае славяне, благодаря своей большей численности, получат и самый большой вес в государстве и спихнут с первого места Венгрию.

В то же время венгерские войска были признанно лучшими из войск двуединой монархии: им отдавали дань уважения даже немцы. Однако теперь, под нажимом русских армий, бросали свои позиции и уходили в тыл и венгры, после сопротивления, более упорного, чем оказывали чехи и швабы, но с не меньшей поспешностью. Немецким генералам приходилось подпирать одинаково весь разбитый фронт, готовый окончательно рухнуть и тем обнажить правый фланг фронта принца Леопольда Баварского, примыкавшего к фронту Гинденбурга.

Если против армий Лечицкого, Щербачева и Сахарова, выдвинувшихся менее сильно вперед, чем восьмая,

генерал Конрад бросил один за другим корпуса, снятые им с пути на итальянский фронт, то в направлении на Ковель появилась спешно сколоченная немецким командованием группа генерала Руше, нацеленная для действий во фланг частям Каледина, если они зарвутся, а для лобового удара и для охвата их справа стремились выстроиться шесть дивизий, составивших группу генерала Марвица, который выдвинулся в эту войну в действиях против французов. Кроме того, 10-й германский корпус выгружался из вагонов, прибывая эшелонами в Ковель.

Это было очевидное для всех военное превосходство Германии над своим крупнейшим союзником — единый и прочный тыл.

На бляхах всех солдатских поясов у немцев была выбита одинаковая надпись «Gott mit uns» («С нами бог»), а в мозгах огромнейшего большинства немцев в тылу пока еще непоколебима была вера в кайзера Вильгельма и его генералов — смотреть на весь мир только сквозь пушечное дуло считалось еще обязательным для немцев в тылу.

Что же касается самого кайзера, его министров и его генералов на востоке, то они встревоженно щупали пульс Румынии: кое-кто уже находил его слегка лихорадочным и не без оснований предполагал, что он может стать горячечным, если не прекратит русские успехи.

Неоднократно и раньше посылались Вильгельмом в Румынию доверенные лица, чтобы склонить короля Фердинанда к выступлению на стороне Германии, но прожженный политик-король отмахивался от этого с ужасом. Он не говорил о том, что армия его слаба и совсем не готова к такой войне, какая велась, — напротив, он был о ней прекрасного мнения, но давал понять, что не вполне убежден в будущей победе центральных держав над державами Антанты; ссылаясь он при этом на то, что курс марки сильно упал за границей, в то время как курс стерлинга стоит твердо, и на то, что Румыния — маленькая страна и, если проиграет войну Германия, может потерять всю свою территорию. «Впрочем, — добавлял Фердинанд, — если бы австро-германцы заняли Бессарабию, а Румынии предложили бы управлять ею, то от этого она бы не отказалась».

Теперь до Берлина доходили слухи, что Англия покупает в Румынии по высоким ценам огромное количество хлеба, не потому, чтобы очень нуждалась в нем, а, с одной стороны, чтобы отбить этот хлеб у Германии, с дру-

гой — чтобы подкупить румынских помещиков и решительно повернуть все их симпатии в сторону Антанты.

Победа над войсками Брусилова, притом победа решительная, блестящая и быстрая, признавалась в Берлине совершенно необходимой.

Как ни трудно было Берлину поверить в то, что утверждали Гинденбург с Людендорфом еще весною, однако приходилось верить, что русский фронт потребует еще больших усилий, пока будет окончательно сломлен, но теперь им ставилось в обязанность успеть это сделать до середины июня, когда, по секретным сведениям, должны были перейти в наступление накопленные на Сомме силы англо-французов.

Известно было, как деятельно готовились они к этому шагу, и это заставляло кайзера торопить Людендорфа, обосновывая его будущий успех главным образом тем, что войска Брусилова терпят сильный недостаток в снарядах.

У союзников России дело обстояло, конечно, иначе. Впоследствии Ллойд-Джордж писал о снабжении их армий боеприпасами так:

«...французы копили свои снаряды, как будто это были золотые франки, и с гордостью указывали на огромные запасы в резервных складах за линией фронта... Когда Англия начала по-настоящему производить вооружение и стала давать сотни пушек большого и малого калибров и сотни тысяч снарядов, британские генералы относились к этой продукции так, как если бы мы готовились к конкурсу или соревнованию, в котором все дело заключалось в том, чтобы британское оборудование было не хуже, а лучше оборудования любого из ее соперников, принимающих в этом конкурсе участие... Военные руководители в обеих странах, по-видимому, так и не восприняли того, что они участвуют в этом предприятии вместе с Россией и что для успеха этого предприятия нужно объединить все ресурсы так, чтобы каждый из участников был поставлен в наиболее благоприятные условия для содействия достижению общей цели... На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские генералы отвечали и в 1914, и в 1915, и в 1916 годах, что им нечего дать и что если они дают что-либо России, то лишь за счет своих собственных насущных нужд...»

Можно было Брусилову негодовать на Эверта, на Леша, на безвольную, мирволящую им ставку, но очень долго негодовать все-таки не приходилось, — нужно было думать о всем своем четырехсотверстном фронте, — что ему угрожает, где он может двигаться вперед, где он должен закреплять позиции, где его необходимо усилить и чем. Для всего этого надо было прочитывать множество донесений, вновь и вновь всматриваться в огромную карту, испещренную отметками, находить на той же карте станции, где высаживаются присылаемые пополнения, и соображать, через сколько времени в состоянии они будут добраться до фронта; наконец, справляться, сколько и каких именно снарядов и сколько ружейных патронов в наличии на складах.

Этот последний вопрос был наиболее острым: и наступать, и обороняться нельзя было, если в достаточной мере не питать фронт боеприпасами, а между тем расход их был за последние дни огромен.

Вопль о снарядах шел с фронта в ставку Брусилова, и ему самому приходилось быть раздатчиком снарядов, а также ружейных патронов для винтовок русских, австрийских, японских, — патронов, которые требовались миллионами. Ему нужно было думать и о том, в какой степени изношены орудия и какую работу на фронте они могут выдержать, а после какой откажут, так как замена орудий новыми представляла тоже очень сложный вопрос.

Никто из русских генералов того времени не изучал так внимательно причины неудачных наступлений Щербачева в декабре пятнадцатого года и Эверта — в марте шестнадцатого, как Брусилов. С предельной точностью высчитывал он, сколько и каких орудий необходимо сосредоточить против определенного числа погонных сажень австро-германского фронта и сколько снарядов надо иметь для того, чтобы разрушить первые две линии укреплений. Так готовил он свое наступление. Но вот обстановка менялась: его не поддержали ни Западный фронт, ни Северный, и дали возможность противнику собрать против него силы, которые теперь уже стремятся переходить в контратаки.

Фронт велик и чрезвычайно разнообразен по своим природным давшим и по тому, какие части русских войск его занимают и какие и где именно войска врага им про-

тивостоят. Слишком извилистую линию фронта, какую она явилась к двенадцатому дню наступления, местами надо было выправить, — подать вперед, — это относилось частью к седьмой армии, частью к одиннадцатой, численно гораздо более слабым, чем восьмая и даже девятая.

Это было крупнейшее хозяйство, все нужды которого надо было держать в голове, чтобы в любой момент ясно можно было представить, что и где творится.

Так как значительно дальше в глубь территории, занятой до того противником, выдвинулся Каледин, то против него и нужно было ожидать энергичнейших действий немцев, вплоть до излюбленных ими «Канн», так удавшихся Гинденбургу в операции против Самсонова при Танненберге и против 20-го корпуса генерала Булгакова в Августовских лесах. Следовательно, нужно было сдерживать порывы восьмой армии, чтобы она не попала в расставляемый для нее мешок, а в то же время была наготове поддержать третью армию, когда та 4-го числа (наконец-то!) перейдет в наступление. 31-й корпус этой армии, под командованием генерала Мищенко (тоже «маньчжурца»*, как и Леш, и Эверт, и Куропаткин), соседствовал с восьмой армией, и Каледину предписано было держать с ним постоянную связь.

Настало 4 июня. От Каледина пришло донесение, что один из его корпусов уже теснят перешедшие в контр-наступление немцы. Это ожидалось Брусиловым, но ожидалось и движение вперед очень сильного по своему составу — в пять пехотных и три кавалерийских дивизии — ударного корпуса Мищенко.

Однако вместо этого движения Брусилов получил от Алексеева, как и другие главнокомандующие фронтами, директивную телеграмму с пометкой: «Совершенно секретно»:

«Государь император, выслушав телеграмму главнокомандующего, что хотя войска закончили подготовку намеченного удара, но им предстоит крайне тяжелая работа при чрезвычайно сильно укрепленном фронте неприятельской позиции, лобовых ударах, обещающих лишь медленное, с большим трудом развитие операции, повелел:

1. Немедленно начать переброску двух корпусов Западного фронта на Ковельское направление, выполняя перевозку по железным дорогам с полным напряжением средств.

2. На Виленском направлении, продолжая усиленно

работы, привлекая внимание противника, атаки не предпринимать».

Дочитав до этого места, Брусилов прервал чтение телеграммы, хотя она была длинной, — главное было сказано: «Атаки не предпринимать!»

— Ну вот видите, вот видите!.. Разве я был не прав? — ошеломленно говорил Брусилов, вскочив из-за стола, высоко подняв брови, сделав болезненную мну и обращаясь к своему начальнику штаба.

— Тут дальше есть все-таки, Алексей Алексеевич, насчет наступления в сторону Пинска, — склонясь над телеграммой, попытался успокоить его Клембовский.

— В сторону Пинска?.. Когда именно?.. Какими силами? — вполголоса, что было у него признаком сильнейшего раздражения, спросил Брусилов.

— Сказано так: «Три. Развить энергичный удар на Пинском направлении, производя таковой в строгом согласовании с действиями Юго-западного фронта и помогая всемерно последнему».

— Но точно-то, точно-то все-таки нет ничего, когда именно «развить энергичный удар»? — почти прокричал Брусилов. — И что это значит: «в строгом согласовании с действиями Юго-западного фронта»? Что это значит, хотел бы я знать?

— Да, разумеется, эта фраза туманная... Вот если бы нам передали третью армию, тогда бы можно было ее понять, как надо, — разъяснил Клембовский.

— Если бы мне дали, то завтра же она пошла бы в дело!.. Но ведь не дадут, не дадут, — вот что!.. Раз это армия Эверта, она и будет стоять на своем месте, пока... пока не получится новая директива, чтобы она и дальше так стояла!

— Виленское направление заменяется Барановичским, — продолжал вчитываться в телеграмму Клембовский, — «для нанесения здесь главного удара Западного фронта. На перемещение и подготовку его величество предоставляет от двенадцати до шестнадцати дней...»

— Ого! Ого! — перебил Брусилов. — Предоставляется двенадцать — шестнадцать дней, а перемещаться и готовиться будут два месяца!

— Тут непосредственно и о нашем фронте есть тоже, — сказал Клембовский, вздохнув: — «Юго-западному фронту собрать теперь же надлежащие силы для немедленного развития удара и овладения Ковельским районом, ибо только этим путем будут привлечены к ма-

певренной деятельности скованные ныне тридцатый, срок шестой и четвертый конные корпуса».

— Опоздали!.. Опоздали с «маневренной деятельностью» конницы!.. — выдал из себя с виду как бы овладевший уже собою Брусиллов. — Перейди в наступление Западный фронт, хотя бы сегодня с утра, мы могли бы быть в Ковеле через... через три-четыре дня, а теперь поздно!.. Что конница действует более чем вяло, об этом я ведь доносил сам, — что же они мне — моим же добром да мне же челом?.. Да, скверно действовала конница все время, и Гилленшмидта, комкора четыре, я ведь сам хотел отчислить, но почему, спрашивается, за него вступился Каледин? Да, конница — наше слабое оказалось место, но мы ее получили такую, — переучивать ее теперь поздно... И все-таки, все-таки эта плохая конница гораздо лучше, чем Эвертова пехота! Она все-таки пытается двигаться, а не торчит, как музейная восковая кукла, на месте!

Он, в волнении делая преувеличенно четкие шаги, прошелся по кабинету и добавил:

— Овладеть Ковельским районом? Малого захотели, когда теперь там уже выгрузили целый корпус!

— Зато ведь и нам дают целых два корпуса, Алексей Алексеевич, — напомнил ему Клембовский.

— А когда они будут у нас? Когда будут? — выкрикнул резко Брусиллов. — Когда немцы десять корпусов к Ковелю перебросят?.. Не-ет, это мне ясно!.. Не хотят воевать, хотят только волюнку тянуть, а я-то вызвался на наступление!.. Во-от дурака сваял в их глазах!.. Ну что же делать! Я ведь не немец, как Эверт, не придворный анекдотист, как этот Куропаткин, — чем же я взял?.. Вот теперь и расхлебывай свою же кашу! Эверту — реверанс, а мне замечание, что конница у меня скованна!.. Так-то-с! Надо поговорить со ставкой, — устройте-ка мне это, Владислав Наполеонович!

Разговор с Алексеевым состоялся в обед, когда Брусиллов несколько пришел в себя, изучил присланную директиву и все донесения с фронтов армий, особенно восьмой.

— Здравствуйте, Михаил Васильевич! — начал Брусиллов, выпрямляя бумажку с записями, которую держал перед глазами. — Вследствие того, что отложена атака Эверта, — раздельно говорил он, — я попал в довольно трудное положение: в Ковеле собирается маневренная большая группа, от Владимира-Волянска действует уже

другая; два обещанных корпуса придут ко мне довольно поздно. Мне крайне нужно для собственной ориентировки знать, когда в действительности генерал Эверт перейдет в наступление и когда третья армия переходит в Пинске в атаку противника и какими силами. Кроме того, для того, чтобы я мог вести начинающиеся горячие бои, мне совершенно необходима присылка огнестрельных припасов, а именно: больше всего требуется ружейных патронов русских, потом, второе — мортирных сорокавосьмиллинейных гранат, третье — шестидюймовых полевых, шестидюймовых крепостных, стодвадцатипудовых Канэ и сорокадвухлинейных тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. Без ускоренной присылки огнестрельных припасов вести бои невозможно.

— Здравствуйте, Алексей Алексеевич! — отозвался Алексеев. — Против Пинска у Мищенко восемь дивизий, из них три кавалерийских, — этим силам указано начать бой не позже шестого июня. Относительно главного удара генерала Эверта сделаю все возможное, чтобы началось не позже пятнадцатого — шестнадцатого июня. Постараюсь ускорить всеми средствами и именем государя, которому ясна ваша обстановка. Приму меры к приливу вам огнестрельных припасов. Кстати, к вам поехал великий князь Сергей Михайлович, которому непосредственно укажите на потребность, но распоряжения будут сделаны в пределах возможного теперь же.

— Еще у меня просьба насчет увеличения тяжелой артиллерии. Ко мне прибыли пятый сибирский и двадцать третий корпуса без единой пушки тяжелой артиллерии.

— К вам приказано отправить два тяжелых дивизиона с Западного фронта. Они поедут с первым армейским и первым Туркестанским корпусами. Посадка корпусов началась вчера. Думаю, что через десять — одиннадцать дней боевые части обоих корпусов будут в вашем распоряжении. Постараюсь поискать еще один тяжелый дивизион.

— Очень благодарен! Больше ничего не имею, — значительно успокоенный, сказал Брусиллов и добавил: — Могу лишь сказать, что приложим все усилия, чтобы выйти из создавшегося положения возможно приличнее. Я не о себе беспокоюсь, а о войсках, которые будут очень огорчены, и о деле, которое может быть скомпрометировано... Может статься, что все обойдется благополучно. Имею честь кланяться.

— Помогите и благослови бог! — с искренней поткой в голосе закончил разговор Алексеев. — Имею честь кланяться!

* * *

До разговора с Алексеевым Брусилов послал Каледину сердитую телеграмму:

«Невзирая на мои предыдущие приказы не продвигаться на запад, вы два дня подряд их нарушали во вред делу... Вы хорошо должны знать, что подобное своеволие я не допущу. Приказываю немедленно мне донести причину нарушения вами моих приказаний».

Ему очень отчетливо представилось, что Каледин, точно глаза у него завязаны, сам лезет в расставленный перед ним немцами мешок.

И перед завтраком он говорил Клембовскому:

— Какая обуза для меня этот Каледин! Нет, нет, его придется сменить!.. Не знаю только, как к этому отнесется государь, а я бы... я бы вас поставил на место Каледина, хотя мне без вас было бы и очень трудно, но что делать, — на фронте вы нужнее.

— Что вы, Алексей Алексеевич! — почти испуганно протестовал Клембовский. — Я, наверное, буду гораздо хуже Каледина... Притом же менять командарма перед такими серьезными боями, какие нам предстоят, — как хотите, а мне кажется очень рискованным.

После того как Алексеев обещал ему два корпуса из армий Эверта и непременно 6 июня назначил наступление корпуса генерала Мищенко на Пинск, настроение Брусилова изменилось. Теперь даже и мешок, который готовил Линзинген Каледину, его не тревожил: правый фланг должны были обеспечить от обхода восемь дивизий левого крыла армий Леша.

Теперь Брусилов дал новый телеграфный приказ «секретно, срочно»: «Восьмой армии наступать на Ковельском направлении, а прочим армиям выполнять ранее данные задачи».

Ободряло Брусилова и то, что должен был приехать в этот день великий князь Сергей Михайлович*, ведавший всей артиллерийской частью в ставке.

Это был первый знак внимания к делам его фронта с начала наступления. Для Брусилова было ясно, что Сергей Михайлович ехал к нему не по своему личному желанию, что это желание царя познакомиться с общим

положением на Юго-западном фронте, насколько он прочен и в чем он нуждается, чтобы стать еще прочнее.

Сергей Михайлович приехал в Бердичев вечером. Свита его была небольшая — всего пять человек.

Сухой, псчерна-желтый, преждевременно изношенный, не низкого роста, но не по-военному сторбленный, с небольшим лицом обезьяньего склада, сильно опирающийся на палку, — таков был полевой генерал-инспектор артиллерии, великий князь.

Один из свиты его был генерал-лейтенант, другой — полковник, — оба, как потом узнал от них Брусилов, участники совещания в Минске у Эверта в апреле, после неудачной попытки Западного фронта перейти в наступление.

Вечером, за обедом, основной темой разговора была ревизия действий артиллерии генерала Плешкова, руководителя группы войск Эверта во время этой попытки. Этим особенно интересовался сам Брусилов.

С манерой Сергея Михайловича говорить он познакомился еще в ставке. Отвисшая и оттянутая вперед нижняя губа великого князя, при этом еще и сильный прищур его неопределенного цвета выпуклых глаз придавали презрительный оттенок всему вообще, чего бы он ни касался в разговоре, а тут тем более подвернулась такая разносная тема.

— Плешков, а? Ну, чего и можно было ожидать от генерала с такой фамилией? — слегка шепелявя, говорил он, раскрасневшись несколько от выпитого вина. — Я, помнится, говорил Алексею: «Ох, нельзя верить такому армию, хотя бы она и называлась группой: он ее убьет!..» Так, к сожалению, и вышло: убил!

— Главнокомандующий фронтом должен был знать, ваше высочество, кому вверяет свои корпуса, — вставил Брусилов, желая перевести разговор на самого Эверта, но Сергей Михайлович почему-то решил обойти щекотливый вопрос, продолжая о Плешкове:

— Представьте вы себе, Алексей Алексеевич, он даже не удосужился объехать по фронту всю свою группу, этот Плешков! Оказалось, что у него артиллерия была поставлена так, что стрелять могли только процентов двадцать батарей, остальные же не видели бук-вально ни аза в глаза!.. Какой же вред могли они принести немецким позициям? Аб-со-лют-но ни малейшего!.. И вот там посылали людей ножницами проволоку резать, — то есть на верную смерть!

Брусиллову хотелось сказать, что Плешков в этих пожитках не столько виноват, сколько сам Эверт, но он ждал, что к такому выводу придет сам великий князь, однако разговор почему-то перебросился на Паукера, — начальника управления путей сообщения, который не знал, что в Москве, в тупике, полгода стояла тысяча вагонов с артиллерийскими снарядами, чрезвычайно важными и нужными для изготовления снарядов.

— Не знал или, напротив, отлично знал об этом Паукер, вот вопрос? — резко спросил Брусиллов.

— Даже и теперь, когда дело обнаружено, он все-таки тянет с разгрузкой их целый месяц, — неопределенно ответил на это Сергей Михайлович.

— А вы знаете ли, ваше высочество, что однажды было у нашего теперешнего наштаверха, когда он еще командовал Северо-западным фронтом? — уже не желал сдерживать себя при виде такой неопределенности Брусиллов. — Там был подобный же транспортник, полковник Амбургер. Алексеев приказывает ему доставить на другой же день к такому-то пункту столько-то орудий, а тот говорит: «Этого никак невозможно сделать!» Тогда Алексеев ему, несколько не повышая тона: «Если завтра к такому-то часу не доставите орудий, я прикажу вас повесить!» И на другой день орудия были на месте, даже на полтора часа раньше срока!

Сергей Михайлович слегка усмехнулся, выпятив для этого еще заметнее нижнюю губу, и сказал:

— Но ведь там был только Амбургер, а здесь Паукер, — сын бывшего министра! Да и сам он уже метит в министры, хотя по чину всего только коллежский советник.

Об Эверте и его фронте Брусиллов узнал от великого князя только то, что львиная доля тяжелых орудий и снарядов к ним отправлялась и предназначалась к отправке на Западный фронт, однако когда именно раскачается этот фронт, ничего в ставке неизвестно.

— Как же неизвестно, ваше высочество? — буквально опешил Брусиллов. — Алексеев, Михаил Васильевич, мне передал по телефону, что на пятнадцатое — шестнадцатое число назначено выступление Эверта.

— Гада-тельно! — прищурился Сергей Михайлович. — Предположительно... С полной возможностью новой оттяжки...

— Вот ка-ак!.. Значит, что же получилось из всего этого?.. Вот я получаю два корпуса из его войск и два

тяжелых дивизиона, — что же, он со всеми своими армиями, выходит, только резерв для моих армий, для моего фронта, — так ли я должен понять эту ситуацию, ваше высочество? — в упор глядя на Сергея Михайловича, спросил Брусилов.

Вместо ответа великий князь только хрипло расхохотался, поблескивая золотом вставных зубов.

На другой день Брусилов написал и отправил Алексееву с нарочным такое письмо:

«Глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Отказ главнокомандующего атаковать противника 4 июня ставит вверенный мне фронт в чрезвычайно опасное положение, и, может статься, выигранное сражение окажется проигранным. Сделаем все возможное и даже невозможное, но силам человеческим есть предел, потери в войсках весьма значительны, и пополнение необстрелянных молодых солдат и убыль опытных боевых офицеров не может не отозваться на дальнейшем качестве войск. По натуре я скорее оптимист, чем пессимист, но не могу не признать, что положение более чем тяжелое. Войска никак не поймут, — да им, конечно, и объяснять нельзя, — почему другие фронты молчат, а я уже получил два анонимных письма с предостережением, что генерал-адъютант Эверт якобы немец и изменник и что нас бросят для проигрыша войны. Не дай бог, чтобы такое убеждение укоренилось в войсках.

Беда еще в том, что и в России это примут трагически, — также начнут указывать на измену. Огнестрельные припасы, скопленные для наступления, за две недели боев израсходовались; у меня на фронте, кроме легких, ничего больше нет, а армии бомбардируют меня просьбами, ссылаясь на то, что теперь борьба начнется еще более тяжелая. Великий князь Сергей Михайлович, прибывший сегодня сюда, доказал, что у него в запасе тоже ничего нет почти, а все поглощено Западным фронтом. Но раз их операция откладывается, может быть окажется возможным поддержать нас запасами Северного и отчасти Западного фронтов. Во всяком случае, было бы жестоко остаться без ружейных патронов, и это грозило бы уже катастрофой. Пока припасы в изобилии, есть все-таки надежда, что отобьемся, а тогда о такой надежде и мечтать нельзя будет. Мортирные 48-линейные также совершенно необходимы.

Теперь дело уже прошедшее, но если бы Западный фронт своевременно атаковал, мы бы покончили здесь

с противником и частью сил могли бы выйти во фланг противника генерала Эверта. Ныне же меня могут разбить, и тогда наступление Эверта, даже удачное, мало поможет. Повторяю, что я не жалею, не падаю духом, уверен и знаю, что войска будут драться самоотверженно, но есть известные пределы, перейти которые нельзя, и я считаю долгом совести и присяги, данной мной на верность службы государю императору, изложить вам обстановку, в которой мы находимся не по своей вине. Я не о себе забочусь, ничего не ищу и для себя никогда ничего не просил и не прошу, но мне горестно, что такими разрозненными усилиями компрометируется выигранный войны, что весьма чревато последствиями, и жаль воинов, которые с таким самоотвержением дерутся, да и жаль, просто академически, возможности проигрыша операции, которая была, как мне кажется, хорошо продумана, подготовлена и выполнена и не окончена по вине Западного фронта ни за что ни про что.

Во всяком случае, сделаем, что можем. Да будет господня воля. Послужим государю до конца.

Прошу принять уверение глубокого уважения и полной преданности вашего покорного слуги. *А. Брусилов*».

Послав такое письмо, Брусилов почувствовал себя несколько легче, как человек, который высказал то, что его весьма угнетало.

Великий князь ничего нового ему не привез, ничем его не обнадежил, не совсем даже было понятно, зачем, собственно, он приехал. Он подтвердил только, что Западный фронт продолжает усиленно, в первую очередь, снабжаться снарядами, хотя пребывает в преступной неподвижности, а это значило, что его будущим действиям придадут несравненно больше значения, чем наступлению Юго-западного, которое ведется с полным напряжением сил.

О самом Сергее Михайловиче ему говорили еще до совещания в ставке, что он в феврале ездил в Петроград в связи с делом о миллиардных хищениях в его ведомстве и там старался замять это, во всех отношениях, конечно, подлое дело при помощи сенатора Гарина.

В снарядах был недостаток, доходящий до снарядного голода, однако почему же именно? Потому что какие-то темные дельцы в недрах артиллерийского снабжения, выполняя, быть может, директивы, шедшие из Берлина, тратили в течение ряда лет перед войною огромнейшие суммы, отпускаемые на приготовление снарядов

и орудий, на свои личные нужды; Паукеры, Гермапы Оттовичи, занимающие не по чинам высокие посты в ведомстве путей сообщения, стремились так далеко запрягать ни мало ни много как целую тысячу вагонов с артиллерийскими станками, чтобы их и за полгода не могли разыскать; а явный рамоли великий князь, даже рассказывая об этом, пребывал в приятном настроении духа.

Ложась в этот день спать, Брусиллов был почти уверен, что никакой подготовки к наступлению со стороны корпуса генерала Мищенко на следующий день он не дожидается. Однако утром 6 июня он получил телефонное донесение, что рядом с правым флангом армии Каледина у Мищенко началась канонада более внушительная, чем обычная.

* * *

Как только 401-й полк выбил упорно защищавшихся мадьяр из Рудни Почаевской, австрийские части, расположенные против 17-го корпуса, сами начали поспешно очищать свои позиции.

Однако отступали они, стараясь соблюдать порядок. Это было не паническое бегство, тем более что железная дорога продолжала к разъезду Ситно, за несколько верст от Рудни, подвозить свежие батальоны, и они, высаживаясь в укрытых большими рощами местах и быстро принимая боевой порядок, прикрывали отход.

Они не дали и тем пяти полкам Заамурской конной дивизии, которые Яковлев ревностно берег для себя, развернуться как следует на другом берегу Пляшевки. Потеряв в короткое время значительное число людей и коней, полки эти повернули обратно.

Только тот полк из этой дивизии, который удалось выпросить Гильчевскому, сделал свое дело, врубившись в хвост одной из колонн и захватив полторы роты в плен.

Он, правда, тоже наткнулся на сильный огонь прикрытия и вынужден был повернуть назад, однако не с пустыми руками, и партия пленных в сопровождении кавалеристов этого полка была первой, встреченной генералом Гильчевским, едва только он со своим штабом — все на конях — отступал по свежее-перекинутому через реку мосту и выбрался на левый берег.

Когда этот густой и тесный от событий день подошел уже к четырнадцати часам, — солнце стояло высоко, вражеские снаряды не рвались вблизи, — поле недавнего

боя представилось глазам Гильчевского отчетливо и ярко. Впереди стояли несколько человек конников с карабинами в руках, окружив толпу однообразно одетых в синее пленных пехотинцев.

— Какой части? — спросил по-немецки одного из пленных офицеров Гильчевский и услышал, что 46-й дивизии.

— А-а! Старые знакомые! — кивнул Протазанову Гильчевский. — С Иквы сюда перебрались!

Когда от старшего из конвойцев он узнал, что полку пришлось повернуть и выждать дальнейших успехов пехоты, то рассердился и, послав коня вперед, ворчал:

— Для парадов, для смотров существовать привыкли наши кавалеристы, а чуть коснется дела, — ни-ку-да! Чуть только попадут под обстрел, сейчас же и покажут хвосты!.. Тогда, спрашивается, за коим чертом у нас кавалерийских дивизий столько? Чтобы лошади зря сено и овес жрали? Так лучше бы их отправили землю пахать, а людей зачислили в пехотинцы!..

Он еще негодовал и на генерала Яковлева, не позволившего начальнику дивизии заамурцев бросить для преследования разбитых австро-германцев хотя бы три полка сразу, а не один, но чем дальше продвигался верхом на своем сером донце, тем больше видел, как жидковаты стали его полки, и это вытеснило на время из его головы и Яковлева и заамурцев.

Полков своих, правда, он не застал на месте боя, — они продвинулись гораздо дальше, — но резко бросилось в глаза очень большое, — небывалое еще в его дивизии, — число убитых на подступах к неприятельским позициям и тяжело раненных, которые стонали, дожидаясь, когда их отнесут на перевязочные пункты.

Решив в первые минуты, что надо догнать полки, чтобы довести их до разъезда Ситно на речке Ситневке и тем самым не позволить противнику там укрепиться, как это допустил на Пляшевке Яковлев, Гильчевский озабочен был еще и переправкой своей артиллерии на этот берег, о чем он распорядился заранее. Поэтому оглядывал он то, что было взято его частями, довольно бегло.

Однако, когда добрался он до двух легких орудий, возле которых Ливенцев, уводя вперед роту, оставил пять человек, назначив за старшего Кузьму Дьяконова, то остановился.

— Что, а? Орудия?.. Исправные, а?

Дьяконов, застыв на месте, с рукою у козырька, молодежато гаркнул:

— Так точно, ваше превосходительство, вполне справные!

Он даже при этом поднялся слегка на носки, взволнованный тем, что отвечает самому начальнику дивизии, а Гильчевский заметил еще и зарядные ящики и тут же соскочил с коня.

— Вот жалость какая, запряжек нет!.. — горевал он, осматривая орудия и ящики, в которых было несколько снарядов. — За малым дело стало, а то бы пустить этот взвод палить по своим же. На же тебе, — удрали на лошадах, мерзавцы!.. Какой роты?

— Тринадцатой роты, ваше превосходительство! — ответил Дьяконов.

— Тринадцатой? Гм.. Кто же там командир роты? — обратился Гильчевский к полковнику Протазанову, который по должности начальника штаба все обязан был помнить, да, впрочем, и действительно обладал хорошей памятью.

Но Дьяконов не вытерпел, чтобы не похвалиться своим ротным:

— Их благородие прапорщик Ливенцев, ваше превосходительство!

— А-а, Ливенцев! — припомнил и Протазанов.

— Ливенцев, а? Это ведь он же отличился и на Икве? — оживленно спросил Гильчевский.

— Он самый, — сказал Протазанов. — Мы его внесли в список представленных...

— «Представленных», «представленных», позвольте-с! — перебил Гильчевский. — Теперь уж мы его к Георгию должны представить за взятие орудий! «К Георгию четвертой степени прапорщика Ливенцева...» Запишите теперь же!.. Вот это молодчина так молодчина!.. Верно ведь, а? — обратился он к Дьяконову и другим четверым. — Молодчина ваш ротный, а?

— Так точно, ваше превосходительство! — довольно согласно, особенно к концу, выкрикнули все пятеро.

Гильчевский тут же вскочил в седло, поглядел пристально в сторону моста через Пляшевку, откуда ждал своей легкой артиллерии, и двинулся со штабом и ординарцами дальше, передернув недовольно серыми усами, так как ничего не разглядел на этом берегу, а моста отсюда не было видно.

Между тем вдали, за белостенным небольшим фоль-

варком и молодым дубовым леском около него, слышна была пушечная пальба, хотя и редкая: останавливаясь только затем, чтобы сделать два-три выстрела и этим задержать преследующие их русские полки, не имеющие артиллерии, батареи противника продолжали свой стремительный отход, теряя на пути снаряды из ящиков.

А Кузьма Дьяконов, когда отъехал шагов на сто начальник дивизии, рассудительно говорил своим:

— Ежели б не мы-то, кто бы доложить мог насчет пушек, чьи они и что? Стоят и стоят себе, как и допрежь нас стояли, и даже всякий бы мог сказать — похвалиться: «Это наша рота приобрела!..» А теперь уж шабаш, не скажут. Теперь уж у них записано: «Какая рота? — Тринадцатая. — Какой ротный? — Прапорщик Ливенцев!..» Вот ради чего мы тут пост имели... умно обдуманно!

— А как убьют его там? — кивнул один на дубовый лесок.

— Кого это его? — важно спросил Дьяконов.

— Да нашего ротного.

Кузьма посмотрел и сам на лесок, подумал, покрутил головой и сказал убежденно:

— Нет, не должны они этого сделать.

* * *

Пленных вели и вели оттуда, от белых домиков фольварка, куда шла дорога. Синие толпы их так густо заполнили этот берег Пляшевки, что он как бы снова стал австрийским. Запыленные, усталые на вид, пленные смотрели невнимательными, прячущимися глазами. Старшие из их конвоя ретиво командовали им «смирно», когда подъезжал к ним Гильчевский. Он же только спрашивал пленных, какой они части, и направлялся дальше. Его беспокоило, почему не появляется артиллерия.

— Что это значит, а? Не провалился ли мост? — встревоженно спрашивал он и уже хотел послать одного из своих ординарцев, как увидел наконец первую запряжку, за ней вторую...

— Ну вот! Ну вот, — теперь все прекрасно, теперь наша взяла!

И он молодецкато повернулся в седле и хотел было послать вперед серого, когда пожилей, с сединой в усах унтер-офицер, отделившись от толпы пленных, которых вел, подошел заботливым шагом и, козыряя правой рукой,

а левой протягивая какую-то серую бумажку, доложил не спеша:

— Ваше превосходительство, вот это один наш пленный оставил у жителей...

— Что такое? Какой пленный? — ничего не понял Гильчевский, беря бумажку.

— Наш пленный, ваше превосходительство, какой у астрияков тут работал, а потом его и прочих угнали дальше, как отступление началось, — объяснил унтер-офицер.

Гильчевский пробежал глазами корявые строчки на сером листке, слегка усмехнулся и сказал:

— Ну что же, — можешь идти.

Унтер-офицер по форме повернулся кругом и пошел к своей команде, а Гильчевский передал бумажку Протазанову.

Это было письмо, обращенное совсем не к начальнику дивизии, а написанное на авось, без адресата, притом наспех и на первом попавшемся клочке, неровно оторванном. Вот что стояло в этом письме, в котором попадались иногда большие буквы, но не было знаков препинания:

«Здравствуй товарищ и если где находится живой мой ротный прапорщик Суцилов то передай поклон находимся мы при конях На каждого пленного пять лошадей которые были прежде Молодые австрийцы вобозах то их угнали всех на позицию а пригнали стариков даже есть по 55 лет в австрии Хлеба недостаток то есть совсем все выходит выдают хлеба понищенски три фунта на пять дней а мяса 22 золотника утром получаем каву а вобед суп такой что в нем нет ничего которы австрийцы пришли с Австрии то и те говорят никого не осталось только мальчишки 16 лет еще не взяты а то все под итог мука стоит 8 рублей пуд мясо 50 рублей и всем говорят что надо мириться так что не робей ребята Епифан Зябрев».

Прочитав это послание, Протазанов улыбнулся про себя, как и Гильчевский, и сказал, пряча листок в карман:

— Приобщим к делу.

Артиллерия мчалась бы лихо, если бы не частые воронки от ее же снарядов, испортившие местами сильно дорогу. Никто не убирал тела австрийцев, убитых разрывами и полузасыпанных землей около этих воронок. Живые заботились пока о живых: о врагах впереди, чтобы их добить, о своих и чужих раненых, чтобы их спасти.

Среди раненых оказались и все ротные командиры четвертого батальона, за исключением Ливенцева. Но Тригуляев и Локотков, перевязав первый руку, второй — го-

лову, остались при своих ротах, — раны их были легкие; а корнета Закопырина санитары унесли на носилках: он был пробит пулей в живот навывлет и потерял много крови.

На то, что он вернется в строй, не было надежды, как не было уверенности в том, что удастся спасти ноги раненному рядом с ним командиру четвертого батальона Шангину.

Носилки с Шангиным встретил Гильчевский и остановил лошадь. Два старика несколько мгновений смотрели друг на друга молча. Начальник дивизии не то чтобы высоко ценил торопливого на глазах у начальства, но не расторопного в бою батальонного, однако теперь, когда его унесли, он вскрикнул горестно:

— Как?! И вы тоже!.. Куда?

— В ноги, — без малейшего подобострастия, обычно для него, ответил Шангин.

Он едва превозмогал боль и закусывал верхнюю волосатую губу прокуренными желтыми щербатыми зубами, чтобы не стонать.

— Поправляйтесь... Поправляйтесь скорее, — из желания ободрить не то его, не то самого себя, нарочито отчетливо сказал Гильчевский, дотрагиваясь до козырька фуражки и укорачивая левой рукой повод.

— Не-ет... уж... — слабо простонал Шангин и закрыл глаза.

Пулеметной очередью были перебиты голени обеих его ног. Гильчевский догадался об этом сам, не расспрашивая, наклонил голову и дал шпоры донцу.

Укрепления австрийцев здесь, он видел, были гораздо слабее прежних, зимних, на ручье Муравице, и несколько слабее тех, которые были взяты его дивизией после форсирования реки Иквы. Однако целую неделю подарил врагам своим бездействием генерал Яковлев для того, чтобы здесь утвердиться. А дальше, за речкой Ситневкой, показана была на карте река Слоновка, такая же болотистая, как и Пляшевка.

— Нет, гнать и гнать их, чтобы не зацепились, проклятые, за болота! — следя за тем, как вытягивались его батареи, и представляя их там, за фольварком и дубовым леском, энергично говорил Протазанову Гильчевский. — Утонула целая рота, — ведь это что?! Я бы даже и не поверил, если бы кто-нибудь другой мне сказал, что у него в дивизии это случилось!.. Не знаю даже, как доносить об этом...

— Придется все-таки донести, — ответил Протазанов.

— И донесем, да, — донесем! Пусть знают!.. Пусть отмечают: проходима или непроходима река вброд, а не так!.. Рота, а! Шутка им? Это — сила!.. И вот бесполезно, дико, глупо, к чертовой матери пошла на дно!.. Донести непременно!

Как только, тщательно, считая свои легкие орудия, Гильчевский поймал глазами последнее, тридцать шестое, он тут же, вместе со штабом, двинулся им вслед.

* * *

Ливенцев не выпячивал свою роту, — он смотрел только, чтобы не отстать от соседей справа, слева и не отрываться от противника.

Перед тем как оставить взятый ротой участок позиций, он подсчитал своих людей. Не оказалось и пятидесяти рядов во всех четырех взводах, но он не успел привести в полную известность своих потерь, — некогда было. Полагал при этом, что порядочно людей пошло с ранеными, кроме того, остались при орудиях, при других трофеях и при пленных, которых скопилось до ста человек.

Так как полк распался надвое и одна его половина, при которой был и командующий полком полковник Печерский, ушла к станции Рудня, то уцелевший в бою командир третьего батальона, капитан Городничев, должен был принять начальство и над четвертым.

Так рассуждал и именно с этим обратился к нему Ливенцев.

Городничев был невзрачный, низенький человек, с преждевременно морщинистым лицом, с невыразительными глазами, точно сделанными из алюминия.

— Вам, господин капитан, придется принять командование и над четвертым батальоном, — сказал ему Ливенцев.

— Мне?.. Почему мне? — подозрительно глянул на него снизу одним глазом Городничев.

— Потому что наш командир батальона тяжело ранен, — объяснил Ливенцев.

— Ранен?.. Ну вот... ранен... А я тоже ведь не чугунный.

— Поскольку вы, слава богу, живы-здоровы... — начал было Ливенцев, но Городничев перебил его:

— А вы, собственно, передаете мне приказание командира полка или как?

— Говорю от своего имени, за неимением командующего полком поблизости.

— На это должен прийти приказ от начальства, — прямо сказал Городничев и отошел было в сторону, но Ливенцев пошел за ним.

— Раз начальства нет вблизи, то принимать команду приходится вам, — это понятно и просто — начал уже возбуждаться при виде такого равнодушия Ливенцев.

— Нет, это не просто, а смотря... — сделал особое ударение на последнем слове Городничев.

— Что «смотря»? — ничего не понял Ливенцев.

— Смотря по тому, как... — сделал теперь ударение на «как» Городничев.

Ливенцев подумал, не контужен ли он в голову, но спросил все-таки на всякий случай:

— Что же именно «как»?

— Как вообще сложится.

— Что сложится?

— Обстоятельства вообще.

— Ну, знаете, теперь обстоятельства ясные: надо идти вперед, и больше решительно ничего!

— Вы, прапорщик, никаких указаний мне давать не можете! — вдруг окрысился Городничев.

— Я и не даю указания, я только советуюсь с вами, как равный вам по положению, — резко отозвался на это Ливенцев.

— Как это так «равный»? — полюбопытствовал Городничев.

— Поскольку я теперь старший из ротных командиров в четвертом батальоне, то я и принимаю командование батальоном! — сказал Ливенцев, за минуту перед тем не думавший ничего об этом; такое решение внезапно слетело с его языка, однако и не могло не слететь.

Он до этого дня весьма мало был знаком с Городничевым: во время окопной жизни как-то совсем не приходилось с ним сталкиваться, а с начала наступления тоже не приходилось выходить за пределы интересов своего батальона. Только мельком от других прапорщиков слышал, что он «дуботолк», «тяжкодум», «густомысл» и тому подобное, но не думал, однако, чтобы до такой степени мог быть густомыслен командир батальона.

Городничев еще смотрел на него вопросительно, тараща алюминиевые глаза, а он уже, круто повернувшись, уходил от него к четырнадцатой роте, чтобы там объявить себя временно командующим батальоном. Потом он по-

сла в пятнадцатую и шестнадцатую роты коротенькие записки: «Вступив во временное командование 4-м батальоном, приказываю подготовиться к немедленному преследованию противника».

Ни от прапорщиков Тригуляева и Локоткова, ни от нового командующего шестнадцатой ротой, совсем еще молодого, только что из школы, прапорщика Рясного никаких возражений он не услышал; напротив, везде очень быстро построились люди, и четвертый батальон первым тронулся вперед, а за ним пришлось идти третьему: такой порядок, впрочем, был и при форсировании Пляшевки.

Сам он шел со своей ротой, выслав вперед патрули.

Горячий командующий второй половиной 401-го полка, в помощь которому посланы были оба батальона, повел своих вперед, как будто даже забыв в пылу боя о присланных ему же на выручку частях 402-го полка. Так объяснял самому себе Ливенцев то, что оба батальона оказались без спасительного попечения о них начальства.

Местность впереди была очень удобна для защиты, и предосторожность в виде цепочки патрулей оказалась необходимой: уже перед первой опушкой молодого леса началась перестрелка, и тринадцатую роту пришлось спешно рассыпать в цепь, задержав на время продвижение остальных.

Ливенцев был рад, что уцелел Некипелов: сибиряк был не зря кавалером всех четырех степеней солдатского Георгия, — он был распорядителен в бою, и Ливенцев знал, что он хорошо будет вести роту, во всяком случае гораздо лучше, чем Локотков, а тем более Рясный. Тригуляев же хотя по натуре был сообразителен и скор на решения, но теперь, после ранения оставшись в строю, мог и потерять половину этих своих природных свойств.

* * *

На фронте более чем в 25 верст наступление вели части обоих корпусов — 17-го и 32-го, и к вечеру весь левый берег Пляшевки, берег холмистый и лесистый, на десять, на пятнадцать верст в глубину, с деревнями Ивашуки, Рудня, Яновка и другими, с несколькими фольварками и господскими домами в имениях, был прочно занят; но и австрийцы благодаря свежим частям, задержавшим продвижение русских, успели все-таки отвести остатки своих разбитых полков за реку Слоневку.

Все старания Гильчевского помешать им в этом не достигли цели. Пришлось дать дивизии вполне заслуженный отдых, чтобы она привела себя в порядок и подсчитала свои потери. Эти потери оказались велики: треть офицеров и до трех тысяч солдат вышли из строя.

— Никогда еще не теряла моя дивизия столько людей! — ошеломленно говорил Гильчевский.

Он по числу убитых, тела которых видел на позициях австрийцев, предполагал, что потери должны быть серьезны, однако оценивал их на глаз гораздо ниже.

Несколько упорных боев подряд сильно растрепали полки. Даже когда Гильчевскому доложили общую цифру взятых дивизией в этот день пленных — свыше четырех тысяч человек, — он не утешился. Он говорил:

— Пленные, пленные... Что из того, что их четыре тысячи? Я их в строй вместо своих солдат не поставлю, — да не захотел бы таких и ставить... А дивизия теперь почти уже не боеспособна... Ее впору в бригаду свести!

Перед тем как дать полкам отдых и ночевку, он все же объехал их, чтобы поздравить с победой, поблагодарить за службу. При этом Ливенцев встретил его, как временно командующий батальоном, объяснив, что присвоил себе этот пост самозванно.

— И хорошо сделали, отлично, — отозвался на это Гильчевский. — Так и командуйте себе батальоном и впредь, — объявлено будет об этом в приказе по дивизии... А за орудия, вами захваченные, получите награду.

Ни с кем из младших офицеров не говорил в этот вечер так долго Гильчевский, как с Ливенцевым, и расстались они еще более довольные друг другом, чем это было месяца три назад.

* * *

Вбирая в себя мутные воды всех Икв, Пляшевок, Слоневок, Ситневок и прочих, река Стырь гонит их в реку древних древлян — Припять, чтобы та принесла их, как вековечную дань, Днепру.

На Стыри — Луцк. В Луцк, вскоре после того как был он взят частями восьмой армии, — срубившими виселицы в саду за окружным судом, на которых австрийцы вешали иногда по сорока человек в день, — вернулся старый русский уездный исправник. Однако фронт пока еще не продвинулся дальше Стохода — другого притока Припяти, следующего за Стырью, такого же полновод-

ного и с такими же болотистыми берегами, весьма удобными для защиты.

Если за Стырью укрепились, местами стремясь переходить в контратаки, австро-венгерцы, подпертые германцами, то за Стоходом германцев теперь было гораздо больше, чем австрийцев, так как тут развертывалась упорнейшая борьба за Ковель и за Пинский район, который был всецело германским.

В самом Ковеле уже не было австрийских полков, — германцы целиком в свои руки взяли его оборону. Реквизировав у жителей всех лошадей, всю вообще живность, все запасы продуктов, они поставили всех, кто не лежали больными и не были явно дряхлы, на работы по укреплению города. На бетонных площадках с юго-восточной стороны его устанавливались тяжелые орудия; с запада к городу проводились узкоколейки; не только ежедневно, — ежечасно подвозились новые и новые эшелоны войск. В то же время обреченное на голод население видело, как из города на запад вывозилось все ценное, так что и сами германцы не питали прочных надежд, что им удастся отстоять город, тем более что сгустились над ними тучи и засверкали в этих тучах молнии как на западе, на реке Сомме, так даже и на востоке, по соседству с фронтом правофланговой армии брусиловского фронта, — у Эверта.

Жестокая канонада на Сомме гремела уже несколько дней подряд, перекликаясь с канонадой у Вердена, где французы контратаками отбили у немцев форт Тиомон, потом вновь потеряли его, потом, через день, вновь отбили, наконец вынуждены были уступить весьма упорному и настойчивому врагу все изрытое на большую глубину снарядами место, где был форт, оставив за собою склоны холма.

Еще не ясно было из поступающих донесений, каков размах действий англо-французских армий на Сомме, но известно было, что эти армии численно гораздо сильнее германской и лучше снабжены снарядами.

Неясно пока было и то, кто первый начал действовать на русском Западном фронте, где долго царило затишье. Штаб верховного главнокомандующего сообщал, что немцы открыли сильный огонь к юго-западу от озера Нарочь и одновременно на другом участке при помощи газовой атаки захватили окопы, но потом были из них выбиты; а возле Барановичей русские войска взяли в плен до полутора тысяч человек.

Наконец-то и на втором фронте, у Эверта, началось то, чего долго и напрасно дождался Брусилов: загремело, — и он уже не мог усидеть в своем Бердичеве.

Когда не день, не неделю, не месяц, даже не год, а уже почти два года изо дня в день мозг одного человека вмещает в себя сотни тысяч людей, раскинутых на многоверстных пространствах, — людей, то убывающих, то прибывающих снова целыми полками, дивизиями, корпусами, людей, стоящих на страже и обороне огромной страны, творящих историю великого народа, — это не может быть и не бывает легким делом.

Но по странным, однако же неуклонным законам, такой человек начинает чувствовать величайшее облегчение, если в его мозг вливаются еще сотни тысяч, даже миллионы других людей, занимающих место рядом с прежними.

Несмотря на всю свою неприязнь к Эверту, Брусилов чувствовал себя безмерно помолодевшим, когда раскачался наконец Эвертов фронт, пусть даже зачищниками в этом были сами же немцы: важно было ведь не то, своя или вражеская ставка вывела его из состояния летаргии, а то, что он выведен, ожил, действует и непременно будет действовать в будущем, так как в ближайшие же дни он продвинется вперед, и немцы не в состоянии будут остановить движение всего русского фронта, поскольку они зажаты теперь в тугие тиски на Сомме и у Вердена.

Именно это стремление вперед всеми силами, как своими, так и соседними, так и союзными, дальними, там, на западе, двинуло на фронт Брусилова: он ринулся в схватку, как юный кавалерист, который не может ведь усидеть спокойно на коне, когда все поле перед ним полно топота бешеной атаки, гиканья, выстрелов, орудейного гула и дыма, ослепительного блеска сабель...

Он был таким и прежде, этот «берейтор», как презрительно называли его иные «моменты», то есть академики, стремившиеся исключительно к штабным теплым местам, где можно было уверенно и быстро двигаться в чинах, не двигаясь при этом с просиженных другими подобными же карьеристами кресел. Кроме того, восьмая армия, которой поручена была труднейшая и почетнейшая задача, не успела еще совершенно оторваться от него и побледнеть в его представлении. Он не мог поставить ее в ряд с остальными, если бы даже и захотел это-

го: слишком сжился он с нею за двадцать месяцев войны.

— Казалось бы, пустые, затрепанные слова: «сроднился с армией», — говорил в своем вагоне, прислушиваясь к ходу поезда и глядя в окно, Брусилов Клембовскому и Дельвигу, — однако это так... Что-то есть, чего не выдерешь из памяти, не говоря, конечно, о том, что вместе переживались походы, наступления и отступления, победы и поражения... Я ведь очень многих офицеров знаю и помню не только среди штабных, из строевых тоже... Мне кажется, что решительно всех командиров полков даже, не только начальников дивизий, я отчетливо помню... И удельный вес каждой крупной там части мне хорошо известен: я знаю, что одна часть может дать больше, а другая, — все от командного состава зависит, — меньше... «Сродниться» — это значит «знать», а «знать» — это значит гордиться, потому что... потому что нельзя, господа, с тем и сродниться, чем нельзя гордиться... Вот вы, например, Сергей Николаевич, — обратился он к Дельвигу, — говорили мне как-то о своем отце, что был он в Севастопольскую кампанию командиром полка; какого именно?

— Владимирского, пехотного, Алексей Алексеевич, — ответил светловолосый, широколобый и широкоплечий Дельвиг, человек лет пятидесяти. — Полк этот теперь в шестом корпусе, у генерала Гутора, Владимирский полк.

— Вот видите, как: вы все-таки следите за ним, — где он и как, — хотя вы сами и артиллерист и никогда лично во Владимирском полку не служили. Вы только слышали об этом полку от своего отца еще в детстве, — и этого довольно: Владимирский полк стал уже вам родным... Этим-то и были сильны армии в прошлом, когда тридцать — сорок тысяч человек считалось уж целой армией, а теперь, конечно, у нас, как и у противника, даже, по существу, и не армия, а народ с оружием, по требованиям к этому народу в двадцать раз более повышенные, чем к солдатам и офицерам, например, боевой кавказской армии в турецкую войну. Правда, молод я еще тогда был, однако помню...

— А что будет еще через тридцать — сорок лет? — вставил Клембовский. — Какие требования к человеку будут предъявлены тогда?

— И успеет ли человек за такой промежуток времени настолько измениться психически, чтобы вынести войну, какая тогда будет? — спросил и Дельвиг. — Ведь



техника может развиваться чудовищно за тридцать — сорок лет...

— Да, вот именно, — перебил Брусиллов, — разовьется техника... Между прочим, если бы мне, когда я был на Кавказе поручиком Тверского драгунского полка, в семьдесят седьмом году, сказали, что я буду через тридцать девять лет главнокомандующим армии в полмиллиона и даже гораздо более человек, разве я бы этому поверил? Уверяю вас, что счел бы за глупую над собою шутку и сгоряча мог бы обругать подобного шутника... Однако, как это ни странно, худо ли, хорошо ли, руковожу вот огромной армией... Значит, что же, собственно, из этого следует? Славолюбив ли я? Нет, нисколько. Мечтал ли я непременно выскочить в Наполеоны? Смею вас уверить — никогда! К чему-нибудь я стремился все-таки? Только к тому, чтобы выполнять свои обязанности.

— Если даже только так, Алексей Алексеевич, — сказал, улыбнувшись, Клембовский, — то ведь это, выходит, тоже редкостное явление. Обязанности ваши росли вместе с повышением по службе, и вы оказались им по мерке, — значит, вы тоже росли вместе с ними. Вот и ответ на серьезный вопрос, какой задал Сергей Николаевич: успеет ли человек психически измениться, чтобы вынести будущую войну?

— Какой же это ответ? — недоуменно спросил Дельвиг. — Я ведь говорил о рядовых людях, а не о главнокомандующих, и тем более не о лучшем из них в России... А рядовых людей, которые будут втянуты в войну, скажем, через тридцать лет, будет, может быть, не несколько десятков миллионов, как теперь, а... боюсь сказать, — вдруг сотни миллионов, — например, вся целиком Европа, и Азия, и Африка, — весь Старый Свет...

— Значит, война всех против всех, — досказал Клембовский. — Как же тогда?

— Вот именно, — как же тогда будет выносить эту войну обыкновенный средний человек? Ведь тогда она будет вестись главным образом аэропланами, так что, может быть, и артиллерия будет громить города и села в тылу с воздуха... Не пропадет ли тогда у человека вообще, у человека en masse вкус к жизни? К чему тогда целую жизнь стремиться приобретать знания, семью, имущество, если в один день, — хотя бы ты был уже и не призывного возраста и жил бы вдалеке от государственных границ, — семья твоя истреблена, имущество уничтожено и сам ты, если уцелеешь даже, сделаешься инва-

лидом, бобылем, нищим... Перестанут ли ввиду таких чудовищных средств истребления воевать люди?

Дельвиг переводил глаза с Клембовского на Брусилова, и Клембовский, подумав не больше трех секунд, сказал убежденно:

— Нет, все-таки не перестанут.

Брусилов же несколько задержал ответ. Он смотрел на Дельвига как бы издалека, хотя и сидел против него в купе обычной ширины. Продолговатое лицо его, ровно половину которого занимал лоб, несколько не загорело, несмотря на июнь, — ему некогда было выходить на воздух, — и на этом белом лице внимательные, как бы пронизывающие, глаза его были слегка презрительны, когда он проговорил медленно:

— Какими бы средствами ни велись войны, они, конечно, не прекратятся, несмотря ни на какие наивные Гаагские конференции, раз только существуют государства, опоздавшие к разделу колоний... И какие бы жестокие они ни были, инстинкта жизни в человеке они тоже не истребят... И самая постановка вопроса вашего, Сергей Николаевич, мне кажется, простите, несколько отвлеченной. А ближе к делу был бы другой, не менее проклятый вопрос: почему мы так дурно подготовились к войне в Европе, когда получили уже урок в Азии? Почему мы не разглядели, что если есть у России заклятый враг, то его не надо искать за тридевять земель, — он рядом с нами и ест наш хлеб, и имя этому врагу — германец!

Не меня выражения своих глубоко сидящих, неопределенного цвета, но не серых, не светлых глаз, Брусилов остановился на момент и продолжал, снова обращаясь к Дельвигу:

— Я говорю это при вас, не считая этого бестактностью, так как вас не считаю способным быть на меня за это в обиде: вы — русский душою и телом, вы — сын доблестного защитника Севастополя, для вас интересы России так же дороги, как и для меня, — я имею в виду только германцев, которых наблюдал как раз перед самой войной в Киссингене. Вот это было зрелище! Вот это была демонстрация ненависти к России и больше того — какого сатанинского презрения к ней, если бы вы это видели!

— Об этих эксцессах по отношению к русским, застрявшим тогда в Германии, писалось ведь в газетах,

Алексей Алексеевич, — приходилось много читать, — сказал Дельви́г.

— Видеть, видеть нужно было своими глазами*, и видеть именно то, что мне с женой пришлось видеть! — оживленно отозвался на это Брусиллов, нервно пригладил синеватые, но не совсем седые, стоявшие ежиком короткие волосы и продолжал: — Мы поехали в Киссинген в начале лета четырнадцатого года. Я был командиром двенадцатого корпуса. Корпус этот был большой: кроме двух пехотных дивизий, в нем было две кавалерийских, стрелковая бригада, саперные части и прочие, — целая суворовская армия... А штаб корпуса находился в Виннице... Корпус был разбросан по всей Подольской губернии, но лучшего города в этой губернии, чем Винница, не было... Лучшие воспоминания у меня об этом милom городе, но это между прочим... В Киссинген я поехал подлечиться водами просто потому, что был как-то в нем раньше. Это — курорт в весьма красивой долине, вблизи него горы. В городе много гостиниц, большой парк. Всегда там бывал большой съезд курортных, преимущественно из России... Не знаю, известно ли было вам в то время, что война с Германией у нас ожидалась в высших командных кругах, но ведь все сходилось на том, что мы можем быть готовы к ней только в семнадцатом году, и никак не раньше; о Франции тоже на этот счет не было двух мнений: к семнадцатому году... Однако мы знали, что Германия очень сильно опередила в вооружениях и нас, и Францию и вполне могла начать войну в пятнадцатом. Вот почему я и мог получить отпуск для лечения за границей, да еще и в Германии. И ведь разве я один? Многие в то лето воспользовались отпусками: кто для лечения, кто просто для отдыха... Живем с Надеждой Владимировной, с женою, в прекрасной гостинице; табльдот, прекрасный стол... Был у нас там и постоянный сосед, усатый мужчина военной выправки, — все на нас поглядывал, так что я уж шутя говорил жене: «Причаровала ты этого молодчину!..» Чтобы тут же его разъяснить, скажу, что это был, как потом оказалось, субъект из берлинской разведки, которой отлично было известно, что я — командир корпуса, стоящего на русско-австрийской границе... Итак, мы приехали в конце мая и дожили тут, в этом Киссингене, до двадцатых чисел июня, так что заканчивался уже наш курс лечения, начали мы готовиться к отъезду, и вдруг сюрприз приятный приготовили отцы города для нас, русских курортных: на цен-

тральной площади парка, среди цветников, появились декорации: московский Кремль с Успенским собором, с Иваном Великим, с башнями, с зубчатыми стенами, и несколько поодаль — Василий Блаженный! Отлично сделано, все очень похоже, — смотрите, мол, русские гости наши, как мы к вам внимательны, как мы ценим то, что вы у нас оставляете свои деньги!.. Афиши повсюду в городе: объявляется большое гулянье, фейерверк и прочее... В назначенный день парк, конечно, полон, — двигаться по аллеям можно только в сплошной стене гуляющих... Гремят оркестры, — несколько оркестров, и духовые, и струнные. И что же именно гремят они? Русский гимн «Боже, царя храни!..». Каков реверанс в сторону России, а?.. Только что отгремело это, — началось новое: «Коль славен...» Величественно, что и говорить! Все русские, и мы с женой тоже, чувствуем себя, как на своих именинах... То и дело взлетают разноцветные ракеты, грандиознейший фейерверк ослепителя... Но вот... вот тут вдруг начинается что-то совершенно непонятное, — точно пушечная пальба откуда-то с гор, и летят огни оттуда, — очень точно рассчитанная пальба, — вроде снарядов с дистанционными трубками, — прямо на Кремль, на Василия Блаженного. И вдруг все эти сооружения вспыхивают и начинают гореть, и вся публика ахает и пятится, дым, гарь, — рушатся кресты, и купола, и стены, а все оркестры гремят уже увертюру Чайковского «Двенадцатый год»... Я смотрю в недоумении на жену, она на меня, — готовы даже дернуть друг друга за руки, чтобы убедиться, что мы не спим, не сон видим, что это действительность... Однако какая же подлая действительность, господа!.. Только что отзвучала увертюра Чайковского, как заревели все оркестры и все немцы кругом — свой национальный гимн: «Дейчлянд, Дейчлянд юбер аллес!..» Как вам это нравится?

— Очень нагло! — изумленно сказал Дельбиг, а Клембовский спросил, высоко подняв брови:

— Это было, вероятно, уже после выстрелов в Сараеве?

— В том-то и дело, что раньше! В этом-то и соль всей этой комедии, очень старательно подготовленной!.. Ведь как хотите, это требовало мастеров своего дела, режиссеров; это требовало порядочных все-таки затрат; наконец, подобное издевательство над русскими святынями — над Кремлем, над Василием Блаженным, с явным намеком на пожар Москвы в двенадцатом году, как

оно могло быть терпимо в любое другое время? Ведь это политический выпад очень большой заостренности, раскрытие всех карт, притом чрезвычайно самоуверенное. Однако же киссингенские немцы решили, что стесняться уж нечего, и... ошеломили нас этим чрезвычайно!.. Однако даже после такого явного оскорбления, нам, русским, нанесенного, все курортные так же, как и мы с женой, все-таки заканчивали курс лечения: вот как велика была у нас вера в немецкую бальнеологию! Вдруг — полная неожиданность, но уже с мировым резонансом, — выстрелы в Сараеве, убийство четы — эрцгерцога Франца-Фердинанда с женой, — буквально, как громовой удар с пока еще ясного неба!.. Тут уж сомневаться в близости войны было никак нельзя, однако же до того чудовищной всем казалась война между культурными европейцами, которые только что за одним табльдотом обеды, что, уверяю вас, девяносто девять процентов русских, бывших тогда в Германии, все-таки не хотели верить, что война вот она, — растворяй ворота! Мы с Надеждой Владимировной тоже не верили, думали, как-нибудь уладится дело, хотя уже ультиматум Франца-Иосифа Сербии был нам известен... Несколько дней было у нас таких, как говорится, между страхом и надеждой, наконец, когда я с точностью до пяти дней определил, что не позже двадцать пятого июля должно начаться, мы, разумеется, не медлили с отъездом ни одного часа... И все-таки в Берлине улицы были полны уж тогда народа, буквально бушевавшего, особенно возле нашего посольства... Вот где ругали Россию! Вот где требовали войны немедленно!.. Вот где окончательно и уж теперь на всю свою жизнь понял я, что заклятый враг наш Германия.

Брусиллов закончил взволнованно, так что Клембовский счел нужным, чтобы разрядить эту взволнованность, заметить:

— До Москвы, однако, немцам далеко, как до звезды небесной!

— Но замысел-то, замысел был, оказывается, каков у этих степенных колбасников с их увесистыми дражайшими половинами! — возбужденно подхватил Брусиллов. — Откровеннейший замысел сжечь без остатка Москву, притом со ссылкой на двенадцатый год!.. Если бы вы видели, как они хлопали в ладоши и как визжали обрадованно, эти Амалии и Берты, — откуда у них и темперамент взялся! — когда горел и валился Кремль! Но ведь раньше, чем сжечь Кремль, надо сжечь полови-

ну России, — и на это, значит, шли, как и надо, с пафосом, с визгом, с аплодисментами!.. Понаблюдали бы вы их, как они рассаживаются на зеленой лужайке в праздник для того, чтобы по фунту свиного сала съесть и по три бутылки пива выпить: они, эти Амалии белобрысые, без всякого стеснения, как по команде, все задирают верхние юбки, чтобы их не зазеленить травой, и усаживаются на нижние!.. Юбки свои они жалеют, значит, а миллионов русских детей, которые по милости их воинственных настроений осиротеют, а миллионов калек русских, миллионов нищих, которые лишатся всего, что имеют, — этого никого им, подлым тварям, не жалко! Я говорю об Амалиях, а не о Гансах, потому что откуда же к нам пришла эта так называемая «вечная женственность», как не из Германии, и казалось бы, Амалия должна была, как Андромаха Гектора, остановить чересчур зарвавшегося Ганса, но в том-то и дело, что этого не было, господа, этого мне видеть не удалось. К ужасу моей жены, господа, Амалия была вне себя от восторга, когда «жег Москву» ее Ганс!

* * *

От Бердичева до Ровно, где был штаб большой армии Каледина, прямая дорога вела через ту же старорусскую Вошь, из которой вышвырнула на своем участке врагов одиннадцатая армия и почти вышвырнула восьмая; оставались в руках австро-германцев только Владимир-Волянский и Ковель с частями своих уездов.

Поезд Брусилова шел по живописным местам, вздыбленным, лесистым, богатым. Поля пшеницы, уже колосившейся, переливисто-волнистой, чередовались с плантациями кукурузы и сахарной свеклы, хотя уже много попадалось и пустополя, густо заросшего золотой суреницей и другими буйными сорняками. Украинские хутора хотя и не везде блистали чинной и потому милой сердцу довоенной белизною хат, но по-прежнему красовались монументальными тсполями, напоминавшими Брусилову Кавказ, где он родился и жил до конца отрочества, когда его отвезли в Петербург, в Пажеский корпус.

Промелькнул, сверкнув здесь и там, извилистый крутобережный Тетерев, приток Днепра; должны были засинеть и другие большие волянские реки — Случь, Го-

рынь, которые тоже пересекала эта линия железной дороги на пути к Ровно.

У Брусилова была душа, податливая к красотам природы, притом южной, как наиболее пышной. Когда он вырывался в отпуск, начав свою службу с юных лет, он путешествовал по Италии, Греции, Турции; свои дни отдыха летом, будучи уж на больших служебных постах, он любил проводить за городом, в местах, подобных тем, по которым проезжал теперь почти неотрывно глядя в окно.

Теперь он тоже как бы вырвался из привычной, каждодневной обстановки своей штабной работы, яснее мог представить свою жену, Надежду Владимировну, высокую, не молодую уже, свыше сорока лет, но полную кипучей энергии женщину, с лучащимися голубыми глазами; мог подумать и о своем сыне от первой жены, молодом офицере, которому предстоял важный шаг в жизни — женитьба.

От жены и сына он был оторван войною, точнее, той великой ответственностью, которую на него возложило его положение в армии. От его распоряжений, от его действий, от тех подписей, какие он ставил на тысячах бумаг, зависела судьба сотен тысяч людей на фронте и миллионов людей в тылу, и в этом великом многолюдстве топули, не могли не тонуть два самых дорогих для него человека — жена и сын; впрочем, оба они жили своей жизнью.

Жена выявила себя как общественный деятель еще в те годы, когда не была за ним замужем: во время русско-японской войны и позже она отдала себя делу помощи раненым и инвалидам и писала по этим вопросам статьи в журналах. Она не бросила этого и когда вышла за него замуж — года за четыре перед войной. Она отдалась этому снова во всю глубину своей деятельной натуры теперь, когда гремела война.

Но если свою жену он знал еще тогда, когда была она девочкой и жила на Кавказе, если о ней он иначе и не думал, что она как бы предназначена была ему в жены, то совсем другое было с его сыном. Тут была просто ловля жениха с громким именем, причем невеста была взбалмошная мамашина дочка, а мамаша — состоятельная помещица, желавшая возвращаться в высоком обществе. Атака на сына со стороны этих обеих женщин велась до того настойчиво, что за него, которому, конечно,

он желал счастливой семейной жизни, было очень тревожно.

Волынь входила в число тех двенадцати губерний, из которых состояли Киевский и Одесский военные округа, примыкавшие к Юго-западному фронту и бывшие в непосредственном подчинении Брусилова, так что на все, что он видел теперь в окно вагона, он должен был глядеть хозяйскими глазами. Это и было в нем, и, разумеется, этого ничто не могло вытравить; строгий к себе самому, он был известен строгостью и к своим подчиненным, а очень наметанный зоркий хозяйский глаз он приобрел еще в те далекие годы, когда стал командовать эскадром в Тверском драгунском полку, и зоркость его росла с годами, чинами и повышением в должностях.

Он отмечал и теперь, как и где обработаны поля, назначение которых прежде всего кормить фронт: какие грузы, необходимые фронту, везут товарные вагоны и платформы, обгоняемые его поездом по другой колее; в каком состоянии лошади, оставшиеся у жителей после многочисленных мобилизаций; каков рогатый скот, каковы, наконец, и сами эти жители, — как одеты, хмуры или довольны их лица...

Летнее, щедрое на ласку и тепло солнце скрашивало, впрочем, все, что могло показаться непримечательным в любое другое время; Волынь казалась радостной, как бы ни был подозрителен к этой радости любой насторожайший хозяйский глаз, и не показалось Брусилову ни в малейшей степени неестественным, когда подошла на одной станции к его вагону высокая красивая девушка с большим букетом скромных полевых цветов, шедшая впереди нескольких других сестер милосердия.

Все сестры были из санитарного поезда, направлявшегося на фронт так же, как и поезд главнокомандующего, но поставленного пока на запасной путь. Этой задержкой и воспользовались сестры, чтобы набрать цветов.

Конечно, и комендант станции, и парадно одетые жандармы стояли на перроне, — был полностью соблюден весь декорум встречи главнокомандующего, который, впрочем, не выходил из вагона, а стоял у окна, так как остановка здесь по расписанию должна была длиться три минуты, но большой свежий букет цветов в узкой, голой до локтя, слегка загорелой девичьей руке, лучистые голубые глаза и эти несколько слов, сказанных застенчи-

во, но вполне внятно: «Ваше высокопревосходительство, не откажитесь принять» — растрогали Брусилова.

Он, так много на свободе думавший о сыне, собиравшемся ввести в их дом молодую жену, и о своей жене, высокой женщине с голубыми глазами, не только взял букет, но, удержав узкую загорелую руку девушки и перегнувшись к ней из окна, дотронулся до нее губами так же радостно-почтительно, как если бы перед ним стояла Надежда Владимировна. Он спросил девушку.

— Как ваша фамилия?

— Веригина, — ответила она.

— А имя?

— Наталья.

— Благодарю вас, — кивнул головою и ей и другим сестрам Брусилов.

Поезд тронулся, а он стоял в окне, глядел в их сторону, и улыбка, пробившись на его строгом лице, так и не сходила с него, пока он был виден Наталье Сергеевне.

* * *

Как-нибудь точно установить потери противника, конечно, не было возможности. Можно было только привести в известность количество пленных и взятых трофеев, и к середине июня пленных насчитывалось уже около двухсот тысяч человек, из которых свыше трех тысяч было офицеров, а трофейным оружием перевооружались целые дивизии, и это оказалось вполне удобным, потому что патронов к русским трехлинейкам насчитывалось на складах гораздо меньше, чем захваченных австрийских патронов.

Из подсчета убитых и тяжело раненных солдат и офицеров австро-венгерцев, а также из опроса пленных определялось в штабе Брусилова общее число потерь противника не меньше, как в семьсот тысяч человек. Однако и число потерь в войсках Юго-западного фронта было тоже велико: с 22 мая по 16 июня, то есть меньше, чем за месяц, выбыло из строя четыре тысячи офицеров и двести восемьдесят пять тысяч солдат. Миллион бойцов с той и с другой стороны вырвал брусиловский прорыв всего только за двадцать три дня боевых действий, причем далеко не все дни и далеко не на всем фронте за это время велись бои.

Конечно, легко и даже серьезно раненные, подлечившись, должны были со временем снова влиться в строй с

обенх сторон, но одних только убитых и умерших от ран за эти три недели насчитывалось во всех четырех армиях Юго-западного фронта свыше сорока тысяч солдат и офицеров, — к подобным потерям не мог сразу приспособить себя даже и Брусилов, привыкший в эту войну командовать только одною армией, вся численность которой не превышала обычно полутора ста тысяч штыков и сабель.

Результаты подсчетов не выходили у него из памяти, пока он ехал в Ровно, и не один раз он спрашивал себя, не слишком ли щедро расходует он людей, не мотовство ли это, какое проявляют иногда неожиданно для себя сразу разбогатевшие люди. Соответствуют ли эти огромные потери достигнутым результатам? Очень трудно было ему ответить на такой прямой до жестокости вопрос, так как не было у него таких весов, на одну чашку которых можно было бы класть потери, а на другую — успехи и делать это уверенно, безошибочно и беспристрастно.

Но теперь не один уже только его фронт, а также и соседний с ним, Западный, разрешил себе наконец трату людей, и Брусилов ловил себя на том, что думал не без оттенка соперничества: «Ну вот, пусть теперь нам, молодым главнокомандующим, покажет старый и опытный Эверт, как можно добиваться больших успехов малой кровью, а мы посмотрим, поучимся, — учиться никогда не поздно!.. Что же касается нас, грешных, то мы твердо знаем только один непреложный закон: с волками жить — по-волчьи и выть; и раз противник, нам объявивший войну, ведет ее большою кровью, для чего заготовил неисчислимое количество снарядов, ружейных патронов, мин, то как можем мы победить его, ахая и хватаясь за голову при подсчете наших потерь?»

Все эти и подобные им мысли во всей осязательности их встали перед Брусиловым, когда он увидел встречавшего его обычным рапортом командующего восьмой армией Каледина.

Он не видал его со времени совещания в Волочиске в начале апреля. Но если и там Каледин вызывал своим видом расспросы о его здоровье, то это было вполне объяснимо: он только что, незадолго перед тем, вернулся из госпиталя, где лечился от сквозной пулевой раны, считавшейся тяжелой. Тогда он был бледен, почти прозрачнолиц, с испариной, выступавшей на лбу, над переносьем от слабости, и Брусилов еще тогда спрашивал его, не

лучше ли ему все-таки еще отдохнуть с месяц вдаль от фронта. Однако самонадеянность ли излишняя это была, или что другое, только Каледин тогда очень решительно заявил, что совершенно поправился и не где-нибудь еще, а только на фронте будет чувствовать себя на своем месте и окончательно укрепит здоровье.

Брусиллов видел теперь, что он — апрельский Каледин — переоценил свои силы: перед главнокомандующим фронтом стоял, держа руку у козырька и суконным голосом произнося избитые слова рапорта, командующий основной армией, генерал с георгиевским оружием и двумя Георгиями за храбрость, худой, пожелтевший, скуластый, с померкшими, тусклыми рыбьими глазами.

— Здравствуйте, Алексей Максимович! Вы не больны, а? — спросил Брусиллов, подавая ему руку.

— Никак нет, вполне здоров, — ответил Каледин как будто тоже какую-то заученной, избитой суконной фразой.

Он был выше Брусиллова ростом и старался держаться молодцевато, но из него как будто вынут был тот «аршин», который полагается «проглотить», чтобы получить настоящую военную выправку. Однако дело было уж не в этой внешней выправке, когда ему были вверены Брусилловым силы, действующие на ведущем участке фронта: важна была выправка внутренняя — армия в голове, и об этом был острый разговор по существу дела между двумя генералами-от-кавалерии, из которых один был старше другого на восемь лет, но смотрел на него с сожалением, недоумением и горечью, которую не только не мог, — даже и не хотел скрывать.

Правда, и два предыдущих дня, и этот, в который приехал Брусиллов, были днями ожесточеннейших контратак немцев по всему вообще фронту и, главным образом, на участке восьмой армии, однако такой прием немецких генералов не был новостью для Брусиллова, и он не понимал, почему им так явно даже для невнимательного глаза удручен боевой командир Каледин.

— Разведкой обнаружено, — тоном доклада, грудным приглушенным голосом, говорил он, стоя рядом с Брусилловым перед картой своего фронта, висящей на стене в его штабе, — обнаружено против меня большое количество новых дивизий. Здесь, — показывал он на карте, — сто восьмая германская дивизия... Вполне установлено, что она переброшена ко мне с Северного нашего фрон-

та... Здесь — дивизия генерала Руше... Ведь она стояла против Западного фронта, — нашли возможным, значит, перекинуть ее сюда... Кроме того, позвольте обратить ваше внимание, Алексей Алексеевич, — здесь вот так, охватывающей подковой, расположились дивизии: девятнадцатая, двадцатая, сорок третья, седьмая и наконец одиннадцатая баварская, — эти успели добраться ко мне из Франции. Это еще не все: на Владимир-волынском направлении появились: сводная ландверная дивизия и девятнадцатая бригада, тоже ландверная, из Италии, — все части свежие, вполне укомплектованные, хорошо снабженные...

— Ведь для меня, Алексей Максимович, все это не новость, что вы докладываете, — я это знал и сидя у себя в Бердичеве, — нетерпеливо говорил на это Брусиллов. — Новостью для меня является только то, что вы придаете этому слишком большое значение. Пусть восемь с половиной новых дивизий, но ведь и к вам частью подошли, частью подходят новые корпуса. Что могут вам сделать эти новые дивизии? Начали наступление? Но ведь ваши части отбивают пока эти попытки?

— Отбивают, совершенно верно, однако... кое-где уже начинают пятиться, вгибать фронт... — мямлил Каледин, — именно мямлил: запущенные, лезшие в рот усы очень мешали ему говорить отчетливо, и это раздражало Брусиллова.

— Совершеннейшие пустяки, послушайте, Алексей Максимович, раз у них нет сильных резервов, — энергично говорил он, — а резервов нет и не будет! Откуда они их перебросят, если начались действия у Эверта, и на Сомме, и под Верденом, и даже итальянцы отважились уж переходить в контратаки, — откуда, а? Ведь началось оно наконец, то самое, чего мы ждали три недели, — началось, и не с пустыми руками! А ведь «лиха беда — начало», как говорится. Мы были застрельщиками и сделали свое дело хорошо, — отчего же вы как будто в чем-то не уверены, чего-то опасаетесь, имеете подавленный какой-то вид?.. Вы мне говорили об этом по Юзу, — я приехал выяснить на месте, что именно вас угнетает. Против ваших имеющихся в наличности двенадцати дивизий действуют, считая с новыми, всего-навсего двенадцать с половиной дивизий — только и всего. Что же это, — подавляющее превосходство в силах? Решительно никакого, и ваш план действий на ближайшие дни — переход во встречное наступление на Ковель!

— Мы чтобы шли в наступление? — изумился Каледин.

— Непременно, — тоном приказа ответил Брусиллов.

Но Каледин, вдруг насупясь, глядя не на него, а куда-то вбок, буркнул:

— Наступать мы не можем.

— Как так не можете? — почти выкрикнул Брусиллов.

— Стоит только мне начать выдвигать центр, как в правый фланг мой вцепятся немцы, — повысил уже голос и Каледин.

— Правый ваш фланг? Но ведь его прикрывает армия генерала Леша! Сражается она или нет?

— Там не может быть никакой удачи! — даже рукой безнадежно махнул и отвернулся Каледин.

— Как так не может? Сколько времени готовились — и «не может»?

— Не может... и не будет... Кроме того, наступление на Ковель — это очень неопределенно, — вызывающе уже поднял голову Каледин.

— Ковель и есть Ковель, — что же может быть определеннее? — раздражаясь, спросил Брусиллов, стараясь понять, что имеет в виду его командарм.

— Прямо на Ковель ведет шоссе... Оно перекрестным огнем насквозь простреливается немцами... Обойти же его невозможно: там — долина Стохода и такая топь, что засосет всю мою армию... А все обходные пути чрезвычайно сильно укреплены немцами, — с усилием проговорил Каледин. — Многие участки даже минированы на большую глубину, не говоря о превосходстве в артиллерии у противника... Я не знаю, сколько еще могу выдержать их атаки, но идти в наступление на такую сильную крепость это значит только бесполезно умножать мои потери...

«Потери» — это слово и без того острым шипом торчало в мозгу Брусиллова, и теперь этот упавший духом командарм как бы надавил на него, вызвав резкую боль.

— Потери! — вскрикнул Брусиллов. — Тогда — в Голландию!.. Тогда вам надо в Голландию!.. Там ловят, и солят голландскую сельдь, доят голландских коров, делают голландский сыр, сажают голландские тюльпаны и не имеют никаких потерь, а одну только прибыль, потому что совсем не воюют!.. А раз нам объявлена война и враги на нас хлынули миллионами, мы обязаны защищаться, то есть воевать, и мы воюем, как умеем, но раз мы воюем, то и несем потери, а без потерь воевать нельзя, и победить, сидя на месте, тоже нельзя! Кто не идет вперед, тот

боится, а кто боится, тот уже побежден!.. И что вы мне говорите о топях на Стоходе! Ваш же тридцать второй корпус перебрасывает свои полки через подобные топи у генерала Сахарова и не кричит о том, что это невозможно! Пусть там даже утонула целая рота в дивизии этого молодчины Гильчевского, о чем он и донес без утайки, но ведь река Пляшевка форсирована им под огнем противника, и противник опрокинут, наполовину уничтожен, вот это — пример, достойный подражания, а вы, значит, просто не в состоянии зажечь войска, вам вверенные, верой в успех, — тогда так и скажите! Тогда мне, значит, придется с вами расстаться, — вот что придется мне сделать!.. Я представлял вас к георгиевскому оружию и к обоим Георгиевским крестам, как заведомо храброго лично человека и умеющего владеть людьми. Но что же получилось теперь? Вы, мною отмеченный как выдающийся начальник кавалерийской дивизии, теперь, выходит, теряетесь, когда вам вверен верховным главнокомандующим ответственный участок всего моего фронта... Я отношу это к вашей болезни, к тому, что вы не совсем оправились от раны и взялись за дело, превышающее ваши силы... Значит, вам надо продолжить ваше лечение, отдохнуть...

Каледин выслушал все, что, волнуясь, говорил Брусилов, с виду спокойно. Они были один на один в комнате с закрытыми окнами и дверью. Их могли, конечно, слышать из соседней комнаты, если бы подслушивали у дверей, но этого нельзя было предположить. Из приехавших с главнокомандующим штабных генералов Дельви́г уехал дальше, непосредственно на фронт, как инспектор артиллерии, а Клембовский говорил с начальником штаба восьмой армии генерал-майором Сухомлиным, обсуждая с ним тот же вопрос о переходе во встречное наступление на Ковель.

Брусилов, наблюдая своего собеседника, замечал, что худые пальцы его рук как-то странно дрожали, но лицо не менялось, и глаза были по-прежнему тусклы.

— Я не думаю отрицать, что я несколько устал, — заговорил наконец Каледин. — Но не настолько все-таки, чтобы нуждаться в отдыхе... Нет, не отдых, а успех, только настоящий успех мог бы меня возродить, — прошу мне верить, Алексей Алексеевич! И вот сейчас я полагаю, что успех мог бы быть на одном направлении: если бы Туркестанским корпусом атаковать район Новоселки-Колки.

Брусилов даже не взглянул на карту, к которой по-

вернул голову Каледин: он и без того хорошо знал этот район.

— Допускаю, вполне допускаю, что Туркестанский корпус имел бы здесь успех, но разъясните мне, какие же были бы результаты этого успеха? — спросил он откровенно ироническим тоном.

— Противник был бы сломлен в этом районе и отброшен назад, — вот какие могли бы быть результаты, — сказал Каледин.

— Отброшен куда же именно? В район Ковеля? Чтобы сгустить ряды врага там, где они и без того густы?.. Нет, этот план не годится!

— Выходит, что командарм не имеет даже права действовать хотя бы где-нибудь по своему плану? — с заметным вызовом в голосе заметил Каледин.

— У меня несколько армий, Алексей Максимович, и если каждый командарм будет изобретать свои планы, какие полегче для выполнения, то что же это будет такое, подумайте! Конечно, был бы полный разброд, совершенно в конце-то концов безвредный для противника и очень вредный для нашего дела...

Брусиллов хотел продолжать, усиливая экспрессию, но Каледин вдруг перебил его, снова повернув голову к карте:

— Вполне согласен с вами, Алексей Алексеевич, что участок Колки-Новоселки удален от интенсивного нажима противника. Но вот соседний участок — Колки-Копыли, — он будет гораздо ближе к главным его силам и, кажется, более удобен для нанесения сильного удара.

— Совсем другое дело! Колки-Копыли — это совсем другое дело, Алексей Максимович! — обрадованно подхватил Брусиллов. — Против такого плана действий, если только он у вас вполне обдуман, не только ничего не имею, но разрешаю и благословляю! Отсюда вы зайдете при удаче действий, — а неудачу я всячески отрицаю, — во фланг немцам, и пусть-ка они потом попробуют вырвать эту занозу, когда вы нажмете на них главными силами со стороны ковельского шоссе! А вашему левому флангу для охвата их группы с правого фланга поможет правый фланг одиннадцатой армии, который тоже получил свежее подкрепление и готов к действиям...

— Ежедневно жалуются мне командиры корпусов, что у них не хватает патронов, — снова упавшим тоном проговорил в ответ на это Каледин.

— Что делать!.. Ежедневно весь Юго-западный фронт

тратит в среднем три с половиной миллиона патронов, и ежедневно мне отпускают всего только три миллиона. Недостоящее я покрывал из запасов на складах, теперь они приходят к концу... Выходит, что надо внушить, чтобы велся исключительно прицельный огонь: тогда все-таки меньше будут палить в белый свет, — сказал Брусилов и добавил: — Кстати, вы сказали, что не может быть удачи у Леша, и очень уверенно сказали это. Почему вы так думаете?

— Почему?.. Армии генерала Эверта привыкли к тому, чтобы терпеть одни только неудачи, — безнадежно кивнул головой Каледин.

— Но раз теперь третья армия входит уже в мой фронт, то может быть... — Брусилов не договорил, так как очень удивленное вдруг стало лицо у Каледина: не договаривая, можно было понять, что он не то чтобы забыл, но, очевидно, как-то выпустил из виду, что произошла уже перемена в решении ставки, то есть Алексеева, и третья армия, о которой пришел было категорический приказ, что она, как была в распоряжении Эверта, так на его фронте и под его началом и остается, — дня через два после того передана была все-таки Брусилову.

Кому, как не Каледину, соседу Леша, было лучше всего знать об этом, тем более что в его же штабе появились офицеры из третьей армии, и вдруг он, вследствие какого-то странного затмения памяти... Лицо Брусилова невольно сделалось таким же изумленным, как и лицо Каледина, и жалкой уверткой показались ему слова его командарма:

— Я не сомневаюсь, что раз третья армия попала в ваши руки, то она и... переменит теперь свои привычки...

«Переменить его, — думал о нем Брусилов, — в сущности, больше ничего не остается... Но кого назначить на его место?.. Ведь у него не дивизия, не корпус, а целая армия, притом армия в действии... кого назначить?..»

— Я сейчас должен ехать обратно, — заговорил он сухо, но сдержанно. — У меня нет времени, к сожалению, на детальный разбор вашего плана наступления на Колки-Копыли, но я уверен, что вы, Алексей Максимович, проведете его с энергией, вам присущей.

— Я приложу все усилия, — ответил Каледин, теперь уже не стараясь держаться по-строевому, а действительно отыскав в себе старую выправку.

— Счастливого оставаться, и желаю вам успеха, Алексей Максимович!

— Честь имею кланяться, Алексей Алексеевич!.. Постараюсь оправдать ваше доверие ко мне!

Брусиллов, проезд которого был готов к отправке в обратный путь, уехал вместе с Клембовским, поговорив еще перед отъездом с начальником штаба Каледина, генерал-майором Сухомлиным, которого знал еще до войны, который был еще и тогда у него лично начальником штаба 12-го корпуса, как после был при нем в восьмой армии.

Это был человек ясного ума, крепкого здоровья и внушал Брусиллову уверенность в том, что даже раздерганного Каледина он все-таки сумеет предохранить от опасных для дела шагов.

* * *

Если Николай II не говорил торжественно, как Людовик XIV: «Государство — это я!», то потому только, что это подразумевалось само собою. Вступив на престол как самодержавный монарх, назвав «бессмысленными мечтаниями» жалкие посягательства на некоторые, очень маленькие, урезки власти, с которыми обратились было к нему представители правящих кругов в первое время его царствования, он вынужден был дать в октябре 1905 года, после потрясений, вызванных революцией, свою подпись на проект образования Государственной думы. Однако Дума эта — русский парламент — была такова, что вызвала ядовитое замечание одного из царских же министров: «У нас, слава богу, нет парламента».

Несмотря на Думу, где обсуждались государственные мероприятия, Николай все-таки продолжал по-прежнему считать себя самодержцем, божьим помазанником, и теперь, когда шла война России с Германией, он воспринимал ее как войну свою личную с Вильгельмом II, императора с императором.

Но Вильгельм был не просто император, он был «любящий кузен друг Вилли», как подписывался он чаще всего под своими к нему письмами.

Вильгельм был старше Николая по возрасту и на шесть с лишком лет раньше его стал императором; этим и можно было на первый взгляд объяснить менторский тон писем и телеграмм Вильгельма, писавшихся исключительно по-английски. Но сам Николай знал, что дело было не только в этом: Вильгельм был неоднократно его гостем, ездил на длительные свидания с ним и он сам, — можно было поэтому им обоим в достаточной степени изучить

друг друга. Свидания не изменили установившихся между ними отношений. Шли годы, оба они старели, но при всяких обстоятельствах выходило так, что одаряющим был Вильгельм, одаряемым — Николай, хотя империя первого могла бы утонуть в необъятных пространствах империи второго.

Как младший на старшего, почтительно и вполне сознавая его над собой превосходство, смотрел Николай на Вильгельма. Когда они бывали вместе, всем их окружающим бросалось в глаза, как шумно, как непререкаемо авторитетно вел себя император Германии, этот самоуверенный человек с лихо подкрученными кверху желтыми усами, и как ступшеывался перед ним, точно робел и терялся, малорослый, не имевший ни в одном из военных мундиров подлинно военного вида русский царь.

Не кого-либо другого, а именно Вильгельма пригласил Николай в крестные отцы для своего новорожденного сына, в почетные, так сказать, крестные отцы, — действительным был генерал-адъютант Иванов.

Рождение сына после четырех кряду дочерей было исключительно радостным событием в семье последнего царя на русском троне, хотя в то время шла во всех отношениях несчастливая, даже просто позорная война с Японией.

«Солнечный луч», как назвал в своем письме Вильгельму Николай новорожденного, был объявлен наследником престола, — династические вождедения наконец утолялись, колокола трезвонили во всех городах и селах России...

Что ответил Николаю Вильгельм?

«Милейший Ники! Как это мило с твоей стороны, что ты подумал о том, чтобы пригласить меня крестным отцом твоего мальчика! Ты можешь себе представить нашу радость, когда мы прочли твою телеграмму, сообщающую об его рождении! «Was lange währt, wird gut» (что долго длится, венчается успехом), — говорит старая германская пословица, пусть так и будет с этим дорогим крошкой. Да выйдет из него храбрый солдат и мудрый, могущественный государственный деятель... Прилагаю при этом для моего маленького крестника кубок, который он, я надеюсь, начнет употреблять, когда сообразит, что жажда мужчины не может быть утоляема одним только молоком! Может быть, он тогда придет к заключению, что поговорка «Ein gutes Glas Brantwein soll mitternachts nicht schädlich sein» (добрый стаканчик водки в полночь повредить не мо-

жет) — не только всем известная ходячая истина, но что часто «im Wein ist Wahrheit nur allein» (в одном вине истина), как поет дворецкий в «Ундине». В заключение же приведу классическое изречение нашего великого реформатора, д-ра Мартина Лютера: «Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang» (кто не любит вина, женщин и песен, тот всю жизнь остается дураком) — таковы правила, в которых мне хотелось бы воспитать моего крестника. В них глубокий смысл, и против них ничего нельзя возразить».

Однако воспитатель на другой же странце письма уступил место стратегу, поскольку тянулась война, в которую втравил Николая не кто другой, как тот же «любящий кузен и друг», иногда менявший эту подпись на другую: «Адмирал Атлантического океана», иногда объединявший обе.

«Ход военных событий был очень тяжел для твоей армии и флота, — писал он дальше, — и я глубоко скорблю о потере стольких храбрых офицеров и солдат, павших и потонувших во имя долга, честно выполняя присягу, данную ими своему императору... По моим расчетам, у Куропаткина должно быть 180 000 человек действующей армии, в то время как японцы собрали 250—280 000, — это все еще большое несоответствие сил, которое крайне затрудняет задачу твоего доблестного генерала... Старое изречение Наполеона I все еще остается в силе: «La victoire est avec les gros bataillons» (победа на стороне крупных сил).

И дальше (нужно сказать, что письмо это писалось в августе 1904 года):

«Когда в феврале началась война, я выработал для себя план мобилизации, основываясь на численности японских первоочередных войск. Так как последние насчитывают 10—12 дивизий, то для безусловного перевеса над ними нужно 20 русских дивизий, то есть 10 армейских корпусов; принимая во внимание 4 сибирских корпуса, которые уже на месте и составляют маньчжурскую армию, остаются 6 корпусов, которые должны быть присланы из России. Из них должны быть сформированы 2 армии по 3 корпуса каждая, при них по кавалерийскому корпусу из 8 бригад с 4 батареями на каждую армию. Вот что, по моим соображениям, должно было быть послано и чего было бы достаточно для победы. Маньчжурскую же армию следовало оставить в качестве как бы передового заслона,

прикрывающего подход корпусов из России к их базе, их формирование и развертывание...»

Советы эти, правда, несколько запоздали, но «друг и кузен» не постеснялся все-таки изложить их, чтобы показать, как глубоко, как близко к сердцу принимал он интересы русского императора.

Казалось бы, откуда, каким ветром могло нанести вдруг, через десяток лет всего, ожесточеннейшую войну между закадычными друзьями, из которых один так трогательно заботился о другом, а другой — подопечный — был так примерно почитителен?

Бывало, однако, кое-что, что в империи Ники, «адмирала Тихого океана», не совсем нравилось Вилли, «адмиралу Атлантического океана», и в отношении чего ему непременно хотелось бы установить там свой порядок.

Например, совершенно не нравилось Вилли, что Россия, как это случилось еще при отце Николая — Александре III, была в союзе с Францией; и во многих письмах своих во время русско-японской войны изобличал он французское правительство и французов, которые злорадствовали по поводу русских неудач и содействовали англичанам в их открытом будто бы пособничестве Японии. В то же время он старался сбывать свой уголь русской эскадре, отправленной из Балтики на Дальний Восток под командой Рожественского, и выставлял это как особую услугу Николаю, навлекающую на него, Вилли, недовольство не только в Англии, но и во Франции. Наконец, он предложил Николаю подписать составленный им договор о союзе на предмет обороны, если на одну из империй нападет какая-либо из европейских держав. Конечно, он имел в виду Англию.

Его замыслы шли очень далеко. Быть может, никто в Европе не следил так прилежно за русско-японской войной, как Вильгельм. Точнее, он сам вел эту войну, сидя у себя за картами Дальнего Востока, хотя его стратегические планы так и оставались при нем, а царские генералы и адмиралы действовали по своим, возмутительно бездарным планам, почему и проигрывали так постыдно войну.

Но Вилли пользовался и всеми их неудачами, чтобы указывать время от времени на «главного виновника» этих неудач — Англию — своему «кузену и другу» Ники. Он напомнил ему и о картине своей «Желтая опасность», написанной им маслом еще за несколько лет до японской войны: это должно было показать Николаю, какого тонкого, пронизательного политика имеет он в лице своего

«друга», это должно было склонить «милейшего Ники» верить ему непреложно во всем и следовать его советам. «Верь мне!» — часто взывал он к своему подопечному в письмах и телеграммах.

Указывая на то, что англичане продали японцам два новых крейсера — «Ниссин» и «Кассуга», — причем и офицеры и экипажи на этих судах были будто бы британские, и что японский адмирал Того одерживал свои победы «благодаря тому, что его суда снабжались кардифским углем», Вилли вполне одобрял роковую затею царя послать балтийскую эскадру на Дальний Восток и брался снабжать ее своим германским (тоже победоносным) углем, а новые броненосцы для русского флота, по его мнению, нигде бы не могли построить лучше, чем на германских верфях: «Ибо последние стали бы работать, как для своей родины», — писал он.

Широкой натуре Вилли было явно тесно в своей небольшой империи. Затаенный скрежет зубовой: «Эх, не умеешь ты царствовать в своей стране! Вот я бы, я бы навел там порядок! Вот я бы сделал из этого бесконечного пространства государство, способное покорить весь мир!..» — этот скрежет так и прорывался из-за строк писем и телеграмм «любящего кузена и друга», и иногда Ники его слышал. Так было, когда, подписав подсунутый ему при свидании в Бьорке текст договора о союзе, Ники все-таки не решился сообщить этого своей союзнице Франции, чтобы не расколоть этим союза с нею.

Вилли не зря именовал себя «адмиралом Атлантического океана», а Ники предложил называться «адмиралом Тихого океана» для их секретной переписки: он всячески толкал его на Дальний Восток, чтобы отвлечь его от интересов на Ближнем Востоке. Предвидя (и сам идя навстречу им) столкновения в будущем с Англией на почве мировой торговли, он очень деятельно готовил к этому свой флот, но опереться при этом еще и на многомиллионные людские резервы России было венцом его желаний.

Он и не скрывал даже иногда от своего друга, что надеется на его большую уплату, оказывая ему мелкие услуги. Он писал в одной из телеграмм: «Do, ut des (даю, чтобы ты дал)». Эта телеграмма была ответом на письмо Николая, в котором выражалось сомнение насчет Франции, чтобы она могла вступить в союз с Германией против Англии.

«Обязательства России по отношению к Франции, — писал Вильгельм в ней, — могут иметь значение лишь

постольку, поскольку она своим поведением заслуживает их выполнения. Твоя союзница явно оставила тебя без поддержки в продолжение всей войны, тогда как Германия помогала тебе всячески, насколько это было возможно без нарушения законов о нейтралитете. Это налагает на Россию нравственные обязательства также и по отношению к нам: «Do ut des». Между тем нескромность Далькассе обнаружила перед всем миром, что Франция, хотя и состоит с тобою в союзе, вошла, однако, в соглашение с Англией...»

Желая отколоть «друга и кузена» от Франции, Вилли неоднократно напоминал ему о «крымской комбинации», то есть о старинном союзе Франции и Англии, вызвавшем Крымскую войну, и если не своими словами, то ссылкой на Бисмарка давал ему понять, что по существу, по крови, Ники совсем не Романов, а Голштейн-Готторп, чистокровный немец на русском престоле, и должен дуть поэтому в немецкую дудку.

Если о Николае I говорили: «Когда он сидел в кругу немецких владетельных особ, то казалось, что Германия уже объединилась под его, Николая I, главенством», — то и письма Вильгельма к Николаю II в период японской войны могли бы поразить тем назойливым вмешательством в русские дела, которое проявлял импульсивный император Германии, пользуясь инертностью «милейшего Ники».

«Русское движение», как Вильгельм называет постепенно нараставшую революцию 1905 года, очень беспокоило его; этому движению он посвятил длинейшие из своих писем «кузену и другу». В связи с беспокойством изменился и обычный тон Вилли.

«Ты согласишься сам, — писал он, — что подобный процесс в таком могучем народе, как твой, должен естественно вызывать живейший интерес в Европе и *compte de gaiison* (само собою разумеется), прежде всего в соседней стране».

Это письмо полно не советов уже, а прямых поучений, как надо управлять государством, чтобы непопулярным в народе не быть, непопулярных войн, как русско-японская, не начинать и умных государей, как сам Вилли, слушать.

Он внушает своему подопечному, что ему следует самому стать верховным главнокомандующим, а Куропаткина держать при себе только в качестве начальника штаба, но перед этим шагом обратиться к дворянам и общественным деятелям, собрав их в московском Кремле. «После этого царь, окруженный духовенством с хоругвями, крестами, кадилами и святыми иконами, должен выйти на

балкон и прочитав только что сказанную им речь уже в качестве манифеста своим верноподанным, собравшимся внизу на дворе, окруженном сомкнутыми рядами войск...»

Это писалось после «9 января», — понятно поэтому, что и Вильгельм не представлял себе беседы с русскими верноподанными иначе, как окружив их сомкнутыми рядами войск.

Государственная дума (булыгинская) проектировалась благодаря внушениям того же Вилли, о чем он писал Ники несколько месяцев спустя после предыдущего письма: «Так как ты сказал мне, что соответственно идеям, которые я тебе высказывал, Булыгин уже выработал согласно с твоими указаниями законопроект, то, полагаю, необходимо обнародовать его немедленно, чтобы депутаты были избраны как можно скорее; это даст тебе возможность, когда тебе будут предложены условия мира, сообщить их представителям русского народа, на которых и ляжет ответственность за их отклонение или за одобрение. Это оградит тебя от общих нападков на твою политику, которые последуют со всех сторон, если ты сделаешь это единолично».

Посланный царем в Портсмут для заключения мира с Японией, Витте на обратном пути заезжает по приказу царя в Берлин, и от него Вилли, раньше, чем Ники, выслушивает доклад о всех действиях и о всех терниях, сквозь которые пришлось ему пробиться для достижения не очень постыдного мира. А Вилли потом писал Ники: «К моему удовольствию, для меня выяснилось, что его (Витте) политические идеи и те взгляды, которыми мы обменивались в Бьорке, вполне совпадают в своей основе. Он усердно отстаивает мысль русско-германо-французского союза...»

Вильгельм уже строил обширнейшее здание «Континентального Союза» из пяти крупнейших держав: Германии, Австро-Венгрии, Италии, России и Франции, надеясь играть в них главную роль и заручиться даже поддержкой Англии и Японии. А Витте был мил его сердцу еще и потому, что он подписал во время русско-японской войны очень выгодный для Германии и разорительный для России торговый договор.

Как нетерпеливо желал этого договора Вилли, видно из его энергичных выражений в письме, писанном в марте 1904 года: «Из газет для меня постепенно выясняется, что наш торговый договор стоит на мертвой точке. Кажется, тайные советники и чиновники... впали в сладкий сон. Я бы

дорого дал, чтобы посмотреть, каков был бы эффект, если бы ты внезапно ударил своим императорским кулаком по покрытому зеленым сукном столу, так, чтобы лентяи подпрыгнули!.. Я уверен, что обещание небольшой прогулки в Сибирь произвело бы чудо...» Впоследствии Витте говорил — и Николай отлично помнил это, — что отмена этого договора непременно приведет к войне с Германией.

Однако уже аннексия Австрией Боснии и Герцоговины едва не привела к войне. «Тройственное согласие» — Россия, Франция, Англия — явилось противником «Тройственному союзу» — Германии, Австро-Венгрии, Италии. Но внешне Вилли как бы примирился с тем, что Ники уклонился от его опеки.

Если в его письмах и появлялись иногда советы, то они касались то лифляндских и курляндских баронов, которые материально пострадали в революцию 1905 года и которым следовало бы, по мнению Вилли, подарить несколько миллионов на поправку их дел; то четырех армейских корпусов русских, которых не мешало бы «милейшему Ники» убрать с пограничной зоны; то железной дороги, которую весьма нужно было бы ему построить и подвести непосредственно к конечной станции одной германской железной дороги в Восточной Пруссии...

Между тем Николаю было известно, какими бешеными темпами вооружалась Германия, как вырастал и становился грозной силой ее флот, пушки которого были повернуты в сторону Ламанша.

Торговое соперничество во всем мире Германии с Англией не могло не привести к мировой войне. Заварилась «балканская каша», как назвал Вильгельм в письме Николаю весной 1913 года войну Болгарии, Греции, Сербии, Черногории против турок. Что она явится прологом к мировой войне, было уже ясно даже и для профанов в политике.

* * *

Всю первую половину июня в Государственной думе шли прения по крестьянскому вопросу, а когда он наконец был решен, то на обсуждение другого важного вопроса — о немецком засилье — не было уже времени: по приказу царя Дума была распущена до ноября.

Вопрос о немецком засилье во всей широте своей решался на фронте от Риги до Черновиц. и решался силой оружия, а не слова. Но в заключительный день думских

заседаний — 20 июня — выступил один из членов думской делегации, побывавшей в союзных странах, — Шингарев — с докладом, и в этом докладе среди обычных парламентских комплиментов союзникам, представители которых сидели на своих скамьях, было и несколько слов, не совсем приятных для русского правительства, представители которого, с премьер-министром Штюрмером во главе, тоже в это время явились в Думу.

— Мы должны стойко и терпеливо идти до конца, до победы, — говорил Шингарев, заканчивая свою речь. — Мы слышали там, за границей, какие-то толки о слабости России, о нашем желании будто бы пойти на мировую. Мы с негодованием должны отвернуть все эти разговоры!

Оратору бурно хлопали все, между прочим, конечно, и Штюрмер.

— Нельзя мириться с попытками гегемонии железа и брони, нельзя мириться с порабощением человечества! Надо вырвать стальную щетину из рук врага. Мирное сожителство европейских народов должно быть закреплено победой... Победа есть долг и обязанность всех граждан страны, в том числе и нашего правительства!

И снова бурные аплодисменты на всех без исключения скамьях вызвали эти колкие для Штюрмера слова.

А как раз в это время в ставке, по успевшим уже просохнуть после утреннего дождя аллеям небольшого сада, верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами России, император Николай II гулял рядом с необычайно толстым генералом и говорил ему об императоре Вильгельме:

— Трудно приходится теперь бедному!.. Он обаятельный человек, и у него много достоинств, но он попал в положение Фридриха Второго в Семилетнюю войну. Фридриха спасло тогда только одно: сепаратный мир с Россией. Не вступи тогда на трон Петр Третий и не предложи он сепаратного мира, я даже не могу и представить, как мог бы выйти из тисков Фридрих.

Толстому генералу трудно было ходить. Его слоновьи ноги должны были неминуемо вызывать на размышление каждого, кто его видел впервые. Правда, он был уже стар, лет шестидесяти, но иным старикам как-то бывает иногда даже к лицу их старость; этого же массивнолицего узкоглазого генерала старость не украсила ничем, хоть сколько-нибудь привлекательным для глаз. По красному толстому носу и ярко-красным прожильям на щеках видно было, что много выпито за долгую жизнь этим

генералом, вышедшим гулять без фуражки, чтобы ветерок мог обдуть его значительно лысую сановитую голову.

Этот генерал был командующий двумя гвардейскими корпусами — 1-м и 2-м — Безобразов. В начале войны он командовал только одним корпусом, но при первом верховном главнокомандующем, великом князе Николае Николаевиче, был отставлен. Однако царь, занявший пост своего дяди осенью 1915 года, не только вернул Безобразову его бывший корпус, но еще прибавил другой.

— Ваше величество! — испуганно пытался возражать тогда новый начальник штаба Алексеев. — Ведь генерал Безобразов признан неспособным к дальнейшему командованию гвардией!

— Что вы, Михаил Васильевич, что вы? — сказал изумленный царь. — Он такой милый человек, — я его давно знаю... Такой веселый рассказчик и совершенно неистощим на анекдоты.

Алексеев никогда не был придворным и не мог поэтому понять, какое отношение могло иметь знание анекдотов к такому серьезному делу, как командование гвардией во время войны. Но зато при дворе тем же Безобразовым пущен был анекдот об Алексееве, будто он, приглашенный к обеду царем, поднялся из-за стола раньше самого царя, не дождавшись кофе. Алексеев не знал, как этот рассказ, хотя он и был выдуман Безобразовым, смешил и царя, и весь двор.

Неутолимая потребность в веселом разговоре развивалась в царе с годами, и в этом он не выходил из ряда обычных сереньких, но обеспеченных людей, которых одолевает отрыжка после чересчур сытных обедов, лень слабого мозга и беспросветная скука.

И Куропаткин, и Сухомлинов, и Воейков сделали свою карьеру при нем только благодаря своей способности рассказывать анекдоты и тем заставлять хохотать владыку обширнейшей империи в мире.

Алексееву, когда был уже назначен Безобразов командиром гвардейского отряда, пришлось не один раз убеждаться в том, что фамилия этого генерала приклеена к нему крепко. Впрочем, он уже хорошо узнал Безобразова и раньше, когда был главнокомандующим Северо-западным фронтом. Однажды без всякого на то разрешения этот весельчак бросил свой корпус, стоявший на фронте в районе крепости Осовец, и уехал ни с того ни с сего «отдыхать» в Киев.

Теперь его отряд стоял в тылу армий Западного фронта, сам же он был вызван в ставку царем, так как Алексеев поднял перед главноверхом вопрос о переброске бесполезно проводившей время в тылу гвардии к Брусилову. Конечно, вместо того чтобы вызывать Безобразова, можно было бы послать ему приказ об этом, но царю было скучно, тем более что семью свою он отправил в Царское Село, оставив при себе только наследника.

Казалось бы, трудно было сказать что-нибудь веселое даже и Безобразову по поводу весьма трудного положения Вильгельма, но он сказал тем не менее хриповатым, однако ничуть не сомневающимся в себе голосом:

— Да уж, для Вильгельма, как для одного нашего солдата в Маньчжурии в японскую войну, климат сделался совсем неподходящий.

— В каком это смысле, Владимир Михайлович? — любопытствовал царь несколько недоуменно, но уже готовясь услышать что-то для себя новое, и Безобразов проговорил от лица этого солдата нарочито самым свирепым тоном:

— «Ну и клей-мат!.. Без винтовки до ветру не ходи!.. Це-лых один-цать копеек одна иголка стоит!.. Все как есть с косами, а любовь крутить не с кем!»

И царь, едва дослушав, расхохотался.

Назначение на фронт, где пришлось бы сразу принять участие в жестоких боях, все-таки очень не нравилось Безобразову, который не сомневался еще так недавно в том, что до гвардии дело не дойдет, что ее будут беречь на случай подавления внутренних «беспорядков», и он сказал:

— Положение Германии скоро, кажется, будет австрийское, ваше величество.

— Гм... да, быть может... Будем надеяться... Хотя, надо отдать справедливость германским полкам, сражаются они геройски.

— Как львы! — очень живо подхватил Безобразов. — А почему? — вот вопрос. Потому, что въелась им в кровь дисциплина, потому что там нет шатания в мозгах и линия проведена прямая: бог, отечество, император! С колыбели и до могилы! На всю жизнь!.. Говорили, — приходилось мне слышать, — что там, в Германии, много пролетариев, рабочих, а про-ле-тарии, дескать, имеют солидарность с пролетариями всех стран, поэтому воевать друг с другом не будут. А что оказалось на самом-то деле? Че-пу-ха! Образцово воюют!.. — Тут Безобразов

сделал небольшую паузу и закончил уже беспардонно: — А вот если потерпит поражение Германия, то будет нехорошо, пожалуй, и для России.

— Нехорошо, вы думаете? — больше автоматически, чем удивленно, вполне понимая собеседника, спросил царь.

— Позвольте мне быть искренним, ваше величество, я всегда был того мнения, что если есть в мире страна, которая могла бы служить оплотом самодержавной власти в России, то это — Германия! — с заметным трудом, извинительным для чрезмерно тучного старого человека, однако без запинок ответил Безобразов.

— Гм... Да-а... Может быть, вы и правы, — отозвался на это царь таким тоном, будто уж несколько раз даже за последнее время приходилось ему это слышать, а Безобразов, приняв это за поощрение, продолжал убежденно:

— Представить только, что совершенно побеждена, поставлена на колени Германия, — это что же будет в конечном итоге? Получится, что страна, в которой все от мала до велика поддерживали императора, своего верховного главнокомандующего, рухнула, а страны, где главковерхами были всевозможные Жоффы, одержали верх?.. Вот когда революционные партии наши взвывают до седьмого неба!..

— С одной стороны, конечно, тут есть доля истины... — сказал Николай, смотря в это время на яркую, вымытую дождем зелень деревьев, и вдруг добавил как будто даже несколько мечтательно: — В такую пору хороша была охота на оленей в Крыму... Вилли тоже любил охоту на оленей, он и говорил, и писал мне об этом неоднократно... Он прекрасно стрелял... Кстати, вам не приходилось бывать на острове Корфу, Владимир Михайлович?

Вопрос этот был так неожиданно поставлен, что Безобразов как будто сразу потерял способность передвигать свои трехпудовые ноги, остановился и ответил теперь уж совсем по-строевому:

— Никак нет, ваше величество, не приходилось.

— Корфу — это самый большой из Ионийских островов, — тоже остановившись и продолжая смотреть на зелень деревьев, говорил точно сам с собою царь. — Вилли называл его раем земным: он там провел одно лето... А ведь все Ионийские острова при императоре Павле оказались под русской властью... То есть была, конечно,

выработана какая-то автономия для тамошних греков, но, разумеется, призрачная... Потом от этих островов Павел Петрович отказался сам... А какая могла бы быть база в Средиземном море!

— Разумеется, ваше величество, их можно было бы укрепить так же, как англичане укрепили, например, Мальту, — привыкший уже к неожиданностям в разговоре с царем, однако не понимавший, к чему клонила эта, нашел что сказать Безобразов.

— Да, укрепить и сделать там стоянку Средиземноморского русского флота... Тогда не могло бы быть никакого вопроса о Дарданеллах, — закончил царь и повернул к своему дому, стоявшему отдельно от здания штаба, добавив: — А вы знаете, что здесь, в Могилеве, стоял одно время со своим войском Карл Двенадцатый?

Безобразов не знал этого, но он понял, что вопрос об отправке гвардии на брусиловский фронт решен окончательно и перерешаться не будет, а время для откровенных разговоров с царем о возможностях сепаратного мира с Германией или упущено, или еще не пришло.

* * *

Бывают такие женские лица, которые как будто прячутся от всеразрушающего времени под совершенно прозрачной для глаз, однако же очень прочной вуалью. Это не сверкающие, притом чаще всего гордые тем общим вниманием, какое они возбуждают, лица красавиц; напротив, это — скромные лица. Однако они как-то непреходяще миловидны, они как будто излучают тепло и уют, неразлучные с ними, где бы они ни появились; им совершенно незнакомы искажения, будь то от восторга или от злости; у них данный им в дар от природы понимающе-прощающий кроткий взгляд, с которым от юности до старости проходят они по жизни.

Дама неопределенных лет с таким именно лицом, по-летнему просто и легко одетая, с нетяжелым небольшим кожаным чемоданчиком и зонтиком, неторопливой, но легкой походкой подошла на одной станции к единственному в поезде, шедшем в Могилев, вагону второго класса, показала свой билет кондуктору, вошла в вагон и отворила дверь купе, в котором должно было быть ее место.

В купе плавали очень густые синие волны табачного

дыма, и сердитый мужской голос прорвал эти синие волны:

— Сюда нельзя!

Присмотревшись, дама разглядела генеральские погоны и над ними тяжелую на вид голову, встопорщенные седые брови, толстые белесые, торчащие в обе стороны усы.

— Мне только до Могилева... У меня пересадочный билет, — кротко сказала дама.

— У вас билет, а у меня доклад, — затворите дверь! — приказал генерал.

Из волнистого дыма проступил тогда и другой бывший в купе военный средних лет, — по погонам полковник, — и объяснил несколько более пространно, но с меньшей твердостью в голосе:

— Здесь составляется секретный доклад, и входить сюда никто не имеет права!

— Закройте же дверь! — снова приказал генерал.

Дама не разглядела на столике перед закрытым окном в купе ничего, кроме горлышек двух бутылок, но дверь закрыла и осталась в проходе, битком набитом пассажирами, из которых большинство были офицеры, едущие на фронт.

Час был еще довольно ранний, окна открыты, и дама, с потертым немного кожаным чемоданчиком и в простенькой шляпке с сиреневой узкой лентой, так и простояла около окна несколько станций до Могилева.

Наконец, замедлив ход, поезд подходил уже к могилевскому вокзалу, и двери всех купе отворились. Из таинственного купе, где составлялся важный секретный доклад, показались генерал-лейтенант и полковник, вполне подготовившиеся выйти, как только совершенно остановится поезд.

Вдруг кто-то из офицеров от дверей крикнул изумленно громко:

— Господа! На перроне сам наштаверх — генерал Алексеев.

Генерал-лейтенант переглянулся с полковником и заметно для всех начал оглядывать себя спереди и что-то подтягивать и застегивать, и перещупывать свои ордена, проворно заработав негибкими руками, а дама, поглядев на него, слегка улыбнулась: ни папки, ни портфеля для бумаг, среди которых мог храниться таинственный секретный доклад, она не увидела ни у генерала, ни у полковника, но вид у обоих стал очень озабоченный, де-

ловой. Впрочем, и все офицеры в вагоне заволновались, точно перед инспекторским смотром.

Генерал даже пропустил ее вперед, когда все стали выходить из вагона, и она расслышала, как он вполголоса спрашивал у полковника:

— Удобно ли будет мне представиться наштаверху здесь, на вокзале?

— Мне кажется, это в зависимости от того, зачем, собственно, прибыл сюда наштаверх, — весьма неопределенно ответил полковник.

И вот оба они увидели, как дама, которую они не впустили в купе, идет легкой, быстрой походкой к самому наштаверху, а главное, имеет возможность так идти в густой толпе, потому что толпа почтительно расступается перед наштаверхом, который, радостно улыбаясь, движется навстречу даме, держа руку у козырька фуражки, так как офицеры, высыпав из вагонов, застыли, становясь во фронт.

При Алексееве был один только младший адъютант его, прапорщик Крупин, друг детства его сына корнета, а встречал он свою жену Анну Николаевну, мать этого бравого корнета, незадолго перед тем женившегося в Смоленске.

Генерал-лейтенант, приехавший в ставку выпрашивать себе должность или, как принято было говорить об этом в ставке, «наниматься» и совсем было уже решивший представиться наштаверху тут же, на вокзале, как только увидел, что простенько одетая дама с зонтиком и чемоданчиком, выхваченным из ее рук молодым офицером — адъютантом, обнимается с Алексеевым, поспешно отступил и спрятался за спину полковника.

Впрочем, он мог и не прятаться: Алексеев тут же под руку с женой повернул к задней площадке перед вокзалом, где стоял его штабной автомобиль, и на вокзале все сделалось более или менее обычным.

Очень крепко сидело в хозяине ставки семейное начало: это уже третий раз приезжала в Могилев его жена. Ей удалось даже вырвать его на полтора дня в Смоленск на свадьбу сына, и ставка осталась вдруг без того, кто был ее основной движущей силой, ее душой, хотя в ней тогда и жил сам верховный главнокомандующий, по обыкновению скучавший и соображающий, куда бы ему тоже поехать на смотр новых дивизий.

Конечно, Анна Николаевна уехала на другой же день, отняв очень немного времени у мужа, но она и в этот

приезд слышала от него то же самое, что приходилось ей слышать и раньше: странные, на ее взгляд, но горько и искренне звучащие слова: «Полное безлюдье! Нет людей!»

Людей были миллионы, сотни миллионов, но оказалось величайшим трудом найти даже несколько человек, способных работать в ставке, как того требовало суровое время великой войны. Но ставка была перед глазами, но в ставке за всех мог, имел еще силы работать он сам, — а фронт? А вся связь между ставкой и фронтом? А другая, гораздо более обширная связь между фронтом и тылом, между людскою стеной, защищающей Россию, и самой Россией?

— Нет генералов! — говорил он ей, своей жене, видевшей за долгую совместную жизнь с ним такое множество генералов. — Как может выиграть Россия войну, если при таких прекрасных солдатах, каких она дает фронту, не в состоянии дать порядочных генералов?

— Как же так, Миша, нет генералов? — кротко возражала Анна Николаевна. — Их так везде много, и они такие приверженные службе, что даже в вагоне не отдыхают, а пишут для тебя секретные доклады.

— Нет генералов! — еще горестнее повторил Алексеев. — Два-три, и обчелся!.. Пусть десять, двадцать, пусть даже пятьдесят сколько-нибудь способных на всю армию. А ведь их нужно иметь тысячи таких, чтобы были они настоящими, не с подделкой! Не разжиревшими стариками с микроскопическим свиным мозгом, не подагриками, как эта ни на что не годная развалина Безобразов, которому вручена почему-то вся гвардия!.. Ты представь только: цвет русского войска, гвардия, заведомо отдается царем на разгром!.. Почему же, я спрашиваю?.. Потому ли, что царь не вышел еще и сам в генералы, не успел выйти, — так и остался полковником?.. Эх! Ну, ничего, — это я расчувствовался, тебя увидев... Будем, конечно, тянуть свою лямку, пока не надорвемся!..

Сказав это, он старался потом и улыбаться весело, и держаться браво. Таким он был всегда за долгую совместную жизнь с женой. Между служебным и семейным ставил он перегородку, чтобы одно не сливалось с другим.

Разговоры между ним и женой шли потом о маленьком, интимном, важном только для них двоих, а сетованье на безлюдье прорвалось потому, что наболело, что за ним виделось уже стихийное бедствие, угрожавшее и России, и их маленькому гнезду.

Как раз перед тем как бригада из дивизии Гильчевского должна была двинуться к реке Стыри, подброшено было в дивизию еще пополнение, и вместе с маршевой командой прибыло три прапорщика. Один из них был назначен в Усть-Медведицкий полк и попал в четвертый батальон, в котором офицерский состав был очень слаб.

Когда этот новый прапорщик представлялся Ливенцеву, то смотрел на него очень пристально и сказал вдруг радостно:

— Мне кажется, я вас где-то встречал уже, — простите!

— Может быть, — отозвался Ливенцев, тоже внимательно вглядываясь в этого не молодого уже, на вид лет за сорок, человека, серые глаза которого приходились как раз вровень с его глазами.

— Дивеев моя фамилия, — с особым ударением повторил свою фамилию вновь прибывший прапорщик, и Ливенцев сказал на это, чуть улыбувшись:

— Я ведь слышал, что Дивеев, но... что-то не помню вас.

В то же время из каких-то дальних закоулков памяти выдвинулось было в нем подобное лицо, с белесоватой бородкой клинышком, с лысым белым высоким лбом, но тут же слова исчезло, — затерялось в метели человеческих лиц, виденных за военные годы.

Свою бывшую тринадцатую роту не хотел Ливенцев давать совершенно новому в полку прапорщику во время маневренных военных действий, когда рота не знает его, он не знает роты, а младшим офицером к подпрапорщику Некипелову его тоже нельзя было ставить, и он сказал:

— Вам придется пока в четырнадцатую роту, к прапорщику Тригуляеву: он — боевой, притом раненый, остался в строю, представлен к награде... У него вам не стыдно будет поучиться, как управлять ротой в бою.

— Слушаю. Я буду рад... Я ведь добровольцем пошел, но только что из школы, и для меня такое руководство очень нужно, — торопливо согласился с батальонным новый прапорщик и не менее торопливо, точно боялся, что его не дослушают, добавил: — Я пошел добровольцем по убеждению.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Ливенцев, которому что-то напомнил этот теноровый голос прапорщика Дивеева, и его манера говорить торопливо, глядя при

этом пристально в глаза, тоже как будто приклеилась к чему-то в памяти... Какой-то самовар, усердно раздуваемый денщиком-ополченцем на крыльце небольшого казенного дома, весна, синеет вдали бухта или море...

А Дивеев продолжал, спеша высказаться:

— Есть враг и есть Враг с большой буквы. Враг с маленькой касается только вас, меня, личности, а раз появился у всех нас Враг с большой буквы, то тот, кто сидит в это время дома и читает только газеты или, скажем, дома там какие-нибудь для разбогатевших на войне строит, тот — мерзавец и тоже враг!

— Правильно, — сказал Ливенцев, — а почему вы вдруг о постройке домов?

— Потому это, что я — архитектор, это моя профессия была до войны — дома строить.

Убеждаясь уже, что действительно видел его где-то и даже слышал от него, что он архитектор, Ливенцев спросил все-таки:

— Война идет уже два года; немножко поздно как будто пришли вы к этой мысли, а?

— Совершенно верно, — так точно, — тут же согласился с ним Дивеев. — Но во мне долго сидела другая мысль, и та, другая, не пускала эту... А когда я вполне понял и та мысль ушла, я пошел в воинское присутствие, чтобы записали меня добровольцем... И был тогда жив полковник Добычин, — он это одобрил.

— Полковника Добычина вы знавали? Вот как! — удивился Ливенцев и вдруг очень отчетливо представил около крыльца казенного дома, где жил в Севастополе Добычин, — начальник ополченской дружины, — этого самого Дивеева, который был тогда в штатском и показался ему очень странным, говорил сбивчиво и ни с того ни с сего, очень доверительно говорил тогда ему, что стрелял в кого-то, но по суду оправдан.

Воспоминание об этом вдруг стало таким ярким, что он не удержался, чтобы не спросить:

— Позвольте-ка, это не вы ли говорили мне, что стреляли в кого-то... или я тут вас путаю с кем-то другим?

— Нет, так точно, стрелял действительно... в любовника моей жены, пыне покойной, в некоего Илью Лепетова, который — я наводил справки — сейчас служит в Земгоре... Но это во мне прошло, совершенно прошло! Крест, точка! — заспешил Дивеев и даже рукой прочертил перед

собою крест, но тут же спросил сам: — Где же все-таки я вас видел, простите?

— Это было давно, в начале, нет, уж весной прошлого года, в Севастополе, — охотно ответил Ливенцев. — Я тогда зачем-то заходил к полковнику Добычину, а вы как раз были там, сидели на скамеечке около дома... Потом я на одной станции услышал, что он был на фронте убит, и только... Поговорил бы с вами еще, да, прошу извинить, совершенно некогда... Направляйтесь, значит, к прапорщику Тригуляеву. Он — неунывающий россиянин, и вам у него хорошо будет.

Действительно, было некогда: нужно было поднимать батальон в поход с одной реки на другую, где положение должно было неминуемо привести к серьезным боям в ближайшие же дни; иначе не вызывались бы полки ударной дивизии.

* * *

Была ли это оплошность Сахарова и его начальника штаба, генерал-лейтенанта Шишкевича, или получилось так случайно вследствие перетасовки сил для успешности наступления на более важных участках, только участок в пятнадцать верст длиною по реке Стыри, занятый 7-й кавалерийской дивизией, оказался самым слабым на всем фронте одиннадцатой армии.

Спешенные гусары, драгуны, уланы сидели, правда, и здесь в окопах, но занимались они, во всяком случае, не своим делом. Подготовленные для стремительных наступательных рейдов, они стали оборонять позицию, плохо приспособленную к обороне и до них и несколько не улучшенную ими. Их конский состав приходилось держать довольно далеко в тылу, чтобы не пострадал он совершенно зря при действии австрийских тяжелых орудий, в то время как 7-я дивизия имела только легкую артиллерию.

В общем, австрийцы, хотя и перебравшиеся здесь на левый берег Стыри, не уничтожили даже многочисленных мостов, чувствуя себя гораздо более сильными, чем русская конница. А когда по плану фельдмаршала Линцингена, задумавшего контрнаступление, стала подходить сюда еще и 22-я пехотная германская дивизия, обстановка сразу и резко переменилась. Немцы, частью выдвинув вперед австрийцев, частью сами заняв силою до двух полков участок на правом берегу, приходившийся против

крутой излучины Стыри, очень быстро устроили тут предместное укрепление на фронте по кривой в шесть-семь верст, в то время как вся линия фронта, оборонявшаяся русскими кавалеристами, не превышала пятнадцати.

Получилась подкова, опиравшаяся на деревни Гумнице и Перемель левым флангом, имевшая против себя на правом фланге деревню Пляшево, расположенную при устье коварной речки Пляшевки, а в центре — деревню Вербень.

Позиция эта была сильная от природы по обилию речек, кроме Пляшевки, впадавших тут в Стырь, и рощ, и садов, так как раньше это была густо заселенная местность с несколькими усадьбами мелких помещиков, имевших каменные постройки. Однако не оборонять эту позицию пришли немцы, а ударить отсюда в стык армий одиннадцатой и восьмой, и только что заканчивали приготовления к этому удару, когда появились тут один за другим сначала 403-й, потом 402-й полки. Стараясь подойти по возможности скрытно, они шли с большими интервалами не только полк от полка, но и в полках батальон от батальона. Впрочем, местность тут к востоку от Стыри была холмиста, лесиста, овражиста, так что вдаль от фронта обнаружить переброску полков могли только разведочные самолеты противника.

Полковник Добрынин ехал верхом впереди своего полка рядом с бригадным Алферовым. Иногда они останавливались, чтобы пропустить вперед полк, посмотреть, все ли в нем исправно, потом снова перегоняли его.

За дорогу новый в дивизии командир полка со старым командиром бригады успели поговорить о многом, между прочим и о генерале Гильчевском.

Взятый из отставки в ополчение, а на фронте просидевший втихомолку почти год в обставленных с возможной уютностью блиндажах, Алферов, как это заметил уже Добрынин, не сумел еще втянуться в настоящую боевую жизнь, хотя сам по себе был он старик ширококостный и не слабый здоровьем; покряхтывал и ворчал, соблюдая, впрочем, при этом осторожность.

Годами он был старше Гильчевского, волосом седее, и как можно было ему не осудить своего непосредственного начальника за его пылкий нрав?

— Горяч, — говорил он, — людей не жалеет, а люди, разве они не замечают? За каждым из нас замечают все, будьте покойны!

— В каком смысле «людей не жалеет»? — спросил Добрынин.

Крякнув потихоньку и скосив через погон назад глаза, не слышно ли будет, кому не нужно слышать, Алферов объяснил:

— Перед тем, как к вам прибыть, дивизия что делала? Пополнялась людьми. А куда люди в ней девались, когда их еще двадцать второго мая полный был комплект, даже и с надбавкой в две тысячи? Вот то-то и есть, куда! А другие начальники дивизий все-таки так не транжирили людей, поэтому в тыл их не уводили, чтобы там пополняться... Кхе, да... А то, не угодно ли, был с ним и такой случай, — это раньше гораздо, — мы тогда против Черновиц стояли, и люди, конечно, совсем еще серые, — ополченцы, дружинники, а он их — в атаку... А там, у австрийцев, пулеметов, как у нас винтовок-трехлинейек, потому что больше были берданки. Куда же им против такого огня в атаку? Сунулись было и опять легли... Так что же, вы думаете, он, наш Константин Лукич? Наган выхватил и давай в своих же палить! Кричит и стреляет, кричит и стреляет!

— Поднял все-таки? — с живейшим интересом спросил Добрынин.

— Что же из того, что поднял? Пошли, конечно, а какой же толк вышел, вы это спросите. Только первую линию окопов взяли, а на другой день австрийцы их выбили. Да убитых, раненых сколько было, э-эх!..

— Однако рисковал ведь и сам, — сказал Добрынин. — Ведь под огнем противника это было или нет?

— Еще бы не под огнем! Да ведь и свою пулю получить бы мог между лопаток, — разве случаев таких не бывает? Там после разбирай, кто стрелял, когда вкруговую пули летят.

— Мне он показался человеком веселого склада, а таких солдаты наши любят, — сказал Добрынин.

— Э-э, «любят»! Басни все это насчет того, чтобы солдат наш начальство свое любил! — решительно возразил Алферов. — Боятся, это конечно, а уж любить, — кхе-кхе, — за что же именно, посудите сами!

— А там, куда идем, мы ведь будем под командой начальника седьмой кавалерийской? — встревоженно уже спросил Добрынин.

— Разумеется. Генерала Рерберга.

— Что же он, как полагаете, будет жалеть наших солдат или на них выслуживаться?

Алферову не пришлось ответить на этот вопрос Добрынина: галопом подскакал разъезд с офицером, и офицер, корнет, передал словесный приказ Рерберга поторопить полк, так как с часу на час ожидается контратака австро-германцев.

— Хорошо «поторопить», — полк и так идет почти форсированным маршем... А скажите мне, корнет, мои полки как? — спросил Алферов.

— Сегодня же с вечера должны будут занять наши позиции, ваше превосходительство, — ответил весьма отчетливо корнет, имевший стремительный вид, горячие двадцатилетние щеки и лихой залом выгоревшей от солнца фуражки, укрепленной ремешком под круглым подбородком.

— Вот видите, как: сегодня же, без всякого отдыха, и на позиции! — обратился к Добрынину Алферов. — Даже и осмотреться как следует не дают!.. Куда именно мы должны прибыть? — повернулся он к корнету.

— Штаб нашей дивизии в деревне Копань, ваше превосходительство, отсюда будет верст семь, — беззаботным уже геперь тоном ответил корнет.

— Ваша фамилия?

— Корнет Кугушев, ваше превосходительство.

— Вы видите, — идут? — показал Алферов на запыленных, потных солдат, отягощенных походной выкладкой.

— Так точно, вижу, — идут.

— Ну вот... А скакать они не могут, как вы... У нас обоз — полковой и бригадный, — сколько полагается из дивизионного... У нас артиллерия... Обывательские подводы тоже есть... Мы ведь не налегке... Кхе, вот. Так и доложите.

— Слушаю, ваше превосходитс...

Козырнул, повернул коня и поскакал со своими людьми обратно, теперь уже рысью, корнет Кугушев, оставив Алферова в настроении весьма пониженном, хотя и суетливым.

Подтянулся и Добрынин, но ему все-таки хотелось успокоить Алферова, и он сказал ему не спеша:

— Раз кавалерия стоит тут уже порядочное время, то ей и книги в руки. Не уходят ведь их полки никуда, — остаются на месте, а мы им только в помощь... Ну что ж, и должны помочь, если в помощь. Наконец, у противника есть разведка: узнают, что прибыла целая бригада, — по-стес-ня-ются, пожалуй, переходить в контрата-

ку! Зря, кажется, наш новый начальник горячку порет.

Деревня Копань, до которой только к вечеру, когда уже село солнце, дошел первый батальон 402-го полка, оказалась верстах в пяти от второй линии окопов. Ранее пришедший 403-й полк пока еще отдыхал, расположившись биваком в роще за деревней. Перестрелка с обеих сторон реки велась вялая, так что даже лягушки где-то поблизости на воде принимались урчать безбоязненно.

Сразу после захода солнца пала сильная роса, и стало прохладно.

В Копани, как и в других деревнях вдоль реки, жителей не было: австрийцы перед отступлением погнали их вперед себя с подводами, скотом, какой у них остался, и скарбом. Половина хат была растаскана на блиндажи; попадались и пепелища.

Штаб дивизии помещался в лучшем на вид доме — каменном, с резьбой на крыльце, с розовыми высокими мальвами в палисадничке. Спешившись возле штаба, Алферов и Добрынин увидели двух генералов, спускавшихся к ним с крылечка. Оба были на вид одного возраста — между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, — рослые и добротные. Один из них, с усами светло-рыжими и с лицом продолговатым и важным, с академическим значком на тужурке, был Рерберг, другой — с усами красновато-рыжими, будто только что подкрашенными, и с лицом одутловатым, круглым — оказался его бригадный командир Ревашов, генерал-майор. Никакого беспокойства ни в одном из них не мог бы заметить самый наблюдательный глаз. Оба они казались людьми только что плотно пообедавшими и кое-что пропустившими перед обедом по случаю подкрепления их бригадой пехоты.

Алферов не забыл суетливо отрапортовать Рербергу о прибытии двух полков в его распоряжение, и тот выслушал его с подобающе значительной миной, но, только поздоровавшись с ним, тут же с заметным интересом спросил Добрынина, за что и давно ли получен им Георгий: командир полка с Георгием явно казался ему надежнее, чем командир бригады без этого белого крестика.

Потом, пригласив еще и Тернавцева в штаб на чашку чая, Рерберг сказал, когда все уселись за пару составленных ломберных столов, неизвестно откуда тут взявшихся и заставленных чайной посудой.

— Итак, господа, мы здесь несколько дней провели под знаком возможного на нас наступления противника,

который стал очень активен с прибытием немцев, но теперь, теперь уж, мне кажется так, обстоятельства весьма переменялись, так что если завтра утром он предпримет что-нибудь такое, то, пожалуй, пожалуй, получит очень приличную сдачу, а?

Это последнее «а?», ни к кому лично не обращенное, прозвучало неожиданно, короткое и звонкое, как выстрел из игрушечного детского пистолета.

Для Добрынина, следившего за выражением его лица, не только за смыслом его слов, это «а?» как будто отворило в нем дверцу: он стал ему вдруг ясен, этот генерал-лейтенант с академическим значком. Он понял, что никогда раньше этому начальнику кавалерийской дивизии не приходилось иметь в своем подчинении пехотных частей и он своим «а?» как будто самого себя желает убедить в безусловной прочности позиции, ему вверенной.

Однако вопрос был задан затем, чтобы на него ответили, — Алферов же молчал, — выходило неудобно, и, поймав на себе пытливый взгляд Рерберга, Добрынин ответил:

— Наперед сказать трудно... Эту ночь, во всяком случае, спать не придется, если положение стало таким острым.

— Еще бы не острым! Еще бы не острым, когда уж вот где у нас сидят! — и Рерберг похлопал себя по шее сзади. — Острее и быть не может... Итак, первый полк — ваш, полковник, — обратился он к Тернавцеву, — займет линию окопов от деревни Гумнища, — вот, смотрите, пожалуйста, на карту, — от Гумнища до Перемели, — как только стемнеет, а моих людей сменит. Инструкцию ротные командиры ваши получают там, на месте.

Тернавцев поглядел на Алферова, но тот, придвинув к себе карту и доставая очки, шептал, точно боясь забыть: «Гумнище и Перемель... кхе... Перемель... Гумнище...» — и не поднял на него глаз.

— Ваше превосходительство, — сказал Тернавцев Рербергу, — инструкцию должен получить прежде всего я, так как в случае чего я отвечаю за неудачу своего полка.

— Неудачи ни-ка-кой не будет, я в этом уверен, и отвечать вам за нее не придется, — несколько капризным тоном и с заметной гримасой отозвался на это Рерберг, а молчавший до того Ревашов добавил:

— Ведь вы будете сменять командира полка, он вас и посвятит.

Денщики, у которых было подготовлено заранее, что надо, внесли: один — кипящий самовар, другой — поднос с ломтями белого хлеба и консервами, и это отвлекло Алферова от карты. Он решился сказать даже:

— Смена как смена, — порядок для этого один, хотя бы и кавалерия сменялась пехотой.

— В зависимости еще и от того, какая будет ночь, — темная или светлая, — вставил Добрынин. — Может и дождь хлынуть, тут за этим дело не станет, — тогда смена выйдет не как смена, а похуже.

Но тут Рерберг, поморщившись, нетерпеливо постукал пальцем о стол, чтобы показать, что он не сказал самого важного, оглядел всех, даже и Ревашова, и проговорил тише, чем прежде:

Если же противник не решится в эту ночь или утром начать наступление против нас, то днем, после, разумеется, артиллерийской подготовки к этому, мы перейдем в наступление сами... Мы их атакуем завтра, господа, а?

Он не сомневался, конечно, в том, что слова его поразят прибывших, и, казалось, даже любовался тем впечатлением, какое они произвели: у всех поднялись брови.

— Атаковать, не разобравшись, вслепую, ваше превосходительство? — спросил за всех Добрынин.

— Как же так «вслепую», когда я ведь ясно сказал: днем? — поморщился Рерберг.

— Люди только что пришли, устали, — ночью спать будет некогда, а днем атака, — какой же работы от них можно ждать, ваше превосходительство? — сказал Тернавцев.

— Да, это, конечно, это... кхе... — поддержал его Алферов.

— Ну, люди — не лошади, люди могут взять себя в руки, — поддержал, в свою очередь, своего начальника Ревашов. — Одну ночь не поспать для человека ничего не значит.

После этого переглянулись все командиры пехоты, попавшие в распоряжение кавалерийских генералов, и Алферов, поняв, что сказать что-то надо ему, а не Добрынину, не Тернавцеву, обхватил левой рукой стакан налитого ему чая, правой провел несколько раз по карте от Перемели до Гумница, кхекнул и пробубнил:

— А какая необходимость так спешить нам с атакой, если приказа начальства на это нет?

— Надобность, или, как вы выразились, необходимость, — тут же подхватил его замечание Рерберг, — со-

стоит в том, чтобы пре-ду-предить, — вот в чем! Если мы не атакуем противника сами, то он непременно атакует завтра же нас!

— Он, значит, готов к атаке, но ведь мы-то совсем не готовы, даже расположить своих сил не успеем, — сказал Добрынин, теперь уже так же обеспокоенный за участь своего полка, как и Тернавцев, полк которого должен был броситься в атаку почти, очевидно, только затем, чтобы ее отбили с большими потерями.

Рерберг посмотрел на него длительным, весьма недовольным взглядом, но отозвался ему только одним словом: «Успеете!», давая этим понять, что больше ни о чем пока он говорить не желает, а Ревашов, сделав широкий жест над столами, сказал с напускным радушием в жирном голосе:

— Подкрепляйтесь, господа, с дороги!.. Водки бы, конечно, да, к сожалению, вся как раз вышла!

* * *

Квакали лягушки, жалили комары, устанавливались батареи, одна за другой уходили роты 403-го полка в окопы, один за другим приходили смененные ими спешенные эскадроны, скрипели колеса повозок, вспыхивали в небе ракеты, раза три начинался, но не пошел дождь, — в этом прошла ночь с 18-го на 19 июня в деревне Копань и возле нее в редколесье, где разместился батальон Ливенцева.

От Добрынина Ливенцев уже знал, что следующий день — 19-е число — будет днем атаки на предместное укрепление австро-германцев в излучине Стыри. По тому, что Добрынин говорил об этом возмущенно, Ливенцев видел, что дело будет тяжелое, но он устал, очень хотелось спать; в одной из хат, где уже жили офицеры-драгуны, он уснул на широкой лавке. Самих офицеров — их помещалось тут трое, — правда, не было с вечера, они были в окопах, а в хате только денщики караулили их вещи, но к утру, когда всех сменили, явились эти офицеры, и спать больше уже не пришлось, так стало возбужденно и шумно.

Вместе с рассветом — Ливенцев привык уже к этому — началась орудийная пальба. По приказу Рерберга она усиливалась постепенно, чтобы не сразу обнаружить замысел атаки, однако эта маленькая хитрость не обма-

нула немцев. Они тоже усиливали огонь и даже пустили в дело тяжелые батареи.

Часам к шести утра на этом небольшом клочке во-лынской земли все уже напряглось, все было в дыму, гари и грохоте.

Деревня Копань лежала по правую сторону шоссе на Дубно и Ровно, и телеграфная линия могла связать Рерберга не только со штабом одиннадцатой армии, находившимся в Волочиске, но и восьмой, если бы ему этого захотелось, но он предпочел не беспокоить высшее начальство. Оплошность, которую он допустил, позволив австро-германцам переброситься на правый берег Стыри и закрепиться на нем, он хотел исправить при помощи всего одного только пехотного полка, надеясь на то, что два битых уже австрийских полка, хотя и подкрепленные немцами, все-таки уступают в числе штыков одному русскому.

Алферов постарался отстранить себя от руководства боем, сославшись на незнание местности, да Рерберг и не настаивал на этом: напротив, распорядился он сам при помощи Ревашова. Это было первое в его жизни сражение, в котором он командовал пехотной частью, причем ему было известно, что 101-я дивизия числилась в армии ударной, то есть полки ее могли сделать то, чего было бы трудно ждать от полков других дивизий. Что 101-я дивизия была уже наполовину новая от только что влившихся в нее пополнений; что полки ее были далеко не полного состава; что офицеров в них было очень мало, — почти во всех ротах только по одному; и в числе их много новых прапорщиков, еще ни разу не бывавших в боях, — все это и знал, и не хотел знать Рерберг, увлеченный одной только мыслью сбросить противника с правого берега Стыри на левый.

Отодвинувшись в результате майского прорыва на несколько десятков верст на запад, линия фронта стала только очень капризно изогнутой, однако она оставалась по-прежнему сплошной, и к северу от участка 7-й кавалерийской дивизии стоял, растянувшись по той же Стыри до фронта восьмой армии, 45-й корпус, состоящий из молодых ополченских полков.

В то время как Рерберг задавался мыслью сбросить австро-германцев с правого берега Стыри на левый на своем небольшом участке между двумя деревнями, начинал уже приводиться в исполнение гораздо более обдуманый, несравненно лучше подготовленный план

фельдмаршала Линзингена прорвать русский фронт на стыке восьмой и одиннадцатой армий ударом по 45-му корпусу, и если скрытно удалось подойти пехотной бригаде на помощь 7-й кавалерийской дивизии, то не менее скрытно стянулась и 22-я немецкая дивизия на помощь к австро-венгерцам за Стырью, против деревень Гумнице и Перемель.

Привыкшие к неуклонным требованиям Гильчевского, батареи 101-й дивизии стремились бить только по проволоке врага, но далеко не все позиции его были видны, мешали холмы, овраги, роща, — связные работали плохо; кроме того, один наблюдательный пост, устроенный на высоком дереве, был снесен немецким снарядом вскоре после начала перестрелки; потом одно за другим три орудия были подбиты, и эта удача немцев не могла не ослабить не только русского огня, но и выдержки Рерберга: он поторопился дать 403-му полку сигнал к атаке, когда она еще не была подготовлена.

О том, что там, у реки, началась атака, Ливенцев догадался по тому, что артиллерия — и своя, и 7-й дивизии — вдруг замолкла. Он посмотрел на часы, — было без четверти семь. Он ждал минуту, две, — вот-вот заработают снова орудия, перенесут огонь глубже в расположение врага, но орудия молчали, продолжала бить только артиллерия противника. К изумлению Ливенцева, так тянулось минут шесть, пока Алферов, как потом выяснилось, не убедил Рерберга не лишать атакующих поддержки.

Южнее, по Стыри же, стояли части 105-й дивизии, того же 32-го корпуса, но от командира корпуса, генерала Федотова, начальник ее не получил приказа действовать одновременно с частями Рерберга, который был ему подчинен, и в дивизии этой было спокойно. Впрочем, и самому Федотову только утром 19-го доложил Рерберг, что атакует противника, так велика была у него почему-то уверенность, что атака окончится блестящим успехом, и так, видимо, боялся он, что комкор может чем-нибудь и как-нибудь лишит его этого успеха. Даже распоряжение, которое получил от него Добрынин, о том, чтобы 402-й полк был готов идти на помощь 403-му, выражало не этот смысл, а другой: «Для расширения успеха 403-го полка».

Успех и был, — 403-й полк не посрамил славы ударной дивизии, — но успех этот мог бы быть полным, если бы не поспешил с атакой Рерберг, если бы дождался он, когда артиллерия сделает свое дело, — пробьет проходы, сколько их было нужно.

Передовые роты полка кинулись в атаку дружно, но только там, где проволока была разбита снарядами, они ворвались в первую, а местами и во вторую линию окопов врага. Это было против деревни Перемель, лежавшей на том берегу Стыри: тут местность была открытая, цели для наводчиков видны. Совсем не то оказалось против деревни Гумнице, где окопы были закрыты лесом. Там пулеметы прижали атакующих к земле, потому что проволока местами была совсем не тронута, местами же, хотя и изувечена, все-таки непроходима.

И вот тогда-то, только что получив от полковника Тернавцева донесение о неудаче на своем правом фланге, Рерберг приказал 402-му полку «расширять успех».

— Приказано вам начальником дивизии вести свой полк бегом! — энергично прокричал Добрынину Ревашов с наблюдательного пункта.

— Бегом? — переспросил Добрынин.

— Бегом, да, именно! Как можно скорее, — это значит бегом! — подтвердил Ревашов.

— Отсюда, где стоит полк, до позиций пять верст!.. Вести полк придется лесом, — пытался уяснить приказ Добрынин.

— Лесом? Почему лесом?

— Во избежание больших потерь, а как же иначе? — удивился Добрынин. — Иначе я не доведу и двух рот из полка.

— Хорошо, лесом, — только непременно бегом!.. И не теряя ни одной минуты!

Когда Добрынин передавал приказ своим батальонным командирам, то не удержался, чтобы не добавить:

— Вот что значит попасть под команду кавалерийских генералов! Самое важное для них — это аллюр, а что мы с вами не лошади, об этом они забывают.

— А как же можно людям бежать в лесу и соблюсти при этом порядок? — спросил Ливенцев. — Ведь это все равно, что скачка с препятствиями!

— И куда же будут годны люди, когда пробегут пять верст? — добавил поручик Воскобойников.

— Об этом самом и речи!.. Ну, все равно, спорить с ними некогда. Бегом — так бегом...

И Добрынин, откинув назад голову, скользнул глазами по первому взводу первой роты и скомандовал твердо:

— Полк, вперед! Бегом, ма-арш!

И первая рота, когда повторил команду ротный, с места ринулась бегом, как на ученье. Здесь, возле деревни Гумнище, откуда ни своих, ни вражеских позиций не было видно, это можно было сделать, хотя по лицам солдат никто бы не мог сказать, что понятно им, зачем они бегут в полной походной амуниции в жаркое летнее утро и долго ли придется бежать.

Сам Добрынин ехал верхом на небольшой молодой еще гнеденькой ординарческой лошадке, а командиры батальонов шли рядом с ротными своих первых рот, так что Ливенцеву пришлось и теперь быть во главе своей прежней тринадцатой роты, а заботиться о направлении было не нужно: батальон двигался, как ему и полагалось, в хвосте полка.

— Бежать на бой — это все-таки гораздо почетнее, чем бежать с боя, — говорил на бегу Ливенцев Некипелову, — однако... должно быть, труднее.

— Ну еще бы, — отзывался Некипелов, — ведь тогда люди бегут — ног под собой не слышат, а мы теперь что же, — мы спрехвала бежим.

— Спрехвала-то спрехвала... а все-таки пяти верст так не пробежим.

— Да уж нам немного еще, — вот батареи обогнем, и лес будет... А в лесу разве бегать можно? Что мы, волки?.. В лесу, дай бог, обыкновенно итить — не растеряться, а то бе-жать!.. Приказал кто-то с большого ума черт-те что!.. А спроси его, где был он раньше, этот генерал?..

— Раньше? — не понял Ливенцев.

— Ну да, — почему раньше наш полк не приказал в лес завесть? И были бы мы тогда все-таки версты на две ближе к своим... А теперь, видали, воп вьется?

Некипелов показал рукой вверх, и Ливенцев увидел немецкий аэроплан.

— Разведчик!.. Не начнет ли бомбы в нас швырять?

— А может, и корректировщик с тем вместе, — предположил Некипелов. — Зачем тогда ему трудиться, — нас и артиллерия немецкая взять под обстрел может.

От залпов русских и вражеских батарей гремел, как

огромнейшие железные листы, и рвался, как прочнейшая парусина, воздух кругом. От этого ни на одну минуту не выпадало из сознания Ливенцева, что там, куда их послали и куда они могут не поспеть вовремя, под залпы с обоих берегов Стыри, совершается, быть может, последний уже акт трагедии, — боя одного русского полка с двумя австро-германскими, к которым через реку по четырем мостам гораздо скорее могут быть переброшены на помощь еще полтора-два полка...

Залпы орудий как будто и не где-то здесь и за рекой гремели, а в голове, в горячем мозгу, и сердце шаг за шагом колотило в грудную клетку, как в барабан.

Передние роты полка, скрывавшиеся уже в лесу, открыли из винтовок стрельбу по самолету, и он потянул обратно за Стырь, но никто не сомневался в том, что дело свое он успел сделать.

Обежав наконец батареи, четвертый батальон вслед за третьим вошел в лес. И с первых же шагов всем стало ясно, что бежать взводами в таком непропореженном молодом и сильном дубняке, среди которого часты были невыкорчеванные пни, было невозможно. В нем стояла тень, прохлада. В нем можно было вытереть потные лица и шеи рукавами и подолами рубах. Но, главное, в нем нужно было строго соблюдать те самые правила движения рот в лесах, которым незадолго до того учил на отдыхе свою дивизию Гильчевский, тем более что лес этот раскинулся на холмах, перерезанных крутыми балками.

Добрынин возмущался Ревашовым.

— Что же это, издевательство надо мной? — говорил он своему помощнику подполковнику Печерскому. — Что же этот парадмейстер никогда сам и не заглядывал в этот лес, что мне приказывал такую нелепицу? Ведь их дивизия тут стояла неделю, если не больше, а они, два их превосходительства, даже и местности не разглядели! Вот так чистоплюи! И таким дали очень важный участок!.. Можно представить, что у них за окопы! А когда же нам их переделывать, когда с прихода — в бой?

Долго возмущаться не пришлось Добрынину, шагах в пятидесяти или меньше, — трудно было определить в лесу, — шипуче свистя, ломая деревья, упал и взорвался тяжелый снаряд.

Что снаряды тяжелых орудий залетали сюда и раньше, видно было по глубоким воронкам, какие уже попались на дороге полку, по вырванным с корнями, по изувече-

ченным деревьям, но те снаряды были прежде, этот — теперь и по ним.

Пытавшийся ехать и в лесу верхом, Добрынин слез со своего конька и передал его ординарцу. Это был первый момент почувствованной им строгой ответственности за полк, в который был назначен он командиром: до этого момента он только знал, что он — командир полка, теперь он мгновенно с ним сросся.

— Полк, правое плечо вперед! — обернувшись лицом к передним рядам, прокричал он, увидев просветы, то есть опушку от себя влево.

Он понял, что вслед за первым снарядом будут искать в лесу его полк и второй, и третий, и десятый, и двадцатый снаряды, что эта канонада разбрызжет роты по лесу, как стадо; что не только довести до позиций, — их и собрать даже будет нельзя, — вот почему он решил вдруг вывести людей на опушку.

Компас был в руках у Печерского, — сбиться с направления на Гумнице было нельзя, но двигаться вдоль опушки было можно гораздо быстрее, и, чтобы видеть дальше вперед и назад, Добрынин снова вскочил на гнедого, когда первый батальон выбрался весь из чащобы. Пусть это был батальон далеко не полного состава, — все-таки в нем было до семисот штыков, как и в других батальонах.

Вперед были посланы патрульные с компасами. Деревню Гумнице отсюда можно было видеть, только взобравшись на высокое дерево.

Едва свернул батальон на опушку, как в том направлении, какого он держался вначале, ударили в лес один за другим еще два тяжелых.

— Полк, бего-ом! — скомандовал Добрынин.

Нужно было проворнее протащить через открытое место две с половиной тысячи человек, чтобы потеря от оружейного огня было как можно меньше. И люди бежали, гремя котелками, прикрученными к скаткам шинелей и бившимися о саперные лопатки. Теперь всем было ясно, что нужно было бежать вперед, навстречу огню, а между тем впереди снова был тот же лес, — поляна кончалась.

Длинной змеей раскинулся полк, идущий во взводных колоннах, в затылок одна другой, и, как чешуя, поблескивали штыки и стволы винтовок, нагретые солнцем. Патрульные впереди, держась направления на Гумнице, снова нырнули в лес, и Добрынин поскакал вслед за ними,

чтобы посмотреть, пройдет ли там полк и нет ли там где-нибудь вправо или влево еще широкой поляны.

А в это время правее полка шестидюймовый снаряд взорвался и доплеснул до рядов пятой роты осколками, мелкими камнями, землей, обломками веток. Несколько человек там свалилось раненых и контуженых, — это были первые жертвы полка. Их подобрала санитары.

Но воздушный разведчик — прежний ли, новый ли — появился в небе, теперь значительно выше и медленней в полете. Видно было, как возле него начали рваться снаряды зенитного орудия, оставляя клубки белого плотного дыма. Однако не заметно было попаданий, — он ушел назад, а с другой стороны тут же появилось еще два самолета...

Озабоченный судьбой своего батальона, Ливенцев шел теперь рядом с Тригуляевым и Дивеевым, на фланге четырнадцатой роты, и смотрел то назад — на пятнадцатую и шестнадцатую, то вверх на эти наглые воздушные машины, которые явно указывали своей артиллерии цель, действительно достойную ее внимания и усилий.

— Заградительный огонь могут открыть, — сказал Тригуляев.

— Заградительный? — повторил Дивеев, только отчасти поняв это слово.

— Разумеется, — теперь по нас уж и легкая артиллерия может бить, — объяснил ему Тригуляев.

И Ливенцев, скользнув глазами по лицу своего нового прапорщика, заметил, как оно побледнело.

— Крепитесь, Дивеев! — крикнул он ему начальственным тоном, вспомнив, что прапорщик ведь в первый раз идет под огонь.

— Слушаю! — браво ответил Алексей Иванович и добавил скороговоркой, вскинув к козырьку руку: — Нет, я не поддамся, нет, — будьте покойны!

Это «не поддамся» Ливенцев понял, как «не поддамся страху, волнению», а страшное уже надвигалось, готовое обрушиться на первый батальон, передовые взводы которого были в то время в полутора верстах от позиций.

Оно началось сразу: залп за залпом несколько легких гаубичных батарей обрушили груды снарядов на пути полка, только что успевшего перестроить свои первые роты так, чтобы через сплошной лес, в котором не видно было полян, пробираться рядами, гуськом, как этого требовал Гильчевский.

Осколком снаряда угодило в голову гнедому коньку, и

бедная лошадь рухнула на передние ноги, потом повалилась на бок, — с нее едва успел соскочить Добрынин. Печерский был тоже верхом, и его молодой, горячий жеребчик вдруг взвизгнул и кинулся в сторону, в гущину дубняка, так что обеими руками, пригнувшись, закрыл лицо Печерский, чтобы не выхлестнуло глаза ветками и сломанными сухими сучьями. Потом, высвободив правую ногу из стремя и вытянув левую назад, он свалился с седла направо, ударился в пенек спиной, перевернулся и медленно встал в то время, как Добрынин кричал командно:

— Не ложи-ись!.. Не смей ложиться!.. Полк, вперед!

Он кричал так потому, что, инстинктивно ища у земли защиты от того, что обрушивалось на них с неба, солдаты валились один за другим, припадая к корням деревьев, давя розовые сыроежки, пробившиеся сквозь желтый прошлогодний лист и траву. Это не могло им служить защитой от огня гаубиц, но помогло врагу задержать полк.

Старые солдаты вскочили тут же, но солдаты из пополнения не сразу исполнили команду, — может быть, даже не поняли ее: им казалось, что рушится на них небо, что взлетает перед ними лес навстречу небу, что дальше невозможно сделать ни шагу.

И вспомнил ли Добрынин, что говорил ему про Гильчевского Алферов, или это вышло у него совершенно произвольно, только, выхватив револьвер из кобуры, он с искаженным лицом прокричал звонко:

— Вста-а-ать! — и выстрелил над первым из рядом лежавших солдат в воздух, а когда — кто вскочил сам, кого подняли соседи — все уже стояли, снова прокричал: — Полк, вперед! — и сам пошел впереди полка, раздвигая густые ветки молодых дубков, листья которых были или казались как-то особенно крупны, густо-зелены и глянцевиты.

* * *

Когда на батареях 101-й артиллерийской бригады заметили, куда ложились неприятельские снаряды так густо, там поняли, конечно, в какое положение попал незадолго до того бегом огибавший их и втянувшийся в лес направо 402-й полк. Без указаний Рерберга там усилили, насколько могли, огонь по батареям противника, и это спасло много жизней. Однако немало навсегда осталось в

лесу, а еще больше было подобрано после, к вечеру этого дня, раненых и контуженых.

Погиб подполковник Печерский. Раненный небольшим оскожком в ногу, он довольно спокойно уселся на изгибистый старый корень над водомоинной, вынул свой индивидуальный пакет, снял сапог и старательно начал делать себе перевязку; но лишь только окончил и стал натягивать сапог снова, немного надрезав для этого ножом по шву голенище, как новый снаряд, разорвавшийся вблизи, сбросил его в яму с переломанным станovým хребтом и почти засыпал его там землей, как в готовой, нарочно для него выкопанной могиле.

Погиб и командир третьего батальона капитан Городничев, который так твердо усвоил военную дисциплину, что для каждого шага своего ожидал особого приказа начальства. Когда его головная рота — девятая — вышла на дорогу, причем для всякого другого было вполне ясно, что дорога в лесу ведет совсем не к Гумнищу, а в сторону Перемели, как бы ни было заманчиво вести людей именно по ней, а не продираться сквозь чащу, да и восьмая рота, шедшая впереди, пересекла эту дорогу и пошла дальше малохоженным лесом, все-таки Городничев почему-то вдруг задумался, остановился сам и остановил тем самым весь батальон. Он даже сделал несколько шагов вдоль дороги, чтобы посмотреть, не завернула ли она там, дальше, именно туда, куда надо, — и вот в это-то самое время его и сразило.

Мимо тела его, с безжизненно глядевшими в небо белесыми глазами, прошел потом Ливенцев, приподняв фуражку; как бы низко ни ценил он Городничева, все-таки тот ведь водил батальон свой несколько раз в атаки, и как-то выходило так, что сам по себе третий батальон не был заметно хуже, чем остальные.

В тринадцатой роте был убит взводный унтер-офицер Мальчиков, из рода столетних вятчей. Немец не дошел, как и утверждал Мальчиков, до его губернии, но зато нашел его здесь, в волынском лесу.

Убит был и Тептерев, спаситель Ливенцева на речке Пляшевке, только за два дня до того успевший непосредственно от спасенного получить серебряную медаль на георгиевской ленте, причем даже спросил недоверчиво:

— Неужто это мне, ваше благородие? За что же это?

Как будто по чьей-то злой насмешке, медаль вдавило ему внутрь вместе с раздробленными костями грудной клетки.

Больше двухсот пятидесяти человек потерял полк, пока прошел наконец этот лес смерти и вышел туда, куда должен был выйти, к окопам против деревни Гумнице, и все-таки полковник Добрынин считал большою удачей, когда увидел, что не жалкие остатки полка, а довольно внушительная сила по ходам сообщения, начинавшимся на опушке леса, вливается рота за ротой в окопы.

Окопы, правда, дрянные, мелкие, узкие, грязные, но все-таки окопы: в них находились люди 403-го полка, обескураженные, правда, неудачей своей атаки, понесшие немалые потери, но зато теперь воспрянувшие духом, когда получили такую подмогу, как целый полк. Впрочем, Тернавцев скоро отозвал их на тот свой участок, против которого была занята им часть австрийских окопов.

И было время сделать это: ровно в полдень австро-германцы пошли в контратаку, — то есть началось то самое, чего опасался и что хотел предупредить генерал Рерберг.

Опасения были верны: именно в этот день — 19 июня — Линзинген намерен был прорвать фронт 11-й армии, направив главный удар против 126-й дивизии, входившей в состав 45-го корпуса и стоявшей немного северней, на той же Стыри.

С раннего утра там гремела канонада, и, как раз когда заградительный огонь, открытый против Усть-Медведицкого полка, косил его ряды, немцам удалось прорвать там фронт на пятиверстную ширину.

Об этом еще не знал Рерберг, но это уже стало известно австро-германцам на левом берегу Стыри против Гумница и Перемели. Успех соседей опьянил их больше, чем вино, в котором тоже не было у них недостатка, поэтому в атаку пошли они, не прикрываясь ни ночной темнотой, ни сумерками вечера или рассвета.

Они были уверены в том, что русский полк почти истреблен в лесу, что другой полк, им уже известный, истощен потерями и упорно сопротивляться не станет, тем более что он не успел еще повернуть в их сторону захваченные им окопы, не говоря уж о том, чтобы забить колья и натянуть проволоку; расстояние же между противниками было здесь так ничтожно, что атаку можно было назвать просто штурмом, которого не мог уже остановить пулеметно-оружейный огонь.

Русские вылезли из своих нор и ринулись с криком, похожим на вой, перескакивая на бегу через тела своих убитых и тяжело раненных.

Так сразу скрестились штыки со штыками, а штыковой бой при полном дневном свете, когда глаза врагов, как осколки стекол, и лица предельно искажены яростью, — страшный бой.

Так как полк шел через лес смерти отбивать контратаку, которую ожидал Рерберг с часу на час, то Добрынин нашел время распорядиться, чтобы часть людей успела выскочить, когда будет нужно, из окопов для штыкового удара. И вот настал момент: пулеметы трещали, штурмующие валились рядами, но другие все-таки неудержимо бежали вперед, крича и блестя сталью штыков.

Даже Ливенцеву, который сам наблюдал за тем, как выбегали из окопов люди его батальона, стало тревожно за их участь: ему приходилось водить роты в атаки, но не случалось еще отбивать штурмы.

Но своя тревога готова уже была вырасти в страх, когда он взглянул на лицо Дивеева, стоявшего окаменело, с револьвером в руке: лицо бледное, глаза дикие, оскалены желтые зубы... Глаза точно в бельмах — белые, без зрачков...

— Алексей Иваныч! — крикнул, вспомнив, как его звали, Ливенцев.

— Не поддамся! — на высокой фальцетной ноте выкрикнул Дивеев, не поглядев на него, однако не изменив ни лица, ни своей окаменелой позы.

А Тригуляев, который был теперь уже без повязки на голове, успел бросить Ливенцеву, сделав кивок в сторону Дивеева:

— Спятил!

Некогда было думать об этом, — добежали, — не помогли пулеметы. Ливенцев едва успел отскочить к рядам своей бывшей тринадцатой роты, с которой привык бросаться в то, что вытесняло в нем прапорщика, Ливенцева, «я».

* * *

В тот момент это не было схвачено сознанием Ливенцева, это было восстановлено, подошло к сознательным центрам позже, — что и артиллерия своя заработала вдруг усиленно, и пулеметный треск тоже вдруг стал ожесточенным, хотя и странно было, почему это. Но батареи просто запоздали на полминуты — едва ли на минуту — открыть заградительный огонь против штурмующих, — это могла быть вина наблюдателя-артиллериста, сидевшего в окопах 403-го полка, или тому была какая-

нибудь другая причина; что же касалось пулеметов, зачастивших вдруг, как крупный дождь по крышам, то это Добрынин успел распорядиться нескольких пулеметчиков поставить так, что штурмующие попали под фланговый огонь; однако они запоздали больше, чем на минуту, а это была минута, стоившая многих жизней: штурмующие ворвались, куда им приказали ворваться, напряженной орущей ордой, с искаженными лицами, выставив вперед винтовки, согнув спины...

Это была не местная только атака, и не вот этот лес — молодой дубнячок по холмам, не деревня Копань, не другая еще деревня рядом — Хринники были ее целью: это была только правофланговая волна фронтальной атаки, развернувшейся на много верст и на нескольких верстах приведшей уже к прорыву русского фронта. В согнутых спинах штурмующих серо-голубых солдат скопилась уже огромная уверенность в победе, а такая уверенность удваивает силы. И что могли выставить против этой уверенной в себе лавины два русских полка, из которых один только что вышел из-под жестокого артиллерийского обстрела в лесу, другой понес уже большие потери при атаке несколько часов назад?.. Штыки? Штыки!

У прапорщика Дивеева, Алексея Иваныча, как и у других-офицеров, не было штыка, — только револьвер системы браунинг, кусок черной стали, изогнутый под прямым углом, крепко зажатый в руке. Исступленно стрелявший за два с половиной года перед этим из револьвера другой системы — парабеллум — в того, кто разбил его семейное счастье, кто был причиной смерти его жены Вали и его мальчика Мити, в Илью Лепетова, Алексей Иваныч переживал теперь исступление сильнейшее.

Он всеми клеточками тела чувствовал, как на него ринулся многоликий враг, тысячерукий, тысяченогий Илья, стремившийся его смять, раздавить, уничтожить. Он выставил далеко, как только мог, браунинг против него, Врага, а все свои, все солдаты четырнадцатой роты, и солдаты других рот, и Тригуляев, и Ливенцев, — все исчезли. Правду сказал о нем Тригуляев: «Спятил!», но правду прокричал фальцетом о себе и он сам: «Я не поддамся!»

Его высоколобый, почти лишенный волос череп оказался тесен для того, чтобы вместить весь хлынувший на него колючий, ревуший ужас, но дряблые дрожащие мышцы напряглись на борьбу, а не на то, чтобы броситься куда-то назад в испуге. Непереносимый ужас только за-

ставил его, человека потрясенного мозга, крепче вдавить в сыроватую здесь землю каблуки сапог и подать вперед корпус, и чуть только увидел он чужой широкий, как нож, штык перед собою, а над ним стиснутые бритые губы и глаз навывкате, он выстрелил.

Широкий, как нож, штык, задел его за кожаный пояс и разорвал его, так что упал с гимнастерки пояс, но упал и тот, кто хотел вонзить сталь в тело Алексея Иваныча, а револьвер, гашетку которого нажимал раз за разом Дивеев, выпускал пули, уже не сообразуясь с целью, а куда-то в одно многоликое, имя которому Враг...

И когда все-таки вражеский штык, не тот, на котором лежал левой щекой убитый наповал пулей в глаз венгерец, а другой, но точно такой же, вонзился с размаху в живот Алексея Иваныча, правая рука продолжала сжимать изо всех сил рукоятку браунинга, а указательный палец все надавливал и надавливал на гашетку, хотя выпущены уже были все семь пуль и револьвер стал безвреден.

Потом по телу прошли конвульсии, рука разжалась, браунинг выпал из нее, сердце перестало биться... А кругом продолжалась борьба с Врагом, и бились с ним те, у кого не помрачен был мозг и крепки были мышцы.

Сваливший Дивеева австриец был тут же пронизан сам двумя русскими штыками сразу, а к Тригуляеву не допустили солдаты — стали перед ним стеной: он успел вовремя вывести из окопов всю свою роту.

Это запоздал сделать Локотков и едва не заплатился за это жизнью, когда выскакивал из окопа и попал в свалку. Его свалили с ног, и какой-то высокий усатый босняк уже занес над ним штык, как вдруг молодой немецкого обличья белобрысый лейтенант закричал ему звонко:

— Halt! Das ist ein Offizier! — и отвел его винтовку рукой.

Локотков догадался, что его хотят взять в плен, а еще через момент ему пришлось закрыть глаза: на него брызнула кровь этого самого босняка, которому кто-то из бойцов пятнадцатой роты разбил череп прикладом: и не успел он вытереть лица и подняться, как уже тащили белобрысого лейтенанта в плен, сволакивая его пока в окоп своей роты.

Ливенцеву в первый раз пришлось руководить действиями батальона в рукопашном бою, однако найти такое место, откуда были бы видны все четыре роты, когда

враг проник уже в первую линию окопов, было невозможно. Но и можно и нужно было следить за тем, чтобы из второй линии равномерно и быстро бежали люди на помощь первой линии: нельзя было ни на минуту растеряться, нельзя было терять ни одной секунды. — секунды решали дело.

Тут не один только жуткий лязг штыков о штыки, не револьверные выстрелы, не взрывы ручных гранат там и здесь, не стоны раненых, не яростная крепкая брань, не это воинственно-рычащее «ррра-а», одинаковое для многих народов, — тут работала еще и артиллерия с обеих сторон: русская била по австрийским окопам и ходам сообщения, иногда и по мостам, чтобы предотвратить помощь из-за реки; австро-германская — по русской артиллерии, чтобы вывести из строя хоть часть орудий и орудийных расчетов и взорвать снаряды. По второй линии русских окопов батареи противника не били: там были уверены в быстром успехе штурма и боялись перебить своих. Но был пока только стремительный ход действий, а не быстрый успех, и на эту стремительность удара нужно было каждому из командиров, в том числе и Ливенцеву, отвечать быстротой и ясностью распоряжений. Между тем и линия фронта тут была велика для далеко не полной бригады, и сшиблось на ней в смертельной схватке более десяти тысяч человек, причем австрийцы значительно превосходили русских в числе.

Что происходило в близкой сердцу Ливенцева тринадцатой роте, он узнал только после боя. Во время штыковой схватки там чуть не погиб brave кавалер всех степеней Георгия, сибиряк-прапорщик Некипелов. Он расстрелял все шесть патронов своего тульского нагана и, сунув его в карман, схватил привычную для рук винтовку, валявшуюся возле одного убитого.

Высокий, ловкий, жилистый, вошедший в азарт, он действовал ею так, что привлек на себя, отделившись от своих, несколько тоже рослых венгерцев. Ему некогда было оглядываться назад, есть ли кто из своих за спиною, — впору было только отбиваться и пятиться, и вдруг мелькнуло сбоку остервенелое лицо какого-то унтер-офицера с двумя басонами. Он не понял, не узнал сторяча, чей это такой, кто именно такой худощекий, тяжело дышавший, запаленный, — его ли роты или другой?

Это был Милёшкин. Крупный, но не очень сильный с виду человек, он показал теперь, что был силен. Его сила была — его ненависть, люта я ненависть, накопленная за

долгий плен. Вот только теперь нашла она наконец выход. Бросаясь на венгров как будто очертя голову, он действовал на самом деле осмотрительно, взвешенно, только с быстротой, почти неуловимой глазом. Это была его месть за свои муки в плену, и за погибших там товарищей, и за того между ними, с которым вместе проходили они учебную команду, которого он спас от расстрела своим криком: «Будем работать!» и которого не мог спасти от пули, когда вздумал тот бежать из плена.

Потом подскочило еще несколько человек из его взвода (Милёшкин принял взвод убитого в лесу Мальчикова), и Некипелов догнал уже других, а когда оглянулся, — не заметил Милёшкина...

— Ну, думаю, пропал парень! — рассказывал он потом Ливенцеву. — Ан, потом гляжу, — вот он опять и весь спереди мокрый: фляжку рому с убитого венгерца взять поспел, полфляги выпил, ну, конечно, полфляги на себя вылил, — говорит, под руку толкнули, — вот какой оказался парень быстрый!.. И потом уж еще злее стал, как рому выпил.

Австрийский ром после того, как выбиты были враги и отброшены снова в свои окопы, стал первой добычей русских солдат, не успевших дообедать, когда начался штурм, хотя Добрынин в своем полку и приказал разбивать прикладами все фляжки, так как, зная немцев, ожидал новой атаки через короткое время. Но запах рома раздражающе стоял в горячем воздухе, и одни били, другие пили даже из разбитых уже фляжек, впоныхах обрезаая губы.

Пили даже и вообще непьющие, чтобы только протолкнуть внутрь застрявший в гортани густой комок вонючего дыма от австрийских гранат; но это было уже потом, когда откатились австрийцы вместе с теми немцами, которые были вкраплены в их ряды для крепости духа.

В русских окопах не было противострелковых орудий, из которых можно бы было осыпать картечью отступающих. Их было довольно в австрийских окопах, и от них понес большие потери 403-й полк во время атаки утром. Однако сплошь заголубела черная, на совесть перекопанная снарядами земля между линиями окопов, когда слынул полуденный прибор: пулеметы русские действовали тут заодно с немецкими, поставленными за рекой. Спасением для многих австрийцев было только то, что бежать к себе в окопы после неудачи штурма было недалеко.

402-й полк захватил в плен одних только не раненых или с легкими ранами до трехсот человек. По поперечным ходам сообщения их отправили во вторую линию окопов, и едва успели убрать своих раненых, как начался снова жестокий обстрел из орудий, предвестник нового штурма.

Однако штурма так и не дождалась ни через час, ни через два, и потом очень заметно ослабела и канонада. Наконец, к вечеру она затихла совсем: поднять из окопов австрийцев на новые, еще, быть может, большие потери, немцам не удалось.

Зато Добрынин, как и Тернавцев, полк которого тоже взял свыше двухсот пленных, вечером услышали в телефон голос уже не Рерберга, а своего начальника дивизии. Гильчевский передавал, что он, по приказу командира корпуса Федотова, в самом спешном порядке, частью даже на грузовиках, перевел со Слоновки к деревне Копань два остальных полка и что с наступлением темноты один из них — 404-й — он направит в окопы.

Тон Гильчевского был сердитый, но недоволен он был не теми, с кем говорил, а генералом Рербергом, допустившим, по его словам, «такое безобразие», как предмостное укрепление, которое «неприменно, во что бы то ни стало, должно быть уничтожено этой же ночью».

* * *

Девятнадцатое июня был день тяжелый не для одной только 101-й дивизии, но и для всего правого фланга одиннадцатой армии. В этот день усиленно работал телеграф, соединяющий части восьмой и одиннадцатой армий с их штабами и штабы этих армий со штабом Бруслова.

План Линзингена — вбить клин между армиями Каледина и Сахарова — грозил удачей, а это могло надолго остановить наступление, если не сорвать совсем прорыв на Луцк, проведенный с таким блестящим успехом.

Было от чего прийти в волнение штабам. Оказался ли участок фронта, занимаемый 126-й дивизией, слабее других, собраны ли были против него германцами подавляющие силы, нужно было как можно скорее бросить против прорвавшихся немцев резервы, какие нашлись под рукой, но в резерве были только два драгунских полка, — они и были посланы Сахаровым против немецкой пехоты.

И эти два драгунских полка — Архангелогородский и 4-й Заамурский — сделали большое дело. Лихо врубались они в немецкие цепи и погнали назад их остатки, захватив несколько сот человек в плен и изрубив гораздо больше.

Была еще небольшая часть кадрового Прагского полка, имевшего крепкие боевые традиции: этот полк во время Крымской войны стоял на защите Малахова кургана. Всего только одна рота прагцев могла прийти на помощь одному из пострадавших полков 126-й дивизии, и не только отбила она у немцев полтораста русских солдат, только что захваченных в плен, но еще и, в свою очередь, захватила около ста солдат противника на одном своем фланге и двести на другом. Однако, если к вечеру этого злополучного дня тут удалось приостановить продвижение австро-германцев, то серьезней было положение на соседнем участке, несколько севернее, где стояла хотя и кадровая, но чрезвычайно обескровленная предыдущими боями 2-я Финляндская стрелковая дивизия.

Сахаров отдал уже было приказ об отходе всего своего правого фланга, а это вызвало бы неминуемый отход левого фланга армии Каледина. Брусилов приостановил этот приказ, послав Сахарову телеграмму: «Отлично знаю ваше серьезное положение, но убежден, что вы, как всегда, сумеете из него выйти».

Наконец, чтобы вопрос об отходе на целый переход назад даже и не поднимался ни Сахаровым, ни Калединым, он отдал приказ по восьмой и одиннадцатой армиям о решительном переходе в наступление с 21 июня.

Этот-то именно приказ, сделавшийся известным в частях корпуса Федотова, и совпал как раз с желанием Гильчевского выручить два своих полка, отданных в подчинение Рербергу, и показать, что они должны и могут сделать.

Целая 29-я австрийская дивизия стояла против участка Перемель — Гумнице, — как узнал от пленных полковник Добрынин, — и полк из 22-й германской подпирал ее, оставаясь на левом берегу Стыри. Добрынин передал это Гильчевскому, но тот отозвался на это своею прежней фразой:

— Повторяю, что враг должен быть отброшен за Стырь этой же ночью. Руководство действиями возлагаю на полковника Татарова.

Добрынин удивился, услышав такое добавление, но, признав, что Татаров гораздо опытнее его и способнее Гер-

навцева, должен был согласиться с тем, что начальник дивизии в этом прав.

Стемнело. Поужинали. Окопы были очищены от убитых. Начали подходить роты 404-го полка. Иные люди в них, заняв свое место в тесных и темных окопах, тут же засыпали от усталости. Однако такими же усталыми, если не гораздо больше, были и люди 402-го и особенно 403-го полков. Никто не разрешал им спать перед штурмом, и никто не решился запретить им это теперь, с вечера, так как Гильчевским дан был Татарову приказ выводить полки из окопов в 2 часа 30 минут.

Офицерам тоже нужен был сон. Офицеров к тому же в бригаде, пришедшей сюда раньше, оставалось чрезвычайно мало. В иных ротах их не было совсем, и фельдфебели этих рот приходили к Татарову просить, нет ли у него хотя бы подпрапорщиков, чтобы дать временно их в командиры рот. Трудно было и Добрынину, и Тернавцеву, — особенно второму, который и до того провел уж две ночи без сна, а Татаров, совершенно незнакомый с местностью, не мог не задавать им множества вопросов, на которые иногда очень трудно, иногда совсем невозможно было ответить, не призвав для этого на помощь дневной свет.

Впрочем, ночь выдалась не из темных.

Мало того, что светили луна, бывшая в первой четверти, и звезды, только изредка заслоняемые бегучими облаками, — австрийцы не жалели осветительных ракет, так что Татаров смог разглядеть и деревню Вербень, бывшую в середине австрийских позиций, и подходы к этим позициям...

— Уверенности в успехе у меня нет, — говорил он Добрынину, — но положение создалось такое, что без этого успеха нельзя... Понимаете? Нельзя! Никак невозможно!.. А если нельзя, значит, он должен быть.

Ливенцев услышал эти слова «успех необходим» от Добрынина, собравшего своих батальонных командиров.

Он понял это так: от успеха или неуспеха вот здесь, на этом берегу Стыри, зависит что-то большое там, далеко на север, и на юг, и на восток тоже.

Это прикосновение к большому свеяло с него усталость. После успешно отбитого штурма верилось в успех ночного дела, и прежде всего верилось потому, что была вера в размашистого, сероусого, сероглазого человека — начальника дивизии. Если он прибыл сюда, если он теперь в Копани, если он приказал идти на штурм, и непременно в половине третьего, значит, будет успех.

Он не знал точно, чем именно он, командир батальона, сможет и сумеет содействовать успеху, но ловил себя иногда на мысли, что смерть ночью не так пугает, как днем: убьют, и не видно. Громадное большинство людей почему-то, — он знал это и не мог объяснить, — умирает от тех или иных причин ночью. Он даже пытался думать об этом шутливо: «Самое подходящее время для смерти!..»

Он ловил себя и на другом: его как-то не тянуло написать хоть несколько слов Наталье Сергеевне в Херсон. Написать ведь можно было и при свете луны, звезд, ракет, прихлопнув при этом двух-трех комаров, которые, конечно, усядутся на руки и щеки, однако не тянуло, значит, не было предчувствия скорой смерти (сам для себя незаметно он начинал уже верить в предчувствия).

После капитана Городничева третий батальон пришлось принять поручику Голохвастову, и это теперь, перед большим ночным делом, не столько было для него лестно, сколько пугало его, чего он ничуть не скрывал, говоря с Ливенцевым. Раза три сказал он с большой жалостью к самому себе:

— Эх, попал я в кашу!

А Ливенцев утешал его:

— Если боитесь, что чем-нибудь напортите, то ведь ночью, согласитесь сами, кто же это заметит?

Кстати, думая и о себе, что он тоже может напортить, утешал и себя, добавляя:

— Смею вас уверить, что едва ли и сам полковник Татаров, хотя он прекрасный командир полка, отчетливо представляет, как пойдет операция и что из нее может выйти.

Ровно в два часа, по приказу Татарова, начали поднимать людей. Чесались, откашливались, сморкались, зевали, лезли в кисеты за табаком, но тут же прятали их. С трудом понимали, где они, что с ними, что надо делать дальше, но, взяв в руки винтовки и выходя из окопов, вспоминали, что надо идти на германа: австрияк преобразился уже в глазах людей двух полков в германа, раз он отважился на дневной штурм.

Впереди шли гранатометчики, чтобы взрывать рогатки, наставленные ночью в пробитых днем проходах, за ними штурмовые роты, а за штурмовыми — остальные.

Весь замысел Гильчевского исходил из того, что австро-германцы в этот именно предутренний час будут спать особенно крепко после трудного для них дня, атака же должна вестись с невозможной быстротой и разом по



всему участку бригады. Что люди будут злы на противника, нагло напавшего на них в час обеда, предполагалось Гильчевским само собой, и в этом не было ошибки.

Штурм пачался молчаливо, но тем не менее дружно. «Ура» разрешили себе бойцы только тогда, когда поднялась беспорядочная пальба в ответ на взрывы русских гранат. И «ура» это — тысячеголосое, ночное — сразу заглушило пальбу.

Только в эту ночь Ливенцев осознал во всей полноте, что такое этот воинственный крик и как велико его свойство заглушать все, что стоит на дороге ринувшегося на штурм бойца: и выстрелы врага, и ярость врага, и силу врага, и свою боль от ран, и страх смерти.

Все начало действовать, что приготовлено было в лагере врагов для отражения атаки: и противощтурмовые орудия, сыпавшие шрапнель, и пулеметы, которыми так богаты были по сравнению с русскими австрийцы, и ручные гранаты, и винтовки, и минометы, — и все было сразу смято, заглушено вслед за этим криком «ура».

Батальон Ливенцева не был ударным, но за штурмовыми частями он вместе с другими гнал к реке ошеломленных дружным и мощным натиском австро-германцев туда, к спасительным мостам, которых было четыре на протяжении линии боя, которые были местами повреждены днем, но спешно починены в начале ночи.

Топот тысяч ног по этим мостам слышал Ливенцев: австрийцы вместе с германцами, вкрапленными в них для прочности, бежали на тот берег; взрывы этих мостов, произведенные с того берега немцами, тоже слышал Ливенцев; и то, как вспыхнули эти мосты и горели, и как багровое пламя пляшуще отражалось в воде, это он видел с высокого места близ деревни Вербень, где батальон его, по приказу Гильчевского, работал над тем, чтобы обратить отбитые окопы врага в сторону Стыри и перенести проволоку и колья; но больше ничего в это громово-яркое раннее утро он не видел и не слышал: разорвавшийся около немецкий снаряд сбросил его с насыпи в окоп, и он потерял сознание.

* * *

План отправки раненых в тыл, конечно, был разработан в штабе Брусилова самым тщательным образом задолго до начала майского наступления, однако расчеты

исходили из того, что Юго-западный фронт будет только содействовать Западному. Когда роли их решительно изменились, то оказалось, что число раненых весьма значительно превысило все расчеты, и только содействие Союза Земств и Городов * помогло Брусилову выйти из трудного положения с честью.

Лазареты Союза Городов, как и лазареты Красного Креста, располагались по нескольку в городах, ближайших к линии фронта, и тяжело раненные доставлялись туда в санитарных автомобилях. В городе Дубно, в тылу 45-го корпуса и содействовавших ему войск, устроен был тоже лазарет Союза Городов.

Среди сестер этого лазарета были две особенно сдружившиеся между собой за какие-нибудь два-три дня: Еля Худолей, гораздо более опытная, так как стала сестрою еще в начале войны, и Наталья Сергеевна Веригина. Если Веригину никто иначе не называл, как по имени-отчеству, то у Худолей никто не спрашивал, как звали ее отца: она для всех была просто Еля.

Впрочем, если бы посмотрели в ее паспорт, то узнали бы, что она — Елена Ивановна и что ей восемнадцать лет и несколько месяцев. Она была года на три всего моложе Натальи Сергеевны, но казалась в сравнении с нею почти девочкой.

Невысокая, длинноликая, бледная, усталая на вид, с грустными карими глазами, с высокими тонкими полукружиями бровей, она в одно и то же время, смотря по настроению, каким была охвачена, могла сойти и за беспечную пустышку, и за много думавшую над жизнью: от нее не совсем еще отлетело детское, и она не вполне вошла во взрослое, чем очень привлекла к себе Наталью Сергеевну.

Еля как-то сказала ей, ласкаясь, как младшая к старшей:

— Мой отец был полковой врач, и он вместе с полком своим пошел на фронт в самом начале войны... Больше года все ничего было, а вот, месяца два назад, мне сказали: его убили немцы.

— Как убили? Врача? — удивилась Наталья Сергеевна.

— Да, а что же? Бросили бомбу с аэроплана прямо в госпиталь, хотя ведь Красный Крест на белом флаге видели, но это у них так принято — швырять бомбы в лазареты, и в наш тоже могут когда-нибудь бросить... Убили несколько раненых, и моего отца тоже убили.

- Вы ездили?
- Куда ездила?
- На похороны.

— Нет, что вы! Его уж давно похоронили, когда я узнала... Нет, я не ездила, — зачем? Я теперь думаю поступить после войны в медицинский институт частный, мне говорили, есть такой в Ростове. А когда его окончу, то буду хирургом.

— Это хорошо, что вы говорите, Еля, только хирургом быть, для этого надо...

— Вы думаете, я слабая, не-ет, — я крепкая! Вот, смотрите! — И вдруг, вся лучась мальчишеским задором, она по-мальчишески сжала правую руку в локте, а левой взяла кисть узкой руки Натальи Сергеевны и приложила к своему бицепсу: — Видите, какой мускул! Сожмите, — как камень, твердый.

— Да, в самом деле твердый.

— Я ведь и гимнастику на трапеции умею делать, — у меня три брата, все гимнастикой занимались, и я тоже. Один брат — теперь студент, другой — в ссылке, — он политический, а третий — он моложе меня — гимнастист...

И добавила с печальной ноткой в голосе:

— Только вот чем я буду платить за лекции в институт медицинский? У нас ведь никаких решительно средств нет. Может быть, меня примут там в клинику при институте, чтобы я работала, как сестра, а?.. Я бы получала что-нибудь, — вот у меня бы и деньги были, правда? И лекции я бы хорошо учила, я ведь способная... Только что я гимназии не окончила, — меня исключили... Это по другой причине, а совсем не за то, что неспособная...

Наталья Сергеевна не спрашивала ее, за что именно ее исключили из гимназии, но по глазам ее, спрашивающим, можно ли рассказать ей, и прячущимся в одно и то же время, поняла, что ей хочется рассказать об этом и что ей неприятно вспоминать это, поэтому она сама отвлекла ее: любопытством она не страдала.

Но однажды услышала все-таки от Ели, как какой-то командир драгунского полка, полковник, который теперь, может быть, уже убит, хотя она не слыхала этого, — по фамилии Ревашов...

— Я пошла к нему по поводу брата Коли, которого губернатор отправлял в ссылку, — говорила Еля, глядя остановившимися на одной точке, но не на лице Натальи

Сергеевны, усталыми, теперь уже явно взрослыми глазами, — а Коля, он был тогда еще мальчишка, на год старше меня, а мне было только-только шестнадцать лет, я в шестом классе была, — я пошла к нему, полковнику Ревашову, чтобы он сказал губернатору, — он тоже военный был, этот губернатор, генерал-майор, и они часто в винт играли, — что ему стоило сказать? — чтобы сказал, что какой же Коля деятель политический, когда он еще мальчишка, а уже его в Якутку, где на собаках ездят... Ну, вообще, я пошла к нему вечером, а он... он меня с денщиком своим домой отправил только на другой день... Понимаете?.. Вот за это меня исключили из гимназии...

Наталья Сергеевна видела, как хотелось сказать это Еле и как она точно сама изумилась тому, что вырвалось у нее это, и тут же вдруг повернулась и отошла поспешно, хотя никто ее не позвал в это время. Впрочем, было очень много срочной работы.

Наталья Сергеевна представила своего преподавателя математики, от которого она убежала стремительно к его жене, и подумала о Еле, что вот ей, тогда совсем маленькой, шестнадцатилетней, не удалось убежать... С этим вошла она в жизнь, — в такую жизнь! — и по ней идет, как может, — маленькая, утомленная бессонными часто ночами и тем ужасом, какой видит она перед собою каждый день почти уже два года.

Ужас этот самой Наталье Сергеевне казался потрясающим, безграничным в первый день, когда она появилась здесь, а она ведь приехала сюда совсем недавно.

Везли и везли раненых, потому что как раз в эти дни шли особенно жестокие бои на прилегающих к Дубно участках фронта. Машина войны кромсала человеческие тела не только всеми предусмотренными военной медициной видами ранений, но иногда и совершенно причудливо, так как в дело истребления людей вводились уже во время самой войны новые способы, один другого жесточе.

Ведь первое, чему могла бы поддаться Наталья Сергеевна при виде такого тела, перед которым разводили руками и переглядывались даже весьма опытные врачи, было закрыть глаза руками, зарыдать и броситься вон. Но закрывать глаза и рыдать было нельзя, — напротив, нужно было говорить, что «это еще ничего, — могло быть гораздо хуже»; нужно было заставлять большим усилием

воли свои тонкие руки не дрожать, когда они делали перевязки, и стараться хотя бы в один только свой голос влить ободряющие нотки, если никак нельзя заставить улыбаться глаза и губы.

Бывали моменты, когда ей становилось почти дурно, когда она могла вот-вот зашататься и упасть. Это замечала наблюдавшая за нею Еля и, взяв под руку, отводила ее к окну или выводила совсем из палаты, говоря при этом то же самое, чем она сама пыталась утешить изувеченных:

— Это ничего, это пройдет... С другими бывает гораздо хуже, а у вас все-таки крепкие нервы.

В этом море ужаса утонуло, оставив только слабый всплеск, то, что рассказала Еля Наталье Сергеевне о себе самой, тем более что ведь это было с нею уже давно — два с половиной года назад, и каких года — целая вечность. Эти годы отбросили и ее личное прежнее так далеко, что она еле вспомнила о городишке Дубно, что читала о нем еще девочкой в «Тарасе Бульбе», — осаждали эту «крепость» запорожцы.

Городишко был дрянной, грязный, битком набитый всем прифронтовым. Лазаретов тут было несколько, с небольшим, однако, числом коек, так как больших домов где же здесь было найти. Тяжело раненым делались тут неотложные операции, после чего их отправляли глубже в тыл.

Заведовал этим лазаретом старый врач-хирург, который до войны не носил военной формы и теперь никак к ней не мог привыкнуть. Худой и высокий, седая щетина ежиком, в бороде, подстриженной клином и торчащей вперед, хлебные крошки и табак, так как ел он на ходу, папиросы себе скручивал тоже на ходу, слепливал их кое-как, и они обыкновенно разрывались сбоку; на ходу же и между прочимпил он разбавленный спирт, причем делал гримасу и говорил:

— Вот это так чертово поило!

Наталья Сергеевна спросила его в первый же раз, как это увидела:

— В таком случае, зачем же вы пьете?

Но он поглядел на нее сердито и пробубнил:

— Ну-ну-ну, сейчас видно, была какой-то учительшей!.. Разве нашему брату-хирургу без этого можно? Тоже еще!.. Как звать?

И это была самая длинная фраза, какую она слышала от него в первые дни. Обычно он был однословен, при-

чем выбирал самые короткие слова, и с первого же дня начал недоговаривать ее имя, — выходило у него Тальсег, — и всегда очень свирепо он глядел при этом. Глаза у него были в красных веках от недосыпу, нос крупный и тоже красный от спирта, кашлял он по причине застарелого бронхита, притом так, как кашляют старые доги, когда им и надо бы полаять и лень лаять, — коротко, однако внушительно. Когда тяжело раненный, по его мнению, был безнадежен и в операции уже не нуждался, он произносил угрюмое: «Угу», и это совсем уже короткое слово, скорее не слово, а вздох, звучало в лазарете как смертный приговор. При всех своих странностях он был, по отзыву других врачей и сестер лазарета, очень умелый хирург, этот Иван Иванович Забродин, которого, обращаясь к нему и ему же подражая, называли Ванванч.

Кроме Забродина, было в лазарете еще три врача, помоложе его и с меньшими странностями, и два фельдшера, а кроме Ели и Натальи Сергеевны, здесь работали еще две сестры, которых почему-то принято было называть по фамилиям, — Тюлева и Бублик, может быть потому, что их фамилии к ним неотъемлемо шли: Тюлева была какая-то вся прозрачная, без кровинки в лице, почти невесомая на вид, хотя на болезни пока не жаловалась и работала очень ревностно, а Бублик — выпуклая, круглая, краснощекая, здоровья самого завидного и вне палат любительница похохотать, причем и смех ее, залиvistый и самозабвенный, тоже почему-то казался Наталье Сергеевне похожим на сытно поддурмяненные свежеиспеченные бублики, сорвавшиеся с мочалочки, которой они были связаны, и бойко раскатившиеся по комнате.

* * *

Без сознания Ливенцев пробыл недолго, — он очнулся от сильной боли в правой ноге, когда солдаты его батальона, взявшись за него, заспорили, живой он или убит и куда его нести.

Он застонал от боли, открыл глаза, увидел над собою розовое от зарева небо и вспомнил, что горят мосты. Он выждал момент, когда могли его расслышать, и сказал, насколько мог, громко:

— На перевязочный!

Один из солдат отозвался на это зычно:

— Слушаем, вашбродь! — и тут же укорил другого: — А ты говорил!..

Что говорил другой, за пальбой не расслышал Ливенцев.

Ночной этот путь к перевязочному был очень мучителен и показался страшно долгим. Раза три еще Ливенцев терял сознание от боли в ноге, хотя и не вполне: что-то смутное он все-таки слышал, когда его несли.

На перевязочном утром осмотрели его ногу, ощупали, но пожалы плечами в нерешительности, что именно с нею: перелом кости или разрыв связок, или и то и другое вместе. Она распухла, стала сине-багровой, прощупать в ней кости было нельзя, а болезненность, очень острая, оказалась сплошная, где бы ни начинали ощупывать.

— Все-таки, скажите, что это? — спрашивал полкового врача Ливенцев.

Но тот ответил:

— Пока контузия вследствие взрывной волны и падения, — вот все, что я могу сказать. Остальное же должен сказать рентген: прощупать нельзя, — значит, надо просвечивать.

В дивизионном лазарете, куда его привезли на рессорной линейке в тот же день, он пролежал без всякой пользы для себя больше суток. Там тоже сказали: рентген, но добавили, что рентгеновского кабинета близко к фронту нет, что он может быть только в тыловом лазарете.

В Дубно его отправили в санитарном автомобиле, в котором, кроме него, было еще трое раненых, из них один тяжело, — все офицеры. Распухшую ногу не могли никак ему уложить так, чтобы он мог забыть о ней хотя бы на минуту, утешали только тем, что автомобиль — это не двуколка и не линейка, что он докатит быстро. Однако толчков на ухабистой дороге было довольно, и он то и дело закусывал губы, чтобы не вскрикивать: ведь у него была только контузия, а не рана, и перед ранеными, особенно перед тем, который был тяжело ранен, ему казалось неловким стонать от боли.

В Дубно въехали во время дождя. Машина шла, ежеминутно вздрагивая, хотя шофер старательно лавировал: выбоин здесь на улицах оказалось гораздо больше, чем на дороге. Только когда наконец остановилась она перед лазаретом, в который была направлена, Ливенцев почув-

ствовал облегчение, тем более что дождь перестал, очень освежив воздух.

Но его ожидала здесь несказанная радость, которой он даже не поверил, не посмел поверить в первые несколько мгновений. Не сон ли это? Неужели действительность? К машине подошли санитары — солдаты с носилками, а за ними сестра в белом халате с красным крестом на рукаве, и эта сестра, высокая, с серьезными, внимательными голубыми глазами и утомленным лицом, была до того похожа на Наталью Сергеевну, что он едва не вскрикнул: «Наталья Сергеевна, вы?» — но, заметив, что у этой нет косы, которая обвивала бы ее голову, как восточный тюрбан, удержал крик. Волосы были, правда, похожие по цвету, пепельно-золотистые, но короткие, не доходившие даже до плеч.

Сначала вышли из машины офицеры, способные ходить, потом санитары бережно уложили на носилки тяжело раненного и понесли, и только тогда сестра заглянула внутрь машины, и он убедился наконец, что это она, Наталья Сергеевна, потому что она тоже узнала его, всплеснула руками и припала к его лицу щекой.

— Боже мой! Николай Иваныч!.. Что с вами? — Это она почти прошептала испуганно, и он, обняв ее голову, тоже почему-то шепотом, отозвался ей:

— Ничего, не бойтесь, — контузия...

В этот именно момент он, в первый раз за последние три дня, уверенно сказал о том, что с ним случилось: «Ничего», и в первый раз за всю свою жизнь глубоко понял всеисцеляющую силу этого слова.

Не в слове было тут дело, а в возможности сказать его, это русское «ничего», равносильного которому не имеет ни один язык.

— Ничего? — спросила она со слезами в глазах.

— Ничего! — повторил он еще увереннее и тут же добавил: — А как же вы, как же вы здесь?

— Я ведь вам писала, — разве не получили?

— Нет, ничего... Когда писали?

— Дней пять назад, отсюда.

— Не успел получить... Не мог успеть... Я уж трое суток почти, как контужен, и меня все возят... А ваши косы где?

— Разве можно тут с косами! — проговорила она, переводя пытливый взгляд на его ногу, и он вспомнил бритоголового полковника Ковалевского и его слова: «На фронте чем меньше волос, тем лучше».

Подошли санитары с носилками. Больших усилий воли стоило ему не только не стонать, даже не морщиться от боли, когда его укладывали на носилки. Он смотрел в это время в заботливые глаза Натальи Сергеевны и пытался улыбаться ей хотя бы глазами, так как крепко стискивал при этом губы.

Когда его устроила она в палате на койке около окна и привела к нему Забродин, то вся замерла, ожидая, не скажет ли он, только взглянув на багровую страшно распухшую ногу Ливенцева, свое страшное: «Угу!»

Но Забродин, сопя, разглядывал не столько ногу, сколько всего вообще Ливенцева, и вдруг придавил ногу возле колена и спросил:

— Здесь?

Ливенцев понял это как: «Больно ли здесь?» и ответил:

— Больно.

— Здесь? — спросил Забродин, придавив двумя пальцами у щиколотки.

— Больно, — повысив голос, сказал Ливенцев.

— Здесь? — сжал он всей рукой икру ноги.

— Больно! — вскрикнул Ливенцев.

Забродин качнул бородой сверху вниз, потом снизу вверх так, что из нее выпала порядочная хлебная крошка, и сказал отчетливо:

— Полно! — потом тут же отошел к тому тяжело раненному, который был привезен вместе с Ливенцевым, оставив Наталью Сергеевну в недоумении.

— Чего полно? — почти безголосо спросила его она.

— Чего, чего, — точно передразнивая ее, бормотнул он и начал оглядывать с головы до ног раненого, жестом запретив разбинтовывать его рану.

* * *

Любовь и смерть — они спокон веку рядом.

Каждый день умирали в лазарете тяжело раненные, и каждый день приходил сюда священник отпевать умерших, которых отвозили потом на линейке на кладбище. Жизнь очень туго и тесно сжалась тут на маленьком клочке пространства, называемом лазаретом за номером таким-то. Очень ясной и четкой была грубая кромка ее, за которой пустота, ничто, вечность.

Одни умирали, другие боролись со смертью, не теряя надежды ее победить, третьи не желали допускать и мыс-

ли о своей смерти, но не имели возможности забыть о ней здесь, как и на фронте, — ведь она никуда не уходила из лазарета; четвертые, — это были врачи, фельдшера, сестры, — пристально наблюдали, как действует смерть, и всеми средствами, которые были в их распоряжении, пытались помочь тем, кто имел еще достаточно сил, чтобы с нею вести борьбу, как бы продолжая свою борьбу на фронте.

Да, война, по существу, не прекращалась тут, за стенами лазарета. Она жила в мозгу всех раненых, о ней рассказывали друг другу, о ней говорили врачам и сестрам, ею бредили, когда были в жару, и стоны здесь были такие же, как и на поле боя.

Врачи привыкали, конечно, к различным видам ранений и к смерти раненых, бывших для них совершенно посторонними людьми, однако и им приходилось задумываться над тем, почему изувеченные войною не проклинают ее, а ведут себя так, как будто заплатили они, хотя и дорогою ценой, за то, что, по их мнению, самое ценное из всех подарков жизни.

Даже врачи, которые все здесь были штатскими людьми до войны и относились к ней как к самому отвратительному пережитку людскому, замечали, что совсем иначе относятся к войне вот все эти порезанные, изорванные, разmozженные.

Что же касалось Ливенцева, то теперь, когда с ним рядом была та, которую он любил, жизнь для него вошла как будто в свой зенит, — и это, несмотря на чудовищно распухшую неизвестно отчего ногу, в которой было чего-то «полно», несмотря на вонючие бинты своих товарищей по койке, несмотря на запахи йода и эфира и на весь вообще воздух лазарета, удручающий даже возле открытого и занавешенного марлей окна во двор, где зеленели какие-то кусты в палисадничке.

Наталье Сергеевне, когда она подходила к нему урывками, он все стремился рассказать о том, от чего его оторвало взрывом немецкого снаряда: о ночной атаке, о захваченных 402-м, 403-м и 404-м полками австрийских позициях на правом берегу Стыри против деревень Перемель и Гумнице и с деревней Вербенъ в середине этих позиций, о том, как бежали австро-германцы через Стырь по своим мостам, о том, как эти мосты были взорваны ими и горели, и пламя, отражаясь, плясало в реке.

Он только не знал, — не пришлось услышать, — сколько было взято тогда в плен, сколько захвачено ору-

дий, пулеметов, снарядов, патронов; но зато твердо знал, что только такой начальник дивизии, как генерал Гильчевский, мог дать своим полкам такой приказ, как «сбросить это безобразие на тот берег», и только такой командир полка, как Татаров, мог этот приказ исполнить.

Если бы Ливенцев не был контужен и если бы вздумал он кому-нибудь описать в письме, в каком удачном деле пришлось ему участвовать, начиная с отбития контратаки противника, он ведь не мог бы найти для этого никого, кроме Натальи Сергеевны, а теперь она была здесь, рядом, ей не нужно писать, ей можно рассказать об этом гораздо подробнее, чем в письме, и можно видеть, какими глядит она на него при этом родными глазами.

Когда Еля познакомила Наталью Сергеевну с Тюлевой и Бублик, она назвала Тюлеву «Мировою скорбью», а Бублик — «Ветром на сцене».

— Мировая скорбь, — это я понимаю, а что такое «Ветер на сцене»? — спросила, улыбаясь, Наталья Сергеевна.

— Ах, боже мой! Ну, понимаете, бывает же иногда нужно, чтобы на сцене был ветер, — не все же могильная тишина, даже когда действие происходит на улице, например, или где-нибудь на опушке леса! — пояснила Еля. — Вдруг поднимается ветер, и артистка должна сказать патетически: «Ка-кой ве-тер!» Конечно, с головы ее должна слететь шляпка, а из рук вырваться зонтик, и юбку чтобы надуло, как парус... Кто же ветер на сцене должен сделать?

— Машины какие-нибудь, я думаю, — добросовестно ответила Наталья Сергеевна.

— Ну вот, машины! Бублик это сама сделает без всяких машин: будет летать по сцене, как вихрь, и куда твоя шляпка полетит, куда зонтик от такого вихря!

Бублик действительно не ходила, а летала по лазарету, а так как была она очень добротна, то при этом на всех тумбочках вздрагивали пузырьки с сигнатурками и дребезжали ложечки в стаканах.

О Тюлевой Еля сказала между прочим, что скорбь ее оттого, что она боится, боится, страшно боится...

— Заразиться сыпняком? — попробовала догадаться Наталья Сергеевна.

— Нет, что вы! Разве от этого можно впасть в мировую скорбь? Все боятся сыпняка, — как же и не бояться, — и я боюсь тоже, — только она боится не столько

этого, сколько... — начала было объяснять Еля и сама себя перебила: — Догадайтесь сами!

— Ну где же мне догадаться!

— Ах, боже мой! Ну, просто, боится, как бы в нее все, все, решительно все не влюбились! Влюбятся вдруг все, и что же ей тогда прикажете делать? От этого самого и мировая скорбь!

В знойное засушливое лето быстрее зацветают и отцветают полевые цветы. Пусть они не бывают так крупны и ярки, как в обычное, когда перепадают дожди, но они успевают все-таки, хотя бы и перед близкой гибелью от излишнего зноя, исполнить свое предназначение.

Сестры в лазарете не только создавали кое-какой уют, необходимый раненым не менее, чем лекарства, — они перекидывали для каждого из них незримый мост к тому домашнему, наиболее дорогому, что было брошено им на родине. И не для одних раненых незримо строился этот мост, но и для врачей тоже, закинутых войною так далеко от своих близких, в обстановку, лишенную многого, чем была для них ценна жизнь.

Поэтому в лазарете царила тихая, но все же заметная влюбленность. Ее волна поднялась, когда появилась в нем Наталья Сергеевна, — красивая, высокая, строгая на вид, — но весь лазарет озарился ею и принял как бы праздничный вид, когда встретились в нем Наталья Сергеевна и тяжело контуженный прапорщик Ливенцев, — невеста и жених, как это было решено всеми, хотя и не говорилось ими.

Контужия Ливенцева стала поэтому общей заботой лазарета, и возле его койки считали необходимым останавливаться участливо не только врачи и сестры, но и ходячие раненые, и всем хотелось решить прежде всего задачу, — перелом или разрыв связок, или то и другое вместе у жениха новой сестры Веригиной, так счастливо встретившего здесь свою невесту.

Когда же Еля Худoley не раз, то вместе с Натальей Сергеевной, то одна, останавливалась около Ливенцева, внимательно в него вглядываясь, он сказал:

— Послушайте, мне кажется, я вас где-то видел когда-то раньше, только не помню точно, где именно.

— Мне тоже кажется, но я тоже не помню, — ответила Еля. — Так много пришлось видеть офицеров, — тысячи.

— Я, может быть, вспомню все-таки, тогда вам скажу.

— Хорошо. А если я раньше вспомню?

— Это вполне возможно. Тогда вы мне скажете.

К вечеру первого же дня Ливенцев припомнил ясно яркий солнечный день и улицу в Севастополе, на которой он встретил юную, даже слишком юную сестру, и когда теперь эту при нем называли Елей, вспомнил, что и ту звали точно так же.

Прошло почти два года с тех пор, но он припомнил и то, как пил чай с карамельками на квартире у той Ели, жившей еще с какою-то долгоносой сестрой, стучавшей по полу высокими, но прочными каблуками на просторе двух комнат почти без мебели, низеньких и затхлых. Он долго силился вспомнить, где и когда видел ее еще раз, и представил наконец хату на Мазурах, возле которой остановились в зимний вечер сани с ним, Ливенцевым, когда его, раненного пулей в грудь навывлет, отправляли в тыл.

В этой хате устроен был питательный пункт; из хаты, пробираясь сквозь густую толпу солдат, вышла сестра, маленькая, закутанная, с кружкой горячего чая в руках и спрашивала звонко: «Где здесь лежит офицер раненый? Кому тут чашку чаю просили?..» Ливенцев припомнил и то, что тогда он узнал в ней Елю, она же не узнала его, что было и легко объяснимо: он был слабо освещен жиденьким желтым светом, едва сочившимся из одного окна, и тоже весьма старательно закутан, так как стоял тогда лютый холод.

И когда она теперь, в лазарете, подошла к нему снова, — просто остановилась на секунду мимоходом, — он сказал ей, улыбувшись:

— Я вас вспомнил: вы — Еля из Севастополя.

— А-а! — неопределенно протянула она. — Мне кажется, что и я вас тоже чуть-чуть помню: вы были там во втором временном госпитале, да?

— Нет, Еля, там в госпитале я не был, но суть дела от этого не меняется.

Он улыбался, несмотря на боль в ноге, которая не утихала и неизвестно чем угрожала ему впоследствии. Осчастливленный в этот день совершенно для него неожиданной милостью судьбы — встречей с Натальей Сергеевной, он думал, что счастливее быть уже нельзя, что это — предел возможного на земле счастья.

И все-таки он видел, что встреча, тоже нежданная, с совершенно почти забытой им, очень мало ему известной и раньше Елей делает его еще радостней почему-то.

Когда Гильчевский послал донесение в штаб корпуса о том, что части его дивизии сбросили австро-германцев с предместного укрепления против деревень Перемель и Гумнице, там это приняли, как должное: иного от 101-й дивизии и не ждали.

Но обстановка на фронте сложилась так, что одного этого было недостаточно: брусиловский приказ о наступлении с утра 21 июня оставался приказом, который необходимо было выполнить, и комкор Федотов приказал в свою очередь Гильчевскому развить успех, то есть форсировать Стырь и отбросить противника от левого берега этой реки.

— Ну вот, раз ты груздь, лезь поэтому в кузов! Форсировать Стырь! Хорошенькое дело, нечего сказать! — начал бушевать Гильчевский, получив такой приказ. — Ведь донесли же мы, что мосты сожжены?

Полковник Протазанов, к которому обращен был вопрос, ответил не на него, а на другой, какой, по его мнению, непременно задал бы вслед за тем его непосредственный начальник:

— В штабе одиннадцатой армии составляется общий план действий: там в частности не входят; а приказ идет ведь оттуда через генерала Федотова.

— Хотя бы от черта и дьявола, — безразлично! Что же они думают, что я упустил бы возможность сам перебросить дивизию через эту Стырь, были бы мосты целы? — кричал Гильчевский. — А как их, эти мосты, можно было сохранить, когда взрывать их начали немцы с того берега? Даже и своих не пожалели, когда наши на их плечах оказались... Разве полки наши понесли бы такие потери, если бы не мосты!.. А они говорят там, — разговоры разговаривают, в благодатной древесной тени, в Волковые!

В деревне Волковые, верстах в тридцати от Копани, был штаб 32-го корпуса, — учреждение, совершенно бесполезное для дела, в чем так глубоко убежден был Гильчевский, что Протазанов даже и не пытался с ним спорить. Он сказал только:

— Тот берег укреплен гораздо лучше, нужно думать, чем был этот, и в штабе корпуса, и в штабе армии должны это знать.

— А конечно, должны были бы знать, — не институтки! Однако, очевидно, не знают!

— Может быть, понтоны для нас приготовили?

— Понтоны?.. Это было бы тогда не так глупо, — понтоны!.. А только, позвольте-с, почему же об этом не сказано в приказе?.. Может быть, и в самом деле понтоны пришлют, иначе зачем бы так категорически приказывать форсировать Стырь?

— Будем думать еще и так, что ведь не одна наша дивизия, а все, кто стоит на Стыри, получили подобный приказ, — сказал Протазанов.

— Думать мы не будем, — отозвался на это Гильчевский, — а просто справимся у соседей, — раз, справимся в штабе корпуса насчет понтонов, — два, и наконец откроем завтра с утра пальбу для пробивки проходов, — три, — вот и все.

Справились и в штабе корпуса, и у соседей.

Из штаба корпуса ответили, что речь о понтонах была и понтоны обещаны, но пока в распоряжении штаба их еще нет; обещаны также и подкрепления, но пока еще не прибыли; однако и то и другое ожидается в ближайшее время.

Гильчевский повеселел, когда это услышал. Повторив раза три: «Ожидается в ближайшее время», он наконец расхохотался.

— Что мне это напомнило, — умора!.. Я тогда в реальном училище учился, а у нас, не в пример гимназиям, проходились естественные науки. И вот, узнали мы, — в шестом это, кажется, было классе, — состав человеческой крови... Я тогда даже и не представлял себе, что впоследствии с человеческой кровью буду иметь такое запутанное дело, как в эту войну... Ну вот, хорошо, узнали мы, что входят в кровь такие вещества, как гематин, глобулин, гемоглобин, — как сейчас помню! — И что же мы вздумали, — три человека нас было, закадычных приятелей, — пошли мы ходить по лавкам — бакалейным, галантерейным, даже в скобяной ряд зашли, — и везде спрашиваем с самым серьезным видом: «А что, у вас глобулина нету?» — «Как-с? — приказчики это. — Как-с вы назвали?» — «Глобулина». — «Глобулина? Нет-с... пока не имеется». — «Ну, а гематина? Или, может, гемоглобин у вас есть?» И вот тут один бойкий приказчик в скобяной лавке с ног нас от смеха свалил. «Сейчас, — говорит, — не имеется, но в ближайшее время ожидаем-с!»

Соседи с правого фланга, оказалось, тоже ожидали подкреплений, притом с часу на час, так как положение

там было серьезное: это было левое крыло подсобных частей 45-го корпуса, оторванное от правого прорывом немцев.

Прорыв этот, правда, не получил развития, но немцы как будто готовились его развить. Вообще не было точно известно насчет немцев, но приказ о наступлении с утра 21 июня был получен и соседями справа, так же как и соседями слева — 105-й дивизией.

То, что не было очевидным для каждой отдельной дивизии на фронте, вырисовывалось гораздо яснее из общих сводок, составлявшихся в штабе Брусилова. Там видели, что сколоченная Линзингеном сильная группа генерала Марвица, имевшая задачей прорваться к Луцку, истратила свои силы, ничего не добившись; восьмая армия устояла; прорыв на правом крыле одиннадцатой зашили; левый фланг группы Марвица — 22-я немецкая дивизия, имевшая предместное укрепление на Стыри и лелеявшая замысел прорвать русский фронт и здесь, — был отброшен за Стырь. Отразив удар противника, нападают, — это основной закон всякой борьбы, и приказ Брусилова не пытался изменить это; резервы же подходили с возможной в то время поспешностью.

На отбитом его полками участке правого берега Стыри Гильчевский был и успел составить себе понятие о том, насколько сильны были позиции австро-германцев на другом берегу. Окончательно же ясно стало это после опроса нескольких пленных офицеров.

Всего взято было в плен до полутора тысяч человек и не меньше погибло, частью во время боя, частью на переправе. Но пленные сообщили, что, кроме немецкой 22-й, накануне сражения начали стягиваться сюда полки свежей австрийской дивизии, отправлявшейся было в Тироль, но изменившей маршрут.

— Против двух дивизий противника, — говорил у себя в штабе Гильчевский, — вести одну нашу, которая свелась теперь почти к бригаде, даже и по мостам можно только в состоянии белой горячки. Я, конечно, изложу свои соображения генералу Федотову и буду просить об отмене его приказа. Но пальбу завтра с утра мы должны открыть и откроем с пяти часов... чтобы прочистить кое-кому мозги, благо снаряды пока имеем.

Пальба началась ровно в пять. К двенадцати отчетливо стали видны широкие проходы в проволоке противника. Одновременно с этим пришел приказ форсирование

Стыри отменить, дожидаться прихода 10-й пехотной дивизии, а 7-ю кавалерийскую отправить далее, в тыл всего 32-го корпуса.

* * *

7-я кавалерийская снялась с места в тот же день к вечеру, так как к вечеру подтянулся первый полк обещанной 10-й пехотной. Помня, как командовал генерал Рерберг двумя его полками, Гильчевский отпускал конницу без особого сожаления, тем более что, в случае нужды в ней, она все-таки была под руками, хотя и выходила из-под его начальства.

Как раз в час выступления драгун, когда Ревашову, объезжавшему фронт, вздумалось дать тычка в морду одной артачившейся лошади, та изловчилась дернуть его зубами за руку.

Конечно, лошадь была обучена плохо, если позволила себе так обойтись с рукой бригадного генерала, и пострадал за ее невоспитанность ездивший на ней драгун Косоплечев, но рука Ревашова, к счастью левая, оказалась все-таки помятой несколько выше кисти и нуждалась в перевязке, которую тут же и сделал полковой врач.

Приготовляясь к переходу на новую стоянку, Ревашов, ввиду возможного дождя, надел тогда диагональную тужурку, которую лошадь не прокусила, так что раны-то не было, однако он счел необходимым показать свою руку врачам в Дубно: нельзя было упускать случая прокатиться в тыловой город, несколько освежиться, кое-что купить в тамошних магазинах, пообедать в хорошем ресторане, во всяком случае в лучшем, какой там можно будет найти.

Он считал, что и независимо от выходки лошади драгуна Косоплечева заслужил однодневный отдых после боевых трудов и лишений, понесенных им во время обороны участка фронта, доверенного дивизии, тем более что это был первый случай в истории их дивизии за все время войны, что ей пришлось нести обязанности пехоты.

Он привык думать о себе, как об очень удачливом человеке. Так было с ним и смолоду, во время прохождения службы, так оставалось это и теперь: война тянулась уже два почти года, но ни разу не ставила его в положение прямого риска жизнью. Ни полку, которым он командовал в начале войны, ни бригаде, которую он получил вместе с генеральством, не приходилось участвовать в атаках, — нестись с шашками наголо на неприятеля.

тельские части, хотя бы и отступающие поспешно под натиском на них пехоты, и подставлять тем самым себя под выстрелы и штыки.

Японо-русская война его совсем не коснулась, — драгунский полк, в котором он служил тогда, не посылали на Дальний Восток: его берегли на случай подавления «внутренних беспорядков», что и пришлось ему делать осенью 1905 года и за что сам Ревашов получил тогда очередной орден и движение по службе.

Женат он не был. Он составил себе твердую программу жизни и этой программы держался: неукоснительно наслаждаться всеми благами, не обременяя себя заботами, неразлучными с существованием семейных людей. Женитьбу он откладывал до первого генеральского чина, когда можно было подыскать приличное приданое за невестой. Как всякий кавалерист, он вполне искренне любил лошадей и невесту представлял в имении с хорошим конским заводом или с полной возможностью завести его.

В Дубно, однако, он поехал в легковом автомобиле.

Для необходимых в дороге услуг и для того, чтобы таскать покупки, он взял с собою своего денщика, который попал к нему еще перед войною и оставался при нем во время войны. Фамилия этого денщика-украинца была Вывикишка, но Ревашову нравилось, обращаясь к нему, ни одного «и» в его фамилии не оставлять, а все превращать в «ы», что больше подходило к наигранному командирскому рыку генерала солидных лет.

Погода выдалась прекрасная: солнце, но не жарко, не пыльно. Машина была еще не истрепанная, бежала бойко. И двух часов не прошло, как показался город.

Пренебрежительно, отваясь на мягкое сиденье, смотрел Ревашов на домишки пригорода, которые и раньше, только что построенные, нуждались в капитальном ремонте, а теперь, в конце второго года войны, действительно имели жалкий вид. Копошились около них ребятишки в латаных рубашонках; озабоченно тыкались носами в выброшенные на улицу помои скрюченные ребрастые псы.

Лазарет, в который ехал Ревашов, помещался на одной из главных улиц, и это был тот самый лазарет, в котором лежал Ливенцев.

У Ревашова был адрес, но лазаретов на одной улице было несколько, однако не на всяком доме, отмеченном флагом с красным крестом, можно было сразу разглядеть

номер, и раза три останавливалась машина и раздавался рык:

— Вырвыкышка! Посмотри, — этот?

Лихого вида черноусый денщик выскакивал из машины, — он сидел рядом с шофером, — подбегал к дому, оглядывал его снаружи, спрашивал у кого-нибудь внутри, возвращался и докладывал, растопырив пальцы у козырька.

— Никак нет, ваше превосходительство, — наш дальше.

Когда же доехали наконец, он сказал:

— О це це, він самый и е! (Ревашов любил, чтобы Вырвыкишка говорил иногда по-украински.)

Левая рука Ревашова была подвязана к шее; никакой надобности в этом не было, но он сам настоял на этом, когда ему сделали первую перевязку: так, ему казалось, было гораздо более похоже на ранение чем-нибудь огнестрельным или даже хотя бы холодным оружием, что иногда бывает не менее опасно.

Вырвыкишка открыл дверцу, и Ревашов вышел важно, искоса поглядывая на свою руку. Он даже с полминуты подождал, — не выбегут ли ему навстречу, но когда никто не выбежал, поднялся по ступенькам крылечка, выходившего на улицу, крылечка с резьбой и даже окрашенного когда-то веселой золотистой охрой, но теперь облупленного и с отбитой кое-где резьбой.

— Где тут у вас, э-э?.. — спросил он у фельдшера с полотенцем, первым попавшегося ему на глаза в коридоре, и при этом только кивнул на свою руку, чтобы не унижать себя длинным разговором с нижним чином.

— На прием желаете, ваше превосходительство? — догадливо отозвался фельдшер и распахнул перед ним дверь, из которой только что вышел сам. — Сюда пожалуйста!

Ревашов вошел в довольно просторную комнату, в которой было трое в белых халатах: двое мужчин — врачи и одна сестра.

И в то время как оба врача, с большою любезностью усадив генерала за стол, начали расспрашивать, что с ним случилось, и потом снимать повязку и разматывать бинт, сестра стояла в отдалении, у окна, как пораженная внезапной потерей способности и двигаться, и говорить. Сестра эта была Еля, и Ревашова узнала она с первого взгляда, хотя он уже значительно изменился за годы

войны не только благодаря генеральскому чину, но и лицом и фигурой.

Голова Ели была повязана белым платком-косынкой; и первое, что она сделала, когда вернулась к ней способность шевелиться, старательно спустила свою косынку пониже на лоб, чтобы он не мог узнать ее с первого взгляда, так же, как узнала она его. Однако она не вышла из приемной и жадно вслушивалась в то, что говорилось им, Ревашовым, и врачами.

Она не ожидала того, что рана Ревашова серьезная, — иначе он должен был бы держаться при серьезной ране, — но то, что ей пришлось услышать о лошади, о лошадиных зубах, которым захотелось вдруг откусить генеральскую руку, насмешило ее совершенно против ее воли: она отвернулась, правда, при этом к окну, но не могла удержаться от улыбки.

Она подумала, что если бы был здесь сам Ванванч, он не стал бы и разговаривать с таким «раненым», хотя бы и генералом; сказал бы: «Некогда-с!» — и ушел, а с этими двумя молодыми Ревашов расположился тут, как у себя дома.

В то же время ей не хотелось, чтобы он встал, простился с врачами и ушел бы к себе в автомобиль, который она видела в окно, узнав даже и Вырвикишку, того самого, какой был у него в квартире тогда, два с половиной года назад, в Симферополе. Быть может, Вырвикишку она и не припомнила бы даже, если бы просто встретила его на улице, но теперь узнала его так же сразу, как и Ревашова.

И тут, за какие-нибудь семь-восемь минут, проведенных Ревашовым на приеме, на нее нахлынуло так много, что все тело ее начало вдруг дрожать крупной дрожью. Она вздергивала плечами, чтобы сбросить с себя эту дрожь, и не могла сбросить совсем, только слегка приостановила ее.

Все, что пришлось ей пережить тогда, в ту ночь, и потом, позже: пораженный до глубины души отец, которого называли в городе «святой доктор» за то, что не только бесплатно лечил он бедных, но и на свои деньги покупал им лекарства и другое, в чем они нуждались; мать, такая взбалмошная всегда, но в то время тоже как пришибленная несчастьем, ворвавшимся к ним в дом; старший брат Володя, который несколько дней не ходил в гимназию и все кричал истерично, что ему стыдно... стыдно иметь такую сестру, как она...

И вот теперь уже нет отца, — он убит, хотя он был полковой врач, — а бывший полковник Ревашов теперь стал уже генерал, он вполне благополучен, он даже ни разу не был и ранен, — как она слышала, — а если и вздумалось лошади укусить его, то это она могла бы сделать и гораздо раньше, до войны, — в любое время.

Раза два она взглядывала на него вполоборота. Врачи не окликали ее, — им не нужна была ее помощь для пустячной перевязки, тем более что, возясь с рукой генерала, они наперебой старались выпытать у него, как дела на фронте: слух о немецком прорыве дошел до них и их не на шутку встревожил, а генерал победоносно сказал: «Ерунда! Полнейшая ерунда!» Это ли было не утешительное?

Раза два или даже больше подмывало ее подойти к столу, за которым он сидел, стать перед ним, посмотреть на него в упор и спросить: «Ты меня помнишь?» Непременно так, этими тремя словами: «Ты меня помнишь?» И большим усилием воли она поборолась себя, подумав, что тут, при врачах, он может вдруг сказать: «Нет, не помню и не знаю, и почему это вам вздумалось обращаться ко мне на «ты»?»

Это остановило ее, но, как только он встал и начал благодарить врачей и прощаться, она тут же выскочила боком мимо него в двери.

Что ей сделать дальше, она не представляла ясно, но, чуть только отворилась захлопнутая ею дверь приемной и она почувствовала, что за Ревашовым может выйти следом кто-нибудь из врачей, которым, кстати, совершенно нечего было сидеть в приемной, — она бросилась на крыльцо и, не помня себя, соскочила по ступенькам к машине.

Вырвикишка стоял, поглядывая на дверь крыльца. У нее мелькнуло, что он не узнает ее, конечно, и несколько не удивится, если она будет говорить с Ревашовым при нем. Шофер-солдат сидел за рулем, делая что-то с мотором, и на нее не взглянул даже.

Наконец Ревашов показался на крыльце.

Из-под низко надвинутой на глаза косынки Еля взглянула на него и снова отвернулась, подумав, что вот он теперь видит ее у своей машины и объясняет это, должно быть, заботой врачей о нем, боевом генерале: послали, дескать, чтобы помочь ему войти внутрь, поддержать его, раненного в горячем сражении в руку.

Он именно так и подумал, — она угадала. Он погля-

дел на нее с любопытством, спускаясь с крыльца, но только что подошел он к машине, стараясь при ней, при женщине, шагать молодцевато, она быстро откинула козынку назад, показав весь свой крутой и красивый лоб, и спросила именно так, как придумала в приемной:

— Ты меня помнишь?

Всего только несколько мгновений оставались скрещенными их взгляды, и она успела припомнить за эти короткие мгновенья, что он — два с половиной года назад — говорил ей, что делит всех женщин на три разряда: пупсы, полупупсы и четвертьпупсы, — наименее интересные, а ее причисляет к первосортнейшим пупсам; только успела припомнить это и заранее испугалась, — вдруг он вскрикнет: «Пупса! Ты!» И...

Она не могла вообразить, что может он сказать или сделать дальше, но вдруг по глазам его, загоревшимся было и тут же потухшим, поняла, что он узнал ее, однако счел лучшим сделать вид, что не знает.

— Нет, не помню, э... И как вы смеете говорить мне «ты»? — как-то сквозь зубы протиснул он, ставя ногу на подножку своей машины, дверцу которой держал открытой Вырвикишка.

— Подлец! — крикнула она, вся задрожав снова, как недавно в приемной, и плюнула ему в толстую тщательно выбритую щеку.

Ревашов вскочил в машину, сразу потеряв всю свою важность, Вырвикишка захлопнул дверцу, потом с большой быстротой занял свое место рядом с шофером, и машина, которая перед тем фырчала мотором, сразу дала ход, унося от Ели не только самого Ревашова, но и долгие-долгие, тысячи раз и на тысячи ладов перебираемые мысли ее о нем.

Но эти мысли, эти замки, пусть воздушные-развоздушные, они все-таки, хоть и незримо, однако ощутимо подпирали, поддерживали ее под покатые девичьи плечи, давали возможность ей переносить многое, чего, может быть, и не перенесла бы она без этой подпоры.

И вот все рухнуло сразу около нее. Машина исчезла, — завернула за угол. Дома, в котором помещался их лазарет, она даже не разглядела потом в первое мгновенье, — ей показалось, что он тоже исчез. Почувствовав, что может упасть, если не схватится за что-нибудь твердое, она путаной походкой подошла к крыльцу сбоку, уткнулась лбом в перильца и зарыдала, дергаясь по-детски телом.

Это увидела в окно Наталья Сергеевна; она тут же

выскочила к Еле. Она обняла ее, стараясь заглянуть ей в глаза, спрашивала испуганно:

— Что с вами, Елипка, что такое?

Она подумала было даже, не упала ли как-нибудь Еля с крыльца, перевесившись через перила, но Еля не отвечала, только рыдала неутешно, и женским чутьем Наталья Сергеевна связала воедино генерала, которого она только что видела в коридоре, автомобиль, который стоял у крыльца, и Елю, которая почему-то вдруг очутилась на улице...

— Слушайте, Елинька, это, значит, был он? — спросила она.

Еля не отвечала. И почти уверенная уже в том, что генерал, — бывший тогда полковником, — тот самый, о котором рассказывала ей Еля, она спросила ее на ухо:

— Это он?

— Нет... Это — совсем другой... — сквозь всхлипывания, уже затихавшие, ответила Еля.

* * *

Вслед за первым полком 10-й пехотной дивизии — 37-м — появился в Копани и начальник этой дивизии генерал-лейтенант Надежный.

Гильчевский никогда не встречался с ним раньше, хотя фамилия его попадалась ему в газете «Инвалид» и журнале «Разведчик», когда он просматривал новогодние списки награжденных, и он ее запомнил. Надежный тоже окончил военную академию, но двумя годами позже Гильчевского, и служба его протекала не на Кавказе, а в одном из восточных округов.

Вместе с фамилией, не допускающей сомнения в нем, природа подарила ему и вполне подходящую к этой фамилии внешность. К Гильчевскому подошел такой отменный здоровяк, что он не удержался, чтобы не воскликнуть:

— Ого! Да вы один стоите целой дивизии! — на что Надежный снисходительно усмехнулся, как человек, давно уже привыкший выслушивать по своему адресу кое-что подобное.

Годами он был явно моложе Гильчевского, — ни одного еще седого волоса не было в темноватой шевелюре над его мощным квадратным лбом, также и в усах стрелами и в очень коротко, чуть не у самой кожи, подстриженной бородке. Неопределенного цвета глаза его прятались

в толстые веки, а когда улыбался он, их не было видно совсем.

— Наслышан о вас и от корпусного командира, и из других источников тоже, — постарался комплиментом на комплимент ответить Надежный, неожиданно для Гильчевского обнаружив при этом, что у него певучий и не по фигуре высокий голос. — Чудеса творите со своей ополченской дивизией!

— Ну, так уж и чудеса, — нашли чудотворца! — поморщился Гильчевский, добавив: — Вот потому-то, конечно, мне и приказано было форсировать Стырь без мостов: провести дивизию по водам, яко посуху... Насчет этого хождения по водам неплохо сказал, как известно, один польский еврей-скептик: «Что Иисус Христос ходил себе по водам, то отчего же нет? Все это могло быть, — но же бы там было глем-бо-ко!..» Стырь же имеет тут на моем участке сорок сажен ширины, а глубина, — местами, конечно, — до двух сажен доходит! Вот и не угодно ли вам форсировать такую штуковину без мостов!

— Конечно, без мостов нельзя, кто же против этого будет спорить... В штабе корпуса уверены, что вот-вот придут понтоны, — тогда уж вправе будут от нас с вами потребовать...

— На обе дивизии дадут понтоны? — перебил Надежного Гильчевский и с большой пытливостью постарался разглядеть его глаза.

Но Надежный только развел руками, говоря:

— В эти тайны, простите, не посвятили меня.

— Та-ак-с! — протянул Гильчевский. — Значит, вы не настаивали на том, чтобы вам это сказали, а между тем, осмелюсь вам доложить, вопрос этот — самый существенный.

Следуя своим кавказским обычаям, Гильчевский угостил Надежного всем, что мог отыскать в его походном погребце вестовой Архипушкин.

Не привыкший к тому, чтобы о нем и его дивизии заботилось корпусное начальство, Гильчевский полагал, что для временно прикомандированной к корпусу, притом кадровой, дивизии штаб армии даст все, что будет необходимо, в избытке, так что, авось что-нибудь переплеснет и ему, а задача форсировать Стырь и без приказа свыше никак не могла выскочить из его головы. До приезда Надежного он прикидывал на глаз всякие возможности к тому, чтобы достать необходимый материал для мостов. Все разбитое дерево прежних мостов, какое медленно

плыло по реке, он приказал выловить, и это сделали ночью, но получилось его слишком мало. Бродов не было, островов не было, но топкие болота в обе стороны от реки были большие. По его приказу плетни и решетки делались тут, в лесу, гораздо прилежнее, чем на Слоневке, и если бы на его долю достались понтоны, вопрос о переправе своей дивизии он считал бы решенным. Но на всякий случай приглядывался он и к хатам деревни Копань, много ли в них делового леса, и к деревьям в лесу, вспоминая, как пришлось ему разыскивать на месте все нужное для переправы на такой реке, как Висла, в полверсты шириною.

Угощая Надежного, он старался решить для себя, так ли этот прочный генерал на самом деле надежен, чтобы быть спокойным за то, что его 10-я дивизия не подведет 101-ю, когда начнется серьезное дело.

Весь участок фронта, занимаемый дивизией Гильчевского, тянулся на десять верст; этот участок теперь был поделен пополам командиром корпуса, притом так, что северная его часть приходилась на долю Надежного, а на южную Гильчевский должен был стянуть свои полки. Когда об этом услышал от самого Надежного Гильчевский, он начал раздумывать вслух:

— Генерал Федотов рассудил, как Соломон. Вот план, — вот ваш участок. Видите, — ваш берег Стыри гораздо более болотист, чем мой теперешний...

— Неужели? — встревожился Надежный, взглядываясь в карту местности.

— Да, как видите, болотистей. Но зато считаю нужным вам сказать, мой участок пришелся против гораздо более сильных укреплений противника, чем ваш, так что одно уравнивает другое.

— Так-то так... То есть, весьма возможно, что уравнивает, однако эти болота, — ведь они топкие? — продолжал тревожиться Надежный.

— Такие же топкие, как и мои, только, — вы сами видите, — на вашем участке полоса их шире, чем на моем, — испытующе глядя на него, объяснил Гильчевский. — А когда вы объедете всю линию сами, то увидите это своими глазами.

— Вы объезжали, конечно, линию... на чем? — спросил Надежный.

— Разумеется. Верхом я обыкновенно... Там сейчас занимают позиции два моих полка — четыреста второй

и четыреста четвертый... Хорошие полки оба... Впрочем, плохих у меня не имеется.

Надежный упорно, долго разглядывал карту, и Гильчевский понимал, что он усиленно думает над тем, какой из двух участков выгоднее и не поддел ли его Федотов, дав ему заведомо более топкий.

— Да, разумеется, силу позиций противника могут выявить разведчики, — сказал наконец Надежный, — сообразно с чем и можно будет поступить потом... Но вот эти болота...

— Хорошо, если вас больше смущают болота на этом, чем укрепления на том берегу, — энергично прервал его раздумье Гильчевский, — то давайте меняться, — мне все равно.

Это озадачило Надежного. Видно было, что он заподозрил и тут какой-то подвох, поэтому возразил, хотя и не очень уверенно:

— Неудобно меняться, что вы! Разве что доложить об этом корпусному командиру?.. Да нет, как можно!.. Ведь распоряжение пришло из штаба армии, — изменять его нельзя.

Гильчевский увидел, что его «правая рука» — Надежный — окончательно решил про себя, что его участок все-таки менее трудный, если ему предложили обменять на другой, налил себе и ему по стаканчику водки и сказал энергично:

— Ну, хорошо! Запьем, в таком случае, то, что не от нас зависит, — заьем горе веревочкой.

Чокнулся, выпил и, не закусывая, добавил:

— На пяти верстах не разгуляешься, и никаких комбинаций не придумаешь... Не знаю, впрочем, как вы, а я нахожу только один выход: буду бить в лоб. А уж что из этого выйдет, — аллах ведает. Вся моя надежда на понтоны.

Закусывая уже после этого охотничьей колбасой, Гильчевский снова пытливо приглядывался к Надежному, но тот старательно жевал вполне исправными зубами эту же жесткую колбасу и был совершенно непроницаем.

Только на другой день, когда оба они были вызваны на совещание к Федотову в село Волковью, Гильчевский узнал наконец, что понтонный парк решено уже передать Надежному.

Но не только одно это узнал он в Волковье.

Это была большая деревня, вполне достаточно удаленная от центра, чтобы отсюда «руководить» действиями корпуса, время от времени подходя к телефону, если нужно было звонить самому или выслушивать, что доносили и что передавали из штаба армии.

Сам Федотов занял чистенький каменный дом, крытый черепицей, а штаб свой поместил в просторной хате рядом.

Гильчевский не один раз видел Федотова и раньше и всякий раз пытался и все же не мог представить, как мог бы этот человек вести себя, если бы получил во время этой войны не корпус, а дивизию, которую нужно было бы водить в бой.

Много чиновничьего, много барского, много кабинетного было в Федотове, но решительно ничего боевого. Гильчевский думал даже, что едва ли способен он ездить верхом.

Он был не так и стар, — всего на два года старше Гильчевского, — и на вид вполне благополучен по части здоровья, но не мог обходиться без парного молока по утрам, так что если бы совсем перевелись коровы в деревнях на Волыни, то при штабе его корпуса непременно завелась бы корова.

Охотничья собака — пятнистый сеттер — неизменно лежала около его стола. По словам Федотова, это была редкостная на чутье и стойку собака, но сам он никогда не охотился раньше, тем более теперь, и зря старался в свое время редкостный сеттер, по кличке Джек, развивать природные таланты. Зато утром и вечером вестовой генерала водил Джека купать на речку, и там на свободе мог он гонять с берега в воду гусей и уток, наслаждаясь их встревоженным криканьем и гоготаньем.

Сам Федотов был невысокий, сытенький, благообразный, на вид моложе своих лет, в меру лысоватый и не то чтобы с сединою, но с голубизною в опрятно приглаженных волосах.

Академию он окончил раньше Гильчевского, но вся служба его протекла в штабах, поэтому по части военного крючкотворства он был немалый знаток. Однако он считал себя знатоком и в искусстве ведения боя, своей личной распорядительности приписывал успехи своего корпуса и в то же время ревниво следил за успехами всех других командиров корпусов не только в одиннадцатой армии, но и в других, и не на одном только Юго-западном фрон-

те, и не только командиров корпусов, но и командующих армиями тоже.

Так, первое, что от него услышали Гильчевский и Надежный, когда приехали к нему в Волковью на совещание, было неприкрыто-радостное восклицание:

— А Рагоза-то, Рагоза! Ни-че-го-то решительно у него не выходит! Только что мне говорили из штаба армии: почти провалил наступление!

— Какой Рагоза? — спросил, недоумевая, Гильчевский.

— Ну вот на тебе, — Рагозы не знать! — удивился Федотов. — Кому, кажется, он не известен, а вот вам объяснять надо! Рагоза — командир группы войск на Западном фронте, и вот он провалил наступление!.. А сколько подготовки было! А сколько разговоров всяких! Надежд на него сколько возлагали, я вам доложу, — уши Рагозой прожужжали, — а в результате оказался ни к черту!

И Федотов даже и руки — круглые, мягкие, белые — потирал, точно от удовольствия, что известный ему генерал Рагоза потерпел неудачу.

Гильчевский, конечно, сразу же понял, о каком Рагозе идет речь. Он знал и то, что Рагоза — командующий четвертой армией у Эверта, что эта армия соседствует с третьей, отошедшей к Брусилову, что там должно было начаться, но все откладывалось наступление на город Барановичи, и если спросил все-таки: «Какой Рагоза?», то потому только, что не мог понять, почему у Федотова такой довольный вид, если проваливается замысел этого Рагозы, — то есть замысел ставки, — поддержать Юго-западный фронт сильным ударом по немцам, прорвать их фронт и захватить Барановичи.

Так и хотело сорваться у него с языка: «Эх, вот вас бы назначить на место Рагозы командовать группой корпусов и дивизий! Вот у вас бы, конечно, пошла бы музыка не та!» И если не сорвалось все-таки это, то только потому, что боялся он, как бы Федотов не принял этого за чистую монету и не отозвался бы самодовольно: «Да, разумеется, я бы иначе повел бы дело, и Барановичи были бы уж теперь взяты!»

Впрочем, и разговор насчет операции Рагозы не затянулся: Надежный, ухватившись за то, что Федотов упомянул неудобные для действий артиллерии леса и болота, кстати ввернул, что болота оказались и на его участке на

Стыри и что не лучше ли было бы для пользы дела ему с Гильчевским обменяться участками...

Мягко улыбаясь при этом и пряча глаза, Надежный закончил это так:

— Константин Лукич в разговоре со мной высказался за то, что непрочь был бы переместиться туда.

— Послушайте, что вы! — возмутился Гильчевский. — Разве о том я говорил, чтобы переместиться?

— Неужели нет? Значит, я просто не так вас понял, простите! — сказал Надежный.

А Федотов поддержал его:

— Да, вот видите, болота — это, конечно, большое затруднение, большое... очень большое...

Но добавил, потеряв небольшие усики и снова их тщательно пригладив:

— К сожалению, если бы даже и Константин Лукич высказался за это, то ломать диспозицию штаба армии я не могу... Наконец, это значило бы разбивать мой корпус на две части, а вашу дивизию втиснуть в середину, — что вы, разве это возможно?.. Джек, тубо!

В совещании генералов принимал участие и Джек тем, что деятельно обнюхивал сапоги Надежного, пахнущие, быть может, болотной дичью, о чем и не подозревал их владелец.

Вот тут-то Гильчевский и заговорил о самом важном, что было ему необходимо, — о понтонах, а когда Федотов ему сказал, что понтоны придут в таком количестве, что едва ли и на одну дивизию хватит, быстро спросил:

— Что же, — пополам поделить их в таком случае?

— Ну, что же там делить! — ответил Федотов. — Получится ни то ни сё: ни богу, как говорится, свечка, ни черту кочерга. Поэтому...

Гильчевский так и впился в него потемневшими уже глазами, предчувствуя окончание фразы, на которой запнулся Федотов, и даже повторил непроизвольно:

— Поэтому?

— Они все, сколько их будет, направлены будут вот в десятую дивизию, — договорил Федотов.

— А... а почему же это, позвольте узнать, дивизию своего корпуса вам непременно хочется утопить в этой Стыри? — не сдержался, чтобы не задать своему начальнику такого вопроса Гильчевский, но Федотов сделал вид, что не обиделся, вполне понимая его горячность. Он даже слегка усмехнулся, говоря:

— Десятая дивизия у нас гость, — ей и лучший кусок

за столом, а вы, Константин Лукич, — даже и в штабе армии так думают, — вы-то уж непременно обойдетесь без понтонов!

— Как же это так обойдусь, хотел бы я знать?

— Э-э, как! Это уж вы доказали, что умеете обходиться!.. Тем больше вам будет и чести, — снова усмехнулся при этом поощрительно Федотов.

— Не понимаю, какая же будет мне честь, если я утоплю свою дивизию! — возмутился Гильчевский. — Неужели в штабе армии не представляют, как это произойдет? Большого воображения тут не нужно: без мостов полки могут, конечно, сунуться в воду на этом берегу, чтобы на тот не выйти.

— Выйдут, Константин Лукич, выйдут! У вас непременно выйдут, — не скромничайте! Вы им там из каких-нибудь местных материалов соорудите мосты, и выйдет это лучше, чем понтоны.

— Хорошо мосты сделать, — вспомнил Гильчевский хаты Копани, которые он уже решил, в крайнем случае, раздергать, — но ведь для этого нужно время!

— И время найдете, — ведь не завтра же это, — сказал Федотов.

— Как не завтра? — удивился Гильчевский.

— Да ведь наш командарм обратился к Брусилову за разрешением временно перейти к обороне ввиду больших потерь. Ведь и ваша дивизия только по имени дивизия, а фактически она не больше бригады.

— Даже несколько меньше бригады, — согласился Гильчевский. — Особенно печально, что офицеров в иных ротах ни одного... Да и батальонами некому командовать.

— Вот то-то и есть. Командарм просит пополнений. Точнее сказать, на ходатайство об этом и о том, чтобы перейти к обороне, генерал Брусилов вынужден был склониться, потому что неэкономно ведь наступать малыми силами, — лучше подзаправиться как следует и... таким образом! — Тут Федотов выставил перед собой разжатые пальцы и весьма энергично сжал их с наклоном к полу.

— Подзаправиться? — подхватил Гильчевский. — Подзаправиться только тем, что еще и еще людей наскрести и на фронт?.. А материальная часть?.. Почему несем такие большие потери? Потому, что человека у нас не ценят, вот почему! «Чего доброго, а людей настругано довольно, — хватит!» Хватит ли? Это еще большой вопрос! А лучше бы понтонов настругали побольше, чтобы

их хотя бы на две дивизии хватило, а не на одну только! Эх, жулики! Эх, недотепы!

— Это вы кого же жуликами считаете? — осведомился Федотов, разглядывая в это время раздвоенный черный нос своего Джека.

— Жуликами? Всех вообще, кто суется в волки, а хвост поросячий! — резко ответил Гильчевский. — За что ни хватись, ничего не имеем, поэтому где одного Ивана за глаза довольно, — десять давай! Мои люди наведут мосты, — они сделают, а сколько их погибнет ради этого совершенно зря? Да ведь это целой атаки стоять будет — под огнем противника наводить мосты! Это значит — с одного вола десять шкур драть, — вот что это значит! Ты и лови, ты и соли, ты и копти, ты и бочки делай, ты и консервные коробки варгань? А где же тыл? Этак можно дойти до того, что нас и орудия отливать тут заставят! Скажут, что это очень простое дело: взять дыру и облить ее сталью, — вот тебе и орудие! Взять другую дыру — другое!

Надежный улыбался, может быть и против желания, видя такую горячность своего нового соседа по фронту, но Федотов все упорнее смотрел на Джека и хмурился; наконец, заговорил, начальственно подняв голову:

— Несдержанны вы, Константин Лукич, а это... это вам уж не раз вредило, насколько мне известно, и в будущем тоже может ведь повредить.

— Вредило! Подумаешь! На то и война, чтобы вредило, — входя в новый азарт, начал было оправдывать свою несдержанность Гильчевский, но Федотов, положив свою руку на его, спросил вдруг:

— Вы полковника Кюна за что от полка отчислили?

— Кюна? За то, что трус! А что такое? — не понял такого перехода и поднял брови Гильчевский.

— Вот видите ли, что такое: у Кюна ведь большая протекция, и дело, скажу вам между нами, дошло до самой императрицы, — вот что! Вы Кюна обвиняете в трусости, что трудно ведь доказать...

— Почему трудно? Неисполнение приказа моего по явной трусости, — перебил Гильчевский.

— Вы говорите — трусость, а он — осторожность, предусмотрительность, — мало ли что еще. Вас же он обвиняет в гораздо более серьезном.

— Меня? Вот как! — удивился Гильчевский. — А в чем же именно, если не секрет?

— В том-то и дело, что секрет, в том-то и дело! —

многозначительно подмигнул Федотов, давая этим жестом самому Гильчевскому понять, что дело тут политическое, что отставленный от командования 402-м полком немец Кюн пустил в ход что-нибудь вроде обвинения его в замыслах ниспровергнуть династию.

Представив Кюна и в руках его бумажку именно с подобным доносом, Гильчевский сказал, глядя на Надежного больше, чем на Федотова:

— Предчувствую, что этот Кюн за свою трусость и подлость произведен уже в генерал-майоры и едет сюда, на мое место, принимать сто первую дивизию!

— Ну что вы, что вы, Константин Лукич! — попробовал даже рассмеяться такому предчувствию Федотов, а Надежный, который вообще оказался из молчаливых, только пожал широкими своими плечами и махнул рукой, — дескать, сущие пустяки.

— Нет, в самом деле — ведь обвинить меня там, в Петрограде, он может в чем ему будет угодно, а раз он пойдет для этого с заднего крыльца, то и преуспеет. Вот он, значит, и будет тогда форсировать Стырь под ураганным огнем! Чего же лучшего и желать?

— Да не он, а вы, Константин Лукич, сделаете это в лучшем виде, на что и я надеюсь, и штаб армии тоже, — теперь уже посмеиваясь вполне благожелательно и похлопывая его дружественно по локтю, сказал Федотов. — А доносы на всякого из нас пишут, — на то мы и занимаем видные посты. На нас пишут, а мы отписываемся, только и всего! А теперь, — он посмотрел на часы, — адмиральский час, и сядем просто обедать.

В соседней комнате денщики уже гремели посудой, и Джек, заслышав запахи кушаний, перестал уже обращать внимание на сапоги Надежного. Он даже покинул совещание, перешедшее к тому же к личным вопросам и потерявшее чисто деловой свой характер, и, степенно потягиваясь и поглядывая при этом на хозяина, который явно для него замешкался, вильнул призывно пушистым хвостом, потом скрылся.

— Джек, иси! — крикнул ему Федотов, в целях борьбы с его своеволием, но тут же раздался заливиственный встревоженный лай Джека уже с надворья, и Федотов обеспокоенно повернулся к окну, пригнув голову, чтобы смотреть вверх.

— Что? Аэропланы? — спросил Надежный.

— Да, тройка! Черт знает, сколько у них воздушных машин! Никогда нет от них покоя, ни днем, ни ночью! —

взволнованно проговорил Федотов, а Гильчевский подхватил оживленно и нескрываемо зло:

— Вот то-то и есть, что «сколько машин»! А у нас они где? Две-три сотни на целый фронт, когда их давай сюда тысячи! Но машины — дело новое, и для них заводы нужны, а понтоны — это так же старо, как мир, и для них нужны только плотники, однако и их нет!.. А живем на фронте друг против друга с волками, весьма хозяйственными, а с волками жить — надо по-волчьи и выть!.. А на одном собачьем лае против самолетов далеко не уедешь... так же, как и на доносах Кюнов!

* * *

Весть о неудаче группы генерала Рагозы на Барановичском направлении докатилась в последних числах июня и до лазарета, в котором лежал Ливенцев.

В киевских газетах, полученных в Дубно, говорилось, что взято свыше трех тысяч австро-германцев в плен и захвачены две линии окопов; что немцы вывозят из Барановичей все ценное в поездах, один за другим уходящих на запад; что западнее Барановичей замечены с воздуха большие пожары: горят деревни, очевидно, поджигаемые немцами, готовящими свои силы к отступлению. Но в то время, как это сообщалось корреспондентами, в официальной сводке отмечались контратаки противника, и с каждой новой газетой все больше говорилось о контратаках; наконец, Западный фронт перестал упоминаться совсем: там наступило затишье. Всего только несколько дней заставил газеты писать о себе Эверт.

Зато писал он сам, донося в ставку, что, вследствие целого длинного ряда причин, наступление, предпринятое на Барановичском направлении, не дало ожидаемых результатов, но вывело уже из строя убитыми, ранеными и пропавшими без вести до 80 тысяч человек. Он запрашивал, продолжать ли действия, несмотря на такие потери, или прекратить их. В ставке решили больше никаких надежд на Западный фронт не возлагать, гвардию же оттуда начать немедленно вывозить на фронт Брусилова, в район Луцка.

Об этом последнем в газетах, конечно, не сообщалось, и этого не знал Ливенцев. Он продолжал еще думать, что вот за Западным фронтом придет в движение и Северный, где пока отмечались только мелкие стычки, и нако-

нец второй фронт разовьет всю те действия, которые начал на реке Сомме.

Газеты много места уделяли англо-французам, но трудно еще было судить, насколько успешны их наступательные порывы; никакая самая подробная географическая карта тут не могла бы помочь читателю газет: о километрах пока не говорилось, — только о сотнях метров пространства.

Но Ливенцев привык уже к тому, что во Франции совсем другие масштабы, чем в России: где мало земли, там ее больше ценят.

Время думать над трудным вопросом, может ли окончиться война к зиме этого года, у него было, но думать мешала неподвижная, тупо болевшая, как бы и не своя совсем, тяжелая нога.

Он спрашивал Забродина несколько раз:

— Как же все-таки? Оперировать будете?

— Не время, — отвечал Забродин хмуро.

— Перелом или разрыв?

— Увидим.

— Может быть, просветить бы рентгеном?

На этот вопрос Забродин даже не отвечал, только отрицательно двигал мизинцем правой руки и отходил от койки.

Больше всего угнетала Ливенцева не боль в ноге, не эта неопределенность, что такое произошло с нею, как та зависимость от санитаров, какой не чувствовал он, когда был хотя и серьезно ранен пулей в грудь павылет, но мог, однако, сидеть, потом вскоре и ходить даже.

Теперь он был почти совершенно неподвижен, — его ворочали, стараясь соблюдать осторожность, ему помогали даже есть, и эта беспомощность его удручала прежде всего потому, что ее видела Наталья Сергеевна.

Когда он был только что привезен в лазарет и увидел, — узнал ее, он показался самому себе исключительным, необычайно, неслыханно награжденным за то, что пережил на фронте в течение нескольких месяцев. Но теперь он лежал так же, как и другие тяжело раненные, мучаясь сам и заставляя мучиться ее.

Несказанной радости день ото дня становилось все меньше. Оставалась только успокоенность от сознания, что если даже ему суждено умереть, все-таки перед смертью он будет видеть около себя не чужие лица, а ее лицо: она склонится над ним, и ее мягкие пепельно-золотые волосы закроют его глаза.

Об этом думалось раза два или три ночами, но с наступлением дня приходила бодрость, уверенность в том, что трудно только теперь, потом же, очень скоро, станет гораздо легче. На всякий случай он спросил одного из молодых врачей — Хмельниченко:

— А не будет ли хуже оттого, что не оперируют меня до сих пор?

— Нет, хуже не должно быть, — отвечал Хмельниченко, но как-то не совсем уверенно, — так показалось Ливенцеву.

Он спросил и Наталью Сергеевну, что говорят между собой, — не слыхала ли она, — врачи о его контузии.

— Говорят, что трудный случай, — сказала она.

— А все-таки? Насколько именно трудный? — допытывался он, стараясь угадать правду по выражению ее глаз, по оттенку голоса. — Может быть, придется совсем проститься с ногой?

— Нет, что вы! — так испуганно откачнулась она, что он поверил и даже почувствовал свою ногу на момент совершенно здоровой и спросил уже успокоенно:

— В каком же смысле все-таки трудный случай?

— Говорят... что, может быть, вам придется пролежать после операции... Ну, не знаю ведь, сколько именно, и, конечно, врачи сами не знают.

— Неужели целый месяц? — спросил Ливенцев с тоской.

— Может быть, и месяц, — облегченно ответила Наталья Сергеевна, которой Забродин назвал гораздо более долгий срок.

Ливенцеву не хотелось, чтобы Наталья Сергеевна помогала Забродину, когда он будет делать ему операцию. Он представлял себя на операционном столе с хлороформенной марлевой тряпкой на лице, с ногою, из которой ланцет выпустит много зловонного гноя, и кошунственным казалось ему такое зрелище для той, которую он любил.

— Наталья Сергеевна, у меня к вам большая просьба! — обратился он к ней, когда она присела на белую табуретку около его койки.

— Что такое? — встревожилась она.

И он передал ей то, о чем думал, но она отозвалась, как мать ребенка:

— Нечего выдумывать! Непременно буду на операции.

— Нет, я все-таки очень, очень прошу не быть, — повторил Ливенцев, а так как в это время подошла

к ним Еля, то он обратился и к ней: — И вы, Еля, не смотрите, когда мне будут операцию делать.

Еля поняла, что он только что просил о том же Наталью Сергеевну, и возразила:

— Вы хотите, чтобы смотрела тогда на вас одна «Мировая скорбь»? Или еще и Бублик?

— Они пусть уж, так и быть, если без этого нельзя, — ответил Ливенцев.

— Нет, без кого-нибудь из нас никак нельзя, а будет из нас та, кого назначат, — объяснила Еля.

— Постарайтесь, пожалуйста, вы обе, чтобы никого из вас не назначали.

— Нет уж, я буду сама проситься, — как же можно иначе? — сказала Наталья Сергеевна и заговорила о другом, чтобы его развлечь.

От врачей она слышала, что сама по себе операция не спасет Ливенцева от осложнений, если они заложены в характере контузии. Она спросила Хмельниченко:

— А какие могут быть осложнения?

Он ответил:

— Самое серьезное из них называется тромбофлебит.

Наталья Сергеевна не знала, что скрывается под этим словом, и он объяснил:

— Тромбофлебит очень опасен для сердца, также и для головного мозга, но будем надеяться, что его все-таки не будет. Во всяком случае, примем против этого кое-какие меры.

— А какие же все-таки меры? — спросила Наталья Сергеевна.

— Прежде всего, ногу придется держать в положении вертикальном. Это, конечно, очень большое неудобство для вашего больного, но придется ему потерпеть, — сказал Хмельниченко. — Кое-что еще в смысле режима, затем прижигания раны, после операции дело будет виднее.

День операции наконец был назначен. Забродин, точно угадав желание Ливенцева, взял в этот день к себе в помощницы «Ветер на сцене». Но Наталья Сергеевна все же была при Ливенцеве, когда его укладывали на носилки, и помогала в этом санитарам. Сквозь приступы боли наблюдавший за ее озабоченным лицом, которое казалось даже побледневшим, спросил ее Ливенцев с испугом в голосе:

— А не хотят ли мне отрезать ногу, скажите, все равно уж?

— Нет-нет, что вы! — таким же испуганным голосом

сказала она. — Ведь перелома кости нет, в этом Забродин уверен, — я слышала.

С его носилками рядом дошла она до двери операционной, где благословила его движением оробевшей, узкой в запястье, милой руки, и Ливенцев всем наболевшим телом почувствовал, что вот неизбежное сейчас совершится. На фронте могло и быть и не быть, а здесь неотвратимо, и остались считанные минуты до чего-то непоправимого... Может быть, только щадя его, не сказала Наталья Сергеевна, что отсюда вынесут его уже об одной ноге?.. С этим вопросом в глазах он теперь уже совершенно безмолвно следил за отрывисто командующим Ванванычем, хранящим необычайно серьезный, даже сердитый вид.

Под тяжело пахнувшей хлороформенной повязкой он, приготовившийся уже к потере сознания, — как там, в только что отбитом окопе, — скоро потерял его. А когда открыл глаза, то инстинктивно прижал руку к своей больной ноге, и только потом, убедившись, что нога цела, и пошевелив на ней слегка большим пальцем, чтобы убедиться еще и в том, что цела она вся, Ливенцев рассмотрел, что лежит он уже не на столе, а на носилках, и два санитары поднимают эти носилки, чтобы нести его снова в палату.

В коридоре встретила носилки с ним Наталья Сергеевна.

— Ну? Что нога? Цела? — спросила она таким тоном, как будто сама заразилась его недавним испугом, и он ответил ей, улыбнувшись:

— Цела, цела...

— Ну вот, видишь! Я тебе говорила ведь, что будет цела! — в первый раз за все время их знакомства обратилась к нему так интимно Наталья Сергеевна, не только как к самому близкому человеку, но и к такому еще, который долгое время, быть может, точно ее ребенок, будет нуждаться в ее помощи, но для того, чтобы потом многие годы идти рядом с нею и нога в ногу в новой жизни, какая настанет после этой войны.

Женщина всегда несет в себе вечность, даже если и не догадывается об этом. Она рождает, она охраняет жизнь. И напрасно думал Ливенцев, что Наталья Сергеевна потеряет что-то в своем представлении о нем, если будет видеть, как режут его совершенно бесчувственное, полумертвое тело, как выходит из его ноги то, чего было в нем «полно́», — гной, сукровица, кровь...

Даже «Ветер на сцене», видевшая все это, после опе-



рации как будто прониклась особым правом на исключительную заботу о нем, и у «Мировой скорби» ясно было неподдельно теплым участием лицо, когда она во время своего дежурства подходила к его койке поправить ему подушку, поставить градусник, дать лекарство... Для него же начались самые мучительные дни: перед его глазами торчала, как столб, его нога, подвешенная к потолку, и он не имел возможности даже во время сна перевернуться с боку на бок.

* * *

Вернувшись от Федотова, Гильчевский «закусил удила и понесся», как сказал, глядя на него, Протазанов. Так неожиданно даже для него, казалось бы, хорошо знавшего своего начальника, вскипел чисто хозяйственный талант Константина Лукича.

Будущие мосты через Стырь — они пока еще были разбросаны по стенам и крышам пустых хат деревни Копань, жителей которой вместе с их живностью и скарбом угнали, отступая, австрийцы. Гильчевский двум ротам саперного батальона приказал немедленно ломать хаты, наиболее богатые бревнами, кроквами, досками, а вечером, когда стемнеет, подвозить все это поближе к реке.

Забарабанили в воздухе и взрвали деревья, отдираемые от насиженных теплых мест ломами, замелькали топоры, пыль поднялась столбами над Копанью, и, отмахиваясь от нее руками, говорили саперы:

— Вот уж истинно сказано: «Чужой ворох ворошить — только глаза порошить».

Эти саперы, они работали весело, хотя хорошо знали, что им же придется наводить вскорости ночью мосты под жестоким обстрелом с того берега и многим из них не придется уж никогда больше ни ломать, ни строить, ни глядеть на солнце, ни порошить глаза.

Они работали споро: складывали штабелями бревна к бревнам, доски к доскам, попутно пригибая на них обухами топоров гвозди, и вечером сам Гильчевский пришел смотреть эти штабеля, прикидывая на глаз, сколько чего может пойти на два моста на козлах и два других моста — на поплавах. Кроме того, нужен был еще и запасной материал для починки в случае, если очень сильно пострадают мосты от артиллерийского обстрела, что было неизбежно, конечно; нужно было еще заготовить доски и для того, чтобы загатить ими тонкие места перед мостами

как на этом берегу, так и на том, иначе нельзя было бы переправить туда свои батареи.

Но саперы саперами и мосты мостами, а плетни и решетки для одиночных стрелков, которым не только переходить болота, но и, весьма возможно, залечь в них придется на том берегу, — их нужно было заготовить как можно больше, — так решил Гильчевский, обходя в тот же день, как вернулся из Волковыи, окопы своей дивизии. Поэтому в лесу около Копани и дальше, в густом дубняке и молодом березняке, среди которого попадались довольно часто раскидистые кусты орешника, тоже шла веселая работа лесорубов, плелись плетни, вязались решетки.

Сам же Гильчевский зорко всматривался, как полтора года назад на Висле, в берега Стыри, где они круче, где отложе; в рощи и заросли кустов как на том берегу, так и на этом; в постройки, полустгоревшие, полуразбитые или уцелевшие местами; в капризные изгибы реки... Все замечал он, что могло облегчить переправу: и рощи, и просто густые кусты, и постройки, и крутобережье. Прикидывал на глаз и отмечал на плане, где река была уже и, значит, глубже, где шире и мельче.

В первый же день, как получил приказ наводить мосты, места для четырех мостов он выбрал и больше уж не менял их: это были места прежних мостов. Он не только озабочен был тем, чтобы укрыть от огня противника своих саперов природными преградами, как кусты, рощи, постройки, но наблюдал прилежно и то, где и как далеко от берега тянулись окопы австро-германцев. Вот перешли мост штурмовые группы, вот одолели топкий берег, — далеко ли им будет бежать до окопов? Есть ли прикрытия, если сильный огонь заставит их залечь?..

Когда он вернулся в штаб и сел ужинать, картина переправы через Стырь рисовалась в его мозгу настолько отчетливо и ярко, и трудная сама по себе задача казалась так близка к решению, что он заметно для Протазанова повеселел и даже продекламировал «из Некрасова»:

И сбилось по воле божьей,
Что певала моя матушка:
Реки будто непрохожие
Форсирует Калистратушка.

К этому же добавил:

— Конечно, будет трудно, очень трудно... Главное, много потерь понесем совершенно напрасно. Но что делать,

если у нас такая бедность. Чем и кем черт не шутит! Вот и нами тоже... Но погодите, любезнейшие господа Федотовы, мы еще посмотрим, какая из двух дивизий скорее форсирует Стырь: моя ли — без понтонов, или десятая — с понтонами!

На другой день он заставил вырубить большую площадь в лесу, чтобы можно было на ней установить легкую артиллерию для более успешного действия по неприятельской проволоке: здесь она становилась гораздо ближе к цели, чем на своей прежней позиции, отсюда был лучший обстрел, а вырубленные кусты и деревья как нельзя нужнее были для гостей; излишек их он предложил Надежному, чтобы его не слишком озадачивали топкие места на его участке.

Надежный внимательнейше приглядывался ко всему, что он делал, про себя решив также поближе к реке поставить свои легкие батареи, но перевозить к себе, что ему предлагал Гильчевский, все-таки отказался, сославшись на недостаток подвод.

С недоумением смотрел он и на горы плетней и решеток и говорил задумчиво:

— Не отрицаю, что само по себе, так сказать, в идее, это не лишено остроумия, однако, простите, пожалуйста, Константин Лукич, как же представить себе наших солдат, чтобы шли они в атаку с таким багажом?.. Не то им бежать вперед и кричать «ура», не то эти сооружения тащить и ни бежать, ни «ура» не кричать, а их в это время расстреливать будут прямо пачками...

— Ну, вольному воля, а спасенному рай, — обиделся Гильчевский. — Не видите в этом пользы, так и быть. А у меня непременно их тащить будут.

* * *

Подходили пополнения. Их уже некогда было готовить к предстоящим боям, впору было только распределить по ротам. Новые офицеры из школ прапорщиков, совершенно еще не обстрелянные, все-таки встречались радостно, так как многие роты совсем не имели офицеров.

Учебные команды своей дивизии, в которых нашлось полторы тысячи человек, Гильчевский свел в особый отряд и отдал его под команду ротмистра Присеки, ведавшего конной сотней дивизии, оставшейся в ней с ополченских времен. Этот отряд получил назначение стать общим резервом дивизии. Расположив его около своего наблюда-

тельного пункта в окопах, раньше занимавшихся 403-м полком, теперь передвинутым к реке, туда, откуда были выбиты австро-германцы. Гильчевский не мог выделить для него ничего, кроме двух пулеметов.

— На полтора батальона военного состава только два пулемета! — сам удивился он. — Скажи какому-нибудь немецкому генералу, — ведь засмеет. Эх, бедность наша! Только доносы читать умеют, а ни черта не приготовили, чтобы воевать по-европейски!

Очень подробно составил он диспозицию, назначив каждому полку, каждой батарее определенное место и задачу.

У него была теперь тяжелая артиллерия — батарея шестидюймовок и батарея 42-линейных орудий; было две батареи гаубиц и 42 легких пушки, но он сомневался, хватит ли ему легких снарядов, особенно шимоз, для пробивки проходов.

Он входил в каждую мелочь, шаг за шагом представляя себе, как должно идти дело. Батареи он расположил так, чтобы могли они дать перекрестный огонь по окопам противника против места, назначенного для переправы.

Легкая артиллерия знала свою задачу: пробить по три прохода на каждый из двух атакующих полков — 402-й и 404-й. Тяжелая должна была громить батареи австро-германцев и места, где могли скопляться резервы.

Свой наблюдательный пункт он устроил, по обыкновению, так близко к окопам, как этого не делал, кроме него, ни один начальник дивизии.

Когда затишье на фронте одиннадцатой армии окончилось, — это было уже в начале июля, — и был назначен Сахаровым день общего наступления — 7-е число, Гильчевский вызвал к себе полковников Татарова и Добрынина, которые должны были вынести со своими полками всю тяжесть броска через Стырь, так как 401-й полк назначался в резерв 402-му, а 403-й — 404-му, каждая бригада должна была действовать нераздельно.

Как студент, отлично подготовившийся к экзамену, прочно зажавший в извилины мозга множество требуемых знаний, бывает настроен самоуверенно и смотрит весело на одних, снисходительно на других из своих товарищей, а на профессоров-экзаменаторов даже с некоторым задором, так и Гильчевский, предусмотревший, по его мнению, все, что можно было предусмотреть, и всюду наладивший дело близкого боя так, что он не мог окон-

читься ничем другим, кроме как полной победой, был оживлен и весел, встречая командиров своих атакующих полков у входа в свой штаб в Копани.

— Я вас таким старым польским медом угощу, господа, — здравствуйте, — что только ахнете, уверяю!.. Впрочем, не надейтесь, что много вам дам, — только по-пробовать, а то, пожалуй, из-за стола не встанете, и куда же вы завтра тогда годитесь?

Говоря это, Гильчевский наблюдал в то же время выражение лиц обоих полковников и заметил, что Добрынин улыбался открыто всем своим широковатым в скулах лицом, а Татаров напрасно старался выжать откуда-то из затвора улыбку, и она вышла только наполовину, косяком, и застряла, — ни то ни се, — и тут же ушла снова в затвор.

Это было ново в таком обычно уравновешенном, энергичном, полнокровном человеке, как Татаров, притом же любителе в хорошую минуту покутить на кавказский манер, и Гильчевский про себя отметил это.

Перед стопкою старого польского меда завязал он, конечно, вполне деловой разговор.

— Я надеюсь, господа, что вы оба досконально изучили свои участки атаки: вы (обращаясь к Добрынину) — переправу против деревни Вербень, вы (обращаясь к Татарову) — переправу между деревней Вербень и деревней Пляшево.

— Так точно, — молодежато отозвался на это Добрынин, а Татаров сказал глухим, плохо повинующимся ему голосом:

— Трудный участок вы мне отвели, ваше превосходительство.

— Трудный? Чем трудный? — удивленно насторожился Гильчевский.

— Как же не трудный! Там почти сразу за переправой — лес.

— Ну, какой же это лес, — роща, — постарался как можно мягче поправить Татарова Гильчевский.

— Лес или роща, — эта разница большого значения не имеет, то есть на какую глубину там идут деревья, — возразил Татаров. — Пусть идут хоть всего на четверть версты, — там противник может ко времени атаки целую бригаду спрятать.

— Ну-ну-ну! Так уж и бригаду! — пытался обернуть это в шутку Гильчевский.

Но Татаров продолжал упорно, кивая на Добрынина:

— Против четыреста второго полка — там место почти открытое...

— Почти, однако же не совсем! — подхватил Гильчевский.

— Все-таки же нет леса!

— То есть рощи, — опять склоняясь к шутливости, поправил Гильчевский.

— Это все равно... А между тем...

— А между тем, — перебил Гильчевский, — что же прикажете в таком случае делать, если там роцца? Ведь прочешут эту роццу насквозь наши легкие батареи перед тем, как вашему полку идти в атаку.

— А между тем, — точно не расслышав, договорил, что начал было, Татаров, — и для моего полка, и для четыреста второго вы назначили прикрытне одинаковой силы — батальон.

— А если я считаю батальоны эти неодинаковой силы, а ваш гораздо более сильным, тогда что вы скажете? — начиная уже немного раздражаться, заметил Гильчевский, но Татаров продолжал так же упрямо, как начал.

— Считать, разумеется, нужно число штыков, — пусть даже и грубый счет, — а не геройство, которого может ведь как раз и не оказаться, — возразил Татаров.

— Э-э, послушайте, да на вас, я вижу, какой-то просто спорный стих напал! — еще раз попробовал взять шутливый тон Гильчевский. — Комары, что ли, вас искусили?

— Комары, ваше превосходительство, это, конечно, само собою, — не улыбнулся все-таки и на это Татаров, — они тоже внесут ночью свою долю задержки; но дело не столько в них, сколько...

— А ну-ка, Архипушкин! Давай-ка, бестия, меду сюда! — не дослушав Татарова, закричал в другую комнату, обращенную в кухню, Гильчевский.

И на подносе, честь-честью, Архипушкин внес закупоренную крепко и залитую с горлышка черным сургучом кубастую бутылку старого меда.

К распитию этой бутылки подошел и Протазанов. Не зная еще, как настроен Татаров, он сказал неожиданно для Гильчевского:

— По всем данным и выкладкам понесем мы в этом деле очень большие потери.

— Вы думаете? — спросил Добрынин, про себя, конечно, вполне с ним соглашаясь, а Татаров поддержал уверенно:

— Только слепой этого может не видеть.

Гильчевский делал вид, что очень занят тем, как Архипушкин отбивает черенком складного ножа со штопором сургуч, потом стал следить, правильно ли, не вкось ли он вводит в пробку штопор. Но вот зажал он бутылку между колен, сделал страшное лицо — глаза навывкат, даже покраснел от натуги, и наконец, точно пистолетный выстрел раздался, из горлышка показался дымок.

— Дым столетий! — возбужденно вскрикнул Гильчевский. — Ну-ка, содвинем бокалы! (Архипушкин очень проворно и умело налил меду в стопки.) За полную удачу завтрашней операции, господа!

«Содвинули бокалы», но все, как по команде, сначала пригубили, переглянулись, качнули головами и только после всего этого медленно стали втягивать густую хмельную душистую влагу.

— Д-да, это — напиток! — сказал Добрынин, на котором остановил спрашивающий, блестящий возбуждением взгляд Гильчевский.

— Да, конечно, — немногословно хотя, но с явным одобрением напитку поддержал его и Татаров, и Протазанов продекламировал:

— В старину живали деды веселей своих внучат!

— Живали-то живали, а что же они жевали? — подмигнул Архипушкину Гильчевский и усадил всех за стол.

За столом он был очень оживлен, как студент, получивший на экзамене даже от самого придирчивого профессора отличную отметку: он видел, как постепенно расходуется то, что отягощало лучшего из его полковых командиров, и он становится веселее и разговорчивей.

А на Протазанова, которому вздумалось во второй раз высказаться по поводу больших потерь, какие ожидают дивизию, он даже прикрикнул:

— Да что вы раскаркались, не понимаю! Разве мы одни будем форсировать Стырь? А десятая дивизия? Ведь она получила понтоны и гораздо раньше нас на том берегу очутится! Какие же особенные потери? Надо только почаще справляться, как у них там идет дело и будет идти дальше; также и со сто пятой дивизией держать связь. Фронт всего корпуса, фронт шириною в семнадцать верст, двинется вдруг сразу на этих каналов, — и что же вы думаете, что они устоят? Такого лататы зададут, что только держись! Только бы конницу, конницу чтобы вовремя вызвать, — э-эх!

— Конницу едва ли на тот берег приманишь, — заметил Татаров.

— Ну вот, опять двадцать пять! Почему именно? — вознегодовал Гильчевский.

— Побойтся, что в болотах утонет.

— Да ведь загатим мы болота около мостов досками, — на то же они и лежат, где надо! Загатим для артиллерии нашей!

— В том-то и дело, что артиллерия-то наша, а конница — корпусный резерв, — отозвался на это Протазанов.

— Да ведь теперь уж другая дивизия, не седьмая, за нашей спиной спасается!

— Они ведь все одинаковы, — меланхолически сказал Добрынин. — И на Западном фронте, сколько я замечал, и на этом, я думаю, тоже.

Действительно, 7-ю кавалерийскую дивизию уже передвинули гораздо южнее, а в резерв 32-го корпуса прислали другую, сводную, и Гильчевский втайне соглашался, конечно, что помощи от нее смело можно не ждать, но ему во что бы то ни стало хотелось быть упористее и стремительнее хотя бы в том решении трудной задачи, которую он так ясно разработал во всех мелочах.

Налет конницы на отступающего в беспорядке противника ярким последним штрихом входил в ту картину, которую он нарисовал себе размашисто и, как ему казалось, безошибочно в точности линий и красок.

Убедившись из застойной, как бы между прочим ведущейся им беседы, что оба командира атакующих полков отчетливо представляют, что они должны будут сделать в ночь на 7 июля, он простился с ними так же оживленно, как их встретил.

* * *

Если мосты против деревень и были взорваны, то не во всю длину превращены они были в обломки или сгорели: часть их, ближайшая к правому берегу, все-таки уцелела. Уцелела, конечно, и большая часть свай в воде.

К этим обломкам мостов исподволь по вечерам подвозился лес, чтобы в начале ночи на 7-е июля, когда белый туман, повисший над рекою, закутывал берега, но вблизи от луны было светло, все восемь рот обоих атакующих полков могли бы перебраться через Стырь, настелив на сваи доски.

Эти часы, когда налаженное уже дело переправы могло сорваться при чуткой бдительности противника, были особенно тревожными и для Татарова с Добрыниным, и для батальонов прикрытия, и для саперов, работа которых должна была начаться, когда переберутся на тот берег оба батальона, и особенно для Гильчевского.

Он, как дирижер оркестра, начавшего исполнять увертюру большой вещи, написанной им самим, был весь обостренное внимание, — не начнут ли резать слух фальшивые ноты, не сорвется ли все дело в самом начале.

Так как атакующими были вторые полки обеих бригад, то обоим бригадным командирам — Алферову и Артюхову — приказал он наблюдать за точностью исполнения. В этот ответственный час вся дивизия жила только одним: удастся или нет крупному отряду — восьми ротам — перебраться и закрепиться без того, чтобы поднять большую тревогу у противника.

После десяти часов вечера, когда сгустился туман, а луна еще не вставала, легкие плоты, на которых могло поместиться пять-шесть человек, оттолкнулись шестью от берега; и прошло не больше четверти часа, как на том берегу против будущих мостов обосновалась их охрана; плоты же вернулись обратно, чтобы на них нагрузили первые доски, которые можно было бы, соблюдая возможную тишину, под кваканье лягушек, уложить на сваи, — начерно, лишь бы держались, лишь бы мог перебраться по ним человек, не рискуя сорваться в воду.

И чуть только появлялись на сваях доски, показывались на них люди, помогавшие тем, которые стояли и работали, причалив плоты.

Люди шли, тяжело нагруженные плетнями, но они понимали, что без них на том берегу нельзя, когда попадешь в топкие места, и это сбавляло кое-что из тяжести плетней, кстати, сделанных ведь своими же руками.

Сорок сажен — восемьдесят метров — долгий путь над водою, ночью, когда только что начерно настилаются мостики, а не мосты, когда противник слушает, — обязан слушать и слышать, — что творится на водном рубеже, который служит ему надежной защитой.

На каждом шагу стерегла каждого из солдат опасность поскользнуться на мокрых досках и свалиться в воду, а сильный всплеск на воде ночью далеко слышен, да притом трудно и удержаться, чтобы не выругаться по

этому случаю по-солдатски крепко и в полный голос и не навлечь этим на всю переправу огонь врага.

Не одни только телефонные провода, — тысячи других, невидимых глазу проводов были протянуты теперь к Гильчевскому от его передовых полков, начинающих операцию, которую он считал самой серьезной из всех, им проведенных.

Он ни на минуту не сомневался в том, что кадровая дивизия у него справа теперь точно так же, с кошачьей осторожностью, перекидывает часть своих сил на левый берег, и опасался, не сорвут ли там его дело здесь: ведь общая задача была дана всему корпусу, в котором теперь три дивизии. Но 105-я занимала и прежде другой участок — влево, а 10-я — тот самый, какой он раньше считал своим, какой угнезвился уже у него в мозгу: ведь там он тоже вполне ясно представлял все возможности переправы, особенно когда присланы для этого понтоны.

Разве можно было сомневаться, что начальник кадровой дивизии, притом такой себе на уме, как Надежный, упустит нужное время? Туман был точь-в-точь такой же на его участке, как и против деревни Вербень, или между этой деревней и другой — Пляшево. Наконец, хотя и хорошо было бы, если бы начали переброску прикритий все три дивизии сразу, однако хорошо только при условии, что у всех трех выйдет она одинаково удачно. Поэтому Гильчевский и хотел согласованности действий и втайне побаивался их: а вдруг там по неловкости обнаружат общий замысел врагу и сорвут дело здесь у него?

Так вышло, что не звонил своим соседям он сам. Однако ждал, что, может быть, позвонят оттуда. Не звонили. Корпус притаился. Все три дивизии делали свое дело, храня молчание. Так именно думалось Гильчевскому, и он решил наконец, что это, пожалуй, лучше. А если ему удастся предупредить в действиях своих соседей, то от этого ничего худого не будет: его полки знают, что, перебравшись, люди должны соблюдать тишину, на сухих местах — закопаться, на топких — залечь на свои плетни и дожидаться рассвета, когда артиллерия начнет пробивать для них проходы.

После того как ушли от него Добрынин и Татаров, он сказал Протазанову:

— Этот новый командир полка, заместитель проклятого Кюна, от которого, между прочим, грозят мне какие-то неприятности, — Добрынин, он ничего, спокойный, —

видно, что Георгия получил не зря... А вот что же это случилось с Татаровым, а? Что же он так это вдруг заартачился, точно вожжа под хвост попала? Не было с ним такого случая, я не помню. Может, вы знаете, почему это он вдруг?

— Мало ли что может быть, — начал думать Протазанов. — Мог плохое письмо получить из дому.

— Ну, письмо, письмо из дому плохое, — что вы, разве это причиною быть может? — не соглашался Гильчевский. — Я сам иногда плохие письма из дому получал, — мало ли что: домашние горшки к делу не относятся... Гм... Образцовый командир полка, — дай бог всей нашей армии таких иметь, — и вдруг — на тебе! Нет, тут что-то такое другое... Неужели это от усталости вздумал он вдруг мне перечить? Нет, тоже нет, — усталость — что же такое? Ну, выспался, — вот ее и нет. Гм, очень меня это в нем поразило.

Однако думать над какою-то заминкой у Татарова, — конечно, временной и случайной, — было все-таки некогда. Время было уже получить от него донесение, переправился ли его батальон. Такое донесение пришло около полуночи, и Гильчевский обрадовался:

— Молодец! Вот это — молодец, а то — чепуха, что с ним было!.. Ведь вот же Кюн, — помните? — тот на Икве что донес? — «Не могу выполнить!» — вот что. За это я его и послал к чертовой мамаше!.. Ну-ка, как его заместитель, как он?

Батальон Добрынина запоздал против батальона Татарова не больше как на четверть часа, и Гильчевский торжествовал:

— Каков, а? Вот так с Западного фронта! Боевой! Боевой!.. А то Кюн! Вот как я отлично сделал, что его турнул!

И на радостях, и чтобы подкрепиться, выпил стопку.

Его подмывало теперь, когда у него увертюра была сыграна с большою точностью по нотам, без малейшей фальши, обратиться к Надежному, как у него, но остановило сомнение: не примет ли тот этого вопроса за вмешательство в его дело. А с начальником 105-й дивизии он был не в ладах, так что к нему обращаться было не особенно ловко; наконец, он знал, что эта дивизия имеет обыкновение выжидать, что сделает 101-я, и, разумеется, хотя и с опозданием, но постарается все-таки сделать то же самое: так было не раз.

Под впечатлением удачи этого вечера и чтобы набрать-

ся сил для громкого утра и горячего дня, Гильчевский даже решил прилечь подремать и забылся, хотя и беспокойным, прерывистым сном.

Проснулся от сильной пальбы, поднявшейся справа, со стороны 10-й дивизии.

Вот когда явилась необходимость запросить Надежного, что у него происходит.

Это было уже близко к утру, — начал белеть восток. Протазанов связался со штабом 10-й дивизии, и оттуда сказали ему, что сильнейший обстрел мешает навести мосты.

— Эх, есть такая пословица, специально для дураков: глупому сыну не в помощь богатство! — бурно вознегодовал Гильчевский. — Ведь просил же я понтоны, — мне не дали, а дали тем, кто и с понтонами ничего не мог сделать!

— Вас просит к телефону генерал Надежный! — обратился к нему Протазанов, и он ринулся к трубке, клокоча и крича:

— Я вас слушаю! Что такое? Я — Гильчевский. Здравствуйте!

— Здравствуйте, Константин Лукич! Случилось скверное дело, — как быть? — уже не прежний самоуверенный, а испуганный голос Надежного донесся в трубку. — Подняли неистовый огонь из пулеметов, из винтовок, не дали навести мостов.

— Пойдите, а когда же вы, когда же приказали начать наводку? — прокричал Гильчевский.

— Не так давно, чтобы закончить могли засветло, — ответил Надежный.

— Ка-ак так не так давно?.. Да ведь теперь уж рассвет, — три часа утра!

— А у вас наведены разве мосты? — справился Надежный.

— А как же так не наведены? Хотя бы и вчерне, все-таки два своих батальона я переправил. Утром саперы доделают все, как надо, чтобы можно было батареи перевезти!

— Послушайте, Константин Лукич, что же теперь делать? — совершенно уже подавленно-просительным тоном проговорил Надежный.

— Вам что делать?.. Ночью надо было мосты наводить, а не утром, и делать это в возможной тишине, благо туман с вечера держался... Как же вы так, не понимаю, — ведь такой благодетель, как туман, лучшего и при-

думать нельзя, а вы... Что теперь делать? Теперь вам уж нечего больше делать, — кончено, упущено время! Эх-ма! И хотя бы с вечера вы мне сказали об этом, а теперь что же? Теперь в пустой след. Теперь сидите и ждите, что получится у меня. Если удастся перебросить мне свою дивизию, тогда и вы можете перебросить свою, а если нет, то все вообще пропало!

Несмотря на резкий тон, каким были сказаны эти жесткие слова, Надежный не обиделся, — до того он был удручен своей неудачей. Он только захотел уточнить, какой способ посоветует ему Гильчевский для переброски его полков.

— Способ какой? — повторил вопрос Гильчевский. — Я вижу для вас только один способ, а именно: воспользуйтесь остатками моста против деревни Гумнище, и в самом спешном порядке пусть ваши саперы его доведут до того берега. Вот когда у вас в руках будет этот мост, восстановленный, тогда...

— Очень много понесу потерь, Константин Лукич! — перебил Надежный.

— Вот то-то и есть! Вот то-то и есть, что много потерь! — вскипел Гильчевский. — На кого же теперь вам пенять? Потери постарайтесь нанести и вы противнику, чтобы сквитаться. А другого выхода для вас нет и быть не может. Если в руках у вас к середине дня не будет исправного моста, то какую же пользу общему делу может принести ваша дивизия? Решительно никакой!.. Потери! Вот моя дивизия понесет потери, так понесет, — это уж я теперь вижу ясно! И отчего же было вам не сговориться со мною вчера, как и когда именно вам надо наводить мосты?.. Все равно, теперь уж поздно, теперь поздно! Сожалеть — это не значит поправить... Теперь поздно, теперь ждите. А моя дивизия, значит, осталась без поддержки! Вот как обернулось дело, хотя началось неплохо, эх-ма! Желаю успеха! Я все сказал, что мог. Желаю успеха!

Он постарался как можно мягче закончить разговор по телефону, но не заботился о мягкости выражений, когда отошел от трубки. Досталось и Федотову, и начальнику 105-й дивизии, которого можно было и не спрашивать, что он делает: Гильчевский без расспросов знал по опыту, что в 105-й дивизии будут ожидать, что сделают в 101-й, и только тогда зашевелятся.

В шесть утра началась канонада, но за час до нее на наблюдательном пункте, который оборудовал для себя на высоте 111-й Гильчевский, появился, пробравшись сюда вместе с ним из Копани, генерал-лейтенант Сташевич, инспектор артиллерии одиннадцатой армии.

Это был высокий, но тощий, сутуловатый старик, с длинным горбатым носом разных цветов: на переносье густо-желтого, на горбу — белого (здесь выпирала кость треугольником), на ноздрях — лилового и на самом кончике, несколько загнутом вниз, ярко-красного. Тускло-серые выцветающие глаза его были навывкат и в розовых, несколько даже вывороченных как будто веках. Толстая нижняя губа его все время стремилась отвиснуть, но, зная это ее свойство и находя его, видимо, не совсем удобным, он ежеминутно ее подтягивал: порядочно времени, как заметил Гильчевский, уходило у него на борьбу со своеволием этой нижней губы. Седые усы его были подстрижены, длинные плоские щеки и двоящийся на конце подбородок гладко выбриты. Соответственно своей должности вид он имел явно ко всему и всем недоверчивый и строгий даже в отношении Гильчевского, которому никогда раньше не приходилось его встречать.

Однако даже и Гильчевский должен был признать, что инспектор артиллерии мог бы не простираť своего ведомственного любопытства дальше артиллерийских позиций, где предлагал ему остаться он сам; желание приезжего генерала непременно присутствовать на наблюдательном пункте во время боя заставило отнестись к нему с некоторым уважением: трудно ведь было предположить, что руководить Сташевичем могли и другие причины, кроме того, чтобы показать свое бесстрашие.

Говорил он с каким-то свистящим выдохом, точно страдал запалом, причем плоские щеки его не расширялись, а втягивались внутрь. Трудно было ожидать чего-либо доброго от такого непрошеного гостя, но не было больших оснований и для того, чтобы ожидать злое: просто, кроме трех генералов, собравшихся в блиндаже на высоте 111-й, — самого Гильчевского, Алферова и Артюхова, — появился еще и четвертый.

Между тем высота эта, с которой был очень отчетливо виден весь пятиверстный участок боя, конечно, была открыта и для противника, в этом заключалась немалая опасность. Но здесь сосредоточено было управление всеми

батареями, к которым шли провода, и, конечно, это больше всего привлекало Сташевича.

Не менее зорко, чем сам Гильчевский, следил он за тем, как пробивались в проволоке проходы. Разумеется, у него уже были выработаны за долгие месяцы войны свои приемы подсчета истраченных снарядов, и если начальник дивизии, генерал-лейтенант, замечал только действие своих батарей, то инспектор, тоже генерал-лейтенант, был озабочен только тем, нет ли при этих действиях явного перерасхода боеприпасов.

В штабе дивизии, в Копани, приняли запрос Федотова по телефону о том, как идет дело, и передали его Гильчевскому на наблюдательный пункт. Гильчевский ответил, что надежды на успех у него еще не потеряны, хотя дивизии приходится действовать в одиночку, так как Надежному навести мостов не удалось. Доложил, конечно, о том, что восемь рот прикрытия переброшены уже им на другой берег, что идет пробивка проходов, что присутствует при этом инспектор артиллерии. Услышав это последнее, Федотов посоветовал ему бережнее относиться к снарядам и пожелал успеха.

— Одно с другим не вяжется, — буркнул, отходя от телефона Гильчевский не для того, чтобы кто-нибудь его слышал.

Впрочем, трудно было бы и расслышать, что мог буркнуть обиженный человек: слишком громок был разговор пушек.

Саперы работали очень ревностно по наводке мостов, но мост на поплавах, устроенный ими, обстреливался густым винтовочным огнем, поплавки сбивались, саперам то и дело приходилось их менять, но это много людей выводило из строя.

Та самая роща, которая смущала даже такого мужественного человека, как Татаров, оказалась действительно коварной: в ней таилась батарея легких орудий, которая была гранатами не только по окопам, но и по наблюдательному пункту на высоте 111-й.

— Эге! Да у них там где-то на дереве свой наблюдательный пункт! — решил Протазанов, выставившийся было над бруствером с биноклем и едва успевший присесть вовремя в окоп: граната разорвалась в пяти шагах.

— Прочесать всю рощу! — энергично решил Гильчевский. — Всем пятидесяти восьми орудиям взяться за это дело!

Чтобы не было разнобоя, он своим одиннадцати бата-

реям, включая и тяжелые, дал на схеме рощи отдельный участок каждой, и вот бомбы, гранаты, шимозы почти одновременно полетели в рощу, проходя ее скачками.

Казалось бы, эта мера должна была непременно накрыть зловредную батарею и если не уничтожить ее совсем, то заставить замолчать хотя бы на время пробивки проходов. Но батарее удалось как-то избежать разгрома: покинув рощу, она открыла пальбу с новой позиции, на одном из холмов за нею, и гранаты снова начали залетать на наблюдательный пункт.

— Вот видите! — торжествующе-сухо, с запалом выдавил из себя инспектор артиллерии, обращаясь к Гильчевскому. — Сколько снарядов потеряно совершенно зря... Между ними много и тяжелых.

— Думаю все-таки, что не потеряны зря, — отозвался на это Гильчевский. — Уверен даже, что из восьми орудий там половина подбита.

— Это, это надо доказать, а не быть в этом уверенным, — веско заметил Сташевич.

Некогда было спорить с ним, — не до того было. Гильчевский знал, что если у него и накопилось для пробивки проходов достаточно как будто снарядов, то большая часть их — японские шимозы, взрывная способность которых слаба. Он заметил теперь, что проходы пробиваются туго; это его обеспокоило: время шло.

— Так и до вечера не пробьют! — крикнул он Протазанову. — Передайте полковнику Давыдову, чтобы он свои батареи пустил в это дело!

Протазанов бросился к телефону, соединяющему их с тяжелыми батареями, которыми командовал Давыдов, а Сташевич, расслышав, что кричал Гильчевский, подозрительно поглядел на него и вдруг придвинулся вплотную к Протазанову, когда тот начал передавать полученный приказ.

Протазанов кричал громко:

— Начальник дивизии приказал, чтобы все батареи ваши сейчас же открыли огонь по заграждениям!.. Шимозы действуют плохо, да их и мало осталось... Как только пробьете проходы, дан будет сигнал к атаке!

Сташевич все это отчетливо слышал. Были ли пробиты проходы для атакующих полков или нет и когда они могли быть пробиты действиями легких батарей, — это его не касалось: он усвоил из того, что подслушал, только то, что его час пробил, и, начальственно отстраняя бригадных — Алферова и Артюхова — и чинов штаба, протискал-

ся в узком окопе к Гильчевскому. Разноцветно окрашенный, длинный, как хобот, нос и тяжкая нижняя губа заколыхались перед глазами Константина Лукича.

— Этого я не могу разрешить, не могу, — не имею права! — не то чтобы кричал, но очень внушительно, раздельно, с ударением на каждом слове говорил Сташевич.

— Чего? Чего именно? — даже не понял сразу Гильчевский.

— Тратить тяжелые снаряды на пробивку проходов не разрешаю! — повысил голос Сташевич, и глаза его стали, как два новых полтинника.

— Что такое? — изумился и этим глазам, и носу, как хобот, и губе-шлепанцу, и этому «не разрешаю» Гильчевский.

— Отмените сейчас же приказание, какое вы отдали! — теперь уже выкрикнул с запалом Сташевич.

И Константин Лукич понял наконец, что перед ним враг того дела, какое ценою огромной, быть может, крови делает уже и будет делать в этот день до вечера его дивизия. Этот враг — вот он; этот враг кричит: «Отмените приказание!..» У него запал, как у лошади, — и Гильчевский почувствовал вдруг, что такой же самый запал сдавил ему гортань, как клещами, и не крик, а хрип вырвался у него:

— Как так отменить?

— Не разрешаю! — прохрипел Сташевич.

— Вы... вы... кто такой, а? — вне себя, задыхаясь, вдавил эти попавшиеся на язык слова в глаза, как полтинники, в разноцветный нос, в шлепающую губу Гильчевский.

— Я кто такой?

— Да, да, да... Кто такой? Откуда?

— Не забываетесь! — хрипнул Сташевич.

— Не забываюсь, не-ет!.. Не забываюсь!.. Я веду бой!.. Не вы, не вы, а я, я! — весь дрожал от возмущения, что рядом с ним — враг и что все-таки он — инспектор артиллерии и в него нельзя разрядить вот теперь револьвер, Гильчевский.

— Я здесь по предписанию... командующего армией... для выполнения инструкции...

И Сташевич, как бы брошенный взрывной волной, даже навалился на Гильчевского, прижимая его к стенке окопа.

— Осторожней! — крикнул Гильчевский, отпихивая его от себя обеими руками, но в этот момент до его созна-

ния дошли слова «командующего армией» и «инструкции», и он подхватил их:

— Командующий армией через корпусного командира... приказал мне форсировать Стырь... и я ее форсирую... сегодня же... но вы-ы... вас я прошу от меня подальше... с вашей инструкцией!

— Я доложу об этом... командарму! — задыхаясь, как и Гильчевский, хрипел Сташевич.

— Кому угодно!.. Кому угодно!.. Докладывать? — Кому угодно!.. Но мешать мне здесь не позволю!.. Я здесь хозяин!.. Я отвечаю за дело наступления на своем участке, я, а не вы!.. Совсем не вы!

— Не оскорблять меня! — совсем уже каким-то диким визгом отозвался на это Сташевич.

— Вы — безответственное лицо! — крикнул, найдя свой полный голос, Гильчевский. — Инструкции соблюдаете?.. Раньше, раньше соблюдали бы их и прислали бы нам больше снарядов, а не так!.. Чтобы я снаряды берег, а дивизию уложил? Вам этого хочется?.. Дудки! Я разрешил вам присутствовать здесь, но не разрешаю мне мешать!

Сташевич был так изумлен этим, что больше уж ничего не был в состоянии говорить, только дышал со свистом и шлепал губою, как сазан на берегу озера.

Однако он, видимо, собирал силы для каких-то еще выпадов против строптивного начальника 101-й дивизии, но в это время Протазанов доложил Гильчевскому, что его требует к проводу комкор Федотов.

— Что этому еще от меня надо! — буркнул недовольно Гильчевский, однако подошел к телефону и услышал:

— Константин Лукич! Ввиду того, что десятая дивизия самостоятельно не справилась со своей задачей навести своевременно мосты, примите, пожалуйста, ее в подчинение.

— Раньше нужно было это сделать, раньше! — не удержался, чтобы не сказать своему начальнику этой горькой правды, Гильчевский.

— Неужели теперь уже поздно? — спросил Федотов и, не дожидаясь ответа, добавил: — Все-таки, прошу распорядиться десятой дивизией, как вы найдете нужным. Генерал Надежный мною предупрежден об этом. Желаю успеха!

Между тем тяжелые снаряды уже рвались там, где мало что сделали шимозы. Столкновение с блюстителем инструкций Сташевичем отняло у Гильчевского не так много времени, но зато скверно отразилось на его сердце, которое начало биться беспорядочно.

Привыкший от начальства слышать не поощрения себе, а только окрики в том или ином роде, не забывавший в последние дни и о доносах Кюна, Гильчевский переживал теперь, на своем наблюдательном пункте, во время подготовки к штурму, густое и острое чувство обиды. Он с виду пристально следил в свой цейс за тем, как ложились снаряды на участках, которые просматривались отсюда, и часто запрашивал артиллеристов-наблюдателей, сидевших в передовых окопах, можно ли считать, что проходы пробиты, как нужно для штурма, но ведь Сташевич не уходил с глаз долой, — он торчал рядом, деятельно вписывал что-то в записную книжку (еще один донос!) и сопел, хотя уж ничего не говорил больше. В то же время рядом с 101-й дивизией совершенно пока бесполезно для дела торчала и 10-я дивизия во главе с Надежным.

Обида не укротилась, не уменьшилась, — она выросла после того, что передал по телефону Федотов. Вопросы цеплялись за вопросы. Почему сразу там, на совещании в Волковые, — если можно было пустую болтовню называть совещанием, — Федотов не подчинил ему 10-ю дивизию?.. Это — дивизия кадровая, хорошо, но ведь 2-я Финляндская стрелковая дивизия на реке Икве тоже была кадровая, однако же там и ту же дивизию он рискнул подчинить ему, и разве от этого вышло что-нибудь плохое? Совсем напротив, вышел прекрасный результат — разгром противника, имевший большие последствия. Что могло бы зародиться у командира корпуса к такому начальнику одной из своих дивизий? — Несомненно, только признание его заслуг и доверие к нему. Почему же не родилось ни того, ни другого? И почему командарм Сахаров за форсирование Пляшевки и поражение австрийцев за этой рекой не представил его ни к какой награде, а комкор Яковлев, который рискнул перейти в наступление только значительно позже его, Гильчевского, представлен за это дело, — как довелось слышать от Федотова, — к Георгию 3-й степени?.. И если допустить, что дивизия разгромит австро-германцев и в этот день, 7 июля, то кого представят за это к награ-

де, — Сташевича или Надежного, или и того и другого вместе?..

Вопросов, подобных этим, поднималось много, но ни одного распоряжения генералу Надежному, теперь его подчиненному, не возникало в мозгу. Теперь подходило время к тринадцати часам, когда назначено было полкам переходить мосты и бросаться на неприятельские окопы.

Мосты были готовы, — это он видел, — саперы работали самоотверженно: они чинили полотно мостов, они меняли полавки под обстрелом, они гибли при этом, но вели себя как герои, и наблюдавший это Гильчевский ерзал усиленно по лбу бровями, чтобы не допустить на глаза слезы жалости к погибшим.

Два дивизиона тяжелых орудий помогли как нельзя лучше: не прошло и двадцати минут после столкновения с инспектором артиллерии, как наблюдатели донесли, что проходы можно считать пробитыми, и тогда сигнал к атаке был дан.

Началось последнее, к чему готовились так настойчиво, упорно и долго: выбегая здесь и там из окопов, роты 402-го и 404-го полков бежали к мостам.

Над рощей, которую прочесывали снарядами из всех пятидесяти восьми орудий, висел еще синеватый дым от разрывов, но этот дым перекрывал уже австрийский розовый: рвалась шрапнель, которой встречали батареи противника атакующие роты.

Забеспокоились оба бригадных — и Артюхов, и Алферов. Они не управляли действиями своих бригад, — это за них делал сам Гильчевский, они могли только проявлять беспокойство, и в этом Артюхов превосходил флегматичного по натуре Алферова.

Как командир второй бригады, он всецело был поглощен, конечно, действиями рот полка Татарова. Он был пожиже сложением, чем Алферов, поворотливее, с мелкими чертами лица, волосом потемнее, более загорелый.

— Этот лесок, этот лесок, о-он... может выкинуть каверзу! — заразившись, разумеется, от Татарова неприязнью к роще, говорил он, обращаясь к Алферову, на что тот отозвался, глядя в это время на мост, по которому уже бежала передовая рота полка Добрынина:

— Лесок? А что там может быть теперь?.. Столько снарядов туда всыпали, — там теперь целого гриба не найдешь.

Но та батарея, которую вычесали из рощи, работала теперь безостановочно, скрывшись в ложине между хол-

мов за рощей, и эта работа ее была заметна, несмотря на то, что сплошь и кругом гремело теперь. Особенно выделялась из общего грохота непрерывная трескотня пулеметов на том берегу, заставившая Артюхова вскрикнуть вдруг без обращения к кому бы то ни было:

— Боже мой! Вот это так швейная мастерская!

Оборона была очень сильная, несмотря на те разрушения в окопах противника, которые несомненно были нанесены семичасовым артиллерийским обстрелом. Опытное в уловлении всех грозных звуков боя ухо Гильчевского слышало это. И, представив, сколько теперь ляжет убитых и тяжело раненных солдат его дивизии в то время, как 10-я, которая тоже ведь подчинена ему, будет сидеть в окопах и ждать, чем окончится у него дело, он прокричал Надежному по телефону:

— Прошу во что бы то ни стало исправить под прикрытием усиленного огня мост, о каком я вам говорил, — против деревни Гумнице. Когда будет готов, пошлите, пожалуйста, бригаду на тот берег на помощь моей дивизии.

Надежный обещал это исполнить, хотя и не преминул добавить, что это будет очень трудно.

— Эх-ма! — сокрушенно выдохнул Гильчевский после этого разговора: мало было надежды на подчиненную ему так поздно дивизию.

И снова за цейс, и снова в поле зрения прежде всего роща.

Дым над нею заметно поредел, — его просквозило поднявшимся вдруг несильным летним ветром, предвестником дождя, который мог и не собраться.

Дым отнесло, и стало видно, как по холму за рощей, — не по ближнему, а по второму за ним, — выбравшись из лощины, во весь дух мчались запряжка за запряжкой: та самая батарея, которую выкурили из рощи, теперь спасалась в тыл.

— Ага, ага! Бегут! — обрадованно вскрикнул Гильчевский. — Бегут! Эх, что же наши, что же наши!

Он кинулся было сам к телефону приказать своей артиллерии, чтобы не упускала австрийскую, но, задержавшись еще на момент, увидел, как там, на холме, среди запряжек рвутся уже снаряды.

— Так-так-так их! Та-ак! Молодцы!.. — кричал Гильчевский, искоса взглянув на того, кто прислан был сюда из штаба армии наблюдать, чтобы — боже сохрани — не перерасходовали снарядов.

Он поймал наконец жадно ожидавшими этого глазами, как валились там лошади, опрокидывая пушки, как бежали от них люди и скрывались за гребнем холма.

— Ну вот, ну вот, значит, все-таки... кое-какой успех есть, — бормотал он ни для кого кругом, только для себя, чтобы себя ободрить.

Роты все бежали через мосты, — теперь уже свободнее, чем раньше. Ослабела стрекотня пулеметов на всем почти участке против мостов, но очень усилилась справа, против деревни Гумница, и Гильчевский понял это так, что первая линия окопов занята атакующими полками, а Надежный все же проникся мыслью, что борьбу за мост надо вести, как бы это ни казалось трудным.

Невольно сюда, с левого на правый фланг, где наступала первая бригада, переметнулся в руках Гильчевского цейс, и не больше как через минуту он уже кричал Алферову, командиру первой бригады:

— Полковнику Николаеву передайте: как только четыреста первый полк войдет в окопы противника, пусть идет по первой и второй линиям к деревне Перемель!

— В Перемель? — переспросил Алферов, не поняв, в чем дело.

— По направлению к деревне Перемель, чтобы облегчить десятой дивизии задачу навести мост у Гумница и выйти на тот берег! — пояснил Гильчевский, но тут только вспомнил, что Алферову не говорил он о приказе Федотова, и добавил: — Десятая дивизия передана мне, — поняли?

Алферов наконец понял и проворно направился в отделение связи, а Гильчевский только с этой минуты, а не тогда, когда говорил по телефону с Надежным, почувствовал, что в руках его теперь целый корпус.

Еще не было ощущения удачи этого дня, полного успеха, для достижения которого было как будто так много сделано им, но зато появилось сознание своей удвоенной силы, с которой неудача представлялась уже невозможной.

И Протазанов, подойдя к нему, имел возбужденно-довольный вид. Громко, с рукою у козырька, он доложил:

— Ваше превосходительство! Телефонограмма от полковника Татарова: «Обе первые линии окопов взяты моим полком: роты начали продвигаться в третью».

— Ну вот! То-то и есть!.. А он опасался, — вы знаете, — опасался!.. Но как всегда — герой!

.И совсем некстати, сейчас же вслед за этим, старший адъютант, капитан Спешнев, доложил, подойдя с другой стороны:

— Какой-то одиночный стрелок обстреливает наш наблюдательный пункт, ваше превосходительство!

Почти вздорным показалось это не только Гильчевскому, даже и Протазанову: ведь только что полковник Татаров донес о том, что вышиб австро-германцев из двух линий окопов, — откуда же мог взяться одинокий стрелок?

Но стрелок все-таки действительно таился где-то на том берегу; может быть, и не один он там таился: винтовочные пули явственно для слуха звякали, ударяясь в круглые валуны, выброшенные из окопов вместе с землей на насыпь. Это услышал Протазанов, продвинувшись несколько дальше от того места, где стоял Гильчевский с генералами, туда, откуда пришел Спешнев.

Вместе со Спешневым он остановился и стал всматриваться в тот берег, но прошло не больше минуты, как он вскрикнул, пошатнулся и упал бы на дно окопа, если бы его не поддержал Спешнев: пуля, пройдя через всю толщу насыпи, впиалась ему в грудь.

Так и вскинулся Гильчевский, когда это увидел. Он мог бы потерять Протазанова во время сражения на реке Икве, когда пошел тот так беззаветно-отважно переводить связистов с оборудованного было наблюдательного пункта и исчез там в дыму десятками рвавшихся около него легких снарядов, но вернулся цел и невредим и спас связистов, и аппараты, и провода, и вот теперь, в окопе, пронизан пулей он, гордо тогда сказавший: «Я в свою звезду верю!»

— Голубчик, герой мой, голубчик! — растерянно бормотал Гильчевский, склоняясь над Протазановым и целуя его в лоб. Потом закричал Спешневу: — Расстегните же ему тужурку!

Расстегнули и даже сняли тужурку, расстегнули рубаху, чему помогал он сам, — увидели, что на спине не было раны: пуля, бывшая уже на излете, впиалась в грудную клетку, несколько выше сердца, но никто из окруживших раненого начальника штаба дивизии не мог сказать, осталась ли она в кости, или прошла дальше. Кровь из раны едва сочилась.

В блиндаж связистов он пытался даже идти сам, как будто все сильное тело его еще не хотело верить, что оно ранено. А Гильчевский был так обескуражен и огор-

чен этим, что хмуρο выслушал даже и телефонограмму Добрынина о занятии его полком окопов противника против деревни Вербень.

* * *

Между тем полк Добрынина недешево купил свой успех.

Первый его батальон, бывший с полночи в прикритии, частью окопавшись, частью залегши на плетнях в болоте, в зыбучем кочкарнике, поросшем не очень густой и довольно чахлой осокою, должен был провести тут ни мало ни много, как половину суток, пока получил он наконец сигнал к штурму.

Целую ночь были солдаты во власти неисчислимых комаров, которые вели свою войну совсем живым и теплокровным. В то же время ни курить, ни кашлять, ни как-либо иначе обнаруживать себя они не имели права.

Как во всяком другом русском полку, первый батальон считался и у Добрынина наилучшим по подбору людей, наиболее надежным, казовым, потому-то он и получил труднейшую задачу. Однако заранее можно было сказать, что он к концу дела не досчитается очень многих. На него ложилась и тяжесть выдержки, и тяжесть первого удара по врагу во время штурма. Когда тысячи снарядов со своей и вражеской стороны начали бороздить над ним небо, он должен был семь часов подряд чувствовать над собой этот давящий потолок из горячей, стремительно мчащейся стали. Но разве так и нельзя было ожидать, что часть стали из этого потолка обрушится на него? Ведь с наступлением дня не могло уж быть тайной для противника, что он засел перед его окопами в своих, наскоро сделанных мелких окопишках и в болоте, значит, все меры должен был принять противник, чтобы его выбить и опрокинуть в реку.

Батальон, как и другие во всей дивизии, был далеко не полного состава: в нем едва насчитывалось пятьсот пятьдесят человек, и только артиллерийский обстрел большой силы мог помешать уничтожить его контратакой. Но много жертв вырвали из его и без того жидких рядов минометы, шрапнель, пулеметы. К началу штурма в нем оставалось людей уже менее половины, и только добежавшие к ним свежие роты второго батальона могли их поднять и увлечь криком «ура».

Тяжелые снаряды действительно, как и полагал Гильчевский, быстро проббили проходы, но вместо проволоки

местами, как непроходимые рвы, легли перед вражьиими окопами огромные воронки, и это задерживало атакующих, попавших под жестокий пулеметный и ружейный огонь.

Окопы были взяты, и захвачено было в них много пленных, но мало осталось от двух первых батальонов полка.

Подтянулись третий и четвертый, но в третьей линии окопов засели немцы из 22-й дивизии, подпиравшей австрийскую 29-ю, и бой за эту линию был очень упорный.

А 404-й полк, по приказу Гильчевского, двинулся вдоль берега к Перемели, чтобы ослабить огонь против дивизии Надежного и тем ускорить наводку моста у Гумница.

Фланговый удар этот, неожиданный для австро-германцев, очень быстро смял фронт, приходившийся против левого фланга 10-й дивизии, и пленных здесь было взято особенно много, но только к пяти часам вечера на помощь сильно обескровленным полкам Гильчевского успели подойти первые роты одного из полков Надежного, а около шести скопилась на левом берегу и целая вторая бригада его, перебравшись частью по мостам 101-й дивизии.

Но запоздалая помощь эта не могла уже спасти 404-й полк от жестоких потерь. Имея такого командира, как Татаров, полк этот, даже действуя в роще, очень искусно защищенной противником, гораздо скорее, чем 402-й, овладел двумя первыми линиями окопов, хотя и дорогою ценой, а вырвавшись из рощи, захватил и ту самую батарею, которая стремилась умчаться и была накрыта беглым огнем русских гаубиц.

Однако батарея эта, в которой было всего шесть легких орудий с несколькими неповрежденными ящиками, оказалась для полка даром данайцев. Плоский и длинный холм, на который выбрался тут полк, попал под перекрестный огонь многочисленных австро-германских батарей, расположенных в окрестных деревнях: Солонево, Остров, Старики. Батареи эти были подтянуты сюда из резерва уже во время боя — о них ничего не было известно раньше — и они сделали свое злое дело.

Застигнутый ураганом снарядов, с трех сторон несшихся на открытое плато холма, полк не имел никаких укрытий; он дрогнул и попятился назад к только что покинутой им роще, а на него в контратаку от подступов к де-

ревне Старики пошли свежие австро-германские части, поддержанные вынесшейся вперед легкой батареей.

Остановив и наскоро приведя в порядок весьма поредевшие свои роты, Татаров только что скомандовал: «Полк, вперед!» для встречного боя, как упал, смертельно раненный в голову шрапнельной пулей...

Четыреста четвертый Камышинский полк!.. От него осталось не больше половины бойцов, когда пошел он в штыки, обходя бережно тело своего храбреца-командира и потом теснее смыкая ряды, на свежие батальоны противника; он опрокинул их и шел по дороге на Старики, где уже рвались русские тяжелые снаряды. Но умолкшие было батареи, таившиеся близ деревни Солонево, вновь обрушили на далеко зарвавшийся полк град снарядов.

Спасаясь от полной гибели, остатки полка должны были отступить в лощину, чтобы выйти потом снова к роще, на опушку которой выдвинулся 403-й полк.

Уложив пока, до окончания боя, Протазанова, которому сделали перевязку, в блиндаже у связистов, скорбя душой, что потерял такого начальника штаба, но стараясь успокоить себя тем, что рана, может быть, не из тяжелых, что пулю вынут, Гильчевский снова появился в окопе.

Он горел яростью, стремясь установить, откуда летели пули в его наблюдательный пункт, и увидел, что рвутся очень кучно снаряды на том длинном плоском холме, где заметил он раньше брошенную австрийцами батарею.

Среди разрывов металась люди. Австрийцы, немцы, — кто там мечется?.. А вдруг это свои, а бьют по ним немцы? Ничего точно и сразу установить было нельзя из-за дыма разрывов, но вдруг в пробившемся туда сквозь густооблачное небо луче отчетливо зарозовел дым, и Гильчевский вскрикнул:

— Боже мой! Мои!.. Какой же полк?

И Артюхов, который тоже наблюдал это в свой бинокль, по каким-то ему одному известным признакам определил:

— Это не иначе, как четвертый!

(Для краткости так и называли полки: первый, второй, третий, четвертый.)

— Ну да, четвертый! Туда только и мог выйти четвертый, — какой же еще! — тут же согласился Гильчевский и тут же вспомнил, как упирался полковник Татаров, когда узнал, что его полк назначен атакующим, упирался, чего с ним никогда раньше не бывало, чего от него и ожидать было никак нельзя.

— Эх, чуял, бедный, чуял, что попадет в беду! — бормотал Гильчевский, посплав приказание своей тяжелой, чтобы обстреляла деревни Старики и Солонево, откуда шла пальба, — расстреливался его лучший полк.

Но совершенно вышел из себя Гильчевский, когда заметил, что из деревни Остров тоже стреляют по злополучным камышинцам! Эта деревня лежала против фронта 105-й дивизии, которая, значит, не только не наносила вреда огнем своей артиллерии расположенным в Острове батареям, но позволяла им направлять снаряды на соседний участок и истреблять части одного с нею корпуса.

— Свяжитесь, свяжитесь сию минуту с их штабом! — кричал он Спешневу. — Скажите, что это черт знает что! Так и скажите! Моим именем скажите: черт знает что! Артиллерия противника из другого участка поддерживает свою, а наша... черт знает что, — так и скажите! За это — под суд!.. Идите!.. Помощи от этой сто пятой никогда не бывает никакой, а вреда сколько угодно! Вот тебе и один корпус!

Он кричал это, имея в виду и то, что его слышит Сташевич, прибывший сюда из штаба армии вести учет снарядов. Обращаться лично к нему он не хотел, но полагал, что ему это тоже не мешало бы знать, как соблюдается иными командирами на фронте суворовское правило: «Говарической выручай!»

Все внимание Гильчевского было приковано к холму с 404-м полком, и он еле взглянул на подошедшего Спешнева, имевшего гораздо более ясный вид, чем тогда, когда был послан говорить со штабом 105-й дивизии.

— Ваше превосходительство! — начал он тоном рапорта: — Получена телефонограмма от полковника Николаева: «Полк занял деревню Перемель и продвинулся к северу от нее по направлению к деревне Гумнице. Противник очищает свои позиции вплоть до реки Липы. Много пленных, между ними и генерал».

Ожидая от адъютанта доклада о том, открывает ли артиллерия 105-й дивизии огонь по батареям в деревне Остров, Гильчевский не сразу воспринял то, что сказал Спешнев; но когда это дошло до его сознания вместе с ясным ликом Спешнева, он оживился:

— Ага! Вот!.. Полковник Николаев, он всегда был удачлив... Очень хорошо!.. Теперь наконец и десятая наведет свой мост... А сто пятая, сто пятая что?

— Говорил со штабом, ваше превосходительство. Ска-

зали, что примут меры, — косясь на Сташевича, который повернул в его сторону плоское длинное ухо, доложил Спешнев.

— Меры? Какие меры? — снова вскипел Гильчевский. — Огонь из тяжелых, а не меры! Спасать мой полк, а не меры!.. А «черт знает что» передали?

— Так точно, — с готовностью ответил Спешнев, но Гильчевский заподозрил все-таки его в том, что не передал, и предостерегающе заметил:

— Смотрите, я потом справлюсь!

Он навел было свой цейс на деревню Перемель, но тут же отвел его в сторону холма за рощей: если здесь, на левом берегу Стыри, все шло хорошо и в наблюдении не нуждалось, то там — попал в беду лучший полк.

За деревней Старики начали рваться снаряды. Сташевич вынул свою записную книжку, а Гильчевский сказал больше с верою, чем с надеждой, что это поправит дело:

— Ну вот! Ну вот, давно бы так, давно бы!..

В то же время подумалось и о другом атакующем полке, 402-м, — как он? Других донесений от Добрынина, кроме того, что взяты две первые линии окопов, не поступало, между тем резервный для головного 401-й полк ушел в другом направлении: не на запад, а на север. Что если и с 402-м полком такая же стряется беда, как и с 404-м?

Подумалось, но тут же явилась утешающая мысль, что австро-германцы очистили позиции, как доносил Николаев, значит, отступили, притом отступили не близко, — за реку Липу, — а глаза все ловили что-то неясное, что происходило там, на холме.

Там двигались массы и со стороны деревни Старики к роще, и со стороны рощи к деревне: это 403-й полк, выйдя из рощи, пошел в контратаку против атакующих остатки 404-го полка австро-германцев.

* * *

Около пяти часов вечера получилось донесение от полковника Тернавцева, что его полк, опрокинув во встречном бою противника, занял деревню Старики; кроме того, он же сообщал и о смерти Татарова, и о том, что в 404-м полку совсем не осталось офицеров, а из солдат уцелело не более семисот человек. О действиях противника говорилось в донесении, что он поспешно отступает на запад, отправив вперед свою артиллерию.

Злая весть о смерти Татарова выдавила слезы на ста-

рые глаза Гильчевского: это был любимый и по достоинству ценимый их командир полка, и, снова вспоминая, как не хотелось ему действовать своим полком против роши, Гильчевский говорил, теперь уже убежденно:

— Вот что значит почувствовать, что близка своя смерть! Она у нас тут, правда, всегда перед глазами, но... если не кладет тебе на загривок своих костяшек холодных, от которых мурашки у тебя по спине ползут, то, значит, ты еще у нее не на примете.

Отступление неприятельских частей от деревни Старики он приписал не столько удачной контратаке 403-го полка, сколько отступлению за реку Липу австрийцев под ударом им во фланг полковника Николаева. Этот удар и решил сражение в пользу 101-й дивизии, одиноко действовавшей против сил, значительно ее превосходящих числом. Отступившие от деревни Перемель вынудили отступить и тех, кто защищал деревню Старики.

— Конницу бы, конницу бы теперь им вдогонку! — загораясь обычным для него азартом погони за отступающим противником, крикнул Гильчевский и немедленно дал знать начальнику сводной кавалерийской дивизии, стоящей в тылу, князю Вадбольскому, что мосты вполне пригодны для переброски на левый берег конных полков.

— Нет, от этого уж я воздержусь, — ответил князь Вадбольский, сравнительно молодой еще генерал-лейтенант, — ему не было и пятидесяти, — но державшийся очень важно.

— Почему же хотите воздержаться, ваше сиятельство? — раздражаясь, спросил Гильчевский.

— По той причине, что оба берега реки здесь очень тэпки, а особенно левый, — ответил князь.

— Чулочки ваших лошадок боитесь запачкать? Хорошо-с, я обращусь сейчас за этим к командиру корпуса.

И действительно обратился. Но Федотов, когда услышал, по какой причине не желает преследовать отступающих сиятельный командир конницы, немедленно с ним согласился. Гильчевский понял, что настаивать бесполезно, и, отходя от телефона, сказал:

— Кончено! Я теперь раз и навсегда понял, что воевать не умею!

После этого он верхом, как обычно, со своими бригадными и капитаном Спешневым, заменявшим пока Протазанова, отправленного в Копань, переправился на левый берег Стыри, горько остря, что она-то и есть эта самая конница, пущенная вслед отступающему врагу.

Сташевич отправился с высоты 111 обратно в Копань, где ждал его штабной автомобиль. С Гильчевским он не попрощался, на что тот и не обратил внимания. Одного из чинов своего штаба Константин Лукич оставил комендантом переправы, поручив ему переброску артиллерии, для чего необходимо было в самом спешном порядке предместье на левом берегу загатить хворостом и перекрыть хворост досками. Саперы, значительно убавившиеся в числе, были оставлены для этой цели, а вся дивизия после такого трудного дня оставлена была ночевать на тех местах, какие заняла с бою. На карте излучина Стыри, которую занимали перед тем австро-германцы, имела форму очень вычурного кувшина; на горле этого кувшина по прямой линии и расположилась на ночь дивизия, отправив по мостам в тыл раненых, пленных и тело полковника Татарова.

Пленных набралось свыше двух с половиной тысяч, из них до восьмидесяти офицеров с генералом во главе, но гораздо больше насчитывалось убитых. Кроме шести легких орудий, на холме захвачено было несколько траншейных орудий, много пулеметов и минометов и несколько тысяч винтовок.

Это была бы блестящая победа, если бы досталась она дешевле, если бы дивизия не потеряла при этом большую половину своих бойцов. Когда подсчитали ряды, оказалось, что дивизия, которая и без того перед боем не могла равняться по числу штыков бригаде, теперь свелась к одному, и то неполному полку военного состава.

Горестный возвращался обратно к себе на наблюдательный пункт командир этого «полка», одержавшего верх и над двумя дивизиями противника, и над его укреплениями, и над его сильной артиллерией, и над такой мощной водной преградой, как река Стырь, и над топью на обоих ее берегах.

А ведь топь эта была памятная в истории Украины и Польши топь. Недалеко от деревни Старики, несколько западнее, стояло старинное местечко Берестечко, и именно здесь, в этой излучине Стыри, два с половиной века назад отстаивал Богдан Хмельницкий свободу Украины, и много тогда коней и много дюжих всадников проглотила эта прожорливая топь. И посвятил той битве Тарас Шевченко свои строки:

— Отчего ты почернело,
Зеленое поле?

— Почернело я от крови

За вольную волю.
Вкруг местечка Берестечка,
На четыре мили.
Удалые запорожцы
Голову сложили.

— Если не в Берестечке теперь ночует австрийский штаб, то где же еще, хотел бы я знать? — спрашивал больше самого себя, чем тех, кто его окружал, Гильчевский; он просто думал вслух, оглядывая вокруг себя все в густеющих перед восходом луны сумерках. — На всякий случай, так как классный надзиратель ушел, можно будет пустить десяток тяжелых: а вдруг хоть один накроет там кого надо, — тогда цель вполне оправдывает средства.

И десять тяжелых были пущены в Берестечко, и это были последние орудийные снаряды в эту ночь. Потом поднималась иногда, но вскоре замирала только ружейная перестрелка.

К середине ночи заалели зарева в разных местах на западе: что-то жгли, отодвигаясь под прикрытием темноты, австро-германцы.

10-я дивизия перебралась на левый берег Стыри еще засветло, а утром 8 июля осмелилась перейти Пляшевку, при впадении ее в Стырь и 105-я, и на ее долю перепало порядочно пленных. К полудню же через Стырь переправились и части 5-го корпуса, стоявшего севернее 32-го.

Так успех одной 101-й дивизии передвинул за большую реку фронт двух корпусов на левом фланге одной из пяти армий Брусилова.

Но она обезлюдела, обескровела, эта боевая дивизия. Ее уж неудобно было считать дивизией в ряду других, гораздо более полнокровных, и об этом, после донесения Гильчевского, вечером 7 июля сообщил в штаб 11-й армии Федотов.

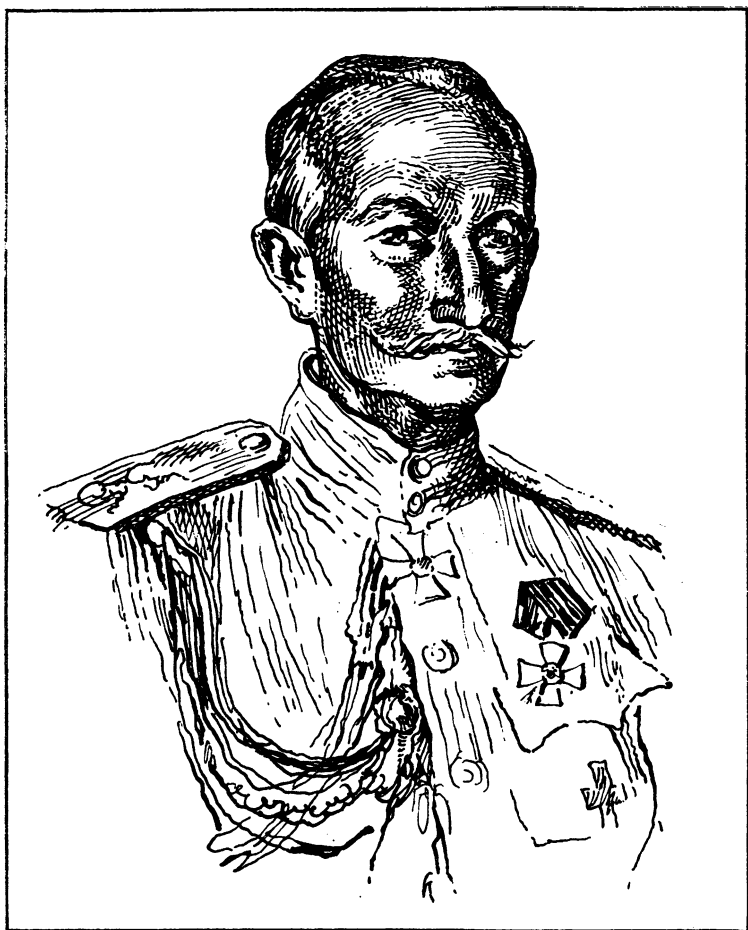
Утром 8 июля местечко Берестечко, в котором действительно ночевал австрийский штаб, было занято 403-м и 404-м полками.

Утром же Гильчевский по телефону из штаба корпуса получил приказ Сахарова, которым его дивизия, ввиду ее малолюдства, перебрасывалась снова туда же, откуда она пришла сюда, — 25 верст к югу, — на реку Слоновку, берега которой были отнюдь не менее, если только не более топкими, чем берега Стыри.

Задача же, которую он получил, заключалась в том, чтобы 11 июля форсировать Слоновку так же успешно, как удалось ему форсировать Стырь.

ВОСПОМИНАНИЯ
РЕПОРТАЖИ
ОЧЕРКИ
ДОКУМЕНТЫ





А. А. Брусилов.
Рисунок времен первой мировой войны.



Различного рода и жанра публикации подлинных материалов, из которых состоит данный раздел, подобраны так, чтобы читатели получили представление о самых различных сторонах жизни России времен первой мировой войны. Здесь предстанут картины деятельности Ставки — верховного главнокомандования русской армии (М. Лемке) и окопный быт солдата на самой передовой (Р. Малиновский, будущий маршал), деятельность фронтовых и армейских штабов (А. Брусилов, М. Бонч-Бруевич) и переживания наивного мальчишки-добровольца; сбежавшего из гимназии на передовую (Вс. Вишневский).

Среди авторов публикуемых воспоминаний, дневников и зарисовок не только генералы и рядовые, и вообще не только и не столько военнослужащие, ибо жизнь огромной страны отнюдь не ограничивалась полосой фронта. Именно поэтому в книге появились рассказы депутата-большевика, члена Государственной думы А. Бадаева, военного врача и бывшего сельского учителя, корреспондентов русской и зарубежной печати (в том числе таких знаменитостей своего дела, как Алексей Толстой и американец Джон Рид), а также произведения других авторов самого различного общественного положения и происхождения. Документы рассказывают об успехах и неудачах, победах и поражениях, о героизме и низменной трусости. Из публикуемых материалов складывается широкая картина, как жили в ту пору самые различные слои общества: рабочие, крестьяне, солдаты и офицеры, интеллигенты, а также верхние слои тогдашней России.

Особое значение имеют документы о рабочем и революционном движении, а также о братаниях русских и германо-австрийских солдат.

При составлении данных материалов придавалось значение и географическому фактору, особенно с учетом пространств и разнообразия природных условий России. Подробно показаны жизнь и быт тогдашней столицы; обстановка в Могилеве, где находилась Ставка; ход и исход боевых действий на Северном, Западном и Юго-Западном фронтах, положение в прифронтовой полосе

и в тылу. Словом, представлено все разнообразие происходящих событий от Балтийского до Черного моря.

Настоящие публикации подлинных документов строятся, насколько возможно, по хронологическому принципу, от начала войны в августе 1914-го до полного развала бывшей к тому времени императорской армии к началу 1918-го. Такое построение позволит читателям из приводимых отрывков представить общий ход истории первой мировой войны на русском фронте.

Имеются ли вынужденные пробелы в представляемой документальной картине? Безусловно, и немалые, ибо для полного показа событий необходимы многие тома (что, кстати, давно уже сделано во многих странах). Ограниченный объем данной книги не позволил рассказать, например, о действиях русских моряков. Это жаль, ибо слабейший по составу наш флот нанес тяжелые поражения флотам германским и турецким. Однако в общем ходе войны на русском фронте действия сторон на морях носили все же второстепенный характер, поэтому описание их в сборнике отсутствует. Чрезвычайно интересно развивалась тогда русская военно-техническая мысль, во многом опережавшая достижения союзников и противников. Русская артиллерия и саперы также превосходили по мастерству средний, так сказать, уровень. Однако эти и другие интересные сюжеты, к сожалению, не могли найти места в книге.

Стоит, наверное, сказать несколько слов о том, почему среди авторов данного раздела появились имена известных русских писателей Алексея Толстого и Всеволода Вишневского. В данном случае эти мастера художественного слова выступают как сугубые хроникеры-документалисты. Алексей Толстой уже с самого начала войны стал корреспондентом ряда российских газет в действующей армии. Его заметки и очерки приобретали огромную популярность в самых различных слоях русского общества. Писатель-патриот, он горячо сочувствовал русским солдатам, отмечал героизм нашей армии, ее стойкость и самоотверженность, но он же с нескрываемой горечью писал о недостатках снабжения, плохой организации транспорта, тыла и медицинской службы, о воровстве и казнокрадстве, слабости большинства тогдашнего генералитета. Многие из того, что увидел Алексей Толстой и описал тогда как репортер, впоследствии в художественно переработанном виде вошло в его знаменитый роман «Хождение по мукам».

Всеволод Вишневский с малолетства отличался силой, ловкостью, отчаянной храбростью. Выросший в солидной и обеспеченной семье, будучи любящим и преданным сыном, он все-таки решился пойти против воли родителей и подростком сбежал на фронт. Не авантюризм, а глубокая любовь к родине двигала тут

юношей: он был, как и многие тогда, убежден, что именно германский империализм есть подлинный виновник войны, и он должен быть сокрушен. Ранняя боевая закалка определила характер будущего военного писателя, чьи произведения вот уже много десятилетий остаются читаемыми и почитаемыми.

Джон Рид приехал в Россию отнюдь не новичком в репортерском деле, напротив, в Соединенных Штатах Америки он слыл уже асом журналистики. Его репортажи о делах и днях мексиканской революции сделались известны всему тогдашнему читающему миру. Рисовки Джона Рида о русском фронте очень интересны и своеобразны, полны метких наблюдений, возможных именно при взгляде со стороны. Однако читателю следует помнить, что американский репортер, человек безусловно смелый, доброжелательный и талантливый, был в то время заражен некоторыми русофобскими настроениями, которыми, к сожалению, вообще была заражена в ту пору западная печать: свою неприязнь к российскому правительству Джон Рид распространял порой на всю Россию. Нынешний читатель должен помнить об этом обстоятельстве.

Как известно, маршал Жуков был в 1915-м призван на военную службу, начал ее простым кавалеристом, а закончил унтер-офицером и Георгиевским кавалером. В своих всемирно известных воспоминаниях он с присущей ему твердой определенностью отозвался о российском корпусе младших командиров (унтер-офицеров) исключительно высоко. И справедливо: из бывших российских «унтеров» времен первой мировой войны вышли прославленные на весь мир полководцы: и сам Жуков, и Рокоссовский, и Конев. Впечатляющим примером в этой связи предстают в сборнике воспоминания будущего маршала Р. Я. Малиновского, будущих генерал-лейтенантов М. Н. Герасимова, Г. С. Радина и В. Л. Абрамова.

Так рождается и прослеживается в жизни и в истории связь времен. Новая народная Красная Армия выростала из недр старой русской армии, воспринимая освященные временем традиции Петра Великого и Суворова. Из закаленных в огне несправедливой первой мировой российских «унтеров» выросли знаменитейшие полководцы, сокрушившие — ко благу всего человечества — гитлеровскую военную машину. Данный сюжет исключительно важен и, безусловно, требует еще внимания исследователей.

В данном разделе представлены в общей сложности двадцать два документальных отрывка. Жанровое и тематическое разнообразие их позволяет надеяться, что читатель составит объективное представление об одном из самых драматических событий всемирной истории.

С. Н. СЕМАНОВ

А. Н. Толстой

ПО ВОЛЫНИ

Август 1914 г.

Согласуясь на станциях с санитарными эшелонами, мы сильно запаздывали; впереди нас все время шел таинственный, наглухо закрытый, поезд; о нем передавали разные невероятные слухи, но что в нем везли, — никто не мог сказать. Во всем остальном совсем не чувствовалась близость к полям войны. Тот же праздный народ на остановках; та же тишина по селам и хуторам, за перелесками и садами; низенькие мельницы на одной ноге; едущий на волах крестьянин вдоль полотна; стада и пыль на закате и торжественный в полнеба красный закат. Ширь и тишина и умиротворяющая глушь России словно поглощали своей необъятностью всякое беспокойство; казалось, что схитрить, свасильничать над такой землей невозможно; слишком все крепко село на свои места, неказистые, незаметные и родные; слишком много пришлось вытерпеть народу за тысячу лет, чтобы одна голова, хотя бы и немецкая, могла выкинуть над ним легкомысленную авантюру, а говорят, будто Вильгельм заказал даже карты с обозначением Великого Княжества Киевского, где должен сидеть его сын.

То же спокойствие у раненых солдат: почти безучастно лежат они, спят в раскрытых вагонах; но достаточно появиться слушателю, как начинаются рассказы про австрияков, про ихнее хозяйство, про разные случаи, и никогда никто не расскажет про свою доблесть; должно быть, все, что делает русский солдат, совсем не кажется ему геройским. Все утверждают огромное преимущество нашей артиллерии, а также неотразимость наших штыковых атак. Иные раненые одеты в синие австрийские полушубки и башмаки. У многих болят забинтованные руки, ноги, головы; но я не видел перекошенного лица, не слышал громких стонov: показывать страдание стыдно — так полагает русский народ.

Вспоминаю, в одном из госпиталей Москвы оперировали тяжело раненого в ногу; он лежал под хлороформом совсем раздетый, окруженный сестрами милосердия; по окончании операции одна из сестер, приведя его в сознание, спросила участливо, что он чувствует. Помолчав, раненый тихонько ответил: «Срамно лежать очень». Ему дали вина, предложили еще, и он сказал, закрывая глаза: «Не стану я, а то скажут: пьяница». И ни звука о боли, о страдании, только смягчилась душа его, захотелось стать как можно чище, как можно тише. Это постоянное (пускай часто бесплодное, но кто в этом виноват) стремление к очищению, к

ясному спокойствию, к душевной чистоте и есть основное в нашем народе, и это с необычайной отчетливостью появилось теперь в его сознании, возвысило дух народа, повело его к победам.

В Киев приехали после сумерек. Было холодно и звездно. Ущербный месяц высоко стоял над залитым огнями городом, над небоскребами, которые повсюду торчат по горам, среди садов и парков. Улицы полны народа. На перекрестках пестро одетые хохлушки продают орехи и цветы. Разыскивая знакомого, я выбрался в пустую улочку; вдалеке стоял трамвай с прицепным закрытым вагоном и около — небольшая толпа. Из вагона, отогнув парусину, вынимали носилки с тяжелоранеными, пронесли их в молчании сквозь расступившийся народ. Гимназисты-санитары живо и точно работали. Глубоко ушедшие в носилки тела раненых покрыты шинелями, поднята только голова, иногда колено. У одного были совсем заплаканные глаза. Другой часто курил папироску, разутые же ноги его были запекшиеся и черные.

Весь следующий день прошел в хлопотах и суете. Глядя на веселую, нарядную, легкомысленную толпу, я совсем забыл, что в трехстах верстах идет небывалая еще битва народов, где два миллиона солдат выбивают друг друга пулями и штыками из лесов и оврагов, где режут шесть тысяч пушек, носятся и падают разбитые аэропланы.

Говорят, что в Киеве в первые дни была паника, затем многие раненые, вернувшись, порассказали о событиях, и общество успокоилось.

Ночью пришло известие о большой победе. В вестибюле моей гостиницы ходили, волоча сабли, поводя рыжими усами, чешские офицеры: наверху, на седьмом этаже, кричали и пели чехи, празднуя победу. Среди чехов-добровольцев есть женщины; наш швейцар зовет их «запасные бабы».

Но город отнесся к известию сравнительно спокойно. Только часа в два на другой день на площадь пред древней Софией стеклась толпа с хоругвями и знаменами, отслужили молебствие, прокричали «ура», спели гимн и долго бросали вверх картузы и смушковые шапки. Простонародье здесь, как и повсюду, пожалуй, горячее отзывается на войну. Например, торговки булками и яблоками ходят к санитарным поездам, отдают половину своих булок и яблок раненым солдатикам.

При мне к знакомому офицеру на улице подошла баба, жалобно посмотрела ему прямо в лицо, вытерла нос, спросила, как зовут его, офицера, и посулилась поминать в молитвах.

В это же утро хоронили Нестерова *. На церковном дворе близ Аскольдовой могилы, дожидаясь, собрался народ по бокам асфальтовой дорожки. Распорядителей было немного, держали они себя торжественно, но в облики их было что-то совсем гоголевское, — что-нибудь да лезло вперед, не соответствуя важности события.

Под старыми ореховыми деревьями я прошел в церковь, старинную и прекрасную, залитую огнями свечей. Посреди стоял высокий цинковый гроб в цветах; поверх его лежал кожаный шлем авиатора. Гроб куплен во Львове; цветы собраны там на поле, где упал герой.

Отважный и умный Нестеров, однажды поднявшись на воздух, не мог уже спокойно жить на земле. Он полюбил воздух и знал, что только там достигнет его смерть. Он первый рассчитал математически и сделал мертвую петлю. Он избрал нож для рас-

сечения цеппелинов, считая их допотопными пузырями. Он придумал и много раз репетировал атаку в воздухе на аэроплан. Он был птицей, но захотел стать соколом. На днях, заметив в воздухе австрийского летчика, он приказывает помощнику сесть и прогнать врага. Офицер на мгновение заколебался. Нестеров командует подать машину, садится, не сводя глаз с парящего аэроплана, быстро, спиралью, возносится над ним, накрывается, падает и своими шасси ударяет вражеский аэроплан — австриец-офицер, наблюдатель, машина, разбитые, валятся вниз. Но одного не рассчитал Нестеров, — слеша подняться, он не привязывает себя ремнями к сиденью, от страшного удара сам получает резкий толчок, подлетает, падает вновь на сиденье, у него ломается спиной хребет, смерть наступает мгновенно.

Так передает эту воздушную битву его механик, смотревший с земли в бинокль. Нестеров упал в воду, в болото, и совсем не был поврежден, австрийцы же, найденные близ него, оказались растерзанными ударом шасси.

За гробом шла его жена, закинув голову, закрыв глаза, закусив губу, молодая, маленькая; ей он поверял свои гениальные планы, фантастические мечтания. На кладбище, когда толпа уже прошла, вдруг пробежала, покачиваясь, красная, седая, простоволосая женщина — его мать. Ей стало дурно в церкви, сейчас же она торопилась, чтобы еще раз увидеть сына.

Его похоронили над Днестром, на откосе, откуда такой же широкий вид на черниговские поля и озера, какой открывался ему с воздушной, стремительной высоты. Воистину новых, невиданных героев открывают нам времена. <...>

Весь в зелени, с кривыми улицами, с белыми старыми живописными домами — Владимир-Вольнский. Колонки, арки, гостиные дворы, церкви, множество пестрых лавчонок — все это, маленькое, белое, старое, теснится и лепится по косогорам у болотистой речки и вокруг большой соборной площади. И надо всем повсюду шумят огромные, раскидистые деревья. Все лавки открыты, все улицы полны народом. Хохлы в серых свитках, пестро одетые хохлушки, евреи в маленьких картузах, в черных лапсердаках, поляки, солдаты. Через город идут войска, громыхает тяжелая артиллерия, тянутся санитарные повозки. Мы занимаем пару полудохлых лошадей, садимся в грязный, перевязанный проволокой, с измятым ведром на козлах, экипаж и выезжаем в поле.

День чудесный. По краям дороги на камнях отдыхают солдаты, щетина штыков у них торчит в разные стороны. Лица загорелые, спокойные; впереди, по жнивью, двигаются дозоры. Вдоль широкого шоссе растут те же столетние груши, акации и вязы. Мы едем на Грубешов.

* * *

Перегоняемый нами полк был уже в делах, перекидывался теперь на другое место и шел в боевом порядке, сопровождая артиллерию.

Артиллерийская стрельба, как ничто, требует спокойствия и выдержки, причем это последнее качество заменяется у русского солдата несокрушимым хладнокровием, отношением к бою, как к работе. Про артиллерию так и говорят, что она работала, а не она стреляла или она дралась,

Теперь, после месяца боев, пехотинцы, смотря на наших артиллеристов, как на высших существ, в армии началось их повальное обожание, о них говорят с удивлением и восторгом; при мне один увлекшийся офицер воскликнул: «Я видел сам, как у них целовали руки». Да и не только среди наших войск, — австрийцы на горьком опыте узнали превосходство русской стрельбы. Один пленный полковник в вагоне рассказывал: «Правительство нас обмануло, оно говорило, что русские пушки стары, солдаты не умеют стрелять, снаряды не рвутся. А я видел, как ваша батарея без пристрелки сразу осыпала с высоты трех метров прапнелью наши окопы; солдаты выскакивали из них, как из ада, но никто не ушел; они завалили рвы своими трупами, в полчаса из моего полка осталось только семь человек и я — раненый. Нам лгали, нас успокаивали, а вы втихомолку за эти десять лет создали себе первую в мире артиллерию».

Через день нам пришлось увидеть меткость и эффект русских бризантных снарядов, громивших неделю назад австрийскую батарею. Пока же мы весело ехали по песчаной, широко растоптанной обозами дороге, с горки на горку, под вековыми грушами.

Версты через три перегнали, наконец, последние авангарды и дозоры идущего войска. Справа и слева от нас на волнистых полях шли работы: там маленький мальчик вел борону, запряженную в два коня; там старик, в белой свитке, шел за плугом, понукая волов; там несколько женщин ощипывали ботву на свекле. На видных местах у леса белела церковь, виднелась за деревьями скромная крыша костела. На перекрестках стояли «фигуры» — высокие кресты, увешанные полотенцами и паклей. В другом месте на бугре торчало множество телеграфных столбов, соединенных проволоками, — на них выгоняют хмель в этих местах; дальше я видел целые леса этого хмеля, возникающие в одно лето.

Затем стали попадаться вольные пустые обозы, едущие за фуражом; в узкие и длинные телеги запряжены две, похожие на мышей, лошаденки, обозные крестьяне одеты в серые свитки; должно быть, не бог весте какой крепкий народ, художавый, малорослый и хмурый; лица у всех осторожные и смиренные, не слышно ни песен, ни смеха, это — русины и поляки. Зависимость их от помещиков велика, и сейчас во многих местах начались острые отношения с магнатами.

Обозов становилось все больше, дорога все хуже. В деревне с белыми, крытыми соломой, хатами, с высокими деревьями, палисадниками и непролазной грязью на улице мы нагнали военный обоз, идущий на Томашов. Обозный солдат выбирается, должно быть, особой породы, я не представляю его иначе, как сидящего на облучке в накинутах пинели, бородатого и сонного, держащего в руке кнут и французскую булку. Мы обогнали обоз только часа через три, он тянулся на много верст. Затем на закате выехали в Устьелуг — небольшое местечко с пестрым, полным народа базаром, с каменной на бугре заколоченной лавкой, где написано: «Распивочно и навивнос», с невероятно грязными мальчишками и крутым спуском, на котором наш экипаж стал так трещать и валиться, что мы сейчас же из него вылезли.

За этот спуск и за плавающий мост через Буг мы должны были, взобравшись на тот берег, заплатить копейку. Наши лошади остановились у шлагбаума; налево через реку заканчивался крепкий

белый мост, перед нами до самого закатающегося солнца лежало ровное пустынное плоскогорье; в конце его за Грубешовом стояли леса, и за ними-то австрийцы выбрали поле для рокового сражения.

Старый, седой еврей наклонился, пропуская нас через заставу, — с новым казенным мостом ему не будут больше платить копеек. Темнело медленно. В надвинувшейся с запада туче никак не могли погаснуть отблески заката; только когда, миновав плоскогорье, мы свернули на тряское шоссе, наступила, наконец, темнота. Направо от нас смутно выступили за высоким валом пустые корпуса казарм, налево в огромной мокрой низине в холодном тумане загорелись огоньки, запахло навозом и сырыми досками. Мы въезжали в Грубешов.

В. В. Вишневский

ВОЙНА

Гвардия и армия шли на войну.

Когда армия приняла запасных, она была поднята и поставлена на колеса. Армия оторвалась от своих казарм. Пять тысяч пятьсот эшелонов уносили армию к границам. Верная заветам старых лет, она двинулась в поход, утяжеленная громоздким и сложным имуществом. Она тащила его за собой, уподобляясь армиям прошлых веков, за которыми следовали тяжелые обозы со скарбом, живностью и прочими запасами. Каждая дивизия шла в шестидесяти эшелонах, в то время как каждая, молниеносно брошенная, германская дивизия шла лишь в тридцати эшелонах.

Из глубин империи к фронту, по дорогам различных профилей, различной прочности, различных радиусов и кривых, шла армия, меняя скорость в зависимости от характера участков, от мощности паровозов, от наличия двух или одной колеи, от сложности прохождения узловых станций, забитых эшелонами и брошенными товарными составами.

Все эти трудности не учитывались начальниками эшелонов, требовавшими все более ускоренного и ускоренного передвижения войск. Они возмущались установленными графиками движения, так как пропускная способность, обозначенная сетью сложных линий и цифр, оскорбительно противоречила священным и простым суворовским понятиям: «Быстрота и натиск!»

Офицеры требовали от путейцев быстроты, быстроты и еще раз быстроты. Путейцы, скрывая раздражение и считая, что разговоры бесцельны, все же убедительно и спокойно объясняли офицерам:

— Вот, гс-да, максимальный абсолютный график — параллельный, вот максимальный график с сохранением поездов большей скорости, вот специальный график и вот использованный график. Следите по вертикальной оси...

Офицеры, делая вид, что им все понятно, скользили глазами по путанице линий и снова настойчиво просили «ускорить» и «пропустить», а при возражениях раздраженно и упорно доказывали, что со средней скоростью в сорок верст в час эшелоны их полка свободно могли бы покрывать в сутки девятьсот шестьдесят верст и что возражать против этого не стоит, принимая во внимание военное время.

Путейцы, сдерживаясь, доказывали, что на движение грузового транспорта приходится семнадцать процентов, на технические остановки тринадцать процентов, на опоздания — четыре процента, на погрузку и выгрузку — тринадцать процентов и на маневры пятьдесят три процента времени. Этим и объясняется то, что непрерываемые и идеальные цифры, так обстоятельно приведенные господами офицерами, несколько видоизменяются практикой. Что же касается того, что эшелоны их полка прошли за последние сутки всего лишь триста пятьдесят верст, характеризует наивозможнейшую в данных условиях быстроту... Но офицеры требовали большего, убеждая путейцев в том, что эшелоны их полка должны во что бы то ни стало поспеть к первому сражению.

Подчиняясь магическим словам «военное время», путейцы в конце концов уступали и ломали график, бросая эшелоны окружающими путями, стремясь к тому, чтобы войска безостановочно шли вперед, в результате чего пути следования полков увеличивались на сотни лишних верст. Даже там, где войска могли идти походным порядком, выигрывая время, а не теряя его на многочисленные ожидания, погрузки и прочее, их для скорости отправляли эшелонами. Только на восьми магистралях эта гонка дала выигрыш во времени. Сибирская, Самаро-Златоустовская, Сызрано-Вяземская, Александровская, Привислинская, Полесская, Либаво-Роменская и Московско-Виндаво-Рыбинская магистрали донесли о сем успехе и были удостоены благодарности. Но нигде не упоминалось о том, что срочно выброшенные у границ Галиции и Пруссии войска не нашли ни ожидаемых соседних частей, ни развернутых продовольственных баз, ни обслуживания и, лишенные своих тылов, оказались в труднейших условиях. Остальные войска из-за несоблюдения графика шли с запозданиями туда, где уже были развернуты продовольственные базы.

Армии шли по двум направлениям.

По плану Генерального штаба главный удар русских войск должен был быть направлен на наиболее выгодный театр военных действий и против более слабого противника — на Австро-Венгрию. Одновременно Россия должна была выполнить свои обязательства в отношении Франции и начать на пятнадцатый день мобилизации наступление на Восточную Пруссию. Ставка приняла решение наступать на двух фронтах, не считаясь с тем, что к этому времени располагала лишь одной третью всех вооруженных сил России, ибо мобилизация могла закончиться не ранее сорокадневного срока. Преждевременность начатого наступления неомобилизованными и не имевшими хорошо организованного тыла армиями лишила русские войска возможности закрепить и развить успешно начатые операции. Ставка, убедившись в том, что основные силы Германии были брошены, против всех ожиданий, на Францию, не сумела использовать представившуюся ей возможность нанести скорый и наиболее губительный для противника удар — на Берлин.

Страна ждала обещанного быстрого победного марша армии. Хлеставший из ротационных машин поток газет кричал о скорых решающих сражениях. А в это время две трети армии империи Российской лишь начинали развертываться, занимая исходное положение у границ Германии и Австро-Венгрии. Плохие дороги тормозили движение, мосты не выдерживали веса тяжелых батарей и грузовых автомобилей. Дороги, по которым нужно было идти,

были испорчены временем; для их ремонта требовались тысячи пудов щепы и сотни катков, к чему интендантство не было подготовлено. Со всех сторон возникали неожиданные требования, ранее неизвестные и не предусмотренные уставом. Военно-полевые карты не соответствовали местности, а местность — картам.

Основные силы — корпуса и дивизии — следовали к указанным им местам, и по мере их хода становилась ясной не только ошибочность направления марша, но и вопиющая нерешительность Генерального штаба. Армии вытягивались цепочкой, юго-западная часть которой — против Австро-Венгрии — взяла семь двенадцатых всех сил, а западная и северо-западная — против Германии — пять двенадцатых. В угоду Франции русские войска распределялись почти в равной мере и на границе с Германией и на границе с Австро-Венгрией. Создал такое странное, противоречащее основам военного искусства распределение сил, Ставка не учла ни тактику врага, ни новые средства борьбы, ни силу огня германской артиллерии.

Блестящее начатое и выигранное русскими войсками Гумбинен-Гольдманское сражение не принесло решающего успеха; более того, русская армия в Восточной Пруссии была в конце августа окружена и понесла тяжкое поражение. Причиной этому была неподготовленность русской армии и тыла в начале войны к длительному наступлению. На Юго-западном фронте после кровопролитных боев русская армия оттеснила противника и к концу 1914 года заняла Галицию.

Вместо предполагавшихся «по плану» нескольких генеральных сражений военные действия свелись к ряду и крупных, и незначительных боевых операций, разбросанных по фронту, изурительных, длившихся неделями, месяцами, годами...

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

1

По всей империи Российской все чаще и чаще на стенах домов и заборах пестрели лиловые и голубые листки с двуглавым орлом: «Призвать на военную службу...»

Уходя в июле 1914 года на фронт, войска оставили черные свои казармы — низкие, прокопченные сводчатые каморы со слепыми окнами и гулкими коридорами, затхлые склепы с погасшими перед иконами лампадами. В каморах остался неистребимый запах махорки, кожи, карболки и пота... Лестницы разрушались, сырость разъедала тяжелые камни, и сквозь трещины пробивались бледные ростки чахлой травы...

Здесь, в этих брошенных казармах, шло обучение запасных батальонов.

Каморы после ухода войск наполнились согнанными сюда запасными и ратниками ополчения. На плитах казарменных коридоров с рассвета до вечера муштровали белобилетчиков и никогда до этого не служивших сорокалетних, сорокапятилетних и даже сорокасемилетних мужиков. Вечерами их загоняли в шевелившуюся от вшей соломенную труху на многоярусных деревянных нарах.

Это готовили, для пополнения армий, маршевые роты.

Запасных плохо кормили. Они пропитывались смрадом коптевших ламп. Запасные, в большинстве своем крестьяне, привыкшие к деревенским просторам, заболели от недостатка воздуха, затхлости и сырости казарм. Они становились вялыми и апатичными, и вид их ничем не вызывал представления о военной силе.

В тускло освещенных каморах и в коридорах по-прежнему раздавались команды... Унтера обучали запасных:

— Пад-равняйся! Образованье выправки слушай! Гляди все! Пятки вместилах, носки разведены на ширину приклада. Промеж колен просвету нету. Голова ни опущена, ни вздернута, но держитца прямо по своей высоте над землей... Всякий видит: ты есть солдат и готов отдать свою жизнь за веру, царя и отечество... Чего ты кривисси, ну? Держи голову пряма, ну!

Человек злобно глядел на унтера и повторял:

— Не могу я, не могу я, не могу...

— Эт-то как?!

И унтер, еще сохранивший часть довоенного блеска, пораженный неслышанным ответом, впился глазами в говорившего.

— Мускул у меня поврежденный... В детстве ушибли...

Унтер отошел от запасного, недовольный тем, что приходится обучать разных калек. Потом ведь с него на смотре спросят: «Почему у такого-то солдата голова дергается, зачем дергается, чего глядел обучающий? И где он, этот обучающий? Подать его сюда!» А что обучающий может сделать, если гонят таких, прости господи, солдат. И снова голос обучающего размеренно бубнит:

— Слушай дале. Стойка. Что есть стойка? Стой так, чтоб у тебе кокарда, нос, разрез воротника мундера... М... м... Ну, мундер теперь не носят — это в мирное время носили. Ну, все одно, — штоб середка горла, поясная бляха... ну, теперь и блях не носят... ну, середка пояска — были на одной линии. Фуражечку сдвинь набекрень, лоб открытый... Не морщись, ты, — полено! Когда стоишь, щупай себя тихонько — где шов, по шву руки держи, штоб как засохшие были. Карманы штобы всегда пустые были, штоб не топырились. Не на то даны карманы, штоб топырились.

В строю беспрерывно кашляли — то один, то другой. Некоторых трясло от нудного, мокротного, глубокого, всхлипывающего кашля.

— Чего чаютку делаете? Тиха! Смирна! Давай отдаване чести. Рука штоб как на пружине летала, ладонь как досточка. Отдаване чести дело серьезное. Честь на ходу — стоящему начальнику, честь на ходу — идущему начальнику. Отдаване чести с ружьем на ходу. Впрочем, про ружье у вас понятия нету, ружьев теперь не дадено... Ну ладно... Обойдется пока... Главное имей лихой вид! Давай ответ громче, и глаз чтоб был пронзительный!

Голоса у обучающихся скучные, без былой игры и рычаний, стремительных ударений и бархатных вибраций. Унтера уже не видят в службе красоты и, лишь подчиняясь дисциплине и привычке, вторят давнее-давнее, ощущая появление в себе тяжких беспокойств и внутренних, впервые тревожащих, сомнений.

— Прости господи, да што же это?..

И в казармах ощущалась смещенная, искаженная войной, чудовищно разлаженная жизнь.

Штабы осуществляли передвижения армии.

Серые плотные колонны солдат двигались по шоссе, ведущему ко Львову. Корпуса, стоявшие в резерве после осенних боев, начинали кампанию 1915 года. Полки еще сохранили кадровиков, но были сильно разбавлены маршевыми ротами из запасных и новобранцев осеннего призыва.

Десятки колонн 3-й и 8-й армий — гвардия и сибирские стрелки — шли разными скоростями по шоссе и параллельным дорогам Галиции, делая усиленные переходы, втроене перекрывавшие уставные нормы, и располагаясь, в минуты кратких дневных привалов, тут же, в дорожных канавах.

Кое-как были рассчитаны направления и места стоянок всей этой лавины, двигавшейся массивом к Карпатам и оседавшей на ночь в халунах и стодолах¹. В так называемых тесных районах квартирования приходилось по шестьдесят человек на избу — в отличие от неведомого войскам, но указанного начальством пункта устава, по которому на одного человека полагалось не меньше кубической сажени воздуха.

Там же, где люди не вмещались в стодолы и топтались на холоде, ожидая приказаний, штабы, устроившиеся в фольварках — господских усадьбах, — приказывали им располагаться бивуаком. Солдаты расстилали, следуя передаваемому из поколения в поколение солдатскому правилу, половину своих шинелей на снегу, ложились на них, тесно прижавшись друг к другу, и укутывались другой половиной шинелей. В темноте по снежным полям дребезжа пробирались походные кухни и кормили остывшим серым супом вылезавших из-под шинелей, дрожащих от холода солдат. Горели костры, сложенные из разломанных изгородей.

В деревнях галицийские крестьянки уже не молили солдат не трогать их имущества. Старики в кожухах и остроконечных черных барашковых шапках теснились в халупах, куда вваливались целые взводы усталых и вороватых от голода солдат, и мрачно, украдкой на них поглядывали.

В халупах тускло светили керосиновые лампы и свечи... Взводные, забрав у богатых солдат деньги, вызывали из сеней новобранцев. Им наказывалось «в два счета разжиться чего есть в деревне и доставить». Новобранцы покорно бегали по забитым людьми халупам, натыкались на таких же посланцев из других взводов. Стремясь опередить их, они выкрикивали заученные на польском языке слова: «Продай куру» (или гуся, или картошку) — и совали бабам деньги. Бабы равнодушно, безжизненно твердили: «Ниц нема». Тогда новобранцы, выполняя приказ, воровали учуянных во тьме кур или силой отнимали горшки с супом. Солдаты бежали обратно с добычей и, сами голодные, покорно отдавали ее фельдфебелям и взводным. Развалившись на хозяйских кроватях, взводные и фельдфебеля, испив чаю и съев принесенный им харч, блаженно погружались в сон. На лавках укладывались прислуживавшие им, на полу спали хозяева, а в сенях на холоде — новобранцы.

Тьма и тишина воцарялись в деревнях, и только часовые и

¹ Сараях.

дневальные шагали по скрипевшему снегу неизменным мерным российским шагом.

На рассвете солдаты вставали. Ежась от холода и зевая, шарили под шинелями. Каждый доставал сапоги, ремни, подсумки, ранцы, патронташи, баклаги — все свое солдатское сложное имущество, весившее полтора пуда. Солдаты приносили в котелках воду, набирали полные рты и, выпуская воду струйкой на ладони, терли лица мокрыми руками.

В халупах топились печи, женщины варили капусту и картофель. Новобранцы протискивались из сеней к печам и, чтобы погреться, тихо, скромно помогали женщинам. Замерзшие безумные парни протягивали руки к огню и грели их у теплых печей. Вводные полеживали в ожидании еды и снисходительно делали вид, что не замечают новобранцев. Потом начальство вставало. Прислуживавшие сливали им воду и подавали ярко-розовое мыло и полотенце. Помывшись и помолившись важно и истово, ибо рядом находились подчиненные, коим надлежит подавать пример, фельдфебеля и унтера садились за столы, на которых уже стояла приготовленная женщинами скудная еда.

Роты во дворах кипятили на разведенных кострах воду и пили ее из алюминиевых и эмалированных кружек, макая в кипяток мерзлый хлеб.

В фольварке вестовые и денщики сервировали офицерам завтрак. Экономическое офицерское общество отпуская по требованиям офицерских собраний по прејскуранту ассортименты вин, сыров, колбас, ветчин, маринадов, консервов, печений, варений, экстрактов и фруктов (по сезону) — по пониженным ценам.

Роты стояли уже во взводных колоннах, покинув халупы, столоты и примятые ими снежные ложа. Роты ожидали выхода офицеров из собрания. Офицеры выходили бодрые, веселые, согретые чаем с красным вином, и весело здоровались с людьми.

Раздалась обычная команда: «Справа по отделениям, шаго-ом арш», — и колонны солдат снова двинулись вперед, на Запад... чтобы начать на громадном фронте новые бои за вторжение в Венгрию.

Отменно ровно колыхались штыки винтовок, взятых на ремень на левые плечи. Лавина войск двигалась к Карпатам. Полки и дивизии вытягивались к магистральной дороге и при встречах рассматривали друг друга ревниво, но с уважением. Команды заставляли людей подтягиваться и выказывать молодецкий вид.

Полки шли по шоссе, усаженному столетними тополями, по которому проходили русские полки в наполеоновскую войну. Но тогда деревья были молоды и тонки.

При приближении к населенным местам неслись новые команды. Батальоны и роты строже брали интервалы и тверже давали шаг. Их снаряжение еще было добротное. Черные ранцы из непромокаемой клеенки блестяли за спинами гвардейцев. Патроны были в кожаных крепких подсумках и черных непромокаемых патронташах. Наплечные и поясные ремни лежали ровво. Рп-

мичный шаг давал какое-то успокоение. Близость боев меньше тревожила. В них не вызывали ни жалости, ни испуга вопиющие следы осенних боев, уничтоживших жизнь многих деревень и местечек. Полки шли, радуясь проглянувшему солнцу и, быть может, последним спокойным часам своей жизни.

Под снегом лежало солдатское кладбище (осени 1914 года). Дожди размыли надписи на семиконечных крестах. Полки шли, заливаясь лихими песнями, мимо кладбища, мимо старых австрийских окопов и заграждений из ржавой, колючей проволоки, разрушенных русскими солдатами осенью 1914 года. Было приказано петь при виде кладбищ, — «солдатам надлежит исполнять, а не рассуждать», — и полки послушно цели, и песнь торжественно стлалась по снежным равнинам:

Колонна за колонной
Полями, лесом, вброд
Могуче, неуклонно
Гвардия идет...

Так прошли Броды, Злочев, пересекли поперечные шоссе, тракты и проселки, приближаясь к Львову. Приблизившись к нему, дивизии приубрались и дали лучший вид.

Львов! Корпуса вошли в город. Повсюду русские городовые, русские вывески... Полки остановились на окраине города, у вокзала, ожидая эшелоны. В город ушли только офицеры. Был солнечный день. Офицеры гуляли по главным улицам, щеголяя своей беспечностью перед предстоящими боями, и, самообольщаясь, думали, что скоро Венгрия будет у их ног.

Ночью к платформам подошли эшелоны. Полки грузились... Офицеры расположились в желто-коричневых вагонах второго класса. Фельдфебеля, унтера и прислуживающие им новобранцы первые вошли в поданные теплушки. Прислуживающие вытерли верхние нары для начальства — лучшие места, разостлали поверх досок палатки. Солдаты занимали оставшиеся места — старослужащие на нижних нарах, а новобранцы на полу.

Корпуса покидали Львов ночью, устремляясь дальше по сохранявшимся в тайне маршрутам. Эшелоны уходили из Львова один за другим. Корпуса пролетели Самбор, Яворов, Ярослав; шли к Перемышлю!.. И дальше — на Венгрию!

Войска оставляли равнины Галиции, стремясь к горным хребтам Карпат. Весна растопила снег. Солдаты ловили в мартовском ветерке первые дуновения весны. Весна предвещала им бои, бои, бои...

После упорных боев двадцать второго марта был взят Перемышль. Это был последний крупный успех русских войск в 1915 году.

Джон Рид

ВДОЛЬ ФРОНТА

Медленно тащились мы, слыша медлительный гул канонады, раскатисто повторявшийся громким эхом и доносившийся до Новоселицы. А поднявшись на крутой холм, увенчанный разбросанной деревней с крытыми соломой домами, мы оказались на виду и батареей. Они находились на ближайшем откосе громадной волнистой возвышенности, немало впитавшей в себя горячей крови. С промежутками в полминуты тяжело плевало орудие, но ни дыма, ни пламени видно не было — только посуетятся немного фигурки, застынут и снова оживают. Свист и жужжание снаряда, а затем на лесистых холмах по ту сторону реки лопаются и быстро рассеиваются дымок. Там виднелись сверкавшие на солнце колокольни белевших Черновиц. Деревня, через которую мы проезжали, была полна рослыми загорелыми солдатами, поглядывавшими на нас угрюмо и подозрительно. Над воротами висел флаг Красного Креста, и вдоль дороги струился редкий поток раненых — некоторые опирались на своих товарищей, у других забинтована голова, или рука на перевязи. Тряслись крестьянские телеги с слабо стонавшей грудой рук и ног...

Дорога шла вниз, пока мы не подъехали вплотную к стрелявшим батареям. Часами тащились мы позади прерывистого, но гигантского артиллерийского сражения. Орудие за орудием, все в наскоро вырытых ямах, прикрытых хворостом, чтобы скрыть их от аэропланов. Вспотевшие люди гнулись под тяжестью снарядов, передвигая блестящие зарядные ящики. Методично защелкивался на свое место затвор, тотчас указатель отзванивал очередь, запальщик дергал шнур — орудие изрыгало удушливый дым, подавалось назад, визжал снаряд, и так мили и мили громадных, щедро паливших орудий.

На самом поле артиллерийского сражения мирно пахали на волах крестьяне, а перед ревущими орудиями мальчик в белой холщевой рубаше гнал по холму скот к пастбищу у реки. Мы встречали безмятежно ехавших в город длинноволосых хуторян с оранжевыми маками на шляпах. На восток равнина переходила в отлогий холм, по которому стлались поля молодой пшеницы, колыхавшейся под ветром длинными волнами. Его гребень был порван и изранен громадными рывтинами; множество крошечных человечков копошилось в новых траншеях и у проволочных заграждений. Это была вторая линия позиций, приготовленных к ожидавшемуся отступлению...

Мы повернули к северу, в сторону от артиллерии, по плешивому склону обширной возвышенности. Здесь земля громоздилась пышными узорчатыми волнами зеленых, коричневых и желтых узких полей, трепетавших под дуновением ветра. Через долины, края которых поднимались подобно распростертым крыльям падающих птиц, виднелись смягченные расстоянием очертания изборожденных откосов и зарослей. Далеко на западе, вдоль горизонта, возвышалась бледно-синяя волнистая линия Карпат. В необъятных просторах раскинулись утопавшие в зелени деревни — с глиняными хатами, неровно и ловко слепоными от руки, выбеленными, с яркой синей полосой по низу, и тщательно покрытыми соломой. Многие из них были покинуты, разорены и почернели от огня. <...>

Когда мы проезжали мимо, крестьяне снимали шапки, улыбаясь мягко и дружелюбно. Худой мужчина с тщедушным ребенком на руках бежал за нами и поцеловал мне руку, когда я дал ему кусок шоколада. Вдоль дороги встречались замшелые каменные кресты, исписанные древне-славянскими буквами; крестьяне снимали перед ними шапки и набожно крестились. Попадались там и грубые деревянные кресты, как в Мексике, отмечавшие места, где были убиты люди...

На высоко расположенном дугу, с которого открывался вид на протекавшую в отдалении реку и на развертывавшиеся вдали равнины Буковины, мы проехали лагерь туркменов. Горели костры; оседланные лошади щипали траву. Туркмены с жестокими лицами и раскосыми глазами сидели на корточках вокруг походных котлов или прохаживались между лошадей — варварское пятно на этом зеленом северном поле, где, быть может, тысячу лет назад их предки сражались вместе с Атиллой. За рекой, во вражеских траншеях, лежали их родичи — за туманными горами, к западу, находилась Венгрия, богатая страна, где осел, наконец, пришедший из Азии «бич господень». В том месте, где дорога снова спускалась в равнину, стояла старая круглая каменная часовня, окруженная изящными колоннами. Она была теперь пуста, и внутри устроили конюшню для лошадей туркменских офицеров. <...>

* * *

За Застевной мы увидели пленных австрийцев, остановившихся у каких-то разрушенных домов, чтобы напиться воды. Было их человек тридцать. Шли они, хромая, вдоль по дороге, палимые жаркими лучами солнца, под конвоем двух донских казаков верхом. Их серые шинели побелели от пыли, небритые лица подернулись усталостью. У одного из них была забинтована левая часть лица, и кровь просачивалась через повязку, у другого перевязана кисть руки, а некоторые прыгали на самодельных костылях. По знаку спешившихся казаков они, шатаясь, заковыляли в сторону от дороги и угрюмо бросились в тень. Два загорелых пленных рычали друг на друга, как звери. Раненый с забинтованной головой стонал, а тот, у которого была перевязана рука, начал с дрожью сбрасывать повязку. Казаки добродушно кивнули нам, разрешая поговорить с ними, и мы подошли с полными пригоршнями папирос. Они набросились на них с жадностью завятых курильщиков, давно уже лишенных табаку — все, кроме одного юноши с надменным лицом, который достал изящный портсигар, битком набитый папиросами с золотыми ободками, холодно отказывая от наших и вынул одну из своих, не предлагая больше никому.

— Это граф, — благоговейно пояснил нам парень с простым крестьянским лицом.

Человек с раненой рукой разбинтовал наконец свою повязку и осмотрел кровотокащую ладонь.

— Пожалуй, лучше ее опять забинтовать, — произнес он в конце концов, робко поглядывая на полного, сердитого вида субъекта с перевязью Красного Креста на руке. Тот оглянулся с ленивым пренебрежением и пожал плечами.

— У нас есть бинты, — сказал я и уже начал было доставать, но к нам подошел один из казаков и, нахмурившись, пока-

чал отрицательно головой. Он с отвращением посмотрел на пленного с повязкой Красного Креста и показал ему на раненого. Бормоча что-то себе под нос, толстяк начал с озлоблением рыться в своей сумке, выбросил из нее бинт и тяжело отошел в сторону.

Их было тридцать, и между этими тридцатью было представлено пять наций: чехи, кроаты, мадьяры, поляки и австрийцы. Один кроат, два мадьяра и три чеха не знали ни слова на каком-либо языке, кроме своего родного, и, конечно, ни один австриец не знал ни звука по-богемски, кроатски, венгерски или по-польски. Между австрийцами были тирольцы, венцы и полуитальянцы из Пола. Кроаты ненавидели мадьяр, мадьяры ненавидели австрийцев, а что касается чехов, то никто из остальных не стал бы с ними разговаривать. Кроме того, все они резко отличались друг от друга по социальному положению, причем каждый стоявший на высшей ступени с презрением смотрел на низшего...

Как образчик армии Франца-Иосифа, группа эта была весьма показательна.

Они были захвачены во время ночной атаки у Прута и прошли за два дня больше двадцати миль. Но все они отзывались очень хорошо о своих конвоях — казаках.

— Они очень внимательны и добры, — сказал один из пленных. — Когда мы остановились на ночь, казаки сами обходили нас и смотрели, чтобы всем было удобно. И они позволяют нам часто отдыхать.

— Казаки — славные солдаты, — промолвил другой. — Мне приходилось драться с ними, они очень храбры. Хотел бы я, чтобы у нас была такая кавалерия!

Молодой волонтер из Польского легиона спросил меня с нетерпением, выступит ли Румыния. Мы ответили, что похоже на то. Вдруг он задрожал и разразился целым потоком слов:

— Боже мой, боже мой! Что же делать? Сколько же может продолжаться эта ужасная война? Мы хотим только мира, покоя и отдыха. Мы побеждены, мы почетно побеждены. Англия, Франция, Россия, Италия — весь мир против нас. Мы можем с честью сложить оружие. Зачем только началась эта нелепая бойня?

Остальные сидели, угрюмо слушая его и не проронив ни слова...

Под вечер мы с брэнчаньем скатились в глубокий овраг, проходивший между высокими обрывами. Рядом с дорогой шумел поток, вертевший сотню мельничных колес. Сами же мельницы лежали разбитые артиллерийским огнем, а те, которые чудом уцелели, торчали, опираясь друг на друга вдоль оврага, на восточном склоне, где мы разглядели разрытые траншеи и ужасные корчи спутанной колючей проволоки — русские войска бомбардировали и атаковали здесь австрийские укрепления месяц тому назад. Сотни людей работали наверху, убирая обломки и возводя новые сооружения. Мы неожиданно свернули в сторону и выехали к отмели Днестра, чуть пониже того места, где высокий железнодорожный мост погружал в воду гирляндку развороченных динамитом брусев и канатов. Река широко огибала здесь обрыв в сто футов вышины. За понтонным мостом, заставленным артиллерией, утонул в зелени некогда прекрасный городок Залезики. Когда мы проезжали по мосту, голые казаки, шумя и брызгаясь,

купали в реке своих лошадей. Их сильные белые тела сверкали золотистым загаром.

Три раза две армии брали Залещики с бою, жгли и грабили его, бомбардировали по пятнадцать дней подряд. Большая часть населения бежала из города, так как оказывала помощь и предоставляла удобства неприятелю. Уже смеркалось, когда мы въехали на базарную площадь, окруженную отвратительными развалинами высоких домов. Под жалкими навесами шла вялая торговля, — крестьянки с подавленным видом разложили там свои скудные запасы овощей и буханки хлеба перед шумным сборищем солдат. Несколько евреев прятались за углами. Иван спросил о гостинице, но прохожий с усмешкой показал на высокую рассыпавшуюся кирпичную стену с иронически звучащей надписью «Гранд Отель» — все, что осталось от гостиницы. Где можно достать чего-нибудь поесть?

— Чего-нибудь поесть? В этом городе не хватит пищи, чтобы накормить мою жену и детей.

Ужас навис над этим городом. <...>

На полдороге мы встретили колонну солдат, маршировавшую по четыре человека в ряд — они отправлялись на фронт. Едва ли треть их была с винтовками.

Шли они тяжелой, колеблющейся походкой обутых в сапоги крестьян, держа головы кверху и размахивая руками — бородастые, опечаленные гиганты с кирпично-красными руками и лицами, в грязных подпоясанных гимнастерках, скатанных шинелей через плечо, с саперными лопатами у поясов и громадными деревянными ложками за голенищем. Земля дрожала под их шагом. Ряд за рядом направлялись мужественные, печальные, равнодушные лица в сторону запада, к неведомым боям за непонятное дело. Маршируя, они пели песню, такую же простую и потрескающую, как еврейские псалмы. Шедший во главе колонны офицер прочел первую строку, ее подхватил старший унтер-офицер, и вдруг, словно прорвавшая плотину вода, хлынул из могучих грудей нежданный подымающий поток глубоких, уверенных голосов трех тысяч человек — волна звуков, напоминавших гремещий орган:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.

Они прошли. Волны медленного хора нарастали и падали все слабее и слабее. Мы проезжали между бесконечными лазаретами, из окон которых рассеянно высывались страшные, все в белом, фигуры с посеревшими от долгого лежания лицами. Улицы были полны солдатами — раненые на костылях, старые запасные действительной службы и юнцы, которым нельзя было дать больше семнадцати. На каждого вольного приходилось три солдата, хотя это отчасти могло быть следствием и того обстоятельства, что много евреев было «пущено в расход», когда русские заняли город, — темная и кровавая тайна. На каждом углу стоял вооруженный часовой, угрожающе поглядывая на всех прохожих взглядом недоверчивого крестьянина. И когда мы проезжали мимо них в стэтсоновских шляпах, спортивных бриджах и крагах, — никогда не виданных прежде в этой стране одинаковой одежды, —

они глазели на нас, открыв рты. На их лицах можно было прочесть тяжело возникавшее сомнение, но мы уже были далеко.

— Стой! — закричал часовой у штаба командующего, беря на изготовку. — Стой! Кто такой?

Мы спросили офицера, который мог бы говорить по-французски или по-немецки.

— Вы немцы? — спросил он, употребляя старинное крестьянское название германцев, происходящее от слова «немой», так как первые приезжавшие в Россию германцы не знали местного языка.

— Мы американцы.

Остальные солдаты столпились, чтобы послушать.

— Американцы! — произнес с хитрой улыбкой какой-то человек. — Если вы американцы, то скажите-ка мне, на каком языке говорят американцы?

— Они говорят по-английски.

Тогда все они пытливо уставились на вопрошавшего. Тот кивнул. Появился офицер, строго смерил нас с головы до ног и спросил по-немецки, кто мы такие и что мы тут делаем. Мы объяснили. Он почесал в затылке, пожал плечами и исчез. Затем с шумом вынырнул человек с всклокоченной бородой и попробовал говорить с нами на русском, польском и на ломаном французском. Для него это оказалось делом явно невыполнимым. Не зная, что предпринять, он стал расхаживать, пощипывая бороду. В конце концов он разослал по всем направлениям вестовых и жестом пригласил нас следовать за собой. Мы вошли в обширную комнату, ирежде, повидимому, бывшую театральным залом, так как на одном конце ее возвышались подмости, занавешенные пышно раскрашенной занавесью. Около тридцати человек в полной военной форме гнули спины над столами, трудолюбиво выписывая от руки бесконечные «отношения» бюрократической рутинны. Один из них осторожно пробовал новое изобретение, пишущую машинку; очевидно, никто из них прежде ее не видывал, и она доставляла всем великое наслаждение.

Из соседней комнаты вышел молодой офицер и начал обстреливать нас строгими вопросами на беглом французском. Кто мы такие? Что мы здесь делаем? Каким образом мы сюда приехали? Мы рассказали историю своих мытарств.

— Через Буковину и Галицию! — он был поражен. — Но никому из штатских не разрешается въезд в Буковину и Галицию!

Мы предъявили свои пропуска.

— Вы корреспонденты? Но разве вы не знаете, что корреспондентам запрещен въезд в Тарнополь?

Мы указали ему на тот факт, что мы уже въехали сюда. Он, казалось, растерялся.

— Чего же вы хотите?

Я сказал ему, что мы хотим побывать на фронте — девятой армии и, по просьбе американского посла в Бухаресте, разыскать нескольких американских граждан, живших в Галиции. Он пробежал глазами список имен.

— Ба! Евреи! — заметил он с отвращением. — Почему ваша страна принимает в подданство евреев? А если уж принимает, то почему не держит их у себя дома? Вы куда хотите направиться? Стрый? Калуш? Проехать туда невозможно.

— А, — сказал я, — значит, Стрый и Калуш теперь уже на первой линии?

Он усмехнулся.

— Нет. На второй линии — германской второй линии!

Мы поразились быстроте германского наступления.

— Это только вопрос времени, — равнодушно начал он. — Они скоро будут здесь.

Внезапно он стал весь внимание.

— Генерал!

Тридцать писак разом вскочили на ноги.

— Здорово, ребята, — раздался приятный голос.

— Здравия желаем, ваше с-ство! — закричали писаря в один голос и снова сели за работу.

Генерал Лечицкий оказался человеком, еще не достигшим средних лет, с живым, улыбающимся лицом. Он отдал нам честь и радушно пожал руки.

— Так вы хотите побывать на фронте? — сказал он, когда офицер доложил ему о нашем деле. — Я не понимаю, каким образом вам удалось проехать сюда, ведь корреспондентам пребывание в Тарнополе совершенно не разрешается. Однако ваши бумаги в полном порядке. Но я не могу разрешить вам посетить передовые позиции: великий князь издал приказ, абсолютно запрещающий это. Вам лучше поехать в Львов — Лемберг — и попытаться добиться разрешения через князя Бобринского *, генерал-губернатора Галиции. Я вам дам пропуска. А пока что вы можете оставаться здесь, сколько потребуют ваши дела...

Он поручил нас молодому прапорщику, говорившему по-английски, и распорядился, чтобы нам приготовили комнату в отеле, предназначенном для штабных офицеров, и обед в офицерской столовой.

Мы были поражены городом: Тарнополь был полон войсками — полки, возвращавшиеся с позиций на отдых, отправляющиеся на фронт, свежие пополнения, прибывающие из России в военной форме, еще не истрепанной в битвах. Могучие хоровые песни сталкивались и разбивались друг о друга непрерывными волнами сильных голосов. Только немногие были вооружены. Длинные товарные поезда, груженные несметным количеством муки, мяса и консервов, тянулись на запад, военного же снаряжения мы не видали. <...>

За четырнадцать часов мы проехали только сорок пять миль. Мы часами стояли на разъездах, пропуская воинские эшелоны и длинные белые ряды молчаливых вагонов, пахнувших иодоформом. И снова пространство желтеющих тяжелых хлебов — замечательный урожай здесь.

Страна жила солдатами. Ими были набиты все станции; полки, лишь наполовину вооруженные, рассаживались вдоль платформ в ожидании своих поездов. Поезда кавалерии с лошадьми, платформы, высоко нагруженные продовольствием, беспрестанно попадались нам навстречу. Повсюду крайняя дезорганизация: расположившийся у железнодорожного полотна батальон ничего не ел весь день, а дальше громадный навес — столовая, в которой портились тысячи обедов, так как люди не прибыли вовремя. Нетерпеливо гудели паровозы, прося свободного пути... На всем лежал отпечаток безалаберно затраченных повсюду огромных сил.

Какая разница с бесперебойной германской машиной, которую я видел в северной Франции четыре месяца спустя после

окупации. Там тоже стоял вопрос о транспортировании миллионов людей, о переброске их из одного места в другое, о перевозке для них оружия, снаряжения, еды и одежды. И хотя северная Франция покрыта железнодорожной сетью, а Галиция пет, германцы построили новые четырехпутевые линии, устремившиеся через всю страну и врезавшиеся в города через железобетонные мосты, сооруженные в восемнадцать дней. В германской Франции поезда никогда не опаздывали.

* * *

Громадный вокзал в Лемберге* — или Львове, по-польски — был забит пробегавшими с криком войсками, солдатами, спавшими на заплыванном полу, обалдевшими беженцами, бестолково бродившими повсюду. Никто нас ни о чем не спрашивал и не останавливал, хотя Лемберг был одним из запрещенных для въезда мест. Мы проехали через старинный королевский польский город, между мрачными стенами больших каменных построек, похожих на римские или флорентийские дворцы — некогда резиденция самого заносчивого дворянства в мире. На маленьких площадях, между извилистыми средневековыми улицами, стояли старинные готические церкви — высокие, узкие крыши, тонкие башенки, искусно выложенные камнями, с разноцветными окнами. Необъятные постройки в современном германском стиле выдавались на ярком небе; встречались ювелирные магазины, рестораны, кафе и широкие, зеленые скверы большого города. Жалкие еврейские кварталы раскинулись на бойких улицах, заваленных мусором и многолюдных от суматохи; но здесь дома их и магазины были просторней, чаще слышался смех, и чувствовали они себя свободней, чем в других местах, которые мы видели. Солдаты — повсюду солдаты, — евреи и быстрые, размахивающие руками поляки — толпились на тротуарах. Повсюду раненые — выходящие лазареты. Целые улицы домов превращены во временные лазареты. Никогда, ни в одной стране во время войны не видел я такого колоссального количества раненых, как в русской передовой полосе.

«Отель Империяль» был старым дворцом. В нашей комнате, площадью двадцать пять футов на тридцать и вышиной в четырнадцать футов, внешние стены были девяти футов толщины. Мы позавтракали, затерянные в пустыне этих обширных апартаментов, а затем, так как в наших пропусках значилось, что «податели сего должны немедленно явиться в канцелярию генерал-губернатора Галиции», направились в старинный замок польских королей, где местная русская бюрократия действовала теперь со своей неуклюжей бесполезностью.

В передней толпа беженцев и всякого рода штатских осаждала стол писаря. В конце концов он взял наше удостоверение, внимательно прочел его раза два — три, перевернул его вверх ногами и вернул нам, пожав плечами. Больше он не обращал на нас никакого внимания, так что нам пришлось самим пробивать себе дорогу мимо нескольких часовых во внутреннюю комнату, где за столом что-то писал офицер. Он посмотрел на наше удостоверение и мягко улыбнулся:

— Не знаю, — сказал он. — Я ничего не знаю по этому делу. <...>

20 июля. [1914 г.]

Во Франціи вчера объявлена всеобщая мобилпзациа. Бельгія сдѣлала то же самое. Германія также отвѣтила мобилпзацией и уже заняла Бендинъ и Калишь.

Сегодня подписанъ манифестъ объ объявленіи военныхъ дѣйствій между Россіей и Германіей. Въ 4 часа въ Николаевскомъ залѣ Зимняго дворца состоялось торжественное молебствіе о ниспосланіи побѣды русскому оружію. Царь съ членами своей фамиліи прибылъ изъ Новаго Петергофа на яхтѣ къ Николаевскому мосту, пересѣлъ тамъ на катеръ и подъѣхалъ ко дворцу. Толпа забывшаго все его зло народа кричала «ура». При прохожденіи царя къ Іорданскому подъѣзду густыя толпы стали на колѣни, кричали «ура» и пѣли «Боже, царя храни». Въ это время стоявшимъ въ Николаевскомъ залѣ былъ слышенъ громкій голосъ великаго князя Николая Николаевича: «...А главнокомандующимъ VI арміей назначенъ Фанъ-Деръ-Флитъ»¹. Военные поняли, что самъ онъ назначенъ Верховнымъ главнокомандующимъ всей нашей арміи, и не ошиблись. Царь вошелъ въ запруженный сановниками залъ въ началѣ пятаго часа. Его духовникъ прочелъ манифестъ, затѣмъ начался молебенъ, послѣ котораго царь съ большимъ волненіемъ произнесъ слѣдующую рѣчь, обращенную къ военнымъ и морскимъ чинамъ: «Съ спокойствіемъ и достоинствомъ встрѣтила наша великая матушка-Русь извѣстіе объ объявленіи намъ войны. Убѣжденъ, что съ такимъ же чувствомъ спокойствія мы доведемъ войну, какая бы она ни была, до конца. Я здѣсь торжественно заявляю, что не заключу мира до тѣхъ поръ, пока послѣдній непріятельскій воинъ не уйдетъ съ земли нашей (заимствованіе у Александра I. — М. Л.). И къ вамъ, собраннымъ здѣсь представителямъ дорогихъ мнѣ войскъ гвардіи и петербургскаго военного округа, и въ вашемъ лицѣ обращаюсь я ко всей единородной, единодушной, крѣпкой, какъ стѣна гранитная, арміи моей и благословляю ее па трудъ ратный». Громовое, дѣйствительно, громовое «ура» было отвѣтомъ растроганныхъ сановниковъ, одинъ изъ

¹ Константинъ Петровичъ, генераль-отъ-артиллеріи, помощникъ главнокомандующаго войсками гвардіи и петербургскаго военного округа.

которыхъ, членъ Военнаго Совѣта П. А. Салтановъ, мнѣ все это и разсказалъ. Царь благословилъ присутствующихъ, всѣ опустились на колѣни... Старики плакали, молодые едва сдерживали рыданія... Царь съ семьей удалился и затѣмъ вмѣстѣ съ Александрой Федоровной вышелъ на балконъ... Толпа ревѣла всей грудью, опустилась на колѣни, склонила національные флаги и запѣла гимнъ. Царь и царица кланялись на всѣ стороны, а затѣмъ съ семьей вернулись тѣмъ же порядкомъ въ Петергофъ.

Впереди толпы были видны флаги, плакаты съ надписью «Боже, царя храни». Безпрерывно, то въ одномъ мѣстѣ, то въ другомъ поютъ гимнъ и «Спаси, Господи, люди твоя». То здѣсь, то тамъ слышны возгласы: «Долой Германію!», «Да здравствуетъ Россія!», «Да здравствуетъ Франція!»...

Черезъ толпу проводятъ запасныхъ. Они подъ командой нѣсколькихъ офицеровъ, въ сопровожденіи женъ и матерей. Громкое «ура» несется за ними все время, пока они видны на площади.

Громадная площадь живетъ; толпы смѣняются, — народъ считаетъ долгомъ побыть на ней хоть нѣсколько минутъ. Крестъ, которымъ увѣнчана Александровская колонна, — этотъ символъ первой Отечественной войны, теперь символизировалъ настроеніе столицы передъ началомъ второй, во много разъ, вѣроятно, болѣе трудной... Кто былъ на Дворцовой площади 9 января 1905 года, тотъ пойметъ глубокое значеніе этой манифестаціи. Тогда простодушные люди шли молить царя объ обузданіи произвола возглавляемаго имъ правительства; сегодня они все еще вѣрили въ своего такъ долго обманывавшаго всѣхъ царя; тогда думали, что, нарушая полицейское запрещеніе о сборищахъ и ставъ рядомъ съ царемъ, услышать отъ него слово освобожденія... Сегодня, забывавъ тогдашній громъ пушекъ и свистъ картечи, преисполненный вѣры въ лучшее близкое будущее, надѣявшійся на немедленныя реформы, которымъ не помѣшала бы свора придворныхъ нѣмцевъ, гордый сознаниемъ своего единенія, — народъ опять шелъ туда же... <...>

Какъ легко править такимъ народомъ! Какимъ надо быть тупымъ и глупымъ, чтобы не понять народной души, и какимъ черствымъ, чтобы ограничиться поклонами съ балкона... Да, Романовы-Гольштейнъ-Готторпы не одарены умомъ и сердцемъ.

Весь день гудятъ колокола. У всѣхъ церквей толпы

молящихся. Настроение праздничное и приподнятое; ни тоски, ни равнодушія. Мало кто может не поддаться общему порыву; такъ и тянетъ на улицу. Бахвальства тоже нѣтъ, «шанками закидаемъ» не слышно; каждый понимаетъ, что врагъ серьезень, но вѣрить въ близкій и полный успѣхъ.

Сейчасъ (вечеромъ) можно уже получить подробности: экстренные выпуски газетъ опубликовали манифестъ, назначеніе Верховного главнокомандующаго и созывъ законодательныхъ палатъ.

«Божіею милостію, мы, Николай Второй, императоръ и самодержецъ всероссійскій, царь польскій, великій князь финляндскій и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ:

«Слѣдую историческимъ своимъ завѣтамъ, Россія, единая по вѣрѣ и крови съ славянскими народами, никогда не взидала на ихъ судьбу безучастно. Съ полнымъ единодушіемъ и особою силою пробудились и братскія чувства русскаго народа къ славянамъ въ послѣдніе дни, когда Австро-Венгрія предъявила Сербіи завѣдомо неприемлемыя для державнаго государства требованія.

«Презрѣвъ уступчивый и миролюбивый отвѣтъ сербскаго правительства, отвергнувъ доброжелательное посредничество Россіи, Австрія поспѣшно перешла въ вооруженное нападеніе, открывъ бомбардировку беззащитнаго Бѣлграда.

«Вынужденные, въ силу создавшихся условій, принять необходимыя мѣры предосторожности, мы повелѣли привести армію и флотъ на военное положеніе, но, дорожа кровью и достояніемъ нашихъ подданныхъ, прилагали всѣ усилія къ мирному исходу начавшихся переговоровъ.

«Среди дружественныхъ сношеній, союзная Австрія Германія, вопреки нашимъ надеждамъ на вѣковое доброе сосѣдство и не внемля завѣренію нашему, что принятія мѣры отнюдь не имѣютъ враждебныхъ ей цѣлей, стала домогаться, немедленной ихъ отмѣны и, встрѣтивъ отказъ въ этомъ требованіи, внезапно объявила Россіи войну.

«Нынѣ предстоитъ уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную намъ страну, но оградить честь, достоинство, цѣлость Россіи и положеніе ея среди великихъ державъ. Мы непоколебимо вѣримъ, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанутъ всѣ вѣрные наши подданные.

«Въ грозный часъ испытанія да будутъ забыты внут-

реннія распри. Да укрѣпится еще тѣснѣе единеніе царя съ его народомъ и да отразитъ Россія, подиявшаяся, какъ одинъ человекъ, дерзкій натискъ врага.

«Съ глубокою вѣрою въ правоту нашего дѣла и смиреннымъ упованіемъ на Всемогущій Промыселъ, мы молитвенно призываемъ на Святую Русь и доблестныя войска наши божіе благословеніе.

«Данъ въ Санктъ-Петербургѣ, въ двадцатый день іюля, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, царствованія же нашего двадцатое.

Николай».

Именной высочайшій указъ, данный правительствующему сенату 20 іюля:

«Не признавая возможнымъ, по причинамъ общегосударственнаго характера, стать теперь же во главѣ нашихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ, предназначенныхъ для военныхъ дѣйствій, признали мы за благо всемилостивѣйше повелѣть нашему генералъ-адъютанту, главнокомандующему войсками гвардіи и петербургскаго военного округа, генералу-от-кавалеріи е. и. в. вел. кн. Николаю Николаевичу быть Верховнымъ главнокомандующимъ»...

25 сентября [1915 г.]

— Въ 8 часовъ 15 минутъ вечера я прибылъ въ Могилевъ, а въ Ставку былъ любезно доставленъ фельдшерскимъ поручикомъ Александровымъ на казенномъ автомобилѣ, куда онъ усадилъ и моего дешчика, съ роду не ѣздившаго такъ помпезно. Вещи были уложены въ казенный же грузовикъ.

Въ концѣ девятаго часа я входилъ въ домъ, гдѣ помѣщалось управленіе генералъ-квартирмейстера штаба Верховнаго главнокомандующаго. Это — домъ губернскаго правленія, выселеннаго на какую-то частную квартиру. Рядомъ, послѣ воротъ и двора, находится домъ губернатора, отведенный для царя; тамъ же помѣщаются: министръ императорскаго двора, гофмейстеръ, дворцовый комендантъ и дежурный флигель-адъютантъ; всѣ остальные чины свиты живутъ въ ближайшихъ гостиницахъ. Невдалекѣ, черезъ площадь съ садомъ, помѣщаются управленія дежурнаго генерала, начальника военныхъ сообщений, морское и квартира директора дипломатической канцеляріи. Ставка, это — весь штабъ, но самое главное, центральное, самый нервъ ея — управленіе генералъ-квартирмейстера; тамъ живутъ начальникъ

штаба генераль-отъ-инфантеріи Михаилъ Васильевичъ Алексѣевъ, генераль-квартирмейстеръ Пустовойтенко и нѣсколько полковниковъ генеральнаго штаба, вѣдающихъ различными дѣлопроизводствами управленія.

Бравый полевой жандармъ у вѣшалки при входѣ снялъ съ меня пальто и предложилъ пройти наверхъ. Тамъ я явился дежурному по управленію штабъ-офицеру генеральнаго штаба, которымъ въ этотъ день какъ разъ былъ мой будущій непосредственный начальникъ, полковникъ Александръ Александровичъ Носковъ.

Онъ встрѣтилъ меня очень любезно, прочиталъ предъявленное мною предписаніе полка и, сказавъ, что очень занятъ срочной работой, рекомендовалъ прійти черезъ часъ, когда генераль-квартирмейстеръ вернется съ обычной своей вечерней прогулки. Явившись въ управленіе коменданта главной квартиры, я поѣхалъ въ отведенный мнѣ номеръ гостиницы «Метрополь», помылся, переодѣлся и черезъ часъ былъ опять у Носкова, проводившаго меня къ Михаилу Саввичу Пустовойтенку.

— Меня радушно встрѣтилъ генераль-маіоръ, когда-то поручикъ 15 стрѣлковаго полка, которымъ я зналъ его съ 1891 года. Бывая въ домѣ отца моего товарища по 2-му кадетскому корпусу, генерала-отъ-артиллеріи Павла Алексѣевича Салтанова, я познакомился тамъ съ Пустовойтенкомъ, какъ женихомъ его дочери, Ксеніи Павловны, вскорѣ затѣмъ по окончаніи академіи генеральнаго штаба и женившася на ней. До войны Пустовойтенко считался ординарнымъ офицеромъ генеральнаго штаба, ничто не выдвигало его; противъ обыкновенія, онъ и полкомъ (182 пѣх. Гроховскимъ) командовалъ пять лѣтъ, стоя съ нимъ въ такой дырѣ, какъ Рыбинскъ. Незадолго до войны, въ началѣ 1914 г., онъ былъ произведенъ въ генераль-маіоры съ назначеніемъ на должность начальника штаба одного изъ сибирскихъ корпусовъ. Онъ отправился туда дальнимъ морскимъ путемъ и прибылъ на мѣсто уже въ концѣ весны. Въ это время Янушкевичъ былъ назначенъ начальникомъ генеральнаго штаба. Тестъ Пустовойтенка Салтановъ пользовался глубокимъ его уваженіемъ; Янушкевичъ хотѣлъ сдѣлать ему пріятное и сказалъ генераль-квартирмейстеру генеральнаго штаба Ю. Данилову, что хотѣлъ бы видѣть Пустовойтенка въ Петербургѣ. Даниловъ исполнилъ это желаніе, но назначилъ генераль-маіора на полковничье мѣсто 2-го оберъ-квартирмейстера. Пустовойтенко возвращался обратно. Въ это время была объявлена война.

Предназначавшійся еще раньше на мѣсто генераль-квартирмейстера штаба Юго-Западнаго фронта генераль-майоръ Лукомскій, женатый на дочери Сухомлинова, отказался отъ этого поста. Алексѣеву неожиданно пришлось выбирать новое лицо. Къ составленному имъ списку кандидатовъ Янушкевичъ * рекомендовалъ прибавить Пустовойтенка. Кончилось тѣмъ, что, не зная его лично, Алексѣевъ на немъ и остановился. Вотъ обстоятельства, которыя способствовали такой быстрой карьерѣ моего стараго знакомаго.

Я передалъ ему письмо его жены, привѣты Салтановыхъ и ждалъ служебныхъ указаній.

— Михаилъ Саввичъ вкратцѣ посвятилъ меня въ предстоящую мнѣ работу, самъ, однако, не отдавая себѣ яснаго въ ней отчета. Какъ и предупредила меня Ксенія Павловна, знавшая о моемъ переводѣ изъ писемъ мужа, я понялъ, что буду работать подъ руководствомъ Носкова по созданію болѣе нормальныхъ отношеній Ставки съ періодической печатью. Общая мысль добрососѣдскаго единенія съ печатью принадлежитъ Алексѣеву, а ему подсказана отчасти ген. Эвертомъ. Затѣмъ Пустовойтенко рассказалъ кое-что изъ жизни штаба.

Прежняя Ставка, при Николаѣ Николаевичѣ и Янушкевичѣ, только регистрировала событія; теперешняя, при царѣ и Алексѣевѣ, не только регистрируетъ, но и управляетъ событіями на фронтѣ и отчасти въ странѣ. Янушкевичъ былъ совсѣмъ не на мѣстѣ, и правъ кто-то, окрестившій его «стратегической невинностью». Разстроенность разныхъ частей арміи значительна и вполне извѣстна. Царь очень внимательно относится къ дѣлу; Алексѣевъ — человѣкъ очень прямой, глубоко честный, одаренный необыкновенной памятью. Михаилъ Саввичъ считаетъ его недосыгаемо высокимъ для всѣхъ, не исключая и самого себя. Его доклады царю очень пространны. Новый штабъ хочетъ отдалить себя отъ дѣлъ не военныхъ и стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ придворныхъ интригъ; Алексѣевъ и Пустовойтенко ничего не добиваются, ведутъ дѣло честно, не шумятъ, пыль въ глаза никому не пускаютъ, живутъ очень скромно. Собственно штабъ, не по формѣ, а по существу, составляютъ: Алексѣевъ, Пустовойтенко, генераль-майоръ Вячеславъ Евстафьевичъ Борисовъ и Носковъ. Это — его душа, все остальное — или исполнители ихъ воли и рѣшеній или мебель...

Во время такого посвященія, когда я или молчалъ,

или только спрашивалъ, дважды входилъ Алексѣевъ, которому я и былъ тутъ же представленъ. Онъ очень просто подалъ руку, но ничего не спросилъ. Тонъ его разговора съ Пустовойтенкомъ дружескій. Онъ былъ озабоченъ чѣмъ-то; нужны были какія-то справки, за которыми онъ самъ и пришелъ изъ своего кабинета, не желая, по своей манерѣ, беспокоить подчиненнаго. <...>

— Вернувшись къ Носкову, я получилъ отъ него распоряженіе отправиться домой и прійти къ нему на слѣдующій день, послѣ 2 часовъ дня. Прощаясь, Носковъ показалъ мнѣ слѣдующую телеграмму, посланную сегодня Пустовойтенкомъ генераль-квартирмейстеру генеральнаго штаба генералу Леонтьеву и главнокомандующимъ фронтами: «Адмиралъ Эбергардтъ проситъ распоряженія всѣмъ газетамъ имперіи воспретить писать о появленіи и дѣйствиі подводныхъ лодокъ непріятеля въ Черномъ морѣ, кромѣ данныхъ официальныхъ сообщеній».

26 сентября [1915 г.]

Завтракалъ въ штабномъ собраніи. Оно устроено изъ кафэ-шантана, бывшаго при гостиницѣ «Бристоль», гдѣ теперь живутъ чины военныхъ миссій дружественныхъ намъ державъ. Довольно большой залъ съ небольшой сценой, занавѣсъ спущенъ. <...>

За столомъ А весь генералитетъ штаба; здѣсь же сажаютъ пріѣзжающихъ по разнымъ случаямъ министровъ, сановниковъ и генераловъ, если они не приглашены къ царскому столу. Мѣсто 1 — Алексѣева, 2 — Пустовойтенка, 3 — дежурнаго генерала Петра Константиновича Кондзеровскаго, 4 — начальника военныхъ сообщений Сергѣя Александровича Ронжина, 5 — начальника морского управленія контръ-адмирала Ненюкова, 6 — генерала Борисова.

Столъ Б — члены военныхъ миссій и прикомандированныхъ къ нимъ нашихъ офицеровъ;

В — дипломатическая канцелярія, мѣсто а князя Кудашева;

Г — отдѣльные столы, за которыми сидятъ по четыре человѣка. Мой столъ 1, мое мѣсто 2; со мною: капитанъ топографъ Александръ Васильевичъ Кожевниковъ, поручикъ 14 гусарскаго полка Николай Ивановичъ Давыдовъ и корнетъ 15 уланскаго полка Сергѣй Михайловичъ Крупинъ.

Весь штабъ завтракаетъ и обѣдаетъ въ двѣ смѣны:

первая въ 12 ч. дня и 6 ч. веч., вторая въ 1½ ч. д. и 7½ ч. в.; вся генераль-квартирмейстерская часть во второй смѣнѣ, дежурство и прочія — въ первой. Смѣна смѣну не видитъ иногда по цѣлымъ днямъ, если не встрѣчаются по службѣ или гдѣ-нибудь въ свободное время. Кто опоздалъ къ началу стола, опускаетъ 10 коп. въ благотворительную кружку; кто поздоровался въ залѣ съ кѣмъ-нибудь за руку — тоже 10 коп. Таковы обычаи еще со времени Николая Николаевича. Придя, каждый занимаетъ свое мѣсто, и всѣ стоятъ въ ожиданіи начальника штаба, а если его нѣтъ, то Пустовойтенка или Кондзеровскаго. Когда садится старшій, всѣ садятся. Когда кончаютъ, встаютъ вслѣдъ за старшимъ и даютъ ему выйти; одѣваются офицеры послѣ генераловъ и никогда не вмѣстѣ съ начальникомъ штаба.

Во время завтрака было очень просто. Кормятъ отлично и очень обильно. Каждый, кромѣ Алексѣева, платитъ въ мѣсяць 30 рублей и 3 рубля на прислугу (солдаты), а штабъ приплачиваетъ за каждого еще по 40—50 рублей; Алексѣевъ платитъ за себя всю стоимость. Сегодня, напр., давали: кулебяку съ рыбой и капустой, ростбифъ съ салатомъ и огурцами, кофе, чай, молоко, виноградъ. Легкое вино за особую плату, водки нѣтъ.

Въ собраніи есть два билліарда, почти всегда заняты, и небольшая читальня съ нѣсколькими газетами, «Сатирикономъ», «Столицей и Усадьбой» и т. п. — почти всегда пустая. <...>

12 октября [1915 г.]

Служа 11 лѣтъ въ строю пѣхотнаго армейскаго полка, Алексѣевъ считался отличнымъ офицеромъ, товарищи знали его, какъ человекъ большой энергіи, выдающейся трудоспособности и твердости воли въ преслѣдованіи поставленныхъ, — тогда, конечно, небольшихъ, — военныхъ задачъ.

За долготѣнную службу обыкновеннаго строевого офицера Алексѣевъ хорошо изучилъ русскаго солдата, сознательно и глубоко воспринялъ своей чуткой и простой душой богатство его духовныхъ качествъ, отлично узналъ и русскаго офицера, убѣдившись на дѣлѣ въ его большой потенціальной силѣ. На себѣ самомъ и около себя Алексѣевъ испыталъ и увидѣлъ недочеты военной организаціи, отражающіеся на спинѣ солдата и на шеѣ офицера совсѣмъ иначе, чѣмъ это кажется въ штабныхъ кабинетахъ. Такимъ образомъ передъ профессорами академіи

Алексѣевъ предсталъ во всеоружіи опыта и знанія, которыхъ такъ недостаетъ громадному проценту молодежи, поступающей въ академію сразу по истеченіи обязательнаго трехлѣтняго строевого стажа.

Окончивъ курсъ академіи по первому разряду въ 1890 г., Алексѣевъ пошелъ уже по обычной дорогѣ офицеровъ генеральнаго штаба, но вскорѣ же сталъ занимать положенія, уготованныя судьбой далеко не для всѣхъ изъ нихъ. Съ 1898 по 1904 гг. былъ любимымъ офицерами профессоромъ той же академіи, а нынѣ состоитъ почетнымъ членомъ ея конференціи.

Въ японскую войну Алексѣевъ показалъ свои способности, будучи генераль-квартимейстеромъ 3-й Манчжурской арміи, а окончательно убѣдилъ въ нихъ въ 1912 году, когда, при извѣстии о мобилизаціи Австріи, въ Спб. была устроена «военная игра» созванныхъ туда командующихъ пограничными военными округами и ихъ начальниковъ штабовъ. Его рѣшеніе поставленной тогда задачи показало, насколько онъ выше другихъ, и тогда же было рѣшено, что, на случай войны съ Австріей, Алексѣевъ будетъ начальникомъ штаба фронта армій, направленныхъ противъ нея. Онъ дѣятельно сталъ готовиться къ этой роли. Такимъ образомъ назначеніе въ іюль 1914 г. не застало его врасплохъ — за эти годы имъ все было изучено, все было подготовлено. Жена его, Анна Николаевна, помогла ему собрать вещи обихода, а диспозиціи, директивы, документы и карты неожиданно для нея оказались приготовленными и уложенными въ нѣсколькихъ чемоданахъ, скрыто стоявшихъ въ кабинетѣ. Алексѣевъ выѣхалъ изъ Смоленска, гдѣ командовалъ 13 армейскимъ корпусомъ, черезъ 3 часа послѣ полученія телеграммы о своемъ назначеніи.

Въ годъ смерти Столыпина государю хотѣли показать маневры подъ Кіевомъ. Командующій войсками кіевского округа Н. І. Ивановъ и бывший у него начальникомъ штаба (1908—1912 гг.) Алексѣевъ выбрали мѣсто въ 40 верстахъ отъ города. Пріѣхалъ Сухомлиновъ, основательно занялся вопросами о парадахъ и торжествахъ, и потомъ поинтересовался, все-таки, раіономъ маневровъ. Узнавъ, что это «такъ далеко», военный министръ возражалъ и предложилъ Иванову ограничиться наступленіемъ на Кіевъ, начавъ его съ 5—6 верстъ. Ивановъ, поддержанный Алексѣевымъ, тутъ же заявилъ министру: «Ваше высокопревосходительство, пока я командую войсками округа, я не допущу спектаклей, вмѣсто манев-

ровъ» — и сдѣлано было по его настоянію и выработанной Алексѣевымъ программѣ.

Какъ командиръ корпуса, Алексѣевъ велъ себя также необычно; на примѣръ, за два года командованія корпусомъ онъ ни разу не пропустилъ мимо себя войскъ церемоніальнымъ маршемъ, боясь, что иначе на подготовку этой театральной стороны дѣла будетъ отрываться время боевого обученія. Пріѣзжая въ полки, Алексѣевъ никогда не прерывалъ текущихъ занятій и смотрѣлъ то, что дѣлалось до него по имѣвшемуся въ полку распisanію занятій.

Среди людей, понимавшихъ, что изъ себя представляетъ мало извѣстный тогда широкому обществу Алексѣевъ, на него не разъ указывали, какъ на кандидата при высокихъ военныхъ назначеніяхъ. Такъ было и тогда, когда генераль Жилинскій былъ назначенъ командующимъ войсками варшавскаго военнаго округа, освободивъ постъ начальника генеральнаго штаба. Редакторъ «Русской Старины» ген. Вороновъ поѣхалъ къ Сухомлинову и сказалъ ему:

— Въ настоящее время освобожденъ постъ начальника генеральнаго штаба, и всѣ, знающіе русское военное дѣло люди, просятъ, чтобы былъ назначенъ генераль Алексѣевъ, который вполне этого достоинъ и имѣетъ на то всѣ права.

На это былъ полученъ слѣдующій отвѣтъ:

— Генераль Алексѣевъ не можетъ быть назначенъ!

— Почему?

— Онъ не знаетъ языковъ. Ну, какъ же онъ поѣдетъ во Францію на маневры, и какъ онъ одинъ будетъ разговаривать съ начальникомъ французскаго генеральнаго штаба?

На эти слова Вороновъ возразилъ: «никакъ не полагалъ, что назначеніе начальника генеральнаго штаба зависитъ отъ языка». Слова его были прерваны Сухомлиновымъ, рѣзко заявившимъ: «Вопросъ рѣшенный и назначеніе генерала Алексѣева не состоится». Былъ назначенъ Янушкевичъ... («Рус. Стар.» 1915, XII).

17 марта 1915 г. Алексѣевъ былъ назначенъ главнокомандующимъ Сѣверо-Западнымъ фронтомъ, а съ 18 августа фронтъ былъ раздѣленъ: Сѣверный отдала Русскому, а Западный — оставленъ Алексѣеву.

20 августа 1915 г. Алексѣевъ былъ уже на своемъ новомъ посту, сдавъ фронтъ Эверту, и принималъ доклады. Генераль-квартирмейстеромъ при немъ нѣсколько дней

былъ еще Даниловъ; онъ не хотѣлъ, какъ предполагалось, быть назначеннымъ въ распоряженіе военнаго министра и добивался корпуса. Пришлось это устроить, чтобы поскорѣе поставить на дѣло прѣбывающаго уже Пустовойтенка, который гулялъ себѣ по городу.

При внимательномъ знакомствѣ съ формулярнымъ спискомъ этого талантливаго стратега нельзя не остановиться прежде всего на мысли, что за отсутствіемъ во всю свою службу какой бы то ни было «руки» или протекціи, Алексѣевъ обязанъ всѣмъ своимъ положеніемъ исключительно самому себѣ: у него оно, дѣйствительно, «заслужено», онъ выдѣлился исключительно своимъ упорнымъ трудомъ въ избранной специальности, обладая *природными* военными способностями.

Когда бесѣдуешь съ людьми, видящими Алексѣева 15 мѣсяцевъ войны изо дня въ день, вполне понимаешь, какая гигантская рабочая военная сила заключена въ этомъ средняго роста человѣкѣ. Многіе годы невѣдомый широкимъ кругамъ общества, Алексѣевъ работалъ надъ вопросами стратегіи, приобрѣлъ въ этой области выдѣляющую его компетентность и — война рождаетъ героев — явилъ себя Россіи въ роли главнокомандующаго арміями самага серьезнаго нашего фронта.

И теперь все время Алексѣевъ работаетъ неутомимо, лишая себя всякаго отдыха.

Скоро онъ ѣстъ, еще скорѣе, если можно такъ выразиться, спитъ и затѣмъ всегда спѣшитъ въ свой незатѣйливый кабинетъ, гдѣ уже не торопясь, съ полнымъ, поражающимъ всѣхъ вниманіемъ слушаетъ доклады или самъ работаетъ для доклада. Никакія мелочи не въ состояніи отвлечь его отъ главной нити дѣла. Онъ хорошо понимаетъ и по опыту знаетъ, что арміи ждутъ отъ штаба не только регистраціи событій настоящаго дня, но и возможнаго направленія событій дня завтрашняго.

Удивительная память, ясность и простота мысли обращаютъ на него общее вниманіе. Таковъ же и его языкъ: простой, выпуклый и вполне опредѣленный, — опредѣленный иногда до того, что онъ не всѣмъ правится, но Алексѣевъ знаетъ, что вынужденъ къ нему долгомъ службы, а карьеры, которая требуетъ моральныхъ и служебныхъ компромиссовъ, онъ никогда не дѣлалъ, мало думаетъ о пей и теперь. Дума его одна: — всѣмъ сердцемъ и умомъ помочь родинѣ.

Если, идя по помѣщенію штаба, вы встрѣтите сѣдого генерала, быстро и озабоченно проходящего мимо, но уже

узнавшаго въ васъ своего подчиненнаго и потому прѣвѣтливо, какъ-то особенно сердечно, но не приторно улыбающагося вамъ, это — Алексѣевъ.

Если вы видите генерала, внимательно, вдумчиво и до конца спокойно выслушивающаго мнѣніе офицера, это — Алексѣевъ.

Если вы видите предъ собой строгаго, начальственно оглядывающаго васъ генерала, на лицѣ котораго написано все величіе его служебнаго положенія, — вы не передъ Алексѣевымъ.

Царь не мало мѣшаетъ ему въ разработкѣ стратегической стороны войны и внутренней организаціи арміи, но, все-таки, кое что М. В. удается отстоять отъ «вѣчнаго полковника», думающаго, что командованіе баталіономъ Преображенскаго полка является достаточнымъ цензомъ для полководца. Многие Алексѣевъ дѣлаетъ и явочнымъ порядкомъ, т. е. докладываетъ царю уже о совершившемся фактѣ, и поневолѣ получаетъ одобреніе — иногда съ гримасой, иногда безъ нея. Иное дѣло — личный составъ: здѣсь царь имѣетъ свои опредѣленныя мнѣнія, симпатіи и антипатіи и сплошь и рядомъ рѣшительно напоминаетъ, что назначеніями хочетъ вѣдать самъ. Разумѣется, такое вмѣшательство въ значительной степени мѣшаетъ и мѣняетъ все дѣло, всю мысль, а результаты получаются плачевные.

Алексѣевъ понимаетъ, что при царѣ, какъ главнокомандующемъ, онъ не можетъ рисковать, такъ какъ неудача задуманнаго имъ риска сдѣлаетъ ответственнымъ за него самого царя. Послѣднее время Николай становится особенно упрямымъ и подозрителенъ.

Янушкевичъ и Алексѣевъ, это — два полюса и по характеру, и по темпераменту, и по своему отношенію къ дѣлу. Янушкевичъ — человѣкъ гостиной, мягкій до корня, гдѣ такой же воскъ и безволіе, какъ на поверхности; веселый, оживленный собесѣдникъ на темы салоновъ Петербурга, человѣкъ внѣшнихъ радостей легко складывавшейся для него жизни; военный и администраторъ по случаю, который толкнулъ его туда, а не въ министерство двора, финансовъ или департаментъ герольдіи; безъ проникновенія въ чуждое ему по существу дѣло, знающій его постольку, поскольку оно освѣщено соответствующимъ докладчикомъ; теоретикъ до ногтя, типичный офицеръ нашего генеральнаго штаба, преисполненный внѣшней недоступности, заботы о декорумѣ своего высокаго положенія, по существу лѣнтяй и, разумѣется, какъ это

должно быть при всѣхъ указанныхъ качествахъ, — человекъ, ведущій не всегда замѣтную политику по адресу своихъ возможныхъ замѣстителей.

Алексѣевъ — человекъ рабочій, сурово воспитанный трудовой жизнью бѣдняка, мягкій по внѣшнему выраженію своихъ чувствъ, но твердый въ основаніи своихъ корней; веселье и юморъ свойственны ему скорѣе, какъ сатирику; человекъ, не умѣющій сказать слова съ людьми, съ которыми по существу не о чѣмъ или незачѣмъ говорить, военный по всей своей складкѣ, природный воинъ, одаренный всѣмъ, что нужно руководителю, кромѣ, развѣ, умѣнья быть иногда жестокимъ; человекъ, котораго нельзя себѣ представить ни въ какой другой обстановкѣ, практикъ военного дѣла, которое знаетъ отъ юнкерскаго ранца до руководства крупными строевыми частями; очень доступный каждому, лишенный всякой внѣшней помпы, товарищъ всѣхъ подчиненныхъ, неспособный къ интригамъ. <...>

24 октября [1915 г.]

Въ письмѣ неизвѣстнаго отъ того же дня: «Я поднялся изъ окопа, и моимъ глазамъ представилась невѣроятная картина: роты справа и слѣва, поднявши бѣлые флаги, сдаются нѣмцамъ. Нѣчто невѣроятное! Изъ другого полка, сидящаго рядомъ съ нами, также попало въ плѣнъ 8 ротъ».

Изъ письма служащаго въ 5 Сибир. мортирномъ дивизионѣ на имя Н. Н. Ч.: «Потери у насъ громадныя. 14 Сиб. дивизія въ составѣ 16,000 чел. ввязалась въ бой 2 ноября 1914 г., 11-го въ ней было 2,500. 13-я Сиб. вступила въ бой 2 ноября, 16-го въ ней оказалось, вмѣсто 64 ротъ, всего 3 роты; нѣкоторыя роты состоятъ всего изъ 15 чел. Почти одна треть сдалась въ плѣнъ. Идетъ усиленный обстрѣлъ пулеметами, много убитыхъ. Вдругъ какой-то подлець кричитъ: «что же, ребята, насъ на убой сюда привели, что ли? Сдадимся въ плѣнъ!», и моментально чуть ли ни цѣлый баталіонъ насадилъ на штыки платки и выставилъ ихъ вверхъ изъ-за бруствера».

Изъ приказа по IV арміи отъ 21 ноября 1914 года: «Мною усматривается изъ полученныхъ донесеній слишкомъ большое количество безъ вѣсти пропавшихъ нижнихъ чиновъ, изъ числа которыхъ большая часть, несомнѣнно, попавшихъ въ плѣнъ. Приказываю произвести и впредь производить въ полкахъ строжайшія разслѣдованія объ обстоятельствахъ, при которыхъ могли имѣть

мѣсто подобные недопустимые случаи, и по даннымъ разслѣдованій составлять списки всѣхъ нижнихъ чиновъ, сдавшихся, не использовавъ всѣхъ средствъ къ сопротивленію, до штыковъ включительно, для преданія ихъ, по окончаніи войны, суду по законамъ военнаго времени. Копіи списковъ препровождать въ штабъ арміи для надлежащаго направленія, въ случаѣ, если по возвращеніи изъ плѣна эти нижніе чины не попадутъ въ свои части, а также сообщать на родину о позорномъ поведеніи не исполнившихъ свой долгъ передъ царемъ и родиной».

Изъ приказа по II арміи отъ 19 декабря 1914 года: «Стойкость, мужество и геройская храбрость русскаго воина была всѣмъ извѣстна съ самыхъ древнихъ временъ, и имя русскаго чтилось и уважалось даже нашими врагами. За полтора ста лѣтъ до этой войны мы также дрались съ нѣмцами, но тогда о сдачѣ не было рѣчи, напротивъ, нѣмецкій король говорилъ тогда: «русскаго солдата мало убить, надо еще повалить». Такова была русская стойкость. Къ великому стыду, теперь замѣчается, что въ эту войну русскіе сдаются въ плѣнъ. Неужто мы, сыновья и внуки героевъ, дошли до того, что, забывъ присягу, забывъ позоръ, который плѣнные приносятъ своему полку, арміи, родной матери, святой Руси, измалодушествовались до страха передъ врагомъ? Не можетъ этого быть! И этого нѣтъ: главная масса арміи — честные солдаты, и они свято несутъ свой долгъ передъ родиной. Попадаются же только отдѣльные трусы, забывающіе, что они носятъ честное русское имя и позорящіе его. Не будетъ же имъ ни пощады, ни милости! Предписываю начальствующимъ лицамъ разъяснить всѣмъ чинамъ арміи смыслъ статьи 248 кн. XXII Св. военн. постан. Предписываю подтвердить имъ, что всѣ сдавшіеся въ плѣнъ, какого бы они ни были чина и званія, будутъ по окончаніи войны преданы суду и съ ними будетъ поступлено такъ, какъ велитъ законъ. Требую, сверхъ того, чтобы о всякомъ сдавшемся въ плѣнъ было объявлено въ приказѣ по части съ изложеніемъ обстоятельствъ этого тяжкаго преступленія, — это упроститъ впослѣдствіи разборъ ихъ дѣла на судѣ. О сдавшихся въ плѣнъ немедленно сообщать на родину, чтобы знали родные о позорномъ ихъ поступкѣ и чтобы выдача пособія семействамъ сдавшихся была бы немедленно прекращена. Приказываю также: всякому начальнику, усмотрѣвшему сдачу нашихъ войскъ, не ожидая никакихъ указаній, немедленно от-

крывать по сдающимся огонь орудійный, пулеметный и ружейный».

Черезъ полгода Смирновъ даетъ новый секретный приказъ II арміи (4 іюня 1915 года):

«Величайшій позоръ, несмываемое пятно, гнуснѣйшее предательство, передъ которымъ блекнуть самыя низкія, чудовищныя преступленія, это — измѣна отчизнѣ.

«Солдатъ — защитникъ Престола и Родины.

«Солдатъ — мощь и гордость отчизны.

«Кто изъ насъ, отъ перваго генерала и до послѣдняго рядового, смѣетъ даже мыслить о бѣгствѣ передъ врагомъ, уступая ему наши цвѣтушія поля и города съ роднымъ, близкимъ намъ населеніемъ?

«Какой честный воинъ можетъ дойти до низкаго, гнуснаго малодушія и добровольно сдаться въ плѣнъ, имѣя еще силы сражаться?

«Ни одной минуты мы не можемъ, не должны забывать, что наше малодушіе есть гибель для святой, для единственной по глубинѣ и силѣ материнскаго чувства матушки-Россіи.

«Въ настоящей войнѣ съ вѣковымъ врагомъ славянства — съ нѣмцами, мы защищаемъ самое великое, что только когда-либо могли защищать, — честь и цѣлость Великой Россіи.

«А тѣхъ, позорныхъ сыновъ Россіи, нашихъ недостойныхъ братьевъ, кто, постыдно малодушествуя, положитъ передъ подлымъ врагомъ оружіе и сдѣлаетъ попытку сдаться въ плѣнъ или бѣжать, я, съ болью въ сердцѣ за этихъ неразумныхъ, безбожныхъ измѣнниковъ, приказываю немедленно разстрѣливать, не давая осуществиться ихъ гнусному замыслу; пусть твердо помнятъ, что испугаешься вражеской пули, получишь свою, а когда, раненый пулей своихъ, не успѣешь добѣжать до непріятеля или когда послѣ войны, по обмѣнѣ плѣнныхъ, вновь попадешь къ намъ, то будешь разстрѣлянъ, потому что подлыхъ трусовъ, низкихъ тунейдцевъ, дошедшихъ до предательства родины, во славу же родины надлежитъ уничтожать.

«Объявить, что мира безъ обмѣна плѣнныхъ не будетъ, какъ не будетъ его безъ окончательной побѣды надъ врагомъ, а потому пусть знаютъ всѣ, что безнаказанно измѣнить долгу присяги никому не удастся.

«Предписываю вести строгій учетъ всѣмъ, сдавшимся въ плѣнъ, и безотлагательно отдавать въ приказѣ о преданіи ихъ военно-полевому суду, дабы судить ихъ не-

медленно по вступленіи на родную землю, которую они предали и на которой поэтому они жить не должны.

«Приказъ сей прочесть во всѣхъ ротахъ, батареяхъ, сотняхъ и отдѣльныхъ командахъ съ подробнымъ разъясненіемъ и приложить специальное стараніе, дабы смысломъ его особенно прониклись ратники ополченія, поступившіе въ ряды арміи».

21 января 1915 г. главнокомандующій С.-З. фронтомъ Русскій писалъ нач. штаба: «Къ прискорбію, случаи добровольной сдачи въ плѣнъ среди нижнихъ чиновъ были и бываютъ, причемъ не только партіями, какъ сообщаете вы, но даже цѣлыми ротами. На это явленіе уже давно обращено вниманіе и предписано было объявить всѣмъ, что такіе воинскіе чины по окончаніи войны будутъ преданы военному суду; кромѣ того, о сдавшихся добровольно въ плѣнъ сообщается, если это оказывается возможнымъ, на ихъ родину. Указанія Верх. главн. будутъ вновь подтверждены. Хотя послѣ принятыхъ мѣръ число случаевъ добровольной сдачи въ плѣнъ значительно уменьшилось, и были даже примѣры, когда пытавшіеся сдаться разстрѣливались своими же въ спину, но тѣмъ не менѣе случаи эти будутъ повторяться и въ будущемъ, пока не устранится главная причина ихъ — отсутствіе офицерскаго надзора, являющагося слѣдствіемъ крайняго недостатка офицеровъ. Необходимо принять самыя энергичныя мѣры къ возвращенію вылѣчившихся офицеровъ, находящихся нынѣ во внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Объ этомъ я просилъ уже нѣсколько разъ, но офицеровъ до настоящаго времени возвращаютъ очень туго. Войсковыя части, случайно узнававшія о своихъ офицерахъ, которые, будучи здоровы, медлятъ возвращеніемъ въ строй, отъ себя принимаютъ посильныя мѣры, побуждая къ возвращенію путемъ угрозы представлять ихъ въ будущемъ къ увольненію безъ пенсіи и мундира».

Приказъ по IV арміи отъ 4 іюня 1915 года:

«Одна изъ женщинъ-врачей, вернувшаяся изъ германскаго плѣна, привела въ своихъ показаніяхъ случай массовой сдачи въ плѣнъ нижнихъ чиновъ одного изъ полковъ, главнымъ образомъ ратниковъ, которые въ разговорѣ съ ней объяснили причину сдачи тѣмъ, что имъ «надобѣло сидѣть въ окопахъ и они измучились». <...>

А. Е. Бадаев

АРЕСТ ФРАКЦИИ

Раскрытые теперь архивы департамента полиции показывают, как готовилась к нашему совещанию охранка. Царское правительство, давно уже искавшее какого-либо повода для того, чтобы «ликвидировать» большевистскую фракцию*, решило воспользоваться совещанием и захватить нас, так сказать, на месте преступления. Сведения о готовящемся совещании охранка получила от своего агента «Пелагеи», — кличка известного провокатора Романова, одного из работников московской партийной организации. Романов должен был принять участие в совещании в качестве делегата от Москвы. Заранее решив произвести арест совещания, охранка запретила Романову принять в нем участие, боясь провала своего агента. Департамент полиции сообщил в Москву, что «участие агентуры на съезде нежелательно, необходимо приблизить ее к участникам съезда, чтобы могли своевременно сообщить место и время съезда». Одновременно московской охранке предлагалось приложить все усилия к тому, чтобы выяснить через своих сотрудников место и время совещания и «немедленно телеграфировать о сем департаменту и начальнику финляндского жандармского управления в целях обеспечения для последнего возможности производства своевременной и результативной ликвидации конференции».

Предполагая, что совещание будет происходить в Финляндии, в Мустамяках, департамент полиции решил поручить арест его участникам финляндскому жандармскому управлению. Начальнику управления полковнику Еремину директор департамента полиции дал поручение постараться обязательно обнаружить на совещании членов нашей фракции: «...является весьма желательным обнаружение на означенной конференции членов Государственной думы социал-демократической фракции и направление переписки по ликвидации этой конференции в порядке правил о местностях, состоящих на военном положении...»

Петербургские вокзалы были наводнены шпиками. Партия охранников была специально командирована в Финляндию для усиления «сил» полковника Еремина. В Белоострове на границе были установлены посты шпионов, хорошо знающих в лицо членов нашей фракции. Само собой разумеется, что и без того густая сеть шпииков, преследовавших нас по пятам в Петербурге, стала еще гуще, еще паглее.

Если о самом совещании и срок его созыва полиция узнала от московского провокатора Романова, то место совещания несомненно было узнано от петербургского провокатора Шурканова. Принимавший тогда некоторое участие в работе Петербургского комитета Шурканов присутствовал на организационном собрании, на котором решался вопрос о квартире для совещания, и поспешил сообщить об этом своему полицейскому начальнику. Таким образом в руках полиции оказались все необходимые сведения.

Документы охранки показывают, что арест нашей фракции отнюдь не носил характера случайного провала, всегда возможного при развитой системе сыска и шпионажа. Вопрос о ликвидации большевистской фракции в Думе был окончательно решен правительством, долго поджидавшим благоприятного для себя

момента. Оставалось только как можно лучше разработать стратегический план нападения. Этот план был разработан и выполнен при помощи провокаторов.

На третий день совещания, 4 ноября, около 5 часов вечера, в наружную дверь дома Гавриловых раздался оглушительный стук. Дверь была сорвана с петель, и сейчас же в комнату, где мы находились, ворвался отряд полиции и жандармов. Шедший во главе наряда полицейский офицер, выставив револьвер, закричал: «Руки вверх!»

В ответ на наш протест офицер заявил, что он должен произвести обыск, и предъявил ордер, в котором предлагалось на основании ст. 23 военного положения обыскать квартиру и арестовать всех находившихся в ней.

Прежде всего была отделена для обыска группа недепутатов вместе с хозяйкой квартиры Гавриловой. Когда полиция захотела затем приступить к обыску членов фракции, мы шумно и энергично стали протестовать.

— Ни обыскивать, ни арестовывать нас мы не позволим, — заявили мы начальнику наряда. — Как члены Думы мы пользуемся депутатской неприкосновенностью на основании статей 15 и 16 положения о Государственной думе. Без соответствующего разрешения Думы никто не вправе нас подвергнуть обыску или задержанию. Полиция совершает незаконные, которое даром ей не пройдет.

Протестовали мы так решительно и энергично, что жандармский ротмистр, несмотря на имевшийся у него ордер, заколебался.

Оставив нас под охраной жандармов, он вышел из дому, чтобы по телефону испросить дополнительных инструкций у своего начальства.

Пока шли протесты и споры с полицией, нам удалось уничтожить значительную часть находившихся у нас на руках документов. В первую очередь были уничтожены протокол совещания и все относящиеся к созыву совещания материалы. В руки полиции не попало ни одного документа, из которого можно было бы установить, что представляло собой собрание на квартире Гавриловой. Кроме того, был уничтожен целый ряд других документов, главным образом явка и компрометирующие адреса. Некоторые из них были выброшены в люк уборной. Все же у нас на руках оставался целый ряд материалов, которых за этот короткий срок не удалось уничтожить.

Полицейский офицер получил распоряжение не церемониться с нами и не обращать внимания на наши протесты. Вместе с ним явился какой-то другой высший чин, по приказу которого полицейские сразу же бросились на нас. На каждого из депутатов набросились по несколько человек охранников, схвативших нас за руки, несмотря на наше отчаянное сопротивление, приступили к насильственному обыску. Первыми обыскали Самойлова, затем Шагова и меня. Последними были обысканы Петровский и Муранов.

Обыск производился с чрезвычайной тщательностью, отбирали все, что находилось в карманах, вплоть до часов. У каждого из нас были с собой отдельные экземпляры литературы, проекты резолюций, тезисов, блокноты с записями, конспекты и т. п. Все это забиралось полицией как доказательство нашей революционной деятельности.

У Петровского был отобран экземпляр копии ответа Вандервельде, копия тезисов о войне, номер «Социал-демократа» с манифестом ЦК, список петербургских фабрик и заводов и несколько изданных за границей брошюр, в том числе устав и программа партии.

У меня полиция отобрала тоже по экземпляру ответа Вандервельде и тезисов о войне, те же, что и у Петровского, брошюры и журналы и, кроме того, черновик прокламации к студенчеству (приведенной выше) и паспорт на чужое имя, один из тех, которыми мы пользовались для нелегальной работы. У Самойлова, кроме журнала и брошюр, был отобран блокнот с записями, представлявшими собой конспект его доклада. У Шагова никаких документов не было.

Наиболее компрометирующим материалом была записная книжка Муранова, извлеченная полицией уже на другой день из уборной, куда Муранов ее бросил. Муранов с чрезвычайной подробностью записывал все свои посещения во время объезда Урала, заносил сюда сведения о местных партийных организациях, клички партийных работников, результаты собраний, установленные связи, некоторые адреса и т. д. Записи в книжке Муранова не оставляли сомнений о характере нелегальной работы, которую он вел.

Во время нашего обыска участники конференции депутаты под конвоем были отправлены в тюрьму. Не имея точных инструкций, что делать с членами Думы, полицейский офицер снова ушел для телефонных переговоров с высшим начальством. Вернувшись, он объявил, что мы свободны, освобождая каждого из нас по очереди. Наши вещи, за исключением документов, были возвращены. Из документов мы получили обратно только депутатские билеты.

С момента появления полиции прошло почти полсутки. Мы вышли из дома Гавриловых уже под утро. Весь прилегающий район, обычно глухой и безлюдный, был наводнен полицейскими отрядами. Очевидно для захвата конференции были мобилизованы все виды полицейского оружия. До ближайшей трамвайной остановки мы шли в сопровождении целой толпы шпиков. Не скрываясь, без всякой церемонии, они окружили нас плотной стеной. Группа шпиков вслед за нами влезла в трамвайный вагон, ни на минуту не спуская с нас глаз.

Самый факт обыска и бесцеремонное поведение полиции ясно показывали, что правительство, начав свой поход против рабочих депутатов, перестало считаться с какой-либо иллюзией депутатской неприкосновенности. В любую минуту можно было сообщить в рабочие районы о ночных событиях, мы немедленно же начали «чистить» и «приводить в порядок» свои квартиры.

В затопленную печь полетели все бумаги и документы, которые, с одной стороны, могли скомпрометировать фракцию, а с другой — «провалить» всю организацию. У нас на квартирах, считавшихся до сих пор наиболее безопасным местом, хранились все документы и материалы партии. Здесь были явки, условные адреса для посылки литературы, списки, фамилии, переписка, отчеты и т. д. Не было почти ни одного города, с которым у нас не было бы связей по нелегальной работе. Всюду имелись наши люди, связанные с фракцией. Если бы хранящиеся у нас документы попали в руки полиции, сотни и тысячи партийцев попали бы в тюрьму и на каторгу, и вся организация партии была

бы окончательно разгромлена. Все эти материалы, наспех собранные, бросались в огонь. На долю полиции должна была остаться лишь кучка золы вместо ожидаемых ею богатых архивов. Кроме отдельных документов и материалов, у меня хранились еще прихода-расходные тетради, где записывались поступающие во фракцию денежные сборы, и алфавитные книги. Из них я вырвал ряд страниц, уничтожив наиболее компрометирующие записи.

Утром 5 ноября на моей квартире состоялось заседание фракции. Обсудив создавшееся положение, мы решили, во-первых, как можно шире осветить обо всем широкие рабочие массы, а во-вторых — обратиться в президиум Думы с требованием, чтобы он принял меры против незаконного нарушения полицией депутатской неприкосновенности. Несмотря на то, что на какую-нибудь действительную защиту со стороны черносотенной Думы фракция, конечно, рассчитывать не могла, все же мы решили поднять в думских кругах как можно больше шума, чтобы привлечь к нашему делу внимание широких общественных кругов. При всем том кое-какие реальные шаги все же Родзянко должен был предпринять. Дело в том, что обыск и задержание полицией депутатов являлись нарушением законных прав Государственной думы, и ее председателю для поддержания собственного достоинства волей-неволей надо было выступить с каким-либо протестом. Вообще следует отметить, что думское большинство, самым бесцеремонным образом расправившееся с «левыми» внутри Думы, очень ревниво относилось к ущемлению своих прав со стороны. Конечно все это делалось лишь в таких размерах, чтобы не поспориться с правительством, и при малейшей угрозе со стороны последнего черносотенная Дума сразу же прекращала свои протесты.

Переговоры с Родзянко * фракция поручила Петровскому и мне. Рассказав ему о незаконном нашем задержании и насильственном обыске, мы потребовали, чтобы он принял меры для привлечения к ответственности виновных. За подписью всех членов фракции мы подали Родзянко заявление, в котором официально доводили до сведения президиума Думы о насилии, учиненном над нами полицией на частной квартире «нашего знакомого Гаврилова». «Усматривая в изложенном, — писала фракция в заявлении, — нарушение прав Государственной думы, изложенных в ст. 15 учреждения Государственной думы, мы доводим о сем до вашего, господина председателя, сведения, дабы нарушение это не прошло без надлежащего протеста со стороны президиума Думы». Приняв заявление, Родзянко пообещал принять все зависящие от него меры. Какие в действительности он принял меры и как реагировало на них правительство, об этом я расскажу ниже.

Воспользовавшись пребыванием в кулуарах депутатов различных фракций, мы постарались как можно шире оповестить их о случившемся и в частности договорились с Чхеидзе *, чтобы он предпринял возможные шаги к протесту со стороны Думы. <...>

Когда мы вышли из Думы, толпа шпиков, сопровождавших нас, была еще гуще, еще наглее, чем утром. На каждом повороте, из-за каждого угла появлялись новые фигуры охранников, которые, уже ничем не стесняясь, окружили нас вплотную. Никогда еще, за все время бдительного внимания охраны к рабочим депутатам, наглость полицейских агентов не доходила до таких

пределов. Они, как хищные звери, уже лизнувшие крови, со свистом кружились вокруг нас в ожидании, когда им будет разрешено окончательно растерзать свою жертву. Охранка, два года преследовавшая большевистскую фракцию, с нетерпением ждавшая момента, когда ей представится случай с нами разделаться, теперь торжествовала победу.

И это победоносное настроение отражалось на физиономии каждого шпика, каждого охранника.

Кольцо полицейских преследований все более и более сжималось. Круг замыкался.

В условиях такой никогда еще до тех пор небывалой слезки охранки, боявшейся, что мы ускользем в последнюю минуту, конечно, ничего нельзя было предпринять, чтобы сблизиться с рабочими организациями, сообщить им подробности налета на фракцию и призвать их к организации движения протеста. Единственно, что мы могли сделать, это еще раз осмотреть, отобрать и уничтожить документы, чтобы они не достались полиции.

Я уже лежал в кровати, только что успев заснуть после нескольких дней хлопот и волнений. Около полуночи раздался звонок, и в двери появились фигуры полицейских. С ордером в руках пристав подошел к моей кровати.

— Господин Бадаев, у меня есть ордер на то, чтобы вас доставить в Дом предварительного заключения.

Настал момент, которого ждал. Я наскоро оделся, собрал необходимые вещи, попрощался с домашними. Весь дом был полон полицейскими. На лестнице и у подъезда стояли наряды полиции.

Темными улицами полиция доставила меня на Шпалерную в Дом предварительного заключения.

После тщательного обыска меня отвели в одиночную камеру. Тут же я узнал, что в тюрьму доставлены все остальные члены нашей фракции. Вся наша пятерка была арестована в этот же вечер 5 ноября.

Царское правительство торжествовало победу. Наконец-то ему удалось осуществить свою работу с рабочими депутатами. Соотношение сил — единственное, что в конечном счете определяло и общий нажим на рабочий класс и частный вопрос о «депутатской неприкосновенности» депутатов-большевиков, — для правительства, казалось, теперь было вполне благоприятным.

Министр внутренних дел Маклаков, одна из самых мрачных черных фигур российского самодержавия, на другой же день после обыска в Озерках, поторопился донести Николаю II о подвигах полиции. «Всеподданнейший» доклад, помеченный 5 ноября, был составлен еще до нашего ареста и, очевидно, преследовал цель получить разрешение на арест фракции. В своем докладе царю Маклаков писал следующее:

«Существующая в империи Российская социал-демократическая рабочая партия, стремящаяся к ниспровержению государственного строя и замене такового республиканским образом правления, с открытием военных действий занялась пропагандой идей о необходимости скорейшего окончания войны, выставляя побудительным для того мотивом опасность укрепления в случае победы самодержавного строя и отдаления осуществления преследуемых ею задач.

Непосредственное серьезное участие в пропаганде этих идей принимают члены Государственной думы четвертого созыва со-

циал-демократической фракции, от коей исходят все директивы и руководство преступной деятельностью партии.

Свою тлетворную деятельность, проявившуюся ярко в создании минувшим летом чрезмерного забастовочного движения рабочих и учинении ими уличных беспорядков, члены социал-демократической фракции ведут настолько скрытно, что привлечение их к ответственности в судебном порядке не представлялось возможным за отсутствие достаточных улик.

Несмотря на это, розыскные органы империи, неослабно наблюдая за деятельностью революционных групп партии, в последнее время получили сведения о том, что члены социал-демократической фракции предполагают созвать конференцию с участием выдающихся социал-демократов для выработки тактических приемов пропаганды идей о скорейшем прекращении войны для ниспровержения затем монархического образа правления в России.

4-го сего ноября, в 12 верстах от столицы, в Петроградском уезде, в частной квартире розыскные чины застали заседание упомянутой конференции, в которой участвовали члены Государственной думы четвертого созыва социал-демократической фракции — Петровский, Бадаев, Муранов, Шагов и Самойлов, а также шесть представителей партии, прибывших из разных мест империи. При опросе чинами полиции о цели собрания участники такового объяснили празднованием восьмилетней годовщины супружества хозяйки квартиры. Это объяснение было всецело опровергнуто явившимся через некоторое время мужем хозяйки квартиры. <...>

Об изложенном всеподданнейшим долгом поставлю себе доложить вашему императорскому величеству.

Министр внутренних дел Маклаков¹!

Надо отдать справедливость Маклакову. Пользуясь хорошо налаженным сыскным аппаратом охраны, он довольно правильно описал деятельность большевистской фракции. Раздраженно говоря, что фракция до тех пор, хорошо законспирировавшись, не давала в руки полиции каких-либо фактических материалов, он радостно сообщил, что наконец-то депутаты-большевики пойманы «на месте преступления» и теперь уже ничто не мешает осуществить над ними давно задуманную расправу.

С благословения Николая правительство начало быстрым темпом готовиться к созданию нового, по меньшей мере «каторжного» процесса. В соответствующем духе началась «подготовка» и «обработка» общественного мнения. Почва для этой правительственной агитации была подготовлена тем безудержным шовинистическим угаром, который отравлял и не только не успел угаснуть, но продолжал непрерывно усиливаться в первые месяцы войны. Первое правительственное сообщение, напечатанное в «Правительственном вестнике», и было составлено в таком духе, чтобы создалось впечатление о раскрытии крупного заговора против «военной мощи России». <...>

«Правительственный вестник» несмотря на то, что наша пятёрка в это время уже сидела в одиночках предварилки, осторожно сообщал лишь о решении судебного следователя «заключить под стражу» всех участников конференции.

¹ Архив департамента полиции, особого отдела 1914 г., дело № 5, лл. 60—61.

Это сообщение было как бы пробным шаром — посмотреть, какое впечатление произведет пока только «решение» об аресте. Тон был задан. Реакционная печать, получив задание, с бешеным воем обрушилась на нашу фракцию. «С врагами церемониться нечего: виселица — единственное средство ввести в страну успокоение», — в неистовстве писали дубровинские молодцы в «Русском знамени» (№ 289 от 12 ноября).

Все остальные реакционные рептилии не отставали в своей кровожадности от дубровинцев. Либерально-буржуазная печать в лучшем случае осторожно молчала. Рабочих газет в это время уже не было.

После такой подготовки, через неделю (15 ноября), правительство сочло уже возможным сообщить об аресте фракции. <...>

Как реагировала на все это Государственная дума? Я уже говорил, что Родзянко, получив наше заявление, обещал принять «все зависящие от него меры». Необходимость какого-то протеста признавалась и рядом депутатов других фракций. Конечно, их протестантское настроение было писквошь фальшивое. По существу, думское большинство было вполне солидарно с царским правительством. В своих намерениях выступить с протестом они руководствовались исключительно страхом перед рабочим классом, который мог ответить на провокацию правительства новой революционной вспышкой.

Ввиду отсутствия в это время думской сессии обычная форма протеста в виде запроса правительству не могла быть применена. Тогда по инициативе Чхеидзе, к которому присоединился Керенский, а также Ефремов от прогрессистов и Милюков от кадетов, вопрос был поставлен на очередном заседании думского комитета помощи больным и раненым, ежедневно заседавшего в кабинете председателя. Это происходило 6 ноября утром, когда в Думе еще не было известно об аресте фракции, и поэтому в комитете обсуждался лишь вопрос об обыске и нашем задержании в Озерках.

В выступлениях депутатов на собрании комитета сквозил совершенно ясный и ничем не прикрытый страх перед революционным выступлением в стране. В этом отношении характерна была позиция октябристов. Октябристские лидеры — Годнев, Опочинин и Люц, говоря о необходимости протестовать против действий полиции, прямо заявляли, что нападение на рабочую фракцию может вызвать волнения в рабочих массах, а тем самым внести расстройство в тылу армии. Исходя из этих чисто «патриотических» причин, они осуждали провокационный выпад правительства.

Результатом этого совещания была посылка Родзянко председателю совета министров Горемыкину письма с «протестом». Содержание этого письма чрезвычайно характерно для той фальшивости, которой была проникнута позиция думского большинства. Послал свое письмо Родзянко только 30 ноября, т. е. почти через месяц после нашего заключения в тюрьму. Между тем он ни словом не обмолвился об аресте и ограничился лишь пересылкой полученного им заявления от фракции с сообщением об обыске и задержании в Озерках. В сопроводительном письме на имя Горемыкина Родзянко ссылается в первую очередь на нарушение статьи 15 Учреждения Государственной думы и затем добавляет, что «такое действие администрации не может быть тер-

пимо и потому, что, нарушая закон и обнаруживая безнаказанность недопустимого произвола административной власти, оно в переживаемое нами трудное время сеет смуту в умах мирного населения и волнует его, без того уже взволнованного тяжкими условиями всеобщей войны». Какие выводы делал Родзянко? Требовал ли он прекращения преследования нашей фракции? Нисколько. Он заканчивает свое письмо следующими словами: «Позволяю себе надеяться, что ваше высокопревосходительство соблагovolите принять соответствующие меры к ограждению впредь членов Государственной думы от незаконных действий чинов полиции». Весь протест председателя Думы сводился таким образом лишь к формальному заявлению и просьбе «впредь» не повторять подобных поступков. Ни о какой защите рабочей фракции не было ни слова.

Бессодержательным и безрезультатным письмом к Горемыкину и ограничилось все выступление думского большинства в связи с арестом рабочих депутатов. Попытка меньшевиков и трудовой фракции созвать специальное совещание членов Думы встретила противодействие Родзянко, заявившего, что во время перерыва сессии никакие собрания депутатов не могут быть допущены по закону, да, по его мнению, в этом не было и «никакой надобности».

Когда в январе 1915 г., после длительного перерыва, вновь была созвана Государственная дума, думское большинство не допустило даже предъявить запрос правительству об аресте нашей фракции. Кадеты отказались дать свои подписи под запросом, и таким образом не удалось собрать под запросом нужное количество подписей. Речи по бюджету Чхеидзе и Керенского, значительную часть своих выступлений посвятивших разгрому большевистской фракции, председателем Думы не были даже разрешены в печати.

Черносотенная Дума, как и следовало ожидать, заняла позицию полной солидарности с романовским правительством. Арест нашей фракции, завершавший летний разгром революционных организаций, вполне соответствовал интересам царских чиновников и помещиков, заседавших в Государственной думе. Министры раздавали награды славным победителям на внутреннем фронте — городovým и охранникам, а цвет российского либерализма пресмыкался у ног царского правительства.

Что происходило в это время в противоположном лагере — на фабриках, заводах, в рудниках? Весть об аресте большевистских депутатов не могла не взволновать рабочие массы. Мы видели, что даже октябристы, эти жалкие подпорки правительственной власти, понимали, какое впечатление должен произвести разгром рабочей фракции среди российских пролетариев. И они не ошибались. Требование об освобождении большевистских депутатов — вплоть до самого февраля 1917 г. — стало рядом с основными лозунгами революционной борьбы. Но в самый момент ареста рабочий класс еще не имел достаточных сил, для того чтобы предпринять какое-либо широкое революционное выступление. Военный террор, небывалый по силе и жестокости, мертвой хваткой держал за горло страну. Каждое революционное выступление грозило военно-полевым судом и расстрелом, в лучшем случае — пожизненной каторгой и ссылкой. Только с огромным трудом революционное движение рабочего класса могло высвободиться из тисков военной реакции. С арестом фракции вырыва-

лись последние корни революционной работы, разрушался основной и главный центр партии в России. Все нити партийной работы сходились к думской пятерке, и эти нити были оборваны.

Охранка, которая долго и настойчиво готовила арест, само собой разумеется, приняла одновременно и свои предупредительные меры против возможного выступления рабочих в защиту большевистской фракции. Вместе с разгромом фракций и непосредственно после него полиция обрушила целую лавину арестов на все рабочие районы города. Шпики и охранники в изобилии шныряли по городу, беря под подозрение каждую рабочую квартиру. Жертвой такой напряженной слежки был целый ряд партийных работников, попавших в руки полиции.

Несмотря на такой бешеный натиск охранки, Петербургскому комитету все же удалось выпустить прокламацию по поводу ареста фракции. Напечатанная на гектографе прокламация была выпущена 11 ноября и призывала рабочих к забастовкам и митингам протеста¹.

«Товарищи!

В ночь на 6 ноября подлое царское правительство, облившее себя кровью борцов за лучшее будущее демократии, правительство-палач, замучившее на каторге представителей пролетариата 2-й Думы и тысячи его лучших сынов, правительство, веками сосущее кровь народную, бросило в темный сырой каземат депутатов Российской социал-демократической рабочей фракции.

С такой наглостью и цинизмом расправилось самодержавное правительство с думским представительством 30-миллионного рабочего класса. Лживость и лицемерие фраз о единении с народом вскрыто. Обману и разращению рабочих масс наступает конец... Царское правительство сделало последний шаг; дальше идти некуда... Фиговый лист российской конституции еще раз сорван и на этот раз окончательно. Во весь рост встает перед рабочим классом и всей демократией вопрос об истинном народном представительстве, об учредительном собрании.

Только война и военное положение, железными тисками сжимающие пролетариат и демократию, дали возможность правительству совершить гнусную расправу над избранниками рабочих, стоящими самоотверженно на страже их святейших интересов.

Под грохот пушек и ружей правительство старается задуть революционное движение рабочего класса; в потоках крови насильно угоняемых на бойню миллионов рабочих и крестьян оно надеется утопить их освободительные стремления.

Прикрывая свои хищнические замыслы лживыми фразами об освобождении славян, царское правительство во время войны еще с большей свирепостью душил рабочий класс: оно разгромило все рабочие организации, уничтожило рабочую печать, ежедневно заточает в тюрьмы и ссылает в далекую, холодную Сибирь лучших борцов пролетариата.

Но смертельному врагу рабочего класса было мало этого. Он решил, что настал удобный момент для расправы с представителями рабочего класса, геройски борющимися с правительственной политикой, политикой гнета и насилия, и железные кандалы зазвучали за тюремной решеткой. Избранникам пролетариата царские бандиты сказали: ваше место в тюрьме. <...>

¹ Архив департамента полиции, особого отдела 1914 г. дело № 5, л. 246.

Товарищи!

Петроградский комитет Российской социал-демократической рабочей партии призывает рабочих Петрограда к однодневной забастовке и митингам протеста против гнусного и незаконного деяния царско-помещичьей шайки.

Долой царское правительство!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!

Да здравствует социализм!

Ноября 11 дня.

Петроградский комитет РСДРП».

Одновременно в Петербурге распространялись также прокламации студенческих организаций. «Русский абсолютизм, верный себе, продолжает делать свое антинародное дело, — писала социал-демократическая фракция студентов-политехников. — Последний поступок, по значению равный втородумской социал-демократической фракции, есть не что иное, как государственный переворот... Комедия народного представительства кончена... Точка над *i* поставлена... Теперь перед демократией грозные факты стали во всей их неприкрашенной циничной наготе...»¹.

Петробургский комитет, выпуская свою прокламацию, учитывал невозможность организации сколько-нибудь широкого выступления рабочих. Его листовка имела другое назначение. Она должна была информировать рабочих о новом преступлении царского правительства и объяснить смысл происшедших событий, в противовес патристической агитации правительственной и буржуазной прессы. <...>

Но не остался без ответа и непосредственный призыв партии к выступлению. На ряде фабрик и заводов рабочие провели однодневную забастовку протеста, на некоторых были сделаны попытки к забастовке, предотвращенные только вмешательством полностью мобилизованных сил полиции.

Так, на заводе «Новый Лесснер», когда с утра рабочие начали собираться для обсуждения вопроса о забастовке, в помещении мастерских был введен заранее приготовленный сильный наряд полиции. Полицейские бросились на рабочих и, не ожидая начала забастовки, произвели ряд «показательных» арестов. Такими сразу же пущенными в ход сильными средствами охранка сорвала забастовку лесснеровцев. То же происходило и на других фабриках и заводах.

Там же, где рабочие все же бастовали, полицейская расправа была еще более жестокой. Хватали на выдержку тех, кто казался наиболее опасным, и немедленно же высылали из Петербурга. Применялась и другая мера. Рабочие — запасные и ратники, имевшие отсрочки по мобилизации, снимались с учета и, по соглашению с военным ведомством, сразу же отправлялись на передовые позиции. Так, например, на заводе «Парвайнен», где бастовало около 1½ тыс. человек, 10 рабочих были арестованы и высланы на все время военного положения, и свыше 20 запасных посланы в окопы.

В таких условиях забастовочное движение, конечно, не могло принять сколько-нибудь широких размеров. Но и эти забастовки

¹ Архив департамента полиции, особого отдела 1914 г., дело № 5, л. 223.

показывали, что рабочий класс, несмотря ни на что, окончательно задуть нельзя. Рапо или поздно революционное движение должно было снова подняться во весь рост.

Для работы нашей партии открывалось новое большое поле. Но перед этой работой вырастали и новые огромнейшие трудности. Реакция уже раньше вырвалась из рядов партии активнейших руководителей рабочего класса. Арест думской фракции довершал этот удар. Русское бюро ЦК было уничтожено. Перед Центральным комитетом, изолированным и оторванным от России, встала исключительная по трудности задача восстановления заново партийной организации. «Беда, если да!» — писал, сильно встревоженный Ленин в Стокгольм Шляпникову¹, прося его узнать, насколько верны первые известия об аресте фракции. Через три дня, когда эти известия подтвердились, Владимир Ильич пишет тому же Шляпникову: «Ужасная вещь. Правительство решило, видимо, мстить РСДР фракции и не остановится ни перед чем. Надо ждать самого худшего: фальсификации документов, подлогов, подбрасывания «улик», лжесвидетельства суда с закрытыми дверями и т. д. и т. д.». Дальше Ильич указывает на огромные трудности, появившиеся перед партией в связи с арестом фракции: «Во всяком случае работа нашей партии теперь стала во 100 раз труднее. И все же мы ее поведем!» «Правда» воспитала тысячи сознательных рабочих, из которых, вопреки всем трудностям, подберется снова коллектив руководителей — русский ЦК партии...»²

От слов Ильича, как и всегда, веет огромнейшей верой в силу рабочего класса и победу революции. Он ясно себе представлял, как должна была затрудниться работа нашей партии, но эти трудности не могли ни на минуту поколебать ту исключительную силу и энергию, которые никогда не оставляли Ленина в наиболее тяжелые и трудные моменты революционной борьбы.

А. А. Самойло

В СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«Dones eris felix, multos numerabis amicos»³.

Противостоявшие друг другу империалистические группировки, с одной стороны — Германия, Австро-Венгрия и Италия (Тройственный союз), с другой стороны — Англия, Франция и Россия (образовавшие Антанту), развязали первую мировую войну не виданных до того размеров. Надо сказать, что ни масштабов, ни характера этой войны не предвидело ни одно государство.

Прежде всего война обманула самое Германию, рассчитывавшую на пейтралитет Англии, иначе Германия не пошла бы на

¹ Из письма к А. Шляпникову от 25 ноября 1914 г. (очевидно, нового стиля). «Ленинский сборник» II, с. 209.

² Там же. Из письма к А. Шляпникову от 28 ноября 1914 г., с. 211.

³ «Пока счастлив, будешь иметь много друзей». — О в и д и й, Элегия.

риск потерять моря, с которыми Вильгельм связывал будущее страны, и пожертвовать своими колониями и рынками. Немецкое командование надеялось, потратив полстолетия на подготовку к этой войне, достигнуть победы в результате молниеносного, сокрушительного удара. Оказалось, однако, что война обратилась в четырехлетнюю упорнейшую борьбу на истощение, вызвавшую глубокий протест народных масс, свержение монархических династий в Германии, Австро-Венгрии, России и последующие затем социальные изменения. Противоречия внутри капиталистической системы не были разрешены, а лишь обострились. Одним из важнейших итогов войны явилось отпадение России от капиталистического лагеря.

Вернемся, однако, к освещению событий войны, оказавшихся непосредственно в поле моего зрения.

3 августа 1914 года штаб Верховного главнокомандующего Николая Николаевича приступил к руководству пока еще сосредоточившимися армиями. В этот день, к вечеру, Николай Николаевич пригласил нас, офицеров Генерального штаба из состава управления генерал-квартирмейстера Ю. Н. Данилова, а также генералов — иностранных представителей при Ставке, высших чинов из других управлений штаба, а также своих приближенных в вагон-столовую к обеду. Прежде чем сесть за стол, он удовлетворенно заговорил о том, сколь величественную картину представляет сейчас Россия, покрытая воинскими составами, спешащими со всех сторон к нашим австро-германским границам. На радостных лицах и самого Верховного главнокомандующего, и его начальника штаба Янушкевича, и окружавших их военных чиновников нельзя было заметить даже следов колоссальной ответственности за вверенные им судьбы миллионов людей.

Начиная с этого дня мы дважды в день — к завтраку и к обеду — должны были являться в вагон-столовую поезда Верховного главнокомандующего. В этом же поезде нам были отведены постоянные купе, где мы и помещались. Поезд стоял на особо построенной ветке у окраины селения Барановичи, перед небольшим станционным домиком, в котором и работало все управление генерал-квартирмейстера. В него ежедневно, по утрам, приходил Николай Николаевич в сопровождении Янушкевича принимать доклады о ходе боевых действий от генерала Данилова. В дни приезда царя его поезд становился рядом с нашим, и тогда царь принимал доклады вместе с Николаем Николаевичем.

Остальные управления штаба были расположены в самом селении, и начальники их в особо назначенные дни приходили в поезд на доклад к Верховному главнокомандующему.

Николай Николаевич постоянно и безвыходно находился в своем вагоне, равно как и Янушкевич; только иногда он ездил в автомобиле на прогулку по окрестностям, а каждое воскресенье главнокомандующий приезжал в местную церковь, где слушал обедню, или, лучше сказать, концерты, так как церковные песнопения, в угоду Николаю Николаевичу, исполнялись на мотивы из оперы Бородина «Князь Игорь». Это, очевидно, делалось с благословения жившего в поезде главного протопресвитера Шавельского, руку которого, здороваясь, почтительно целовал Николай Николаевич, подавая этим необходимый всем нам пример благочестия.

Однако следовали этому примеру далеко не все из нас, тем более что «святой» отец производил впечатление человека хитро-

го и ловкого. Он начал свою духовную карьеру простым полковым священником в нашей Маньчжурской армии.

В те дни, когда Верховный главнокомандующий вместе с Янушкевичем и Даниловым выезжал в своем поезде на фронты для совещаний с главнокомандующими фронтами, мы выселялись из поезда в наше штабное помещение.

Кроме высших начальников, главными действующими лицами управления генерал-квартирмейстера были мы, штаб-офицеры. Оперативным производством ведал полковник Щолоков, германским — Скалон, австро-венгерским — я. Обычно мы трое за обедом сидели вместе, отделенные стеклянной перегородкой от столика Николая Николаевича, за которым сидел Янушкевич и другие приглашаемые лица и рядом с которыми стояли столики представителей миссий дружественных стран¹. Тут же сидели Данилов, Шавельский и адъютанты Верховного главнокомандующего. Среди них наиболее симпатичным был князь Щербатов, потомок известного историка-публициста, автора обширного труда «Истории Российской» и трактата «О повреждении нравов в России».

Я не любил этих обедов и завтраков — они отнимали очень много дорогого времени.

Кроме нас троих, в состав управления генерал-квартирмейстера входили полковник Свечин*, Андерс и другие, всего 15 человек.

К штабу Верховного главнокомандующего, кроме управления генерал-квартирмейстера, принадлежали управления дежурного генерала и начальника военных сообщений. Личный состав их жил и столовался отдельно.

Генерал Янушкевич, вопреки «Положению» о полевом управлении войск в военное время, никакого участия в оперативной работе не принимал, отказываясь от нее под предлогом малого знакомства со стратегией. Разработка всех оперативных соображений лежала целиком на Данилове, ответственном за эту разработку, за сбор сведений о театре военных действий и данных о противнике, а также о расположении, действиях и общем обеспечении всем необходимым наших высших войсковых соединений, об общей организации службы связи и службы офицеров Генерального штаба.

В круг обязанностей Скалона и моих входили сбор и обработка всех сведений по Германии и Австро-Венгрии и сообщение этих сведений всем полевым управлениям и фронтам.

Дежурный генерал (Кондзеровский) ведал вопросами об укомплектовании вооруженных сил, об общей численности их, о степени обеспечения их главными видами довольствия, в том числе и о финансовом, санитарном и ветеринарном состоянии армии, а также вопросами эвакуации.

Начальник военных сообщений (Ронжин) руководил эксплуатацией всех путей сообщения на театре военных действий, осуществлением массовых перевозок войск и грузов, этапной службой, транспортом, почтово-телеграфной и телефонной службой.

¹ Представителем Франции, игравшим среди них главную роль, был генерал д'Амад с заместителем генералом По. С нашей стороны во Франции был Жилинский после сдачи им должности главнокомандующего Северо-Западным фронтом.

Довольно часто практиковались выезды всем поездом на оба фронта: Юго-Западный и Северо-Западный.

Общий фронт русской армии во вторую половину войны, позиционную, шел от Риги до румынской границы, причем имел вид широкой полосы, почти сплошь изрытой окопами. На всей этой полосе шла непрерывная борьба стоявших друг против друга войск: пехоты на коротких, артиллерии на более удаленных дистанциях. Велся все время ружейный огонь; перебрасывались ручные, ружейные и мортирные гранаты; практиковались взаимные вылазки, подрывание друг у друга окопов и пр.

Таков был общий сам по себе установившийся вид позиционной войны.

Места для широких оперативных обходов и охватов, да и для более коротких — тактических — не было. Главным видом боевых действий войск являлись удары в лоб; при удаче они приводили к более или менее глубокому прорыву неприятельского фронта.

Бои и сражения выигрывались почти исключительно пехотой при поддержке артиллерии. В пехоту обратились и кавалерийские части, также скрывавшиеся в окопах. Артиллерийские дуэли без участия пехоты носили по большей части бесцельный характер и сводились обычно к простой трате дорогих снарядов. Оправдывала себя щитовая артиллерия, против которой в свое время ратовал Драгомиров.

Наши войска во время начальных маневренных операций обварили высокий моральный подъем, особенно усилившийся во время успешных сражений с германцами. Наши часто вырывали у противника инициативу действий, наносили сильные удары, проявляя умение от отступления переходить в наступление, показывая несравненное упорство в бою и высокую доблесть. Даже слабая поддержка артиллерией, вызванная недостатком снарядов, что давало себя чувствовать уже в августе и сентябре 1914 года, не останавливала боевого порыва пехоты.

Разумеется, потери были велики. Пополнение же стало так сильно запаздывать, что численность корпусов нередко падала до 5—7 тысяч человек. Ощущался большой недостаток даже в пехотном оружии, тем более что войска не были приучены достаточно бережливо обращаться с ним: винтовки убитых и тяжело раненых утрачивались, оружие на поле боя не собиралось, между тем маршевые команды обычно приходили невооруженными. Вообще стрелковое дело в пехоте, в противоположность артиллерии, было поставлено слабо. Эти недочеты усугублялись еще тем, что паша малоразвитая железнодорожная сеть быстро пришла в расстройство и при недостатке подвижного состава не справлялась с требованиями как фронта, так и тыла.

Совершенно новыми областями в военной технике явились автоторные и химические средства. Изменился удельный вес различных родов войск.

Русская армия, сидевшая в грязных окопах и продолжительное время бездействовавшая, расшатывалась под влиянием угнетающей обстановки. Удручающее впечатление создавали слухи и разговоры об измене Сухомлинова и немки царицы, об интригах и разврате в царской семье и высших сферах, о Гришке Распутине, которого сам царь открыто признавал «другом императрицы». Николай Николаевич не возбуждал в армии особенно дурного о себе мнения. Но и похвалы, расточавшиеся в его адрес

официальной прессой, о его воле, энергии и прочем, к сожалению, не соответствовали действительности. Для нас, постоянно с ним связанных по службе, он был человеком бесхарактерным, всецело шедшим на поводу у Янушкевича, Данилова и других. Никакой отваги (приписывавшейся ему в английской печати) он не проявлял.

Большое впечатление произвело на нас опубликованное им 1 августа 1914 года воззвание к полякам, говорившее о «заре новой для них жизни, братского с ними примирения и возрождения новой Польши», а также воззвание к русскому народу об окончании притеснений иноземцев, о равноправии всех народностей. Но эти воззвания, туманные по смыслу, оказались впоследствии одними фразами.

В связи с шумевшим делом об измене жандамского полковника Мясоедова *, повешенного в Ставке в 1915 году по приказу Николая Николаевича, я могу сообщить лишь следующее.

Когда в начале 30-х годов я был начальником военной кафедры в Московском гидрометеорологическом институте, ко мне на кафедру был назначен преподавателем брат казненного Мясоедова. Я опротестовал это назначение как совершенно неподходящее для советской студенческой среды, что и не скрыл от Мясоедова. На это последний мне сообщил, что ему был показан поданный в свое время Николаю Николаевичу и сохранившийся в архивах доклад прокурора, отрицавшего виновность полковника Мясоедова, с резолюцией Николая Николаевича: «А все-таки повесить!»

Против Николая Николаевича был настроен Сухомлинов, а также министр иностранных дел Сазонов, тщетно стремившийся влиять на великого князя. Царь видел в нем своего соперника и боялся его влияния, что особенно понятно, если учесть, что Николай II находился во власти своего царского двора, этой арены всяких измен, интриг, министерской чехарды, тайных убийств, разврата; в окружении шайки всяких проходимцев и аферистов, вроде «Гришки-провидца», Андронникова, Вырубовой, Воейкова и пр.

Представители военных миссий при Ставке жили внешне спокойно и держались корректно. С ними у нас было мало общения. Какое влияние они оказывали на высшее начальство, мы не знали. Настроение их было оптимистическое: они не сомневались в окончательной победе своих стран. В особенности их настроение улучшилось с переходом Ставки в Могилев и со сменой Верховного главнокомандующего. Это объяснялось, конечно, отнюдь не достоинствами царя, а улучшением положения армии благодаря увеличению боевого снаряжения, притоку подкреплений и возросшей возможности собственного влияния на ход событий.

Одной из обязанностей офицеров Генерального штаба в Ставке была зашифровка и расшифровка секретных телеграмм. Поэтому мы были в курсе не только военных событий, но и всех прочих, а иногда даже личных царских и великокняжеских дел. Кстати, по времени службы нам со Скалоном подходила очередь на получение полков. Скалон был старше меня по службе, как бывший гвардеец, но он от полка отказывался принципиально, считая себя неподготовленным к ответственности за судьбу тысяч человеческих жизней. Я медлил, выжидая освобождения должности в своем родном Екатеринбургском полку. Впрочем, я готов

был принять и Ширванский полк. О мотивах этой своей готовности я охотно умолчал бы теперь, если бы не взятый мной принцип: выкладывать все начистоту. Дело в том, что Ширванский полк был единственным в армии, которому полагалось носить сапоги с красными голенищами! Казалось бы, выйдя из гимназических годов, я мог быть и менее легкомысленным. Как и чем это объяснить? Воспитанием? Средой? Странностью человеческого устройства? Судить не берусь.

Данилов был доволен нашими отговорками, так как не в его интересах было лишаться помощников, осведомленных уже во всех германских и австрийских вопросах. Теряли лишь сами мы, так как с принятием полка связывалось производство в генералы.

Под непосредственным началом Верховного главнокомандующего, как я уже говорил, были Юго-Западный фронт (генерал Иванов, начальник штаба Алексеев) и Северо-Западный (генерал Жилинский, вскоре сменивший генералом Рузским, начальник штаба Орановский). К началу военных действий, на 12—14-й день мобилизации, оба фронта развернулись на линии: Средний Неман — Бобр — Нарев — Средняя Висла — Люблин — Холм — Владимир-Волянский — Дубно — Каменец-Подольский. Главные силы австрийцев стояли на фронте Краков — Львов — Черновицы, прикрываясь с третьего-пятого дня мобилизации массой конницы с пехотными поддержками.

В конце июля, когда армии Юго-Западного фронта были еще в периоде развертывания, австрийцы перешли в наступление, вторглись в Завислянский район и в южные районы Люблинской и Холмской губерний, а кавалерия их — во Владимир-Волянский. Планом австрийцев предусматривались сильный заслон к востоку от Львова и на границе Юго-Восточной Галиции и Буковины и нанесение главного удара на фронт Люблин — Холм, то есть в тыл всего передового театра и Северо-Западного фронта.

Противодействовать этому плану в первую голову пришлось 3-й армии (генерал Рузский, начальник штаба В. Драгомиров, генерал-квартирмейстер М. Бонч-Бруевич) на фронте Люблин — Холм и 8-й армии (генерал Брусилов), наступавшей на сообщения главных сил австрийцев. 7 августа обе армии вступили в австрийские пределы, а 10 августа перешли в наступление и наши соседние армии: 4-я (генерал Эверт) и 5-я (генерал Плеве).

Так начались кровопролитные бои первой Галицийской битвы. В конце августа мы перешли через Сан и Днестр, овладев Стрыем и Черновицами.

Такими успехами русская армия была обязана высоким качеством русских солдат, их военной доблести, сильным офицерским кадрам, благоприятной, мало укрепленной местности, хорошему еще снабжению армии, а также и опытности Иванова и Алексеева — участников русско-японской войны.

Наши успехи могли быть еще большими, а может быть, и решающими для войны, если бы достижению их не помешало поведение генерала Рузского. Вместо того чтобы нанести сокрушительный удар 600-тысячной австрийской армии, он погнался за дешевой победой у Львова. Оставив город, австрийская армия ушла от смертельной опасности и сохранила свои силы для последующей борьбы в Галиции. Ставка же в лице Николая Николаевича, Янушкевича и Данилова в собственных интересах, а также в личных интересах Иванова и Алексеева раздула эту «победу». Было объявлено, что город был якобы захвачен в резуль-

тате «семидневных упорных боев», что он был «сильно укреплен» противником и т. п.

Между тем командир корпуса Щербачев указывал в своем донесении, что он вошел в город, уже оставленный австрийцами.

В декабре 1915 года согласно вторично поданной просьбе об отставке Рузский был уволен с милостивым рескриптом царя.

История с Львовом отчетливо характеризует «нравы» верхов дореволюционной армии.

В перененных по успехам боях Юго-Западного фронта прошла вся осень. В первой половине декабря велись успешные для нас бои на карпатских перевалах, причем мы владели уже всей Буковиной.

Менее удачные, как известно, бои происходили на Северо-Западном фронте, но и они показали высокую боевую доблесть самой армии. Неудачи обусловливались ошибками высшего управления армией и недочетами в подготовке театра военных действий.

К моим штабным обязанностям по Австро-Венгрии Данилов прибавил и все вопросы по Румынии. На меня возлагалось составление военно-политических докладов по сношению с Румынией и военная оценка местности, главным образом Северной Буковины, бывшей предметом торга между министерствами иностранных дел. Нашей целью было вовлечение Румынии в войну на стороне Антанты. Позже, весной 1916 года, Румыния требовала уже Буковину до Прута вместе с Черновицами.

В связи с моими новыми обязанностями Верховный главнокомандующий приказал командировать меня в Бухарест — отвезти от него золотой портсигар министру иностранных дел Румынии Братиану. Я должен был ехать до Черновиц по железной дороге, а дальше в автомобиле на Яссы, причем по пути взглянуть заодно на австрийские позиции в лесистых Карпатах у Дорны Ватры.

Во время этой командировки я не преминул заехать к моей знакомой Зельме в Кимполунг, куда, как я уже знал, она перед самой войной вернулась из Киева.

В Кимполунге дверь отворила мне сама Зельма, порывисто бросилась ко мне и обняла. Она познакомила меня со своей очень пожилой и очень похожей на нее матерью, которая, как я понял, ничего не знала обо мне. За чаем, наспех выпитым ввиду того, что я сильно торопился, Зельма, волнуясь, объяснила, что она, уехав из Киева к матери, вышла здесь по ее настоянию замуж. Муж ее любит, но она свое сердце оставила в Киеве...

Прощаясь, она предложила сыграть мой любимый «Дунайский вальс», но после первых аккордов не выдержала и со слезами выбежала. «Не могу, — проговорила она, — без нот...»

Через несколько минут она вышла к автомобилю, глотая слезы. Я горячо поцеловал ее руку и пожалел, уезжая, что нарушил ее и свой покой. «When sorrow is asleep, wake it not!»¹ — поздно вспомнил я мудрый совет.

Много лет спустя жена как-то вытащила меня в кино посмотреть фильм «Большой вальс». Я был поражен, с какой живостью я, глядя на экран, вспомнил все свое знакомство с Зельмой. Я много раз ходил смотреть этот фильм и каждый раз думал: «Хорошо, что киносеансы даются в темноте...»

¹ «Если печаль спит, не буди ее!»

По приезде в Бухарест я отправился к нашему военному агенту — полковнику Семенову. Он нашел нужным, минуя нашего посланника Поклевского-Козелл (большого германофила), сообщить о цели моего приезда к Братиану, и тот изъявил желание принять меня у себя в министерстве на следующий день. Вечером Семенов нанял экипаж и повез меня на Киселевское шоссе — излюбленное место катаний бухарестской аристократии. Я был удивлен, с каким бесстыдством фешенебельное общество столицы и в особенности генералитет вместе со своими метрессами открыто предаются пустым развлечениям, считая это особого рода шиком во время войны. «Зря, — подумал я, — великий князь жертвует своим золотым портсигаром: никакого проку от армии, возглавляемой такими полководцами, ждать нельзя».

Однако на другой день я пошел выполнять свое поручение. Братиану принял меня очень ласково, представил приехавшему в министерство наследному принцу, а последний пригласил меня, на третий день моего пребывания в Бухаресте, к завтраку в свой вагон, в котором он должен был приехать. После этого завтрака он передал мне румынский орден величиной почти в три вершка. И это несмотря на совершенный мною перед завтраком огромный, небывалый, вероятно, в аналах дипломатических сношений faux pas¹. Дело в том, что после визита Братиану у меня в глазу лопнул какой-то сосудик, и глаз страшно покраснел. Придворный врач впустил в глаз капли и закрыл его черной повязкой. Прибыв после этого к наследному принцу и проходя за ним из его салона в вагон-столовую, я не заметил из-за повязки, как принц, все время перед этим державший любимую собачонку на руках, спустил ее на пол. Затворяя за собой дверь, я прищемил бедному псу хвост, и это заставило его громко завизжать. Благовоспитанный принц не показал и вида какого-либо неудовольствия. Он, однако, вспомнил об этом много позже, когда приезжал на Западный фронт, где я был назначен его сопроводителем.

На обратном пути в Сарнах я застал царский поезд. Зайдя к своему товарищу по Киевскому штабу, полковнику Стеллецкому, заведующему передвижением войск Львовского района, я рассказал ему про свою миссию в Бухаресте. «Интересно, — сказал он, поглядев на полученный мной орден, — какой величины награду они дали бы тебе, если бы ты не придавил собаку!» Он объявил, что должен доложить о моем приезде своему начальнику военных сообщений генералу Ронжину. Последний, выслушав мой рассказ о выполнении поручения Верховного главнокомандующего, объявил, что о моем приезде доложит Сухомлинову, сопровождавшему царский поезд. Сухомлинов, с обычной приветливостью выслушав мой доклад, объявил, что доложит обо мне царю, приказав через час явиться к царскому поезду. Встретив меня, он объявил: «Царь повелел пригласить вас к своему завтраку. Побудьте здесь — я найду за вами через четверть часа». Я поспешно стал соображать, что и как буду докладывать царю о приеме меня в Бухаресте.

Войдя в вагон-столовую, полный каких-то свитских генералов, я убедился, что сильно переоценил любознательность царя. Разговаривая с одним из генерал-адъютантов, царь как-то боком протянул мне свои пальцы, которых я коснулся со всей доступной мне почтительностью, и больше уже своим вниманием меня

¹ Неловкость.

не достаивал. Сначала я почувствовал было обиду на такое игнорирование царем попытки главнокомандующего прельстить Румынию своим подарком, но затем успокоился: не много ли было бы для Румынии чести рассчитывать на большее внимание. Впрочем, взирая с почитительностью на голову монарха, я тут же усомнился, чтобы в ней могли появиться эти сложные соображения.

Какой-то придворный чин подвел меня к назначенному мне за столом месту, и затем, по данному царем общему приглашению, я сел между двумя генералами, не то членами царской фамилии, не то простыми, но важными смертными.

Боясь нарушить придворный этикет, я не сказал им ни слова за все время завтрака во внимание к их высокому положению. Так же поступили и они, вероятно, вследствие моего низкого положения. Особенно меня смущало разноцветное вино, которым лакеи периодически наполняли многочисленные стаканы моего прибора. Я не знал, был ли я обязан пить, притом просто или предварительно пожелав здоровья кому-либо из присутствующих, начиная с «августейшего» хозяина. К тому же я боялся, что, выпив, могу сделаться излишне разговорчивым. Желая скрыть смущение, я разглядывал свои тарелки, стараясь понять, золотые они или только позолоченные. Наконец, часа через полтора завтрак кончился, и царь вышел. Сухомлинов последовал за ним, подав мне знак, что я свободен. Я приветливо ему поклонился, но про себя подумал: «И на какого черта ты мне устроил эту пытку!»

Вернувшись в Барановичи, я долго еще находился под впечатлением своей поездки в Румынию. О результатах ее Янушкевич для доклада великому князю расспрашивал меня на французском языке. Вследствие такого изящного стиля нашей беседы я не считал себя вправе осквернять этот стиль рассказом о собачьем хвосте.

Янушкевич со своей стороны поделился со мной имевшимися у него сведениями о том, что к румынскому королю и Братиану ездили также посланцы и от Вильгельма, но, кажется, с миссией угрожающего характера. Братиану более расположен к нам в надежде получить Трансильванию. Не скрыл от меня Янушкевич после моего рассказа о царском завтраке, что положение Сухомлинова непрочное, особенно в думских кругах, и что вместо него, вероятно, будет Поливанов.

Словоохотливость Янушкевича меня несколько удивила, и я решил, что тут имела влияние французская речь.

Военные действия после первых успехов 1914 года стали постепенно принимать характер, менее благоприятный для нас, и привели весной 1915 года к поражению Юго-Западного фронта и потере Галиции. Причинами этого было непонимание своих задач генералами Ивановым и Рузским и крупные ошибки самой Ставки, не сумевшей по-настоящему руководить фронтами и хотя бы ликвидировать разногласия между ними.

Этим и воспользовались немцы, организовав посылку австрийцам подкреплений. Полагаю, что и Братиану, ошупывая в своем кармане привезенный мной золотой портсигар Николая Николаевича, с недоумением и нерешительностью наблюдал, как Иванов рвался из рук Ставки на юг, а Рузский стремился на север. Когда же нашим главнокомандующим как будто удавалось «договориться», сама Ставка оставалась без определенного решения,

склоняясь то на сторону Иванова, то на сторону Рузского. Время терялось в выжиданиях, несмотря на то что положение нашей армии улучшилось в смысле пополнения запасами и людскими комплектованиями.

Перед глазами Николая Николаевича поочередно появлялись, как заманчивые цели, то Вена, то Берлин, и он колебался в выборе, иллюстрируя своим положением басню о животном, которое умирает с голоду, имея две вязки сена по бокам.

Наконец, Иванову и Алексееву надоело это выжидание, и они решили на свой страх двинуться за Карпаты в Венгрию, потянув за собой ушправшегося великого князя, не желавшего оторваться от Рузского. Но тут вдруг оказалось, что для осуществления своих планов у них мало сил.

В то время как великий князь стал вязнуть вместе с Ивановым в карпатских снегах, немцы предприняли активные действия и в Восточной Пруссии и на Юго-Западном фронте.

В феврале 1915 года и Юго-Западный и Северо-Западный фронты оказались перед катастрофой. Николай Николаевич растерялся. Иванов продолжал упорствовать в Карпатах, пока к апрелю, когда Алексеев был уже назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом вместо Рузского, не подвел под разгром Юго-Западный фронт.

Проблеском в этой мрачной зимней эпопее было занятие весной русскими крепости Перемышль и то, что Ставка впервые дала твердые задачи обоим фронтам: наступление в Карпатах, оборона на остальном протяжении.

Но оказалось, что с весной изменилась позиция Алексеева: он начал проводить мысль, что наступление в Карпатах — операция второстепенная и вредная, и стал противодействовать ей, отказываясь выделять для нее силы с Северо-Западного фронта.

Наступление в апреле немецкой армии Макензена закончилось разгромом Юго-Западного фронта. Иванов пытался объяснить это усталостью войск, климатом, плохим подвозом по железным дорогам, слабостью своих сил и затишьем на других фронтах.

Катастрофа на фронтах имела непосредственным результатом перемещение Ставки Верховного главнокомандующего из Барановичей в Могилев, а затем и замену Николая Николаевича самим Николаем II на посту Верховного главнокомандующего.

Не только в кругу офицеров Ставки, но и повсюду эти перемены сопровождались самыми разнообразными слухами и пересудами. Одни говорили, что со стороны царя это акт высшего самопожертвования, самоотречения, благородства чувств; другие видели в этом слепое упрямство, неожиданно и необъяснимо утвердившееся в голове человека, боявшегося соперника, третьи считали, что царь сделал этот шаг по настоянию своей «царственной» супруги, и т. п.

Решить, кто тут прав, я не мог, да и не имел необходимых данных. Что касается Николая Николаевича, то, наблюдая его деятельность в Петербурге в должности главнокомандующего войсками гвардии, близко ознакомившись с ним как Верховным главнокомандующим, я составил о нем определенное суждение, которое и считаю близким к действительности.

В предвоенный период Николай Николаевич был строгим и требовательным строевиком-кавалеристом на посту инспектора кавалерии, но без широких взглядов на роль и задачи ее в усло-

виях современной войны. Его требовательность, часто выражавшаяся в несдержанных выходках против высоких начальников, создавала ему личных врагов. Политические убеждения его, конечно, были реакционными, но он умел делать уступки требованиям времени и обстановки. Примером может служить его участие в подготовке манифеста 17 октября, отношение к Государственной думе, критическое отношение к Сазонову и его политике.

К сугубо дурным сторонам Николая Николаевича как Верховного главнокомандующего я лично отношу слабость воли и мелочность характера, проявившиеся в отсутствии твердого управления фронтами, в тщеславных расчетах при освещении «заслуг» Рузского под Львовом, в перенесении личной неприязни к Сухомлинову на деятельность его как военного министра. Однако превосходство Николая Николаевича над более слабавольным и менее дальновидным царем отчетливо понимали все мы. Поэтому смена его царем была неожиданной для всех нас.

Утверждали, что Николай Николаевич и Алексеев, не говоря уже про Родзянко, долго отговаривали царя от принятия должности Верховного главнокомандующего в таких тяжелых условиях.

Как бы то ни было, 3 сентября 1915 года был объявлен манифест о смене Николая Николаевича и о роспуске Думы. Увольнение получило характер неожиданности. Оно было связано с общим развалом в самодержавной России, и причинами его были в большей степени неудачи политические, чем военные. Сторонники авторитета Николая Николаевича продолжали упорно доказывать, что не катастрофы в Польше и Галиции, а нравственный перевес его над царем и над всем царским домом был настоящей причиной состоявшихся перемен.

21 сентября 1915 года Николай II вступил в должность Верховного главнокомандующего в Могилеве-на-Днепре. Начальником штаба Верховного главнокомандующего был назначен Алексеев. Получилось так, что я в первые же дни навлек на себя его неудовольствие, и он хотя и ласково, по прежнему знакомству, но серьезно выбранил меня за недостаток почтительности к «высшим сферам». Вина моя состояла в том, что я рассказал Марсенго, представителю итальянской военной миссии при Ставке и своему старому киевскому приятелю, а он разболтал остальным своим коллегам (что дошло и до Алексеева) следующий случай. В Красном Селе еще перед войной Николай Николаевич пожаловался царю, что офицеры кавалергардского полка охотятся на зайцев в его, великого князя, заповеднике. Царь приказал кому-то найти виновных, а тот, разобрав дело, подал доклад, в шутку озаглавив его «Дело о кавалергардах его величества и о зайцах его высочества». За распространение столь нечестивого рассказа, да еще среди иностранцев, я и получил нагоняй.

Это был последний разговор с Алексеевым за мое двадцатилетнее с ним знакомство.

Когда я вышел из кабинета Алексеева, мне показалось, что он сделал мне выговор нехотя, как бы насилуя себя. Внутренний облик этого человека вырисовывается передо мной довольно отчетливо еще со дней моего пребывания в Академии Генерального штаба, где он был профессором. Это был простой и прямой человек, у которого слова не расходились с делом. Он обладал глубоким теоретическим и, главное, практическим знакомством с военным делом. Выпущенный офицером из того же Московского

юнкерского училища в 1876 году в простой армейский полк, он провел в строю русско-турецкую войну, а позже русско-японскую уже генерал-квартирмейстером 3-й Маньчжурской армии. Как я уже говорил выше, он в 1909 году был назначен начальником штаба к нам в Киевский военный округ. Империалистическая война застала его командиром корпуса. Пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом он занимал с марта 1915 года, а с августа стал начальником штаба Ставки.

Алексеев обладал большой работоспособностью, был несловохотлив и скромнен. К отрицательным сторонам его надо отнести малое знакомство с внутренней жизнью страны, в особенности с политической борьбой, слепую приверженность идее самодержавия. В частности, он не позволял себе выступать против вредного упрямства царя в делах выбора и назначения военных деятелей.

На посту начальника штаба при Верховном главнокомандующем Алексеев являл собой диаметрально противоположность Янушкевичу. Он обладал несравненно большими знаниями и лучшими деловыми качествами. Я считаю ошибкой великого князя, что он в свое время предпочел Алексееву из-за незнания им иностранных языков лентяя и невежду Янушкевича, пусть и владевшего языками.

Более склонный к административной работе, чем к боевой, Янушкевич был человеком жизнерадостного эгоистического характера. Незаменимый собеседник (по-французски) в петербургских салонах, в дамском обществе, он подкупал приветливостью, веселым нравом, открытым и откровенным признанием своей «стратегической невинности» (как его насмешливо звали в штабе). Прощаясь с работниками штаба перед отъездом на Кавказ, Янушкевич чистосердечно и справедливо признался в своей вине за наши военные неудачи первого года войны. На удалении его с поста начальника штаба настаивала Государственная дума, что и было выполнено еще до смены самого Николая Николаевича, который выпросил у царя назначение Янушкевича на Кавказ, не подозревая, что хлопотал опять для самого себя.

Важной виной Янушкевича было и то, что он, потворствуя Николаю Николаевичу, не держал Сухомлинова в курсе военных событий, чем лишал последнего возможности своевременно принимать меры по обеспечению армии. Впрочем, по рассказу Скалона, этот ненормальный порядок продолжался и в Могилеве при Алексееве, когда в Петербург для опубликования давались сведения, заведомо искаженные.

На должность генерал-квартирмейстера Алексеев вместо ушедшего Данилова назначил случайно подвернувшегося ему генерала Пустовойтенко, не имевшего никаких военных талантов. Очевидно, Алексеев считал, что главная работа в штабе все равно ляжет на его плечи.

Этой сменой лиц были вызваны и многие другие перемены. Николай Николаевич получил назначение заместителем и главнокомандующим на Кавказский театр военных действий, куда был назначен, как сказано уже, и генерал Янушкевич.

За мое короткое пребывание в Могилеве при царе я не раз был свидетелем разговоров об активном участии в смене Николая Николаевича англо-французских представителей, исходивших почти исключительно из военных соображений, без учета революционных событий в России, активизированных полной экономической разрухой. Должен сказать, что внутренним политическим

событиям в стране и возможности влияния их на военные события наши близорукые высшие штабы не уделяли никакого внимания. Я не помню, чтобы даже офицеры Генерального штаба говорили о революционных событиях; вопросами внутренней политики интересовались только одиночки.

Мог ли при этих условиях личный состав штаба и генералитет понимать тесную зависимость боевых действий от хода революционных событий в стране? Я позволю себе в этом сильно сомневаться. Хотя зависимость эта и ощущалась, поскольку, например, забастовки на Путиловском и других заводах мешали получать на фронте оружие и боеприпасы или поскольку доходившие с улицы крики «долой царя!» грозили целостности самодержавного строя.

Находясь в царской Ставке, я получил предварительный запрос штаба Западного фронта, не соглашусь ли я принять должность помощника генерал-квартирмейстера штаба с целью наладить в нем разведывательную службу. Я хорошо понимал всю трудность, если не сказать безнадежность, этой столь запоздавшей затеи. Однако я дал свое согласие, которое диктовалось обстановкой, складывавшейся в Ставке.

Царь в моих глазах был ничтожеством, неспособным на более или менее толковое руководство армией; в соединении с его упрямством, неумелым подбором советчиков, вредным влиянием жены и разных проходимцев верховное командование неминуемо должно было стать источником еще более тяжелых несчастий для страны.

Нового начальника штаба Алексеева я высоко ценил как стратега, но что сулили его военные знания при слепой преданности царю, при непонимании внутренних событий в стране? К тому же подбор им в качестве своих ближайших сотрудников таких посредственных генералов, как Пустовойтенко, Носков и другие, не мог привести ни к чему хорошему.

Работать в таком окружении мне представлялось совершенно невозможным, поэтому я и дал свое согласие на перевод в штаб Западного фронта.

Западный фронт, в штаб которого я был переведен из Ставки, был образован почти одновременно со сменой Верховного главнокомандующего. Во главе фронта стоял главнокомандующий Эверт (начальник штаба — Квецинский и генерал-квартирмейстер — мой товарищ по Генеральному штабу П. П. Лебедев *).

Тогда же был образован и Северный фронт во главе с генералом Куропаткиным и произошли некоторые перемены в верхах армии. С осени 1915 года военным министром был назначен Поливанов, вскоре, впрочем, смещенный за беспорядки на Путиловском заводе Шуваевым. Последний, старый мой киевский знакомый, был в течение шести лет начальником Киевского военного училища, затем начальником дивизии и командиром 2-го Кавказского корпуса. Он был хорошим администратором и безукоризненно честным человеком, что имело большую важность для борьбы с развитым воровством в тылу.

Одновременно с этим Сухомлинов по своей просьбе был уволен в отставку, а вслед за этим согласно постановлению Государственного совета начато следствие по обвинению его и начальника главного артиллерийского управления Кузьмина-Караваева в несвоевременном и недостаточном пополнении запасов войскового снабжения.

Был ли в этом преступлении перед родиной повинен только один Сухомлинов, хотя и в сообществе Кузьмина-Караваева? Невольно задавал я себе этот вопрос и, вдумываясь в положение страны, неизменно приходил к выводу, что весь государственный организм, со всеми его министрами и деятелями всех рангов, должен был принять на себя равную ответственность за несчастья и страдания народа и его армии.

Из трех держав Антанты, вызванных Германией на бой в 1914 году, Россия хотя и была подготовлена лучше, чем когда-либо в прежние войны, все же являлась худшей по подготовке в политическом, финансовом, экономическом и военном отношениях.

В 1916 году тяжелая обстановка в стране, усиленная транспортным кризисом и произвольным выпуском бумажных денег, вызвала острый недостаток самых насущных для населения продуктов: соли, сахара, мяса, зерна, муки, топлива. Становилось совсем ясным, что царское правительство было не способно отстоять Россию.

В стране происходило необузданное разбазаривание властью имущими всякого добра, расточительство, казнокрадство, мотовство. Насколько развелись эти пороки и на фронте, свидетельствует факт изданного еще в 1915 году повеления Верховного главнокомандующего предавать казни через повешение осужденных за мародерство. <...>

* * *

«Video meliora proboque, deteriora sequor»¹.

Прежде чем перейти к воспоминаниям о последнем этапе своей службы в дореволюционной армии, хочу сказать несколько слов о том потоке событий, в который были вовлечены тогда и целые страны и беспомощно действовавшие в них отдельные люди, подчас наивно думавшие, что они управляют этими событиями или по крайней мере выполняют роль самостоятельных кузнецов, куящих свое и чужое счастье.

Одним из миллионов этих «кузнецов» я представляю себе и себя самого, каким подошел я к последнему этапу своей служебной и частной жизни в условиях дореволюционной России.

Империалистическая война приняла тогда всемирный характер. Из 59² независимых государств в войне участвовали 34, причем на стороне Согласия 12 государств с 980 миллионами душ. Одна только Россия послала на фронты до 16 миллионов человек, то есть около половины всех трудоспособных мужчин. Потери, понесенные ею за войну: 28 процентов боевых потерь, 27 процентов санитарных потерь и 3,5 миллиона пленными. Народное благосостояние России потерпело урон в 50,5 миллиарда рублей. Долг ее к концу войны возрос до 65 миллиардов рублей, то есть составил свыше половины национального богатства: рубль упал до 30 копеек.

В оборонной промышленности России была занята громадная

¹ «Вижу хорошее и даже одобряю его, а следую дурному». — О в и д и й, Метаморфозы.

² Цифры были опубликованы Центральным статистическим управлением в 1925 году.

двухмиллионная армия пролетариата, работавшая при чрезвычайно тяжелых условиях, впроголодь, по 10—12 часов в сутки.

Тяжелейшее положение трудящихся масс, особенно крестьянства и рабочих, громадная убыль населения, ухудшение его физического состояния, отрыв его от хозяйственной деятельности, уменьшение национального богатства — таковы были результаты войны, и не для одной только России.

Русский народ понял, что может рассчитывать лишь на самого себя. «Друзья» России — союзники — побуждали ее воевать до «победного конца». Именно эти «друзья» заставили русскую армию наступать в Восточную Пруссию на 14-й день после объявления войны, чтобы выручить Париж. Он был спасен нами ценой 20 тысяч убитых и 90 тысяч попавших в плен.

Разруха в тылу и ряд поражений на фронте в 1915 году (захват немцами Либавы, угроза Риге, взятие обратно Перемышля, Львова, овладение всеми русскими крепостями в Польше, падение Варшавы, уступка немцам Литвы) заставили буржуазию ограничить самодержавие, выдвинув правительство «доверия» (Родзянко, Гучков, Миллюков, Поливанов).

Все эти события не могли не заставить меня задуматься о жизни страны и о порядках, в ней царивших.

Я не могу пожаловаться на судьбу свою, как многие и многие из моих товарищей-офицеров: она не подвела меня к сознательным годам слепым в отношении политических событий. Очевидно, тут сказалось и влияние отца, который возбуждал во мне с детства интерес к общественным явлениям, и благотворное, хотя и очень скромное, влияние лучших учителей в гимназии и в военном училище. Но, разумеется, главным моим учителем была сама жизнь, длительная служба в армии, военные и политические события, участником которых мне пришлось быть.

Наряду с этим я должен откровенно признаться, что я еще смутно понимал величие приближавшейся революции и еще меньше сознавал, как генерал старой армии, необходимость упразднения этой армии и замены ее какой-то новой армией. Я не отдавал себе ясного отчета в том, что дореволюционная армия, в рядах которой я вырос, — армия капиталистического государства, организованная и воспитанная для задач и целей старой, дореволюционной России, — была не народной армией и не отвечала природе нового, рождающегося народного государства.

* * *

Я должен теперь вернуться несколько назад, к моменту моего приезда в Минск, чтобы показать читателю, с какими событиями моей личной службы связан последний период империалистической войны, предшествующий историческим переменам в судьбах России.

Представившись начальнику штаба Квевцинскому и главнокомандующему Эверту, я вступил в должность помощника генерал-квартирмейстера Павла Павловича Лебедева, моего товарища по службе в Главном управлении Генерального штаба. Еще в годы совместной жизни на даче в Финляндии я привык искренне уважать и любить его как хорошего человека и редкого семьянина. Мы встретились приятелями и даже разместились в смежных служебных комнатах.

Лебедев был непосредственным организатором всех операций

на Западном фронте. Он весьма положительно отзывался об Эверте и Квецинском. Последнего он обрисовал как человека прямого, искреннего, храброго (георгиевский кавалер), как деятельного, неутомимого и умного работника¹. Познакомил меня Лебедев и со своими подчиненными — Шапошниковым*, Петиным и другими впоследствии видными советскими работниками. С некоторыми из них мне пришлось сталкиваться и по службе в Красной Армии.

С Б. М. Шапошниковым мы много беседовали о французском и особенно австрийском генеральных штабах. О последнем я передал ему большой материал для его труда «Мозг армии».

Ввиду сложности руководства разведывательной службой Лебедев освободил меня от оперативных вопросов, которые оставил за собой и по которым он был непосредственным и единственным докладчиком у начальника штаба и почти всегда вместе с Квецинским у Эверта. Лебедев возложил на меня все остальные отрасли штабной службы, а иногда поручал мне даже составление оперативных донесений в Ставку. Однако я не был в курсе того, о чем надо умалчивать или что, наоборот, требовалось подчеркивать, и часто попадал в неловкое положение.

Вообще же характер штабной работы в Ставке, на фронте и в армии был один и тот же, разница была лишь в масштабах деятельности, обусловливаемых размерами соответствующей территории и численности войск.

Наш штаб фронта был размещен в центре города Минска, в здании гимназии. Ежедневно весь состав штаба собирался к обеду в офицерском собрании на соседней улице, куда приходил и сам Эверт. Проходя по большому залу мимо присутствующих чинов штаба, он благосклонно подавал руку генералам. Садясь за стол, он делал знак протоиерею фронта, который благословлял трапезу, причем Эверт истово крестился, очевидно, памятуя, что он Эверт.

После обеда мы с Лебедевым обычно ходили пешком в городской сад или ездили за город на автомобиле, а иногда и верхом. Однажды, собираясь ехать верхом, мы предложили сосуществовать нам как хорошей наезднице родственнице одного из офицеров штаба, служившей сестрой милосердия в минском польском госпитале. За городом нас встретил на автомобиле Эверт и погрозил нам пальцем. На другой день Лебедев за обедом, напомнив Эверту о нашей встрече, шутя сказал, что инициатором поездки был я. Эверт укоризненно покачал головой и заметил мне полупутья: «В военное время нельзя даже обращать внимания на женщин».

Через два дня, идя на обед, я случайно очутился в двух шагах позади Эверта, только что вышедшего из магазина. Навстречу шла какая-то нарядная красивая женщина, не то полька, не то еврейка. Эверт не только пристально на нее смотрел, когда она приближалась, но даже обернулся ей вслед и неожиданно лицом к лицу встретился со мной. «Хороша!» — смешавшись от этой неожиданности, произнес он. «Ваше высокопревосходитель-

¹ Я тогда и не подозревал, конечно, что мне через 4—5 лет судьба уготовит иметь противника в лице Квецинского на Северном фронте гражданской войны. Он был тогда начальником штаба у другого близкого моего знакомого по Петербургу — генерала Мпллера.

ство, — возразил я, — ведь вы сами мне советовали не обращать внимания на женщин!»

Довольно часто появлялись над городом немецкие самолеты. Обычно они летали мирно, хотя знали, что у нас машины («фарманы» и «ньюпоры») сильно устарели и можно было без особого риска наносить нам вред. Но однажды, когда мы с Лебедевым после прогулки подъехали к штабу на автомобиле, раздался взрыв бомбы, сброшенной на штаб с немецкого аэроплана. Пострадали только автомобиль, угол штаба и я: меня сильно контузило, а маленьким осколком слегка оцарапало подбородок. От контузии недели на две я потерял слух на правое ухо.

В Минске почти не было противовоздушной обороны; на дворе штаба стояли только две пушки, стрелявшие под углом 65 градусов.

Войска были совсем не знакомы с работой авиации, представленной в России к началу войны всего лишь 260 самолетами, купленными главным образом во Франции, где обучались и наши летчики. Самолеты были с низкими боевыми возможностями — моторы 60—80 лошадиных сил, горизонтальная скорость 80 километров в час, потолок 2—3 тысячи метров. Лучшим самолетом в то время был четырехмоторный самолет типа «Илья Муромец» конструкции Сикорского. Один такой самолет был и в окрестностях Минска. Армии и корпуса обслуживались отдельными авиатрядами в шесть-семь машин.

* * *

Непосредственно с Эвертом мне приходилось иметь дело, лишь когда он брал меня с собой в поездки по фронту. Здесь, на небольшом участке боя, он показывал себя спокойным и храбрым начальником. С его стратегическими способностями был, конечно, хорошо знаком Лебедев, но по свойственной ему сдержанности не любил о них распространяться. Внешне Эверт всегда был внимателен и приветлив. Главнокомандующим фронтом его назначили летом 1915 года с должности командующего 4-й армией; в декабре этого же года царь, будучи на Западном фронте, пожаловал Эверта званием генерал-адъютанта.

Квецинский во многом походил на Эверта, но в оперативных вопросах был более осведомлен.

У Эверта в подчинении находились 1, 2, 3, 4 и 10-я армии.

Первые отзывы Эверта о действиях своих войск (это я слышал от него лично) были неважные: войска действовали вяло, нерешительно, особенно по сравнению с немцами, энергичными до дерзости. Примерно так же оценивала эти войска и Ставка, находя, что они утратили способность к свободному маневрированию, были более склонны к боям плечо к плечу, опасаясь за свои фланги и за прорыв своего фронта, удары наносили разрозненно и одновременно, резервами пользовались неумело, достигнутые успехи не развивали, что оплачивалось большими потерями. Начальники управляли войсками издали, по телефону. Артиллерийская стрельба часто велась не для поддержки пехоты, а бесцельно, несмотря на недостаток в снарядах. Взаимная помощь между соседями практиковалась плохо. В моральном отношении несколько лучшими качествами отличались 1-я и 10-я армии.

Эти отзывы Эверта о своих войсках производили на меня странное впечатление, они мне казались впечатлениями сторон-

него наблюдателя, а не начальника, ответственного за вверенные ему войска и за их боеспособность.

В отношении снабжения фронта (начальник Н. А. Данилов-Рыжий¹) дело обстояло, по-видимому, несколько лучше, чем на других фронтах. Данилов упорядочил и санитарную часть, где развела большой беспорядок княгиня Щербатова, супруга адъютанта Николая Николаевича.

Непосредственными соседями Западного фронта были Куропаткин² на севере и Иванов на юге. В марте 1916 года Иванов был заменен на Юго-Западном фронте Брусилковым, который просил к себе начальником штаба Сухомлинова, но Алексеев настоял на кандидатуре В. Н. Клембовского, как умного, дельного и опытного человека.

* * *

Ранней весной 1916 года мне пришлось быть очевидцем наступательных операций, организованных Лебедевым при непосредственном участии Квецинского и под общим руководством Эверта. Это наступление на нашем Западном фронте произвело на меня удручающее впечатление.

Как в 1914 году при объявлении войны царское правительство видело в ней средство борьбы с революцией, так в 1916 году главнокомандование искало в наступлении выход из тяжелого общего положения в стране и в армии, хотя боевая обстановка с развалившейся армией не предвещала ничего хорошего.

Наступление предположено было начать не позже 5 марта, закончив для этого перегруппировку войск 2 марта. Однако недостаток ручных гранат и ножниц для резки проволоки (в 12-й армии), а также неналаженность довольствия войск наступление задержали. 4 марта генерал Гурко (5-я армия) донес, что выступить может лишь 8 марта. Только 6 марта Эверт дал указания армиям, как обеспечить успех атаки артиллерийской подготовкой. Само наступление было начато вяло, рядом частных ударов, без поддержки их. Северный фронт (сосед Куропаткин) содействия Западному фронту не оказал. Войска понесли большие потери, а заграничные газеты выражали изумление стойкостью русских войск, которые сдерживали сильный напор немцев, не имея возможности стрелять из орудий более чем 2—3 раза в день! Оттепель совершенно затормозила всякие действия войск. Принц Ольденбургский вместо 6 миллионов противогазов приготовил только 35 тысяч. Эверт, потеряв самообладание, занимался обвинением подчиненных...

Алексеев как начальник штаба Верховного главнокомандующего в конце марта разослал по армиям записку, в которой неудачи наступлений объяснял малой обдуманностью операций, плохой их подготовкой, несогласованностью действий между пехотой и артиллерией, незнакомством войск с местностью, плохим питанием артиллерийскими снарядами, недостатком тяжелой артиллерии, а особенно плохой работой по управлению армиями.

¹ Прозванный так в отличие от Ю. Н. Данилова-Черного.

² Куропаткин прибыл на фронт в октябре 1915 года и просил дать ему Гренадерский корпус, но в феврале 1916 года вступил в командование Северным фронтом вместо Плеве. Был, как известно, более хорошим администратором, чем полководцем.

В подражание Алексееву Эверт расщедрился на приказы и телеграммы подчиненным войскам, исчерпывающе обличая их недостатки главным образом организационного характера, их плохую обученность, особенно неумение стрелять (кстати сказать, из японских винтовок, полученных на втором году войны, с плохим наставлением для стрельбы, изданным Сухомлиновым!).

Вероятно, расстроившись психически от таких неудач, царь за разосланную Алексеевым записку сделал его в апреле своим генерал-адъютантом.

М. Д. Бонч-Бруевич

В ШТАБАХ ФРОНТОВ

Штаб 3-й армии разместился в это время в Дубно. Подъезжая к городу, я узнал от встретившегося на пути знакомого офицера, что генерал Рузский находится в своем вагоне, стоящем на станции, и, не заезжая в штаб, направился прямо туда.

— Надеетесь ли вы справиться с работой генерал-квартирмейстера? — нетерпеливо спросил Рузский, едва я представился ему, как командующему армией.

— Полагаю, что справлюсь, — подумав, сказал я. — Дело это мне знакомо, а работать я привык.

— Вот и отлично, — оживился командующий. — В таком случае отправляйтесь в штаб армии и вступайте в должность. Ваш предшественник получил бригаду. Кстати, как ваш полк? — явно для того, чтобы не распространяться по поводу моего нового назначения, спросил он.

Я не стал отнимать у Рузского время и, коротко рассказав о том, в каком положении оставил полк, проехал в штаб армии, находившийся в казармах квартировавшего здесь до войны пехотного полка.

Командантом штаба оказался подполковник, известный мне по совместной службе в Киевском военном округе. Я поселился в его комнате, а денщика, кучера и лошадей поместили в штабную команду. Все это устройство не заняло много времени, и я начал знакомиться со штабом.

Большинство офицеров штаба до войны служили в Киевском округе и были мне хорошо известны. Начальником штаба являлся генерал-лейтенант Драгомиров, сын почитаемого мною покойного учителя моего, в семье которого я был принят как свой.

Среди офицеров штаба были и мои приятели. Старшим адъютантом разведывательного отделения оказался полковник Николай Николаевич Духонин *, с которым связывали меня самые дружеские отношения. Я даже считал себя обязанным ему, но об этом будет сказано в свое время.

Последние годы перед войной Духонин состоял в той же должности в Киевском округе и очень неплохо знал разведывательное дело. В лице его я, как мне казалось, получал отличного помощника.

Походив с полчаса по штабу, я почувствовал себя как дома — кругом были старые мои сослуживцы. В Киевском округе я служил еще при «старике» Драгомирове. Михаил Иванович тогда командовал войсками округа, а Рузский был генерал-квартирмейстером штаба. Как военный теоретик, Драгомиров имел огром-

ное влияние и на Рузского и на меня, и уже тогда у нас обоих возникло единое понимание и представление плана военных действий, желательного при столкновении с австро-венгерской армией на Галицийском театре.

Теперь мне предстояло работать с Рузским, быть его помощником в разработке оперативных планов, и, само собой разумеется, что служба в 3-й армии представлялась мне в самом розовом свете. Напомню читателям, что генерал-квартирмейстер штаба выполнял тогда те обязанности, которые в Советской Армии лежат на начальнике оперативного отдела или управления.

Радовало меня мое новое назначение и тем, что моим непосредственным начальником оказался Владимир Михайлович Драгомиров, всегда привлекавший окружающих своей декоративностью и какой-то врожденной справедливостью.

В день моего приезда в Дубно Драгомиров был болен. Его давно уже мучила острая дизентерия, но он, пересиливая боль, в постель не ложился и пытался продолжать работу.

Я застал Владимира Михайловича в его комнате. Сильно похудевший, с осунувшимся бледным лицом, он сидел, закутавшись в бурку, за письменным столом и явно через силу просматривал штабные бумаги. Ездить к командующему с докладом он не мог, и эта обязанность легла на меня.

Надо сказать, что докладывать генералу Рузскому было нелегко. Николай Владимирович требовал от докладчика глубокого знания материалов, обосновывавших доклад, настаивал на строгой логичности и последовательности как письменного, так и устного доклада, обязывал докладчика делать самостоятельные выводы и заставлял его одновременно представлять и проект практических мероприятий.

После доклада командующий задавал ряд вопросов, на которые требовал исчерпывающих ответов; докладчику лучше было прямо заявить, что он не подготовился, чем пытаться ответить кое-как.

Вступив в должность генерал-квартирмейстера, я решил познакомиться с тем, что произошло на фронте армии до моего приезда...

Неприятель нас не беспокоил; зато союзники из-за тревожного положения на французском фронте настойчиво требовали немедленного перехода в наступление ряда наших армий, в том числе и 3-й.

Как ни плохо работала наша разведка, мы знали, что к государственной границе противником выдвинуты лишь охраняющие части, поддерживаемые кавалерийскими дивизиями, состоящими преимущественно из мадьяр, этих прирожденных конников. Такое же положение до моего приезда в 3-ю армию существовало и в находившейся перед ее фронтом восточной части Галиции.

В день моего вступления в должность генерал-квартирмейстера наступлением 3-й армии началась знаменитая Львовская операция.

Разбирать эту превосходную нашу операцию я не стану — это далеко увело бы меня от моего рассказа. Коснусь ее лишь для того, чтобы читатель понял, что даже такие радостные события, как освобождение крупнейшего в Галиции старинного украинского города Львова было отравлено горечью унижительного сознания полной несамостоятельности нашей стратегии и рабской за-

висимости ее от эгоистичных и бессердечных военных союзников России.

Едва началось наступление на Львов, как генерал Иванов поспешил сообщить еще одну директиву верховного главнокомандующего: «Согласно общему положению наших союзников на западе необходимо безотлагательное и самое энергичное наступление».

Вслед за наступавшими корпусами двинулся и штаб армии.

Пока Рузский, Драгомиров и я на двух автомобилях ехали к границе, мало что вокруг говорило о войне. У самой границы картина резко изменилась: у дороги лежали опрокинутые телеграфные столбы, телеграфная проволока была срезана или порвана, пограничные постройки и с той и с другой стороны разрушены, рогатки уничтожены.

Всюду, куда ни смотрел глаз, тянулась открытая равнина; желтели необработанные поля; галицийские крестьяне, ничем как будто не отличавшиеся от наших «хохлов», довольно приветливо встречали и нас и сопровождавших командующего казаков. Вид этих крестьян, безбоязненно взиравших на русские войска, растрогал Драгомирова, и он довольно скоро опустошил карманы, раздавая всем встречным рублевки и трехрублевки, оказавшиеся при нем.

Часа в два пополудни мы прибыли в Пеняки и расположились в богатой барской усадьбе, окруженной великолепно досмотренным парком.

Владелец усадьбы, майор австрийской службы, находился в армии, семья же его только накануне покинула помещичий дом.

И дворецкий и вся многочисленная прислуга остались в усадьбе. Мы разместились в покинутом хозяевами огромном доме, невольно предоставив себя заботам вышколенной челяди.

Наутро, отлично выспавшись и позавтракав за сервированным дорогим фарфором, хрусталем и серебром столом, мы выехали по направлению к городу Золочеву, куда должен был перейти и штаб армии.

Не успели мы отъехать и двух верст, как, оглянувшись, увидели на горизонте зарево. Это внезапно запылала усадьба, только что оставленная нами. Кто поджег ее, установить не удалось, да было не до этого.

Мы выехали на шоссе Броды — Золочев, и впереди отчетливо послышалась артиллерийская стрельба. Временами доносилась и трескотня пулеметного и ружейного огня. Где-то неподалеку шел бой с австрийцами.

Заехав на командный пункт ведущего бой 9-го корпуса, мы смогли наблюдать, как над полями, оставляя в воздухе розовые клубки дыма, рвется австрийская шрапнель. Видны были и белые разрывы русской шрапнели. В отличие от австрийской артиллерии, бившей наугад и слишком высоко, русские артиллеристы стреляли куда более метко, и дымки нашей шрапнели обозначались в небе много ближе к полям, и притом выравненные как по линейке.

По обе стороны шоссе горели жалкие галицийские деревни и скученные еврейские местечки. Стояла тихая безветренная погода; черный зловещий дым подымался над пылающими хатами и скособоченными домишками, и порой казалось, что это суровые, как на еврейском кладбище, надмогильные плиты темнеют над разоренной Галицией. <...>

Еще в самом начале Львовской операции я обратил внимание на странный обычай конницы — отходить на ночлег за свою пехоту. В действиях трех кавалерийских и одной казачьей дивизий, входивших в состав армии, не было заметно той решительности, которую следовало проявить. Вероятно, это происходило потому, что конницу придали армейским корпусам, а не собрали в кулак, как это следовало сделать. Должно быть, мы переоценивали и боевые свойства конников.

Таким образом, даже в эти первые дни войны конница настолько оскандалилась, что главнокомандующий армий Юго-Западного фронта генерал Иванов вынужден был отметить в своей телеграмме, адресованной всем командующим армиями фронта:

«Из поступающих донесений о первых столкновениях усматриваю, что отбитый противник даже при наличии большого числа нашей кавалерии отходит незамеченным, соприкосновение утрачивается, не говоря о том, что преследование не применяется».

Я остановился на сразу же обнаружившихся пороках нашей кавалерии, которой мы так бахвалились, только для того, чтобы читатель понял, сколько разочарований ждало меня, кадрового военного, искренне любившего армию и верившего в нее, и как быстро эти разочарования начали совершать свою разрушительную работу в моей, воспитанной семьей и школой, наивной вере в династию.

Преданность монархическому строю предполагала уверенность в том, что у нас, в России, существует наилучший образ правления и потому, конечно, у нас все лучше, чем где бы то ни было. Этот «квасной» патриотизм был в той или иной мере присущ всем людям моей профессии и круга, и потому-то каждый раз, когда с убийственной неприглядностью обнаруживалось истинное положение вещей в стране, давно образовавшаяся в душе трещина расширялась, и становилось понятным, что царская Россия больше жить так, как жила, не может, а воевать и по-давно...

Еще в Золочеве я обнаружил, что мы не умеем наладить даже самую элементарную тыловую службу. Наше наступление шло всего несколько дней, и уже некоторые полки по два, а то и по три дня не видели хлеба: в иных частях солдаты съели даже неприкосновенный запас; кое-где не хватало патронов и снарядов. Словом, маршировали отлично, за учения получали высший балл, на маневрах творили чудеса, а когда дошло до столкновений не с условным, а с настоящим противником, оказалось, что Россия осталась тем же колоссом на глиняных ногах, каким была и во время Крымской кампании.

В один из тех дней, когда штаб прорывавшейся к Львову 3-й армии находился в Золочеве, в город приехал генерал-квартирмейстер соседней с нами 8-й армии Деникин, будущий белый «вождь».

Антон Иванович я знал еще по Академии Генерального штаба, слушателями которой мы были в одно и то же время. Приходилось мне встречаться с Деникиным и в годы службы в Киевском военном округе.

Репутация у него была незавидная. Говорили, что он картежник, не очень чисто играющий. Поговаривали и о долгах, которые Деникин любил делать, но никогда не спешил отдавать. Но фронт заставляет радоваться встрече с любым старым знакомым.

мым, и я не без удовольствия встретился с Антоном Ивановичем, хотя порядком его недолюбливал.

Деникин был все тот же — со склонностью к полноте, с той же, но уже тронутой сединой шаблонной бородкой на невыразительном лице и излюбленными сапогами «бутылками» на толстых ногах.

Я пригласил генерала к себе. Расторопный Смыков, мой верный слуга и друг, мгновенно раздул самовар, среди тайных его запасов оказались и водка и необходимая закуска, и мы с Антоном Ивановичем не без приятности провели вечер.

— А знаете, Михаил Дмитрич, я ведь того... собрался уходить от Брусилова, — неожиданно признался Деникин и вытер надутым платком вспотевшее лицо.

— С чего бы это, Антон Иванович? — удивился я. — Ведь оперативная работа в штабе армии куда как интересна.

— Нет, нет, уйду в строй, — сказал Деникин. — Там, смотришь, боишко, чинишко, орденишко! А в штабе гни только спину над бумагами. Не по моему характеру это дело. Никакого расчета нет, — разоткровенничался мой гость и предложил выпить еще «по маленькой».

Слустя долгих пять лет, когда Деникин сделался главнокомандующим «Добровольческой» армии, я, организуя в качестве начальника штаба Реввоенсовета Республики вооруженный отпор рвущимся к Москве бандам белогвардейцев-деникинцев, не раз вспоминал разговор в Золочеве и думал, что и развязанную с его помощью гражданскую войну новоявленный белый «вождь» расценивал по той же стереотипной формуле: «боишко, чинишко, орденишко».

Вскоре после нашей встречи в Золочеве хлопоты Деникина увенчались успехом: он был назначен начальником 4-й стрелковой бригады и, получив, наконец, строевую должность с правами начальника дивизии, вступил на желанный путь быстрого продвижения к «чинишкам» и «орденишкам». <...>

В брошенном доме оказалось множество всякого рода диванов и кроватей с пружинными матрацами, и, хотя мы были без вещей, отправленных в Жолкев, нам удалось неплохо отдохнуть после трудного дня.

После необычного ливня установилась холодная сырая погода. Большую часть стекол в доме кто-то выбил, в комнатах было на редкость холодно и мрачно.

К вечеру в Каменку приехал Рузский. С ним прибыли и вестовые нашего походного штабного собрания. В обширном зале зашумел самовар, появились закуски и кое-какая выпивка, все обогрелись и ожили.

Перенесенные в район Равы-Русской бои приняли затяжной характер, и, переехав из Каменки в Жолкев, мы надолго застряли в его отлично сохранившемся замке. В служебные часы офицеры штаба разбредались по многочисленным комнатам, но к обеду и к ужину все собирались в огромной готической столовой. Приходил и Рузский, охотно вступавший в общую беседу.

Еще в первые дни нашего пребывания в Жолкеве до штаба стали доходить подробности катастрофы, постигшей в Восточной Пруссии 1-ю и 2-ю армии. Говорили чуть ли не о полной гибели обеих армий. Передавали, что генерал Самсонов застрелился, а командовавший 1-й армией генерал Ренненкампф остался жив, но подлежит суду.

В конце августа из Петрограда приехал фельдъегерь и привез Гузскому пожалованные ему государем за Львовскую операцию ордена святого Георгия 3-й и 4-й степени.

К ужину Рузский вышел в новых орденах. Пошли поздравления и речи, появилось шампанское. Радужное настроение, владевшее чинами штаба в связи с относительно легкой победой над австрийцами, было омрачено гибелью известного летчика Нестерова.

Вскоре после переезда штаба армии в Жолкев началось жаркое бабье лето. С раннего утра 26 августа в небе не было ни облачка; отличная погода и заставила австрийского летчика проявить особую настойчивость. Он несколько раз появлялся над расположением штаба и даже сбросил две шумные бомбы, никому не причинившие вреда.

Вблизи штаба, за городом, на открытом сухом месте, была устроена площадка для подъема и посадки самолетов; на ней стояли самолеты армейской авиации и было разбито несколько палаток. В одной из них жил начальник летного отряда штабс-капитан Нестеров, широко известный в нашей стране пилот военно-воздушного флота.

В этот роковой для него день Нестеров уже не однажды взлетал на своем самолете и отгонял воздушного «гостя». Незадолго до полудня над замком вновь послышался гул неприятельского самолета — это был все тот же с утра беспокоивший нас австриец.

Налеты вражеской авиации в те времена никого особенно не пугали. Авиация больше занималась разведкой, бомбы бросались редко, поражающая сила их была невелика, запас ничтожен. Обычно, сбросив две-три бомбы, вражеский летчик делался совершенно безопасным для глазевших на него любопытных.

О зенитной артиллерии в начале первой мировой войны никто и не слыхивал. По неприятельскому аэроплану стреляли из винтовок, а кое-кто из горячих молодых офицеров — из наганов. Любителей поупражняться в стрельбе по воздушной цели всегда находилось множество, и, как водилось в штабе, почти все «военное» население жолкевского замка высыпало на внутренний двор.

Австрийский аэроплан держался на порядочной высоте и все время делал круги над Жолкевом, что-то высматривая.

Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался шум поднимавшегося из-за замка самолета. Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый Нестеров.

Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки и как был в одних чулках забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью.

Поднявшись, Нестеров стремительно полетел навстречу австрийцу. Солнце мешало смотреть вверх, и я не заметил всех маневров отважного штабс-капитана, хотя, как и все окружающие, с замирающим сердцем следил за развертывавшимся в воздухе единоборством.

Наконец самолет Нестерова, круто планируя, устремился на австрийца и пересек его путь; штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэроплан — мне показалось, что я отчетливо видел, как столкнулись самолеты.

Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же как-то странно закачался; крылья его двигались то вверх, то

вниз. И вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, неприятельский самолет стремительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как он распался в воздухе¹.

Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые примененный в авиации таран как-то ни до кого не дошел. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранивший противника, не может выдержать такого страшного удара. В те времена самолет был весьма хрупкой, легко ломающейся машиной.

Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпала и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. Парашюта наша авиация еще не знала; читатель вряд ли в состоянии представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воздушным боем, когда мы увидели славного нашего летчика, камнем падавшего вниз...

Вслед за штабс-капитаном Нестеровым на землю упал и его осиротевший самолет. Тотчас же я приказал послать к месту падения летчика врача. Штаб располагал всего двумя легковыми машинами — командующего и начальника штаба. Но было не до чинов, и показавшаяся бы теперь смешной длинная открытая машина с рычагами передачи скоростей, вынесенными за борт, лишенная даже смотрового стекла, помчалась к месту гибели автора первой в мире «мертвой петли».

Когда останки Нестерова были привезены в штаб и уложены в сделанный плотниками неуклюжий гроб, я заставил себя подойти к погибшему летчику, чтобы проститься с ним, — мы давно знали друг друга, и мне этот авиатор, которого явно связывало офицерское звание, был больше чем симпатичен.

Потемневшая изуродованная голова как-то странно была приложена к втиснутому, в узкий гроб телу убитого. Случившийся рядом штабной врач объяснил мне, что при падении Нестерова шейные позвонки ушли от страшного удара внутрь головы...

На панихиду, отслуженную по погибшему летчику, собрались все чины штаба. Пришел и генерал Рузский. Щуплый, в сугубо «штатском» пенсне, он здесь, у гроба разбившегося летчика, еще больше, чем когда-либо, походил на вечного студента или учителя гимназии, нарядившегося в генеральский мундир.

На следующий день Рузский в сопровождении всего штаба проводил останки Нестерова до жолкевского вокзала — отсюда, погруженный в отдельный вагон, гроб поездом был отправлен в Россию.

В полуверсте от места падения Нестерова, в болоте, были найдены обломки австрийского самолета. Под ними лежал и превратившийся в кровавое месиво неприятельский летчик. Он оказался унтер-офицером, и, узнав об этом, я с горечью подумал, что даже в деле подбора воздушных кадров австрийцы умнее нас, сделавших доступ в пилоты еще одной привилегией только офицерского корпуса. «Нижние чины» русской армии сесть за

¹ У австрийского самолета после нестеровского тарана отвалилась правая коробка крыла.

руль самолета военно-воздушного флота Российской империи не могли¹.

В самом конце августа в штабе армии была получена новая директива главнокомандующего армий Юго-Западного фронта, показавшаяся всем нам странной. Директива начиналась словами «первый период войны закончился», и мы никак не могли понять, почему высшее командование к такой определяющей судьбу страны войне подходит как к какому-то спектаклю, в котором действия и картины начинаются и кончаются по воле драматурга и режиссера.

Основные силы германо-австрийской коалиции, как это задолго до войны предвидели все сколько-нибудь грамотные в военном деле штабные офицеры, были брошены на Париж. Какого же черта наше высшее командование делало вид, что этого не понимает, и частные наши успехи принимало за решающие этапы войны?²

Чем больше я входил в самое существо военных операций, предпринимаемых нами, тем очевиднее становилось для меня то очковтирательство, которым, неведомо зачем обманывая только себя, а не западные державы, отлично знавшие настоящую цену этой парадной шумихе, занимались те, кто считался в ту пору «верными сынами родины». Шла мировая война, в пучине которой легко могла исчезнуть распатанная, пораженная небывалым взяточничеством, распутищиной и множеством иных пороков империи Романовых. Назревала гигантская революция, предвоенные заставки и беспорядки в столице только чудом не вылились в вооруженное восстание, любой сколько-нибудь честный и сознательный человек в России ни в грош не ставил ни царских министров, ни самого царя. <...>

Все время вспоминалась популярная сказка Андерсена о новом платье короля. Король был гол, а придворные восхищались его новым платьем, и то же самое делалось на полях сражений под дулами немецкой дальнобойной артиллерии, когда дореволюционная Россия обнаружила и не могла не обнаружить свою отсталость.

Огорчение следовало за огорчением. Не успел я пережить нелепую директиву фронта, как в штаб пришла телеграмма генерала Янушкевича, начальника штаба верховного главнокомандующего, вызывающего Рузского в Ставку, которая в те дни находилась на станции Барановичи Александровской железной дороги.

Нетрудно было догадаться, что Рузского вызывают для того,

¹ В этом месте в воспоминаниях М. Д. Бонч-Бруевича допущена неточность. По архивным данным, в австрийском самолете находились двое: офицер барон Фридрих Розенталь и унтер-офицер Франц Малина. Один из них выпал из самолета после тара-на. — *Ред.*

² Высшее командование не только «делало вид»: судя по всему, оно доверилось выкраденному в свое время из австрийского штаба плану стратегического развертывания и, не умея вести надлежащую разведку, считало, что австрийцы развернулись в приграничной зоне. На деле зона эта охранялась ландштурмистами и полицией, а кадровая армия разворачивалась на 100—120 километров западнее. Этим и объясняются многие просчеты штаба Юго-Западного фронта в первые дни войны. — *Ред.*

чтобы поручить ему провальный Северо-Западный фронт. Вместо Рузского, по словам штабных всезнаек, в 3-ю армию назначался генерал Радко-Дмитриев, болгарин по происхождению¹.

Известие это огорчило меня. Я ничего не имел против нового командующего, но мне было жаль расставаться с Рузским — мы с полуслова понимали друг друга, а для такой штабной работы, которую вел я, это самое главное — ведь генерал-квартирмейстер, разрабатывающий все оперативные задания командующего, является чем-то вроде его альтер эго².

Генерал Рузский был знатоком Галицийского театра военных действий и австро-венгерской армии; в него, как в никого, верили офицеры штаба и строевые командиры 3-й армии, образовавшиеся из частей Киевского военного округа. Уход генерала Рузского с поста командующего казался всем нам тяжелой потерей.

Свой отъезд в Ставку Николай Владимирович назначил на утро 2 сентября. Накануне, после обычного моего доклада, Рузский сказал, что ему, по всей вероятности, придется вызвать меня, если только он действительно получит в Ставке новое ответственное назначение. Конечно, я тут же выразил полную свою готовность работать с ним в любой армии и на любом фронте.

Мое отозвание из штаба 3-й армии было, вероятно, предпринято — в конце разговора Рузский многозначительно сказал:

— Я вас попрошу, Михаил Дмитриевич, получив телеграмму, обязательно захватить с собой моего кучера, лошадей и экипаж. Я еще по пути в Ставку отдам распоряжение, чтобы приготовили вагоны и лично для вас, и для всех наших лошадей.

Читателю, наверно, не очень понятна тогдашняя забота офицеров и генералов о положенных им лошадях. Уже и тогда высшие чины армейских и фронтовых штабов пользовались автомобилями. Но парный экипаж и собственная лошадь под верх были настолько обязательной принадлежностью штаб-офицерской и генеральской должности, что никто из нас даже не представлял, как можно находиться в действующей армии и не иметь своих лошадей. Конечно, это был смешной предрассудок. Ни я, ни тем более генерал Рузский почти не садились в седло, как и не пользовались парным экипажем. И все-таки лошади отнимали у нас немало времени и были предметом серьезных забот.

На следующий день после отъезда Рузского в сопровождении двух своих адъютантов в Жолкев приехал генерал Радко-Дмитриев. Драгомиров тотчас же явился к нему с докладом; по завещанному еще Рузским порядку я сопровождал начальника штаба и остался при докладе.

Радко-Дмитриев слушал молча и не очень доброжелательно. Драгомиров докладывал о мероприятиях по укреплению тыла, имея в виду дальнейшее продвижение армии к реке Сан. Новый командующий несколько раз бесцеремонно перебивал докладчика

¹ Радко-Дмитриев, точнее, Дмитриев, Радко (1859—1918), болгарский генерал, выдвинувшийся во время войны между Болгарией и Турцией в 1913 г. С 1913 г. — болгарский посланник в Петербурге. С началом мировой войны вступил в русскую армию, порвав с ориентировавшимся на союз с Германией болгарским правительством. Командовал последовательно 7-м армейским корпусом, 3-й армией, 2-м сибирским корпусом, 12-й армией. — *Ред.*

² Второе «я» (*лат.*).

и нет-нет да бросал реплики, вроде «у нас в Болгарии», или «мы в Болгарии поступали иначе».

Опыт недавней болгаро-турецкой войны все еще владел мыслями нового командующего, и это произвело на нас крайне неприятное впечатление — в конце концов, 3-я армия имела и свой опыт военных действий и кое-какие заслуги в этом деле. <...>

* * *

Находившийся в Белостоке штаб Северо-Западного фронта разместился в казармах стоявшего здесь до войны пехотного полка. В бывшей квартире командира полка, где жили состоящий для поручений при Рузском полковник и два адъютанта, нашлась свободная комната. Рузский предложил мне поселиться в ней, и я сделался соседом двух адъютантов главнокомандующего: поручика Гендрикова и вольноопределяющегося лейб-гвардии кавалергардского полка графа Шереметьева. Гендриков и вскоре произведенный в корнеты Шереметьев были предупредительными и по молодости лет неизменно веселыми офицерами, состоящий для поручений полковник почти никогда не бывал дома, и я, таким образом, не мог пожаловаться на своих сожителей.

Я был назначен в распоряжение главнокомандующего. Генерал-квартирмейстером штаба был генерал-майор Леонтьев, но судьба его была уже предрешена. Обросшего солидной бородой, очень сурового и импозантного внешне, но бесхарактерного и беспринципного Леонтьева я знал еще много лет назад как однополчанина по лейб-гвардии Литовскому полку, в который я был выпущен после окончания военного училища.

После армии штаб фронта неприятно поразил меня своей пышностью и излишним многолюдством. Кроме штатных сотрудников при штабе болталось огромное количество самой разнообразной военной и полувоенной публики: уполномоченных, корреспондентов и пр.

Предшественник Рузского на посту главнокомандующего завел в штабе чуть ли не придворные нравы: чопорность и ненужная церемонность будущих моих товарищей по службе удручали меня. К счастью, Рузский был очень прост в обращении с подчиненными, и эта простота скоро заставила штабных «зевсов»¹ отказать от того священнодействия, в которое они превращали любое свое даже самое незначительное занятие.

Мой вызов из 3-й армии и предположенная Рузским замена Леонтьева были, как я вскоре узнал, вызваны следующими обстоятельствами. После разгрома немцами 2-й армии генерала Самсонова и поражения, нанесенного 1-й армии, которой командовал генерал Ренненкампф, прославившийся своими карательными экспедициями при подавлении революции пятого года, Леонтьев был послан в Ставку. Докладывая «верховному», которым тогда был великий князь Николай Николаевич, беспринципный Леонтьев всячески обелял влиятельного, имевшего большие связи при дворе Ренненкампфа.

Последний, несмотря на паническое отступление его армии к Неману, дал телеграмму царю о том, что «войска 1-й армии готовы к наступлению» и, воспользовавшись услугой, которую оказал

¹ Зевс — бог-громовержец у древних греков. Здесь в переносном смысле: громовержцы, крикливые начальники.

ему Леонтьев, убедил начальника штаба Ставки генерала Янушкевича в полной боеспособности своей армии.

Зная Ренненкампа еще по совместной службе в Киевском военном округе как пустого и вздорного офицера, Рузский заподозрил неладное — в поражении 1-й и 2-й армий больше всего бы то ни было виноват был именно этот генерал, которого народная молва уже называла продавшимся немцам изменником.

Поэтому тотчас же после моего прибытия в штаб фронта Рузский поручил мне выяснить численный состав и боеспособность 1-й армии. Из представленного мною письменного доклада было видно, что армия Ренненкампа совершенно растрепана; почти во всех пехотных полках не хватало одного, а то и двух батальонов, в батареях — орудий: многие части остались без обозов, погибших в Восточной Пруссии; во время панического отступления были брошены зарядные ящики...

Вопреки заявлению Ренненкампа, свой доклад я заканчивал выводом о том, что «1-я армия неспособна к наступлению». Внимательно выслушав меня, Рузский отдал приказ об отводе главных сил армии на правый берег Немана. Одновременно, основываясь на моем докладе, главнокомандующий потребовал срочного укомплектования ее людьми, лошадьми и всеми видами материальной части и снабжения.

К чести военного министерства и интендантства все затребованное Рузским было доставлено полностью и в срок, но это оказалось последним усилием неподготовленного к войне, уже истощившего все свои ресурсы военного ведомства.

Немногом лучше, нежели в 1-й армии, было положение и в 10-й, который командовал генерал Флуг, тупой и чванливый немец. Вероятно, под влиянием военной литературы, в изобилии появившейся после русско-японской войны, он вознамерился поработить мир своими стратегическими талантами. Решив окружить германские главные силы, Флуг начал проделывать какие-то непонятные маневры, сводившиеся к фронтальному медленному наступлению одних корпусов и к захождению плечом других.

Такое направление корпусов 10-й армии вызвало у меня вполне резонные опасения, что корпуса эти очень скоро столкнутся друг с другом, а наружный фланг тех, что заходят с юга левым плечом, будет атакован германскими войсками. В это время Леонтьев был уже освобожден от должности, и я действовал в качестве генерал-квартирмейстера штаба фронта. По моему настоянию генерал Флуг был вызван в Белосток. Прижатый к стенке, он так и не мог сколько-нибудь членораздельно объяснить необходимость всех тех «стратегических вентелей», которые по его вине описывали входившие в 10-ю армию корпуса.

Вскоре Флуг был отчислен от должности и заменен более способным и разумным генералом.

Штаб Северо-Западного фронта все еще производил на меня гнетущее впечатление. Я прибыл из действующей армии, пережил Галицийскую битву с ее колебаниями то в нашу пользу, то в пользу австро-венгерской армии, привык к напряженной работе и бессонным ночам и уже воспитал в себе фронттовую выносливость и умение работать когда угодно и где угодно. Здесь, в штабе фронта, стояла сонная одурь. Штабные воротилы, словно заранее решив, что с немцами все равно ничего не поделаешь, беспомощно опустили руки. Противник засел в Восточной Пруссии, умело укрепился и благодаря густой железнодорожной сети имел

возможность идеально маневрировать и бросать нужные силы в любом направлении. Поэтому штаб предпочитал отсыпаться и откровенно бездельничал. В войсках же царило уныние, вызванное небывалой катастрофой, постигшей две отлично вооруженные, полностью укомплектованные русские армии — застрелившегося Самсонова и куда более виновного, но оставшегося здравствовать Рейненкампа.

В таком подавленном настроении я и переехал вместе со штабом сначала в Волковыск, а затем в очаровательное старинное Гродно. Превращенный в крепость город поражал обилием старинных зданий, тесными, узкими улочками, многочисленными садами и отлично сохранившейся, построенной еще в XII веке, прилепившейся к крутому берегу Немана церковью Бориса и Глеба.

В Гродно штаб разместился в здании реального училища, находившегося неподалеку от так называемой Швейцарской долины — городского сада, разбитого по высоким берегам журчавшего где-то внизу ручья.

Едва мы прибыли в Гродно, как из Ставки пришла обрадовавшая меня директива, в силу которой весь район левого берега Вислы к северу от реки Пилицы вместе с Варшавой и крепостью Новогеоргиевск придавался нашему фронту. В районе между Пилицей и верхним течением Вислы действовала перебросенная из Галиции 5-я армия, которой командовал отличный боевой генерал Плевэ. Под Варшавой сосредоточивалась и 2-я армия нового состава, сформированная взамен погибших в Мазурских болотах корпусов.

22 сентября 1914 года Рузский был вызван в Ставку, куда в это время приехал Николай II. Вернувшись в штаб фронта, Рузский рассказал мне, что получил «высочайшую аудиенцию», во время которой царь зачислил его в свою свиту и присвоил ему звание генерал-адъютанта. Присутствовавший при этом великий князь Николай Николаевич подарил Рузскому генерал-адъютантские погоны, приказав срезать их со своего пальто.

Вскоре началось немецкое наступление на Варшаву, и штаб фронта переехал в Седлец. Отправление поезда главнокомандующего было назначено на полночь, но еще часам к девяти вечера все в моем управлении было готово к отъезду. Сидение в рабочем кабинете мне порядком наскучило, и я решил остающиеся до отхода поезда часы побродить по городу.

Шла осень, с утра моросил назойливый дождь, и на главной в городе Соборной улице было не оченьлюдно. Но магазины и кондитерские еще торговали; по узким тротуарам под руку с местными девицами шагали флангирующие прапорщики: грохоча железными шинами по булыжнику мостовой, проезжали извозчицы пролетки, светилась электрическая вывеска «иллюзиона», и у входа в него толпились великовозрастные гимназисты, писаря и те же вездесущие прапорщики... И даже не верилось, что противник находится совсем недалеко от города, что не за горами то время, когда по улицам вот точно так же начнут разгуливать и толпиться у дверей «иллюзиона» немецкие лейтенанты, а те же девицы будут, как и сейчас, взвизгивать от сальных анекдотов.

Я не успел еще расположиться в новой своей квартире, ответившей в Седлеце, как дежурный по телеграфу офицер подал мне телеграммы, уже полученные от штабов, входивших в состав фронта армий. Судя по этим телеграммам, под самой Варшавой завязались упорные бои; на окраине польской столицы рвались

снаряды германской тяжелой артиллерии, но в Праге, варшавском предместье на правом берегу Вислы, высаживались из эшелонов сибирские полки и через весь город шли к его западной окраине.

Доблесть сибирских полков решила судьбу Варшавы. Немцы, не приняв удара, начали отходить, и польская столица, хотя и на непродолжительное время, была спасена.

Участок к северу от реки Пилицы с Варшавой и Новогоргиевском был передан Северо-Западному фронту из Юго-Западного в тот критический момент, когда немцы готовы были захватить Варшаву и прорваться на правый берег Вислы. Намеченное Ставкой и состоявшееся в это время сосредоточение в Варшаве 2-й армии разрушило замыслы германского генерального штаба. В защите польской столицы от немцев выдающуюся роль сыграли сибирские полки, которые, едва выгрузившись, с ходу пошли в наступление.

По времени эти наши неожиданные успехи совпали с передачей варшавского боевого участка Рузскому, и его немедленно произвели в «спасители» Варшавы.

Не без участия штабных интриганов возникла идея поднести Рузскому от имени благодарного населения польской столицы почетную шпагу «за спасение Варшавы». Об этом вел переговоры с главнокомандующим некий прапорщик Замойский, поляк по происхождению, ранее служивший ординарцем при Ставке верховного главнокомандующего.

Предложение это было сделано Рузскому в тяжелые для нас дни Лодзинского сражения, о котором я расскажу позже. У главнокомандующего нашлось достаточно такта для того, чтобы не присваивать себе чужих заслуг. Заказанная оружейникам дорогая шпага так и осталась ржаветь в граверной мастерской.

В Седлеце штаб фронта простоял сравнительно долго. Около вокзала была реквизирована чья-то пустовавшая пятикомнатная квартира, и в ней поместился Рузский со своими адъютантами и штаб-офицером для поручений.

Квартира главнокомандующего находилась во втором этаже добротного дома, третий этаж его занял сухопарый со щегольскими усиками, всегда подтянутый начальник штаба генерал Орановский со своим личным секретарем военным чиновником Крыловым.

Управление генерал-квартирмейстера расположилось дома за два от главнокомандующего и тоже заняло два этажа под свою канцелярию и квартиры сотрудников.

В числе моих сотрудников был и капитан Б. М. Шапошников, сделавшийся впоследствии начальником Генерального штаба РККА и Маршалом Советского Союза. Конечно, тогда, в конце 1914 года, мне и в голову не приходило, что этот скромный и исполнительный капитан Генерального штаба превратится в выдающегося военного деятеля революции.

Занятый разработкой оперативных вопросов, я замкнулся в тесном кругу своих сотрудников и мало интересовался тем, что происходит в Седлеце.

Мой рабочий день начинался с того, что полевой жандарм входил в мой кабинет и брал с подзеркальника большого трюмо заклеенный накануне пакет с бумагами, предназначенными на подпись начальнику штаба. Часов в десять утра все эти бумаги снова и тоже в запечатанном пакете возвращались ко мне и направлялись по назначению.

Пока заготовленный с вечера пакет был у генерала Орановского, я изучал по карте утренние оперативные и разведывательные сводки. Наконец в одиннадцать часов я шел к начальнику штаба, докладывал содержание сводок, и после небольшого обмена мнениями оба мы отправлялись к главнокомандующему.

Очередной доклад начальника штаба происходил в моем присутствии и начинался с разбора по карте последних сводок. На столе у генерала Рузского всегда лежала стратегическая карта театра военных действий армий Северо-Западного фронта; обычно ее дополняли карты крупного масштаба тех районов, где происходили наиболее значительные боевые действия.

Докладывать Рузскому, как я уже говорил, было трудно, и мне, чтобы не попасть впросак, приходилось подолгу и тщательно готовиться к этим докладам. <...>

* * *

Еще в начале века в теории и практике военного дела укрепилось мнение, что война требует длительной подготовки. В этой подготовке видное место отводилось разведывательной деятельности. Одним из наиболее действенных средств такой деятельности являлся шпионаж. Борьба со шпионажем потребовала и создания специальной организации — контрразведки.

Перед первой мировой войной разведку и контрразведку вели и Германия, и Австро-Венгрия, и Россия.

В Германии разведывательная служба сосредоточивалась в 3-м отделе генерального штаба. После русско-японской войны германская разведка превратилась в сильную организацию, направленную в значительной мере против России, модернизация армии которой шла быстрыми темпами и требовала постоянного освещения. Развитию германской разведки способствовало и усиление действовавшей против Германии разведки Франции.

Морская разведка Германии ставила перед собой особые задачи, велась самостоятельно и вне связи с общевойсковой и была направлена в основном против Англии.

В России разведывательная деятельность сосредоточивалась до войны в главном управлении Генерального штаба, в составе которого были созданы отделы, ведающие разведкой на будущих фронтах: германском, австро-венгерском, турецком.

Разведку вели и штабы военных округов, в которых были созданы разведывательные отделения, поначалу названные отчетными. На время войны предполагалась разведка средствами войск.

Оставшись без нужной техники, русская армия к началу войны если и не оказалась без разведки, то, во всяком случае, знала о противнике куда меньше, нежели следовало.

Правда, штаб Киевского военного округа еще задолго до войны вел разведку австро-венгерских вооруженных сил, изучал их командный состав, организацию и структуру, тактику и технические средства. На территории будущего противника создавалась агентура, и это, конечно, оправдало себя.

Штаб Варшавского военного округа разведывал германскую армию, получая от своей разведки немало ценных сведений. И вместе с тем в этом же первостепенном округе разведка все-таки была в забросе. Начальник разведки округа имел в своем распоряжении всего десяток агентов. Некоторые из них оказались «двойниками», работавшими и на нас, и на немцев.

Кустарщина царила во всем. Завербованных агентов снимали в обычных коммерческих фотографиях. Немцы воспользовались этим и начали собирать целые коллекции таких снимков, помогавших им легко разоблачать засылаемых в Германию разведчиков.

На организацию разведки, без которой нельзя вести сколько-нибудь успешные военные действия, округу отпускались ничтожные деньги — тысяч тридцать в год, заведомая мелочь сравнительно с тем, что тратили на шпионаж центральные державы — Германия и Австрия.

Мало что делалось и в области контрразведки.

С началом войны контрразведке стали уделять некоторое внимание, но постановка этого дела была порочна в самой своей основе.

При штабе каждой армии состоял по штату жандармский полковник или подполковник, который отвечал за контрразведку. Жандармский корпус издавна занимался борьбой с «крамолой», понимая под ней все, что могло угрожать или даже быть неприятным тупому и злобному самодержавию. Попав в действующую армию, жандармские полковники и подполковники продолжали по старой привычке рьяно искать ту же «крамолу».

Никакой связи контрразведки с боевыми операциями и тактическими действиями наших войск с целью прикрытия их от разведки противника жандармские офицеры эти наладить не могли, ибо не знали оперативной и тактической работы штабов и были недостаточно грамотны в военном деле.

Неприятельские лазутчики безнаказанно добывали в районе военных действий нужные сведения, делая это под носом таких «контрразведчиков», для которых случайно обнаруженная листовка была во много раз важнее, нежели явное предательство и измена в армии. Понятно, что германский генеральный штаб широко использовал эту нашу слабость.

Вступив в войну, Германия не имела еще организованной контрразведки. Но по мере развертывания военных действий германский генеральный штаб широко развернул борьбу со шпионажем противника, поручив ее тому же 3-му отделу. Что же касается разведки, то еще задолго до войны немцы создали разветвленную сеть не только в пограничной полосе, но и в глубинных районах России. Осведомленность германского генерального штаба была такова, что немцы не раз узнавали даже о самых секретных замыслах русского командования. Так было, например, с Лодзинской операцией.

Целью этой операции, предпринятой в октябре 1914 года, было наступление на берлинском направлении с вторжением в пределы Германии. Но во все периоды Лодзинской операции штаб Северо-Западного фронта сталкивался с ошеломляющей осведомленностью германской разведки.

Узнав о наших замыслах, германское командование решило прорвать русский фронт у Лечицы и двинуло с этой целью армию генерала Макензена. Генералу Плеве, командовавшему 5-й армией, удалось взять прорвавшиеся немецкие войска «в мешок» и приостановить дальнейшее наступление противника. Тогда германские войска были двинуты в обход другого нашего фланга, и, хотя операция эта закончилась неудачей, русское наступление на Берлин провалилось, и мы вынуждены были перейти к бесперспективной позиционной войне.

С проясками тайной разведки противника я столкнулся в первые месяцы войны, едва вступив в должность генерал-квартирмейстера 3-й армии.

Способности и опыт полковника Духонина я явно переоценил, сколько-нибудь действующей контрразведки в штабе армии не оказалось, и очень скоро я убедился, как легко и просто австрийское командование получает нужные ему секретные сведения.

Готовясь к войне с Россией, австрийский генеральный штаб создал на территории нашего пограничного с Австрией военного округа широко разветвленную агентуру. Его тайными агентами были преимущественно управляющие имениями, обычно чехмы, чехи, поляки, давно завербованные австрийской разведкой.

Немало таких агентов было и среди руководителей всякого рода промышленных предприятий и торговых фирм, особенно среди заведующих складами сельскохозяйственных машин и орудий. Такое невинное дело, как продажа конных плугов или сенокосилок, часто было лишь ширмой для тайной разведки будущего противника.

Отличная агентурная сеть была подготовлена австрийской разведкой и на территории Галиции, являвшейся вероятным театром войны.

Тайные австрийские агенты не только сообщали неприятельскому командованию сведения о русских войсках, но занимались и подрывными действиями: перерезали телефонные провода, взрывали водокачки и т. п. Особенно активно действовала вражеская агентура во время сражения на подступах к городу Львову — на реках Золотая Липа и Гнилая Липа.

Вскоре, как знает уже читатель, я был назначен генерал-квартирмейстером штаба Северо-Западного фронта и с увлечением взялся за новые свои обязанности; огромные масштабы фронта открывали неограниченные возможности для оперативного творчества. Но каково было мое возмущение, когда спустя некоторое время я прочел в доставленной мне немецкой газете буквально следующее:

«Генерал Бонч-Бруевич в настоящее время занят разработкой наступательной операции...» Далее приводились такие подробности разрабатываемой мною операции, которые были известны лишь строго ограниченному числу особо доверенных лиц.

Я никогда не страдал «шпиономанией», но уже первое знакомство с материалами контрразведки фронта заставило меня ужаснуться и повести борьбу с немецким шпионажем куда с большей настойчивостью и упорством, нежели я это делал в 3-й армии.

Немало зла приносили непонятная доверчивость и преступная беспечность многих наших генералов и офицеров.

Просматривая в качестве генерал-квартирмейстера штаба фронта секретные списки лиц, заподозренных в шпионаже, я натолкнулся на фамилию военного чиновника Крылова, секретаря... самого генерала Орановского. До войны генерал возглавлял штаб Варшавского военного округа, и тем непонятнее была его слепота.

Внимание контрразведки Крылов привлек некоторыми подробностями своей жизни. Форменная одежда Крылова была спита из сукна очень высокого качества, сам он курил дорогие сигары и часто ездил из Белостока, где тогда стоял штаб армии, в Вар-

шаву, не очень стесняя себя в польской столице и расходуя на это немалые деньги. Крылов жил явно не по средствам. По службе он имел доступ к особо секретным документам, и это заставило назначить за ним наблюдение.

Спустя некоторое время контрразведка установила, что, пользуясь неограниченным доверием начальника штаба фронта, Крылов делает выписки из важных бумаг, проходивших через его руки, и передает их поставщикам военно-экономического общества в Варшаве. Последние же отдавали их связным немецкой разведки. Связных этих не удалось задержать — они перебрались через фронт; Крылов же и уличенные в шпионаже поставщики были переданы судебным властям.

Дело Крылова заставило пристально взглянуться в то, что творилось в частях армии. В некоторых из них были свои поставщики (маркитанты), занимавшиеся более чем подозрительными делами.

Весной 1915 года генерал Рузский заболел и уехал лечиться в Кисловодск. Большая часть «болезней» Николая Владимировича носила дипломатический характер, и мне трудно сказать, действительно ли он на этот раз заболел, или налицо была еще одна сложная придворная интрига. <...>

Главнокомандующим армий Северо-Западного фронта вместо Рузского был назначен генерал от инфантерии Алексеев. У него была манера обязательно перетаскивать с собой на новое место особо полюбившихся ему штабных офицеров. Перебравшись в штаб Северо-Западного фронта, Алексеев перетащил туда и генерал-майора Пустовойтенко. Я остался без должности и был назначен «в распоряжение» верховного главнокомандующего. Высокій пост этот с начала войны занимал великий князь Николай Николаевич. Двоюродный дядя последнего царя страдал многими пороками, присущими роду Романовых. Он не хватал звезд с неба и был бы куда больше на месте в конном строю, нежели в Ставке. Даже сделавшись верховным главнокомандующим, он оставался таким же рядовым кавалерийским офицером, каким был когда-то в лейб-гвардии гусарском полку.

Наследственная жестокость и равнодушие к людям соединились в нем с грубостью и невоздержанностью. Но при всем этом Николай Николаевич был намного умнее своего венценосного племянника, которого еще в пятом году уговорил подписать пресловутый манифест. Наконец, он искренне, хотя и очень по-своему, любил Россию и не мог не возмущаться тем, что делалось в армии.

— У меня нет винтовок, нет снарядов, нет сапог, — жаловался он еще в первые месяцы войны, — войска не могут сражаться босыми.

Тогдашнего военного министра Сухомлинова¹ он не выносил и считал главным виновником тяжелого положения, в котором оказалась русская армия. Арест связанного с военным министром полковника Мясоедова укрепил великого князя в этих

¹ Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926). В 1909—1915 гг. военный министр. В июне 1915 г. снят с должности и отдан под суд. Процесс затягивался, и приговор (пожизненная каторга) был вынесен уже после Февральской революции. — *Ред.*

его предположениях и заставил заговорить о «немецком за-
силки».

Жандармский полковник Мясоедов служил в начале девяти-
сотых годов на пограничной станции Вержболово и не раз ока-
зывал всякого рода любезности и одолжения едущим за грани-
цу савовникам. Коротко остриженный, с выбритым по-актерски
лицом и вкрадчивым голосом, полковник охотно закрывал глаза
на нарушение таможенных правил, если оно исходило от влия-
тельных особ, и скоро заручился расположением многих высоко-
поставленных лиц, в том числе и командовавшего войсками Ки-
евского военного округа генерала Сухомлинова.

Одновременно Мясоедов поддерживал «добрососедские» отно-
шения с владельцами немецких мыз и имений и отлично ла-
дил с прусскими баронами, имения которых находились по ту
сторону границы. К услужливому жандарму благоволил сам
Вильгельм II, частенько приглашавший его на свои «император-
ские» охоты, устраиваемые в районе пограничного Полангена.

С немцами обходительного жандармского полковника связы-
вали и коммерческие дела — он был пайщиком германской экс-
педиторской конторы в Кибортах и Восточно-азиатского пароход-
ного общества, созданного на немецкие деньги.

Познакомившись с Сухомлиновым, Мясоедов скоро стал сво-
им человеком в его доме. Как раз в это время у Сухомлинова
при очень странных и подозрительных обстоятельствах умерла
жена. Поговаривали, что она не сумела отчитаться в находив-
шихся у нее довольно крупных суммах местного Красного
Креста.

Старый генерал не захотел остаться вдовцом. Выбор его пал
на некую Екатерину Викторовну Бутович, жену полтавского по-
мещика. Согласия на развод Бутович не давал, и тут-то и раз-
вернулись таланты Мясоедова. Вместе с группой темных дель-
цов он взял на себя посредничество между упрямым мужем и
Сухомлиновым и занялся лжесвидетельством, необходимым для
оформления развода в духовной консистории.

Сделавшись военным министром, благодарный Сухомлинов,
песмотря на протесты департамента полиции, сославшегося на
связи Мясоедова с германской разведкой, прикомандировал
услужливого жандарма к контрразведке Генерального штаба.

За два года до войны в связи с появившимися в печати и
сделанными в Государственной думе разоблачениями Мясоедов
вышел в отставку. Но едва развернулись военные действия, как
он появился у нас, в штабе Северо-Западного фронта.

— Как же нам быть, Михаил Дмитриевич? — растерянно
спросил меня Рузский.

Рузский был странный человек, давно вызывавший во мне
противоречивые чувства. Мы прослужили вместе в Киевском
военном округе не один год, и это казалось достаточным для то-
го, чтобы хорошо его узнать. И все-таки было в нем что-то та-
кое, что не раз ставило меня в тупик.

Николай Владимирович никогда не был оголтелым монархи-
стом, не страдал столь распространенным среди генералитета
«квасным патриотизмом» и к императорскому дому относился на-
столько отрицательно, что мне и другим близким к нему людям
неоднократно говаривал:

— Ходышкой началось — Ходышкой и кончится!

Но близость ко двору обязывала, и тогда вдруг этот высоко-

порядочный и вдумчивый человек как бы подмевался типичным придворным льстецом-политиканом. Мгновенно забывались принципы, которым обычно Рузский был верен; улетучивались привычная широта взглядов и критическое отношение к династии; изменял врожденный такт и исчезало обаяние, казалось бы, неделимое от него.

Так произошло и на этот раз. Заведомо скомпрометированный жандармский полковник прибыл с рекомендательным письмом военного министра. Давнишняя совместная с Сухомлиновым служба обусловила приятельские с ним отношения Рузского. Давно сложились добрые отношения и с последней женой Сухомлинова, которая когда-то до первого своего замужества служила машинисткой у дяди Николая Владимировича — киевского присяжного поверенного.

— Да-с, сложная мне выпала задача, — продолжал Рузский. — Конечно, я не поклонник этого сомнительного жандарма. Но нельзя же не считаться с желанием военного министра. Вы не сможете использовать этого Мясоедова у себя? По отделу контрразведки? — неуверенно спросил он.

Сославшись на то, что контрразведка штаба полностью укомплектована, я посоветовал главнокомандующему отправить Мясоедова обратно в Петроград.

— Что вы, что вы! — замахал на меня руками Рузский. — Да как я после этого встречусь с военным министром?

Он вспомнил о том, что Мясоедов служил в Вержболове и, видимо, отлично знает этот район.

— А что бы нам послать его к генералу Сиверсу? В десятую армию? — предложил Рузский, и такова была сила субординации, что я смог лишь довольно робко напомнить о подозрительном прошлом Мясоедова и.... замолчать.

Но в декабре 1914 года в Генеральный штаб явился из германского плена подпоручик Колаковский и заявил, что ради освобождения согласился для вида на сотрудничество в немецкой разведке. Направленный для шпионской работы в Россию, он, судя по его словам, получил задание связаться с полковником Мясоедовым, более пяти лет уже состоявшим тайным агентом германского генерального штаба.

Одновременно полковник Батюшин, возглавлявший контрразведку фронта, начал получать донесения о подозрительном поведении Мясоедова. Разъезжая по частям армии и получая от них секретные материалы, Мясоедов чаще всего останавливался в немецких мызах и имениях пограничных баронов. Предполагалось, что именно в результате этих ночевек в германскую армию просачиваются сведения, не подлежащие оглашению. Донесли агенты контрразведки и о том, что Мясоедов занимается мародерством, присваивая себе дорогие картины и мебель, оставшуюся в покинутых помещичьих имениях.

Я приказал контрразведке произвести негласную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать изменника. В шумевшем вскоре «деле Мясоедова» я сыграл довольно решающую роль, и это немало способствовало усилению войны, которую повели против меня немцы, занимавшие и при дворе и в высших штабах видное положение.

Едва был арестован Мясоедов, как в Ставке заговорили об обуревавшей меня «шпиономании». <...>

Для изобличения Мясоедова контрразведка прибегла к нехит-

рому приему. В те времена на каждом автомобиле кроме водителя находился и механик. Поэтому в машине, на которой должен был выехать Мясоедов, шофера и его помощника, как значился тогда механик, заменили двумя офицерами контрразведки, переодетыми в солдатское обмундирование. Оба офицера были опытными контрразведчиками, обладавшими к тому же большой физической силой.

Привыкший к безнаказанности, Мясоедов ничего не заподозрил и, остановившись на ночлег в одной из мыз, был пойман на месте преступления. Пока «владелец» мызы разглядывал переданные полковником секретные документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошел в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себя, офицер объявил изменнику об его аресте. Бывшего жандарма посадили в автомобиль и отвезли в штаб фронта. В штабе к Мясоедову вернулась прежняя наглость, и он попытался отрицать то, что было совершенно очевидным.

Допрашивать Мясоедова мне не пришлось, но по должности я тщательно ознакомился с его следственным делом и никаких сомнений в виновности изобличенного шпиона не испытывал. Однако после казни его при дворе и в штабах пошли инспирированные германским генеральным штабом разговоры о том, что все это дело якобы нарочно раздуто, лишь бы свалить Сухомлинова.

Из штаба фронта Мясоедова переправили в Варшаву и заключили в варшавскую крепость. Военно-полевой суд, состоявший, как обычно, из трех назначенных командованием офицеров, признал Мясоедова виновным в шпионаже и мародерстве и приговорил к смертной казни через повешение. Приговор полевого суда был подтвержден генералом Рузским и там же, в варшавской цитадели, приведен в исполнение.

Разоблачение и казнь Мясоедова не могли не отразиться на военном министре. Ставило под подозрение Сухомлинова и вредительское снабжение русской армии, оказавшейся в самом бедственном положении. Наконец, почти открыто поговаривали о том, что военный министр, запутавшись в денежных делах, наживается на поставках и подрядах в армию и окружил себя подозрительными дельцами, едва ли не немецкими тайными агентами.

Я познакомился с Сухомлиновым, когда он был еще начальником штаба Киевского военного округа. После смерти Драгомирова, много лет возглавлявшего округ, Сухомлинов был назначен командующим войсками, и моя совместная с ним служба продолжалась еще не один год. Бывал я у Сухомлинова и после его переезда в Петербург. Но странная компания, постоянно околачивавшаяся в его большой министерской квартире, заставила меня, уже профессора Академии Генерального штаба, воздержаться от дальнейшего знакомства «домами». Уже и тогда мне была ясна роковая роль, которую играла в жизни не так давно достойного и честного генерала его новая жена.

Не принадлежа к аристократии, Сухомлинова, несмотря на высокое положение мужа, не была допущена в высшее общество Петербурга. Петербургская знать чуждалась Екатерины Викторовны, считая ее «выскочкой». Очень красивая, хитрая и волевая женщина, она в противовес холодному отношению «света» создала свой кружок из людей, хотя и не допущенных в великосветское общество, но занимавших благодаря своим деловым связям и большим средствам то или иное видное положение. На приемах,

которые устраивала у себя жена военного министра, постоянно бывал бакинский миллионер Леон Манташев, ипостранные консулы, разного рода финансовые тузы. В сопровождении Манташева она ездила в Египет и там где-то около пирамид ставила любительские спектакли.

Кроме полковника Мясоедова Екатерине Викторовне в скандальном разводе ее с первым мужем помогали австрийский консул в Киеве Альтшуллер, агент охранного отделения Дмитрий Багров, позже убивший Столыпина, начальник киевской охраны подполковник Кулябко и еще несколько столь же сомнительных людей. Роман с Бутович начался у Сухомлинова, когда ему шел седьмой десяток. Старческая страсть к красивой, но беспринципной женщине сделала его слепым, и он, вопреки рассудку, начал протезировать любому из темных дельцов, участвовавших на стороне его жены в бракоразводном процессе. Когда с началом войны решено было выслать, как австрийского подданного, того же Альтшуллера, за него поручился военный министр.

Вскоре стало известно, что Альтшуллер — тайный агент немецкой разведки. Но бывший консул уже находился в Вене и мог лишь смеяться над беспомощностью русской контрразведки.

Близость к военному министру открывала для всех вертевшихся около него людей и прямые возможности для быстрого обогащения — от Сухомлинова зависело не только размещение военных заказов, но и приемка от поставщиков военного снаряжения и вооружения.

В угоду Николаю II, не понимавшему в силу своей ограниченности значения техники в современной войне, Сухомлинов оставил русскую армию настолько технически неподготовленной к ведению военных действий, что уже осенью четырнадцатого года выяснилась ее беспомощность перед технически оснащенным неприятелем.

Широкий образ жизни, который вела жена военного министра, требовал больших денежных средств. И не зря в Петербурге поговаривали о том, что Сухомлинов непрерывно катается по стране, лишь бы набрать для своей требовательной супруги побольше «прогонных».

Но высокооплачиваемыми «прогонными» дело не ограничивалось, и когда в апреле 1916 года Сухомлинов был наконец арестован и заключен в Петропавловскую крепость, следственные власти обнаружили у него в наличности и на банковском счету шестьсот тысяч рублей, в незаконном происхождении которых трудно было усомниться.

В отличие от своего вечноносного племянника, покровительствовавшего проворовавшемуся военному министру, Николай Николаевич занимал по отношению к Сухомлинову непримиримую позицию. Не препятствовал он и разоблачению Мясоедова.

Роль моя в деле Мясоедова, вероятно, побудила верховного главнокомандующего дать мне, едва я попал в распоряжение Ставки, особо важное поручение — ознакомиться с постановкой контрразведывательной работы в армиях и внести свои предложения и пожелания для коренной перестройки этого дела.

Я знал, как дорого обходится нам осведомленность германской тайной разведки, и еще до поручения верховного главнокомандующего занялся улучшением работы контрразведки фронта, непосредственно мне подчиненной. Произведенный в генералы Батюшин оказался хорошим помощником, и вместе с ним мы

подобрали для контрразведывательного отдела штаба фронта толковых офицеров, а также опытных судебных работников из учреждений, ликвидируемых в Западном крае в связи с продвижением неприятеля в глубь империи.

Вернувшись из командировки, я написал на имя начальника штаба Ставки генерала Янушкевича подробную докладную записку. Через несколько дней в Ставке стало известно, что я назначаюсь начальником штаба 6-й армии, прикрывающей Петроград.

* * *

Трудно представить, до какого разложения дошел государственный аппарат Российской империи в последние годы царствования Николая II. Огромной империей правил безграмотный, пьяный и разгульный мужик, бравший взятки за назначение министров. Императорская фамилия, Распутин, двор, министры и петербургская знать — все это производило впечатление какого-то сумасшедшего дома. Даже я, имевший возможность близко ознакомиться с закулисной стороной самодержавия, хватался за голову и не раз спрашивал себя:

— А не снится ли все это мне, как дурной сон?

В феврале 1916 года, в результате дворцовых интриг и непосредственного вмешательства в мою судьбу злой и мстительной императрицы, я был отстранен от участия в войне и оказался как бы не у дел. Но дружеские связи мои с офицерами контрразведки помогали мне быть в курсе многих засекреченных историй, подтверждавших факт полного загнивания режима.

От контрразведки я знал и о таких подробностях из жизни последнего министра внутренних дел Протопопова, после которых никто не усомнился бы в его больной психике.

Перед самой войной в Петербурге появился «известный хиромант и спирт» Шарль Перрен. Прочитав попавшее ему на глаза объявление хироманта, рекламировавшего через «Вечерние биржевые ведомости» свое умение «предсказывать будущее, составлять гороскопы и отгадывать мысли», Протопопов, в то время товарищ председателя Государственной думы, немедленно отправился в гостиницу «Гранд-отель» и узнал, что планета его, Протопопова, — «Юпитер, но проходит она под Сатурном». Будущему министру внутренних дел было сказано также, что он должен «опасаться четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого чисел каждого месяца». Попутно хиромант «отгадал» имя матери своего высокопоставленного клиента и этим окончательно пленил его. Протопопов заплатил Перрену двести рублей, гонорар по тому времени поистине сказочный, — цыганки делали подобные предсказания за пятиалтынный или двугривенный.

Контрразведка, заинтересовавшаяся хиромантом, выдававшим себя за американского подданного, тогда же установила, что он — австриец и вовсе не Шарль, а Карл. Кроме гадания, «хиромант» этот, судя по всему, занимался и шпионажем.

Почти никакой борьбы с немецким шпионажем у нас до войны не велось, и Перрену еще до начала военных действий удалось уехать из России и обосноваться в Стокгольме.

Незадолго до своего назначения министром внутренних дел Протопопов в составе парламентской группы ездил за границу. На обратном пути он задержался в Стокгольме и на свой страх и риск повел переговоры о сепаратном мире с неким Вартбургом,

прикомандированным к немецкому посольству в Швеции. Одновременно Протопопов имел доверительное свидание с Перреном. О встрече этой узнала контрразведка, окончательно убедившаяся к этому времени в шпионской деятельности подозрительного хироманта.

Спустя некоторое время Протопопов был назначен министром внутренних дел, и вслед за тем Перрен начал слать ему телеграммы, прося разрешения на въезд в Россию.

Протопопов запросил подчиненный ему департамент полиции. Директор департамента доложил Протопопову, что его протеже заподозрен в шпионаже. Министр, однако, своего отношения к Перрену не изменил и, продолжая телеграфную переписку с заведомым шпионом, с непонятной любезностью просил хироманта лишь повременить с приездом в Россию.

Сам Протопопов состоял в распутинском кружке и имел в нем даже свою кличку — Калинин. Контрразведке было известно, что Распутин является сторонником сепаратного мира с Германией и если и не занимается прямым шпионажем в пользу немцев, то делает очень многое в интересах германского генерального штаба. Влияние, которое Распутин имел на императрицу и через нее на безвольного и ограниченного царя, делало его особенно опасным. Понятен поэтому интерес, с которым контрразведка занялась «святым старцем» и его окружением.

Мне и теперь неясно, в чем был «секрет» Распутина. Неграмотный и разгульный мужик, он не раз в присутствии посторонних орал не только на покорно целовавшую ему руку Вырубову, но и на императрицу. Вероятно, это был половой психоз; агенты контрразведки, донося об очередной «ухе», которая устраивалась у Распутина, сообщали о таких «художествах» «старца», что трудно было поверить. Доходили сведения и о том, что Александра Федоровна не прочь устранить царя и стать регентшей. Выпив любимого своего портвейна, Распутин, не стесняясь, говаривал, что «папа — негож» и «ничего не понимает, что права, что лева». Папой он называл царя, мамой — Александру Федоровну. Подвыпив, «старец» хвастался, что имеет на Николая II еще большее влияние, нежели на императрицу. Сотрудничавший в контрразведке Манасевич-Мануйлов как-то сообщил, что Распутин говорил по поводу уехавшего в Могилев царя: «Решено папу больше одного не оставлять, папаша наделал глупостей, и поэтому мама едет туда».

Генерал Батюшин, взявшийся за расследование темной деятельности Распутина, старался не касаться его отношений с царской семьей, Вырубовой и другими придворными, но это было трудно сделать — настолько разгульный мужик вошел в жизнь царскосельского дворца.

Чем дальше шла война, тем больше я, к ужасу своему, убеждался, что истекающей кровью, разоренной до крайних пределов империей фактически управляет не неумное правительство и даже не тупой и ограниченный монарх, а хитрый и распутный «старец».

От агентов контрразведки я знал, что Распутин смещает и назначает министров. Сделавшись с помощью «старца» министром внутренних дел, Хвостов целовал ему руку. Назначенного по настоянию Распутина председателем совета министров семидесятилетнего рамолика Штюрмера бывший конокрад презрительно называл «старикашкой» и орал на него. Большинство министров

военного времени были обязаны Распутину своим назначением.

Контрразведке было известно, что за всю эту «министерскую чехарду» Распутин брал либо большими деньгами, либо дорогими подарками вроде собольей шубы. Так, за назначение Добровольского министром юстиции Распутин получил от привлеченного за спекуляцию банкира Рубинштейна сто тысяч рублей. Назначенный вместо Штурмера председателем совета министров Трепов, чтобы откупиться от Распутина, предлагал ему двести тысяч рублей. Мы знали, наконец, что министерство внутренних дел широко субсидирует «старца».

Еще в бытность мою начальником штаба 6-й армии контрразведка штаба не раз обнаруживала, что через Распутина получают огласку совершенно секретные сведения военно-оперативного характера.

Все это вместе взятое заставило Батюшина, хотя и скрепя сердце, привлечь для работы в контрразведке пресловутого Манасевича-Мануйлова, журналиста по профессии и авантюриста по призванию. Задачей нового агента контрразведки было наблюдение за Распутинным, в доверие к которому он ухитрился войти.

Манасевича-Мануйлова можно без преувеличения назвать русским Рокамболом.

Подобно герою многотомного авантюрного романа Понсон дю Террайля, французского писателя середины прошлого века, которым зачитывались неискушенные в литературе читатели моего поколения, Манасевич-Мануйлов переживал неправдоподобные приключения, совершал фантастические аферы, со сказочной быстротой разорялся и богател и был снедаем только одной страстью — к наживе.

Жизнь высшего общества в последние годы русской империи была полна таких необыкновенных подробностей и совпадений, что превосходила вымыслы бульварных романистов. Выходец из бедной еврейской семьи Западного края, Манасевич-Мануйлов сделался правой рукой последнего некоронованного повелителя загнившей империи — тобольского хлыста Григория Новых, переменившего «с высочайшего соизволения» фамилию и все-таки оставшегося для всех тем же Распутинным.

Отец русского Рокамболя Тодрез Манасевич был по приговору суда сослан в Сибирь за подделку акцизных бандеролей. Казалось бы, сын сосланного на поселение местечкового «фактора»¹ не мог рассчитывать на то, что попадет в высший свет. И вот тут-то начинаются бесконечные «вдруг», за которые критика так любит упрекать авторов авантюрных романов...

Вдруг семилетнего еврейского мальчика усыновил богатый сибирский купец Мануйлов. Вдруг этот купец, умирая, оставил духовное завещание, которым сделал Манасевича наследником состояния в двести тысяч рублей, и также вдруг этот завещатель оказался чудачком, оговорившим в завещании, что унаследованное состояние передается наследнику только по достижении им тридцатипятилетнего возраста.

Порочный, алчущий легкой жизни подросток едет в Петербург. В столице идет промышленный и биржевой ажиотаж, характерный для восьмидесятых годов. Все делают деньги, деньги везде, и юного Манасевича окружают ростовщики, охотно ссужавшие его деньгами под будущее наследство.

¹ Маклера.

Он принимает лютеранство и превращается в Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова. И снова начинаются капризы судьбы. Манасевич-Мануйлов оказывается чиновником департамента духовных дел; вчерашний выкrest делается сотрудником славящегося своим антисемитизмом «Нового времени».

Столь же неожиданно и вопреки логике этот лютеранин из евреев назначается в Рим «по делам католической церкви» в России. Одновременно он связывается с русской революционной эмиграцией и осведомляет о ней департамент полиции.

Несколько времени спустя всесильный министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса Плеве посылает Манасевича в Париж для подкупа иностранной печати.

Жизнь Манасевича делается изменчивой, как цвет вертящихся в калейдоскопе стекляшек. Во время русско-японской войны ему удается выкрасть часть японского дипломатического шифра, а военное ведомство добывает через него секретные чертежи новых иностранных орудий.

В годы первой русской революции Манасевич — начальник «особого отделения» департамента полиции, созданного им по образцу французской охраны.

В отличие от России и других стран, где военный шпионаж и борьба с ним находились в ведении главного штаба, во Франции последний ведал лишь военным шпионажем; контрразведкой же занималось специальное отделение в министерстве внутренних дел, так называемое «Сюрте жeneral». Находясь в Париже, Манасевич был вхож в это засекреченное учреждение и, вернувшись, попытался перенести его опыт на русскую землю.

Во главе полицейской контрразведки Манасевич пробыл недолго и был отчислен за темные денежные махинации, обсчет агентов и переплату больших денежных сумм за устаревшие, а то и заведомо ложные сведения.

Карьера афериста должна была кончиться. Но он неожиданно оказался «состоящим в распоряжении» председателя совета министров графа Витте, и ему был назначен министерский оклад. Немного времени спустя Манасевич выехал в Париж для секретных переговоров с Гапоном.

По возвращении из Парижа он снова занялся журналистикой, сотрудничал в «Новом времени» и даже сделался членом союза русских драматических писателей.

Можно написать целый роман о Манасевиче. Тут были и вымогательства, и попытка продать за границу секретные документы департамента полиции — и все это сходило русскому Рокмболлю с рук. С началом войны Манасевич снова оказался на государственной службе и, войдя в связь с Распутиным, был назначен чиновником для особых поручений при тогдашнем министре-председателе Штюрмере.

Особого удовольствия от того, что генерал Батюшин привлек этого проходимца к работе в контрразведке, я не испытывал. Но с волками жить — по-волчьи выть. И волей-неволей мне пришлось даже воспользоваться сомнительными услугами Манасевича. Это было связано с Распутиным, опасная и вредная деятельность которого занимала меня все больше и больше.

Я наивно полагал, что если убрать с политической арены Распутина, то накренившийся до предела государственный корабль сможет выпрямиться.

Об этом думали и многие видные государственные деятели

старого режима. Наиболее простодушные полагали, что государь по слепой своей доверчивости не видит тех коленец, которые откалывает «святой старец». Достаточно только открыть царю глаза на этого развратника, взяточника и хлыста, и все пойдет по-хорошему.

Я знал, например, что великий князь Николай Николаевич сделал одну такую попытку, дорого обошедшуюся ему. Распутин, которого он сам же в свое время ввел в «высший петербургский свет», смертельно возненавидел его и начал распускать слухи о том, что великий князь мечтает о короне.

Неоднократно, но без всяких результатов пытался открыть царю глаза на Распутина и председатель Государственной думы Родзянко.

Многочисленные пьяные скандалы и дебоши, которые устраивал Распутин, тщательно скрывались от царской фамилии. Но когда генерал-майор Джунковский, командовавший отдельным корпусом жандармов, воспользовавшись предоставленным ему правом непосредственного доклада государю, рассказал ему о пьяном скандале, учиненном Распутиным в московском ресторане «Яр», последний легко оправдался тем, что и он, мол, как все люди, — грешный.

Не изменил отношения царя к Распутину и наделавший много шуму пьяный дебош, учиненный «старцем» на пароходе уже во время войны. Напившись, Распутин начал приставать к пассажирам и по их настоянию был выведен из первого класса. Напав оказавшихся на палубе новобранцев, он начал плясать и кончил тем, что избил парходного лакея. Хмель ударил Распутина в голову, и он, нисколько не считаясь с тем, что его слышат, начал весьма неуважительно говорить об императрице и ее дочерях. Но и это «художество» прошло безнаказанно, как сходило с рук и постоянное получение Распутиным через шведское посольство идущих из-за границы крупных денежных сумм, и тесная связь с людьми, находившимися на подозрении контрразведки.

Не вызывала отпора со стороны государя и вся «политическая деятельность» «старца», о которой даже такой ограниченный и реакционно настроенный человек, как Родзянко, говорил, что она продиктована из Берлина и направлена прямо на то, чтобы ослабить и вывести из строя воющую Россию...

О том, насколько неуязвимым чувствовал себя обнаглевший «старец», свидетельствует одна из многочисленных телеграмм в Царское Село, адресованная царской семье и тайно переписанная кем-то из офицеров контрразведки.

«Миленький папа и мама! — телеграфировал Распутин. — Вот бес-то силу берет, океанный. А Дума ему служит; там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы божьего по мазаннека долой. И Гучков господин их прохвост, — клеветет, смуту делает. Запросы. Папа! Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не какех запросов не надо. Григорий».

И царь приказывал, и запросы оставались без ответа, а специальным циркуляром министра внутренних дел газетам было запрещено писать о Распутине и даже упоминать о нем.

Не удивительно, что многие начали видеть выход только в физическом уничтожении Распутина. Покушение на жизнь этого своеобразного «регента империи» готовил даже министр внутрен-

них дел Хвостов, ставленник «старца». По словам контрразведчиков, одно время, когда ждали приезда Распутина вместе с царской семьей в Ливадию, на него замыслил довольно фантастическое покушение ялтинский градоначальник Думбадзе. Широко известный черносотенец и погромщик предполагал сбросить Распутина со скалы, находившейся неподалеку от Ялты, или убить его, инсценировав нападение «разбойников».

Все это походило на анекдот, но идея убийства ненавистного «старца» будоражила многие умы.

Что касается меня, то я считал, что с Распутиным надо разделаться иным, бескровным и, как мне казалось, наиболее радикальным способом.

Я был в это время уже начальником штаба Северного фронта. Сама должность представляла мне огромную власть. Я мог, например, самолично выслать в места отдаленные заподозренных в шпионаже лиц, если они действовали в районах, подчиненных фронту.

Поэтому я решил с помощью особо доверенных офицеров контрразведки скрытно арестовать Распутина и отправить в самые отдаленные и глухие места империи, лишив тем самым его всякой связи с высокими покровителями. Несмотря на немолодой уже возраст и большой военный и административный опыт, я полагал, что сумею привести свой план в исполнение, и не понимал того, каким неограниченным влиянием на царствующую чету пользовался Распутин. Только много позже, с головой окунувшись в кипучую работу по созданию Красной Армии и много перечитав и передумав, я понял, что с распутищиной могла покончить только революция.

Тогда же, в шестнадцатом году, я, не ограничиваясь тщательным изучением всех имевшихся в контрразведке материалов о Распутине, побывал в находившемся в Царском Селе лазарете Бырубовой, о котором контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина. Под видом посещения раненых в госпитале этом бывала и встречалась со «старцем» и сама императрица и ищущие его покровительства саповники.

Несмотря на брезгливость, которую нелегко было побороть, я несколько раз встретился и с Манасевичем-Мануйловым. То, о чем с готовностью профессионального сыщика рассказал мне этот проходимец, еще раз укрепило меня в моих рискованных намерениях.

Перед тем как отдать распоряжение об аресте и высылке Распутина, я решил с ним встретиться. Всю свою жизнь я руководствовался простым, но разумным правилом — прежде чем принять ответственное решение, все самому проверить.

Организатором моего свидания с Распутиным явился Манасевич. Местом встречи была выбрана помещавшаяся на Мойке в «проходных» казармах комиссия по расследованию злоупотреблений тыла. Председателем этой комиссии не так давно назначили генерала Батюшина; он был для меня своим человеком, и я без всякой опаски посвятил его в свои далеко идущие намерения.

В назначенное время приехал Распутин, и я наконец увидел этого странного человека, сделавшего самую фантастическую в мире карьеру. Мое любопытство было до крайности возбуждено, хотелось понять, откуда у неграмотного мужика вдруг взялась такая сила воздействия на царскую семью.

Распутин был в обычном своем одеянии, напоминавшем хо-

риста дешевого цыганского хора: шелковая малинового цвета рубашка, суконная жилетка поверх нее, черные бархатные шаровары, заправленные в лакированные сапоги. На голове у «старца» был котелок, который носили старообрядческие священники, и, хотя я допускаю возможность, что по давности что-либо перепутал, мне твердо запомнилось смешное несоответствие между одеждой и головным убором.

Глаза у Распутина были холодные, умные и злые. Холеной своей бородой он явно щеголял и, хотя был почти неграмотен и никак не воспитан, больше играл этакого «серого мужика», нежели им являлся.

Манасевич очень ловко заговорил с ним о наших общих знакомых. Болезненно болтливый при всей своей хитрости, «старец» начал рассказывать о том, где бывает, кого знает, с кем водится. Очень скоро он начал хвастаться влиянием, которым пользуется при дворе, и, словно старясь мне доказать, что «все может», стал всячески себя возвеличивать.

Беседа наша продолжалась больше часа, и я не обнаружил в Распутине ни гипнотической силы, ни умения очаровать собеседника. Передо мной был подвыпивший стараниями Манасевича, развязный и неприятный бородач, смахивающий на внезапно разбогатевшего петербургского дворника. Было ему на вид лет пятьдесят, и я одинаково не мог представить себе ни императорского министра, целующего похужую на лапу грубую руку «старца», ни изнеженных придворных дам, прислуживавших ему в бане.

Я спешил в Псков и уехал из Петрограда, не успев принять окончательного решения. В штабе фронта я вскоре получил от Распутина типичную для него записочку и из начертанных на клочке бумаги каракулей узнал, что и я теперь для этого проходимца «милой и дорогой». В неряшливой записке содержалась и какая-то просьба, которой я не исполнил.

Увольнение мое с должности начальника штаба Северного фронта и оставление в распоряжении главнокомандующего лишило меня всякой власти; мне стало не до борьбы с Распутиным. Рассчитывать на помощь нового главнокомандующего я не мог.

Приехав в Псков, генерал Куропаткин занялся обходом всех учреждений штаба. Решив очаровать штабных офицеров, он рачетал ласковые слова и улыбки и был по-придворному щедр на всяческие посулы.

Но, попав в контрразведывательный отдел, генерал повел себя иначе. Обрюзгший, с совершенно седой генеральской бородкой, в грубой защитной шинели, умышленно надетой, чтобы придать себе фронтной вид, и с одним маленьким белым крестиком вместо многочисленных орденов и медалей, он, явно играя под боевого генерала, распоясался, как фельдфебель перед новобранцами. Приказав построить в одну шеренгу всех офицеров, прокуроров и следователей отдела, Куропаткин сердито сказал:

— Господа! Должен вам прямо сказать, что вашей работой недоволен не один я, главнокомандующий войск фронта. Вы забыли о субординации, зазнались и, по существу, заводите смуту. Ваши неосторожные действия подрывают доверие не только к верным слугам государя, но и к особам, приближенным ко двору.

Он съязвил насчет «шпиономании», которой якобы больны многие офицеры контрразведки, и начал распространяться о том,

что они, подобно услужливому медведю, не столько помогают командованию, сколько делают вредное для империи дело.

— Работа контрразведки будет коренным образом перестроена, — зловещим тоном заключил он. — Большинство чинов отдела будет отчислено. И пусть они скажут спасибо за то, что их не отдадут под суд...

Слова главнокомандующего фронта не оказались пустой угрозой — контрразведка была разогнана и всякая борьба с немецким шпионажем прекращена.

Р. Я. М а л и н о в с к и й

СОЛДАТЫ РОССИИ

«Солдатский вестник» не переставал разносить новости. Ходили слухи, что вот-вот начнется отступление. А все признаки того, что так и случится, были налицо: артиллерия вдруг снялась с позиций и по железной дороге отправилась в тыл, эвакуировались склады. И действительно, в конце января русские войска ни с того ни с сего начали отходить, причем без всякого нажима со стороны противника.

В одну из ночей тронулись в обратный путь и елисаветградцы. Поговаривали, что где-то далеко на правом фланге наши не выдержали натиска противника, вот и остальным приходится отступать. Полк свернулся в колонну и, прикрываемый четвертым батальоном с пулеметным взводом и батареей артбригады, теперь уже шестирудийной (два орудия из каждой батареи взяли на Кавказский фронт, так как началась война против турок), пошел на знакомый уже Видминен. Лошади пулеметной команды хорошо отдохнули, поправились на немецком овсе и теперь резво несли пулеметные и патронные двуколки по глубокому снегу, обильно потея и покрываясь пеной. Пулеметчики еле послевали за двуколками. Пехота тоже шагала ходко. Но все было хмурые и унылые: как-никак, а отступают...

Прошли Видминен, затем Масучовкен, Бронкен, Дунейкен, Марграбово и Велишкен, Рачки. При переходе границы Аким не преминул вернуться:

— Я ведь говорил, что не будет пути, вот и топаем назад.

И в досаде «пошевелил» вожжами свою дружную пару гнедых.

В Рачках был большой продовольственный склад. Эвакуировать его по железной дороге не успели, поэтому начальство решило раздать продовольствие войскам. Всех солдат на пять суток вперед снабдили носимым запасом продовольствия. И все же на складе стояло еще много штабелей из ящиков с мясными консервами, много мешков муки, крупы и сахарного песка.

— Берите, — распорядился интенданты. — Все равно, если что и останется, обольем керосином и подожжем. Пусть сгорит, а немцам не оставим.

Все нагрузились банками, как могли, насыпали сахара полные сухарные мешочки. Ванюша с Толей ели сахарный песок деревянными ложками прямо из полного котелка и, наевшись до отвала, запивали его холодной водой.

К вечеру оставили Рачки, в которых полыхали склады, и пошли на Яблоньске. Второй батальон с пулеметным взводом и четвертой батареей перед Яблоньске занял оборону, чтобы прикрыть отход полка на Августов.

Опять наступила оттепель, и в выбоинах разбитой дороги скопились лужи мутной воды, перемешанной со снегом и грязью. Наутро противник, преследуя наши отступающие войска, встретил сопротивление второго батальона. Заняв своими наблюдателями высоту у южной окраины Суха Весь, немцы открыли свирепый артиллерийский огонь по Яблоньске. Особенно сильно били по району костела, где как раз находились позиции пулеметного взвода. Но последовавшая за этим атака была отбита главным образом огнем пулеметов. Помогла в отражении атаки своим метким шрапнельным огнем и четвертая батарея.

Так весь день второй батальон успешно удерживал рубежи. Есечером, уже в темноте, ему на смену пришли сибирские стрелки, которые отходили со стороны Лык, а батальон двинулся вслед за своим полком на Августов. Ночь была темная, тучи низко нависли над землей. Тяжело было идти по разбитой дороге. Ничего не стоило провалиться выше колена в глубокие выбоины, наполненные холодной жижей... Измученные, усталые, то и дело останавливаясь и выжидая, когда идущие впереди снова двинутся, солдаты подошли к окраинам Августова.

Людей было всюду набито полно, и стоило огромных усилий втиснуться в хату, чтобы хоть чуточку обогреться; выбраться из хаты, чтобы не быть задавленным, было еще труднее. Ванюшу и Бильченко так давили и прессовали в доме, отведенном пулеметчикам на ночлег, что они удивлялись, как остались целы. Еще больше нагрелись и напарились, когда надо было выбраться из этой спрессованной солдатской массы. Ванюша даже почувствовал боль в животе, очутившись на улице.

Уже рассвело, когда полк начал медленно перебираться через Августов в военный городок у железнодорожной станции. Настроение у всех было отвратительное. Со всех сторон слышалось:

- Окружил нас немец как пить дать.
- Верно, братцы, гибель нам всем.
- Может, обойдется...
- Куда там, и хоронить некому будет.

Особенный страх испытывали обозники. Они собирали в кучи трофейное барахло, сбрасывая его с повозок, обливали керосином и жгли на казарменном плацу.

Тревожные мысли обуревали и Ванюшу. «В плен попадать никак нельзя, — думал он, — немцы обязательно расстреляют как добровольца». И Ванюша твердо решил: если все будут сдаваться, то он заберется на самый верх какой-нибудь ели и там будет сидеть и отбиваться до последнего.

На казарменной площади скопилась вся 64-я пехотная дивизия — 253-й Перекопский, 254-й Николаевский, 255-й Аккерманский и 256-й Елисаветградский пехотные полки и 64-я артиллерийская бригада. Начальник дивизии генерал-майор Жданко со своим штабом оказался «проворнее» всех — их и след простыл. Среди солдат шли разговоры о том, что командиры полков спорят, кому вступать в командование дивизией. В конце концов эту обязанность возложили на командира 256-го Елисаветградского пехотного полка полковника Мартынова... К вечеру в окруже-

нии оказалось очень много войск: тут были 2-й Сибирский стрелковый корпус, 26-й армейский корпус, 20-й армейский корпус — так вышло по «Солдатскому вестнику».

Солдат покормили жирной и горячей вермишелью — все наелись и согрелись. Вечером двинулись через железнодорожную станцию на перешеек между озерами Студенично и Беле. В этом районе елисаветградцы сменили 109-й Волжский пехотный полк. Смена проходила под сильным пулеметным огнем наседавшего противника — все время слышался треск разрывных пуль. Мороз заметно крепчал, и в неглубоких окопах, вырытых в песчаном грунте, было очень холодно. Холодный песок попадал за воротник и ледяными струйками катился по спине.

Второй пулемет расположился в окопчике у самой шоссе. Пулеметчики знали, что там никаких препятствий нет и во тьме противник мог легко подойти к нашим позициям. Надо было быть особенно бдительными, и пулеметчики напрягали зрение и слух, чтобы хоть что-нибудь увидеть и услышать в густой черной мгле.

Бильченко раздобыл у ксендза в Студенично большой тулуп, крытый серым солдатским сукном, надел его поверх шинели и уселся в окоп, посадив к себе между колен Ванюшу. Ванюша держал руки на спусковом рычаге затыльника пулемета — стоило только нажать, как сразу пулемет застрочит. Душенко, Козыря, Толя и Митрофан Иванович расположились тут же в окопе. Кутались в свои шинелишки, дрогли и, стараясь хоть немного согреться, плотнее прижимались один к другому.

Немцы действовали напористо, рассчитывая сломить сопротивление русских, пока те еще не организовались, пока в русском лагере — они это знали — царит нервозность, которая может легко перейти в панику. Но не тут-то было: русские оборонялись упорно, и сломить их не удалось, а сил у немцев, видимо, все же не хватало.

Среди ночи, ближе к рассвету, немцы открыли сильный артиллерийский и пулеметный огонь. В лесу грохот снарядов и характерный звук разрывных пуль увеличивались эхом. Гудел и гремел лес, наводя страх на людей. Затем по шоссе пошла в атаку немецкая кавалерия. Цоканье массы копыт, сыплющиеся из-под подков искры, шум, крики людей и храп лошадей... Когда немцы приблизились на верный выстрел, Ванюша инстинктивно, не отдавая отчета в своих действиях, нажал на спусковой рычаг, и пулемет ровно застрочил, обдавая надульник клубком пламени. Огонь был очень метким; слышно было, как тяжело, со ржанием, падают лошади, стонут люди. Некоторые скатывались в стороны с насыпи шоссе. А вот несколько коней со всадниками упали за траншею; кони в предсмертных судорогах дергали ногами и головами, били копытами своих всадников в высоких шапках и черных пелеринах «гусаров смерти».

Слева и справа трещали винтовочные выстрелы. Ударила четвертая батарея, поставленная на прямую наводку — она била вдоль шоссе картечью. Атака была отбита с тяжелыми для германской кавалерии потерями, раненых добивал крепкий мороз: они просто замерзали. Пулеметчики растерянно наблюдали эту страшную картину. И все это сделал пулемет, его меткий огонь, страшная косящая сила! Ванюшу обступили товарищи, наперебой жали руки, а Митрофан Иванович с заметным волнением произнес:

— Ну, молодец! Вовремя открыл огонь, прямо спас все дело.

— Молодец, молодец, Ванюша! — хором подтвердили пулеметчики, а Бильченко, еще крепче обняв Ванюшу, плотнее закутал его широкими полами тулупа.

Только теперь Ванюша начал немного понимать, что произошло и какую роль он сыграл в этом деле. У него на душе стало как-то теплее, сердце от радости стучало чаще, из-под шапки тонкими струйками скатывался пот. Мелькнула мысль: «Ну, теперь, конечно, меня немцы расстреляют, если возьмут в плен». Но Ванюша сразу же отогнал эту мысль, — вернее, она сама растворилась в радостном ощущении победы. Ванюша смотрел на макушки высоких елей, покрытых густым инеем, и улыбался.

Днем немецкая пехота повторила атаку, но она также была отбита.

Солдаты сидели в неглубоких окопах, никто не хотел их углублять, тем более что нужно было долбить дно окопа кирками и ломами — а где их взять? Солдаты очень не любят носить кирки-мотыги, а предпочитают им маленькие лопаты. Было холодно и голодно, доедали последние консервы, уже двое суток ничего горячего во рту не было. От этого становилось еще холоднее, холод чувствовался даже где-то внутри, в животе.

Что будет дальше? Уже три дня идут бои, трещит и гремит лес. А выхода из окружения пока не видно. В ночь на пятые сутки поступил приказ: батальону ночью отойти через лес к перешейку озер Сайно и Езёрко и удерживать этот перешеек в течение целого дня. Шли, пробиваясь по лесным тропам и дорожкам. Остановились у топографической вышки с отметкой 127,2. Пулеметчики устроились в железнодорожной будке, приспособив подвал для стрельбы. Часам к десяти утра перед фронтом батальона появились немецкие дозоры. После редкой перестрелки они скрылись в лесу, и до вечера противника не было слышно. Вечером батальон двинулся на юг-запад, сначала по шоссе, а потом вдоль насыпи железной дороги.

Ночь была темная, курить запретили, только на привалах солдаты потихоньку потягивали сигарки, запрятав их в рукава шинелей. Куда шли — никто ничего не знал, кое-кто говорил, что немецкое окружение прорвано у той самой железной дороги, вдоль которой двигался батальон, другие утверждали, что немцы перерезали шоссе и заняли уже городок Липск, возвышавшийся, как крепость, над болотистой равниной.

Никто не мог точно сказать, где противник и сколько его. Знали только, что две наши колонны пытались выйти из окружения. Но удалось ли им это, было неизвестно. Шли всю ночь. Митрофан Иванович Шаповалов приказал седьмому номеру Мешкову посадить на свою лошадь Ванюшу, а сам уступил коня Анатолию. Ванюша испытывал блаженство, усевшись в драгунское седло и придерживаясь рукой за переднюю луку. Задремал, а потом и вовсе заснул, качаясь в седле как маятник. При крутых спусках он просыпался, потом снова его одолевал сон. Все устали невероятно, почти пять суток не спали, если не считать тех немногих случаев, когда удавалось вздремнуть часок-другой, сидя или лежа на хвое у костра. Многие так старательно грели ноги у огня, что потом при ходьбе у них крошились перегоревшие подошвы сапог. Чем только не приходилось обертывать дырявую обувь, защищая ноги от мороза.

Так унылая колонна людей подошла утром к местечку Домброво, которое до отказа было набито сибирскими стрелками. Начальство между собой договорилось, и сибиряки в своих кухнях приготовили для елисаветградцев борщ и кашу. Обед был на славу, все жадно поели и, до предела набившись в теплые хаты, прямо стоя засыпали — упасть было невозможно, так плотно друг к другу стояли люди. Все же пулеметчикам повезло, они зарылись в солому в сарае и спали лежа: кто под поповами, кто под брезентом, а Ванюша, Бильченко и Душенко под тулупом, который они теперь берегли как зеницу ока.

* * *

На другой день двинулись на Новый Двор. Там встретили свежие силы, подошедшие после разгрузки с эшелонов от крепости Гродно, и вместе с ними перешли в наступление на Липск — нужно было выручить окруженный где-то северо-западнее города 20-й армейский корпус. О величине этих свежих сил представления никто не имел. Поговаривали, что подошел корпус, специально подготовленный генералом Сандецким, известным живодером и мордобойцем. Ходили достоверные слухи, что бил он самолично не только солдат, а и господ офицеров, под которыми, конечно, понимались прапорщики и произведенные из них подпоручики.

Генерал знал, кого бил. Нарвись он на кадрового офицера — тот мог ему пулю в лоб пустить и избежать расстрела, ибо защищал он свою дворянскую, графскую, княжескую честь, а прапорщик — это разночинец. <...>

Вот почему Сандецкий бил прапорщиков. Все они были в основном выходцами из простого народа. Достаточно было солдату иметь образование II разряда (а это значит четыре класса городского училища, гимназии или учительской семинарии), как его, хочет он того или не хочет, направляли в специальную школу и через четыре-шесть месяцев выпускали прапорщиком. Это был офицер, и неплохой офицер, часто знавший военное дело лучше, чем подпоручик юнкерского училища, в которые зачислялись дворяне. И все-таки прапорщики терпели всякие обиды. Отыгрывались они на унтер-офицерах, которых били так крепко, что зубы вылетали. Господа унтер-офицеры после отводили душу на солдатах и били их уже по-своему, по-простому, голой рукой, без перчатки, но челюсти сворачивали. Мордобой в армии был обычным явлением...

«Солдатский вестник», как уже было сказано, утверждал, будто генерал Сандецкий подготовил из новобранцев ударные части и они в полном составе прибыли для предстоящего наступления. Считалось, что рассылать их по существующим дивизиям и полкам в качестве пополнения невыгодно, — мол, они могут заразиться упадочническим настроением от воевавших уже старых солдат и потеряют все те качества верноподданных защитников российского престола, которые так старательно воспитывали в них господа офицеры и унтер-офицеры в тыловых запасных полках. Кстати, туда-то, конечно, отбирали самых диких мордобойцев и живодеров: они были готовы на все, лишь бы не попасть на фронт.

Подошедшие части сплошь состояли из новобранцев призыва 1915 года. Их учили месяца два-три в тылу с палками вместо

винтовок. Был допущен мобилизационный просчет: винтовок через полгода войны не хватало даже для фронта, не говоря уж о запасных полках. Полкам дали громкие названия: Алексеевский наследника цесаревича полк, Николаевский Императора всероссийского полк и т. п. Это возымело известное влияние на умы повобранцев, и они безропотно пошли в наступление от Гродно на Липск. Но самоотверженности было недостаточно для успеха дела, и солдаты массами полегли где-то на середине пути между Гродно и Липском. Лишь братские могилы да кладбища с простыми деревянными крестами остались на полях, как вечный памятник безроптному российскому солдату, не жалевшему своей жизни в бою.

Когда прибыла 64-я пехотная дивизия и пошла в предбоевые порядки вперед, поле уже было сплошь усеяно трупами русских солдат. Повсюду виднелись новые зеленые вещевые мешки убитых, издали казавшиеся кочками на огромном болоте. Об этом побоище рассказывали чудом оставшиеся в живых, которых приняли в свои ряды елисаветградцы (они как раз наступали вслед за погибшим Алексеевским наследника цесаревича пехотным полком).

Солдаты 64-й пехотной дивизии были уже старые, видавшие виды вояки. Их так безрассудно не погонишь на смерть. Но все же наступать надо — приказ. Где-то в районе Сопочкина и Липска немцы вторично окружили 20-й армейский корпус — следовало его выручить.

Наступали долго и упорно, прокладывая себе грудью путь вперед; артиллерия помогала очень слабо. Особенно трудно было преодолевать открытые болотистые пространства, хорошо простреливаемые немецкими пулеметами. Одно средство оставалось солдату, чтобы не быть скошенным огнем: искусно ползти вперед, а кое-где пользоваться короткими перебежками — бросок вперед — и камнем падай, пока враг не успел прошить тебя короткой пулеметной очередью.

Примерно через неделю Липск, господствовавший над всей окружающей местностью, был взят. Прилегающие высоты также оказались в руках русских. Но было уже поздно: остатки 20-го корпуса, доведенные до последней крайности изнеможения, сдались, и немцы поспешно уводили их в тыл, ибо сами вынуждены были отступать.

...Все чаще и чаще попадаются серые пепелища. Кучами лежат обгорелые винтовочные стволы со скрюченными штыками, а все деревянное — приклады и ствольные накладки — сгорело. Артиллерийские упряжки, вероятно, на полном скаку влетели в болото — виднеются только головы лошадей, их гривы, спины... В глазах мертвых животных застыл ужас. Из болота торчат верхушки лафетов и концы оружейных стволов. Металл покрыт ином и припорошен снегом...

Было жутко смотреть на следы гибели 20-го русского армейского корпуса. Это производило на людей гнетущее впечатление. Жгла горечь поражения. Все шли угрюмые и молчаливые, шли вяло, в полном безразличии. Не тактические или стратегические просчеты командования огорчали солдат (в этом солдату трудно разобраться) — каждый по-человечески переживал гибель таких же, как он сам, безвестных сынов земли русской. А те, кто остался в живых и попал в плен, очевидно, шагают, подгоняемые палками конвоиров, шагают в неметчину, в неизвестность. Болит за

них солдатская душа, и вина сверлит сердце каждого: дескать, не помог, не выручил товарища в беде...

С такими чувствами и думами шли в наступление солдаты 256-го Елисаветградского пехотного полка. Его ряды уже на две трети заполнили новые люди, мало осталось тех, кто принимал первый бой на Немане перед Друскениками.

Преодолев небольшое сопротивление противника в лесу по обе стороны шоссе Липск — Августов, полк миновал речку Лебедзянка и подошел к озерам в районе Саенок перед Августовом. Здесь он встретил уже организованное сопротивление немцев и дальше вперед пробиться не мог. Фронт установился по Августовскому каналу.

Недели через две, когда установившиеся было оттепели снова сменились морозами, почему-то опять началось отступление. В дивизии стали распускать слухи, будто бы почти все городские ловкачи, что за взятки устраивались в 255-й Аккерманский полк, сдались при удобном случае в плен и начальство отвело этот полк в глубокий тыл на переформирование. А так как он вместе с елисаветградцами составлял одну бригаду, теперь солдатам 256-го полка приходилось отдуваться за двоих.

Бедя арьергардные бои, полк отошел к Липску и остановился на ночлег прямо на голом поле. Мороз крепчал, и люди, свернувшись клубками, закутавшись в шинелишки и втянув головы в поднятые воротники, как-то ухитрялись заснуть. Ванюша, правда, вскакивал через каждые четверть часа и прыгал, чтобы хоть как-нибудь согреться — тулуп потеряли во время отступления, укрыться было нечем. Так же прыгал, согреваясь, Бильченко. И другие пулеметчики нет-нет да отбивали гопака.

Скоротав кое-как ночь, батальон двинулся дальше. Теперь это были главные силы полка. В арьергарде шел третий батальон. Вскоре участок был передан сибирским стрелкам, и 256-й полк вместе со своей дивизией передвинулся на север и занял оборону по восточному берегу озера Вигры. Правый фланг полка упирался в озеро Перты. Второй батальон расположился на перешейке от озера Перты до местечка Червоный фольварк, что против монастыря Вигры. Установилось затишье, хотя для развлечения немцы часто обстреливали из артиллерии русские окопы, беспокоя солдат батальона и пулеметчиков — их окопы тянулись по буграм западной окраины Магдаленово и высоты 152,3. Наступила пасха — в том году она была ранняя. Солдатам привезли посылки. Каждому досталось по кусочку кулича, по два крашеных яйца, по куску сала и колбасы — как-никак, а все-таки лакомство.

Повеяло теплыми ветрами весны, ярко засветило солнце, снег растаял. Земля раскисла, и грязь была страшная. Но понемногу подсыхало. Пулеметчики натаскали соломы в окопы, устроили добротные площадки для пулеметов и отрыли под бруствером небольшие блиндажи.

В Магдаленово доставали картофель и днем готовили в котелках картофельный суп, чтобы поесть горячего между ранним завтраком и поздним обедом. Кухня по утрам подвозила пищу еще затемно, а второй раз уже вечером (чтобы не попасть под вражеский огонь).

Наступила Ванюшина очередь готовить суп. Закипел котелок с картошкой. Ванюша поджарил на крышечке кусочки сала, опустил их в котелок — и суп готов. Но тут откуда ни возьмись

появился полуротный восьмой роты и стал бить по лицу какого-то солдата. Ваня быстро затоптал огонь, прикрыл золу соломой, котелок спрятал под чехлом пулемета и вытянулся перед унтер-офицером.

— Ты что тут, размазня, торчишь?

— Дежурю у пулемета, вашескородие.

— Ну так смотри в оба, а не рот разевай, туды твою мать. — И их благородие покрутило кулаком у самого носа Ванюши.

Этот офицер недавно прибыл с маршевой ротой и еще не знал, что за такое обращение с солдатами он быстро заработает себе пулю в спину.

Все же Ванюше удалось накормить пулеметчиков супом, и они пошли отдыхать за сарай — там был глубокий погреб. Ванюша остался дежурить у пулемета вместе с Анатолием. Анатолий бодрствовал, а Ванюша вскоре крепко заснул. Вот и сон снится: все та же война, идет сильный бой, рвутся снаряды, рвутся прямо рядом.

Сильный взрыв — и Ванюша просыпается.

Озираясь кругом, он никого не видит в окопах. Рядом валяются окровавленные бинты, все засыпано землей. Ванюша сбрасывает комки земли со своей шинели, сгребает землю с пулемета, вытряхивает чехлы. Почему же никого нет? Только не-вдалеке, на тропинке, лежат два убитых солдата восьмой роты. Кругом тихо. Но вот идут, озираясь, пулеметчики. Душенко кричит:

— Жив, жив, Ванюшка!..

После пулеметчики рассказывали, что, когда Ванюша спал, внезапно начался сильный артиллерийский обстрел окопов. Все укрылись в погребе за сараем. Замешкались лишь двое наблюдателей из восьмой роты — они были убиты по дороге, когда бежали к погребу. Ну все решили, раз Ванюшка не поднялся, значит, тоже убит. А он, оказывается, жив!

— Что же с тобой случилось, почему ты не побежал в погреб?

— Да я крепко спал, — смущенно ответил Ванюша. — Только глаза продрал — смотрю: в окне никого нет, а я весь в земле.

— Ну и ну, — удивились пулеметчики, — проспять такой артиллерийский обстрел! Да тут и мертвого поднимет...

— Что же делать, уснул, бой мне снился, — виновато оправдывался Ванюша.

Скоро батальон сменили, и весь полк собрался правее озера Перты. Готовились к прорыву немецкой обороны. Говорят, в Сувалках немцы собрали много русских пленных. Надо было их выручать. Между нашими и немецкими окопами проходил глубокий овраг с очень обрывистыми берегами. На дне оврага шумел ручей, а его скаты были заплетены колючей проволокой и забросаны колючими «ежами». Перебраться через овраг, чтобы овладеть позициями немцев, нечего было и думать. Но начальство отдало приказ: оборону немцев прорвать и овладеть Сувалками.

К операции готовились скрупулезно: прямо в передние окопы установили трехдюймовые пушки четвертой батареи, чтобы они буквально на воздух поднимали немецкие траншеи, каждая

рота получила пополнение. Немцы вели наблюдение и тоже не сидели сложа руки: укрепляли оборону.

И вот наступил решительный день. Ранним утром в предрасветном тумане наши орудия открыли огонь. Под прикрытием пушек и пулеметов пехота по-муравьиному полезла через глубокий овраг.

И произошло почти невероятное: солдаты овладели-таки передними окопами противника, вернее тем, что осталось от этих окопов после обстрела прямой наводкой. Но дальше, к сожалению, не продвинулись ни на шаг.

Завязался тяжелый ближний бой. Когда Бильченко старался протянуть в приемник пулемета ленту, что-то резко звякнуло, он вскрикнул и отдернул руку — кровь потекла ручьем, а пальцы повисли: кисть была перебита. Бильченко эвакуировали в тыл. Ванюша стал вторым номером — помощником наводчика Душенко.

Прорвать оборону противника так и не удалось. Все же наша пехота зацепилась за противоположный берег оврага и, невзирая на потери и трудности, удерживала его.

Вскоре на смену пришел четвертый батальон и заступил на этот страшный участок. Второй батальон вывели в резерв. Поговаривали, что 255-й Аккерманский полк заново сформирован. Так в действительности и оказалось. Ни одного старого солдата не оставили в этом полку — всех, кто уцелел, распределили кого куда. А солдатам нового пополнения говорили на смотрах, что они попали в очень заслуженный прославленный полк и должны считать за великую честь служить в нем. Пронесли вдоль фронта старое знамя, увитое георгиевскими лентами. Впоследствии 255-й полк действительно дрался отменно.

А. А. Брусилов

ВО ГЛАВЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ.

Совершенно неожиданно в половине марта 1916 года я получил шифрованную телеграмму из Ставки от ген. Алексева, в которой значилось, что я избран верховным главнокомандующим на должность главнокомандующего Юго-западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя, посему мне надлежит немедленно принять эту должность, так как 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра IX армии, стоявшей на левом фланге фронта. Я ответил, что приказание выполняю и испрашиваю назначить вместо меня командующим VIII армией начальника штаба фронта генерала Клембовского.

На это я получил ответ, что государь его не знает и что, хотя он меня не стесняет в выборе командующего армией, но с своей стороны считает нужным усиленно рекомендовать ген. Каледина, — государь был бы доволен, если бы я остановился на этом лице. Я имел раньше случай сказать, что ген. Каледина я считал выдающимся начальником дивизии, но как командир кор-

пуса он выказал себя значительно хуже; тем не менее, поскольку я ничего против него не имел, поскольку за все время кампании он вел себя отлично и заслужил два георгиевских креста и георгиевское оружие, был тяжело ранен и, еще не вполне оправившись, вернулся обратно в строй, — у меня не было достаточных оснований, чтобы отклонить это высочайшее предложение, забраковать опытного и храброго генерала лишь потому, что по моим соображениям и внутреннему чувству я считал его слишком вялым и нерешительным для занятия должности командующего армией. Впоследствии я сожалел, что в данном случае уступил, так как на боевом опыте, к сожалению, оказалось, что я был прав и что Каледин, при всех своих достоинствах, не соответствовал должности командующего армией.

Я протелеграфировал Иванову, испрашивая у него указания, когда ему будет угодно, чтобы я прибыл для принятия его должности. Он мне ответил, что это от меня зависит, но генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс вызвал моего начальника штаба Сухомлина и передал ему, что Иванов очень стесняется быстро уезжать, что мое скорое прибытие в Бердичев будет для него весьма неудобным, так как ему нужно закончить разные дела, и что было бы с моей стороны хорошо, если бы я отсрочил свое прибытие, тем более, что Иванов получил извещение министерства двора, в котором значится, что ему пока не следует уезжать из Бердичева. Этим сообщением я был поставлен в крайне неловкое положение: с одной стороны, Алексеев именем государя требует, чтобы я ехал возможно скорее принимать должность главнокомандующего; с другой же стороны, неофициально передается по прямому проводу, что именем государя же министр двора предлагает Иванову оставаться на месте. Так как я решительно ничего не домогался, никаких повышений не искал, ни разу из своей армии никуда не уезжал, в Ставке ни разу не был и ни с какими особыми лицами о себе не говорил, то лично для меня, в сущности, было решительно все равно, принимать ли новую должность или остаться на старой. Но так как в телеграмме Алексеева было сказано, что царь прибывает в Каменец-Подольск 25 марта и мне приказано там его встретить, а времени оставалось очень мало, чтобы ознакомиться с фронтом, то я телеграммой изложил все вышесказанное Алексееву, спрашивая, что же мне делать. Я получил ответ, что если я не могу сейчас ехать в штаб фронта, то чтобы я хотя бы вытребовал к себе начальника штаба или генерал-квартирмейстера штаба армий фронта, дабы ознакомиться хоть несколько с положением дел.

Помимо четырех армий главнокомандующему фронтом непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же 12 губерний, не исключая их гражданской части. Не желая отрывать начальника штаба фронта от дела, я вытребовал к себе генерал-квартирмейстера Дидерихса, человека очень способного и отлично знающего свое дело. Он мне сделал подробный доклад, вполне меня удовлетворивший, и я ему объяснил недоразумение, которое, по необъяснимым для меня причинам, неожиданно явилось между мной и ген. Ивановым. Я просил его доложить Иванову, что я, бывший его подчиненный, не считаю себя вправе покидать армии без егоказания, так как пока, он не сдал должности главнокомандующего, он и поныне состоит моим прямым начальником, и что без

Эго распоряжения я в Бердичев не поеду и предупреждаю, что, не приняв на законном основании должности главкоюза, я в Каменец-Подольск тоже не поеду. Это мое заявление повергло Иванова, повидимому, в большое смятение, и он мне протелеграфировал, что он меня уже давно ждет и совсем не понимает, почему я до сих пор не приехал. Тогда я сдал должность командующему армией генералу Каледину, которого заранее вытребовал в Ровно, и отправился к новому месту служения.

Прибыл я в Бердичев экстренным поездом 23 марта и был встречен там начальником штаба Клембовским и главным начальником снабжения армий фронта Мавриным. Я сейчас же спросил у первого из них, когда и где я могу представиться генералу Иванову. Он мне ответил, что Иванов живет теперь в поезде главкомандующего в своем вагоне и меня просит пожаловать к нему в 8 часов вечера. На мой вопрос, как обстоят дела на фронте армий, Клембовский мне доложил, что все обстоит благополучно и кроме обыденной перестрелки на фронте ничего не происходит, но что получено известие, что командующий IX армией ген. Лечицкий опасно заболел воспалением легких и требуется назначить ему временного заместителя. Я указал из числа корпусных командиров IX армии на ген. Крымова, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этому назначению; хотя он и не был старшим корпусным командиром, но я считал, что при назначениях на такие должности старшинство никакого значения не имеет. Я приказал поставить мой вагон рядом с вагоном Иванова, а сам поехал осмотреть мою квартиру и сделать визиты генералам Клембовскому и Маврину.

Вечером отправился я к Иванову, которого застал в полном отчаянии: он расплакался навзрыд и говорил, что никак не может понять, почему он смещен; я также не мог ему разъяснить этот вопрос, так как решительно ничего не знал. Про дела на фронте мы говорили мало; он мне только сказал, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать не в состоянии и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, это предохранить Юго-западный край от дальнейшего нашествия противника. В этом я с ним в корне расходился, что и высказал ему, но его мнения упорно не критиковал, находя это излишним: в дальнейшем не он, а уже я имел власть решать образ действий войск Юго-западного фронта, а потому я нашел излишним огорчать и без того нравственно расстроенного человека.

Засим мы пошли ужинать в вагон-столовую, где собрались состоявшие при Иванове лица, которые мне тут же и представились. До меня уже доходили сведения, что они все полагали, что я их немедленно разгоню, — поэтому я им объявил, что они все остаются на своих местах и что пока я решительно никаких перемен не предполагаю делать. Ужин был очень печальный, все сидели, как опущенные в воду, глядя на Иванова, который не мог удерживать своих слез. Он меня тут же спросил, может ли он еще несколько дней оставаться в штабе фронта; я ему ответил, что это вполне от него зависит, но что я должен вступить теперь же в исполнение моих обязанностей. В следующие два дня я познакомился с моими новыми сослуживцами по штабу фронта и управления при главном начальнике снабжения армий фронта, вошел в курс дела и затем уехал в Каменец-Подольск, чтобы попутно, перед встречей там царя, ознакомиться с поло-

жением дел IX армии и посетить какой-либо боевой участок фронта. Прибыв в Каменец-Подольск, я посетил ген. Лечицкого в разгаре его болезни, принял доклад его начальника штаба и поехал на следующий день на боевой участок 74-й пехотной дивизии. Эта дивизия была сформирована в Петербурге по преимуществу из швейцаров и дворников и осенью 1914 года в III армии высказала весьма плохие боевые свойства, причем Радко-Дмитриев принужден был сместить начальника дивизии и назначить нового. Мне интересно было посмотреть, какой вид имеет эта дивизия в настоящее время. Обошел я ее окопы, осмотрел части, находившиеся в резерве, и остался очень доволен ее состоянием.

На следующий день в Каменец-Подольске я встретил вечером царя, который, обойдя почетный караул, пригласил меня к себе в вагон и спросил, какое у меня вышло столкновение с Ивановым и какие разногласия выяснились в распоряжениях генерала Алексеева и графа Фредерикса по поводу смены генерала Иванова. Я ответил, что у меня лично никаких столкновений и недопониманий с Ивановым нет и не было, а в чем заключается разногласие между распоряжениями ген. Алексеева и графа Фредерикса — мне неизвестно, так как я получил распоряжения только от ген. Алексеева, а от графа Фредерикса никаких сообщений или приказаний не получал, и мне кажется, что дела военного ведомства, тем более на фронте, графа Фредерикса не касаются. Затем царь спросил меня, имею ли я что-либо ему доложить. Я ему ответил, что имею доклад и весьма серьезный, заключающийся в следующем: в штабе фронта я узнал, что мой предшественник категорически донес в Ставку, что войска Юго-западного фронта не в состоянии наступать, а могут только обороняться. Я лично безусловно не согласен с этим мнением; напротив, я твердо убежден, что ныне вверенные мне армии после нескольких месяцев отдыха и подготовительной работы находятся во всех отношениях в отличном состоянии, обладают высоким боевым духом и к 1 мая будут готовы к наступлению, а потому я настоятельно прошу предоставления мне инициативы действий, конечно — согласованно с остальными фронтами. Если же мнение, что Юго-западный фронт не в состоянии наступать, превозможет и мое мнение не будет уважено, как главного ответственного лица в этом деле, то в таком случае мое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезно, но и вредно и в этом случае прошу меня сменить.

Государя несколько передернуло, вероятно — вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда как по свойству его характера он был более склонен к положениям нерешительным и неопределенным. Никогда он не любил ставить точек над «и» и тем более не любил, чтобы ему преподносили заявления такого характера. Тем не менее он никакого неудовольствия не высказал, а предложил лишь повторить мое заявление на военном совете, который должен был иметь место 1 апреля, причем сказал, что он ничего не имеет ни за, ни против и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба и другими главнокомандующими.

Не успел я выйти из вагона государя, как ко мне подошел камер-лакей с приглашением идти к министру двора, который желает меня видеть. Граф Фредерикс обнял меня, поцеловал, хотя я с ним никогда близок не был, и поздравил с новым на-

значением. Усадив меня, он начал меня уверять, что против меня решительно ничего не имеет, никакой интриги по поводу моего назначения не знает и что его телеграмма генерал-адъютанту Иванову совершенно не касалась его смены и моего назначения, до которых ему дела нет. Он заверял меня, что чрезвычайно обрадовался, что выбор пал на меня, так как было несколько кандидатов, и он будет стараться меня поддерживать; если же мне понадобится что-либо секретно доводить до сведения государя, то он вообще всегда будет к моим услугам. Я ему ответил, что за все ласковые слова я сердечно благодарю, но что по принципу, которым руководствовался всю свою жизнь, я никогда ничего не искал и лично для себя ничего не добивался, что буду исполнять мой долг так же, как и раньше, от всей души, но просить чего-либо ни в каком случае не буду. На этом наша беседа и закончилась; мы еще раз обнялись, и я ушел к себе в вагон. Так я, в сущности, и не узнал, какая интрига велась против моего назначения и кто ее вел.

На другое утро царь поехал осматривать вновь сформированную 3-ю Заамурскую пехотную дивизию и нашел ее в прекрасном состоянии. Как и в предыдущие разы, воодушевления у войск никакого не было. Ни фигурой, ни умением говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он вызывать не мог. После смотра этой дивизии мы направились дальше, ближе к противнику, и там состоялся смотр всего IX армейского корпуса, который находился в резерве. Смотр был произведен обычным порядком, ничего достопримечательного не произошло, за исключением разве того, что во время смотра был налет неприятельских самолетов, который им не удался, так как в предвидении их посещения, которое могло повести за собой большие жертвы при метании бомб в соборный вместе целый корпус, было размещено несколько зенитных батарей и наша флотилия самолетов. Когда неприятельские аппараты показались, наши зенитные батареи начали их усердно обстреливать и отогнали их обратно.

В общем, имея в виду близость неприятельского фронта от Каменец-Подольска, частые налеты самолетов противника на Каменец-Подольск и невозможность полного обеспечения царского поезда от бросаемых ими бомб, я старался уговорить царя сократить свое пребывание в Каменец-Подольске, в чем меня поддерживал и граф Фредерикс, но царь ни за что не соглашался изменить свой маршрут и уехал лишь после двухсуточного пребывания. В тот же вечер, часа два спустя после отхода императорского поезда, и я отправился прямо в Могилев на военный совет, который должен был состояться 1 апреля. Мой начальник штаба ген. Клембовский соединился со мной для этой поездки в Казатине, и мы безостановочно проехали в Могилев, куда и прибыли 1 апреля утром.

ЗАМЫСЕЛ И ПОДГОТОВКА НАСТУПЛЕНИЯ

На военном совете под председательством самого императора присутствовали: главнокомандующий Северо-западным фронтом

генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, я с генералом Клембовским, Иванов, военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии вел. князь Сергей Михайлович и начальник штаба верховного главнокомандующего Алексеев.

Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего, на Западный фронт, который должен нанести свой главный удар направлениям на Вильно; некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать на Северо-западный фронт, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта; что касается вверенного мне Юго-западного фронта, то как уже было признано, что этот фронт к наступлению не способен, то он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвигнутся к западу. Затем слово было предоставлено ген. Куропаткину, который заявил, что на успех его фронта рассчитывать очень трудно и что, по его мнению, как это видно из предыдущих неудачных попыток к наступлению, прорыв фронта немцев совершенно невероятен, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу; скорее, нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери. С этим Алексеев не соглашался. Однако, он заявил, что, к сожалению, у нас не хватает в достаточном количестве тяжелых снарядов. На это военный министр заявил, а полевой генерал-инспектор добавил, что в данное время легкие снаряды они могут получить в громадном количестве, но, что касается тяжелых, то отечественная военная промышленность их пока дать не может, из-за границы получить нам их также очень трудно и определить время, когда улучшится дело снабжения тяжелыми снарядами, они не могут, во всяком случае — не этим летом. Затем было предоставлено слово Эверту. Он, в свою очередь, сказал, что всецело присоединяется к мнению Куропаткина, в успех не верит и полагает, что лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой артиллерией по крайней мере в том же размере, как наш противник, и не будем получать тяжелых снарядов в изобилии.

После этого слово было предоставлено мне. Я заявил, что, несомненно желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии я твердо убежден, что мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в

том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы прекратить противнику возможность пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом и в количественном отношениях. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел бы никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим могущественным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина.

На это ген. Алексеев мне ответил, что в принципе у него никаких возражений нет, но он считает долгом предупредить, что я ничего не получу вдобавок к имеющимся у меня войскам: ни артиллерии, ни большего числа снарядов, которые по сделанной ими разверстке мне причитаются. На это я, в свою очередь, ему ответил, что я ничего и не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага. На это никаких возражений не последовало, но Куропаткин и Эверт после моей речи несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя. Очевидно, что такого ручательства ни один военачальник никогда и нигде дать не мог, хотя бы он был тысячу раз Наполеон. Было условлено, что на всех фронтах мы должны быть готовы к половине мая. Остальные разбиравшиеся на военном совете вопросы были по преимуществу хозяйственные и в настоящее время утратили свой интерес, поэтому я о них упоминать не буду. Председательствовавший верховный главнокомандующий прениями не руководил, а обязанности эти исполнял Алексеев. Царь же все время сидел молча, не высказывая никаких мнений, а по предложению Алексеева своим авторитетом утверждал то, что решалось прениями военного совета, и выводы, которые делал Алексеев. Мы завтракали и обедали за высочайшим столом в промежутках между заседаниями.

По окончании военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия; между прочим он сказал: «Вы только что назначены главнокомандующим, и вам притом выпадает счастье в наступление не переходить, а следовательно и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям, может быть, смены с должности и потери того военного ореола, который вам удалось заслужить до настоящего времени. Я бы на вашем месте всеми силами открещивался бы от каких бы то ни было наступательных операций, которые при настоящем положении дела могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут». На это я ответил этому генералу, что я о своей личной пользе не мечтаю и решительно ничего для себя не ищу, несколько не

обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России, поскольку я ее понимаю. Повидимому, этот генерал отошел от меня очень недовольный этим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением.

В этот же вечер я уехал обратно восвояси в Бердичев. Тотчас по приезде я вытребовал всех командующих армиями с их начальниками штабов в Подволочинск, как наиболее центральный для них пункт, чтобы сговориться относительно плана действий на это лето и отдать им нужные приказания. Вообще, в принципе я враг всяких военных советов и не для того собрал командующих армиями, чтобы спросить их мнения о возможности или плане военных действий, но считал весьма важным перед решающими событиями собирать своих ближайших сотрудников для того, чтобы лично изложить им мои решения и в случае каких-либо недоразумений разъяснить те пункты, которые им неясны или различно понимаются. При таких условиях есть возможность соседям сговориться друг с другом и в дальнейшем избежать шероховатостей и споров, которые иначе неизбежны.

Собраны были мною на совещание: командующий VIII армии генерал Каледин, командующий XI армией Сахаров, командующий VII армией Щербачев и временный командующий IX армией Крымов, так как Лечицкий был еще болен. Я изложил им положение дела и мое решение — непременно в мае месяце перейти в наступление. <...>

А. А. Брусилов

ДЕНИКИН

(По поводу «Очерков русской смуты»)

Мимолетно я познакомился с А. И. Деникиным в 1913 году, когда он состоял штаб-офицером для поручений при командующем войсками Киевского военного округа ген. Иванове. В начале всемирной войны, в 1914 году, когда я был назначен командующим VIII армией, входившей в состав армий Юго-западного фронта, начальником штаба вверенной мне армии был назначен ген. Ламновский, состоявший до того генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа, а Деникин получил назначение генерал-квартирмейстера моей армии. Его сердце не лежало к штабной работе, он стремился в строй, тем более что Ламновский не давал ему простора в работе, не доверяя его стратегическим способностям, и сам выполнял его работу, что сводило роль Деникина к выполнению писарских обязанностей. Поэтому, как только открылась вакансия начальника 4-й стрелковой бригады, заслужившей еще в Турецкую войну 1877—78 годов прозвание «железной», он обратился ко мне с просьбой дать ему эту бригаду. Так как он уже раньше откомандовал полком и занимал генеральскую должность, то я согласился на это назначение и просил главнокомандующего юзфронтом Иванова утвердить этот выбор, что и было исполнено.

«Железная» стрелковая бригада была исключительная по своим боевым традициям, и состав ее чинов, в особенности кор-

пус офицеров, был, несомненно, выдающийся. Командуя ею, можно было быть спокойным за свою боевую славу, ибо стойкость этой бригады была беспримерная. В прежние годы мне пришлось слышать, как один из командиров этой бригады (кажется, это был генерал Боуфал) при поздравлениях по случаю получения боевых наград воскликнул: «Что бы я мог сделать без моих славных, железных стрелков». Такой скромности у Деникина не оказалось. Деникин в штабе был бесполезен, и я уповал, — в чем не ошибся, — что он окажется на своем месте в строю, возглавляя такую боевую часть.

Эта бригада, впоследствии развернувшаяся в дивизию, была в течение всей мировой войны во вверенной мне VIII армии, а впоследствии, когда я был в должности главкоюза, она осталась у меня на фронте, и только по назначении моем верховным главнокомандующим я от нее отдалился. Поэтому Деникина, как военачальника и человека, я всесторонне изучил и отлично знаю его все сильные и слабые стороны.

Это — человек характера твердого, но неуравновешенного, очень вспыльчивый и в этих случаях теряющий самообладание, весьма прямолинейный и часто непреклонный в своих решениях, не сообразуясь с обстановкой, почему часто попадал в весьма тяжелое положение. Не без хитрости, очень славолобив, честолюбив и властолюбив. У него совершенно отсутствует чувство справедливости и неприязни: руководствуется же он по преимуществу соображениями личного характера. Он лично храбрый и в бою решительный, но соседи его не любили и постоянно жаловались на то, что он часто старается пользоваться плодами их успехов. В особенности его терпеть не мог некий корпусный командир З., сражавшийся рядом с ним в 1915—1916 году, часто заявлявший, что помощи от такого соседа он никогда получить не может; непрерывно были у него с ним пререкания, так как в боях Деникин старался присвоить себе плоды его боевых успехов. Подобные жалобы я слышал и от других его соседей. К этому следует добавить, что Деникин — политик плохой, в высшей степени прямолинейный, совершенно, как я уже сказал, не принимающий в расчет данную обстановку, что впоследствии ясно обнаружилось во время революции.

Вторично я с ним столкнулся в Ставке, в бытность мою главнокомандующим. В это время он состоял начальником штаба верховного главнокомандующего. Эта должность совершенно к нему не подходила, и решительно не могу понять, почему выбор Гучкова пал на него. Более неподходящего человека к занятию этой должности, конечно, нельзя было найти, и кто рекомендовал его на эту должность — понять не могу.

Деникин встретил меня на вокзале и тотчас же доложил, что просит дать ему какую-либо армию, так как столь обширная стратегическая и в особенности канцелярская работа ему не под силу и она ему не подходит. Конечно, я на это согласился. Вслед за сим открылись вакансии главкосева и главкозана, и я предложил первую из них ему; он, однако, просил меня дать ему вторую, мотивируя свою просьбу тем, что на Северном фронте дела мало и обстановка очень трудная, а на Западном фронте работа интереснее и можно шире и более плодотворно и блестяще развивать боевые операции. Я и на это согласился, памятуя, что он, как бы то ни было, отличный боевой генерал и при от-

существовании соперников на своем фронте не будет иметь случая применять дурные черты своего характера на деле.

Резюмируя все вышеизложенное, я по совести должен признать, что Деникин был выдающийся начальник дивизии, который, по моему представлению, был награжден по заслугам в течение войны чинами генерал-майора и генерал-лейтенанта, орденами св. Георгия 4-й и 3-й степени, георгиевским и бриллиантовым оружием и другими орденами с мечами. Карьеру ему сделали славные «железные» стрелки и я. Командиром VIII корпуса он был недолго и ничем не зарекомендовал себя ни в хорошую, ни в дурную сторону, да вскоре и революция видоизменила всю обстановку. Каким он был бы главнокомандующим, я не знал, но с должности начальника штаба верховного главнокомандующего это был естественный прямой путь, и я уповал, что он с этим делом справится. Ошибся я лишь в том, что не учел изменившуюся революционную обстановку и свойственные Деникину прямолинейность, упрямство и страшное самолюбие.

Я не собираюсь мыть грязное белье на потеху публики совместно с Деникиным, но на явную клевету или искажение действительности бывшего, во имя исторической правды, считаю своим нравственным долгом ответить хоть на главную часть извращений моих действий.

В этом отношении мне на помощь приходят «Мои воспоминания» Эрика Людендорфа, который как раз отмечает и опровергает инсинуации Деникина. <...>

Деникин все время инсинуирует на меня, как на мертвого, дает понять, что полководец я плохой, ибо, по его мнению, Корнилов (стр. 81) был железный полководец, а Брусиллов «считался» таким, т. е. не был им, но как бы обманчивым образом был так прозван. Или в другом месте, говоря о времени после Февральской революции, Деникин удивляется, как мог я официально заявить, что я с молодых лет был революционером и социалистом. Должен сказать, что я ничего подобного не заявлял. В Петроград, кажется в мае, все главнокомандующие с Алексеевым во главе прибыли для выяснения печального положения армии на фронте. В Мариинском дворце были собраны представители Государственной думы и Совета рабочих и солдатских депутатов. Когда по очереди пришлось мне говорить, я обрисовал тяжелый развал армии и сказал, что антимилитаристическая пропаганда в войсках усиленно продолжается и что я ее понимаю, как боязнь контрреволюционных действий начальствующего персонала. Между тем эта пропаганда беспричинно губит армию, ибо раз я добровольно примкнул к революции, то я стал таким же революционером, как и они все, что я и корпус офицеров вполне лояльны к русскому народу и честно выполним наш долг и потому пора кончать агитацию в войсках, если желают благополучно кончить войну, и обяжут доверять мне, а не копать исподтишка яму. Я стенографически не мог, конечно, записать своей речи, но ручаюсь, что смысл ее верен. Заявлять же, что я с детства революционер и социалист, я не мог уже потому, что мне никто бы не поверил, да это и было бы ложью, а в этом меня за всю мою жизнь никто, не исключая Деникина, упрекнуть не может.

Продолжая читать «Очерки русской смуты» (в особенности том I — «Крушение власти в армии», февраль — сентябрь 1917 г.), я ожидал, зная свойства характера автора, что он будет

пристрастен, но не думал, что он перейдет все грани справедливости и правды. К своим, ко всем тем, к кому он благоволил, он относился с снисхождением и защитой; мне же ставит всякое лыко в строку и, что возмутительнее всего, — взваливает на меня такие речи, которые я не говорил, и обвиняет меня в таких поступках, которых я никогда не совершал.

Конечно, мы оказались в разных лагерях, но я ведь и раньше твердо заявлял, что от русского народа я не отделюсь и останусь с ним, что бы ни случилось. Я так и вел себя с начала революции и до настоящего времени. Я понимал, что раз революция началась в таком обширном и сложном государстве, как бывшая Российская империя, кончиться она ни по чьему велению не может, и у нас обязательно должно дойти до большевизма. Поэтому потуги Корнилова возглавить революцию своей диктатурой меня только огорчали, ибо для меня было очевидно, что это должно было кончиться крахом и пролитием напрасной крови. Можно было огорчаться, скорбеть, видя столь непослушную солдатскую массу, но удивляться этому было странно. Как же эта, в большинстве темная, солдатская масса могла бы иначе выражать свои желания и надежды? Очевидно, что в начале революции являются эксцессы и беспорядки. Было бы неестественно ждать, что их у нас не будет, несмотря на неустойчивость народа в нравственном отношении. Кто же, когда и как обучал этот народ, и кто о нем серьезно заботился? Давно известно, что революции по приказу не начинаются и не кончаются. Тут — естественный исторический ход событий, который изменить невозможно было ни Деникину, ни Корнилову.

Принадлежа своему народу, я находил вполне правильным разделять его участь. Кстати, А. И. Деникин не упоминает, что во время Октябрьского переворота я был ранен в ногу тяжелым снарядом, который раздробил мне ее настолько основательно, что я пролежал в лечебнице С. М. Руднева 8 месяцев, а когда я вернулся домой, меня арестовали и держали в заключении два месяца, а затем еще два месяца под домашним арестом я продолжал лечить свою раненую ногу. В тот день, когда меня ранили, в мою разгромленную квартиру приходили матросы с заявлением, что по чьему-то распоряжению должны убить меня, но меня уже унесли в лечебницу. И все это меня нисколько не озлило и не оскорбило, ибо я видел в этом естественный для революции ход событий. В 1918, 1919 и 1920 годах я и голодал, и холодал, и много страдал заодно со всей Россией и потому находил это естественным. Нужно заметить, что мое материальное положение несколько улучшилось только во второй половине 1920 года, когда я поступил на службу, т. е. 2½ года спустя после Октябрьского переворота, когда началась внешняя война с поляками. Но должен повторить, что я совершенно поражен и не могу объяснить себе причины, почему Деникин так глубоко несправедлив ко мне, ввиду того, что от меня он кроме добра ничего не видел. Я понимаю, что можно не сходитьсь во взглядах на политическую обстановку, но заниматься печатно передержками, подтасовками фактов — это уже совсем некрасиво и недобросовестно. Не хотелось мне писать об этом времени, и я и дальше бы молчал, но, прочтя записки Деникина, я понял, что во имя справедливости и правды не имею права дальше притворяться мертвым.

Я всегда был противником излишнего и бессмысленного про-

лития крови, и с самого начала революции, предвидя, какие потоки крови могут пролиться от моего малейшего неверного шага, я принужден был поступать так, чтобы избежать этого, по-скольку возможно, и нисколько не считался с тем, что могут думать обо мне подумать и как истолковать мои поступки. Для меня была важна общая конечная цель и только. Я старался приблизиться к народной толще и понять психологию масс. Последующие события показали, что я был прав, желая подойти к народу с другой стороны, а не рубить все сплеча по старому образцу. Не знаю, что легче — на чужие деньги жить за границей все эти годы или переживать все ужасы революции, голод и холод вместе со всей Россией. Деникин много говорит с большим пафосом о «Родине-Матери». Так вот, когда мать тяжело больна, совершенно не нужно самонадеянно и безрассудно производить над ней рискованные операции и заливать ее потоками братской крови, а лучше предоставить времени залечить ее недуги, не бросая ее, и помогать ей вблизи, насколько сил и разума хватит. Так я думал и думаю.

Я вполне признаю возможность некоторых моих неверных шагов во время налетевшего на нас революционного шквала. Только много времени спустя, после года тяжелой болезни, когда я восемь месяцев лежал с раздробленной ногой и времени обдумать все случившееся у меня было достаточно, — я многое понял... Но для того, чтобы судить меня, нужен более талантливый, более глубокий психолог и более честный, правдивый человек, чем оказался Деникин.

Что касается генералов Алексеева и Корнилова, о которых автор особенно хлопочет, чтобы выделить их, то должен по нелицеприятной правде сказать еще несколько слов о них.

Алексеев был честный, добрый и умный, но очень слабохарактерный человек. Попал он, действительно, во время смуты в очень тяжелое положение и всеми силами старался вначале угодить и вправо и влево. Он был генерал, по преимуществу нестроевого типа, о солдате никакого понятия не имел, ибо почти всю свою службу сидел в штабах и канцеляриях, где усердно работал и в этом отношении был очень знающим человеком-теоретиком. Когда же ему пришлось столкнуться с живой жизнью и брать на себя тяжелые решения, — он сбился с толку и внес смуту и в без того уже сбиту с толку солдатскую массу, не знавшую, кому и чему верить. Наконец, прибыв на Дон, он попал в передрагу между Калединым и Корниловым и между этими двумя тяжелыми характерами попал в безвыходное положение. Спорить с ними было нельзя, а жить дружно и согласно невозможно. Смерть его избавила в конце концов от бесконечно тяжелой жизни. Несмотря на многие недочеты в наших отношениях и тяжелые мои переживания с ним, которые я описывал на страницах моих воспоминаний, я с глубокою душевною скорбью переношусь мысленно к страдальческой роли, выпавшей на долю этого хорошего русского человека.

Другой герой Деникинских воспоминаний, генерал Корнилов, был человек страстный и желавший во что бы то ни стало выдвинуться. Своего рода Наполеон, но не великий, а малый. О нем я уже подробно говорил в последней главе моих воспоминаний. Его, бывшая на моих глазах, служба — незначительна. Но зато он прославил себя в гражданской войне. При Октябрьском перевороте он бежал из Быховской тюрьмы, чем погубил окончатель-

но рыцарски-честного Духонина. Прибыв на Дон, он из Ростова во главе 3—4 тысяч добровольцев пошел на Екатеринодар. В одно скверное утро бомба влетела в окно его спальни и убила его. Мир праху этого горячего и суматошного человека. Подводя итоги его деятельности, можно сказать, что Корнилов полководцем не был и по свойству своего характера не мог им быть. Полководец прежде всего должен иметь хладнокровную и вдумчивую голову, чего у него никогда не было. Это — пачальник лихого партизанского отряда и больше ничего. Политическим деятелем его также считать нельзя. Если бы не было революции, он, добившись звания командира корпуса, спокойно доживал бы свой век в каком-нибудь корпусном штабе. Но вот — явилась революция, и он по натуре своей должен был участвовать в этой смуте. Бедный человек, он запутался сильно: как бессмысленно и в плен попал, так бессмысленно и погиб.

На этом заканчиваю мою с Деникиным полемику, и пусть его совесть сама ему скажет, что она о нем думает. Кто из нас прав, покажет будущее. Я верю, что он, как и я, — мы оба старались работать на пользу русского народа, но переживаемую революцию понимаем с ним различно. История нас рассудит. И что бы он в дальнейшем ни писал, я больше возражать ему не буду.

Д. Оськин

ЗАПИСКИ СОЛДАТА

Ноябрь.

После обильно ливших в последнее время дождей сразу наступила зимняя погода. Выпал снег и установился мороз, временами достигающий двадцати градусов.

Морозы застали нас в летнем обмундировании. Обувь, полученная еще в Туле, за время продолжительных походов поистрепалась, и у большинства солдат сапоги «просили каши». Летние портянки не грели. Особенно скверно приходилось тем из солдат, кто проводил ночь на сторожевых постах. Только тут мы пожалели о выброшенных нами перед выходом из Устилуга набрюшниках и башлыках — какие хорошие из них получились бы портянки!

Жизнь в окопах, в близком соседстве от немцев, держала нас постоянно настороже — каждую минуту можно было ожидать наступления с их стороны и мы спали не раздеваясь. Самые окопы были очень неудобны и скорее напоминали зигзагообразные канавы. Рядом с окопами солдаты сами, без каких-либо указаний саперных частей, вырыли землянки — глубокие ямы, прикрытые несколькими слоями бревен, пересыпанных слоями земли. Здесь мы чувствовали себя достаточно укрытыми от снарядов, но зато не было никакого спасения от холода. Пролежать целый день в землянке было совершенно невозможно — приходилось выбегать наружу и согреваться бегом на месте.

Сначала мы попробовали было устроить нечто вроде печей, но временно командующий батальоном полковник Иванов, заметив дым над землянками, строжайше запретил разводить огонь, так как немцы, мол, по дыму обнаружат месторасположение окопов и начнут артиллерийский обстрел. На наш взгляд это запрещение казалось совершенно бессмысленным — немцам все рав-

по было известно наше расположение, так же как и мы знали, где расположены окопы немцев. Досаднее же всего было то, что над немецкими окопами мы с утра и до вечера видели дым. Очевидно, они несколько не боялись отапливать свои убежища...

Неподвижное сидение на мерзлой земле во время сильных морозов вызвало среди солдат заболевания. Люди десятками выбывали из строя — у меня из взвода ежедневно по несколько человек уходило на перевязочный пункт с отмороженными пальцами рук и ног.

После затишья, продолжавшегося несколько дней, в первых числах ноября начались периодические и довольно сильные обстрелы наших позиций тяжелыми брзантными снарядами. Стрельба начиналась обычно часов в девять утра, и на протяжении какого-нибудь часа немцы выпускали не менее ста тяжелых снарядов. В полдень, когда прибывали кухни с пищей, стрельба возобновлялась и стихала для того, чтобы возникнуть снова часов в шесть вечера.

Обстрел этот не наносил нам сколько-нибудь серьезных поражений, так как точности в стрельбе не было. Снаряды рвались в лесу. Насколько мощны были разрывы, можно судить по тому, что вековые деревья, толщиной в обхват и больше, валялись от осколков снарядов, рвавшихся где-нибудь рядом.

Самым неприятным и угнетающим в этом обстреле был звук полета снаряда: сначала слышишь отдельный выстрел, затем нечто похожее на хлюпанье большого поросенка; самый же взрыв настолько оглушителен и так сильно сотрясает землю, что в наших землянках и окопах нередко случались обвалы, и земля придавливала находящихся в них солдат.

Морозы установились надолго.

Начались сильные ветры, с обильным снегопадом, после которых ненадолго наступала оттепель, образовавшая гололедицу. Мои сапоги пришли в такое негодное состояние, что мне приходилось при выходе из землянки обматывать ноги единственной запасной парой белья. Долго я крепился и переносил холод, но наконец не выдержал — отправился к фельдфебелю за разрешением пойти в полковой околоток.

Околоток был устроен неподалеку от штаба полка, в Острожежниках, в лесу, под навесом из молодых, свежесрубленных деревьев. Несмотря на ранний час, приема врача ждало уже человек сто. У всех была одна болезнь — отмороженные руки и ноги.

Принимал доктор Блюм.

Он заставлял снимать сапоги и осматривал ноги; затем фельдшер смазывал отмороженное место вазелином. Сильно обмороженных оставляли на несколько дней для отдыха при околотке, где можно было беспрепятственно разводиться костры.

Когда наступила моя очередь, Блюм, осмотрев мои ноги и расспросив об условиях жизни в окопах, посоветовал как можно скорее заменить худые сапоги другими, более крепкими. На мое замечание, что в таких сапогах ходит весь полк и что ни у кого нет теплых портянок, Блюм ответил:

— Музеус принимает все меры, да интенданты что-то медлят с высылкой.

Декабрь.

В начале декабря наш семнадцатый корпус был снова направлен на юго-западный фронт.

После мучивших нас недавно морозов лили бесконечные дожди, превращавшие дороги в непроходимые болота, и это очень затрудняло движение.

Когда, после нескольких дней похода, мы приблизились к устью реки Ниды, в полку обнаружилось заболевание холерой.

Сначала заболевания носили единичный характер, но чем ближе подходили мы к устью Ниды, тем больше и больше заболело народу. Наконец, по распоряжению свыше, полк был назначен в карантин. Для этого заняли одну из деревень. Вокруг деревни была выставлена охрана, никого не пропускавшая за околицу.

В какие-нибудь три-четыре дня слегла половина полка.

Хаты, в отведенном для больных конце деревни, были набиты до отказа, и нельзя было без содрогания смотреть на все, что делалось внутри их. Люди корчились в судорогах, извиваясь всем телом и изрыгая остатки пищи. Многих, не евших уже в течение нескольких дней, рвало какой-то страшной зеленой жидкостью. Лица больных, острые, бледно-синие, казались неживыми, и лишь судорожные движения, вызванные рвотой, указывали, что они еще живы. Полковые санитары сбивались с ног, бегая от одного больного к другому.

Когда, благодаря принятым мерам, холерные заболевания пошли на убыль, поступило распоряжение двигаться дальше, по направлению к Новому Корчюню.

Раньше я думал, что заболевания холерой непременно кончатся смертью. Однако, на деле это было далеко не так. Солдаты, заболевшие в походе, догнали нас в Новом Корчюне уже совсем здоровыми. Крепкий организм побеждал холеру не более чем в две недели. Больше всего смертных случаев было с солдатами-татарами. Чем объяснить это — не знаю.

В Новый Корчюнь мы вступили за несколько дней до рождества. Нас на первое время оставили в резерве, чтобы дать солдатам отдохнуть после эпидемии.

26 декабря.

В ночь под рождество наш отдых окончился. Полк двинули ближе к позициям, и ночевать нам пришлось в крошечной деревушке, все хаты которой были заняты штабом и офицерами: солдатам пришлось размещаться по стодам.

На долю нашей роты выпал собственно даже не стодол, а нечто вроде навеса, ничем не защищенного с боков — не было даже плетней. В лучшем случае этот навес мог бы защитить от дождя, но никак не от холода. Он был совершенно пуст, и нам предстояло или провести ночь на ногах или же ложиться, прижавшись друг к другу, прямо на мерзлую землю.

Теплая погода давно уже была позабыта — снова стояли лютые морозы. Солдаты сразу же стали забнуть. У всех мерзли ноги и руки, синели лица, и если кто-нибудь от усталости решался сесть на землю, то не мог просидеть и нескольких минут — вскакивал и начинал бегать по стодолу или вокруг него. Находившаяся поблизости небольшая халупа, занятая офицерами, казалась нам чем-то вроде недосягаемого дворца. Под всевозможными предложениями солдаты старались забежать на несколько ми-

пут в эту хату, чтобы хоть чуточку погреться, но хата была настолько мала, что даже разместившиеся в ней офицеры лежали просто на полу. Чердак был занят «привилегированными», вроде ротных санитаров, ротного писаря, фельдшера и каптенармуса.

С нетерпением ждали мы утра, чтобы избавиться от мучений. Нам казалось, что даже в окопах, как ни будь они плохи и опасны для жизни, будет теплее. <...>

Движение вперед было остановлено. Солдатам разрешили перейти с открытого поля к ложбинкам, заросшим кустарником. От моего взвода ближайший кустарник находился совсем близко, и через какие нибудь четверть часа мы перебрались туда. Защищенные от глаз австрийцев, мы могли уже не прятаться в снегу, а свободно ходить по кустарнику, согревая прозябшее во время лежания тело.

Среди дня нам показалось, что австрийцы оставляют свои позиции. Было заметно движение людей в полном снаряжении с вещевыми мешками за плечами, отходивших как будто бы в обратном от нас направлении. Это продолжалось, примерно, в течение получаса. Затем в австрийских окопах наступила тишина, и не стало видно ни одного человека.

Наблюдения за австрийцами настолько заинтересовали меня, что мне захотелось отправиться самому на высоту и посмотреть, что там творится.

Взяв с собой двух солдат нашего взвода, я приблизился к подошве горы, стараясь остаться незамеченным, мы стали потихоньку подниматься вверх.

Добравшись почти до вершины, мы наткнулись на первую линию окопов, защищенных только одной линией проволоки, через которую можно было свободно пролезть. Перебравшись через проволоку, мы прыгнули в первый попавшийся окоп. Он был пуст. На каждом шагу мы находили свежие следы недавнего пребывания австрийцев. Обшаривая окопы и стремясь найти хоть что-нибудь съедобное, мы в то же время внимательно изучали расположение укреплений. На самой вершине горы, заросшей буком, мы заметили еще одну линию окопов, устроенную также кольцеобразно, как и предыдущая.

Рассмотрев внимательно, как расположены позиции на самой вершине горы, и нанеся линии их на кроки, я вдруг увидел австрийца с винтовкой, находящегося впереди нас шагах в пятидесяти.

Став за дерево, я вытянул руку с револьвером в сторону австрийца. Револьвер дал осечку. Я сунул револьвер в карман и вскинул к плечу винтовку. Австриец, в свою очередь, наставил винтовку на меня. Следя глазами за движением друг друга, каждый из нас старался уловить удобный момент, чтобы спустить курок.

Тем временем мои спутники Попов и Панов заметили впереди группу австрийцев — человек десять, двигающихся в нашу сторону. Через несколько секунд такая же группа показалась с правой стороны. Положение становилось серьезным. Мы легко могли попасть в плен, а это ни в какой степени не улыбалось нам, так как мы верили, что война приближается к концу.

Стиснув в руках винтовки и стараясь следить одновременно и за стоящим впереди австрийцем и за обеими группами, приближающимися справа и слева, мы обдумывали, как бы удобнее ударить,

В это время бывший впереди австриец, очевидно, улучил удобный момент и выстрелил. Пуля впиалась в дерево, за которое я прятался. Видя, что миנדальничать больше нечего, я выстрелил в свою очередь, но, очевидно, от волнения, выстрел оказался недостаточно точным, и пуля пролетела мимо солдата, присевшего во время моего выстрела, даже не ранив его.

Между тем группы противника приближались с обеих сторон. Нужно было немедленно решать, что делать — оставаться ли в окопах и сдаваться в плен или удирать. Я решил на последнее. Крикнув Попову и Панову: «Бегите к роте», — я выстрелил в группу австрийцев, подходивших слева. Это заставило их немедленно повалиться на землю. Тогда я выстрелил в сторону правых и, когда те тоже залегли, отчаянным прыжком бросился назад, к проволоке. Перелезть через проволоку на глазах у австрийцев — значило подставлять спину под пули. На мое счастье, однако, нижняя проволока не доходила до снега на несколько вершков и это позволило мне не перепрыгивать через нее, а нырнуть вниз.

Оставив на колючках проволоки огромный клок, вырванный из моей шинели, я очутился за линией заграждений. Так как дальше путь был свободен и бежать вниз было очень легко, я, делая быстрые зигзагообразные прыжки, через какие-нибудь две минуты был уже в полной безопасности. Само собой разумеется, эти минуты проходили под отчаянным обстрелом по мою душу, который, однако, не принес мне никакого вреда.

Добежав до лесочка и чувствуя себя уже в безопасности, я было замедлил шаг, но вдруг меня поразил сильный удар в спину.

Я кубарем полетел в кустарник. Пролетав несколько мгновений почти без сознания, я почувствовал, что нос у меня в крови, на лбу и на руках несколько ссадин, а спина болит точно от удара камнем. Кто же ударил меня по спине, да так, что я пролетел несколько сажень? Приведя в порядок свой нос и руки, я снял шинель и с сожалением увидел, какая огромная дыра зияет в ней после знакомства с колючей проволокой. Никаких признаков ранения на спине я однако не нашел. Тогда я стал рассматривать вещевой мешок, висевший во время бегства у меня за плечами. В мешке оказалась дырочка. Вытряхнув содержимое мешка на снег, я обнаружил в толстой книге (стихотворения Шевченко), которую я взял в одном местечке и постоянно носил с собою, застрявшую револьверную пулю.

Итак, меня спас Шевченко. Не будь в вещевом мешке этой книги, я лежал бы трупом под злополучной высотой 870...

Возвратившись к роте, я пошел с докладом о своей разведке к ротному командиру. О Попове и Панове, так и не вернувшихся, я благополучно умолчал, решив, что их можно показать, как выбывших, после очередного наступления.

Ротный командир первым делом выругал меня за путешествие, предпринятое без его разрешения. Затем он отправился вместе со мною к командиру батальона. Тот, выслушав мой рассказ и посмотрев набросанные мною кроки местности, приказал мне быть готовым к двенадцати часам ночи, чтобы служить проводником батальона при наступлении.

Такого конца я не ожидал — перспектива идти впереди батальона и показывать австрийские окопы меня совсем не привлекала. Однако делать было нечего. Точно «в двенадцать часов и одну минуту», как гласил приказ из штаба полка, третий, чет-

вертый и второй батальоны должны были атаковать высоту 870 и закрепиться на ней.

Командир батальона, очевидно, передумал — он отменил свое решение и позволил мне присоединиться к роте; я опять стал во главе своего взвода.

Прежде чем добраться до вершины горы, нам пришлось преодолеть густые заросли кустарника. Когда мы выбрались из них и перед нами предстала свободная от растительности гора, австрийцы заметили наше движение и открыли бешеную стрельбу. Стреляли не только с фронта. Одновременно был открыт огонь по наступающим цепям и с соседних гор.

Мы залегли в снегу. Трещали пулеметы, пули летели с трех сторон, справа, слева и навстречу. Пулеметные пули, самые страшные из всех видов огня — кажется, что один только свистящий звук их полета может изрешетить все тело; гораздо легче мириться даже с артиллерийским обстрелом.

На наше счастье пули летели высоко в воздухе. Взять правильный прицел с вершины горы очень трудно, и мы находились как бы в мертвом пространстве, не поддающемся поражению.

Когда первый страх прошел, мы двинулись дальше, к вершине, цепляясь за отдельные кусты, чтобы не свалиться вниз. Пули с не меньшей силой продолжали свистеть над нашими головами, и вскоре полк снова залег.

Лежание на снегу и охвативший нас от этого холод невольно вызвали желание двигаться дальше — да, кроме того, всякое отступление назад было невозможно, так как могло вызвать панику. Скомандовал еще раз — «Вперед за мной», — я подполз к самым окопам. Вид наших фигур, неожиданно возникших перед самым носом австрийцев, ошеломил их. Они прекратили стрельбу, и это дало нам возможность проникнуть в самые окопы, не считаясь с тем, идет ли кто-нибудь за нами или нет.

Не задерживаясь в первом окопе и только разоружив бывших там солдат, мы бросились дальше. С группой всего человек в пятнадцать я оказался в центре неприятельского войска, огонь которого попрежнему был направлен не в нашу сторону, а вниз, откуда наступали наши цепи. Стараясь, пока не поздно, использовать это положение, мы рассыпались по землянкам австрийцев, вытаскивая оттуда притаившихся людей и разоружая их. Через какие-нибудь четверть часа мы имели перед собой больше ста обезоруженных солдат, ошеломленных одним нашим появлением и автоматически бросавших винтовки к нашим ногам.

У окопов передней линии мы столкнулись с ворвавшейся сюда группой солдат из четвертого батальона, под командой подпоручика Кострожицкого. Стало легче — теперь мы были не одни — и в какие-нибудь полчаса мы объединенными силами обеих групп парализовали дальнейшее сопротивление австрийцев. Стрельба смолкла, и наступавшие части уже спокойно взобрались на вершину.

Таким образом весь бой, разыгравшийся при взятии высоты 870, в сущности, был начат и закончен двумя небольшими отрядами — группой людей моего взвода и группой подпоручика Кострожицкого. Это можно объяснить только тем, что австрийцы совершенно не имели представления о количестве ворвавшихся в окопы русских солдат. Если бы темнота не скрывала нас и если бы было обнаружено, что нас всего небольшая горстка, мы, конечно, были бы перебиты или в лучшем случае разоружены.

НЕПРИСТУПНАЯ КРѢПОСТЬ ПЕРЕМЫШЛЬ

Могучіе бетонные бруствера, вращающіеся броневыя башни, казематы, напоминающіе грандіозныя катакомбы, форты одинъ другого сильнѣе, глубокіе рвы съ надежнымъ прикрытіемъ для стрѣлковъ, множество разнокалиберной артиллеріи, длинные ряды проволоки на стальныхъ прутьяхъ и въ довершеніе естественныя условія — доминирующіе кругомъ холмы, — все это дѣлало Перемышль * неприступнымъ.

Форты крѣпости вынесены далеко за городъ. Къ нимъ надо ѣхать мимо большого полуразрушеннаго моста, опустившагося однимъ краемъ въ рѣку, черезъ поля, мирно запахиваемыя крестьянами, съ философскимъ спокойствіемъ пережившими и осаду, и сдачу крѣпости. Пасутся коровы, во дворахъ куры и утки, и весь видъ этихъ своеобразныхъ деревень, укрывшихся за фортами, точно также и видъ города, мало говоритъ о томъ, что австрійцы находились при сдачѣ въ критическомъ положеніи.

Сами форты, особенно новѣйшіе на южной сторонѣ, производятъ настолько внушительное впечатлѣніе, что поражаешься, какъ можно было сдать такую крѣпость.

Мнѣ удалось бѣгло осмотрѣть крѣпостныя сооруженія и сопровождавшіе меня специалисты-офицеры въ одинъ голосъ приходили къ выводу, что сдача Перемышля — была яркимъ свидѣтельствомъ разложенія австрійской арміи. Въ крѣпости сидѣло втрое больше народу, чѣмъ въ лагерь осаждавшихъ; въ ней ничего не разрушено, и только полный упадокъ дисциплины и отсутствіе воодушевленія могли выслать въ нашъ лагерь парламентаровъ, предложившихъ сдачу.

Передъ колоссальными бетонными брустверами глубокіе рвы, выложенные кирпичемъ, а еще впереди, въ нѣсколько рядовъ проволока на стальныхъ прутьяхъ и заложенные въ землѣ фугасы. Каждый такой фортъ при умѣлой защитѣ стоилъ бы осаждавшимъ десятки тысячъ жертвъ. Его рвы пришлось бы засыпать трупами, но и тогда оставалась преграда, въ видѣ капонировъ, заполненныхъ проволокой, гдѣ, какъ въ мѣшкѣ, люди должны застревать и гибнуть, чтобы по ихъ трупамъ другіе, болѣе счастливые, могли наконецъ овладѣть фортомъ.

Въ капонирахъ для обстрѣла внутри рва стоятъ орудія. Въ одну изъ бойницъ попалъ нашъ снарядъ, повре-

диль пушку, перебилъ прислугу и послѣ этого австрійцы придумали еще новое укрѣпленіе и стали бетонировать потолокъ и своды.

Хозяева Перемышля заботились, видимо, не столько о крѣпости, сколько о собственной безопасности и послѣдствія сдачи ихъ волновали меньше, чѣмъ плохой обѣдъ и недостатокъ вина и пива. Не довольствуясь бетонными прикрытіями надъ своими казематами, австрійскіе офицеры сдѣлали надъ сводами еще насыпи и навалили на нихъ бревна. Кажется, чего лучше и безопаснѣе, глубоко уходящій въ землю погребъ, съ мощнымъ потолокомъ, вовсе недоступный обстрѣлу, большія просторныя комнаты, множество коридоровъ и переходовъ, — словомъ, все то, о чемъ бы можно только мечтать въ простомъ окопѣ, — и все-таки выше всѣхъ вращающихся башенъ и выше фортвовъ былъ выкинуть позорный бѣлый флагъ не то изъ рубашки, не то изъ другой принадлежности туалета. Его показывали потомъ, какъ историческую рѣдкость, и кусокъ бѣлой матеріи безпомощно болтался на древкѣ, свидѣтельствуя во всякомъ случаѣ не о доблести австрійцевъ.

Почти каждый изъ южныхъ фортвовъ цѣлый лагерь. По бокамъ башенъ блиндажи для стрѣлковъ, далеко вытягиваются бетонные бруствера, а глубокіе рвы зіяютъ такой пропастью, что кажутся недоступными человѣческой силѣ. Насколько мощны сооруженія нѣкоторыхъ фортвовъ Перемышля, можно судить хотя бы по послѣдствіямъ взрыва. Громадной скалой, на которую легко усадить человѣкъ двадцать народу, лежитъ каменная глыба, оторвавшаяся отъ башни и сброшенная къ подножію форта. Кругомъ все засыпано камнемъ и кирпичемъ, а толстыя желѣзныя двери, закрывавшія казематы, выгнулись силою взрыва.

Когда храбрые австрійцы стали взрывать свою крѣпость, на десятки верстъ кругомъ дрожала земля, и каменные зданія тряслись, какъ картонные домики. Наши офицеры, стоявшіе на позиціяхъ за восемнадцать верстъ, рассказывали, что у нихъ въ избѣ рухнула печка.

Форты повреждены мало, но слѣды разрушенія отъ взрывовъ повсюду. Стѣны нѣкоторыхъ казематовъ разнесены и они стоятъ открытыми, какъ сараи, и зіяютъ дырами, въ которыя смѣло войдутъ два паровоза. Подземныя сооруженія такія, что можно заблудиться. Длинные каменные лѣстницы ведутъ въ солдатскіе и офицерскіе казематы, въ склады снарядовъ и пороху, выводятъ да-

леко впередъ за крѣпость и все ихъ сооруженіе своей солидностью и основательностью говорить о томъ, какое значеніе австрійцы придавали крѣпости, попавшей въ немѣлыя руки.

Въ одномъ изъ казематовъ наши офицеры успѣли собрать маленькій музей. Главная его достопримѣчательность — знаменитый бѣлый флагъ. Его оберегаютъ ручныя гранаты, фугасы, снаряды всѣхъ калибровъ, стальные стрѣлы, сбрасываемыя съ аэроплановъ, старые катапульты, не только заржавѣвшіе, но, кажется, покраснѣвшіе отъ стыда — образчики богатаго артиллерійскаго матеріала, которымъ перемышленскихъ героевъ снабдило населеніе, чувствовавшее себя, какъ за каменной стѣной.

Бдемъ на слѣдующій фортъ. Гладкое шоссе тянется перекатами черезъ лѣсъ по зазеленѣвшемуся молодняку и когда каменные громады остаются позади, скрываясь за холмами, забываешь, что въ крѣпости. Такъ хороша природа, и такъ не похожа вся обстановка на то, что подъ бокомъ стоятъ грозные бастионы.

На высокыхъ старыхъ соснахъ прилажены площадки для наблюдателей, какъ большія скворечницы. Въ лѣсу много такихъ вышекъ, а по дорогѣ вездѣ орудія всевозможныхъ калибровъ, старыя и новыя, и цѣлыя и попорченныя.

Останавливаемся у восьмого форта. Онъ изъ старыхъ, съ кирпичными казематами и земляными рвами. Внизу извивается Санъ, гладкій и тихій, напоминающій бѣлое песочное шоссе. Вода застыла и рѣка не шелохнется, только отражаются огни загорѣвшихся по берегу костровъ.

У подножія чернѣетъ проволока и стальные кольца, на которыхъ она укрѣплена, торчатъ изъ земли, какъ штыки. Наши окопы были отсюда меньше, чѣмъ въ верстѣ.

Много ли прошло со времени занятія крѣпости, а солдатики уже успѣли обжиться на этомъ нетронутомъ фортѣ. Въ казематахъ пахнетъ щами и солдатской шинелью.

Новые владѣльцы крѣпости собираются ко сну, поютъ молитву и укладываются на койки, предусмотрительно оставленныя австрійцами. Къ Пасхѣ устроили даже свою церковь. Убрали казематъ ельникомъ, поставили образа, служили заутреню и разговлялись.

— А на Страстной, — ходили своихъ провѣдать...

На южныхъ Сѣдлецкихъ фортахъ есть незамѣтныя

могилы; въ нихъ похоронены наши солдаты, подходившіе къ этимъ фортамъ еще 24-го сентября.

— Помолились за упокой ихъ души... Потому они путь намъ проложили и выходить, что должны мы ихъ память чтить...

Послѣ взятія крѣпости мы нашли триста нашихъ раненыхъ, томившихся въ плѣну.

Скромныя могилы на Сѣдлецкихъ фортахъ, свидѣтельствующія, что для нашего солдата нѣтъ ничего неприступнаго, крытыя ельникомъ землянки, въ которыхъ перезимовали войска, бравшія крѣпость, тихая радость освобожденныхъ плѣнныхъ, — все это не вяжется съ атмосферой, царившей въ Перемышлѣ, и съ обстановкой, которую создали его защитники. Даже въ трагическую минуту, на первомъ планѣ у нихъ было свое личное, и духъ геройства не ночевалъ на австрійскихъ фортахъ. Среди условій сдачи австрійцы выставляли требованія о сохраненіи офицерамъ жалованья и карманныхъ денегъ, просили, чтобы ихъ наградные списки были непременно отосланы въ Вѣну, а генераль Кусманекъ въ длинномъ и безграмотномъ письмѣ на русскомъ языкѣ хлопоталъ о томъ, чтобы были охранены его вещи и чтобы, въ случаѣ переменъ коменданта, его просьба непременно была передана по принадлежности.

Личное было настолько сильно, что моментами переходило въ преступное. Главный интендантъ крѣпости былъ судимъ и повѣшенъ. У него нашли неожиданные розсыпи — сбереженія во время осады на девять миліоновъ кронъ. Оказалось, что онъ продалъ часть провіанта и обезсилилъ крѣпость по крайней мѣрѣ на три мѣсяца. Хищничество внутри крѣпости переплелось съ мудростью военачальниковъ и въ то время, какъ одни распродавали провіантъ, другіе, подъ напоромъ нашихъ галиційскихъ армій, загоняли новые и новые корпуса въ крѣпость, думая найти въ нихъ надежную стоянку. Общими усиліями тѣ и другіе довели Перемышль до сдачи.

* * *

Во время послѣдней вылазки передъ сдачей Перемышля двадцать третья гонведная дивизія, шествовавшая подъ прикрытіемъ своихъ фортовъ, наткнулась на нашихъ ополченцевъ. Не ожидавшіе натиска такой крупной силы, крестonosцы подались. Противъ австрійцевъ оказа-

лась всего рота стрѣлковъ и такъ какъ непріятель продолжалъ врываться все глубже, его обстрѣливали и съ фланговъ. Австрійцы, не долго думая, рѣшили, что попали въ мѣшокъ и немедленно выкинули флагъ.

— Вообразите, каково было наше положеніе, — говоритъ офицеръ, сидѣвшій со стрѣлками въ окопѣ, — ротѣ приходилось брать въ плѣнъ цѣлую дивизію. Въ первый моментъ мы растерялись, но потомъ потребовали оружія и стали пропускать вереницы австрійцевъ черезъ наши тощіе ряды.

Когда австрійскихъ офицеровъ спрашивали въ штабѣ, почему они сдались, они увѣряли, что приняли роту и отрядъ ополченцевъ за два корпуса. Впрочемъ, есть основаніе не вѣрить признанію австрійцевъ; большинство изъ нихъ покидало крѣпость съ твердымъ рѣшеніемъ не возвращаться подъ охрану ея фортовъ: офицеры шли на вылазку съ денщиками, а тѣ несли чемоданы.

При вступленіи нашихъ войскъ, крѣпость вовсе не производила впечатлѣнія голоднаго блокированнаго города; правда, магазины пустовали, въ кафе поили жидкимъ кофе безъ сахара, но оставалось еще много лошадиныхъ труповъ, за хорошія деньги можно было найти коровье мясо, у всѣхъ крестьянъ была скотина и домашняя птица. Изголодавшимися выглядѣли только славяне, въ то время, какъ нѣмецкіе и венгерскіе офицеры бравировали шикарнымъ видомъ и даже поражали упитанностью.

Во время блокады они привыкли къ спокойному бездѣлю и изоцрялись въ остроуміи, заполняя глупыми выдумками свое сидѣніе въ крѣпости. Однажды, напри мѣрь, былъ устроенъ своеобразный конкурсъ: по рукамъ ходили объявленія съ предложеніемъ преміи тому, кто разрѣшитъ четыре неразрѣшимыхъ задачи: «найдетъ въ Перемышлѣ человѣка умнѣе Кусманека, отыщетъ въ крѣпости десять невинныхъ дѣвушекъ и столько же здоровыхъ офицеровъ, и укажетъ пять врачей не-евреевъ».

Офицеры пускались на всякія выдумки, мастерили кольца и зажигалки изъ русской шрапнели, сочиняли вздорныя донесенія, а въ квартирѣ начальника инженеровъ нашли картину, изображающую снятіе первой блокады Перемышля. На первомъ планѣ красуется Кусманекъ, окруженный генералами, а внизу подъ балкономъ благодарная толпа жителей. Вглядываясь въ картину, можно различить, что она вся склеена изъ отдѣльныхъ

фигуръ и составлена изъ какой-то погребальной процесіи. На балконъ приклеили Кусманека и генераловъ, а траурную колесницу замѣнили подставными фигурками. Подобныя картины распространялись для поддержанія духа въ крѣпости.

* * *

Счастье войны... Оно неуловимо и трудно сказать, въ чемъ его первопричины. Техника, подготовка, стратегія, искусные военачальники или офицеръ, сплеховавшій во время атаки, или, наконецъ, не выдержавшая огня рота солдатъ.

Если все техника, то почему въ одномъ мѣстѣ побѣждаютъ, а въ другомъ, съ тѣми же пушками и пулеметами принуждены отступать. Почему со своей техникой нѣмцы не взяли Варшавы осенью 1914 года, а вошли въ нее лѣтомъ 1915 года послѣ нашихъ неудачъ на Дунайцѣ.

Много вопросовъ напрашивалось, когда русскіе солдаты оставляли Карпаты. Почему раньше австрійцевъ били, какъ хотѣли, а тутъ вдругъ у нихъ напоръ появился и они стали насъ одолѣвать. Вѣдь не только потому, что рядомъ съ солдатомъ изъ Вѣны и Будапешта пошелъ пруссакъ или баварецъ.

Вѣроятно, во всемъ происходившемъ можно найти болѣе глубокія причины, въ которыхъ долго и спорно будутъ разбираться послѣ войны.

Причины причинами, а солдатъ остался все тѣмъ же, такъ же отсиживалъ подъ заливавшимъ окопы свинцомъ, оставался въ нихъ навѣки засыпанный землей, такъ же ходилъ въ штыки и такъ же въ самозабвеніи смиренно и свято умиралъ.

Я видѣлъ ихъ, когда они шли въ горахъ, бѣлые отъ мелкой пыли, словно обсыпанные мукой, снимали шапки, вытирали катившійся каплями потъ, присаживались въ канаву, чтобы передохнуть и опять вставали, догоняли свою роту и шли долго, утомительной, жаркой дорогой.

Я ихъ видѣлъ на львовскомъ вокзалѣ, немногихъ возвращавшихся изъ боя, и все такихъ же тихихъ и спокойныхъ, такихъ же непонятныхъ и близкихъ, особенныхъ и простыхъ. Безъ геройства, безъ ужасовъ рассказывали, будто о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ.

— Четверо сутокъ сидѣли подъ огнемъ... Заваливало окопы, избороздило, перевернуло насыпи, — нельзя было сходить даже за водой...

Такъ было на Санѣ, такъ было потомъ на Наревѣ, когда нѣмцы кидались въ обходъ Варшавы, такъ было подъ Вильной, гдѣ они пытались насъ окружить.

— Почему ты черный? — спрашиваютъ солдата, съ лицомъ, вымазаннымъ землею, въ помятой грязной шинели.

— Засыпало его, — объясняетъ товарищъ, — часа четыре лежалъ закопавшись, потомъ отрыли, налили въ ротъ воды... Смотришь, понемногу и отошелъ.

— Такъ, что ли?

— Точно такъ, четыре часа... Спасибо товарищамъ, откопали...

И больше ни слова. Просто и ясно. Разъ такъ случилось — значить, иначе и быть не могло... И говорить нечего. Когда летятъ снаряды и сыплетъ смертельнымъ горохомъ пулеметъ, когда окопы и люди сравниваются съ землею, когда надо стоять, защищая оставшихся за твоей спиной, — тогда некогда разсуждать.

Я видѣлъ ихъ въ послѣдніе дни Львова, когда онъ какъ-то сразу опустѣлъ, сталъ дѣловымъ и скучнымъ.

Первыми выѣхали чиновники, наиболѣе паническіе, потомъ русскіе торговцы, устроившіеся было совсѣмъ по домашнему.

Оставались военные и тѣ немногіе, кто ходилъ за солдатомъ.

Австрійскій Львовъ * ожилъ. Нѣмцы ходили съ расплывшимися отъ удовольствія лицами.

— Слышали, черезъ два дня... — таинственно сообщаетъ нѣмецъ другому у Краковской гостиницы.

— Къ намъ, во Львовъ...

— Ну, конечно... Такъ близко стрѣляютъ.

А съ боковой улицы, какъ на зло, доносится солдатская пѣсня.

Разговоръ прерывается. Настораживаются.

— Опять...

— А вчера, видѣли сколько...

У трамвая стоитъ женщина съ ребенкомъ.

— Пане, гдѣ поѣзда въ Россію?

Они шли и ѣхали на возахъ, спасаясь отъ встрѣчи съ возвращавшимися австрійцами. Испуганные, наскоро распродававшіе скотъ и имущество, отдававшіе за безцѣнокъ лошадей, терявшіе дѣтей, падавшіе отъ усталости.

На вокзалѣ суета и давка. Одинъ за другимъ отправляютъ поѣзда. На площади передъ вокзаломъ и на пер-

ровѣ сидятъ крестьяне съ узлами, съ ребятами, совѣмъ такіе же, какъ и наши.

Блѣдная женщина, какъ-то опустившаяся, будто совѣмъ потерявшая силы, беспомощно гладитъ по русой головѣ мальчика.

— Одинъ остался... Отца давно забрали, а остальные померли...

Смотритъ на мальчика, въ его растерянные голубые глаза и во взглядѣ ея столько любви и безнадежности, что, кажется, отними ребенка и порвется ея жизнь.

— Продали, все продали, — не то съ удовольствіемъ, не то съ досадой сообщаетъ старикъ своему односельчанину, — за пятнадцать рублей и телѣгу и двухъ лошадей, все разомъ... Дай Богъ самимъ дотащиться...

Подаютъ поѣздъ и всѣ кидаются въ вагоны.

Въ одинъ нагружаются цыгане, черные и красочные, съ яркими бусами, съ монистами и лентами, шумные и говорливые. Молодая цыганка реветъ, не желая уѣзжать и ее свои силой вталкиваютъ въ вагонъ. Рядомъ, вмѣстѣ съ крестьянами устраивается семья чиновника: два гимназиста, барыня съ кардонками, будто подгородняя дачница. Безъ конца галичане, въ сѣрыхъ свиткахъ и соломенныхъ шляпахъ, старики, старухи, дѣти и тутъ же раненые солдаты.

Я. Окунев

ВОИНСКАЯ СТРАДА

УЛЫБКА РОДИНЫ

— Газеты принесли! Газеты! И письма есть!

Мы ждали сапоговъ, которые истрепались въ конецъ, благодаря длиннымъ переходамъ по гористой мѣстности; ждали обозовъ съ провіантомъ и полушубками, — во всемъ этомъ была большая нужда: наступили холода, по ночамъ подмерзала вода въ траншеяхъ, нельзя было ничего достать кругомъ даже за большія деньги, потому что деревушки и села были пусты и частью сожжены артиллерійскимъ огнемъ или самими жителями. Обозы прибыли. Тутъ были и новые сапоги, и свѣжіе, уютно пахнувшіе овчиной полушубки, и консервированное мясо, мука, картофель, даже солонина была. Къ вечеру мы будемъ сыты, обуты, одѣты, а теперь, забывъ о томъ, о чемъ мы

мечтали на привалахъ, въ землянкахъ и сырыхъ траншеяхъ въ морозныя ночи и дождливые дни, забывъ обо всемъ, мы радостно передаемъ другъ другу.

— Лагову письмо. А ты?

— Везетъ же человѣку! Мнѣ ничего нѣтъ.

— Давай, братъ, газетину сюда. Что про насъ пишутъ?

— Эй, кто грамотей побойчѣй, выходи! Газету читать полагается бойко, ровно звонъ къ заутренѣ.

— Вишь, что моя то писать. Заморозки у насъ въ Уфимской губерніи пошли. Никогда того не было, чтобы въ сентябрѣ морозы.

Кашевары берутся у котловъ и завистливо поглядываютъ на сгрудившихся въ кружки солдатъ, читающихъ вслухъ свои письма. Безконечныя поклонныя свояковъ, сосѣдей и кумовьевъ, извѣстіе о томъ, что «наша бурая ожеребилась, а жеребеночекъ дошлый вышелъ», сообщеніе о томъ, что «у Маньки-то нашей зубы прорѣзались», — всѣ эти чужія, далекія радости и печали изъ глухихъ уфимскихъ и вятскихъ деревень, прилетѣвшія сюда за тысячи верстъ, глубоко волнуютъ и трогаютъ всѣхъ. Мы давно знаемъ «бурю» Лагова, о которой въ прошломъ письмѣ писали, что она «ходитъ жеребая», намъ знакома и Манька, меньшая дочка пензенца Липатова, которой въ прошлый разъ «ни въ сть какая хворь прикинулась», мы знаемъ и кума Демьяна Вострова, и Ивана Кислоокова, низко кланяющихся костромичу Дикову, они намъ близки, они родные, наши, и каждая корявая буква, съ усиленіемъ и напряженіемъ всѣхъ умственныхъ способностей выведенная на сѣрой бумагѣ солдатскаго письма, намъ дороже и ближе, чѣмъ тысячи прочитанныхъ книгъ, ничего сейчасъ, на войнѣ, не говорящихъ нашему уму и душѣ.

Вдали гудятъ выстрѣлы. Вокругъ взрыта буграми земля, подняты ея желтыя подпочвенныя слои вертѣвшимися здѣсь вчера волчками снарядовъ, которыми непріятель засыпалъ наши позиціи. Глубокія траншеи съ выемками для командировъ черезъ каждыя пять сажень, съ извилистыми ходами ко второй линіи окоповъ, напоминаютъ о дняхъ и ночахъ, проведенныхъ здѣсь подъ громъ канонады. Мы сидимъ на днѣ траншеи. Надъ нами съ обѣихъ сторонъ ея глянецвитыя отъ сырости, глинистыя снизу и черныя наверху стѣны. Выше — навѣсъ изъ прилаженныхъ другъ къ другу круглыхъ бревенъ, еще пахнувшихъ смолою, покрытыхъ землянымъ настиломъ. Въ амбразуры

между бревнами видно чистое, голубое небо, такое ясное и такое веселое, что не вѣрится, будто здѣсь война. И запахъ свѣже отесаннаго дерева, и тяжелый, но ароматный какъ весною, духъ, идущій отъ сырости земли, и синіе просвѣты неба, и то, что «бурая ожеребилась», и что «у Маньки прорѣзаться стали зубы» — такъ далеко отъ войны, такъ чуждо ей, какъ и новыя лица солдатъ, которые кажутся сейчасъ совсѣмъ не солдатами, а пензенскими и тульскими мужичками, собравшимися всей артелью послушать, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ хорошаго.

Грамотей Соколовъ, запинаясь на трудныхъ согласныхъ сочетаніяхъ и произнося «хлангъ» и «бронерный ахтомобиль», вмѣсто «флангъ» и «бронированный автомобиль», звучно отчеканивая непонятныя ему иностранныя слова и значительно поднимая палець тогда, когда они встрѣчаются, читаетъ вслухъ газету.

— Читай по порядку все, — говорятъ солдаты.

Соколовъ прочитываетъ заголовокъ газеты, условія подписки, адресъ редакціи, прочитываетъ объявленія о дешевой распродажѣ, о похоронахъ какого то коммерціи совѣтника Ильи Ильича Панафидина, анонсы театровъ и кинематографовъ. Его слушаютъ съ напряженнымъ интересомъ, вставляя замѣчанія, вродѣ:

— Эка, все какъ было!

— Помалкивай, сорока, не мѣшай!

— Ловко это: «Амаля и такъ далѣ».

— Ха-ха-ха! Здорово ловко, — смѣются по поводу стихотворнаго объявленія о папиросахъ и табакѣ какой-то фирмы.

Соколовъ отворачиваетъ внутренній листъ газеты и принимается за текстъ. Здѣсь солдаты становятся серьезнѣе, улыбки гаснутъ, хмурятся лбы, слушаютъ съ раскрытыми ртами сухія телеграммы штаба, описанія боевъ, отрывистыя свѣдѣнія объ атакахъ, и, когда прозвучитъ названіе знакомой мѣстности, говорятъ:

— Это про насъ.

Газета прочитана до конца, включая и подпись редактора и издателя. Солдаты съ видимымъ сожалѣніемъ расходятся по своимъ угламъ.

Когда читали сначала письма, а потомъ газету, слушали всѣ, даже добровольецъ инженеръ Струтинскій, которому едва ли интересно было знать о томъ, что у кого то сбѣжала бѣлая левретка съ чернымъ пятнышкомъ на лбу. Дѣло вовсе не въ этой левреткѣ, не въ бурой, оже-

ребившейся кобылѣ и не въ газетныхъ описаніяхъ атакъ, въ которыхъ мы участвуемъ и о которыхъ здѣсь никогда не говоримъ: дѣло въ томъ, что это писали т а м ъ, что это оттуда, и каждый изъ насъ по своему хочетъ пожить воображеніемъ т а м ъ, забыть хоть на время объ окопахъ, о траншеяхъ, о развѣдкахъ и атакахъ.

Оттуда привезли сапоги. Солдаты собрались у вожовъ, поднимаютъ края брезента, заглядываютъ подъ него.

— А сапоги важнѣйшіе! — восхищается солдатикъ Костровъ.

— Со скрипомъ, надо полагать.

— Походишь въ нихъ, — заскрипятъ.

— Примѣрай, ребята, кому какіе.

Началась возня, смѣхъ и шутки. Бородатые и усатые солдаты, вчера бывшіе въ бою, завтра ожидавшіе новаго боя, нѣсколько мѣсяцевъ шедшіе по полямъ Галиціи и стойко вынесшіе всякія походныя испытанія, обстрѣлянные, обтерпѣвшіеся, сейчасъ, почти на виду у непріятеля, играютъ какъ дѣти, смѣются безъ всякаго повода, только потому, что радостно и празднично на душѣ: вѣдь сегодня были письма, сегодня мы были «дома», мы увидали, что тамъ думаютъ о насъ, что бурая кобыла — это между прочимъ, все равно, какъ прицѣвъ въ пѣснѣ, котораго не выкинешь, а главное — мы, только мы.

Къ свѣжему запаху земли и сосновой смолы, къ клочкамъ неба, просвѣчивавшимъ черезъ амбразуры навѣса, къ веселому говору, хохоту, хлопанію другъ друга по спинамъ прибавилось новое: запахъ ли кожи, идущій отъ новыхъ сапогъ и вызывающій въ воображеніи городскую площадь съ ярмарочными рядами въ весенній журчащій и смѣющійся день? спокойный ли полдень и надежда провести ночь внѣ зоны боя, отодвинувшагося отъ насъ къ З.? Нѣтъ, не то. Это новое, какъ улыбка знакомаго лица, пахнуло на насъ роднымъ и близкимъ изъ писемъ, изъ газеты, съ банальныхъ, ляпидарныхъ статей о насъ; родину почувствовали, родину, пришедшую къ намъ въ окопы и заглянувшую въ наши души.

Канонада ближе и ближе. Вокругъ нашей линіи окоповъ идетъ большое сраженіе, разгораясь все сильнѣе, разворачиваясь шире, то приближаясь до такой степени, что къ намъ залетаютъ снаряды, то удаляясь настолько, что перестаютъ быть слышны пушечные выстрѣлы. Утромъ бой былъ слѣва отъ насъ, къ полудню онъ передвинулся къ лѣсамъ, находящимся противъ насъ, сейчасъ

заходящее солнце бьетъ намъ въ глаза снопами веселыхъ лучей, и тамъ на западѣ курятся бѣлые дымы канонады.

— На зарѣ быть жаркому бою, — говоритъ кто-то среди солдатъ сочнымъ, необыкновенно громкимъ, среди общаго шума и смѣха, голосомъ.

— Брось, Гавриловъ. Сапоги на тебѣ новы?

— Новы. Ну?

— Кашу лопаль?

— А ну, да.

— Со свѣжинкой?

— Съ говядиной. Ну?

— Нукай. Сытъ, обувь, носъ въ табакъ, а чему быть завтра, будемъ тогда толковать. Давай бороться.

— А ну тя! Свалю вѣдь.

Гавриловъ славится своей силой и гордится ею, но борется неохотно. Въ бою онъ рисуется своей силой и бьетъ больше кулакомъ, ломить грудью, чѣмъ штыкомъ и прикладомъ.

Какъ два быка, нагнувъ головы и глядя другъ на друга исподлобья, стоятъ рядомъ Гавриловъ и Тренковъ. То Гаврилов, сдѣлавъ свирѣпое лицо, толкнетъ локтемъ Тренкова, то Тренковъ, хмуря свои бѣлесыя брови и ерша усы, двинетъ въ бокъ Гаврилова. Борьба еще не началась, но солдаты подзадариваютъ другъ друга, какъ два пѣтушка, собирающіеся подраться.

А неподалеку отъ нихъ лихо отплясываетъ какой-то мудреный танецъ пѣвунъ и танцоръ Малыго, высоко подбрасывая ноги въ новыхъ сапогахъ, поводя плечами и покрикивая тонкимъ фальцетомъ:

— И-ихъ, этакъ, вотъ какъ!

И борьба, затѣвающаяся между Тренковымъ и Гавриловымъ, и лихая пляска Малыго, и непонятная, невѣдомо откуда пришедшая ко всѣмъ бодрая радость — все это оттого, что привезли намъ оттуда, изъ дому улыбку и сказали о томъ, что насъ не забыли.

Уже свечерѣло. Уже громче и чище звуки выстрѣловъ въ вечернемъ чистомъ воздухѣ. Два солдата, Киренковъ и Платовъ, сочиняютъ въ углу письмо въ стихахъ:

— Ты дражайшая жена,
Не тужи, что ты одна...

— Надо бы о Георгіи вернуть, да какъ бы это полочѣе, — говоритъ Платовъ, недавно представленный къ Георгію за развѣдку.

— Анадись ротный сказывалъ, будто мы долго тута постоимъ, — слышится свѣжій въ вечерней синевѣ голосъ Норова, лѣниваго и «ледацаго» солдатака.

— Такъ вотъ, братцы мои, приходитъ это къ яму аглицкій царь и говоритъ: «Сукинъ ты сынъ!» — рассказываетъ кто-то сказку.

— Ловко, — ободряютъ слушатели оборотъ рѣчи «аглицкаго царя».

— Бумъ! — врывается въ тишину и мирную бесѣду неожиданный грохотъ одинокой пушки.

— Бумъ, бумъ, — просыпаются другія пушки.

И скоро впереди окоповъ загораются знакомые намъ сполохи выстрѣловъ, бороздя потемнѣвшее небо яркочерными полосами огня.

— Енъ началъ, — тихо говорятъ солдаты.

Никому не хочется нарушать сладкую тишину, наступившую послѣ радостнаго хлопотливаго дня. То мы были какъ будто дома, а теперь опять война и привычное для уха громыханіе разрывовъ.

— Буде, ребята, буде. Вылазъ, — слышится ласково начальственный голосъ взводнаго. — Становись въ окопы, енъ начинается атаку.

Очарованіе развѣяно, но въ душѣ осталось бодрое и сильное чувство.

— Ну и зададимъ мы ему трепку!

— Эхъ, размахнуться бы въ рукопашной, братцы. Я бы таперь...

— Куды ему супротивъ насъ! Шутка ли всѣмъ народомъ идемъ.

— Вѣрно!

Если бы сейчасъ, подь обаяніемъ такого хорошаго дня, бросили этихъ Гавриловыхъ и Тренковыхъ, этихъ пензенцевъ и вятичей, въ атаку, они также радостно, какъ только что плясали, боролись, смѣялись и возились другъ съ другомъ, ринулись бы въ бой и сложили бы свои головы, кому судьба ее сложить.

— Стрѣля-ай!

— Та-та-тахъ! — крикнули винтовки.

И бодро, и весело нащупывали затвор ставшіе вдругъ ловкими и проворными корявые пальцы.

НА ВОЙНѢ.

— Лѣвъѣ, ноль, ноль три! Трубка сто двадцать девять. Огонь! — кричитъ со своей вышки маленькій, забрызган-

ный съ ногъ до головы грязью артиллерійскій офицеръ Б.

— Ноль, ноль три, трубка сто двадцать девять. Огонь! — повторяетъ другой голосъ команду внизу.

— ...Сто двадцать девять. Огонь! — звучитъ передаваемая команда въ третій разъ дальше.

— Трубка... Огонь! — едва слышно доносится еще разъ повторяемая команда съ края батареи.

— Тр-р-ахъ! — сочно вырывается ударъ первой пушки.

Шесть орудій, одно за другимъ посылаютъ ядра въ неприятельскую позицію, и не успѣетъ замолкнуть отзвукъ удара послѣдней пушки, какъ снова громыкаетъ первая крайняя, и снова слышится съ вышки отчетливо сухая формула:

— Ноль, два! Трубка сто двадцать девять. Огонь!

Маленькій волшебникъ, сидя съ цейсовской трубкой на своей вышкѣ, ежеминутно фукая въ озябшія руки, бросаясь отъ бусселей къ микрофону, посылаетъ туда, за восемь верстъ отъ насъ смерть. Въ сухомъ сочетаніи цифръ, въ дробной формулѣ, которая приказываетъ пушкамъ выбрасывать многопудовыя ядра, — могучая сила. Этой силой, разрушающей бетонный блиндажъ защитныхъ укрѣплений непріятеля, сметающей въ одно мгновеніе валики окоповъ, вырывающей десятки людей изъ строя, калѣчащей, кромсающей, превращающей человѣческое тѣло въ брызги крови и мозга, управляетъ скромный офицеръ Б., въ помятой фуражкѣ, въ сбитыхъ сапогахъ, заросшій сбившимися въ войлокъ клочьями давно не бритой, давно не расчесываемой бороды.

И всѣ, начиная съ командира батареи, съ нашего ротнаго командира и кончая тулякомъ — солдатомъ Паховымъ, — всѣ забрызганы грязью, давно не видѣли мыла, гребешка, щетки, не смѣняли бѣлья; рубаха на тѣлѣ заскорузла и сдѣлалась твердой, какъ кожа, лица обвѣтрились и покрылись корою, уши больше не гложутъ отъ непрестаннаго грохота канонады, не умолкающей ни днемъ, ни ночью; сердце не бьется тревожно ни подъ огнемъ, ни въ атакѣ, когда опьяненные, озвѣрѣвшіе отъ крови и жажды жизни люди бьютъ штыками, прикладами, впиваются другъ другу въ лицо ногтями, зубами, рвутъ, дробятъ и крошатъ.

Двадцатый день мы сидимъ въ передовой цѣпи окоповъ въ качествѣ прикрытія. За это время мы успѣли привыкнуть ко всему. Когда, гудя, какъ трамвай, шипя и разбрасывая во всѣ стороны огонь, къ намъ летятъ

«чемоданы»; когда шестидесятипудовый снарядъ, ринувшись внизъ, роетъ огромную воронку, забрасывая насъ щебнемъ, осколками и землей, мы не бросаемася ничкомъ, не бѣжимъ за прикрытіе, не мутится уже умъ отъ ужаса. Намъ все равно. Страхъ перегорѣлъ въ душѣ, смерть перестала пугать насъ.

— Ложись! — командуетъ взводный.

Если бы не команда, никто и не подумалъ бы лечь; вѣдь, каждый день, въ продолженіе двадцати сутокъ, мы видимъ надъ своими головами летящіе снаряды. Звенить и воетъ шрапнель, тоскливо поютъ пулеметныя пульки и летятъ густыми роями вокругъ насъ, сухо гремитъ картечь — и такъ все время, даже тогда, когда мы спимъ или, вѣрнѣе, дремлемъ, сидя на корточкахъ и зажавъ между колѣнъ стволы винтовокъ.

— Какого черта — ложись! — ворчитъ Пахомовъ. — Она тебя и лежачаго достанетъ.

— Глянь-ка, братцы, правофланговая опять закурила! Эка лупить какъ!

Молчавшая съ утра батарея на правомъ флангѣ открыла ураганный огонь по деревнѣ К., занятой непріателемъ. Изъ-за лѣса поднялись два столба буро-багрового дыма, грохнулъ тяжелый, раскатистый ударъ, отъ котораго у насъ осыпалась съ вала земля, къ самому небу взметнулся пламенный вѣеръ, а въ немъ замелькали какіе-то черные комья: это взорвали фугасами непріятельскую траншею, подрывшись подъ нее сапой, и взлетѣли вверхъ вмѣстѣ съ камнями и кусками бетона клочья челоуѣческаго мяса.

— Правѣе! Трубка сто тридцать. Прицѣлъ. Огонь! — спокойнымъ, ровнымъ голосомъ командуетъ офицеръ и потираетъ озябшія руки.

— Фр-р-р! — разлетается широкимъ вѣеромъ пулеметный свинець, сухо стуча по камнямъ, подскакивая и звеня о стоящія позади насъ подбитыя два орудія.

— И-я-и! — поетъ шрапнель.

— Ломакинъ, дай-ка, братъ, огня! — кричитъ среди грохота, воя и свиста Пахомовъ присѣвшему подлѣ него на корточки товарищу.

— Сѣрнички вышли, — такъ же крича, отвѣчаетъ Ломакинъ.

— Вотъ тебѣ и разъ! Что же это будетъ? Курить охота.

— Отъ шрапнели закури, — смѣется Ломакинъ.

Кто-то протягиваетъ Пахомову коробку со спичками.

Онъ съ наслажденіемъ закуриваетъ и начинаетъ мечтать вслухъ.

— Эхъ, кабы теперь щей, да съ капустой, а то который день всухомятку жремъ. Кабы въ щахъ да говядины кусокъ, да кабы...

— У, чортъ, замолчи тамъ! А то и вправду жрать захотѣлось. Эка расписываетъ какъ!

Если бы нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ кто-нибудь сказалъ, что я, какъ и Пахомовъ, буду мечтать о щахъ съ капустой и что это будетъ верхъ моихъ мечтаній, я не повѣрилъ бы. И инженеръ-доброволецъ Лисицынъ, бросившій все и отправившійся на войну, и бывшій адвокатъ Полозовъ, зарабатывавшій десятки тысячъ въ годъ, а теперь затягивающійся махоркой, и не умѣющій считать дальше ста полудикарь вятичъ Сироткинъ — всѣ стали похожими другъ на друга, всѣхъ сравнила война. Мы шли на войну вмѣстѣ съ вятичами, съ орловцами, съ пензенцами, мы вмѣстѣ съ ними бились у Равы, они умирали на нашихъ глазахъ, и съ моей души, съ души Лисицына и Полозова слетѣлъ покровъ какой-то, забыты книжныя формулы, утеряны умныя слова, а осталось то, что есть въ душѣ у этихъ золотобородыхъ мужиковъ, отъ которыхъ пахнетъ овчиной, потомъ и отсырѣвшимъ солдатскимъ сукномъ. Здѣсь, на войнѣ, я не могу представить себѣ, что есть гдѣ-нибудь на свѣтѣ такое мѣсто, гдѣ не воютъ снаряды, что есть люди, которые не думаютъ объ атакахъ и бояхъ, что есть что-нибудь, покрывающее своей значительностью, своей важностью, своимъ жуткимъ, трагическимъ смысломъ эти мечты о горячихъ щахъ подъ дождемъ пуль и снарядовъ.

Ночью будетъ атака, и поэтому намъ дали роздыхъ. Мы ушли въ землянки, и наканунѣ боя каждый занялся своимъ дѣломъ. Сюда доносятся глухіе раскаты взрывовъ и частая трескотня смѣниваго насъ резерва. Съ толка землянки, куда мы забрались ползкомъ, осыпается земля. Свѣчка, воткнутая въ горлышко бутылки, раза два погасла отъ взрывовъ подлѣ землянки.

— Ой-ой! — доносится чей-то стонъ изъ траншеи.

— Чего орешь?

— Нога-а! Ой, нога-а! — тянетъ надрывающій душу голосъ.

— Терентьевъ! Эй, Терентьевъ! Куда пропалъ, чортъ! Давай бинты. Копыткова кокнуло.

— Нога-а!

Пахомовъ прислушивается къ стону Копыткова и недобрительно качаетъ головою:

— Чего скулить? Стонать — бабье дѣло. Коли болить, скажемъ, дюже болить — ты зубы стисни да помалкивай. А то смущенье наводитъ. Такое уже твое званіе — солдатъ, чтобы терпѣть, а то воетъ.

Лисицынъ пишетъ письмо подъ диктовку Лагова, маленькаго, круглаго солдатака-вологодца.

— Супруга наша любезная, Марья Тимофеевна, — раскачиваясь, диктуетъ Лаговъ. — Нынче ночью мы идемъ на большое страженіе. Живу ли быть, Господь вѣдаетъ, а умирать надо за престоль-отечество. И вотъ, супруга наша любезная, продай овчины. А дешевле, чѣмъ по три рубля не отдавай, потому овчины нонѣ въ цѣнѣ. Ежели что со мною будетъ, не тужи, Маруся: присягу принималъ. А насчетъ овчинъ, гляди, чтобы не продешевить. Молись Богу, угоднику Серафиму свѣчку поставь, потому страженіе будетъ лютое...

Адвокатъ Полозовъ сидитъ подлѣ свѣчки и, скинувъ сорочку, съ увлеченіемъ охотится за «внутреннимъ врагомъ». Вольноопредѣляющійся Поповъ чисто-начисто выбрился и теперь бреетъ солдата Молоствова, который даже покрываетъ отъ удовольствія:

— Вотъ такъ ладно! Закрутимъ усы колечками — молодцомъ.

— Чего лакъ наводишь? Може убьютъ? — говоритъ Строевъ, завидующій тому, что Молоствова бреютъ, а онъ небритый.

— Умирать надо чисто, — отвѣчаетъ Молоствовъ. — Вотъ я еще водицей волосы помочу да причешусь: гляди, нѣмецъ, каковъ я есть доблестный воинъ Иванъ Никифоровичъ Молоствовъ!

Въ сосѣдней землянкѣ затѣяли пѣсню. Запѣваетъ чей-то бархатный грудной голосъ:

Никанорова солома,
Никанорихина рожь,
Никанору говорилъ —
Никанориху не трожь.

Нѣсколько голосовъ бойко и дробно подхватываютъ:

Ты раздѣлывай корзинки,
Раскомаривай куски;
Теща по міру ходила —
Отморозила чулки!

Въ пѣснѣ нѣтъ смысла, но въ голосахъ, поющихъ ее подь грохотъ канонады, чувствуется широкая, могучая сила, та сила, которая захватила меня, Полозова, Лисицына и Попова и сроднила насъ съ тульскими и пензенскими мужиками.

— Эка наяриваютъ какъ! — улыбаясь, говоритъ Пахомовъ.

Адвокатъ Полозовъ бросилъ свою охоту и, подойдя къ Пахомову, хлопаетъ его по плечу.

— Что, умирать будемъ, братъ? — говоритъ онъ.

— Чего умирать? — отвѣчаетъ Пахомовъ. — Расчехвостимъ мы ихъ, и дѣлу конецъ.

— А ежели они насъ расчехвостятъ?

— Вотъ такъ на: сказал! Не можетъ этого быть.

— Почему?

— Потому — мы народъ, сила, а они вахлаки. У насъ въ бой идутъ — пѣсни поютъ, а у нихъ волками воютъ. Стало быть, наша возьметъ.

Ты играй, моя тальянка,
Съ колокольчиками,
Ты пляши, моя милая,
Съ поговорочками —

доносится изъ сосѣдней землянки.

— Выходи, ребята, — приказываетъ взводный, заглядывая къ намъ въ землянку.

Ночь темна и сыра. Съ неба падаетъ мокрый снѣгъ и таетъ, не долетая до земли. А небо все залито кровью, все вспыхиваетъ зарницами — отблесками выстрѣловъ. И попрежнему, передаваясь четыре раза, слышна команда неутомимаго офицера, сидящаго на вышкѣ.

— Ноль и два, трубка сто двадцать восемь. Огонь!

Онъ сидитъ тамъ съ утра, съ ранней зари, подь снѣгомъ, на вѣтрѣ, въ сырости, и все однимъ и тѣмъ же дѣловито-напряженнымъ голосомъ отдаетъ приказанія.

Насыпь у нашего окопа снесена пулеметнымъ огнемъ. Солдаты работаютъ шанцевыми лопатками, набрасывая подь пулями свѣжую насыпь. Гдѣ-то влѣво отъ насъ устанавливаютъ новыя орудія, и слышно, какъ кричатъ нѣсколько голосовъ:

— Ну-ка, наддай разомъ — у-ухъ!

— Плечомъ напри, этакъ!

— Ну-ка, понатужься, у-ухъ!

Какъ будто дѣлаютъ мирную тяжелую работу.

— Тра-та-та, — звучитъ гдѣ-то сигнальный рожокъ.

Въ этомъ стальномъ звукѣ могучая сила. Она поднимаетъ насъ изъ траншеи, смыкаетъ наши ряды и, снова повторившись въ иномъ сочетаніи, заставляетъ насъ рассыпаться по-одиночкѣ.

— Тра-та-та!

Ни я, ни Лисицынъ, ни Пахомовъ, не нашли еще имени тому, что слило насъ въ одно общее и цѣлое, но въ душѣ нѣтъ протеста, въ душѣ тихая радость, а временами въ ней вспыхиваетъ ошняющій порывъ. И тогда, какъ у Равы, мы идемъ въ бой съ гимномъ, съ молитвой «спаси, Господи». И я, аналитикъ и позитивистъ, и Лаговъ — простая душа, и еврей Нахмансонъ, вѣрующій въ иного Бога, всѣ мы поемъ одну молитву:

— Спаси, Господи, люди Твоя!

Здѣсь нѣтъ ни интеллигентовъ, ни мужиковъ, ни атеистовъ, ни вѣрующихъ людей; здѣсь одно многоголовое тѣло — народъ, здѣсь могучая слитность, въ которой нѣтъ ни вѣръ, ни націй, ни личныхъ убѣжденій. У всѣхъ одна большая правда, и эта правда отменяетъ прочь мою вѣру, мои принципы, мои взгляды, поглощая всего меня и растворяя мою личность въ морѣ Пахомовыхъ и Лаговыхъ.

— Тра-та-та, — звучитъ сигнальный рожокъ.

Я припадаю къ землѣ рядомъ съ Молоствовымъ. Съ неба падаетъ большой огненный комъ: это снарядъ. Онъ упалъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ, и я слышу, какъ онъ шипитъ, чувствую исходящую отъ него теплоту.

— «Кого? Его или меня?» — думаю я. — «Ахъ, если бы не меня!».

— Тр-р-ахъ! — слабѣе, чѣмъ я предполагалъ, ударяетъ разрывъ.

— «Не меня, не меня, а его!» — радостно проносится въ моемъ умѣ.

— Хлю-хлю, — клопочетъ въ горлѣ у Молостова. Онъ подымаетъ голову, хочетъ сказать что-то. — Хлю-хлю... Умираю... Хлю! Напиши... хлю... брату. Вологодской губерн... село... Хлю-хлю...

Онъ опускается на землю и, вздрогнувъ, свертывается калачикомъ.

— Назадъ, — тихо передаетъ команду невѣдомо откуда взявшійся взводный.

Мы уходимъ опять въ траншеи, чтобы начать новую атаку при помощи сапы, т. е. роясь въ землѣ и насылая впереди себя насыпь за насыпью...

Л. Войтоловский

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

...Проходим, не останавливаясь, через Синяву — небольшой городок с мощеными улицами и обгорелыми домами.

Накануне здесь был отчаянный бой. Груды камней и почернелые пни еще дымятся. Весь город наполнен удушливой гарью. Среди пустынных улиц нелепо торчат уцелевшие столбы электрических фонарей. Мы сворачиваем в боковые кварталы, где под красными черепичными крышами приютились веселые одноэтажные домики с высокими крылечками, при виде которых мучительно хочется плюнуть на всю эту грязь и свинство и хоть на час забыть о парках, обозах, проволочных заграждениях, валах и окопах... Но, кажется, путь наш не окончится и через двести лет.

* * *

...Новое сегодня, такое же мокрое и тяжелое, как вчера. Время тянется медленно, а дни бегут быстро. Думается весь день, а мысли не вяжутся... Душа развилась на две посторонние половинки: телесная, «военная» жизнь протекает совсем отдельно от умственной работы. Думаешь в старых интеллигентских тонах: о насилиях, о духовном общении, о Болконском из «Войны и мира» и всякой яснополянской метафизике, а живешь походами, грязью, дождем и мечтой о хлебе и отдыхе. Да изредка ловишь на ходу случайные реплики:

— Галиция есть страна бедная и скучная, — иронически философствует Кузнецов.

— На що було воевать, — слышу я сзади голос моего Копалова. — Як у них ни земли, ни хлеба нема?..

— Эге! — подсмеивается Семенych, — сменим соху на блоху... А для ча воюем, про то у начальства спроси...

«Воюем»-то мы, впрочем, только с насекомыми на ночлегах. Во все остальное время грузнем в грязи, ломаем оси, тебьем замученных лошадей и виртуозно ругаемся...

...Увы! Все то же. Длинно, голодно, грязно. Ни войны, ни людей, ни природы, — одна только хлюпающая грязь. Грязные дороги, грязные одежды, грязные разговоры. Голодаем как собаки. Со всех сторон гремит и грохочет.

Ночлеги хуже застенков. Пахнет портянками и коровьим хвостом. Как о счастье мечтаешь о двух вещах: о возможности выспаться и о людях. Кругом все солдаты, поручики и прапорщички. Густая смесь матерщины, брюзжания и похабного анекдота. Все злы, угрюмы, и больше всех ругается командир. Со вчерашнего дня вся дивизия сблизилась, и командир бригады идет вместе с нами. Оттого на ночлегах стало еще теснее. С бою берется каждая халупа. Чердаки, сарай, столоты — сплошь завалены пехотинцами. Говорят, в Лезахове, куда мы сейчас идем, вся наша армия получит трехдневный отдых. И все стремятся опередить других, чтобы отвоевать ночлег поудобнее. Наш командир бригады давно уже выслал квартирьеров вперед с определенным приказом:

— Прямо за шиворот хватай и вон выбрасывай всякого, а чтобы мне квартира была!.. Поцимаешь?

Базунов, командир бригады, чрезвычайно яркая личность. При телосложении грузного и солидного полковника, с сильным, крутым характером и ловкой учтивостью он отличается злым и насмешливым складом ума. Чистоплотный, изящный и разговорчивый, он мастерски владеет фразой и одним словом умеет показать под увеличительным стеклом самые запретные тайны. При этом он чудесный актер, никогда не теряющий выдержки. А быстрые черные глаза и скорые движения придают его словам подвижной, неуловимый и чрезвычайно колкий характер. Базунов — большой любитель полемических поединков. Никогда он не выходит из себя и никогда не соглашается с противником. Его постоянным партнером в спорах является прапорщик Кузнецов.

— Для чего мы лезем в эту вонючую Галицию? — сквозь зубы роняет командир.

— Приказано! — бросает реплику Кузнецов.

— Все паны да паны, а на шестьдесят верст кругом ни одного клозета, — продолжает в своем обычном задорно-полемическом тоне полковник. — Конечно, долг перед обществом обязывает нас приносить себя в жертву. Но если вся их Галиция ломаного гроша не стоит и завоевывать ее имело бы смысл только в том случае, если бы она кончилась Тихим океаном, в котором можно было бы омыться от всех ее грязей...

— Обиднее всего то, — иронизирует Кузнецов, — что люди, имевшие неосторожность родиться в этой гиблой стране, не отдают ее даром и дерутся за свою жалкую Галицию, как французы за свой Париж.

— В том-то и дело, — подхватывает Базунов, — что в нашем походном вояже больше блох и поносов, чем в Галиции...

...К вечеру 10 сентября мы, наконец, добрались до Лезахова. Версты за четыре от села нас встретили квартирьеры с печальной вестью:

— Ни одной халупы в селе. Бабы криком кричат, детишки плачут, для господ офицеров и то места не будет.

Грязная большая деревня оказалась сплошь забитой войсками. Парку пришлось остановиться далеко за селом. В сопровождении солдат мы двинулись на поиски ночлега. В деревне творится что-то страшное. По земле буквально шагу ступить нельзя: всюду следы войны, ужасные следы человеческой скученности и солдатской дизентерии. Ноги вязнут в вонючей гуще. По земле ползет тяжелый, смрадный туман, от которого во рту образуется гнилая, гадкая ржавчина, доводящая до рвоты. В хатах плач и скрежет зубовой. Солдаты забрали все снопы из амбаров и, накрыв ими грязную землю, расположились тут же вповалку, так тесно, что и пешеходу негде пройти.

— Вот так отдых! — слышится с разных сторон. — По времени пришелся.

— А в окопах лучше? — ворчит недовольный голос.

— А ты в окопах сидел? — иронизирует другой.

— Ай нет? Расскажи другому-кому.

— Сам себе рассказывай, — гудит насмешливо иронист.

— В окоп залез — все забыл: душа в кулачок сжимается.

А на отдых итти — в гною потеть — я на такое не согласен...

-- Не согла-асен, — передразнивает сердитый голос, — не согласен... Война — не жена: со двора не прогонишь...

Обошли всю деревню из конца в конец. Добрались до коменданта. Просям указать помещение... Негде.

— Помилуйте, — разводит руками комендант, — здесь вся дивизия сгрудилась, с артиллерией, с парками, лазаретами. От пехоты дохнуть нельзя. Разве ж так можно?

— Ничего не понимаю! — фыркает командир Базунов.

— И понимать нечего: ка-бак! — выразительно отчеканивает комендант.

— Со мною штаб, канцелярия, денежный ящик, — недовольным тоном перечисляет Базунов. — Разрешите, по крайней мере, в ваших сенях расположиться.

— Не могу, господин полковник; никак не могу: под канцелярию генерала Заслова отведено...

Мы снова плетемся по колено в навозе и нечистотах, вбираем в легкие тошнотворный туман, впитываем в уши скверную, вязкую матерщину, заглядываем в каждую дверь, бранимся, ругаемся, проклиная войну, начальство, Россию и, наконец, узнаем от ординарцев, что где-то, в какой-то хатке приютился десяток пехотинцев.

— Гони их, прохвостов, в шею, — свирепо командует Базунов.

И вот мы блаженствуем... Шестнадцать русских интеллигентов лежат на грязном полу, довольные тем, что им удалось выгнать под осенний дождь в холодную ночь десятка два мужиков, почему-то обязанных по первому нашему слову итти вперед по галицийским полям, прорывать австрийские заграждения, гнать перед собой эскадроны венгерцев, колебать, опрокидывать и потом валиться в грязи и мерзнуть под открытым небом...

...От духоты, от храпа, от спертго воздуха и низкого потолка не могу уснуть. Выхожу на воздух. Темно. Моросит осенний дождик. Кругом на земле лежат солдаты вповалку, и в темноте раздается тяжелый храп. Брожу, как в кошмаре, почти не сознавая, как очутился я здесь, полуодетый, задыхающийся в темную ночь, в вонючей австрийской деревушке, где сотни русских людей для чего-то мерзнут и дрогнут под дождем. Где-то вдали солдаты жгут костер, и видно, как усатые лица озаряются вспышками соломы. Подхожу к костру. В бурке, в исподнем белье и без фуражки. Солдаты прикидываются, что не узнают во мне офицера, и продолжают громко беседовать.

— Ну, мы народ простой, глупый да темный. Ужели ж у начальства часу нет подумать, как же так цельную дивизию в одну деревню согнать?.. Ну, как тут отлить ребята?.. Пойти — спросить у начальства. Может господа охвицеры знают; а я, брат, не выучен землякам в рожу гадить.

— Чего зря глотку дерешь? — раздается солидный голос.

— Одни мы, что ли, такие? Весь мир война рушит...

— Рази ж он войну корит? На войну наплевать.

— Ты скажи, ребята, спокайся, от начальства польза какая — толком не доберу. От начальства порядок нужен аль нет? А где он, порядок? Хуже зверья живем... Я не противу присяги — ни боже сохрани. На то и солдат в окопе, чтобы ружьем трещать... Сколько мне жизни всей осталось — не знаю, только дай ты мне в тепле обогреться хоть самую малость...

— Братцы мои кровные, — звенит из темноты молодой голо-

сок, — и за что это мужику такое житье на свете? Живем — не жители, умрем — не родители. А всё мы, всё мы. И хлебушка — наш, и отечеству служим, и силу тратим; сколько одной этой чести за день отдашь... Ничего не понять кругом...

— Вишь, гусь какой!.. Чем мозги утруждает! Погоди, пуля научит. Попадешь в окопы — спокаешься...

— А чего мне каяться? — звенит прежний голос. — Греха на мне нет. Душа у меня такая: чужое хоть серебром да золотом убери — не надобно. Разве ж я тут своей охотой сижу? Страх держит... Наше дело обозное...

— Пужливый, — презрительно произносит рослый солдат. — Смерть от страха ослобонит!.. Раз умирать; а что здесь, что в окопе — все едино. Греха нет?.. За одним за богом греха нет. Нет, брат, один грех на всех. А ты думаешь — одному забава да песенки, а другому грех да запрет. Погоди — придет такой час — спросят! Почнешь совестью мучиться!.. И немец, и хрэнцуз, и мужичок обозный, и прапорщик с гусельками — всей ценой-то за грех платить будем... Ой-ой!.. Может, который в окопе как гад живет, который больше всех изобижен, тому Христос по милости и отпустит. Скажет: зачем на муку послали?.. Он муку принимал, душу умирал...

— Верно! — гудят сочувственно пехотинцы. — В окопе какой уж грех? И на грех не тянет...

— Живем как святые угодники, — весело откликается кто-то, — вшей давим да бога славим...

Трещали сучья в костре. Густо стелился дождик. Воздух был спертый и противный до того, что голова кружилась. Крутом виднелись кряхтящие, скорченные фигуры, и слышались сердитые солдатские шутки:

— Но-но! Не чепай руками г...!

В голове у меня вертелась, кажется, чеховская фраза:

«Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и скоро настанет время, когда Ротшильд-ду покажутся абсурдом его подвалы с золотом...»

Милая русская маниловщина, милые русские мечтатели! Обнесенные высокими стенами красивых фраз и рифмованных строчек, что знаете вы о жизни, о мужике, о бородатых солдатах и очаровательных бритых полковниках?..

...Проснувшись рано, чуть свет, и не умывшись, без чаю все бросились в ближайшей еловой лесок. С версту шли полем, сплошь превращенным в хлев. Но в ельнике вздохнули свободно. Сухо, тепло, привольно. И чисто. Нет следов человека. Вдали сияют леса. За лесами туманятся Карпатские горы. Лег на землю, подставил голову осеннему солнцу и лениво слушал, как доносится гул орудийной пальбы из-под Ярослава.

Девочки хлопочут, работают. Офицеры едят, пьют, валяются. Вдали ворчат пушки.

...Как-то совсем неожиданно на глаза мне попался клочок газетной бумаги. Чувство брезгливости боролось во мне с нахлынувшим любопытством; я не видал уже газеты около трех недель и колебался недолго. В этом обрывке «Нового Времени», которое я узнал по шрифту, я прочитал о смерти штабс-капитана Нестеро-

ва. Было подробно описано его столкновение в воздухе с австрийским летчиком, завершившееся гибелью обоих пилотов. Сообщение было несколько раз перечитано вслух, и все заговорили о Нестерове.

— Таких днем с огнем поискать, — сказал командир, — а у нас зря погиб, безо всякой пользы...

— Почему же русские люди идут зря на погибель? — с раздражением спросил Кузнецов.

— Очень просто, — с обычной язвительной запальчивостью ответил Базунов. — Вы знаете, для чего русскому человеку грамотность?.. Чтобы вывески на кабаках да на трактирах читать. Только! Это Гоголь выдумал про Петрушку, будто ему самый процесс чтения нравится. Никогда он, подлец, в книжку не заглядывает и ничем, кроме трактирных вывесок, не интересуется. Такая вот грамотность держится у нас от мужика до самого высшего начальства. Везде у нас — только вывеску подавай, а на все остальное наплевать... Вы вот думаете, что России больницы да школы нужны, да всякие свободы, а я вам говорю: кабак ей нужен; и пускай вся земля провалится, лишь бы кабак цел остался...

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят свое равнодушие и свою собственную лень оправдать, — вмешался ветеринарный доктор Костров. — Деревня спит, в городах водку жрут, и живет в России хорошо только кабатчикам да конюкрадам... Это, Евгений Николаевич, чепуха; я сам в деревне служу. В России, может, больше порядочных людей, чем на всем свете.

— Видали мы этих «порядочных», — зло рассмеялся Базунов, — не успели в Галицию войти, как всю ее до нитки обобрали.

— Война — это не наше дело, — в раздумье протянул Костров. — Мы — пахари...

— Пахари!.. Мы эту сказку знаем, — снова загорячился Базунов. — Народ — пахарь! Как же! Да разве мужик наш умеет пахать? Дайте немецкому мужику наш русский чернозем — чего-чего он не натворит на нем. Весь свет прокормят!.. Мужик наш и земле жаден, а работать не знает, не умеет... У нас все так: солдат гибель, а армии нет: «пахарей» ваших миллионы, а хлеба нет. Каждые пять лет — бунты и недороды, голодный тиф и холера. А в газетах кричат: земские начальники виноваты. А разве земские — не те же мы? Земские начальники — не пахари?..

— Э, что там не говорите, — отбивался Костров, — не только кабатчики и земские начальники в России, в конце концов есть у нас и Нестеровы...

— В том-то и дело, что ни к чему они нам... падающие звезды: мелькнули — и след простыл.

— Да, — грустно протянул Кузнецов, — был Нестеров, летал, устремлялся к небу, и нет его. А нечистоплотных животных — хоть пруд пруди...

— Вообще, господа, немец ли, англичанин, а нет более грязного животного, чем человек. Возьмите корову, лошадь — их навоз не пахнет. Даже дух приятный идет. А где ступил наш брат, высшее существо, все он тебе загадит — и дома, и природу, и душу человеческую...

...В Лезахове еще больше народу, чем вчера. Некоторые части ушли, но на их место пришли другие — с той же проголодью, вонью, матерщиной. Они кричали, бранились, жаловались и, влипая в эти смердящие сгустки двуногих и четвероногих тел, тут же устраивались на ночлег. В столах давно уже не было ни снопа, и для костров и подстилок солому срывали с крыш.

Поздно ночью я снова вышел из нашей душной халупы. Ночь была светлая и тихая. Отчетливо горели грустные сентябрьские звезды, и небо казалось таинственным и бесконечно далеким. Я пробирался между храпящих тел к яркой полосе горящего костра. На каждом шагу с земли поднимались черные тени и швыряли злые слова в пространство:

— Дорвались до отдыха!..

— Как свое дело военное справляем!..

— Сбили всех в одну кучу конючую. Вот-те и дневка!..

— Уж попадись который из них... Семь смертей подлецу сделаю, кишки зубами вырву!..

Временами слышалось более испуганным шопотом:

— Господи, вот доля-то!.. Ровно суд страшный...

И среди этих проклятий и причитаний я услышал радостный голос Коновалова:

— Ваше благородие, я для вас квартиру найшов!

— Где?

— Тут близко, у дивизионном лазарете.

Спустя полчаса я находился в просторном и теплом помещении, отведенном под лазарет третьей гренадерской дивизии, в обществе пяти очень милых врачей, еще и не думавших ложиться, несмотря на позднее время.

— Ужинать будете? — весело встретили меня.

— Знаете, после такой прогулки не нагуляешь аппетита.

— Как хотите, — улыбнулся молодой бритый доктор.

Из соседней комнаты доносился звон посуды и веселый шум голосов.

— Много вас здесь? — спросил я.

— Человек пятнадцать. Пять врачей с главным, смотритель, чиновники, гости. Помещения у нас много. И коек сколько хотите. Вот только полов нет.

В двух соседних комнатах полы действительно оказались разобранными и рамы выставленными. Говорят, ксендз, занимавший эту квартиру, собирался рыть в этих комнатах подвал для вещей, да не успел, — удрал. Внутренняя стена была также наполовину разобрана — неизвестно кем и для чего. Вероятно, солдатами на топливо. Посреди правой комнаты стояли три узких стола, за которыми в перебитых креслах, на колченогих стульях и опрокинутых чемоданах сидело человек десять. Сквозь раскрытый настежь пустой шкаф с выбитой задней стенкой виднелся огромный фруктовый сад, весь усыпанный соломой, на которой ночевали, как и всюду, сотни солдат. В комнате было довольно светло, не душно и, несмотря на полный разгром, казалось очень уютно. Я вскоре привык к этой обстановке, освоился и осмотрелся. Вдоль стен стояли низкие санитарные койки, а возле них и на них валялись в хаотическом беспорядке на голой земле сундуки, чайники, бурки, фуражки и всякий офицерский багаж. Каменные стены были по местному обычаю оклеены расписными обоями: по желтоватому грунту нарисованы были гигантские красные цветы. В одном углу стол с кофейником, этажерка с кни-

гами, швейная машина и на ней раскрашенная гипсовая статуетка Христа в хитоне, нижний край которого был весь ярко-красный, а верх — белый с зеленой каймой. Статуетка дрожала и покачивалась от каждого толчка. Придумали забаву: каждый по очереди подходил и вертел ручку швейной машины, как шарманку, причем статуетка ежеминутно могла опрокинуться и разбиться.

— Хотим вогнать в гроб Христа, — пояснил мне один из словоохотливых хозяев.

Во второй (левой) комнате было темно и пусто, и только где-то в углу стоял разбитый рояль, на котором невидимый тапер без устали барабанил марш за маршем. Музыка не мешала, однако, громкой беседе за столом, и громкая беседа ничуть не смущала увлеченного музыканта. Из беседы этой я почерпнул бесконечное количество новостей. Я узнал, что дивизия наша, подкрепленная третьей гренадерской и 46-й дивизиями (в составе Малороссийского, Сибирского, Астраханского, Фанагорийского, Варшавского, Глуховского, Белогорийского и Пултусского полков) входит в состав осадного корпуса, предназначенного идти на Краков. Узнал «из достовернейшего источника», что Перемышль сдан без боя, что Чехия и Венгрия отложились и переходят на сторону союзников, а Франц-Иосиф умер около трех недель назад, но это еще скрывают от населения. Узнал, что австрийские солдаты отказываются драться и не дальше как два дня назад пятьдесят тысяч австрийцев сдались в плен без боя. За столом вообще царило чрезвычайно воинственное и победоносное настроение, а ночью, уже крепко уснув, я внезапно был разбужен нервным боевым окриком:

— Скорей, скорей... За кустиком, за кустиком пулемет!..

В комнате было темно, все спали и во сне, метаясь и дергаясь, продолжали жить походной жизнью. Это не было обычное сонное бормотание. Орала полным голосом как наяву:

— Осторожней, канава!

— Опомниться, опомниться не давай!..

— По мостику опасно!

Я прислушивался минуты две и уснул. Неожиданный треск опять разбудил меня. Было уже светло. Прямо передо мной на чемодане валялись осколки разбитого Христа. Многих из вчерашних гостей уже не было в комнате. Ночью был получен приказ перейти из Лезахова в Волю Быховскую.

* * *

Два дня бились у переправы через Сан. Мосты оказались ненаведенными, и части разбрелись по окрестностям. Все мы испытывали необыкновенный наплыв раздражения, так как имели полную возможность убедиться, до чего бессмысленно было наше трехдневное пребывание в Лезахове. Три дня мы чахли и задыхались по нелепому предписанию начальства в вонючей и зараженной яме, камня на камне не оставили от большого села, тогда как стоило только оглянуться, чтобы увидеть, в каких прекрасных условиях могла бы дивизия провести свой кратковременный отдых. Предоставленные самим себе, все части отлично расположились. Наша бригада заняла огромный фольварк, где мы буквально блаженствуем со вчерашнего дня.

Сегодня после долгих скитаний я впервые проснулся в светлой нарядной комнате. Туманное дымчатое утро, мечтательный

парк, гибкие козочки. Совсем как в польском романе. Какое это великое наслаждение проснуться в чистой постели и чувствовать себя в Европе, среди книг и журналов. Весь день провожу в библиотеке, над входом в которую прибито распростертое чучело орла. Читаю и перелистываю журналы и погружаюсь в нравы и вкусы далеких, но близких мне людей, вся жизнь которых кажется мне чудесной, очаровательной и полной высокого смысла. Во всем доме нет ни живой души, кроме наших солдат и офицеров, и это придает нашему убежищу оттенок таинственности. Мебель, картины, книги, — все обвеяно стариной и невыразимо сладким покоем.

...После обеда я услышал тяжелый треск в парке. Группа наших артиллеристов подпиливала большую сосну. Тут же валялось несколько срубленных деревьев.

- Зачем вы деревья валите? — обратился я к ним.
- Гати стелить, дорогу мостить приказано.
- Кто приказал?
- Их благородие, г. Ефименко.

Я пошел к офицерам. На все мои протесты они лениво отмалчивались, и здравый смысл мне подсказывал, что поведение мое глупо. Решить иначе нельзя, — бревенчатую мостовую нельзя построить иначе как из деревьев. Пришлось мириться с фактом. До вечера гремели топоры, потом... потом исчезло орлиное чучело над библиотекой, исчезли многие книги, ковры, картины, круглое зеркало со стены, этажерочки, статуетки, портьеры, хрустальные ручки на дверях, заперстрыли пятна на стенах — словно краска, выступившая на месте украденных вещей, — и комнаты осиротели.

Полночи провел я без сна. Я знал, что завтра мы отходим отсюда, и вместе с нами навсегда уйдут из этого тихого гнезда вся переходившая из поколения в поколение безмятежность и радость; науки, искусства и поэзия — раздавленные нашим солдатским сапогом. Следующие части так же, как и мы, сознавая всю беспечность своего мародерства, добьют и принизят до конца вчерашний уют и красоту. Ибо такова война, таков рецепт разрешения человеческих споров. Мир знает теперь только три спасительных слова: умерщвлять, разрушать, хоронить.

...На войне, как и всюду, всю черную работу делает мужик. Мужик стреляет, мужик ковыряется в земле, прокладывает дороги, пилит, режет, копает, мосты наводит, в пекарне и на кухне работает, а начальству остается только вовремя приказывать. Но и эту несложную обязанность оно несет весьма неисправно. В пяти местах мы пробовали переходить через Сан, и всякий раз выходила какая-то непонятная задержка. Наконец мы в Воле Быховской. Это большая чистая польская деревня, окруженная лесами и полем. Мы чувствуем себя здесь как на даче. Погода отличная. Солнце весело светит. Чистенькие домики, окруженные садовками и цветниками, дышат миром, спокойствием и достатком. Стодолы завалены душистыми стогами сена. Стадами гуляет скот. Птицы сколько угодно. Все мы полны здесь нежности, тишины и сытого довольства собою.

...Но скоро снова стало тесно и грязно. Ворога настужь, двор завален навозом, на заборах солдатские портянки: со всех сторон

облепили нас пехотинцы с обозами. Но от хорошей погоды и от отдыха легко и празднично на душе. Ночуем в палатках.

— Она палатка, а всякой избы лучше, — говорит нравоучительно Лактионов, паш плотник.

И действительно, есть в этих ночевках под открытым небом своя особая прелесть. Забравшись с раннего вечера под палатку, я наблюдаю за людьми. Вокруг костров сидят бородатые дядьки и среди тишины, стоящей над сонными полями, ведут медленные беседы. Говорят о волшебниках, о предчувствиях, о кладах. Протяжно, спокойно и с твердой верой перебирают солдаты всякие небылицы, а другие с умилением слушают эти странные разговоры. Кажется, что Россия все такая же огромная и неведомая Скифия, какой была она пятнадцать веков назад, и живут в ней все такие же варвары, и не стали они ни па йоту умней, и в душе их все та же лютая темь и невежество и дремучая ненависть.

Орудий не слышно. Теплая, теплая погода. Пахнет сосной и сеном. Мягко потрескивают костры, и отчетливо слышатся спокойные голоса.

Почти каждый вечер фантастические беседы заканчиваются заушным пением, в котором грустное украинское «гирко плаче» все время перемешивается с ярославским «долю горькую проклинаячи». И еще долго сквозь сон мне слышатся меланхолические жалобы на «житье бесталанное», на «победную головушку» и на «смертный час во чужой стране»...

* * *

...Опять дорога, опять кусают блохи, опять обрастаем грязью и насыщаем воздух раскатистой русской бранью. Долгие походы попеременно с дневками, полными табачного дыма, бесконечной «девятки», разговоров о жепщинах, сквернословия и закусок. Мы уже привыкли к этим внезапным бытовым переменам. Сегодня русинская деревушка, грязная, бедная, хлебосольная, без скатертей, без полов, без отхожего места. Завтра — опрятность, возведенная в культ, польская сдержанность и неизбежные кружевные бумажки с разрисованной надписью над входом: *Czystosc jest ozdoba domu*¹. Миновали грязный пустынный городишко с мудрым названием: Медынья Лапцуцка; прошли через большое фабричное местечко Жолынья, наполненное казаками, испуганными евреями и сожженными домами; переночевали в крохотной, жалкой деревушке, битком набитой детьми, стариками и калеками, где нет ни соли, ни дров, ни спичек, где люди не знают, куда бежать, и только в испуге повторяют, что кто-то палит кругом местечки и села, а кто — «не вемы».

К вечеру следующего дня мы, злые, усталые и голодные, очутились в Гродиско и расположились в баронском замке. На всю бригаду имелся всего один огарок свечи, и в огромных пустынных комнатах, холодных, разграбленных и мрачных, сердце щемло от тоски.

Среди сора и грязи мы раскинули наши койки и почти сейчас же уснули. Кажется, я давно уже смотрю на вещи суровыми, трезвыми глазами. Но когда я проснулся рано утром, мне все же сделалось больно за нашу дикость в темноту, за тупое, бесцельное и скотское бессердечие наше. Мы ночевали в будуаре.

¹ Чистота — украшение дома.

На полу валялись сотни записочек и писем, написанных по-французски и по-польски, листы из альбомов, груды фотографических карточек, измятых, надломленных, — вещественные доказательства нашего вандализма. Дорогие обоим испещрены были похабными надписями. Пустые шкафы были загажены. Две задние комнаты вместе с ванной превращены были в сплошную клоаку, а тут же валявшиеся клочки солдатских писем пластично рассказывали всю многоликую природу нашей армии: были письма на русском, татарском, грузинском, еврейском и польском языках... Остатки старинной мебели, роскошные цветы и множество иностранных книг были свалены в кучу, и в ту минуту, когда я смотрел на них, они представлялись мне еще более покинутыми, чем их хозяева, рассеявшиеся по ветру.

Куда деваться от плачущих баб? Идешь полем — бабы с воплями отступают; ваши жолнеры (солдаты) последнюю картошку выкопали, и теперь хоть ложись да помирай со всеми детьми. Сидишь дома — прибегают с жалобой бабы, кричат, рыдают: ваши солдаты сорвали замки, вытащили последний сноп из стопошки; чем жить, что сеять весной будем?.. Раздаешь рубли и полтинники; но ведь это только увертки, желание купить себе дешевое право быть безучастным к бабыным слезам. Одна баба решительно заявила фуражиром: хоть пятьдесят рублей платите за сноп — не продам, а силой возьмете — себя и вас спалю!..

И вот мы гамлетизируем с утра до ночи. Быть или не быть? Брать или не брать? Снилось ли нашим батальонным командирам, что они превратятся в Гамлетов и что им придется беседовать с галицийскими Офелиями на интеллигентско-лирические темы? Но, говоря по совести, к датскому Гамлету судьба была более снисходительна. Гамлет хнычет и двонется, но ему совершенно не приходится иметь дело с фактами. Вместо фактов перед ним бледный свет луны, и витает он все время в парах философии. Тень убитого короля наводит здесь самый большой ужас. А перед нашими полковыми и батальонными Гамлетами в днем и ночью стоят голодные и холодные призраки, которые тут же на месте превращаются в визгливые факты. Визжат и бравятся бабы, режут детишки, режут кабаны, которых режут голодные солдаты, режут и бьются в предсмертных корчах зарезанные коровы — эта фатальная «остатия крова», из-за которой пролило столько крови и слез по всей Галиции...

— Бросим сначала взгляд на обстановку наших героев, — пронизирует по обыкновению Базунов. — В голодное село приходят голодные резервы. Через четыре часа они будут брошены в наступление. Должны ли мы их накормить? Разумеется, так. Ибо раз мы воюем, то мы хотим победить, а раз мы хотим победить, то солдаты должны быть сыты. Но этому противятся строптивые галицийские бабы. Правда, у них имеются для этого свои бабын резоны. Если мы заберем у бабы последнюю корову, то ее детишки останутся без молока и помрут, быть может, голодной смертью. Но ведь одной коровой я могу накормить целую роту солдат, из которых двадцать процентов будут через четыре часа убиты и ранены. Имею ли я право лишить солдата последнего утешения на земле — умереть по крайней мере сытым. И как я должен, по-вашему, поступить, когда стоит передо мной голый вопрос: рота солдат или одна галицийская семья?.. А строптивые галицийские бабы, которые понятия не имеют ни о статистике, ни о стратегии, орут благим матом: «остатия крова...» — Или вот

вам еще одна картинка. Армию бросают на Краков. Чем раньше она придет, тем скорее Европа осуществит свои политические планы. Конечно, армия валит напрямик через поля и огороды. При этом не только топчет и уничтожает все колесами обозов и пушек, но и пользуется всем, что попадает на пути для собственного прокормления. Допустим, что каждый из нас возьмет только ежедневно по одной репке и по одному судочку картофеля. Не больше, не меньше. А ведь в нашей армии триста тысяч солдат! Вникните в дело, и вы увидите, что мы совсем уж не такие низкие люди, как внушают о нас своей «матке бозке» галлийские бабы...

...Перехожу от костра к костру. Всюду песни. Всюду, как древние колдуны, сидят и лежат всклокоченные, бородатые мужчины, курят, прихлебывают, плюют и роняют веские фразы:

— Достукались... Довоевались... Теперь пойдем Галлию мять...

— Навалился тыщей орудиев — ревет и ревет. А у нас — руки две только да штык...

— Не осилить яво, не одолеть...

— В корыте моря не переплыть...

— С шилом на медведя — где уж?

— Вот уж верно, что молодец из пушек палить... Только против песни нашей русской — ку-уды!.. Хоть с немцем, хоть с какой угодно нацией спорить буду, — говорит мягкий голос и заливается щемящей, раздольной песней:

Во густых хлебах яма черная,
Во сырой земле — гробова доска...
За бугром лежу, да за насыпью.
Эх, ты лютая невтерпеж-тоска...

Уж как первая моя думушка —
Ты чужа земля, австрияцкая,
Во густых лесах, во глубоком рву
Ты черна земля — яма братская.

Тяжче грому бьют пушки медные...
Во глубоком рву — ясны оченьки,
А вторая, ох, дума-думушка —
Ты развеи тоску, темна ноченька.

Градом-гучею пули стелются
По над кручею над карпатскою.
Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.

Во глубоком рву наточу я штык,
Во глухи леса уйду-скроюся...
Да тому ль дружку-штыку вострому,
Я спокаюся и откроюся!..

...Подхожу к большой группе. Гудит хриплый бас вперемежку с певучим тенором. Издали узнаю Асеева. Живописным табором разлеглись лошади у коновязи. Искрами разлетается пламя костра.

— Живой огонь сквозь щель пробивается, — долетает голос Асеева. — А ты — знай, молчи...

Стою, скрытый сосной. Близ самого пламени лежат чужие солдаты. Много наших артиллеристов. Выделяется лохматая, грузная фигура огромного пехотинца в папахе. Шагах в двух от него, спиной к костру, сидит бледный Асеев.

— Видать штунда, что ль? — бросает хрипло огромный пехотинец, остро блеснув глазами из-под бровей.

Потом, затаившись цыгаркой, говорит раздраженным голосом:

— Кажна тварь о беде своей жалуется, кажный пес скулебный — пни его — заскулит не в очередь. А мужик все молчит, да к богу жметя...

Говорил он окая и крепко выдавливая слова.

— А ты в бога веруешь? — строго взглянул Асеев.

— Бога не замай, — лениво сплюнул гигант, — на ём свой венец, не солдатский.

— Погоди... Словам не хрыскай, — заволновался Асеев. — Я тебе простое слово скажу, а ты вникай... Скатилаь слеза хрустальная — и нет ее. Ан слеза-то в сердце горит... Так вот оно все в саду божием: звездочка гинула, закатилась — солнышком выглянула... Перстамп господними деются дела человеческие. Не по нашему хотению — по воле божией... А ты, знай, жи в и, да душу во цвету хорони...

Пехотинец приподнялся на локте и выпечатал с угрюмой усмешкой:

— И воробей-то живет, да житьишко его какое: ножками по снегу бегаёт и г... клюёт.

— А ты терпи, — воскликнул Асеев. — Терпи!.. Христос терпел — и нам велел.

— Штунда! Дуй ты горой, — захохотал пехотинец. — Христа до нашего брата ровнят!... Н-не, ты псалтырь не топчи. Христово дело одно: Христос для души порядку по земле ходил. А — то наше дело, не небесное... На котором грехи как воши сидят... Я, может, сотню душ загубил... Своей мы, что ль, охотой на такое дело пошли?..

— Правильно! — загудело из темноты. И как блохи запрыгали острые словечки.

— В бою — не в раю...

— Вперед себя под пулю Христа не пошлешь...

— Наше дело — солдатское: стой столбом, да сполняй, что велят...

— Чу-дак ты, Асеев, — юлой врывается беспечный смешок Блинова. — Христос в небесах, а солдат в окопе — на голой ж... Нацепикось Христу винтовку, легко ли ему будет?..

— Дело! — крикают наши артиллеристы.

— Уж ты, Асеев, не спорься. В нашем деле псалтырь твоя дешево стоит.

— Э-эх! Оглушило вас дó-глуха пушками, — вскочил, весь трясясь, Асеев. И понес певучей, волнующей скороговоркой, по-секантски, с истерической дрожью выкрикивая отдельные слова.

— Гудит людям смерть словом огненным:

«Стоят ворота железные, замками замкнутые. Велики ворота как грех греховный... Глянь, мужик, поверх силы твоей сермяжной... Ходит война, зубами в тело вгрызается; рупит земли крещеные... Опился лю т человеческой крòви людской. Земля

от крови паром пошла. Не стало свету божьего в глазах, найти себя не знает мужик. Стучит рукой смертшю в ворота железные. Ая ворота голос душе подают...».

— Заплясал, как дождь на болоте, — смеясь вставляет Блинов.

Но Асеев не слышит. Он весь трясется в экстазе:

— Сбереги душу свою во цвету — и травинка садом покажется. Закажи...

— Полно ты врать, Асеев! — обрывают солдаты.

— Одна тут у всех за казачица: на нее все работаем...

— Мол-чальник, разрази твою душу! — сердито сплевывает пехотинец.

Ворочаясь как медведь, он встает во весь свой гигантский рост, швыряя отрывистые слова вперемежку с матерщиной:

— Не!.. Намолчались!.. Будя...

И, тяжело ступая, уходит в темноту, откуда попрежнему несутся волны глубокой человеческой грусти.

Я подхожу к Асееву. Он бледен. Губы его трясутся.

— Хорошо поют, Асеев, — говорю я ему.

Асеев вслушивается, пристально смотрит на меня, и на лице вдруг появляется привычная, светлая улыбка:

— У земли — ясное солнце, у людей — ясное слово... Песней душа растет.

* * *

...Отступаем. Идет переправа через Вислоку. Бомбы, аэропланы, шрапнели. Далеко, далеко полыхает дымное зарево: это горит зажженная снарядами Пильзпа. Узкая, гибкая Вислока быстро катится между песчаных берегов. Чтобы укрыться от аэропланов, мы дожидаемся в лесу. Война ворвалась сюда внезапно. Грохот орудий еще не успел разогнать ни птиц, ни зверей. Везде — и в реке, и в траве, и на деревьях, и на горячем песке — бьет кипучая жизнь. Звонко кукует весенняя кукушка. Сидят, нахохлившись, на ветвях большие сивоворонки. Две сойки ведут отчаянный бой с назойливой вороной. Реют пестрые бабочки. Стрелой мечутся сероватые рыбки в холодной воде. Из густого кустарника выскочила белогрудая лисица и мелькнула желтым хвостом. Все охвачено напряжением. Только на лицах людей какая-то мрачная усталость. Нервы издерганы. Армию утомили, замучили эти бесцельные переброски. Мотанье с места на место без плана, без смысла.

У переправы весь корпус. Каждая пядь земли здесь густо забита артиллерией, пехотой и кавалерией. Войска стоят вперемежку: тяжелые орудия вместе с пехотой, госпиталями, обозами, парками и понтонами. Командиры парков исхлопотали разрешение укрыть зарядные ящики в лесу. Четыре парковые бригады — двенадцать парков — сгрудились в небольшой лесистой ограде в ожидании очереди. Все рвется перейти через мост, чтобы убраться из полосы обстрела. Орудия безумно грохочут. Аэропланы кружатся и гудят, как назойливые шмели. Сейчас мы наблюдаем их из укромного уголка. Наблюдаем с каким-то хищным любопытством. Германские альбатросы, когда летят высоко, поразительно похожи на птиц. Крылья и хвост окрашены в сероватую краску, а тело ярко белеет. На такой высоте их можно принять за аистов. Но эти аисты беспрерывно швыряют бомбы. Из нашего

лесного убежища мы видим густые, черные, дымные столбы и слышим грохот зенитных¹ пушек. На этот раз дежурные орудия стреляют довольно метко. Шрапнели рвутся у поса аэропланов. Небо усеяно пушистыми дымками. Но аэропланы как ни в чем не бывало кружатся над переправой. Крылья у всех приподняты кверху. Это значит, что они нагружены бомбами и сбросят их сегодня немало. Грозные воздушные хищники внушают неизмеримую ненависть и тревогу.

— Вот подбить бы его, мерзавца, — яростно шипит Базунов, — поймать и повесить пять раз или зажарить на медленном огне! Знал бы он, как бомбы бросать...

Сейчас у всех на душе какое-то откровенное облегчение от сознания, что сегодня мы вне обстрела. С кровавадой заинтересованностью наблюдаешь эту борьбу между землей и небом из защищенного места. И эта подлая радость защищенного зрителя еще крепче подчеркивает каждому, до чего остра и мучительна ежедневная жуть, с которой шагаешь под рвущимися бомбами и прислушиваешься к вою шрапнелей, сыплющихся сверху и ведущих к не меньшим жертвам, чем вражеские аэропланы.

— Ох, прямо извели аэропланы, — жалуется солдат. — Днем всем здоров, а ночью спать не могу. Пулемета не боюсь. Против пулемета в атаку ходил. А как загудит сверху, — всю ночь потوماюсь. По тридцать штук за день над нами летают.

— Бомбы, что ли, боишься?

— Не от бомбы страшно — ероплана боюсь. И во сне еропланы вижу.

Другие еще беззащаднее выражают свою растерянность и токсильные думы:

— Тоска, ваше благородие. Под грудями болит, давит. Всего тебя жмет, простору нет. По телу словно бы вся эта передвижка идет. От головы до низу переливается, стискивает, ровно бой по телу идет.

— По дому скучаешь?

— Нет, я об семье не забочусь. Потому, я у отца живу. Только так — никакой радости нет... Намаешься за день, ляжешь в десятом часу, — не спится. Все тоска грызет. Про непорядки наши все думаешь...

Тяжелое уныние закралось в душу солдата. Не страх, а печальное раздумье. Аэропланы, осадные орудия, немецкие хитрости и глупая бестолочь начальства поразили армию мертвящей апатией. Конечно, всех больше задержана пехота. С мучительной болью в глазах жалуется мне, сидя на пне и прижавшись щекой к винтовке, солдат стрелкового батальона:

— Нет во мне ни страха, ни радости. Мертвый я будто. Ходят люди, поют, кричат. А у меня душа ровно ссохшись. Оторвало меня от людей, от всего отшибло. И не надо мне ни жены, ни детей, ни дому, — вроде как слова такие забыл. Ни смерти не жду, ни бою не боюсь...

— С чего же это с тобой приключилось?

Солдат долго молчит. Он смотрит на меня пустыми, холодными глазами и крепко стискивает винтовку:

— Обмокла кровью душа... И пошли думки разные... И до-

¹ Пушки, направленные дулом кверху, для обстрела аэропланов.

прежь такое думалось, да знал я, что ввек на такое не пойду... А теперь — нет во мне добра к людям...

...Орудия гремят и гремят. Наши тяжелые пушки снялись с позиции и стали под Райовцом: бояться, чтобы они не достались противнику. Обозы уже двинулись к Холму и тарахтят на шоссе. Над нами вьются аэропланы.

— То, верно, паш, — беспечно высказываются солдаты. — Новой хвормы. Сами дручки. Без полотна на крылах.

Летает очень низко типичный альбатрос. Солдаты отлично видят, что это германский самолет. Но им не хочется волноваться, раздумывать, и они сознательно закрывают глаза и беззаботно решают:

— Наш! Новой хвормы...

Не таков ли и весь наш патриотический оптимизм?

...Часам к восьми канонада затихла. В воздухе разлита мягкая вечерняя тишина, и это сразу переносит нас из мира с железными трещетками и грохочущими цепями в мир, окутанный тихим человеческим счастьем. Станными кажутся только наши собственные голоса, которые звучат так громко (во время сильного боя голоса еле слышны). Откуда-то появились детишки, которых мы раньше не замечали. Люди смеются, поднимают радостно головы и уже не похожи на деревянные куклы с тупоумно-молчаливой тревогой на лицах.

— На молитву! — кричит фельдфебель. И так забавно звучат среди всеобщего разгрома и поражения напыщенные слова патриотического гимна: «Царствуй на страх врагам...»

Однако оптимисты смотрят уверенно вперед.

— Говорят, гвардейский корпус заставил немцев податься, — весело бросает Костров.

— Откуда у вас родилась такая идея?

— Как же. Солдатики шли с позиций — передавали.

Пессимисты молчат.

— Заставили немчиков замолчать, — продолжает Костров смелее. — Отогнали их верст на десять.

— На сорок пять, — поправляет иронически Базунов.

— Конечно, прогнали, — убежденно настаивает Костров.

— Наши гаубичные мортиры позади стали, а теперь они впереди нас: вон за тем лесом. По звуку слышно: верст на шесть впереди.

— Стояли в резерве, а теперь на позицию выкатили.

— А я так уверен, что завтра и мы вперед пойдем.

— Еще бы! Штаб дивизии на четыре версты подался, штаб корпуса — назад, головной парк — назад. Только мы с вами вперед пойдем.

...В одиннадцатом часу примчался ординарец из штаба корпуса:

— Тыловому парку отойти в Трубачов — в двух верстах от Холма, а среднему — в Заграду.

Передвижение совершенно непонятное, если принять во внимание, что головной парк расположен в Майдане Рыбье, то есть гораздо дальше от позиций, чем средний.

...Отступаем с боями. Густой мелкий холодный дождь. Небо обложено мглистыми облаками. Посреди поля поникли намоченные деревья. Дорога грязная, скользкая. Ни сухой нитки на теле. От лошади валит густой пар.

Добрались до ближайшей деревни. Там уже окапываются полки кавказского корпуса. Под Райовцом в лесу расположились два запасных батальона для комплектования выбывающих гвардейцев.

По всем направлениям беспорядочно тянутся обозы, парки, пехота. Одни на юг, другие на север. Сталкиваются, мешают друг другу и отчаянно матерятся, свирепо хватаясь за винтовки.

— Счастье, что дождик падает, еропланов нет, — повторяют солдаты. — А то была бы им работа.

Не доезжая до Рыбье, повстречались с ординарцем, возим предписание головному парку отодвинуться назад на четыре версты — в Завадовку, в двух верстах от Холма, и стоять на одной линии с тыловым. Из переданной тем же ординарцем диспозиции было видно, что гвардейский, 14-й и 24-й корпуса продолжают медленно отходить, а наш средний парк, неизвестно для чего, остается все время на линии пехотного огня.

В двух верстах от Заграды нам неожиданно преградили дорогу, объявив, что лесом ехать нельзя, что лес перекопан глубокими траншеями и надо ехать в объезд. Только через четыре часа добрались до Заграды — длинной, грязной деревни, населенной русскими попеременно с польскими семьями. Остановились в столбе. Боя нет. До позиций верст пять. Над Сенницей Ружанской стоит густыми клубами дым.

Тянутся раненые. Все в один голос твердят:

— Одной артиллерией коют. Пять-шесть часов бьет тяжелыми по нашим окопам, растирает их в пыль, людей с землей смешивает. А потом кидаются в атаку — пятьдесят солдат под командой одного офицера, все пьяные.

— А наша артиллерия?

— Наша артиллерия, почитай, не стреляет, — со злобой отвечают солдаты. — Или по своим же бьют.

— Как это так?

— Да так. Попли кубанцы в атаку. Добежали до германских окопов. А наша «Мавруша»¹ знай лущит и лущит. Сколько народу перебила. Хоть докторов спросите.

В два часа дня получено донесение от головного парка:

«За истекшие сутки нами израсходовано шестьсот семьдесят прапнелей в четырнадцать тысяч винтовочных патронов. Осталось — прапнелей триста, винтовочных патронов сорок тысяч».

— Значит, ружейной стрельбы почти не было, — говорит Базунов. — Видно, немцы всех своих солдат вооружают не ружьями, а мортирами. Скоро они всех своих лошадей научат стрелять из пушек, а ослов к нам в штабы отошлют.

...Отступление продолжается в том же хаотическом беспорядке. По посейным дорогам с утра до вечера тянутся пехотинцы двумя встречающимися потоками. Штаб корпуса переехал в Селц — на одной линии с Красновостом, но много восточнее.

¹ «Маврушами» солдаты называли наши мортирные пушки.

— Позвольте! Что это за странная передвижка? — волнуется Базунов.

— Может быть, верховный главнокомандующий приказал штабам быть на линии боя, — соображает Костров.

— Ну, конечно, — иронизирует Базунов. — Скоро их будут в атаку посылать... вместе с оптимистами.

А раненые все идут и идут. И оставляют за собою полосу удрученных слухов и фантастических жалоб.

— Эх, 18-я дивизия подвела. Сама отступила и ушла, не сказавши 70-й. Германцы нашей дивизии во фланк ударили. Как есть всю перекрошили...

— Немец 2-ю сибирскую обошел. Прорвал Ревельский полк в всю 18-ю в плен забрал.

— По совести тебе говорю. Кто же это псом лютым на своих брехать будет?.. Говорю тебе, паша артиллерия весь полк перебила.

Многие врачи подтвердили, что было свыше сотни казаков, раненных нашей артиллерией, которая поздно прекратила огонь.

...Весь юг в пожарах. Между ними вспыхивают огненные залпы, сливая далекие огни в один пылающий полукруг. Жители смотрят на зарево пожаров, которое разгорается с удивительной быстротой, ярко окрашивает облака и скоро тухнет, и тяжело вздыхают:

— Верно, хлеб горит...

Потом высказывают вслух удручающую всех мысль:

— Так и наше попалят...

Солдаты глухо молчат. Им объявлен сегодня свирепый приказ генерала Маврина. Приказ этот разослан в «секретном» порядке еще 25 мая, но по распоряжению штаба корпуса только сегодня оглашен во всеобщее сведение:

«Начальникам 18-й и 70-й дивизий. 1915 год. 25 мая. 2 ч. 10 минут дня. № 1607.

«Командир корпуса приказал объявить копию телеграммы генерала Маврина:

«При отступлении наших армий с неприятельской территории и с занятием неприятелем нашей территории неприятель производит пополнение своих армий за счет местного населения и реквизирует скот. Главнокомандующий приказал одновременно с отступлением:

1) Уводить мужское население возрастом от 18 до 50 лет; желающим местным жителям предложить выселяться с домашним необходимым имуществом временно в Волынскую губернию, откуда идти на дорожные инженерные работы.

2) Уводить весь скот с тем, чтобы по нашем обратном возвращении скот был возвращен или щедро оплачен.

3) Уводимых местных жителей, годных к работе, желательнее отправить в распоряжение генералов Величко, Артамонова и Лебедева, если от них последуют соответствующие запросы.

«Об изложенном сообщается на зависящее распоряжение. 16515. Маврин.

«Подписал: начальник штаба капитан Воскобойников. Старший адъютант Кронковский».

Когда приказ был прочитан, первым отозвался Костров:

— Это чорт знает что! Это варварство, достойное немцев, а не русских...

— Ого! И оптимистов пробирать начинает, — рассмеялся Евгений Николаевич.

— А по-моему, так и надо, — сказал Старосельский. — Кто хочет побеждать, тот должен уничтожать без всякого сожаления все вспомогательные средства противника. Нечего слезу пускать.

— Но ведь из этого ровно ничего не получится, — заметил Базунов. — Это надо было сделать десять месяцев тому назад. А теперь это бумажка для интендантов. Вспомните щедринское изречение: на неопределенности почиет их благополучие...

— При чем тут интенданты? — обиделся Старосельский.

— При чем? — язвительно усмехнулся Базунов. — А вы чувствуете эту пгривую фразу: «щедро оплатить»?.. Воображаете, сколько появится у вас охотников «щедро оплатить» небывалые гурты, взятые у небывалого обывателя?.. Хочешь оплачивать, да еще щедро, — скажи прямо: по десять, по двадцать, по сто рублей с головы. Каждому будет ясно. А то — щедро. Сколько это: щедро? На мой взгляд щедро — двадцать рублей, а по мнению интенданта Дуй-тебя-горой, если владельца коровы не повесили, то с ним уже расплатились щедро.

* * *

...На рассвете 13 августа меня разбудил голос ординарца Ковкина:

— Ваше благородие! Срочный пакет.
Вскрываю.

Приказание из штаба дивизии в семь дней передвигнуться в город Слуцк Минской губернии, не делая по пути остановок.

— Ну, начался кабак! — вскочил Базунов. — Форменный кабак. Каждый распоряжается по-своему. Говите немедленно ординарца в штаб корпуса, — обратился он к адъютанту, — с пакетом такого содержания: «Ввиду противоречивых распоряжений, прошу указать, как быть».

...Идет беспорядочное бегство. Без конца тянутся обозы, транспорты, госпитали, казачьи полки, пулеметные роты, парки и опять госпитали, обозы, транспорты и этапные батальоны.

По всем направлениям гудят десятки аэропланов. Не успеют дозорные пушки повернуться в одну сторону, как в трех других местах уже снова выются германские альбатросы и таубе. Слышны короткие грохочущие разрывы. Бомбы рвутся где-то совсем близко. Небо усеяно белыми хлопчатými облачками, которые медленно тают в вышине и заменяются десятками новых. Воздух повсюду наполняется странным протяжным потрясающим гулом, от которого долго покачиваются деревья. Через пятнадцать минут уже передается из уст в уста, что это бомба взорвала бак с бензином на станции Брест-товарный и оставила на путях десятки обезображенных трупов.

Люди терроризованы воздушными лищинами и, как зачарованные, не сводят с них глаз. Не доезжая до станции Жабинка, поезд из Бреста подвергся налету воздушной флотилии. Испуганный машинист остановил среди поля поезд, и люди бросились врассыпную, кто куда.

Нет ни одного уголка, защищенного от этих страшных набегов. Движение идет густыми колоннами, и от каждого палета жертвы уже насчитываются десятками, особенно среди беженцев. Аэропланы грозят превратиться в неслыханное бедствие.

...Воздух наполнен злобой и ненавистью. Возле нас расположилась на отдых ополченская бригада. Солдаты во всеуслышанье обсуждают все, что творится на их глазах:

— То не было снарядов, а то весь день и всю ночь топили в Буге снаряды. Каждый — прямо как бык. Во какие! Перегатили Буг от снарядов.

— Эх, выпил бы ведро водки и сказал бы начальству всю правду!..

— Лавочки все пооткрывали. Раздают. Берите, кто хочет: консервы, сапоги, рубашки, сахар. Забирай, сколько можешь.

— Вишь ты, чертовина какая! — громко и вызывающе кричит псжилой солдат. — Снарядов не хватало, а теперь топят! Скоро и пушки топить будут... Как в Порт-Артуре: затопили броненосцы, а японец их прекрасно вытащил... Сволочь!

— Такое начальство и в воду не грех, — звенит взволнованный голос, — коль оно своих, русских, не жалеет. Засыпать бы немца ураганным огнем, как он нас засыпает. Так нет же — не стреляют, а топят!..

Между ополченцами вертится наш Ничипоренко.

— Земляков шукаю (пщю), — поясняет он в нашу сторону и мимоходом роняет с плутоватой усмешкой: — Еге, нехай топать. А то німець ще подумає, що ми вже не боїмся, що мы вже втікати не хочем. Да ще знов полізе драться... Ні, нехай лучше топать...

— Да из чего стрелять? — гудит чей-то свирепый голос. — На фортах видали? По три пушки! Болтаются как овечий хвост в проруби — вот и вся артиллерия!.. Брест — крест!

— Мало нас били. Больше надо! Без немца никак до точки дойти не можем. Г...но собачье!

— А може це такий дурень, — лукаво подзуживает Ничипоренко, — що кільки ні бей, з нього толку не буде... Сідай, куме, на дно...

...Прошли ополченцы. При дороге возле нашей stodолы расположилась какая-то маршевая рота. Разговаривает группа прапорщиков. Долетают отдельные голоса.

Первый голос: — Под Влодавой давали только по двенадцати снарядов на орудие, а тут топят...

Второй голос: — Галицию нам! Берлин нам подавай! Да мы своего удержать не можем...

Третий голос: — И слава богу. Пускай забирает немец. Куда нам? Дрались мы с азиатским народом — нас побиили. Деремся с Германней — где уж? До Москвы отойдем. Бессарабию заберут. Финляндия сама отойдет...

Четвертый голос: — Никуда мы не годимся. Ленивая, недобросовестная страна. Вор на воре...

Пятый голос: — Четвертый месяц все удираем. Это уже поражение, а марафонский бег...

Шестой голос: — «Се Русь», сказал Мамай, «и побежал с ратью...»

...В три часа примчался на взмыленном коне ординарец из штаба корпуса:

«Инспектор артиллерии приказал: ввиду отхода всего фронта с получением сего немедленно передвиньтесь с тыловыми и средними парками по измененному маршруту. — в Забужки-Мазуры. Будьте обязательно в указанном месте сегодня ночью. Головной переходит в Яковицы. Штаб корпуса будет ночью в Шиповичах. Окажите содействие 3-й и 18-й бригадам, люди которых еще не пришли из Кобрива».

— Едрикештейн, — поскреб в затылке прапорщик Кононенко. — Пишется: ввиду отхода всего фронта. Разумеется: ввиду панпического бегства...

— Да, дело не тово... — нессимистически протянул Старосельский.

Базунов нервно вскочил.

— Разговаривать некогда. Нам нужно уходить! Как можно скорее уходить!.. Просто сил нет... нас забывают. Нарочно, подлецы, забывают! Умышленно! А эти черти все валят и валят из своих пушек!..

По всему фронту от Бреста на запад оглушительно ревели орудия.

...По всем дорогам тянутся крикливые вереницы удирающих войск. С визгом и грохотом в две, три и четыре шеренги катятся люди и лошади вперемежку с гуртами скота, автомобилями, лазаретными линейками и беженцами. Бегут как попало, крича и беснуясь, насыщая воздух проклятиями, утопая в потоках едкой матерщины и пыли. От пыли першит в горле и мучительно слезятся глаза. В белых клубах с трудом барахтаются ослепленные люди: человеку, сидящему верхом, не видать ушей своей лошади. Поминутно вся эта грохочущая лавина замирает на месте, и тогда глазам открываются чудовищные картины: павшие лошади со вздутыми как гора животами; истекающий кровью жеребенок под колесами автомобиля; старик, умирающий на возу и беспомощно протягивающий свои тощие пальцы; обессиленные женщины, свалившиеся у дороги и ежеминутно рискующие быть раздавленными; дети с испуганными личиками, прижатые кабанами или теллятами; дюжие солдаты, хватающие за грудь растрепанных десятков; десятками падающие среди дороги коровы; сбившиеся в кучу овечки; сотни заплаканных лиц, с тоской и отчаянием выкрикивающих: но!.. но!..; полосующие кнуты; задерганные до полусмерти лошади и десятки тысяч усталых, замученных, запыленных солдат...

Чем дальше, тем гуще становится толпа, тем крепче скапается она в одно гигантское змеевидное тело, сбитое из коров, людей и копыт, колес, кнутов и повозок.

...Уходим с последними остатками ошалело бегущей армии. С трудом продираемся сквозь бушующее пламя. Огненные языки полыхают жаром в лицо. Сбросив всадников, десятки лошадей в отчаянии безумии с топотом мчатся по горящим улицам Бреста.

На станции поезда удирают, не дожидаясь пассажиров. Отбившиеся одиночки-солдаты, сестры милосердия, беженцы — бросаются в первый попавшийся вагон и бегут, неведомо куда и зачем.

За вокзалом чуть спеют в тумане далекие леса, прорезанные золотыми блёсками бивачных костров.

С высокого пригорка в последний раз открывается пылающий Брест.

В вечернем небе скачет и мечется широкое огненное зарево. Мглистый воздух, наполненный криками и гарью, гудит и вздрагивает от взрывов: это с грохотом взлетают последние форты. Каждая огненная вспышка, как кнутами, подхлестывает катящуюся лавину.

Извиваясь и лязгая, она вытягивается узкою лентой вдоль кобринского шоссе — единственный путь через Пинские болота.

Вправо и влево от шоссе трясины. Из каждой болотной кочки земля выбрасывает гнилые испарения. Они тихо колыхнутся над трясиной и, как серые тени, стоят стеной вдоль дороги.

Чем гуще ночная тьма и чем дальше от Бреста, тем теснее смыкаются болотные туманы. Пугливо продираются люди сквозь их клубящуюся завесу.

Жутко. В мглистом сумраке незаметно стираются все грани между землей и трясиной, между солдатом и беженцем, между жизнью и смертью...

Седая болотная паутина могильным саваном заткала землю. Не видать ни лиц, ни возов, ни дороги. Только лязгает железо, звенит матерщина, хлопают кнуты и хлещут отчаянные вопли:

— Погибать, ребята!

— Вот он страх смертный!..

— Не война, ад крошечный!..

— Сорвался с тропочки — как в могилу бухнул...

— Эх, попадись ты который, лопни твоя печенка!..

— Пропадем!.. Так до самой могилы ни часочку нам радости не будет...

— Не видать нам солпышка больше...

А кругом, в пропитанном кровавым неистовством тумане, злобно и гулко рычат германские пушки.

АРМЕЙСКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ 1916 ГОДА

84-го пѣх. Ширванскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка,
а затѣмъ 3-го Хоперскаго казачьяго полка
Николай Сергѣевичъ Ирмановъ.

Подхорунжій (изъ вольноопредѣляющихся) 3-го Хоперскаго казачьяго полка Николай Сергѣевичъ Ирмановъ, уроженецъ гор. Петрограда, дворянинъ, родился 18 января 1888 года; православный; окончилъ реальное

училище д-ра Видемана, прослушалъ полностью курсъ Горнаго Института Императрицы Екатерины II и 2 года пробылъ в ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ (нынѣ Петроградскомъ) Унивверситетѣ на факультетѣ восточныхъ языковъ по разряду санскритской словесности; въ 1909 году долженъ былъ призываться на военную службу, но по образованію пользовался отсрочкой до 1915 года, въ 1914 году пошелъ охотникомъ. Окончилъ 5 ускоренный курсъ Николаевского кавалер. учил. 1 февр. 1916 г.

Вотъ какъ рассказываетъ Ирмановъ о всѣхъ тѣхъ трудностяхъ, которыя онъ перенесъ для того, чтобы поступить въ ряды дѣйствующей арміи.

«Во время мобилизаціи въ іюль 1914 года я былъ во Владикавказѣ; желая принести реально пользу Царю и Отечеству, я хотѣлъ отправиться на позиціи. Во Владикавказѣ въ это время стоялъ Кизлярско-Гребенскій казачій полкъ, который долженъ былъ со дня на день выступить въ походъ. Чтобы скорѣе попасть на позиціи, я рѣшилъ примкнуть къ этому полку вольноопредѣляющимся, но оказалось, что раньше надлежало приписаться къ казачьему войску. Получилъ согласіе полка и Атамана Терскаго казачьяго войска Генераль-Лейтенанта Флейшера приписаться къ казачьему войску, но оказалось, что кромѣ приписки, по уставу, полагалось имѣть все свое: лошадь, оружіе и вообще все военное снаряженіе. Денегъ у меня не было. Я обратился къ родственникамъ, но безъ успѣха. Обратился къ пріятелямъ и знакомымъ, — тоже не дали. Такъ я въ казаки и не поналъ. Тогда я, не теряя времени, направился въ Петроградъ, гдѣ подалъ прошеніе въ воинское присутствіе о зачисленіи меня къ отбыванію воинской повинности вольноопредѣляющимся въ одинъ изъ кавалерійскихъ полковъ. Прошеніе мое было уважено, и меня назначили въ Гвардейскій зап. кавалерійскій полкъ, въ маршевый эскадронъ Л.-Гв. Конно-Гренадерскаго полка. Подавая прошеніе, я рассчитывалъ, что въ ближайшемъ будущемъ попаду на фронтъ. Но, по зачисленіи меня въ эскадронъ, оказалось, что выступленіе его было отложено на неопредѣленное время. Тогда я подалъ прошеніе о припятіи меня въ Тверское кавалерійское училище на 2-й ускоренный курсъ, куда и поступилъ. Пробывъ тамъ 2¹/₂ мѣсяца, я отчислился обратно въ полкъ, такъ какъ прошелъ слухъ, что маршевый эскадронъ Гвардейской кавалеріи вскорѣ выступитъ. По прибытіи же въ полкъ, я убѣдился въ неоснователь-

ности слуховъ, а потому немедленно подалъ прошеніе о переводѣ въ пѣхоту, чтобы, наконецъ, имѣть возможность выполнить свою завѣтную мечту. Исходомъ просьбы было назначеніе меня вольноопредѣляющимся въ 84 пѣхотный Ширванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ, гдѣ я и пробылъ до конца іюня 1915 года».

Про свои боевые подвиги въ рядахъ этого полка Ирмановъ рассказываетъ такъ:

«6-го февраля 1915 года 3-й Кавказскій корпусъ, въ составъ котораго входилъ 84-й пѣхотный Ширванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ 21-й дивизіи, перешелъ изъ Конскаго уѣзда Радомской губ. на прусскій фронтъ, гдѣ и оставался до двадцатыхъ чиселъ марта. Изъ 81-го Апшеронскаго и 84-го Ширванскаго полковъ была образована отдѣльная бригада подъ общимъ начальствомъ командира Апшеронскаго полка Генераль-Маіора Веселовскаго и назначена для обороны крѣпости ***. Апшеронскій полкъ занималъ форты крѣпости, а Ширванскій полкъ занялъ позиціи впереди болота, находившагося сѣвернѣе ея, и здѣсь частью окопался, а частью размѣстился въ готовыхъ окопахъ; полкомъ командовалъ полковникъ Пурцеладзе. 7-го и 8-го февраля нѣмцы производили яростныя атаки, двигаясь колоннами. 7-го числа отличилась рота убитаго при отступленіи отъ с. Карная прапорщика Липскаго, которая была окружена нѣмцами и отбилась, заставивъ непріятеля отступить. Самъ Липскій творилъ чудеса, воодушевляя солдатъ и кидаясь прямо на нѣмецкіе штыки. 8-го числа нѣмцы открыли ураганный огонь изъ тяжелыхъ орудій, осыпая снарядами пространство впереди болота и подъ прикрытіемъ этого огня шли въ атаку, стараясь насъ оттѣснить въ болото. Мы подпускали ихъ шаговъ на 50 и поражали ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ.

8-го числа мнѣ пришлось испытать первый разъ ураганный огонь германской артиллеріи. Я находился въ передовой цѣпи, на которую наступали нѣмцы. У всѣхъ солдатъ на лицахъ было выраженіе серьезное съ отпечаткомъ какой-то роковой неизбѣжности: нѣкоторые крестилсь, молодые, не обстрѣленные, вздрагивали при всякомъ орудійномъ выстрѣлѣ, старые солдаты ихъ покровительственно ободряли. Интересно, что снарядъ уже разорвался, а звукъ еще летитъ надъ нашими головами, и всѣ невольно пригибаются. Но раздалось отдаленное б-бахъ! и всѣ облегченно вздыхаютъ. Вдругъ опять выстрѣлъ, опять летитъ, и вновь всѣ пригибаются. И такъ

продолжалось часа четыре, то недолетъ, то перелетъ, то правѣ пасъ, то лѣвѣ. Уже начало являться чувство, что нашъ окопъ заколдованъ, и всѣ какъ-то повеселѣли, какъ вдругъ раздался отдаленный выстрѣлъ, а затѣмъ сразу стало темно, что-то посыпалось, всѣ шарахнулись въ стороны, толкая другъ друга. Затѣмъ я почувствовалъ теплоту и головную боль, и у меня началась рвота. Потомъ я посмотрѣлъ вокругъ себя и увидѣлъ, что окопъ на половину засыпало землей, а рядомъ со мной лежитъ мертвый солдатъ, который только что весело разговаривалъ. Оказывается снарядъ попалъ въ окопъ. У всѣхъ настроеніе сдѣлалось угрюмое и сердитое. Вдругъ снова выстрѣлъ, — опять что-то посыпалось, а затѣмъ смотрю: какой-то солдатикъ схватилъ лѣвой рукой исковерканную правую, превращенную въ какую-то кочерыгу и глупо хнычетъ, а другой его ругаетъ: «чего, дуракъ, хнычешь? Пошелъ къ фершалу, а то разнюнился, будто полечаетъ!»

Тутъ же лежитъ офицеръ, тяжело контуженный въ голову, и все произносить, какъ въ бреду: «б-б-бахъ, б-бахъ!»

Затѣмъ канонада стихаетъ и надъ окопомъ свистятъ пули: нѣмцы наступаютъ, мы хватаемся за винтовки и со злорадствомъ и нетерпѣніемъ ждемъ, когда будетъ приказано произвести залпъ; вотъ, наконецъ, команда, а затѣмъ затрещали пулеметы и мы дали залпъ: — у нѣмцевъ началась паника, — они бросились назадъ. Я смотрю около себя и вижу трехъ убитыхъ товарищей, но я чувствую себя удовлетвореннымъ и горю желаніемъ дать еще разъ нѣмцамъ такой же отпоръ. Въ это время мы получаемъ приказаніе отойти немного назадъ и окопаться.

Послѣ 8-го числа нѣмцы повели ежедневно ураганный огонь по крѣпости и по нашимъ окопамъ, начиная около 9-ти час. утра и кончая въ сумерки, а ночью стрѣляли рѣдко шрапнелью, и вели частичныя атаки, которыя легко отбивались. Но зато площадь впереди болота они, можно сказать, вспахали снарядами, такъ что попадали то въ тотъ, то въ другой окопъ, откуда выльзали засыпанные землей солдаты и вытаскивали стонавшихъ раненыхъ товарищей: вотъ у одного оторвало ногу, а онъ обращается къ ней съ прощальными словами: «прощай, моя поженъка, прощай, моя милая!»

Въ окопахъ сидѣть было такъ скверно, что всѣ стремились идти на развѣдки.

Во время одной изъ такихъ развѣдокъ одинъ солдатъ еврей Епифанскаго полка, всѣ роты котораго дѣйствовали вмѣстѣ съ нами, бѣжалъ къ нѣмцамъ и вмѣстѣ съ ними собирався намъ сдѣлать засаду, по попалъ въ плѣнъ. Его предали военно-полевому суду и помѣстили въ караульное помѣщеніе крѣпости, гдѣ онъ былъ убитъ попавшимъ снарядомъ.

Однажды, когда нѣмцы осыпали снарядами крѣпость, болото, площадь впереди и особенно единственную дорогу, соединявшую наши окопы съ крѣпостью, они порвали телефонную проволоку, причемъ возстановить телефонное сообщеніе не было возможности, а между тѣмъ появились германскія колонны. Я былъ для связи при командирѣ полка. Командиръ вызвалъ желающаго пробраться въ крѣпость и отнести сообщеніе командиру батареи. Я вызвался, взялъ пакетъ и пошелъ. Только что вышелъ изъ окопа, какъ въ пяти шагахъ отъ меня разорвался снарядъ; отъ напора воздуха я упалъ, но потомъ ощупалъ себя, все ли на мѣстѣ, и пошелъ въ крѣпость. Кругомъ царилъ адъ: нѣмцы обстрѣливали дорогу изъ тяжелыхъ орудій и шрапнельнымъ огнемъ, такъ что слышно было то «б-бахъ», то нѣчто вродѣ лая собачонки, причемъ нѣсколько разъ что-то пролетало, казалось, надъ самой головой; я бросался на землю, а затѣмъ вставалъ и шелъ дальше до новаго сюрприза. Когда я дошелъ до ближайшаго форта, расположеннаго верстахъ въ шести отъ окоповъ, разорвался снарядъ и меня ударило камнями — я побѣжалъ, пока не достигъ до мѣста назначенія, причемъ передалъ пакетъ и вернулся обратно. За это я былъ награжденъ Георгіевскимъ крестомъ четвертой степени.

27-го мая у рѣки Санъ въ Галиціи, близъ Синявы, Ширванскій полкъ былъ окруженъ нѣмцами, такъ что съ трудомъ пробился, отступая подъ ураганнымъ орудійнымъ огнемъ къ горѣ Славы. Мы дѣлали до 60 верстъ въ сутки, изрѣдка задерживаясь, причемъ тогда выпадала большая работа на долю команды развѣдчиковъ, въ которой я состоялъ.

Разъ мы сняли австрійское сторожевое охраненіе, забравъ всѣхъ въ плѣнъ. Дѣло было на разсвѣте. Мы перебрались черезъ рѣку, по поясъ въ водѣ, подползли къ австрійцамъ и бросились на «ура». На лицахъ у австрійцевъ былъ написанъ такой ужасъ, какого я еще не видѣлъ никогда раньше, — они бросили винтовки и повторяли только: «панъ, не стрѣляй!»

19-го іюня Ширванскій полкъ былъ окруженъ близъ мѣстечка Таржимъхи и насилу пробился, отступивъ при содѣйствіи казаковъ 3-го Хоперскаго полка.

20-го числа мы окопались и должны были дать отпоръ нѣмцамъ, которые повели на насъ яростную атаку при поддержкѣ ураганнаго огня. Полкъ окопался на холмистой мѣстности и выдерживалъ упорный натискъ нѣмцевъ, осыпавшихъ насъ снарядами, отъ которыхъ кругомъ горѣли всѣ деревни и дождемъ падали пули. Санитары не успѣвали уносить раненыхъ. Пуля вывела изъ строя тяжело раненнымъ доблестно распорядившагося командира 1-го баталіона подполковника Соколова, вслѣдъ за которымъ и младшихъ офицеровъ выносили одного за другимъ. Когда былъ убитъ прапорщикъ Побиванцевъ, командиръ полка приказалъ мнѣ принять командованіе его ротой и послалъ меня въ распоряженіе капитана Джанаева, замѣнившаго подполковника Соколова. Тогда изъ всего полка были образованы три сводныя роты, изъ которыхъ одной командовалъ офицеръ, другой — подпрапорщикъ, а третьей — я. Капитанъ Джанаевъ взялъ съ меня слово, что я не отступлю. Я приказалъ немедленно занять прежнее расположеніе и слѣдить за нѣмцами, а самъ наблюдалъ въ бинокль, причѣмъ вокругъ меня, какъ мухи, жужжали и щелкали разрывныя пули. Нѣмцы нѣсколько разъ пытались наступать, но всякій разъ мы ихъ отбивали залпами, причѣмъ они бросали своихъ раненыхъ, изъ которыхъ мы нѣсколькихъ менѣе тяжело раненыхъ отправили въ штабъ полка, причѣмъ доставлять ихъ приходилось подъ обстрѣломъ нѣмцевъ. Несмотря на тяжелое наше положеніе, солдаты заботливо перевязывали раненыхъ враговъ, что меня тогда, я помню, какъ-то поразило; тутъ сказала русская незлобивость: солдаты забывали, что плѣнные — враги, а видѣли только страдающихъ людей, которыхъ дружески ободряли, увѣщевая потерпѣть. Мы продержались до вечера, причѣмъ когда у меня оставалось очень мало людей, мнѣ дали два пулемета, при помощи которыхъ мы и прогнали нѣмцевъ въ лѣсъ. Ночью вѣрно было продолжать отступать, что мы и сдѣлали, отходя незамѣтно и неожиданно для непріятеля. За бой 20-го іюня я получилъ Георгіевскій Крестъ 3-й степени».

Удостоившись получить два георгіевскихъ креста, Ирмановъ поѣхалъ въ отпускъ, и тутъ ему посчастливилось получить отъ своихъ родственниковъ денежную помощь для перехода въ кавалерію, т. е. исполнить свою перво-

начальную мечту. Онъ возобновилъ ходатайство и былъ 21-го Іюня 1915 года переведенъ въ 3-й Хоперскій казачій полкъ Кубанскаго войска.

«16-го августа, — продолжаетъ Ирмановъ, — я былъ посланъ съ развѣдомъ въ 15 человекъ на правый флангъ 3-го Кавказскаго корпуса. Мнѣ было приказано слѣдить за непріателемъ и доносить о его дѣйствіяхъ въ штабъ корпуса. Рязанскій полкъ былъ расположенъ влѣво отъ деревни Стрыгово до господскаго двора Тевли, а Бѣлевскій полкъ окопался западнѣе и южнѣе дер. Стрыгово до дер. Дубово.

Непріатель, при поддержкѣ усиленнаго артиллерійскаго огня, двигался изъ дер. Залѣсье на Тевли. Я оставилъ большую часть развѣзда въ дер. Стрыгово, а самъ съ урядникомъ Маловымъ и казакомъ Колесниковымъ отправился пѣшкомъ за линію расположенія Рязанскаго полка, гдѣ выбралъ удобное мѣсто для наблюденія за противникомъ. Мѣстность была ровная, но на ней близко одна отъ другой были расположены на половину уничтоженныя артиллерійскимъ огнемъ деревушки, гдѣ скрывались, дрожа отъ страха, старики, не захотѣвшіе слѣдовать за молодежью при ея выселеніи. Непріатель стремительнымъ натискомъ занялъ госп. дв. Тевли, осыпая снарядами окопы Рязанскаго полка. Рязанцамъ пришлось отступить, причемъ одна рота была окружена нѣмцами и пробивалась. Намъ было видно, какъ противникъ двигается на дер. Новоселки и госп. дв. Туличи, заходя въ тылъ Бѣлевскому полку. Я догадался, что связи между Рязанцами и Бѣлевцами нѣтъ, а потому побѣжалъ въ дер. Стрыгово, вскочилъ на коня и помчался на виду у противника въ ближайшій баталіонъ Бѣлевскаго полка. Нѣмцы меня увидѣли и осыпали шрапнелью и дождемъ пуль, но я ничего не сознавалъ, а летѣлъ стрѣлой. Благодаря своевременному извѣщенію, Бѣлевцы отступили къ дер. Юзефинъ и здѣсь окопались. Мы продолжали наблюдать у деревни Стрыгово и вдругъ увидѣли колоннами двигавшійся полкъ отъ дер. Береза, южнѣе дер. Малыши и за дер. Стрыгово. Это былъ, какъ потомъ оказалось, Лорійскій полкъ, шедшій на поддержку намъ. Полкъ двигался, ничего не зная объ отступленіи 18-й дивизіи, а потому нѣмцы угрожали его флангу. Я послалъ казака навстрѣчу полку, чтобы доложить обстановку. Полкъ окопался у дер. Малыши, прпчемъ оказалось, что если бы не своевременное пзвѣщеніе, онъ былъ бы охваченъ непріателемъ. За развѣдку 16-го августа я получилъ

крестъ 2-й степени; кресты получили также Маловъ и Колесниковъ.

8-го сентября я находился съ развѣдомъ между двумя нашими дивизіями. Наша пѣхота отходила отъ рѣки Щара по главному шоссе. Для прикрытія ея отступленія оставались нашъ развѣздъ и развѣдчики Апшеронскаго и Дагестанскаго полковъ. Прождавъ нѣсколько часовъ, развѣдчики отошли вслѣдъ за своими частями, мы же оставались въ лѣсу по обѣ стороны шоссе. Рѣшивъ, что противникъ до ночи не покажется, мы стали жарить барашка, приче́мъ одинъ казакъ оставался на посту. Вдругъ онъ кричитъ: «нѣмцы, кавалерія!».

Я побѣждалъ посмотреть. Дѣйствительно, показался всадникъ, а за нимъ еще и еще. За всадниками можно было разглядѣть пѣхоту. Я отправилъ казака съ донесеніемъ въ ближайшую пѣхотную часть, двухъ казаковъ послалъ слѣдить за дальней дорогой, параллельной шоссе, чтобы нѣмцы насъ не обошли, двумъ приказалъ увести лошадей подальше въ лѣсъ, двухъ казаковъ поставилъ по другую сторону шоссе, а самъ остался съ двумя, приказавъ не стрѣлять, пока не дамъ знакъ. Нѣмецкая кавалерія состояла изъ двадцати человекъ, которые ѣхали человекъ по два — по три на порядочномъ разстояніи одинъ отъ другихъ. Пропустивъ 15 человекъ мимо себя, мы дали залпа, которыми сбили пять всадниковъ и трехъ лошадей, раненые поползли, лошади взвились на дыбы, поднялась паника; давъ еще залпъ, мы сбили еще трехъ нѣмцевъ и двухъ лошадей, а остальные усккали къ своей пѣхотѣ, которая остановилась и начала насъ обстрѣливать сильнымъ ружейнымъ огнемъ. Но несмотря на огонь пѣхоты, мы отобрали у убитыхъ и раненыхъ нѣмецкихъ кавалеристовъ сѣдла, карабины, пики и сняли погоны и унесли все это въ лѣсъ. Помню, какъ я хотѣлъ допросить одного нѣмца, раненаго мною въ животъ. Онъ, вмѣсто отвѣта, стоналъ, извиваясь змѣей, хваталъ меня за ноги и вращалъ глазами. А другой дѣлалъ невѣроятныя усилія ползти, но вмѣсто того барахтался на одномъ мѣстѣ. Но и тутъ одинъ изъ казаковъ перевязалъ раненаго. Затѣмъ мы стали отстрѣливаться отъ непріятельской пѣхоты, пока не подошли наши пѣхотныя подкрѣпленія, которыя и отбросили залпами нѣмцевъ, а затѣмъ мы продолжали отступать. За это дѣло я получилъ георгіевскій крестъ первой степени.

Медаль четвертой степени я получилъ за то, что подползъ на 30 шаговъ къ непріятельскимъ окопамъ

близъ станціи Косово въ срединѣ сентября, гдѣ двѣ сотни нашего полка производили развѣдку съ цѣлью выяснитъ количество непріятеля.

Послѣ полученія полного банта (Георгіевскіе кресты * 4-й степени № 128155, 3-й степени № 57397, 2-й степени № 8573 и 1-й степени № 3717), я былъ представленъ за боевыя отличія къ производству въ прапорщики, но отъ этого производства отказался, прося прикомандировать меня къ Николаевскому кавалерійскому училищу для сдачи экзамена на офицера. Просьба моя была исполнена, и я отправился въ Петроградъ. Явившись въ училище 15 октября 1915 года, я узналъ отъ начальника его, что время экзаменовъ уже прошло. Тогда я подалъ прошеніе и былъ принятъ въ училище юнкеромъ на 5-ый ускоренный курсъ».

Теперь Ирмановъ окончилъ Николаевское кавалерійское училище и **ВЫСОЧАЙШИМЪ** приказомъ отъ 1-го февраля 1916 года произведенъ въ прапорщики съ назначеніемъ въ части пограничной стражи западнаго фронта. Дай Богъ ему успѣха и силы!

Вл. П а д у ч е в

ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА

В июле шестнадцатого года, после брусиловского наступления, батарея стала на спокойной закрытой позиціи. По карте-трехверстке надо найти деревню Лобачевку, провести на север короткую линію, и здѣсь, в ложинѣ расположились наши маскированные пушки. Деревня продолжала существовать только на картѣ, а на землѣ от нее оставались стены разбитых домов с черными столбами закопченных труб и одиночные деревья, опаленные огнем снарядов. Ни одного человека не видно у покинутых жилищ. Муравейник был разорен железной палкой.

За Лобачевкой у реки расположился обоз Смоленского полка, а влево от него дымит кухней резерв четвертой батареи.

Наша позиція находится в полѣ затоптанного овса. Спереди батарею закрывает гребень невысокого холма, за которым тянется в случайных изломах неверная линія передовых окопов в острой, всегда таинственной, близости противника.

У нас три наблюдательных пункта, они выдвинулись далеко вперед к пехоте, с телефоном, биноклями и трубой Цейса. Батарея должна днем и ночью следить за противником, не упуская его скрытых движеній.

Главный наблюдательный пункт находится на бугрѣ в самой срединѣ участка; здѣсь по очереди дежурит один из офицеров с телефонистами и разведчиком-наблюдателем. Боковые пункты —

правый и левый — расположены в передней линии окопов, они обслуживаются одними солдатами.

От батареи влево ведет тропинка в высокую рожь. Итти все прямо, быстро перебежать открытую поляну на глазах близкого леса, занятого противником, спуститься в овраг и подняться по дороге через кусты. Здесь и будет блиндаж главного наблюдательного пункта, откуда в бинокль открывается живая картина засеянных полей, деревья у полевых колодцев, роши и далекие хутора. Хорошо видно движение в наших окопах, как в пятой роте солдаты роют землянку и подкапывают тяжелые бревна, как пулеметчики набивают патронами ленту, а ротные телефонисты, как муравьи, тянут линию вдоль окопов. Похоже все это на городок в табакерке, словно все это не настоящее, а игрушечное, из волшебного фонаря, из мира лилипутов. Такими же игрушечными кажутся и австрийские окопы, уходящие зигзагом по бесконечной кривой. Вот замаскированное в траве пулеметное гнездо, сверкает на солнце штык от игрушечной винтовки, а на желтой от глины земле печально лежит голубая каска. В точный перископ трубы Цейса видно, как сменяется австрийский дозор, а по ходу сообщения двигаются мерным шагом серые фигуры.

Боковые наблюдательные пункты придвинулись к противнику совсем близко. Игрушечная даль превращается в настоящее, в напряженную близость противника, в скрытую тревогу ожиданий. Полоснет над самым ухом сухим ударом винтовка, прилетит внезапная шрапнель и разорвется над землей в нескольких шагах — это настоящее... Утомленные сердитые лица, винтовки с примкнутыми штыками, сумки ручных гранат, остатки супа в медном котелке, зияющая черная воронка в ключей проволоке перед окопами, ротный фельдшер с красным крестом и двое раненых из нашего секрета — все это настоящее, будничное, покрытое серым цветом, но полное близкой тревоги ожиданий.

В окопах негромкие голоса. Ленивый воздух отдыхает. Редкие пули пролетают над головой.

В самый полдень на правый наблюдательный является Глеб в сопровождении Ильи Васильевича. По сравнению с командиром шестой роты, подпоручиком Каблуковым, с его измятой шинелью и заспанным небритым лицом, Глеб кажется франтом.

— Ну, господин ротный, — говорит Глеб, — где у вас тут самый опасный враг? Сшибем, что-ли, пулеметишку?

— Ты вот что, Глеб, нащупай-ка их бомбомет, это да. По целым ночам галок посылает. Нужно этого чорта сбить.

— Давай попробуем — где он?

— А вот смотри прямо через проволоку, за ней бугорок, потом ход сообщения к колодцу и тут он должен быть.

Глеб начинает искать биноклем, находит какую-то точку, вымеряет по карте и дает резкую команду:

— Бат-тарей к бою, по цели десять!

И сейчас же дежурный телефонист в трубку:

— Батарея к бою — по цели номер десять.

В ложине на стоптанном овсе закружилось вихрем:

— Номера к орудиям, батарею к бою, по цели номер десять. Через орудийных фейерверкеров катится нарастающей волной:

— К бою — по цели номер десять!

Оркестром слаженных движений вскипает жизнь на батарее,

номера с привычной быстротой окружают орудия и зарядные ящики, а через головы их с удалю несетя:

— Осемь-ноль, трубка осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка осемь-ноль!

Когда крайнее шестое орудие принимает восемь-ноль, новая волна догоняет из телефона:

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

И катится по воздуху, пока от шестого орудия смешливым залихватным тенором не ударит навстречу:

— Па-а своим опя-ять!

Общий хохот покрывает звонкую шутку, а по дрожащим волнам смеха несетя легкое, как ветер:

— О-гонь!

— О-гонь!

— О-гонь!

Шесть ударов стальными прутьями бьют воздух, раскалывая тишину летнего дня.

После тридцати-сорока выстрелов:

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

И опять залихватным тенором:

— За-куривай! Ваньку Хренова забрили, вся деревня затужила. Поддерживай, ребята!

Стелется по земле запах серы. Теплый ветер ласкает зреющую рожь.

Телефонисты сообщают, что с правого наблюдательного Глеб ушел в управление дивизиона. Через полчаса со стороны окопов доносятся три тяжелых удара, как чугунным шаром по железу.

— Та-а, та-та, та-а, та-та. Правый наблюдательный? Правый!

— Слушает правый.

— Кто стреляет?

— Австрийский бомбомет по пятой роте.

— А его не сбили?

— Дожидайся — сначала его найди, а потом попробуй.

— Поработали свинье под хвост...

Номера пользуются случаем отдохнуть и заняться своими делами. Жарко светит солнце. Алпатов, лежа на траве, черными негнущимися пальцами пишет адрес на письме. Карабаш в группе номеров третьего орудия читает вслух «Юрия Милославского». Подпрапорщик Плешаков умывается из кружки остатками чая — босиком, в подтяжках, высокий и лохматый, он с наслаждением размазывает пыль на своем лице.

Харченко совсем уже собрался постирать свои портянки, он и сапоги снял, но посмотрел на небо и раздумал. И словно угадав его заботу, дежурный телефонист зазвенел веселым голосом:

— С наблюдательного велели передать: вылетел немецкий аэроплан. Чтобы замаскировать батарею!

Харченко сердито вскочил с места:

— Так и знал, что будет. — постираться не даст, чертяка!

— Это затем, Петр Иванович. — сказал Алпатов, заклеивая письмо, — что мы стрелять начали. Теперь летит батарею искать.

— Да не каркай ты, а то, пожалуй, накличешь, — проворчал Харченко, тревожно поглядывая на небо.

Плешаков остался на батарее за старшего. Он петоропливо вытирается серым полотенцем и вдруг командует густым басом:

— Убирай веша-а! Будет груши-то околачивать, сейчас кум прилетит, да с полбутылкой.

Номера быстро собирают ведра, котелки и медные баки, закрывают орудия ветками и соломой, а на лотки со снарядами бросают траву. Батарея замаскирована.

Шум пропеллера доносится за несколько верст, нарастая в гудящей волне. В прозрачном воздухе появляется аэроплан и быстро несется по прямой линии на нас, как недобрая хищная птица.

— Номерам укрыться, все по землянкам!

Аэроплан пролетает над батареей, вот он уже за нашим резервом. Бухают выстрелы трехдюймовок. Белые дымки кружатся в высоте, расплываясь в молочные пятна, тают на глазах, вновь рождаются и рвутся, как живые мячики.

За Лобачевкой аэроплан сделал широкий поворот и полетел к нам.

Наводчик четвертого орудия первый почувал недоброе:

— Чегой-то он кружится, либо заметил?

— Эх, зенитной батареи нет, так бы и сшибить его оттуда! — грустно замечает Харченко.

Пролетая над батареей, аэроплан неожиданно выпустил бледно-окрашенную ракету. Алпатов крикнул из своей землянки:

— Держись, братишки, — теперь вдоль спины наложит...

В тот же момент четыре далеких глухих удара напомнили нам о существовании тяжелых батарей. Послышался нарастающий стальной рев, и четыре гранаты взорвали землю в ста саженьях от батареи. В одно мгновение стало понятным, что последует дальше... Голос Илья Васильевича, который успел вернуться, холодной тревогой ударил в сердце:

— Не выходить из блиндажей, противник бьет по батарее!

Аэроплан выпустил вторую ракету, и земля задрожала от оглушительного взрыва близкого недолета.

Третья очередь ударила в самую точку. Аэроплан закружился над батареей, как жестокая, умная птица, которая получила над нами полную власть. Вот еще: глухие удары издали, потом наступающий рев все ближе, и страшный взрыв сокрушает землю. Блиндажи упирались крепкими спинами, но не выдерживали, — тяжелые бревна теряли свой вес и начинали дрожать, как досчатая перегородка. Наверху бушевало стальной выгой. Время остановилось, и гнетущая тоска сжимала сердце.

Чугунные молотки тяжелыми ударами били землю. Одно случайное попадание — и блиндаж взлетит на воздух, как спичечная коробка...

Илья Васильевич успел сообщить по телефону Глебу, что батарея находится под обстрелом тяжелых орудий. Последовало приказание вывести людей из огня.

— Всем по-взводно перебежками, на Лобачевку бегом марш, — скомандовал Илья Васильевич.

Номера быстро выбегали из укрытий, в короткие паузы между очередями разрывов, рассыпаясь в торопливом беге. Догоняли с визгом осколки, вливаясь горячим укусом в землю. Замертво упал, пораженный, как молнией, безответный Еремин, и тяжело

ранило в ноги номера первого орудия со страшной фамилией Бреус. Он совсем недавно пришел с пополнением и был одним из самых скромных безответных солдат. Оба остались на месте.

У Лобачевки номера остановились в безопасности. Сваряды и осколки сюда не долетали. Можно было перевести дух. Аэроплан продолжал кружиться над батареей. Гранаты рвались, раскидывая землю высокими черными фонтанам. Вот снаряд ударил прямо под орудие, оно закачалось, странно перевернулось в воздухе и медленно перекинулось на несколько аршин, как пуклячая большая галка. Вот брызнуло мощным фонтаном, и бревна полетели, как щепки, в разные стороны, а колесо орудия, словно игрушечное, прыгнуло вверх и легко перекинулось в черную пасть воронки. Зарядный ящик вспыхнул бледными огнями и взметнул высокий столб дыма.

Расстрел продолжался два часа. Аэроплан улетел, и выстрелы прекратились. Снова сияло солнце в душистых полях, как будто ничего не было. Наша позиция была уничтожена, а земля исковеркана черной оспой воронок. Непроницаемо-крепкие блиндажи пятого и шестого орудий были раздавлены, как мышинные норы. У всех орудий разбиты колеса, замки и панорамы, а остальные щиты измяты, как бумага. Один зарядный ящик оставил после себя бесформенную массу земли и осколков, а блиндаж первого орудия разбросал свой накат из бревен далеко вокруг. Четвертое орудие опрокинулось на траве без колес и прицепа, как сломанный табурет.

Толмачев, личный повар Глеба, не успел или побоялся выйти из землянки в начале обстрела; каким-то чудом он остался невредим в своей полуразрушенной землянке-кухне и к общему удовольствию, испачканный землею с головы до ног, отчаянно матерился, сверкая белыми зубами.

К вечеру Глеб получил приказание очистить позицию и отойти для пополнения в тыл.

В. Армилев

В ДЫМУ ВОЙНЫ

В окопах все наоборот.

Ночь и день поменялись ролями.

Ночью мы бодрствуем, а днем спим.

Первое время чрезвычайно трудно приучить себя к такой простой вещи.

Ночью клонит ко сну, днем трещит голова. Да и трудно заснуть в связывающей тело одежде, в сапогах. Когда ведедлю не разуваешься — сапоги кажутся стопудовыми гирями, их ненавидишь, как злейшего врага.

А распоясываться, когда противник находится в ста шагах, нельзя.

— Всего можно ожидать, — глубокомысленно взрекает Табальюк. — Ты не смотри, что он молчит. Он, немчура, хитрее чорта. Молчит, молчит, да как кинется в атаку, а мы без порток лежим. Тогда как?

Все помешались на неожиданной атаке. Ее ждут с часу на час. И поэтому неделями нельзя ни раздеваться, ни разуваться.

В геометрической прогрессии размножаются вши.

Это настоящий бич окопной войны.

Нет от них спасения.

Некоторые стрелки не обращают на вшей внимания. Вши безмятежно пасутся в них на поверхности шинели и гимнастерки, в бороде, в бровях.

Другие — я в том числе — ежедневно устраивают ловлю и избивание вшей.

Но это не помогает. Чем больше их бьешь — тем больше они плодятся и неистовствуют. Я расчесал все тело.

Днем мы обедаем и пьем чай.

И то и другое готовят в третьей линии.

Суп и кипяток получаем холодными. Суп в открытых солдатских котелках — один на пять человек — несут три километра ходами сообщения. Задевают котелками о стенки окопа — в суп сыплются земля и песок.

Суп от этого становится гуще, но не питательнее. Песок хрустит на зубах и оказывает дурное влияние на работу желудка.

Все страдают запором. Горячей пищи мало, едят всухомятку.

Балагур и весельчак Орлик приписывает запор наличию песка в супе и каше.

Охота на вшей, нытье и разговоры — все это повторяется ежедневно и утомляет своим однообразием.

* * *

Воды из тыла привозят мало.

Берем воду в междуокопной зоне, в ямках, вырытых в болоте.

Но вот уже целую неделю это «водяное» болото держит под обстрелом неприятельский секрет. Он залег в небольшой сопке в полуверсте от наших окопов и не дает набрать ни одного ведра воды.

За неделю у колодца убиты пять человек, ранены три.

Командир полка отдал лаконичский приказ:

— Секрет снять. В плен не брать ни одного. Всех на месте.

...Ходили снимать.

Командовал нами подпоручик Разумов. Операция прошла вполне удачно.

Закололи без выстрела шесть человек. С нашей стороны потерь нет.

На обратном пути Разумов делится со мной впечатлениями.

— Ловкое обделали дельце, а не радуется что-то, знаете ли... Мысли дрянные в башку набиваются. Хорошо посылать людей на смерть, сидя где-нибудь в штабе, а вести на смерть даже одно отделение трудно. Двадцать человек вверили тебе свои жизни: ведь, но не подводи, чорт возьми! Ведь каждому конопатуму замухрыжке, наверно, жить хочется.

Вон плетется сзади Семен Квашин. Смотреть не на что. Фамилия несурзкая — не человек, а знак вопроса, но ведь жизнь ему не надоела.

У него обязательно где-нибудь остались жена, дети. Ждут его домой. Вздыхают о нем ежедневно. Молятся за него.

Пздали это все не так страшно: вблизи ярче и страшнее.

С завизгом проносится серебряная ракета, вычерчивая над головами замысловатую траекторию.

Вслед за ней — другая, третья. Падая на землю, они шипят, как головешки, и подпрыгивают на невидимых ногах.

— Отделение, ложись! — глухо командует Разумов.

Разорванная шеренга немых фигур падает в липкую грязь, как пырей, подрезанный мощным взмахом косы.

Чья-то мокрая подметка упирается мне в подбородок. Ракетная свистопляска усиливается.

Противник нащупал нас.

Подпоручик Разумов, лежа рядом со мной, шепчет:

— Влипши, кажется, ребятки! Побежим — постреляют, как страусов. Ну, ничего, спокойно... Дальше нужно ползком. Сейчас поползем.

Четко лязгнула стальными челюстями немецкая батарея.

И один за другим, громяхая в бездонную темь, летят злобно ревущие сгустки железа и меди, сгустки человеческого безумия.

Там, где безобидно шипели, догорая и брызгая каскадом красного бисера, ракеты, взвился крутящийся столб огня, вырвал огромную воронку земли и поднял ее вверх, чтобы потом развезть во мраке.

Кого-то ожгло. Кто-то призывно крикнул. И в этом выкрике была внезапная щемящая боль и тоска по жизни. Этот вскрик — последний вздох брэнного солдатского тела, вздрагивающего в липкой паутине смерти.

— Ползком за мной! — командует Разумов.

Извиваясь змеями, уходим из-под обстрелов в свои окопы.

Первым встречает фельдфебель Табалюк.

— Ну, как, апафемы, все целы?

Подпоручик Разумов мрачно бросает:

— Четверо там остались...

— Немчура, он лютой! — философствует Табалюк. — Его только тронь. Не рад будешь, что связался. Места пустого не оставит. Все вывездит. Секрет-то хоть сняли все-таки, ай пет?

— Сняли...

— Ну, слава богу! Марш отдыхать в землянку!..

Страхивая с себя налившую грязь, заползаем каждый в свое неуютное логово, чтобы забыться на песколько часов в коротком сне.

Пушки противника тархтят реже, сдержаннее. Спаряды рвутся где-то за второй линией...

Наши батареи не отвечают совсем. <...>

* * *

В наши окопы пробрался удравший из немецкого плена рядовой Василисков.

Рассказывает о немцах с восторгом.

— Бяда, хорошо живут, черти.

Окопы у них бетонные, как в горницах: чисто, тепло, светло.

Пишша — что тебе в ресторантах.

У каждого солдата своя миска, две тарелки, серебряная ложка, вилка, нож.

Во флягах дорогие вина. Выпьешь один глоток — кровь по жилам так и заиграет. Примуса для варки супа. Чай не пьют вовсе, только один кофий да какаву.

Кофий валяется в стакан, а на дне кусков пять сахара лежит.

Станешь пить какаву с сахаром — бописья, чтоб язык не проглотить.

— Сладко? — спрашивают заинтересованные солдаты.

— Страсть до чего сладко! — восклицает Василисков. И тут же добавляет: — Игде нам супротив немцев сдюжать. Никогда не сдюжать! Солдат у его сыт, обут, одет, вымыт, и думы у солдата хорошие. У нас что? Никакого порядку пету, парод только макут.

— Чего ж ты удрал от хорошей жизни? — шутят солдаты над Василисковым. — Служил бы немецкому царю. Вот дуралей!

Оп недоуменно таращит глаза.

— Как же это можно? Чать я семейный. Баба у мене в деревне, ребятишки, падел на три души имею. Какой это порядок, ежели каждый мужик будет самовольно переходить из одного государства в другое. Они — немцы — сюды, а мы — туды. Все перепутается, на десять лет не разберешь.

* * *

В окопах мепаются радикально или частично представления о многом.

В Петрограде учили, что «внутренний враг» это те, которые... А на фронте стихийно вырастает в немудром солдатском мозгу совсем другое представление о «внутреннем враге».

В длинные скучные осенние вечера или сидя в землянке под впечатлением адской симфонии полевых и горных пушек мы иногда занимаемся «словесностью».

Кто-нибудь из рядовых явочным порядком присваивает себе звание взводного и задает вопросы.

На вопрос, кто наш внутренний враг, каждый солдат без запинки отвечает:

— Унутренних врагов у нас четыре: штабист, интендант, каптенармус и вошь.

Социалисты, анархисты и всякие другие «исты» — это для большинства солдатской массы — фигуры людей, которые идут против начальства, хотят не того, чего хочет начальство.

А офицер, интендант, каптер и вошь — это повседневность, быт, реальность.

Этих внутренних врагов солдат видит, чувствует, «познает» ежедневно. <...>

* * *

Завтра на рассвете идем в атаку.

Сегодня с утра началась артиллерийская подготовка. Наши глухонемые батареи обрели дар слова и бойко тарахтят на все лады.

Артиллерийская канонада действует на нервы убийственно. Но когда бухает своя артиллерия, на душе чуть-чуть легче. Солдаты шутят.

— Веселее сидеть в окопе, когда земля ходуном ходит от взрывов...

Немцы подозрительно молчаливы, точно вымерли. Когда противник молчит, в душе певольно нарастает тревога. Немцы, конечно, чувствуют, чем пахнет сегодня в воздухе.

Наши истребители жужжат процеллерами, пробираясь в сторону противника.

Нам выдали по триста пятьдесят патронов, по две русских гранаты-«бутылки».

Винтовки у всех вычищены и смазаны, как перед парадом. Ребра штыков отсвечивают мертвенно-холодным лоснящимся блеском.

Отделенные сблизись с ног, снаряжая нас. Наполняем баклаги кипяченой водой, пригоняем ранцы, мешки. Все должно быть на своем месте, снаряжение не должно греметь и стеснять движений.

Война — это охота, спор. Но спор неблагоприятный и опасный.

Перед наступлением в окопах глубокая тишина. Такая тишина бывает в тюрьме перед казнью осужденного, если об этом знают все остальные заключенные.

* * *

Мы еще ночью местами перерезали свои проволочные заграждения и раздвинули рогатки для выхода в сторону немецких окопов.

В три часа утра, когда смолкли на минуту пушки, переливаясь, прозвенели слова команды.

Выскакиваем из окопов и, беспорядочно толкая друг друга, цепями двигаемся в сторону противника.

Немцы откуда-то издали обстреливают нас редким «блуждающим» ружейным и пулеметным огнем. Но этот огонь почти не причиняет нам вреда.

Бежим вперед, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, низко пригибаясь к влажной бахrome росистой травы.

Ворвались в переднюю линию немецких окопов и оцепенели в недоумении: окопы пусты!

Не хотят принимать атаку? Отходят без боя? Эти вопросы вспыхивают в сознании, но ответить на них некогда. Сзади наседают новые цепи наших резервов.

И от центра к флангам несется энергичная команда:

— Вперед!!! Вперед!!!

* * *

Во второй и в третьей линии неприятельских окопов также ни одного немца.

Легкость победы радостно кружит головы и в то же время пугает.

Вопросы, от которых каждый из нас отмахивался в первой линии, в третьей снова встают во весь рост.

Не может быть, чтобы немцы отступили без всякого умысла? Что у них на уме?

На что рассчитывают?

Но каждый инстинктивно чувствует, что стоит только на секунду остановиться или повернуть назад, как затаившийся где-то в земляных норах незримый сторожкий противник оскалится тысячами смертей...

Через наши головы непрерывно бухает тяжелая и легкая артиллерия.

Канонада постепенно усиливается.

Одни снаряды дают перелет, другие рвутся над нашими головами.

Бешено ревушая, сверкающая полоса огня и железа точно пологом накрывает поле.

Густая полдневная мгла, содрогаясь от взрывов, шарахается огромными воронками, спиралями, водовертью сбивает с ног.

Кроваво-красные зарева взрывов тонут в фонтанах вздыбленной мелкой земли и пыли.

Слова команды, передаваемые по цепи, плывут медленно, они едва слышны. Щеголеватых адъютантов не видно.

Стрелки и вестовые часто перевирают и путают распоряжения начальства. Получаются курьезы, недоразумения.

Да, кажется, никакой команды и не нужно в бою.

Люди стреляют, перебегают, встают, ложатся и меняют положение тела безо всякой команды; руководствуются инстинктом, рассудком.

* * *

Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил:

— У-рра-а-ааа!!

И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу. На параде «ура» звучит искусственно, в бою это же «ура» — дикий хаос звуков, звериный вопль.

«Ура» — татарское слово. Это значит — бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя.

В этом истерическом вопле сливается и ненависть к «врагу», и боязнь расстаться с собственной жизнью.

«Ура» при атаке так же необходимо как хлороформ при сложной операции над телом человека.

* * *

За третьей линией немецких окопов живописными изломами змеилась лощина, усеченная зеркальной полосой небольшой речонки. Слева на горизонте выступала огромная каменная масса гор.

Окрыленные и смущенные мимолетным успехом, выбегаем из ходов сообщения в лощину и, потеряв направление, волчком кружимся на месте.

Над головами, невидимые, поют пули. Пляшет желтая земляная пыль.

Одна из наших резервных цепей бьет через нас в предполагаемого противника.

Командиры приводят в порядок цепи, распутывают сбившиеся звенья, отделения, взводы.

— Направление на впереди лежащую горку... — несется крутая команда. — Справа по звеньям начинай!

...На горке оказались замаскированные немецкие окопы.

Немцы встречают нас густым убийственным огнем. Бьют без промаха. Пристрелка сделана заранее с точностью до двух сантиметров.

Визжит под пулями начиненный огнем и железом воздух. Захватывает дух.

Железный ветер — ветер смерти — дыбит свалывшиеся на потных макушках пучки волос. Сметает, убаюкивает навсегда взвод за взводом.

Один за другим в муках и судорогах падают люди на влаж-

пую траву, вгрызаясь зубами в мягкую, дремлющую в весенней востоме землю.

Живые перескакивают через мертвых и бегут, оглашая ревом долину, с ружьями наперевес, с безумным огоньком в глазах.

И опять перемешались все звенья, взводы. Никто не слушает команды.

Методический клетот сотен пулеметов, работающих без перебоев, напоминает работу какой-то большой механической фабрики.

Огонь. Стихия. Хаос. Люди, обезумевшие перед лицом смерти. <...>

Али Ага Шихлинский

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ЛЕТОМ 1916 ГОДА

Главкомандующий* приказал мне создать особую артиллерийскую группу под моим личным командованием для того, чтобы очистить путь обоим этим корпусам. Я собрал здесь крупнокалиберные орудия: батарею 11-дюймовых скорострельных гаубиц завода Шнейдер-Крезе, осадный дивизион из 6-дюймовых пушек образца 1904 года, тяжелую артиллерийскую бригаду, сформированную по моему проекту из орудий 1877 года, и батарею из двух 6-дюймовых морских пушек системы Канэ. Все эти части получили определенные задачи как по обстреливанию главного фаса Богушинского леса, так и по разрушению сильных укреплений немцев на левом фланге Пепеличевского леса — недалеко от угла этого и Богушинского лесов. Батареи были расположены соответственно задачам и таким образом, что они могли обстреливать Богушинский лес во всю глубину и его левый крайний фас продолжным огнем, а сильные укрепления немцев впереди стыков наших корпусов держать как под фронтальным, так и под косоприцельным огнем. Позиционные батареи из орудий Канэ могли бить эти укрепления почти во фланг.

Подготовка артиллерии шла по всему фронту, причем на стыках под моим личным командованием, а на остальных частях фронта под моим наблюдением. Но пока вся эта подготовка совершалась, по сведениям, полученным в штабе фронта, немцы подвинули к району 9 свежих дивизий. Главкомандующий не рискнул атаковать противника в этом направлении и приказал быстро передвинуть все назначенные для атаки части на Барановичское направление. Части были двинуты пешим порядком. Пошли дожди, образовавшие на дорогах невылазную грязь. Передвижение было крайне тяжелое и завершилось на два дня позже, чем было предположено.

В это время на Юго-Западном фронте генерал Брусилов вел наступательные операции и требовал, чтобы Западный фронт тоже наступал, так как это могло бы повлиять на успех его действий; но Западный фронт запаздывал. Ставка тоже стала горючить Западный фронт. Я выехал в Ставку и доложил полковому инспектору артиллерии, что передвижение артиллерии на новый фронт атаки заоздало из-за бездорожья и ее личный состав сильно утомился. Поэтому раньше 19-го июня начать артиллерийскую подготовку мы не сможем. На это он ответил:

— Брусилов и так недоволен. Я не могу взять на себя ответственность за новую задержку ваших действий.

Тогда я сам пошел к начальнику Штаба верховного главнокомандующего и сделал ему обстоятельный доклад. Он согласился. Когда я вернулся в 4-ю армию, то начальник штаба этой армии генерал Буняков мне сказал:

— Вы сделали большое дело.

Этот почетный генерал, профессор Академии генерального штаба по кафедре военной истории, в данном случае, повидному, больше думал о том, как он после войны опишет действия своей армии, нежели о том, как выполнить данную операцию.

В штабе армии были собраны корпусные командиры, участвующие в этой операции. Кроме Данилова (черного) и Драгомирова были приглашены командир гренадерского корпуса генерал Парский и командир 10-го корпуса генерал Николай Александрович Данилов (рыжий). Генерал Рагоза просил меня присутствовать на совещании. Я присутствовал в качестве бесслесного свидетеля, так как к тому, что здесь говорилось, мне нечего было прибавить.

После совещания корпусные командиры разъехались. Генерал Рагоза попросил меня пройтись по парку. Среди этого парка возвышался замок князей Радзивилл, окруженный глубоким рвом, наполненным водой, через который был перекинут подъемный мост. (Это тот самый замок, о котором так много говорится в первой книге трилогии Сенкевича «Огнем и мечом».)

Тут генерал Рагоза попросил дать ему совет, как провести эту операцию.

Я ему сказал:

— Не поручайте всего дела Драгомирову, а берите все в свои собственные руки, выезжайте вперед вместе с оперативной частью вашего штаба и командуйте сами. Каким бы способным корпусной командир ни был, он не сможет пользоваться у других корпусных командиров таким авторитетом, как вы, и у него нет аппарата для управления чужими корпусами, а у вас есть.

Однако, генерал Рагоза не выехал на фронт, и первым лицом там оказался генерал Драгомиров. Это был человек чрезвычайно способный, хорошо знающий военное дело, но мне он казался несколько нервным, а эта нервность действовала иногда неблагоприятно на его волю.

После совещания с генералом Рагоза я поехал к генералу Драгомирову. Он меня пригласил в штаб 43-й дивизии, входящей в его корпус, где был и начальник 5-й дивизии генерал Никитин. Тут он предложил им доложить, указали ли они все цели, подлежащие разрушению, инспектору артиллерии корпуса. Генерал Ельшин доложил, что они показаны инспектору артиллерии и по карте и на местности. Генерал Никитин доложил, что он показал у себя в штабе на карте. Драгомиров вспыхнул и сказал, что по карте он может в один час показать цели артиллерии трех корпусов:

— Вы поленитесь выехать на фронт. Извольте завтра рано утром вместе с инспектором артиллерии выехать на фронт вашей дивизии и показать ему все цели на местности.

На другой день с инспектором артиллерии корпуса поехал и я, зная, что генерал Никитин, как тугодум, тяжел на подъем и опять выкинет какой-нибудь номер. Для него был оборудован наблюдательный пункт на гребне высоты, где возвышался холмик. Под этим холмиком ему устроили прочный блиндаж. С нашей стороны в скате горы был выдолблен подземный путь для

наблюдения за противником и за действиями наших войск. В блиндаже была зрительная труба Цейса, дающая возможность видеть все перед собою, но самому не быть видимым. Однако, генерал Никитин сел в белом кителе на вершину холмика, спиной к противнику, а мы все сидели в окопе, идущем внутрь блиндажа. Он стал роптать:

— Какое мне дело показывать задачи тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия мне не подчинена, она подчинена инспектору артиллерии корпуса, пусть он и показывает.

Инспектором артиллерии был один из доблестнейших защитников Порт Артура, знаток своего дела, Николай Александрович Романовский, очень скромный человек. Он промолчал. Тогда я сказал генералу Никитину, что цели, которые подлежат разрушению до начала атаки и обстрелу во время самой атаки, может знать только он, направление, в котором будут атаковать дивизии и сколько нужно пробить проходов в заграждениях противника, также может знать только он.

После моих слов генерал приступил к показу целей. Одна за другой разрывались над его головой немецкие шрапнели. Начальник штаба доложил, что стреляют по нему. Он ответил:

— Ну, что же, пусть убьют.

Я опять не выдержал и сказал.

— Если убьют Вас, или меня, или кого-нибудь из нас, это правда особого значения не имеет, на то и война — многих убивают. Каждый из нас, выходя на поле сражения, ожидает смерти. Но Вы за несколько дней до атаки указываете немцам наблюдательный пункт начальника дивизии. Сегодня они по Вас пристреляются, а в день атаки покроют это место дымом и пылью, и начальник дивизии будет ослеплен.

Он ни слова не возразил, но видимо с большим неудовольствием сполз и вошел в свой блиндаж. Все мы там поместились, и он имел полную возможность ясно показать цели в трубу.

19-го июня в ясный весенний день началась артиллерийская подготовка атаки. Артиллеристы действовали прекрасно. Снаряды их ложились точно. Огромное убежище, построенное на длинной немецкой позиции, было открыто до основания снарядами 11-дюймовых гаубиц. Попутно с этим были разрушены проволочные заграждения на большом участке фронта. Таким образом был создан широкий проход, не предусмотренный планом. Все артиллерийские части справились с поставленными заданиями, и после полудня они уже были решены. Мало того, в одном месте попутно с решением задач артиллерийским огнем очистило лесной участок, а за ним обнаружился новые сильные фортификационные постройки немцев, которых не было на нашем аэроснимке, произведенном до начала атаки. Артиллерия успела разрушить и эти укрепления.

Генерал Никитин донес Драгомирову:

— Артиллерия решила все данные ей задачи, но атака не подготовлена.

Драгомиров с сердцем сказал:

— Это сам Никитин не готов.

Стоя около него, я заметил:

— Абрам Михайлович, сделайте вид, что это донесение до Вас еще не дошло и сейчас же по телефону скажите Никитину: «Поздравляю вас, ваша артиллерия выполнила задачу, а атака готова. Скатертью вам дорога». Это его подтолкнет.

Но этого Драгомиров почему-то не сделал. Времени для атаки оставалось достаточно. Было светло. Я посоветовал сейчас же перейти в атаку, пока немцы не успели одуматься и привести себя в порядок, а то потом они перегруппируют свои части сообразно изменившейся обстановке, и тогда будет труднее.

Драгомиров на это не согласился, сказав, что впереди ночь, и на незнакомой местности нам будет трудно ночью устроиться. Собственно говоря, ничего незнакомого там для нас не было. Все на карте ясно было видно. В июне ночь наступает очень поздно, и была полная возможность до ночи устроиться. Таким образом, оставили атаку до рассвета. Кроме того, я предложил перевести гаубичные батареи вниз, в долину реки Сервечь, так как с сегодняшней своей дистанции они стрелять по завтрашним целям не сумеют, а снизу через гребень того берега они могут стрелять свободно; пушечные же батареи спустить вниз нельзя, потому что они стреляют по очень отлогим траекториям. Этот мой совет тоже почему-то выполнен не был. Гаубичные батареи остались на прежнем месте.

На другой день рано утром 42-я дивизия корпуса Драгомирова под командой бравого генерала Ельшина начала атаку. 46-я дивизия генерала Никитина тоже пошла в атаку. Обе эти дивизии, пославшие каждая по два полка в атаку, атаквали противника очень рано. Полки двигались смело вперед, несмотря на то, что все поле их движения было покрыто немецкими шрапнелями. Никитин, которому Драгомиров подчинил еще 55-ю дивизию, всю массу этих двух дивизий сбил в свои окопы и ни одного шага вперед не сделал. Драгомиров терпел. Как полки 42-й дивизии, так и полки 46-й дивизии спустились вниз и под сильным артиллерийским огнем перешли вброд довольно широкую реку Сервечь, прорвали первую полосу немцев и залегли перед второй полосой. Никитин не двигался с места. Только перед закатом солнца, когда выяснилось, что перед Никитиным никого нет, он двинулся вперед и занял всю площадь, которая была за день перед тем в руках немцев, а теперь очищена.

Атака была отложена на следующий день. Ночью немцы перегруппировали свои части и на рассвете взяли под перекрестный огонь пулеметов и пушек вылезшие вперед полки 42-й и 46-й дивизий. Они были отделены друг от друга широким пространством, на котором Никитин задержал полки своей и 55-й дивизий. Полки 42-й и 46-й дивизий понесли очень большие потери и выпущены были отойти в исходное положение. Для замены полков 46-й дивизий пущены были вперед два полка 3-го Кавказского корпуса. Эти полки под огнем противника спустились в долину, перешли вброд Сервечь и опять заняли все пункты, которые раньше были заняты полками 46-й дивизии, по их постигла та же участь. Понеся огромные потери, они вынуждены были вернуться в исходное положение. Атака была сорвана.

Левее Драгомировской группы по обе стороны железной дороги, ведущей в Барановичи, расположен был гренадерский корпус генерала Парского, а еще левее 10-й корпус генерала Давилова (рыжего). На эти корпуса была возложена пассивная задача сковать противника перед своим фронтом с тем, чтобы он не смог посылать части на помощь атакованным немецким войскам на других позициях.

Генерал Парский вел только огневой бой, генерал же Давилов, активно действуя, решил ввести неприятеля в заблуждение,

будто здесь тоже предполагается атака, и приказал своим частям наступать. Но части пошли вперед, не дождавшись артиллерийской подготовки атаки, т. е. поступили обратно тому, что происходило в районе ударных корпусов. В связи с этим полки 10-го корпуса были принуждены остановиться, не дойдя до проволочных заграждений.

Итак, несмотря на прекрасную артиллерийскую подготовку, вся операция была сорвана *. Причины были следующие:

1) генерал Рагоза повторил свою ошибку, допущенную в Нарочской операции, переложив свои обязанности на плечи Драгомирова;

2) и генерал Рагоза, и генерал Драгомиров, давно знавшие генерала Никитина, как тугодума, тяжелого на подъем, к тому же пессимиста, все же возложили на него центральную задачу с подчинением ему 55-й дивизии. Он же замариновал все 8 полков и своевременно не пошел в атаку;

3) после окончания артиллерийской подготовки оставалось не менее 5-ти часов до наступления темноты, но ни этим временем, ни ночью не воспользовались для перемены позиций артиллерийских частей с тем, чтобы с рассветом 20-го числа начать обстреливать немецкое расположение с новых позиций и в большую глубину.

Появилась необходимость выехать мне в район Особой и 2-й армий, штабы которых были расположены на станции Рожиче. В этом районе я посетил одну из тяжелых бригад, сформированных по моему проекту. Я был на позиции дивизиона, которым командовал подполковник Лазаркевич, рекомендованный мною на эту должность. Как расположение батарей, так и производившаяся в моем присутствии стрельба были найдены мною целесообразными. В 3-й армии предполагалась атака на реке Стоходе, но дело у них не шло вперед, так как неприятель занимал лесное пространство и почти не представлялось возможности наблюдать за стрельбой его артиллерии.

Я уже собирался возвратиться в штаб фронта, как пришла телеграмма от главнокомандующего: «Ожидайте приезда начальника штаба». Через день приехал начальник штаба. Оказалось, что в первом корпусе были нелады, и решили назначить командиром этого корпуса генерала Булатова, командовавшего 10-м корпусом. Об этом генерале я слышал еще в мирное время, причем слухи о нем были очень неприятные. Я тогда относился к этим слухам недоверчиво, зная, что наше офицерство не любит строгих начальников, и его, вероятно, тоже не любят за строгость и требовательность. Но встреча с ним меня убедила в том, что это действительно неприятный человек.

Вместе с корпусным командиром мы поехали в 30-й корпус. В верстах пяти от штаба корпуса мы увидели выстроенный конвой командира корпуса. Нас прежде всего поразило то, что конвой состоял из кубанских казаков, а одеты они были в форму царского конвоя — в синих черкесках с позументами. Мы думали проехать мимо, не зная, для кого тут выстроен конвой, но генерал-квартирмейстер Особой армии генерал Герца (Борис) шепнул начальнику штаба: «Они вас встречают».

Начальник штаба остановил автомобиль, поздоровался с людьми, и мы поехали дальше. Эти люди сейчас же бросились врассыпную по всему полю, начали скакать возле автомобиля и проделывать всякие фокусы на коне. Начальник штаба, видя, что они

присланы не только для встречи, но и для сопровождения, а также для устройства высоким гостям зрелища, остановил автомобиль и дал знать, чтобы они собрались. Затем он вызвал начальника конвоя и приказал свернуться в колонну и шагом проехать до штаба корпуса. Они так и сделали. Мы приехали в штаб корпуса. Генерал Булатов о нашем приезде был осведомлен и заранее пригласил к себе инспектора артиллерии корпуса генерала Пыжевского, очень доблестного артиллериста, награжденного Георгиевским крестом в японскую войну, и двух начальников дивизий, почтенных генерал-лейтенантов. Командир корпуса и эти генералы вышли из своей столовой-палатки и встретили нас. Начальники дивизий и инспектор артиллерии корпуса были нам представлены.

Мы вошли в палатку. С первых же слов генерал Булатов показал свое настоящее лицо. Он говорил елеинным тоном, причем о расположении своих частей он докладывал следующим образом: «Теперь мои окопы, ваше превосходительство, находятся в 40 шагах от окопов немцев, но я это расстояние доведу до 20-ти шагов, до 12 шагов. Начальники дивизий говорят, что это невозможно. Но это возможно. Это, правда, трудно — ведь для того, чтобы довести свои окопы к немцам на 12 шагов, тут мало одной храбрости, требуется и ум». И все в том же роде.

Трое почтенных генерал-лейтенантов смущенно сидели при этих разглагольствованиях своего командира корпуса, который их постоянно третировал. Все совещание заключалось именно в таком докладе командира корпуса. Ему сообщили, что он будет перемешен в первый армейский корпус. После этого нам предложили чай, полы палатки были подняты, и в нее влезли музыканты со своими инструментами. Таким образом, мы пили чай под музыку.

Один час наблюдения за Булатовым показал, что он тяжелым камнем лежит на своих подчиненных, а перед начальством лезбит.

В штабе одного из гвардейских корпусов был собран высший командный состав всех корпусов Особой армии. На совещании возбудили вопрос о таком расположении артиллерии, чтобы по каждой сколько-нибудь важной в тактическом отношении цели можно было развить фланговый огонь. Один из присутствующих спросил — каково отношение флангового огня к фронтальному. Начальник штаба обратился ко мне и просил высказать свое авторитетное мнение.

— Одно орудие фланговым огнем сделает столько же, сколько два орудия фронтальным огнем. Поэтому надо артиллерию так располагать, чтобы каждая цель могла быть подвержена или фланговому, или косоприцельному огню. Фронтальный огонь применяется или тогда, когда можно развить перекрестный огонь, или когда другой возможности стрелять по данной цели нет. А это значит, что артиллеристы были непредусмотрительны и свои батареи расположили нецелесообразно.

Этим наша поездка кончилась, и мы вернулись в штаб фронта.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Сегодня две недели, как мы находимся в команде вольноопределяющихся, в которую со всего Западного фронта собирают нижних чинов, имеющих образование, для назначения в школы прапорщиков. Кого-кого тут нет: кирасиры, гусары, артиллеристы, саперы, автомобилисты, пехотинцы, ополченцы. Живем мы на окраине города в казармах артиллерийского мортирного дивизиона, рассчитанных на пятьсот человек, а нас собралось две с половиной тысячи. Располагаемся на двойных нарах. Все мы, кроме Вани, отвоевали себе верхние нары. Ваня расположился внизу под Геннадием. Геннадий изводит Ваню, доверительно сообщая, что иногда по ночам страдает детской болезнью, предлагает Ване купить в аптеке клеенку и обить свой потолок.

По утрам — очередь к умывальнику, за кипятком, супом и тому подобным. Все, конечно, ждут с нетерпением отправки в школы прапорщиков, но начальство почему-то не спешит с этим.

Жизнь вольноопределяющихся организована удивительно: мы только пьем, едим да спим. Занятий с нами никаких не проводят. Офицеров не видим, взводные, отделенные — все из нашего брата вольноопределяющихся. День разнообразится только чтением газет, журналов, играем на гитарах, мандолинах, балалайках — у кого что есть. Процвечают карточные игры и невинный преферанс, а «очко», «железка», «польский банчок» и еще какие-то, которым я даже названия не знаю. Играют днем, играют и по ночам.

Правда, ежедневно бывают у нас так называемые «занятия». Это значит: выстроившись повзводно, мы идем в лес, там полежим, поболтаем от двадцати минут до сорока и снова идем в казармы. Да и от этих «занятий» ухитряется удирать не менее половины вольноопределяющихся, несмотря на строгий приказ начальника команды всем выходить на «занятия».

Возвращение из леса обычно сопровождается озорством. Во-первых, мы поем непристойные песни, особенно на тех улицах, где много молодых женщин. Непристойность обычно заключена в припеве. Если его написать и прочесть — ничего непристойного нет, а появляется она только при пении, когда слитно произносятся некоторые слова.

Во-вторых, издеваемся над военными чиновниками. Увидев идущего по тротуару чиновника, взводный подает команды «Отставить песню!», «В рядах равняйся!», а затем «Смирно!» и подносит руку к козырьку, но тотчас же опускает ее, командует: «Отставить!» и, обращаясь к чиновнику, говорит: «Извините, господа, военный чиновник мне показалось — вы офицер». А тот бедняга, только что приосанившийся, никнет и как побитый идет дальше.

А что делать молодым, полным силы людям, волею начальства обреченным на полное бездействие? Куда было девать переполнявшую нас энергию? Кто не играл в карты — шел гулять в город. Но ведь каждый день гулять не будешь? Вот и лежим на своих нарах, как медведи в берлоге. Лень постепенно затягивает нас своей клейкой паутиной, бывает, что идти пить чай и то никак не подымешься, хотя давно уже чувствуешь жажду.

На почве ничегонеделания кроме азартных игр процвечают

пьянство и связанные с ним кражи. Воруют не только деньги, но и вещи. Дело дошло до того, что начальник команды полковник князь Микеладзе собирал команду и долго уговаривал «господ вольноопределяющихся» бросить карты, не воровать и не пить денатурат. Князь был очень милый и славный старик. Его любили за кротость и простоту, поэтому слушали внимательно, сочувственно вздыхали. Но вот князь кончил поучение, команда распущена. Мой сосед по нарам гусар Мрачнов, вопреки своей фамилии веселый парень, обращается ко мне и к своему соседу приземистому кирасиру, солидному и непыющему:

— А не выпить ли нам, братцы, «средне», как пишет великий возиятель Скиталец? А? Я знаю уголок, где чашка денатурата с квасом стоит только двадцать пять копеек. Идемте, невинные вы души!

— Отстань, Степан! Знаешь ведь, что не пойду, — отвечал кирасир.

Но Мрачнова трудно было уговорить, да и делать нам было нечего.

— Ты, пойми, Рома! Дернешь чашку, тебя, правда, спервоначалу всего перевернет. Но отрыгнешь раза три керосином с сырой кожей — и тогда благодать на тебя исходит. Всех обнять готов: «И в небесах я вижу бога, и счастье я могу постигнуть на земле».

— Это у тебя природное, или специально уроки брал? — серьезно спрашивает Роман.

— Ты о чем? — недоумевает сбитый с толку Степан.

— А вот паясничанье, — невозмутимо поясняет кирасир.

— Презренный червь, — вопит гусар, — я раскрываю перед тобой богатства моей необъятной прекрасной души, а ты в ответ жуешь свою бычью жвачку да сплевываешь.

Такие перепалки, конечно, происходили тоже только ради развлечения.

Было у нас в команде немало талантливых ребят музыкантов, рассказчиков, певцов. Импровизированные концерты проходили с исключительным успехом. Обалдевшие от ничегонеделания вольноопределяющиеся жадно слушали выступавших товарищей. Народ скучал и тянулся всей душой ко всему светлому.

17 июля

Вильна. Население Двинского военного округа призвано на окопные работы. Значит, опасность велика.

Распространяются разные слухи: нами оставлена Митава, население Варшавы покинуло город, мосты через Вислу взорваны. И не слух — все плешные немцы из Вильны отправлены в Витебск.

Слухи носят и такие: в школу прапорщиков будут назначать только в августе, а пока нашу команду переведут не то в Витебск, не то в Смоленск.

Слухи действуют на нервы, но никуда от них не денешься.

24 июля

«Солдатский вестник» сообщил, что вчера, в 9 часов вечера, Варшава оставлена нами. Не хочется верить.

А если оставлена Варшава, то и Новогеоргиевск или в осаде, или тоже оставлен. Неужели попали в плен наши товарищи? В плену и Чурсанов Алексей Яковлевич, наш взводный, мечтавший о том, чтобы скорее замириться, и строгий, но знающий и

умный подпрапорщик Федоровский? Может быть, в плену и мой учитель кузнец Неклюдов Александр Никифорович, учивший меня быть ближе к народу, солдатам, рассказывавший мне о горькой жизни крестьянина и рабочего, сомневавшийся в необходимости войны для рабочих и мужиков. Так он мне и недоговорил чего-то! Что это могло быть?

26 июля

Получили газеты: Варшава действительно оставлена нами.

Сегодня предпринял очередную прогулку по городу. Несмотря на то что Вильна очень стара, особенно интересных памятников старины здесь нет, кроме Замковой горы да дворца Гедимина. Зато замечателен собор из красного кирпича. Многочисленные кружевные башенки и шпили делают его похожим на знаменитый Миланский собор, который я неоднократно видел на картинках.

Вторая достопримечательность Вильны, по-моему, дом скульптора Антокольского. В доме и палисаднике выставлено большинство его творений, только, к сожалению, все копии скульптур окрашены в желтый цвет: возможно, что они из глины и окрашены масляной краской для предохранения от дождя, снега. Но желтая краска расхолаживает. <...>

Я шел к себе в батальон, раздумывая о происшествии дня и всего больше о Муромцеве: мне очень пришлось по сердцу мой новый начальник, работать с ним, казалось мне, будет легко.

Со следующего дня я включился во все занятия команды, стал присматриваться ко всему для меня новому. В сотне я сам постоянно занимался с солдатами. Большею частью это было изучение оружия и приемов пользования им, действия штыком, перебежки, строевая подготовка и внутренняя служба. Стреляли мы редко и всегда на коротких стрельбищах. Много занятий проводилось в составе взвода и отделения. Главной фигурой в обучении был унтер-офицер. Многие из них в своем масштабе были неплохими методистами, занятия проводили уверенно, интересно и поучительно. Мы, молодые офицеры, окончившие трех-четырехмесячный курс в военном училище или школе прапорщиков, особенно если раньше не служили в армии, были в сравнении с ними младенцами и учились у них искусству обучать. Я полагал, что в команде разведчиков содержание занятий будет похоже на то, к чему привык в сотне, и ошибся. Здесь обучение в составе взвода почти не проводилось, а упор делался на тщательную выучку отдельного солдата и небольшой группы применительно к тем задачам, которые предстояло решать команде разведчиков.

Здесь впервые я увидел настоящую маскировку: местность была очень удачно замаскирована, естественно выглядели пни, кучи коряг, скрываясь за которыми, вел наблюдение разведчик. Иногда солдат по ходу занятий и сам превращался в куст. Нескольким раз я был немало смущен, наталкиваясь или наступая на замаскировавшихся разведчиков.

Отдельные солдаты и группы тренировались в передвижении в рост, на четвереньках и ползком, добываясь полной беззвучности движения. А двигаться приходилось по полю, болотцу, опушке леса, кустарнику. Некоторые разведчики действительно достигли в этом деле большого искусства и бесшумно скользили, как змеи. Я ничего не слышал, когда умелый солдат шел гибким шагом или полз. Он скрывался в кустарнике, и ни одна ветка не шелухнулась за ним.

Особое внимание уделялось умению проникать сквозь проводочные заграждения. Обычно проводочные поля немцев были глубиной в тридцать и более кольев, конечно на ответственных участках. По имевшимся сведениям, немцы, опасаясь нашего прорыва, построили под Барановичами проводочные поля глубиной в сто с лишним кольев. Во всяком случае, проводочные заграждения были пашими злейшими врагами, преодоление их представляло собой трудное дело, требовавшее умения, хладнокровия и времени. Задача тренировок состояла в том, чтобы преодолеть проводочные заграждения заданной глубины в наименьшее время независимо от числа разрезов. По сделанному проходу группа разведчиков должна была быстро пройти или проползти вперед и возвратиться с пленным.

Упражнения в захвате пленного также привлекли мое внимание. Эту задачу обычно выполняли три разведчика: двое обходили с флангов пункт, где располагался неприятельский наблюдательный пост, а третий подкрадывался к нему с тыла. Фланговые разведчики прикрывали захватывающего и преграждали наблюдателю путь к бегству, если захват сразу не удавался. По знаку командира отделения разведчики бесшумно продвигались вперед, и через несколько минут один из них, прыгнув как кошка на чучело, охватывал его за горло и опрокидывал на землю. Фланговые разведчики немедленно приходили на помощь: чучело мгновенно оказывалось с забитым кляпом ртом и связанными руками. После изучения нескольких других вариантов проводилось нечто вроде зачетного занятия, в котором неприятельского наблюдателя изображал один из солдат, правда с небольшой охотой.

Большое впечатление произвели на меня быстрота, четкость и решительность действий разведчиков, а также сила и стремительность, с которыми они, возвращаясь с поиска, вели упиравшегося пленного. Подобные занятия проводились сперва днем, а после того как разведчики осваивались со своими обязанностями, тренировки шли ночью, что, кстати сказать, я видел впервые.

Метод обучения был для меня новым и очень интересным. Так, например, занятие по захвату пленного разбивалось на три части. Сперва изучались движение к месту расположения неприятельского поста и способы прикрытия движения. В эту часть занятия входили все виды передвижения: преодоление проволочек, прикрытые огнем, занятие исходного положения для захвата пленного. Затем изучался самый захват неприятельского наблюдателя. Когда разведчики в достаточной степени овладевали всем этим, отрабатывалось возвращение с пленным: проход проводочных заграждений, прикрытые отхода, движение к своему расположению, вынос раненых.

Каждая часть занятия разучивалась отдельно, а затем все занятие несколько раз выполнялось целиком. Нужно сказать, что на тренировку и подробное усвоение изучаемого времени не жалели, не торопились, работали основательно и осмысленно. В результате все исполнители не только отлично знали свои задачи, но и уверенно выполняли их. Разведчикам, подготовленным таким методом, конечно, были не страшны любые случайности. Командиры отделений, на мой взгляд, хорошо владели своим делом, занятия вели толково, не горячась, без ругани, терпеливо повторяя упражнение, особенно с теми, кому оно не совсем удавалось.

Прошло несколько дней моего пребывания в команде. Я по-

знакомился с содержанием и методикой подготовки, бытом и задачами разведчиков. Штабс-ротмистр Муромцев пригласил меня к себе.

— Вам, конечно, известно, — начал он, — расположение противника на участке, который наш полк занимал перед выходом в корпусной резерв. Насколько я помню, ваша рота стояла против Большого Обзира. Скажите, вы ясно представляете себе, ну, скажем, систему огня противника, пункты расположения его наблюдателей в первой траншее?

Я должен был признаться, что эти вопросы для меня не совсем ясны. Тогда Муромцев достал из своего чемодана большую папку и вынул оттуда карту:

— Вот посмотрите, как выглядит противник с нашей точки зрения.

Это была такая же карта, какими пользовались все офицеры полка, и я в том числе. Но какая огромная разница между моей картой, не имеющей никаких знаков, кроме участков окопов противника да нескольких ориентиров, и картой Муромцева, представляющей тщательную разработку большого материала. Чем дольше я ее рассматривал, тем больше выросло мое уважение к составителям карты. Позиции противника, его система огня, охранение, расположение крупных подразделений, блиндажи солдат, артиллерийские наблюдательные пункты, местные предметы до колодцев включительно — все было нанесено на карту, все ясно предстало перед моими глазами. Карта жила, и противник выглядел на ней не туманно, как на моей карте, а был попятен и прост. Я видел на карте немцев в их деятельности и понимал, что может грозить нам с их стороны.

Муромцев улыбался, наблюдая за мной.

— А теперь взгляните на это, — и он развернул большой лист плотной бумаги — план в масштабе двухсот шагов в дюйме, святой с только что рассмотренной мной карты. В дополнение к данным, уже имевшимся на карте, на плане были многочисленные ложбинки, копчики и прочие подробности местности, так необходимые разведчикам.

— Не думайте, что это только моя работа, — сказал Николай Петрович. — Правда, вся команда затратила немало труда на сбор материала, но это не все. Наличием этой действительно отличной схемы мы обязаны работе штабс-ротмистра Булгакова, его энергии, уму и знаниям. Не удивляйтесь! Наш полковой адъютант не только умеет покручивать свои красивые усы. Это исключительно дельный, талантливый и работоспособный офицер, к тому же скромный и неспособный кичиться своей работой. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали схемы, интересные главным образом с точки зрения нашей специальности. Начнем с подступов к противнику. Вот проходы в наших проволочных заграждениях. Видите, некоторые из них имеют красные черточки? Эти проходы обнаружены немцами и пристреляны. Поэтому мы не пользуемся ими. Вот проходы в наших проволоках, отмеченные зелеными штрихами: они закрыты сверху, в них можно проходить только ползком. В пространстве между нашими проволоками и проволоками немцев вы видите ряд кружков и крестиков желтого цвета. Это подготовленные и естественные укрытия, где можно переждать огонь противника. Кружок обозначает, кроме того, удобный наблюдательный пункт. Теперь смотрите на проволоки противника. Проходы в них обозначены тоже красными чер-

точками, так как немцы хорошо прикрывают их пулеметным огнем. А вот эти стрелки в окопах обозначают действующие пулеметы, пунктирные же стрелки, идущие от них, — примерные сектора обстрела. Обратите внимание: некоторые районы между нашими и немецкими окопами заштрихованы. Здесь обычно наблюдался наиболее сильный перекрестный пулеметный огонь и заградительный огонь минометов.

Шаг за шагом Муромцев последовательно, со свойственной ему неторопливостью и методичностью раскрыл всю изображенную на карте организацию немецкой обороны, и она отчетливо отразилась в моем сознании.

— Когда наш полк займет свои позиции, мы сумеем многое из того, что занесено на карту, проверить, — говорил штабс-ротмистр.

— А разве за это время ничто не изменится? — спросил я.

— Едва ли. Проверять, конечно, будем. Но все же серьезных изменений я не ожидаю, так как немцы больше любители сохранять установившуюся систему. Мы убедились, и не раз, что организация обороны, вплоть до наблюдательных постов и путей движения патрулей, у них устанавливается раз и навсегда и соблюдается пунктуально. Достаточно сказать, что места, где мы захватывали часовых и наблюдателей, немцы оставили без изменения, разве что усилили кое-где проволоки да дистанционных огней добавили. То же осталось и в отношении маршрутов патрулей. В общем, немцы трудно перестраиваются и предпочитают оставаться на существующей организации. <...>

Настал день или, вернее, ночь, когда наш полк снова занял боевой участок, «пошел на позицию» — на языке солдат. Первые дни мы проверяли сведения о противнике, как имевшиеся у нас, так и полученные от смененного нами полка. Нам предстояло за две недели пребывания на боевом участке дважды захватить пленных. Были намечены примерные сроки проведения поисков. Первой поисковой группой должен был командовать я. Николай Петрович подробно рассказал мне еще раз, как нужно приступить к разработке плана поиска, рекомендовал привлечь к этому делу унтер-офицеров и использовать их опыт. Я так и поступил. С Анисимовым, Голенцовым, Грибовым, Серых и Ниткой мы тщательно разработали план действий нашей группы. Особых споров у нас не было: я больше полагался на опытных разведчиков, чем на свои способности. Штабс-ротмистр просмотрел наш план, внес очень небольшие поправки и утвердил его.

Задача нашей группы заключалась в том, чтобы захватить не рядового солдата, а унтер-офицера. Поэтому целью нападения был выбран патруль. Задача довольно сложная, и для ее выполнения мы решили точно установить время проверки немецкими патрулями постов, проникнуть сквозь немецкие проволочные заграждения, незадолго до прихода патруля снять часового-наблюдателя и затем захватить патрульного унтер-офицера.

Выполнение задачи требовало времени — четверо-пятеро суток — и зависело от четких и своевременных действий. С помощью штабс-ротмистра Муромцева и его разведчиков все казавшиеся мне сложными вопросы быстро превратились в простые по замыслу и исполнению. Было решено, что обследование местности в первую ночь выполним я, Анисимов, Голенцов и Грибов. На день в выбранном пункте залягут Голенцов и Грибов, на ночь их сменит я и Анисимов. В следующую ночь наблюдают Грибов

п Голенцов, а на день залягут два разведчика, непосредственно в поиске не участвующие. Самый захват пленного должны были выполнить Анисимов, Голенцов и я. Николай Петрович согласился с представленным ему планом, и я со своими разведчиками приступил к его проведению.

Днем с удобного наблюдательного пункта из первой траншеи мы тщательно осмотрели выбранный участок, наметили два наблюдательных пункта недалеко от проволочных заграждений противника, подступы к ним, начиная от своих окопов, и ориентиры вдоль них, которые можно было бы видеть ночью. С наступлением темноты мы двинулись вперед к расположению противника. Первым шел Анисимов, ухитрившийся видеть почти в полной темноте, за ним я, затем Голенцов и замыкающим Грибов. У меня уже имелся некоторый опыт разведчика, и не раз приходилось бывать в межпозиционном пространстве как днем, так и ночью, но сегодня я чувствовал какую-то особенную приподнятость, по всей вероятности, я волновался от того, что был впервые в своей новой роли.

Ночь выдалась теплая и на редкость тихая. Луна закуталась в небольшие облачка, как в легкое покрывало, но идти было довольно светло. Все спокойно. Сторожевые ракеты немцев взлетают в небо через определенные, аккуратные промежутки времени, и мы легко приносовались к ним. Благополучно проходим свои проволочные заграждения, доходим до Щары. Секрет, притаившийся на ее берегу, среди коряг, в неглубоком окне, доложил: «Немец спокоен». Щару переходим по узеньким мосткам, скрытым в кустах, густой осоке и среди листьев кувшинок, и в том же порядке, но медленнее, с остановками и залеганиями двигаемся дальше, ориентируясь по заметным Анисимову и Грибову признакам. За небольшим бугорком отдохнули и на всякий случай сделали окопчик. Отсюда по прежнему направлению пошли я и Анисимов, а Грибов с Голенцовым свернули вправо. Через некоторое время я спросил Анисимова, далеко ли еще до немецких проволочек. Разведчик протянул вперед руку, прошептал: «Вот». Но сколько я ни напрягал зрение, ничего, кроме темно-серого, как солдатская шинель, и однообразного, как тикание ходиков, сумрака, не увидел. Дальше мы двигались на четвереньках и ползком. Я обратил внимание на то, что Анисимов тщательно обшаривал землю перед собой, и спросил его знаком. «Огни», — донесся до меня шепот. Ага! Дело идет о дистанционных огнях, часто устанавливаемых немцами непосредственно у своих проволочек, а в некоторых пунктах и впереди них. Видел я этот огонь. В тонкой стеклянной, герметично закрытой трубочке насыпан порошок. В разных трубочках порошок неодинакового состава и дает огонь разного цвета. Обычно немцы закапывали такие трубочки у самой поверхности земли или прикрывали песком, тонким дерном, веткой и т. п. Трубочка легко разламывалась под ногой, порошок соединялся с воздухом — и мгновенно вслыхивал столб яркого пламени. Дежурные немецкие пулеметчики немедленно открывали стрельбу в направления огня и на соответствующую его цвету дистанцию. Раздавить такую трубочку и опасался Анисимов. Соблюдая осторожность, я тоже стал ощупывать землю перед собой. Вдруг Анисимов предостерегающе тронул меня за руку: впереди ясно виднелись тощие сплуты немецких проволочных заграждений. Мы принялись к земле. Все по-прежнему тихо. Осмотревшись, я, к сожалению, не увидел ничего, кроме прово-

лок, редких ракет, взлетающих вверх, да огней далеких выстрелов, и мог убедиться лишь в том, что мы лежим на вершине небольшой складки местности. Но вот Анисимов, тронув меня за рукав, стал отползать назад. Я последовал его примеру, отполз на два-три шага и уже не видел проволочных заграждений. Следовательно, мы тоже стали невидимы из немецких окопов даже при освещении ракетами. Это была выгодная позиция для наблюдения, но открытая как спереди и флангов, так и с тыла, что представляло большое неудобство, о чем мне и прошептал Анисимов. «Подождем Грибова», — добавил он. Лежим. Тишину ночи ничто не нарушает. Через несколько минут слабый шорох справа заставил меня насторожиться. Но Анисимов лежал совершенно спокойно. Минуту спустя к нам подполз Грибов. Они с Голенцовым вышли на вершину такой же складки местности, как и мы, и там нашли глубокую яму. Не воронку от снаряда, а именно яму. Мы осторожно направились за Грибовым. Действительно, лучшее место для наблюдения и укрытия трудно придумать. Сухая яма глубиной в человеческий рост густо заросла высокой травой, по всей вероятности, на ее месте когда-то росло дерево, вырванное потом с корнем бурей. Дерево со временем использовали, а яма осталась. Проволоки немцев находились от нее на расстоянии двух десятков шагов или около этого. Условия для нашего наблюдательного пункта получались самые благоприятные.

Теперь оставалось главное: определить точное местонахождение наблюдательного поста немцев и проверить точность расположения ближайшего дежурного пулемета. До рассвета мы еще имели больше двух часов. Стали ждать. Долго тишина ночи ничем не нарушалась, и я получил новый урок терпения и выдержки. Наконец раздалось довольно свободное, сильное покашливание, а затем чиханье справа от нас. Голенцов сразу выложил палочку в направлении кашляющего. Но кто это был? Дежурный пулеметчик, случайный солдат или наблюдатель? Нам нужен был наблюдатель, так как он — один, а пулеметчиков обычно бывает несколько вместе, и нападение на пулемет редко обходится без большого шума. В час двадцать минут донесся звук шагов. Очевидно, в траншее из-за сырости немцы уложили мостки, и шум от солдатских сапог с толстыми подошвами был отлично слышен.

— Двое, — сказал Грибов.

Шаги затихли. Раздалась пегромкая команда, слегка звякнуло оружие, затем шаги вновь послышались совсем близко впереди нас.

— Патруль, — прошептал Голенцов.

Итак, мы обнаружили местонахождение часового наблюдателя или пулемет. Нужно было продолжать наблюдение, чтобы точно установить, с кем мы встретились, и выяснить время смены, если это наблюдательный пост.

Ночь близилась к концу: на востоке, над самым горизонтом, показалась слабая светлая полоска. Грибов и Голенцов остались в яме, а мы с Анисимовым направились к своим окопам и дошли до них без всяких происшествий. Один я, конечно, запутался бы в хаосе воронок, вывороченных пней, остатков проволочных заграждений и груд развороченной земли. Но Анисимов уверенно двигался впереди, как будто шел днем по хорошо знакомой улице.

За день мы отдохнули, обсудили еще раз план поиска и с наступлением темноты пошли сменять Грибова и Голенцова.

Сегодняшняя ночь — не то, что вчерашняя: небо затянуло

пелена облаков, моросит дождь, темно. Но Анисимов так же уверенно, как и вчера, идет впереди. Мы точно попали на мостки на реке, прошли секрет. Вдруг правее нас застучали два немецких пулемета и ночью тьму стали беспрестанно разрывать десятки ракет. Всего вероятнее, соседний с нами полк вел разведку и чем-то потревожил противника. Несколько раз вражеские пулеметы открывали огонь и против нашего участка. Но мы знали: командир нашего полка отдал приказ «не беспокоить немцев», чтобы создать у них впечатление нашей пассивности и тем самым обеспечить нам наилучшие условия для захвата пленных; поэтому с нашей стороны огонь не открывался. Постепенно пулеметная стрельба немцев становилась все реже и реже и, наконец, прекратилась. Тем не менее с полчаса пришлось нам лежать в высокой и мокрой траве, пока местность освещалась ракетами, а над головой проносились пулеметные очереди.

Грибов и Голенцов спокойно сидели в яме. Они точно установили, что перед ямой — наблюдатель, и определили время его смены; выяснили точное расположение пулеметов, время проверки днем и даже когда проходила офицерская проверка. Мне показалось неясным, как разведчики могли установить, что проверку проводил офицер. На мой вопрос Грибов прошептал: «Сапоги». После этого уже легко было догадаться, что офицер был в сапогах не с такой грубой подошвой, как у солдат, поэтому шел более мягко и производил меньше шума.

Получив разрешение идти, Грибов и Голенцов бесшумно вылезли из ямы и через мгновение исчезли во мраке ночи.

Освоившись в своем укрытии и заняв удобное положение, мы стали прислушиваться. Через некоторое время я убедился, что тишина только кажущаяся. На самом же деле ночь была наполнена массой разнообразных звуков, доносившихся со всех сторон. Нужно в них разобраться. Вот осторожное покашливание впереди — это немецкий наблюдатель. Правее его — приглушенный разговор — пулеметный расчет. Но пулемет ведь сравнительно далеко от нас, почему же так хорошо слышны голоса? Где-то в тылу немцев губная гармошка играет неясную, грустную мелодию — немецкий солдат раздумывает о войне, вспоминает свою семью или мечтает о возлюбленной. Четко цокают копыта, доносится всхрапывание лошади, сопровождаемое тархтением колес по каменистой дороге: что-то подвозят. Далеко слева кто-то тяжко и непрерывно вздыхает с хрипом, хлюпанием и клокотанием. Смотрю на Анисимова. Он, конечно, тоже слышит все это, но, как всегда, спокоен и безразличен. Заметив, что я слегка обернулся в его сторону, Анисимов, в свою очередь, повернулся ко мне. Я махнул рукой в сторону тяжелых вздохов. В ответ Анисимов, приложив ладонь ко рту, сказал: «Насос!» Мне стало до некоторой степени неудобно: ведь работу насоса я слышу ежедневно, он откачивает воду из окопов. Но как изменился ночью его характерный шум? С нашей стороны также слышно много звуков, хотя до нас шагов четыреста с лишком. Вот шаги по настилу — не торопясь, идут несколько человек. Вот окрик без всякой осторожности: «Кто идет?» — и приглушенный, неясный ответ. Что-то упало и рассыпалось: скорее всего, это не поленница дров, а опрокинули ящик с ручными гранатами лимонками.

От немцев часто взлетали ракеты. С нашей стороны их было немного, в основном на участке соседнего полка и нашего левого соседа — второго батальона.

Наблюдатель-немец стоял, видимо, на приступке окопа, высываясь над бруствером до груди, так как мы ясно слышали его вздохи, зевки и бормотание. Но вот раздался звук шагов по мосткам окопа. Слышно было, как наблюдатель принял другое положение. Шаги смолкли. Короткий лязг — солдат опустил приклад винтовки на настил. Отрывистая, неразборчивая тихая команда — и снова мерные, постепенно удаляющиеся и затихающие шаги: патруль. Смотрю на часы. Светящиеся стрелки показывают одиннадцать часов и что-то около сорока минут. Говорю об этом Анисимову и в темноте отмечаю карандашом в блокноте. Продолжаю см напряженно слушать. К утру у нас накопились такие сведения: сменялся пост в час с минутами и в три часа двадцать минут. Патруль приходил раз в два часа: в одиннадцать часов сорок минут, в час сорок минут и около трех часов.

Ночь кончается. Переходим на дневное наблюдение. Пытаемся определить видимость нашей ямы со стороны немцев. Сквозь проволочные заграждения ясно виден гребень бруствера, ничем не прикрытый. В бруствере — бойницы. Находим бойницу наблюдателя, заметную по его шевелению. Наши головы скрыты за травой — наблюдателю не должны быть видны. Все в порядке. Рассматриваем проволочные заграждения и насчитываем семнадцать рядов. Они подходят близко к окопам: видимо, немцы усиливали заграждения, не выходя за свои проволочки. На кольях и на проволоках развешано много пустых консервных банок. Тщательно изучаем проволочные заграждения в пределах нашей видимости: нет ли удобного места для прохода или готового прохода, — безрезультатно. Значит, схема, составленная штабс-ротмистром Булгаковым, верна. Однако не теряем надежды найти еще что-нибудь подходящее. Наконец наши труды вознаграждаются некоторым успехом: левее ямы, шагах в двадцати пяти, обнаруживаем под проволоками нечто вроде желоба, сделанного в земле, правда очень неглубокого. Возможно, до того как немцы отрыли окопы, здесь был сток воды. Хотя с той поры сток успел зарастить травой, но от острого охотничьего глаза Анисимова не укрылся. Колья заграждений были забиты так, что проволока первой линии поднималась над стоком, кол второй линии был вбит почти в самый сток. Дальше не было видно. Во всяком случае, мы нашли какой-то подступ, пригодность которого нужно проверить в следующей ночь.

На первую дневную смену остался я. Анисимов приспособился, чтобы уснуть. Моросивший дождь к утру прекратился. Стало тепло. За четыре часа своих наблюдений я получил мало новых сведений: примерно в пять часов у немцев сменялся наблюдатель, в шесть часов от их окопов слышались цоканье лошадиных копыт, шум голосов, а затем, принесенный утренним ветерком, донесся запах горячей пищи. Вероятно, солдаты получали завтрак, подвезенный в термосах. Эти данные, представляющие интерес для выяснения режима дня неприятеля, для нас, вернее, для готовящегося поиска ценности не имели. Больше я ничего не заметил. В восемь часов разбудил Анисимова. Мы закусили, выпили по глотку воды, и я в свою очередь задремал. Проснулся от легкого, но настойчивого нажима на колено. Открыв глаза, увидел Анисимова, приложившего руку к губам и указывавшего на немецкие окопы. Одновременно он сделал предостерегающий жест и коснулся рукой своего уха. Я прислушался. В немецких окопах начальствующий голос резко выкрикивал бранные слова, затем

раздалась звонкая пощечина, за ней другая. Пауза, звук удаляющихся шагов — и снова полная тишина: немецкое начальство поддерживало дисциплину и наводило порядок. Судя по важности шагов и характеру брани, окопы удостоил своим посещением сам господин фельдфебель, который, как известно, в немецкой армии является начальником куда более грозным, чем какой-нибудь лейтенант. Я взглянул на часы. Мне казалось, что я только-только успел заснуть. Однако время уже перевалило за час дня. Солнце нестерпимо пекло, а в яме, кроме того, было абсолютное безветрие. Слегка бодела голова, хотелось пить. Из фляжки, закопанной предусмотрительным Анисимовым в землю, я выпил глоток прохладной, кисловатой и, как мне показалось, очень вкусной воды. Это освежило меня, и я уже значительно бодрее приготовился сменить Анисимова. Он за время своей смены не заметил ничего заслуживающего внимания.

Сидеть неподвижно в яме в жаркий, без малейшего ветерка летний день оказалось делом не таким простым: было душно, ноги скоро деревенели, хотелось распрямиться и вздохнуть полной грудью. Часа через два я измучился почти до изнеможения и начал опасаться, что дольше не выдержу и выползу из ямы назад. В голове шумело, и я плохо отдавал себе отчет в окружающем. Анисимов спал потный, с расстегнутым воротом и тяжело дышал. Собрав последним сознательным усилием волю, я решил прибегнуть к дорогому для нас средству — намочить платок водой и охладить голову. Стараясь вылить из фляжки как можно меньше воды, я намочил носовой платок и положил на темя. Стало легче. То ли вода помогла, то ли напряжение воли сломало усталость, но я почувствовал себя значительно лучше и уже спокойно дождался конца своего дежурства, не заметив ничего нового.

Анисимова я не будил, но он сам проснулся точно вовремя и вопросительно взглянул на меня. Я показал ему часы. Он застегнул ворот, размялся, подтянулся, выпил глоток оставшейся воды, затем внимательно и неторопливо осмотрел местность впереди и на флангах, бросил быстрый взгляд на наши окопы и после этого показал мне рукой влево. Я ничего не увидел и пожал плечами. Видя мое недоумение, Анисимов прошептал: «Лаз в проволоке».

Я внимательно посмотрел на обнаруженный нами сток. Теперь солнце светило с другой стороны, и сток просматривался до самых окопов. Из ямы он представлялся готовым проходом для движения ползком и требовал сравнительно небольших дополнительных доделок. Я беззвучно зааплодировал: наша находка могла оказаться большой удачей. Дальнейшее тщательное изучение местности по обе стороны от нашей ямы ничего лучшего не дало.

Было около шести часов вечера. Стало прохладнее. Усталость прошла. Спать не хотелось. Вынув блокнот, я тщательно зарисовал траншею противника, проволочные заграждения, местонахождение наблюдательного пункта и пулемета немцев, ориентиры и сток, которому я уделил особое внимание. Нарисовал затем яму, в которой мы сидели, и путь к нашим окопам. Своей работой остался удовлетворен и показал ее Анисимову. Тот, взяв блокнот, со свойственной ему серьезностью и внимательностью стал рассматривать зарисовку. По его лицу было видно, что он узнает местность. Я считал, что все в порядке. Анисимов возвратил мне блокнот, и, хотя сделал жест, который означал «очень хорошо»,

мне показалось, что он что-то хотел бы добавить. На мой вопрос он помолчал, подумал, затем опять взял блокнот и на другом листе грубовато, но понятно начертил направление движения немецкого патруля и смены. Эти важные, но упущенные мной детали я немедленно перенес на чертеж и пожал Анисимову руку, благодаря за помощь. Несмотря на все свое хладнокровие, Анисимов удивился: рукопожатие между офицером и солдатом — нижним чином — в императорской армии было явлением совершенно невозможным и недопустимым. Тем не менее он ответил мне крепким ответным пожатием.

Когда наступила темнота и небо снова начали бороздить немецкие и наши ракеты, приполз Голенцов с двумя разведчиками. Анисимов больше знаками, чем словами, рассказал им о найденном нами стоке. Затем он и Голенцов ползком направились к началу стока у проволоки, чтобы проверить его глубину. Вернулись они удовлетворенные: осмотр подтвердил неоспоримые достоинства нашей находки.

Днем мы повторили со всей группой план захвата пленного. На специально подысканном месте со стоком, подобным обнаруженному нами в немецких проволоках, проверили технику проделывания прохода и особенно тщательно рассчитали время, необходимое как на это, так и на самое преодоление прохода. Разведчики прочно усвоили свои обязанности, имели все строго необходимое оружие и снаряжение, подогнанное так, что оно при движении не стучало, а при свете прожектора или ракеты не блесло. Николай Петрович окончательно условился с командиром батальона и артиллеристом о точках в расположении противника, по которым в случае надобности будет открыт пулеметный и артиллерийский огонь.

После обеда вся группа отдыхала. В направлении наших действий велось усиленное наблюдение. Чтобы не настораживать немцев, штабс-ротмистр решил никаких ложных действий не проводить.

Настала давно ожидаемая ночь: тепло, небо чистое, воздух прозрачен. В пятидесяти шагах отчетливо виден человек, передвигающийся пригнувшись. Ползущего разведчика легко различить в двадцати шагах даже в невысокой траве. В такую ночь только разведчики-мастера, какими была богата команда Муромцева, могли рассчитывать на успех.

В назначенное время наша группа вышла из окопов, прошла свои проволоки, где остались два человека, перешла по мосткам реку, оставив у нее Нитку с одним разведчиком, и залегла недалеко от ямы. Наблюдатели, просидевшие там весь день, ничего нового и тревожного не заметили. Все было спокойно. Можно приступать к выполнению нашего плана. Даю условный знак: «Вперед»! Анисимов и Голенцов поползли к стоку, чтобы начать проделывание прохода. За ними поползли Серых и Гусев с двумя разведчиками для прикрытия прохода с флангов. Убедившись, что Серых изготовился к выполнению своей задачи, я взглянул на часы и прислушался. Было по-прежнему тихо, лишь стрекотание бесчисленных кузнечиков в траве да кваканье лягушек на Щаре нарушали тишину ночи. Пора послать Грибова с разведчиком для прикрытия выхода из проволочных окопов немцев.

Подождав еще несколько минут, после того как Грибов и разведчик уползли, и превозмогая свое нетерпение, я отправился

вслед за ними. Но не прополз я по сделанному в стоке проходу и нескольких шагов, как моя рука натолкнулась на подошву сапога Грибова: проход еще не готов. Что делали Анисимов и Голенцов, я, конечно, не знал. Оставалось терпеливо ждать, а сомневаться в быстроте и решительности их действий не приходилось.

У немцев по-прежнему тишина ничем не нарушалась. При мерцающем свете дежурных ракет, регулярно вспыхивающих в вышине, я не заметил разведчиков — так хорошо они применились к местности.

Тревожных сигналов от Анисимова не было, но и проход что-то не двигался вперед: сапоги Грибова неподвижно лежали перед моим лицом. Стесненный справа и слева проволоками и видя их над собой, я невольно предстал себя в мышеловке. Но присутствие моих товарищей разведчиков, людей надежных во всех отношениях (сапог одного из них я чувствовал под рукой), успокоило меня. С облегченным сердцем взглянул на часы: из плана мы не вышли, а следовательно, нет и причин для волнения.

Наконец сапог Грибова начал медленно отходить от моей руки — упругим движением тела разведчик продвинулся вперед. Я продвигался тоже самое. Некоторое время мы попеременно то продвигались на несколько шагов вперед, то долго, как казалось мне, лежали в ожидании, пока, наконец, сапог Грибова не двинулся вправо. Подняв осторожно голову, я увидел, что проволоки мы проползли. Прямо передо мной лежал Голенцов, а Грибов правее, разведчик отползал влево. А где же Анисимов? Голенцов напряженно глядел в сторону окопов. Я понял, что Анисимов прополз к траншее немцев.

Но вот, сделав мне жест рукой, Голенцов неслышно двинулся вперед. Теперь я знал, что Анисимов уже в траншее и Голенцов ползет, чтобы спуститься в нее и прикрыть Анисимова слева. Я двинулся за ним на расстоянии, как было условлено, десяти — двенадцати шагов.

Через некоторое время я увидел, как длинное тело Голенцова всползло на бруствер и быстро исчезло в траншее. В момент, когда я спускался туда, до моего напряженного до крайности слуха, несмотря на громкое, как казалось мне, биение сердца, донесся слабый звук справа, как будто лопнула туго натянутая ткань: Анисимов выполнил свою задачу.

Перекинувшись в траншею, я, конечно, Голенцова там не застал, осторожно пошел вправо и нашел разведчиков, раздевавших убитого немца. Затем Голенцов, легко подняв то, что минуту назад было человеком, пронес его мимо меня и, быстро вернувшись, с моей помощью надел мундир немецкого солдата, его каску, взял винтовку и стал на место наблюдателя. Анисимов в это время ушел вперед. Я посмотрел на часы: до прихода патруля оставалось минут десять — двенадцать. С бруствера послышался шорох, свесилась рука и дважды взмахнула вперед и назад: Анисимов изготовился к дальнейшим действиям и давал знать, что все спокойно. Отойдя несколько шагов назад, я спрятался в тени на ступеньке траншеи. Пока все шло хорошо. Прислушался: кроме обычных звуков ночи как с нашей стороны, так и с немецкой, ничего особенного не слышалось.

Я с удовлетворением отметил, что мое сердце билось теперь хотя и чаще, чем обычно, но ровно и спокойно. У меня родилась твердая уверенность в благополучном выполнении поиска. Одна-

ко ждать оставшиеся минуты было необычайно тягостно, и я то и дело смотрел на часы. Но это мало помогало: минуты тянулись и тянулись, длинные, как бесконечность, в то время как хотелось, чтобы они летели с быстротой ветра. Наконец вдаль послышался знакомый и долгожданный размеренный топот солдатских сапог по настилу: приближался патруль. Наступал решающий момент. Но вместо возрастающего волнения я почувствовал себя легко и свободно: еще несколько минут — и все будет кончено.

Невидимый в тени окопа, я слышал нарастающее топание, наконец два неясных силуэта вышли из-за излома траншеи и неторопливо приблизились к Голенцову. Остановились. Негромкая команда. Но... рука «наблюдателя» молниеносно выбросилась вперед и, сжав горло солдата, бросила его на землю. В то же время крылатая тень, возникнув на бруствере, упала на другого немца и опрокинула его: это Анисимов накинул полотнище палатки на голову унтер-офицера и сбил его с ног.

Перескочив через Голенцова с его противником, я схватил за голову немца, полузадушенного Анисимовым, и, легко разжав ему челюсти, яростно засунул тряпку в раскрывшийся рот. Подняв ошеломленного врага, мы быстро связали ему руки на груди. Унтер-офицер, в полтора раза выше и толще Анисимова, оторопело водил глазами. Повелительным шепотом я сказал ему по-немецки несколько точных и ясных для него слов. Немец вытянулся: сказалась привычка безропотно повиноваться офицеру.

К этому времени Голенцов уже управился с солдатом и, не задерживаясь, пошел к тому месту, где мы входили в траншею. Анисимов, дав пленному знак, пошел за Голенцовым. Немец, опасливо озираясь на распростертое тело солдата, с готовностью двинулся за Анисимовым. Я шел сзади, прикрывая отход и помогая пленному набирать необходимую скорость.

Кое-где практиковался тогда способ с наименьшими усилиями доставлять захваченного пленного: его подкалывали. Потеряв некоторое количество крови, пленный слабел и в дальнейшем обычно не сопротивлялся. В команде Муромцева подобные приемы не находили применения, так как он считал их недостойными русского солдата. Кроме того, часто случалось, что впопыхах пленного подкалывали слишком сильно, в результате притаскивали только его труп, теряя попусту усилия многих дней, а иногда и людей.

Наш пленный шел быстро. Когда вышли на уровень прохода, с бруствера протянулась железная рука Голенцова, схватила немца за воротник, так как со связанными руками сам он не мог вылезть из траншеи, и, как мешок, втащила его наверх. Голенцов пополз к проволокам. Понятливый пленный пытался сам передвигаться на коленях. Тряпка во рту мешала ему правильно дышать, и он сильно пыхтел и сопел, но усердно передвигался вперед. Анисимов полз рядом с пленным и помогал ему. Мне казалось, что они двигаются слишком медленно — так хотелось скорее пройти немецкие проволоки и очутиться в своих окопах. Тем не менее пришлось оставаться на бруствере и ждать, пока Анисимов и пленный не скрылись в проволочных заграждениях.

Было пока спокойно: немцы еще ни о чем не догадывались. Наш поиск почти закончен, пленный есть — задачу свою мы выполнили. Однако торжествовать еще рано: мы должны возвратиться без потерь. Кинув последний взгляд на немецкую тран-

шею, я пополз к проволокам. Когда миновал их, Анисимов и Голенцов уже ушли с пленным. Я остановился в пашей яме, ожидая отхода Грибова с разведчиком, а затем Серых с его группой.

Только Грибов прополз мимо, как внезапно слева поднялся столб яркого оранжевого пламени, осветив фигуры четырех лежащих разведчиков: кто-то из них при отходе раздавил трубочку с дистанционным порошком. И хотя огонь тут же был потушен опытным солдатом, засыпавшим его песком, все же немедленно десятки немецких ракет взлетели в ночное небо, ярко осветили местность, и застрочили пулеметы справа и слева от меня. С нашей стороны огонь не открывали, и пулеметы немцев постепенно замолкли. Мы получили возможность продолжать отход. И опять не повезло: в самом начале движения разведчики Серых раздавили еще одну трубку. Яростный огонь немцев ответил на вспыхнувший и сразу же погашенный огонь. На этот раз наши пулеметы ударили по немецким, и грохнули две окопные пушечки. Дело осложнялось. Теперь немецкие мины уже взрывали землю между рекой и ямой, где я лежал, а через минуту к ним присоединился огонь тяжелой артиллерии. Вслед за этим ярко освещаемые своими же ракетами немецкие окопы затянулись облаками дыма и пыли, повсюду на них возникали десятки фонтанов земли и грязи. Это наша артиллерия, как и было условлено, открыла огонь по пулеметам и минометам немцев.

Картину бушующего огня дополнил прожектор, откуда-то слева, с шоссе, осветивший наши окопы и межпозиционное пространство. Видимо, немцы не на шутку всполошились — им с перепугу померещилась, чего доброго, наша ночная атака.

И подумать только: весь этот переполох, шум и гром вызвали несколько разведчиков да пара раздавленных трубочек с дистанционным порошком! О возвращении в свои окопы нечего было и думать, приходилось пережидать. До рассвета оставалось еще порядочно времени. Я взглянул вверх. Если на земле стоял немолчный грохот разрывов, взлетали фонтаны земли, сыпались кругом осколки и бушевал артиллерийский и минометный огонь, а среди этого хаоса, пригнув грудью к земле, лежали несколько человек, то в небе все было благостно и тихо. Лишь с запада надвигалась туча, но и она не портила общей тишины неба, а только подчеркивала ее. Этот контраст между тем, что происходило на небе и на земле, напомнил мне обычное церковное моление «слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение». Где тут мир, где благоволение в «человецех»? Кругом убийство и жажда убийства. Убийство по долгу, по присяге, убийство только потому, что, если ты не убьешь, убьют тебя самого. Хорошее благоволение! Все это вызвало во мне досаду и раздражение. А в это время орудия и минометы обеих сторон продолжали под аккомпанемент пулеметной стрельбы соревноваться в расходе снарядов, мы же, осыпаемые взрытой землей, прижимались к ней, как к своей матери-спасительнице. Наконец наша артиллерия, как по команде, прекратила огонь, замолчали и пулеметы. Очевидно, пленный был доставлен, Муромцев поаял, что вся моя группа успела выйти из-за немецких проволок и нет необходимости продолжать огонь. Немцы, видимо, устыдились своего напрасного испуга и постепенно приходили в себя: сперва погас прожектор, потом умолкла артиллерия, а за ней минометы. Только пулеметы еще заливались вовсю. Но понемногу замолчали и они. Наступила какая-то странная после ожесточенной

канонады и страшного грохота тишина. На луну набежала туча, и сразу все потемнело. Высокая трава зашуршала под крупными каплями дождя. Теперь можно было идти. Серых со своей группой прополз мимо ямы, вслед за ним тронулся и я, приказав наблюдателям идти вслед.

Пока мы шли до наших окопов под дождем, скрывавшим нас и глушившим звук наших шагов, я думал: вот только что мы убили двоих немцев, могли и сами быть убитыми, а никаких признаков угрызения совести, как этому полагалось бы быть, судя по многочисленным прочитанным мной романам, нет; да нет, пожалуй, и особого торжества от удачно выполненной задачи. Что я чувствую? Только усталость, как результат пережитого за эту ночь. Чего хочу? Отдохнуть и спать. Так все просто и до неприятного прозаично. Действительно, нет романтики в разведке, как говорит Муромцев, а только тяжелая, напряженная работа, опасность и необходимость убивать каждый раз, когда участвуешь в поиске.

«Домой» мы добрались без всяких приключений, несмотря на вспышки пулеметного огня да отдельные очереди миц, рвавшихся в пунктах в строгом соответствии с виденной мной у Николая Петровича схемой. Мы пережидали огонь, лежа в мокрой траве, до нитки промокшие и грязные.

Муромцев встретил меня у блиндажа командира батальона, коротко поздравил с успехом и сказал, что потерь в группе нет, пленного доставили живым и невредимым. Крепко пожав мне руку, Муромцев осведомился, как я себя чувствую.

Еще по дороге к нашим окопам у меня почему-то болело правое колено, но тогда не было времени разбираться с ним. Теперь же, когда я провел рукой по мокрым шароварам, острая, режущая боль заставила сжать зубы. Подоспевший фельдшер обнаружил широкую, хотя и неглубокую рану. Вероятно, небольшой осколок мины скользнул по колену, разодрав кожу, но не причинил серьезного вреда. После перевязки, довольный, но смертельно усталый от всего пережитого, я направился в свою землянку и без сновидений проспал до утра.

Проснувшись, вспомнил прошедшую ночь и подумал, что я что-то сделал. После завтрака прошел к разведчикам, думая, что они на меня будут смотреть по-особому да и сами будут выглядеть по-иному. И был разочарован. Все выглядело, как обычно: Анисимов проверял чистку оружия после разведки, Голенцов рассматривал свою физиономию после бритья. Все разведчики отдыхали и на меня смотрели, как всегда.

Днем командир полка вызвал меня и удостоил личной беседы.

— Организованность, смелость, смекалка и пример опытного начальника, — увесисто говорил генерал, — всегда обеспечат успех.

Я чувствовал себя не совсем ловко: сделал не больше любого разведчика моей группы, особенно много потрудились Анисимов и Голенцов, а хвалит только меня. Я взглянул на присутствовавшего при беседе Муромцева. Кому другому, как не ему, известны те, кого действительно надо благодарить. Николай Петрович ответил мне успокаивающим взглядом и слегка наклонил голову, как бы говоря: «Не волнуйтесь, подпоручик! Все идет как надо».

— Благодарю вас, подпоручик от лица службы за славную ра-

боту. Я очень рад, что в вашем лице нашел достойного преемника нашему герою Ивану Андреевичу Гусакову.

Генерал торжественно пожал мне руку.

— Передайте, ротмистр, — продолжал он, обращаясь к Муромцеву, — мое спасибо молодцам-разведчикам.

Вечером отмечали успешный поиск, а одновременно и день рождения Николая Петровича.

**ИЗ ПИСЬМА ТОВАРИЩА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С. П. БЕЛЕЦКОГО НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛУ М. В. АЛЕКСЕЕВУ
14 января 1916 года**

С объявлением войны в Балтийский флот поступило весьма значительное число запасных, принимавших участие в матросских беспорядках в 1905—1907 и 1910—1912 годах. Этот неблагонадежный элемент, при наблюдаемом ныне общем повышенном настроении матросов на почве недовольства их офицерами, носящими немецкие фамилии, и казенной пищей, несомненно, растлевающее действовал на всю массу нижних чинов флота.

По имеющимся в министерстве внутренних дел сведениям, Петроградский Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (б), учитывая это настроение матросов, решил использовать настоящий, крайне удобный для пропаганды, момент и с этой целью принял меры к образованию на крупных судах Балтийского флота, также и в береговых командах Кронштадта, Ревеля и других балтийских портах, коллективов названной партии.

Главной задачей своей преступной деятельности коллективы ставят широкое развитие организаций среди судовых команд в течение настоящей войны, с целью подготовить широкие матросские массы к солидарному выступлению всего Балтийского флота по заключении мира, при демобилизации флота; ближайшей задачей коллективов является возможно широкое распространение среди судовых команд нелегальной литературы и пропаганды революционных идей...

**ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА ПО ДЕЛУ ВОЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ В БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ
В 1915—1916 ГОДАХ
22 сентября 1916 года**

С осени 1915 года в кронштадтское жандармское управление стали поступать негласные сведения, что среди судовых команд Балтийского флота заметно усилилась деятельность революционных организаций социал-демократического направления, стремящихся насадить во флоте наибольшее число своих сторонников, которые должны были подготовить судовые команды к выступлению с различного рода требованиями ко времени окончания войны.

Указанная деятельность, как показывали события, сильно влияла на настроение команд, и дело в конце концов вышло в крупные беспорядки 19 октября 1915 года на линейном корабле «Гангут», участники которых, в числе 26 нижних чинов, по при-

говору военно-морского суда от 17 декабря того же года и понесли наказание.

Подобные же беспорядки возникли в то же время и на крейсере «Рюрик».

Наличие такой пропаганды подтверждалось участвовавшими и на других судах беспорядками на почве недовольства со стороны команды пиццей и офицерами с немецкими фамилиями.

Параллельно с этими данными петроградское охранное отделение также получило сведения о возникновении военной организации Российской Социал-демократической Рабочей Партии среди судовых и береговых команд Балтийского флота.

Согласно этим сведениям, на каждом военном корабле образовались социал-демократические кружки, имеющие представителей в общем руководящем комитете. Последний, устраивая собрания на берегу — в чайных и ресторанах, — главным образом, как указывали эти сведения, направляет свою деятельность к разъяснению матросам текущих событий в желательном освещении, с целью создать среди них атмосферу недовольства.

Прием этот, видимо, успел оказать влияние на матросов, создав среди них крайне приподнятое настроение, хотя никаких других оснований к этому не замечается, но идейные руководители движения всячески стараются удерживать матросов от одиночных беспорядков, дабы иметь готовую обстановку на случай общих выступлений, учитывая возможность активного движения со стороны рабочего класса, могущего оказать решительное влияние на изменение существующего государственного строя.

Каких-либо выступлений к определенному сроку пока, по сведениям агентуры, не намечено, и вообще вся революционная работа проявляется лишь в области организационной. Поэтому, успев создать желательное настроение на судах флота, руководители испытывают затруднение в задержании одиночных выступлений, и в этом отношении на них произвело неприятное впечатление открыто выраженное недовольство на линейном корабле «Гангут».

Хотя кружки возникли на судах флота и самостоятельно, без влияния функционирующей в Петрограде группы, присвоившей себе наименование «Петербургского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии», тем не менее руководящий комитет судовых организаций, со времени своего возникновения, искал случая связаться с «Петроградским Комитетом», что ему и удалось через одного из активных деятелей рабочего движения, являющегося представителем «Петроградского Комитета» от Выборгского партийного района...

...Кружки эти поставили своей целью в течение настоящей войны не делать активных выступлений, вроде бывших на линейном корабле «Гангут», так как таковые, вредя общему делу, возбуждают чрезмерную бдительность судового начальства, а в то же время приложить все усилия к дальнейшему широкому развитию кружков, чтобы подготовить их к общему выступлению Балтийского флота по окончании войны, когда наступит время демобилизации.

Наряду с этим агентура охранного отделения указывала, что деятельность «Петербургского Комитета» направлена главным образом к проведению массовой политической стачки, приуроченной ко дню 9 января как годовщине крупного события в истории освободительной борьбы.

Имея в виду весьма короткий срок, оставшийся до дня осуществления массовой стачки, и предполагая возбудить рабочую массу, путем распространения возможно большего числа воззваний, «Петербургский Комитет» все время стремился распознать, какое воздействие имеет на нее распространяемая им нелегальная литература, и на пути в этом направлении встретился с циркулировавшим в рабочей среде слухом о том, что будто бы в настроении нижних чинов войсковых частей имеется благоприятная почва...

...Что же касается нижних чинов сухопутных войск, то агентура отметила там призванного на военную службу и уволенного по болезни глаз мещанина Соломона Рошаля, который, по возвращении в столицу, войдя в связь с «Петербургским Комитетом», взял на себя революционную работу среди призванных в ряды войск, а именно: твердо поставить дело распространения среди них нелегальной литературы и подготовку выпуска ко дню 9 января особого воззвания к солдатам.

С приближением дня 9 января «Петербургский Комитет», как удостоверяла агентура, стал проявлять усиленную энергию и принял все меры, чтобы как можно больше заготовить к этому дню прокламаций и воззваний к солдатам. Последние, по сообщению агентуры, должны были печататься при содействии вышеупомянутого Рошаля в Петрограде по Екатерингофскому проспекту в доме № 15, кв. 6. Серьезность момента — возможность активных выступлений в день 9 января и попытки к воздействию на нижних чинов привели к необходимости изъять наиболее деятельных представителей «Петроградского Комитета»...

Помощник военно-морского прокурора
подполковник ШПАКОВСКИЙ

ИЗ ДОКЛАДА ПЕТРОГРАДСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛИЦИИ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КРИЗИСЕ И НАСТРОЕНИИ МАСС

Октябрь 1916 года

...По словам представителей рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, рабочий пролетариат столицы близок к отчаянию, и будто бы «достаточно какого-нибудь одного даже провокационного сигнала, чтобы в столице разразились стихийные беспорядки с тысячами и десятками тысяч жертв».

Почва для подобного рода эксцессов вполне готова: экономическое положение массы, несмотря на огромное увеличение заработной платы, более чем ужасно. В то время как заработная плата у массы поднялась всего на 50 процентов и лишь у некоторых категорий (слесаря, токаря, монтеры) на 100—200 процентов, цены на все продукты возросли на 100—500 процентов. По данным, собранным больничной кассой завода «Треугольник», заработок рабочего до войны, считая посуточно, был:

Чернорабочего	. 1 руб.	— 1 р. 25 к.,	теперь же 2 р. 50 к.	— 3 руб.
Слесаря	. . . 2 руб.	— 2 р. 50 к.,	теперь же 4 руб.	— 5 руб.
Монтера	, . . 2 руб.	— 3 руб.,	теперь же 5 руб.	— 6 руб.

в т. д.

В то же время и стоимость предметов потребления рабочего изменилась следующим невероятным образом:

Угол оплачивался . . . 2—3 руб. в месяц, теперь же 8—12 руб.
Обед (в чайной) . . . 15—20 коп., теперь же 1 руб. — 1 р. 20 к. там же
Чай 7 коп., теперь же 35 коп.
Сапоги 5—6 руб., теперь же 20—30 руб.
Рубаха 75—90 коп., теперь же 2 р. 50к. — 3 руб.
и т. д.

Даже в том случае, если принять, что рабочий заработок повысился на 100 процентов, то все же продукты повысились в цене на 300 процентов в среднем. Невозможность добыть даже за деньги многие продукты питания и предметы первой необходимости, трата времени на простой в очередях при получении товаров, усилившиеся заболевания на почве скверного питания и антисанитарных жилищ (холод и сырость из-за отсутствия угля и дров) и прочее — сделали то, что рабочие, уже в массе, готовы на самые дикие эксцессы «голодного бунта».

Но, помимо тяжелого экономического положения, «политическое бесправие» рабочих сделалось за последнее время совершенно «невыносимым и нетерпимым»; отсутствие простого права свободного перехода с одного завода на другой, по мнению социал-демократов, превратило пролетариат в «бесправное стадо», пригодное лишь к «убою на войне».

Запрещение рабочих собраний, — даже в целях устройства лавочек и столовых, — закрытие профессиональных организаций, преследование активных деятелей заводских больничных касс, приостановление рабочих органов печати и прочее заставляют рабочие массы, руководимые в своих действиях и симпатиях наиболее сознательными и уже революционизировавшимися элементами, резко отрицательно относиться к правительственной власти и протестовать всеми мерами и средствами против дальнейшего продолжения войны.

Социал-демократы, между прочим, выражают надежды на то, что рабочие сумеют выразить свой протест против продолжения войны полным бойкотированием нового государственного займа, протестующими резолюциями и петициями и устройством уличных демонстраций и выступлений...

...Близкие сношения столичных рабочих с солдатами также показывают, что и в армии настроение стало очень и очень неспокойным, если не сказать «революционным»: дороговизна жизни и недостаток продуктов, переносимые с трудом солдатками, очень хорошо известны в армии через самих солдат, одновременно приезжавших сюда на «побывку». Циркулирующие в армии слухи о голоде в Петрограде достигли невероятных размеров и сейчас определенно граничат с областью чистой фантазии: по словам самих солдат, в армии имеются сведения, что в столице «фунт хлеба теперь стоит рубль», что «мясо дают только дворянам и помещикам», что «уже будто бы открыто новое кладбище для умерших от голода» и т. д. Беспокойство солдат за оставленные на родине семьи более чем попятно и законно, но скверно то, что оно с каждым днем все более и более увеличивается и является весьма благоприятной почвой для успеха пропаганды не только революционной, но, при известных условиях, и германской. Больничные кассы крупных заводов заваливаются шисьмами

и сообщениями «товарищей» и к «товарищам» с фронта: письма эти полны брани по адресу «виновников дороговизны» и угрожают «настоящим расчетом», когда война закончится или прервется.

Конечно, социал-демократы спешат всячески использовать создавшееся положение: выдают двойные пособия женам арестуемых рабочих, помогают беглым солдатам «пробраться на Кавказ», устраивают сборы в пользу семейств, лишившихся казенного пайка вследствие добровольной сдачи нижнего чина в плен, и т. д... На заводах все чаще раздаются речи активных «пораженцев», то предлагающих применять итальянскую забастовку в деле изготовления военных заказов, то сообщающих ложные и сенсационные сведения об окончательной уже решенной и намеченной на конец октября месяца всеобщей забастовке. Речам подобных ораторов не всегда и не везде верят, но к ним весьма охотно прислушиваются, что соответствующим образом и учитывается социал-демократическими деятелями, сообщающими невероятные слухи и сведения о намерениях и деятельности правительственной власти...

...Дороговизна жизненных продуктов и продовольственные затруднения создали среди населения массу недовольных распоряжениями высшей и местной правительственной власти, и так как социал-демократы большевики не могли не учесть этого обстоятельства как фактор, способствующий революционизированию толпы, то ими в октябре сего года была выпущена листовка на тему о дороговизне и продовольственном кризисе и с призывом в духе Циммервальдской и Кинтальской конференций немедленно закончить войну; подготовив же рабочие массы такими способами, 13 октября в Петрограде намечались повседневные митинги, на коих предполагалось произвести аналогичные зажигательные речи...

...Социал-демократы объединенцы ничем себя не проявляют, и вся их деятельность выражается лишь в стремлении слиться с большевиками, ибо они сознали свое полное бессилие...

...Для оценки настроений и положения дел в среде социал-демократов следует отметить, что после продолжительного затишья большевики, хотя и с большим трудом, но успели организовать руководящий коллектив, который пытается использовать благоприятный момент и направляет свои действия к революционизированию народных масс с целью толкнуть их затем на бунтовщические проявления своего недовольства...

ИЗ СПРАВКИ О ХОДЕ ОКТЯБРЬСКИХ СТАЧЕК 1916 ГОДА В ПЕТРОГРАДЕ, СОСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНЯЗЯ ШАХОВСКОГО

11 ноября 1916 года

Забастовки 17—20 и 26—31 октября сего года возникли на нижеуказанных фабриках и заводах Петрограда по неизвестным причинам, так как рабочие предприятий прекращали работы без объяснения причин и без предъявления к администрации предприятий каких-либо требований. Лишь путем скольных сведений, получаемых через мастеров предприятий и через отдельных рабочих, до администрации предприятий доходили сведения, что забастовки 17—20 октября производились в целях протеста против продовольственной неурядицы в городе Петрограде, выражающей-

ся в дороговизне и затруднении доставать некоторые предметы потребления.

Забастовки же 26—31 октября производились с демонстративными целями, по одной версии как протест против военно-полевого суда над матросами, а по другой версии как протест против военно-полевого суда над призванными на военную службу военнообязанными, имевшими столкновение с полицией при казармах на Большом Сампсониевском проспекте, близ завода «Русский Рено»...

...Всего 17 октября бастовали на семи предприятиях	20 300 рабочих
...Всего на 18 октября бастовали на 26 предприятиях	41 705 »
...Всего на 19 октября бастовали на 45 предприятиях	66 625 »
...Всего 20 октября бастовали весь день на 15 заводах	14 625 »
кроме того	
на 4 фабриках 20 октября бастовали до обеда	4 125 »

21 октября работали все промышленные предприятия и забастовки представляются прекратившимися.

20 октября в районах промышленных предприятий, где имели место забастовки, было вывешено объявление Главного начальника Петроградского военного округа, при сем представляемое...

...Всего 26 октября бастовали на 9 предприятиях	17 237 рабочих
...Всего на 27 октября бастовали на 33 предприятиях	46 122 »
...Всего на 28 октября бастовали на 58 предприятиях	61 902 »
...Всего на 29 октября бастовали на 48 предприятиях	57 460 »

* * *

Распоряжением Главного начальника Петроградского военного округа были закрыты, впредь до его распоряжения, бастовавшие заводы: 1) завод Русского общества соединенных механических заводов («Старый Лесснер» — Сампсониевская набережная, д. № 3), 2) Минный, снарядный и сталелитейный завод Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов (Чугунная ул., д. № 2) — 5500 рабочих, 3) завод русского акционерного общества «Л. М. Эрикссон и К°» (Большой Сампсониевский проспект, д. № 70) — 2376 рабочих, 4) завод акционерного общества машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (Сампсониевская набережная, д. № 15) — 1600 рабочих, 5) завод Петроградского арматурного электрического акционерного общества (Александровская ул., д. № 1) — 920 рабочих, 6) завод товарищества машиностроительного завода «Феникс» (Палюстровская набережная, д. № 29-а) — 2200 рабочих, 7) завод акционерного общества «Русский Рено» (Большой Сампсониевский проспект, д. № 77) — 1300 рабочих, 8) завод Русского общества соединенных механических заводов «Новый Лесснер» (Большой Сампсониевский проспект, д. № 78—80) — 7400 рабочих, 9) завод акционерного об-

щества механических, трубочных и гильзовых заводов П. В. Барановского (Выборгская набережная, д. № 19) — 4500 рабочих, 10) Петроградский металлический завод (Палюстровская набережная, д. № 19) — 6300 рабочих, 11) Палюстровский завод акционерного общества «Промет» (Палюстровская набережная, д. № 5-а) — 900 рабочих, 12) ситценабивная фабрика администрации по делам бр. Леонтьевых и К° (Ждановка, д. № 31) — 450 рабочих, 13) Старая и Новая ткацкие фабрики общества Российской бумагопрядильной мануфактуры (Уральская ул., д. № 15—16) — 2100 рабочих. Всего 36 537 рабочих...

**ИЗ СЕКРЕТНОЙ ЗАПИСКИ ЗА № 25742 НАЧАЛЬНИКА
ПЕТРОГРАДСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЛИЦИИ ОБ АРЕСТЕ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕТРОГРАДЕ
9—10 ДЕКАБРЯ 1916 ГОДА**

19 декабря 1916 года

Ликвидация, произведенная 21 июля сего года, лишила социал-демократов большевиков их руководящего коллектива и целого ряда крупных партийных работников, а с арестом последних ушли партийные стачки по фабрично-заводским предприятиям и совершенно прекратилось разросшееся до весьма солидных размеров печатание и распространение нелегальной литературы.

После указанной ликвидации некоторое время социал-демократы большевики совершенно прекратили свою работу, но затем понемногу был снова создан путем кооптации руководящий коллектив и восстановлены связи с периферией. По мере того как крепло партийное строительство, на очереди стал вопрос о снабжении организаций подпольными листками, для чего необходимы были люди, деньги и материальная часть техники.

Во избежание провала последних Исполнительная комиссия Петербургского Комитета постаралась настоятельно их законспирировать, что даже члены Петербургского Комитета не были осведомлены о технических средствах и месте их нахождения.

Людей, подходящих для технической работы, скоро удалось найти, денежные средства были пополнены путем процентного отчисления от заработка всех организованных рабочих социал-демократов большевиков, а материальная часть техники была использована частью оставшаяся от прежних техник, а частью была пополнена вновь.

Как неоднократно указывала агентура, [кроме] печатания в подпольных техниках, для революционных целей были использованы и легальные типографии, в коих печатались различные бланки для всевозможных нелегальных документов на жительство и освобождающих от воинской повинности, а равно и прокламации.

Долгое время агентуре не удавалось установить места нахождения техники и лиц, причастных к ней, но в то же время поступили вполне определенные сведения о готовящихся к новому выпуску некоторых листовках, брошюре «Кому нужна война» и очередном номере большевистской газеты «Пролетарский голос».

Наконец, 9 декабря агентура вверенного мне отделения указала, что происходит печатание брошюры «Кому нужна война», и было указано несколько адресов, в коих должны были находиться техники, паспортное бюро, склады литературы и ряд не-

легальных лиц, причастных к технической работе. Кроме того, агентурой было отмечено, что в типографии «Орбита» (Ижорская улица, д. № 11) служит много нелегальных лиц, связанных с нелегальной техникой и пользующихся типографией «Орбита» для изготовления нелегальных документов...

...Ввиду срочности полученных сведений была спешно в тот же день подготовлена и произведена ликвидация...

...Итогом ликвидации 9—10 декабря явилось обнаружение трех нелегальных техник, нелегального паспортного бюро, целого ряда нелегальных лиц, а также была застигнута легальная типография, использованная социал-демократами большевиками для печатания подложных документов для партийных надобностей...

**ИЗ ДОКЛАДА ЗА № 26101 НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОГРАДСКОГО
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОБ АРЕСТАХ ГРУППЫ БОЛЬШЕВИКОВ, ПЕЧАТАВШИХ № 4
«ПРОЛЕТАРСКОГО ГОЛОСА»**

25 декабря 1916 года

В дополнение к докладу моему от 19 декабря сего года за № 25742 пмею честь донести нижеследующее:

При ликвидации социал-демократов большевиков в городе Петрограде в ночь с 9 на 10 декабря сего года было обнаружено 3 нелегальных техники, нелегальное паспортное бюро, застигнуто печатание в легальной типографии нелегальных документов, освобождающих от воинской повинности, и был арестован ряд нелегальных лиц, являвшихся активнейшими работниками подполья.

Уже задолго до этой ликвидации от секретной агентуры вверенного мне отделения стали поступать сведения, что руководящий коллектив социал-демократов большевиков, именующий себя «Петербуржским Комитетом Российской Социал-Демократической Рабочей Партии», решил выпустить № 4 подпольной газеты «Пролетарский голос», и фактическое исполнение задуманного было возложено на «Исполнительную комиссию», а эта последняя организовала «техническую группу».

Работы по изданию № 4 «Пролетарского голоса» были начаты, но ликвидация 9 декабря разрушила все планы, так как оказалась арестованной не только нелегальная техника, предназначавшаяся для печатания газеты, но и набор большей части статей «Пролетарского голоса»...

...Исполнительная Комиссия решила все же выпустить «Пролетарский голос» и тем самым показать, что ликвидация не убила сил большевиков. Для исполнения задуманного, за неимением подпольной техники, решено было использовать одну из легальных типографий и отпечатать в ней газету захватным порядком.

Выбор пал на типографию Альтшуллера, помещающуюся по Фонтанке, в доме № 96.

Печатание газеты началось вечером 17 декабря и к утру работа должна была уже быть оконченной, и газету в 7 часов должны были доставить по транспортным квартирам.

В печатании газеты, как указала подведомственная мне агентура, должно было принять участие несколько лиц, частью указанных мне агентурой. Ввиду того, что участники печатания были подобраны все из наиболее активных и старых партийных работников печатников, последние захватили с собою несколько ре-

вольверов и до 300 штук патронов, дабы при возможных столкновениях с чинами полиции выстрелами очистить себе дорогу и, таким образом, уйти от ареста.

Участники печатания «Пролетарского голоса» ворвались в типографию Альтшуллера с револьверами в руках, и, захватив в типографии двух рабочих, пришедших для выполнения срочных заказов, они, угрожая револьверами, заперли их в одну из комнат, где эти рабочие и просидели около 10 часов до прибытия полицейского наряда, который и освободил их из запертого помещения.

Ворвавшись в типографию около 9 часов вечера, было приступлено к работе, которая выразилась в следующем: был сделан набор «Пролетарского голоса», отпечатана газета на трех страницах в количестве около 2 тысяч экземпляров, сделан набор резолюции большевиков по вопросу о желательности заключения мира, и последняя была тоже отпечатана. Бумага, краска, шрифт и станки (две большие печатные машины) были использованы принадлежащие типографии, а уходя из последней была написана записка с приложением партийной печати, в которой было принесено извинение владельцу типографии за захватное пользование его типографией и материалами и к этому было добавлено, что к такому способу они прибегли в силу ареста нелегальной техники.

К 6 часам утра были подведены полицейские наряды и установлено филерское наблюдение с целью выяснения мест, куда будет отправлена литература, чтобы таким образом не только захватить участников печатания, самое печатание и всю приготовленную литературу, но и ликвидировать все транспортные квартиры...

Генерал-майор ГЛОБАЧЕВ

**ИЗ СЕКРЕТНОЙ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗА № 3057
ПЕТРОГРАДСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЛИЦИИ**

2 января 1917 года

...После ряда весьма чувствительных ударов, нанесенных социал-демократам большевикам ликвидациями 9, 10, 18 и 19 декабря 1916 года, во время которых было отобрано у них 3 нелегальные типографии, 2 нелегальных паспортных бюро, застигнуты 2 легальные типографии во время печатания: одна — нелегальных документов, а другая — органа Петербургского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии «Пролетарского голоса», — отобрано до 2 десятков чудов типографских наборов брошюры «Кому нужна война», «Пролетарского голоса» и т. д., и был арестован целый ряд крупнейших и активнейших партийных работников, — руководящий коллектив социал-демократов большевиков все же остался цел и продолжал свою подпольную работу, имея твердое намерение показать правительственным властям свою живучесть и что меры розыскного органа для них мало чувствительны. Кроме того, перед руководящим коллективом стала новая задача: выяснить, кто виновник всех провалов, и подготовить выступление пролетариата города Петрограда к 9 января.

22 декабря 1916 года получены были агентурные сведения, что на Петроградской стороне, по Большому проспекту, д. № 21,

кв. 51, должно состояться собрание Петербургского Комитета, на котором и предполагалось обсудить все намеченные вопросы. Установленным наружным наблюдением собрание было отмечено и часть его участников разведена по квартирам, но на этом собрании были сделаны только доклады с мест, а после этого участники собрания разбежались, заметив, что за квартирой наблюдают.

Так как розыскному органу необходимо было знать, каковы намерения Петербургского Комитета на ближайшее будущее, то допущено было еще одно собрание коллектива 28 декабря, происшедшее в одном из пригородов столицы.

На этом последнем собрании коллектив, заслушав доклады с мест (районные) и избрав следственную комиссию для расследования источников провалов последних дней, постановил: выпустить листовку с призывом к однодневной стачке на 9 января, устроить демонстрации на улицах с пеннем революционных песен, доводя их в отдельных случаях даже до столкновения с чинами полиции и вообще своими действиями доказать, что минувшие ликвидации не сломили их сил. Так как нелегальных типографий в распоряжении социал-демократов большевиков не оказалось, то печатание прокламаций решено было выполнить частью в легальной типографии, а частью по районам, куда, по мере возможности, предполагали вручить стереотипы (всего от 8 до 12 экземпляров), и часть прокламаций должна была изготовиться уже по районам.

Наконец, было объявлено, что последние указания к 9 января будут переданы 2 января от 7 до 9 часов вечера на явке по Суворовской улице, д. № 31, кв. 6, где следовало спросить «Федора» (пароль).

Ввиду того, что окончательные решения должны были от Петербургского Комитета последовать именно на явке 2 января и на этом же собрании предполагалось разрешить и последние технические вопросы, мною было признано необходимым произвести 2 января ликвидацию Петербургского Комитета, для каковой цели и за 1 час до явки на Суворовскую улицу, д. № 31, кв. 6, был отправлен полицейский наряд и чины вверенного мне отделения, кои, накинув поверх форменного платья статские пальто, незаметно дошли до указанной квартиры и, войдя в такую и арестовав всех находившихся в квартире, устроили в ней засаду в ожидании прихода всех членов Петербургского Комитета и представителей его Исполнительной комиссии...

...Указанным способом было арестовано 10 человек, в числе коих оказался целиком весь состав Петербургского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии с представителем от Исполнительной комиссии и при них отобран нижеследующий весьма солидный партийный материал...

...Таким образом, Петербургский Комитет не только не успел сделать своих последних распоряжений по поводу 9 января, но и сам в полном составе оказался арестованным...

Генерал-майор (подпись)

ПО СЛЕДАМ МИНУВШЕГО

Тогда же в мае [1917 г.] развернулась подготовка к братанию*. Солдатские комитеты раздобыли листовки на русском и немецком языках, подобрали переводчиков, наметили меры, обеспечивающие безопасность встречи наших и немецких солдат. Для братания выделили группу, насчитывавшую человек двадцать пять. В нее вошли солдаты — бывалые фронтовики, разбирающиеся в политике, настроенные по-революционному, остро недовольные войну.

По рекомендации комитета группу возглавил подпоручик шестой роты, владевший немецким языком. От нашей восьмой роты был послан Галактионов, председатель ротного комитета, и ефрейтор моего взвода Альберт Шомка, латыш, умевший объясняться по-немецки.

Первую встречу наметили провести пятого июня. Чтобы не допустить открытия огня, члены комитетов прошли по всем подразделениям, предупредили солдат и особенно офицеров, некоторые из которых могли пойти на провокацию. Сомнение вызвала пулеметная команда, где сильно ощущалось влияние эсеров. Полковой комитет для контроля и обеспечения безопасности направил туда меня и младшего офицера пятой роты. Мы быстро нашли «общий язык» с пулеметчиками.

Командиру полка комитет предъявил ультимативное требование: если при братании будет открыт огонь и появятся человеческие жертвы хоть с нашей, хоть с той стороны, полк оставит свой участок фронта.

Офицеров, в которых мы не были уверены, взяли под особый контроль, для чего специально выделили проверенных людей. Солдат, которые могли не устоять под нажимом офицеров, решено было в день братания на огневые позиции не допускать, для чего следовало использовать любые предлоги. Под контроль взяли также батареи артиллерийского полка.

Ночью наши разведчики забросили в немецкие окопы листовки, в которых содержался призыв к братанию и рассказывалось, что немецким рабочим и крестьянам не следует воевать за интересы капиталистов и помещиков. Листовки звали объединить усилия для победы мировой революции, для установления народной власти как в России, так и в Германии.

Затем решили проверить противника. Солдаты стали показывать чучела. Немцы огня не открыли. Тогда смельчаки начали показываться из окопов и махать шапками. Через некоторое время появились немецкие солдаты и тоже начали махать своими головными уборами. Огня не открывали ни с той, ни с другой стороны.

Потом через самодельный рупор самый горластый солдат еще раз сообщил немцам о том, что пятого июня в десять часов утра к ним пойдет делегация русских солдат. Если они не возражают против братания, то пусть выбросят красный флаг, а белым флагом обозначат место встречи.

Утром пятого июня примерно в трехстах метрах от немецких окопов мы увидели белый флаг, а к девяти часам над бруствером появился красный. Выброской нескольких флагов мы ответили, что у нас все готово.

Наши посланцы оделись в приличное обмундирование, подстриглись и побрились, приготовили подарки — хорошие куски сала, специально выпеченный каравай хлеба и даже булки с кренделями. Они гордились тем, что им первым предстоит проложить путь к сердцам немецких солдат, таких же рабочих и крестьян, как и они сами, рассказать им о русской революции.

В то же время нас не покидало и волнение. Встреча с немцами таила в себе много неизвестного. Ее инициаторами выступали мы. Значит, наша делегация должна первой подняться в полный рост и пойти на позиции противника. А там вооруженные солдаты, там пулеметы, артиллерия...

Кто даст гарантию, что они не откроют огня? Не станет ли этот путь последним в жизни наших ребят? Ведь они не смогут ответить, потому что оставляют оружие на своей стороне и идут с благородным намерением, с открытым сердцем. Найдут ли они взаимность или их сразу пулеметные очереди на виду у всех?

Едва один из наших солдат влез на бруствер окопа, как выскочила дикая коза и на бешеной скорости помчалась вдоль проволочного заграждения. Солдат тут же прынул обратно в окоп. Обычно в таких случаях наши и немцы открывали огонь и стреляли до тех пор, пока животное (они на нашем участке фронта появлялись нередко) не оставалось лежать бездыханным на нейтральной полосе. Однако на этот раз никто не стрелял.

Наша делегация по команде старшего дружно вышла из окопов и с развернутым красным флагом пошла навстречу немцам. В ту же минуту из немецких окопов вышла большая группа солдат. Мы наблюдали с замиранием сердца. Наконец, между обеими группами осталось не больше одного шага.

На какое-то мгновение наши и немцы остановились, словно впервые увидели друг друга, а потом кинулись в объятия. Солдаты хлопали друг друга по плечам, обнимались, затеяли оживленные беседы. Наши вручили им подарки, немцы, в свою очередь, дарили зажигалки, курительные трубки, губные гармошки и даже часы. Встреча продолжалась более трех часов.

В тот же день и в то же самое время такая же встреча состоялась на участке 218-го Горбатовского полка.

О братании много говорилось на заседаниях солдатских комитетов, а потом во всех подразделениях. Солдаты пришли к выводу, что необходимо развернуть еще более широкую работу в полках с тем расчетом, чтобы провести братание в масштабе всей дивизии. Об этом узнало командование. Оно отдало приказ занять позиции и находиться в полной боевой готовности.

В приказе говорилось, что братание запрещается и будет наказываться самым строжайшим образом, вплоть до расстрела перед строем. Если же солдатские делегации все-таки осмелятся пойти на встречу с немцами, по ним будет открыт артиллерийский огонь.

Г. Н. Чемоданов

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В СТАРОЙ АРМИИ

Сыро, мокро, скользко.

Дождя нет, но влажный, насыщенный сыростью воздух сумел пробраться за непромокаемый плащ, шинель, суконную рубашку,

и белье, пропитанное им, кажется мокрым и неприятно липнет к телу.

Хорошо еще, что осенние, грязные, низко несущиеся тучи оказались недостаточно плотными, чтобы бороться с полным диском луны. Бледным неподвижным молочным пятном она виднелась на небе среди быстро несущихся облаков, и иногда даже ее улыбающаяся физиономия ненадолго выглядывала в редкие прорывы туч.

Небольшая группа людей, уже около часу лежавшая на пулеметной площадке массивного блиндажа, с нетерпением поджидая этих просветов: командир батареи капитан Михайлов, командир 12-й роты капитан Малкин и я с напряжением всматривались впереди лежащую местность. Расположение пулеметной щели, тут же стоящий пулемет заставляли нас принимать самые неудобные позы.

— Вот дьявольское положение, — выругался, не вытерпев, Михайлов: — ни сесть, ни лечь, ни встать; прямо загадка для детей младшего возраста. Нога отекла, рука онемела, проклятый пулемет в бок впился.

— Нечего, брат, приучайся, — коротко бросил я ему, не прерывая своих наблюдений.

С Михайловым нас связывала старая дружба еще по кадетскому корпусу. Не выдались мы с ним со дня выпуска, и на днях он совершенно неожиданно явился ко мне в землянку; оказалось, что по переводу из тыла он был назначен как раз командиром той батареи, которая стояла на моем участке. С Малкиным, высоким курчавым блондином с пушкинскими бакчами, нас сблизили годы войны и некоторая общность взглядов.

На пороге блиндажа сидели и тихо беседовали артиллерийский унтер-офицер, которого привел с собой Михайлов, и наш дежурный наблюдатель-пулеметчик.

— Ваше высокоблагородие, — обратился ко мне пулеметчик, — закурить можно?

— Вали, только с огнем осторожно, — ответил я. — Да не покурить ли и нам, господа? — обратился я к компании. — Спичек против щели не зажигаю, — предупредил я Михайлова, с готовностью принявшего мое предложение и зашумевшего в темноте коробком.

Предосторожность была не лишняя. Блиндаж, в котором мы находились, только небольшой речкой Мисса отделялся от немецких окопов. Шум многоводной в этот дождливый период реки, быстрые волны которой разбивались о сваи как раз против нас находившегося разрушенного моста, заглушал наши осторожные голоса; но яркая вспышка света сейчас же бы обратила на себя внимание невидимого, не слышного, но чувствующего противника. Блиндаж этот был у них на особом учете, и репрессии в виде нескольких точно прицельных выстрелов не замедлили бы последовать.

Боевой участок, который в настоящее время занимал мой батальон, штабом армии признавался особенно серьезным и даже носил специальное название «Плоканенского укрепленного узла».

На протяжении десятка верст река Мисса была естественной преградой между нашей и немецкой позицией; как наши, так и немецкие окопы ютились по опушке леса, имея между собой широкую, до версты, мокрую болотистую долину реки. У бывшего когда-то, теперь до основания разрушенного, хутора Плока-

нен, вследствие условий рельефа местности, наши окопы подошли вплотную к реке и только ею отделялись от немецких; мало того, в этом именно месте, не так давно перебравшись за реку, немцы занимали южную половину моего настоящего участка.

Ровно месяц тому назад стоявшие тут латыши, по распоряжению штаба армии, неожиданным, но грозным ударом выбили немцев из их позиции, прогнали за реку и разрушили мост, остатки которого были у нас перед глазами.

Естественно, что теперь этот участок, острым углом, как щупальцами, соприкасающийся с немцами, имел для нас исключительное значение и был бельмом на глазу у противника.

Утомленных боем, ослабленных потерями латышей сменил наш Сибирский стрелковый полк, и на долю моего батальона выпал жребий занять, перестраивать и укреплять этот участок.

Однообразная позиционная жизнь последних месяцев сменилась кипучей деятельностью. Ждали реванша со стороны немцев. Ответственность и увеличенная опасность волновали годами войны утомленные нервы. Штабы, начиная с полкового и кончая армейским, ежедневно требовали отчетов о ходе работ, представления схем и засыпали заглазными советами и указаниями. Работала без усталости, а конца работ, казалось, и не предвидится.

Для ночных работ в помощь батальону ежедневно присылали из резерва роту. С наступлением темноты эта рота приходила в мое распоряжение и незадолго до рассвета уходила в тыл для дневного отдыха.

Солдаты и офицеры шли на эту работу неохотно: пора боевых увлечений, боевого азарта давно прошла, менять заслуженный отдых, относительную безопасность резерва на тяжелый, зачастую под дождем, ночной труд, рисковать, быть, как говорится, зря убитым никому не хотелось, а риск этот был, были и жертвы.

Каждую ночь повторялась одна и та же история: осторожно, робко выходили люди за передовую линию, шопотом передавались распоряжения, вполголоса срывались ругательства на товарища, неловко подхватившего бревно или железо-бетонную плиту, одергивались смельчаки, порывавшиеся закурить папиросу. Но проходил час-другой, солдаты свыкались с обстановкой, пропадала ее таинственность: рыли землю, таскали бревна, вколачивали колья, все так обычно, привычно и просто. Менялось настроение, а с ним пропадала и осторожность. Разговоры становились громче, то там, то тут вспыхивали огоньки папирос, сочная отборная ругань, властно вклинивалась в общий гул, стоявший над местом работы. Шум реки, обычное завывание осеннего ветра становились недостаточными: чуткий немец начинал слышать, определял место работ.

Та-та-та-та. Дробно и резко бил его пулемет, и рой пуль летел в направлении работающих. Все моментально стихало: рывшие землю припадали к сырым ямам, работавшие в окопах встали во влажную земляную стену, работавшие впереди по установке проволочных заграждений, как ветром подхваченные, переносились к окопам, вскакивали на бруствер и камнями валились на их измененное ногами грязное дно.

Глухой топот ног, усиленное дыхание массы — и все как бы вымирало. Лишь иногда, где-то в темноте, слышался стон случайно раненого стрелка. А пулеметы, — их всегда работало два, — еще долго монотонно и резко-четко били свою дробь, осыпая пу-

лями уже пустое, в смысле живых открытых целей, место бывших работ.

Не менее часу приходилось тратить, чтобы опять организовать работы, разыскать забившихся в щели стрелков, выругать их, успокоить, найти в темноте разбросанный инструмент.

Но вот работа опять закипела, опять тишина, осторожность и взаимное наблюдение за этой осторожностью.

Прошел час — и тихо нарастающий шум входит в свою силу; забыты переживания, не помнятся и опасности. Таково свойство русского человека. Опять обиженный непочтением к себе немец заговорил пулеметом — та-та-та; картина повторяется: то же общее смятение, прыжки в грязь окопов, усиленное испуганное дыхание толпы; но уже кое-где слышатся смех и так присущие русскому солдату в тяжелые минуты привычной опасности шутки и остроты.

Потери от этих пулеметов, как и вообще от ночного огня, были невероятно маленькие: за все время почти месячных работ были убиты два стрелка и ранен один офицер и шесть стрелков, но производительность работ они мне понижали на 50%. Я горел против этих пулеметов бессильной злобой. Мои непосредственные просьбы к командиру батареи участка, степенному подполковнику, о помощи оказались тщетными.

— Я не могу гоняться за каждым пулеметом, — отвечал он мне по телефону, — у меня есть общие задачи.

Пробовал просить через командира полка, но тот по своей осторожности ничего не сделал.

Взаимоотношения пехотного начальства с батареями, входящими в их участок, были очень неясны; с одной стороны, они им будто бы подчинялись, но в то же время получали все директивы, распоряжения и слушались только своих командиров артиллерийских бригад. Затяжные споры, осложняемые дознаниями, расследованиями и другой волокитой, были зачастую результатами этих взаимоотношений. Но осторожный, чтобы не сказать больше, командир полка боялся и избегал всяких осложнений с участием высшего начальства, и мне оставалось только покориться неизбежному. Вдруг повезло: степенный подполковник получил бригаду, и его место занял Михайлов.

Выслушав мою грустную повесть о назойливых пулеметах и отказе его предшественника помочь мне, Михайлов горячо и крепко выругал как пулеметы, так и степенного подполковника. Мы быстро с ним сговорились.

Место злополучных пулеметов мы уже давно определили, но Михайлов хотел лично убедиться в их расположении, чтобы наверняка и точно произвести пристрелку. Это его желание мы и привели сейчас в исполнение, забывшись в пулеметный блиндаж, расположенный в остром исходящем углу моего участка.

Работы сегодня шли по установке новой и усилению старой линии проволочных заграждений.

— Фу ты чорт, — ворчал Михайлов: — скоро ли этот немец затараторит? Да и на работах у тебя что-то тихо, — обратился он ко мне.

— Верно, — согласился я, — сегодня уже что-то ребята себя очень благообразно ведут; по времени давно бы им пора разойтись.

— А это, ваше высокоблагородие, — заговорил с порога пулеметчик, и в темноте слышалась его улыбка, — сегодня 14-я рота

на работах, а последний раз, помните, ей не повезло: двух стрелков ранило. Вот она сегодня и присмирела.

— Так что мы сегодня, может быть, зря время проводим? — спросил Михайлов разочарованным тоном.

— Никак нет, — успокоил его пулеметчик, — не выдержат, не может этого быть, разве это возможно, — и они с артиллеристом тихо засмеялись. — Да вот от нас-то с порога лучше слышно, уже пошумливают, — добавил он весело.

— Воображаю, как Редькин изводится, — раздался из темноты голос Малкина.

— Кто это Редькин? — спросил Михайлов.

— Да командир роты, — ответил Малкин, — старый служака, еще перед японской войной из Фельдфебелей выслужился.

— За боевые отличия? — полюбопытствовал Михайлов.

— В том-то и дело, что нет; на службу пришел почти неграмотным, кончил учебную команду, а потом, как говорят стрелки, «губу разъездо», взялся за науку, поступил в юнкерское училище; военному делу, как говорится, «без лести предан», но вот, представьте себе, нудный и тлжелый человек для солдат.

— Бывает, — неопределенно протянул Михайлов.

— Знаешь, — обратился ко мне Малкин, — мне про него Солнцев рассказывал, — эти твои работы для Редькина проклятие какое-то: всю ночь на месте не посидит, носится в темноте, в ямах спотыкается, на колючую проволоку нарывається, все добывается тишины.

— Странно, что у человека с такой школой распушена рота, — не поворачивая головы от цели, заметил Михайлов. — Да и как они, идиоты, сами не понимают своей пользы, уж я не буду требовать от них сознания важности общего дела...

* * *

Мороз сразу отпустил. Снег не скрипел под ногами, а упруго поддавался под их тяжестью. Облаков на небе почти не было, но откуда-то моросил мелкий реденький снежок. От луны было светло, но даль, скрытая какой-то мокрой изморозью, была не видна. Скудная и однообразная, болотистая, покрытая снегом кочковатая равнина надоедливо-однообразно торчала перед глазами. Шаги вяло идущих рот глухо и мертво стучали по деревянным настилам единственной дороги на позицию к лесу Лапс. Шли в порядке батальонных номеров.

Впереди, шагах в пятидесяти от меня, двигался первый батальон.

В туманной лунной мути он казался какой-то общей массой, каким-то одним диковинным чудовищем, лениво ползущим в неведомую и невидимую даль. Шагах в десяти от меня такой же целой массой полз и дышал мой второй батальон. Ни привычного смеха, ни даже одиночных возгласов не было слышно в обеих группах. Все больше и больше охватывало чувство одиночества, несмотря на тысячи людей, среди которых я шел. Да и все они были одиноки в эти минуты. Их не было на том месте, по которому стучали их ноги. Для них не было настоящего, а только далекое милое прошлое и неизбежное роковое смертельное близкое будущее.

Я хорошо знал эти минуты, самые жуткие, нудные и тяжелые минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у те-

бя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Кто знал и видел бой, когда потери доходят до восьмидесяти процентов, у того не может быть даже искры надежды пережить грядущий бой. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения. Казалось диковинным, что вся эта масса людей, обьятая ужасом и протестом против непонятной смерти, смерти без понимания ее значения и смысла, вся эта масса все же безропотно идет, чем-то руководимая, идет и будет автоматически производить заученные приемы, направленные к уничтожению таких же обьятых ужасом и непонимающих людей.

Сегодня мне было легче. Мысль отвлекалась неожиданным инцидентом 1-го полка. Хотелось разобраться и выяснить его истинный смысл и значение в грядущей, в чем нельзя было сомневаться, революции.

Когда мы проходили мимо расположения 1-го полка, стрелки стояли группами около своих землянок. В полном обоюдном молчании прошли наши стрелки мимо них, ни с той ни с другой стороны не было брошено ни одного призыва, ни одного упрека. А казалось бы таким естественным со стороны первого полка звать наш полк присоединиться к его требованиям, и с другой стороны можно было бы ждать от наших стрелков упреков за будущие ужасы предстоящей атаки, которые мы должны были нести за остающийся в тылу 1-й полк.

Очевидно, каждому была своя судьба и свое место в истории.

— А, может быть, не убьют?.. <...>

* * *

Через полчаса, пройдя лес, мы вышли на его противоположную опушку. Тут находилась вторая линия окопов. Справа и слева дороги в большом холмистом увале, покрытом вековыми соснами, были нарыты хорошо приспособленные землянки. Крайняя к дороге с двумя большими окнами оказалась перевязочным пунктом. Две лампы освещали ее внутренность, и были видны наши врачи, успевшие уже там расположиться со своими инструментами и перевязочным материалом.

Полк остановился. Участок для нас был новым и незнакомым. Необходимо было разобраться, узнать свое точное место, познакомиться с выходами для атаки, с проходами в сети проводочных заграждений. Офицеры и стрелки, высланные для этой цели от 1-го полка еще днем, были поражены и смущены нашим приходом и происшедшим в их полку. Они были вялыми и неспособными проводниками, затрудняя и без того трудную ориентировку ночью.

Но вот ротные и взводные разобрались по планам в своих участках. В первую линию были назначены мой и Кузьмичева батальоны, 3-й и 4-й оставались во второй линии.

Забрав командиров рот, взводных, мы с Кузьмичем пошли на первую линию, чтобы на месте определить районы рот и указать их точные границы. Для лучшей ориентировки мы забрались на

самую высокую точку участка, большой блиндаж, обычно занимаемый ротным командиром; в то же время этот блиндаж был специально приспособлен для больших штабов во время боя. Ряд накатов, прослоек и два ряда железобетонных плит делали его неуязвимым даже для шестидюймовых снарядов.

— Крепко сидят, — с усмешкой сказал Кузьмичев, постукивая ногой по вершине блиндажа.

А там уже действительно находился начальник дивизии со своим оперативным штабом, «бригада» в лице ее единственного представителя генерала Э. и штаб полка.

Ротные с группой взводных скрылись по направлению к лесу, а мы с Кузьмичем одиноко торчали на верхушке блиндажа. Справа и слева тянулся обычный шаблон окопов. Впереди неясно намечалась ровная снежная долина, и где-то вдаль, не ближе версты, чернела полоса леса, занятого немцами.

— Ни черта не видно, — произнес безнадежно Кузьмичев.

— Но воображаю, сколько у них там проволоки накручено, — ответил я, зная по горькому опыту, как укрепляет немец свои окопы, расположенные на опушке леса.

— А, поди, не пройти все это пространство под огнем, — в тон мне добавил Кузьмичев. — Главное — ориентировочных пунктов для атаки, кажется, нет, — добавил он с досадой.

— Надо ждать рассвета, сейчас все равно не разберешься. Утро вечера мудренее, — решили мы и, закурив, присели на очищенную от снега железобетонную плиту.

По направлению от нашего леса показались черные змеи рот. Они ползли, ширились и, наконец, под негромкие голоса команд и приказаний рассосались по окопам, заняв свои места.

Обойдя участок, я вошел в небольшую солдатскую землянку, которую мы облюбовали с Кузьмичем, лег на ворох грязной соломы, брошенной на нары, и сейчас же крепко уснул.

Кто меня разбудил, не знаю, но я сидел на парах и смотрел на Кузьмича, с свирепым видом державшего у уха телефонную трубку.

— В чем дело? — задал я тревожный вопрос.

— Приказано начать атаку, — сквозь зубы бросил он, продолжая держать трубку.

Уж почти рассвело. Где-то далеко вправо слышался глухой несмолкаемый рокот артиллерийской стрельбы. Там, очевидно, начался бой, и шла свирепая артиллерийская подготовка. Я следил за лицом Кузьмичева, без возражений слушающего получаемые по телефону приказания. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Злое, перекашиваемое иногда иронической улыбкой, оно говорило о чем-то тяжелом, несуразном, на нас надвигавшемся. Наконец он швырнул трубку.

— Сволочи, идиоты, без артиллерийской подготовки, среди бела дня, с верстовым подходом по ровному полю! — вытаращив на меня глаза, задыхаясь и пересыпая каждую фразу отборной руганью, почти закричал он на меня. — Прав был первый полк, разве можно воевать с такими идиотами, — безнадежно махнув рукой, закончил он уже другим, сразу осевшим, утомленным тоном.

— Вот тебе и утро вечера мудренее, — с улыбкой посмотрел он на меня после небольшого молчания.

Опять тревожно позвонил телефон.

Я взял трубку.

— Начальник дивизии приказал немедленно начать наступление, — услышал я возбужденный голос штаб-офицера для поручений, занимавшего в этот день должность начальника штаба дивизии.

— Хорошо, — дал я машинально и неопределенно ответ...
<...>

Артиллерийский огонь увеличивался и шел во-всю. Снаряды засыпали окопы и все, что было впереди их. Наша слабая артиллерия участка тоже вязалась в бой, и свист их снарядов над головой привычно радовал сердце.

Я вошел в окопы, где встретил собравшихся и направлявшихся ко мне ротных командиров.

— Ну, господа, начнем, — обратился я к ним.

— Но ведь разведчики только вышли. Артиллерия совсем не бьет по проволоке, — начал побледневший, но державший себя в руках Волокитин.

— Все это отлично знаю, но совершенно необходимо поддерживать атаку центра и правого фланга, — ответил я, не смотря в глаза Волокитину. — Пятая и шестая рота, начинайте, а вы, господа, — обратился я к Алексееву и Свечину, — сейчас же за ними второй волной выкатывайтесь.

— Слушаюся, — отвечал Алексеев, со своим обычно пьяным унылым видом.

— Есть! — выкрикнул бодро, но нервно Свечин.

Несмотря на кажущееся различное отношение к переживаемому моменту, я видел во всех глазах одинаковое знакомое выражение какой-то виноватости, как-будто застенчивого стыда и просьбы. Чего стыдится, в чем чувствует себя виноватым человек и чего он просит в такие минуты? Не стыдится ли он общего безумия человечества, направляющего его, сильного, здорового, в лапы смерти? Не чувствует ли он себя виновным в соучастии в этом безумии, не просит ли он помощи, не ждет ли просветления у окружающих от этого кошмара? А, может-быть, он просто думает, что все видят привычно спрятанный ужас в его глазах, и только это делает его взгляд взглядом побитой, запуганной собаки.

— Можно идти? — деловито спросил Гнездиковский. Эта его деловитость в бою меня всегда удивляла. Он, очевидно, считал бой за выгодное, хорошо оплачиваемое наградами предприятие и относился к нему без энтузиазма, но спокойно и деловито.

— Валяйте, господа, начинайте, — ответил я всем на вопрос Гнездиковского.

Стрелки 5-ой и 6-ой роты занимали непосредственно окопы. 7-ая и 8-ая были в пяти шагах в прикопных землянках. Группами жались солдаты к передней стенке бруствера и смотрели при моем проходе тем же тяжелым виноватым взглядом. Артиллерия противника все усиливала и усиливала свой огонь. Уже были убитые, слышались крики и стоны раненых. Гнездиковский торопливо бегал по окопам, отдавая распоряжения. Вот уже вижу его на бруствере. Стрелки его роты потянулись за ним. Огонь начал сосредоточиваться по окопам. Гул от разрывов, свист от осколков камней, комов земли оглушал, и нервы напряглись до той грани, когда уже пропадала мучительная предсмертная тоска, а чувствовался острый, как бы бодрящий ужас.

В открытом поле казалось легче. С невероятным проворством перебрасывались неуклюжие фигуры стрелков через бруствер,

скатывались вниз и, низко пригнувшись, бежали, бежали, пока хватало легких. Но вот 5-ой и 6-ой роты уже нет в окопе. Вправо за окопами показались выходящие роты первого батальона. 7-ая и 8-ая, торопливо выбегая из-под призрачной защиты землянок, занимали уже частично разрушенные сваями окопы.

Стало нестерпимо сидеть на месте. Удачно попавший снаряд повалил одинокое дерево, стоящее у окопа. Мелкие щепы и сучья осыпали градом меня и группу связи, находившуюся около меня. Казалось, все спасение впереди за окопами.

— Ну, наша очередь, — обратился я к связи и своим телефонистам.

— Погоди, ваше высокоблагородие, — быстро перебил меня Агафонов.

В двадцати шагах вправо гулко и резко трахнул крупный снаряд, снеся добрую половину бруствера.

— Вот теперь! — крикнул Агафонов и бросился туда. Я его понял и побежал за ним с остальными стрелками связи. Дело в том, что как-то недавно во время одной из бесед я доказывал своей постоянной аудитории из связи, телефонистов и Николая, что самое безопасное место от артиллерийского огня это воронка предыдущего снаряда. По теории вероятности, говорил я, два снаряда в одну точку попасть не могут. Агафонов запомнил, видимо, урок и теперь применил его к делу.

Пробежав шагов тридцать без чувств, без мысли, я обо что-то запнулся и упал в снег; как стадо садящихся на землю птиц, попадали за мной связь и телефонисты.

Впереди все поле было покрыто двигающимися и лежащими фигурами. Не было видно общих цепей. Отдельными небольшими группами двигались и отдыхали стрелки, но во всей картине чувствовался порыв вперед. Может быть, и толк будет, говорило чувство, но рассудок твердил другое. Я еще из окопа в бинокль рассмотрел глубокое проволочное заграждение не менее 3-х линий. Оно и теперь было цело. Наша артиллерия по своей малочисленности даже не была по нему, а только поддерживала атаку, обстреливая неприятельские окопы.

Но, однако, вперед. Еще одна перебежка, пока хватило сил и воздуха, и опять снег, приятно освежающий разгоряченное тело. Опять вперед, опять освежающий снег.

Гул — нет, не гул, а что-то такое не поддающееся описанию ударило в уши, в голову, прошло по всему телу, охватило жаром, над головой стон и жалобный вой. Закрыв глаза. Цел ли? Оглянулся. Бледные лица связи с виноватыми улыбками смотрят на меня. «Целы?» — задаю вопрос. Глаза слезятся. Над головой чуть сзади что-то ухнуло с ярким длительным светом: светящийся или зажигательный снаряд. У немцев тоже, значит, переполох большой, соображаю я. Стреляют без разбору, чем под руку попадется.

Опять жмусь к земле, хочу в нее врасти, так как второй такой же жуткий взрыв раздастся справа. Третьего не миновать в нас, отчетливо бьется в голове мысль. А теория вероятности? И я не помню и не знаю, как очутился у левой воронки; сполз одной ногой и задержался у края, почувствовав, как сапог быстро наполнился водой. Агафонов, раньше меня попавший туда, промочил себе ноги.

— Проклятое болото — и зимой толкни только, везде вода лезет, — выругался он.

«Останешься цел от снарядов, умрешь от простуды, или отмерзнет нога, — соображаю я, — надо хоть воду вылить».

— Ну, ребята, стаскивай кто-нибудь сапог, — обратился я к стрелкам. Двое ухватили меня за ногу и лежа начали делать попытки стащить сапог. Он упрямо не поддавался. Стрелки пятились лежа и волокли меня по снегу. Догадался Агафонов; он подполз ко мне сзади, ухватил за плечи и начал тянуть в другую сторону. Сапог снят, вода вылита, но как надеть его на мокрый же носок. Кто-то выручил, из вещевого мешка, как сейчас помню, вынули синюю фланелевую рубаху, и я получил добрый ее кусок на портянку. Туго обернув ногу, я надел сапог и свободно вздохнул. Остальная рубаха пошла на портянки Агафонову.

Еще две-три тяжелые, по глубокому снегу, перебежки, и стало заметно уменьшение падающих около нас артиллерийских снарядов. Горизонт уже не закрывался сплошной стеной их разрывов, но зато слух отчетливо уловил резкую трескотню многих немецких пулеметов и взвизгивание пулеметных пуль. Все поле впереди усеяно, как лист липкой бумаги мухами, прильнувшими к земле людьми. Перебежки стали реже, группы в них меньше. Стало ясно, что удар пропадает. Таяли силы и физические и моральные. Кто тут убит, кто цел в этой массе валяющихся и не двигающихся тел, определить было трудно. То там, то здесь виднелись фигуры стрелков, встававших во весь рост и медленно, как бы в раздумьи идущих обратно к окопам. Кто прихрамывал, опираясь на винтовку, но и с целыми ногами люди не ускоряли шагу, — обычная и всегда удивлявшая меня картина боя. Раненый стрелок, могущий двигаться, считает себя благополучно закончившим работу, с него сняты все требования и обязанности. Это, конечно, понятно, но он, кроме того, начинает чувствовать себя таким далеким от всего окружающего, что из него вытравляется чувство опасности. «Я не боец, никого не обижаю, и меня никто не смеет тронуть» — вот, должно быть, та бессознательная уверенность, которая охватывает и поглощает все его существо, боря рассудок и наглядную очевидность. Часто видно, как кто-нибудь из этих медленно идущих фигур, неестественно взмахнув руками, падает на снег с тем, чтобы никогда не подняться. Но это не останавливает других, да они и не видят окружающего. Они смотрят прямо перед собой, на оставленную ими липкую окопов, и все кажутся поглощенными подсчетом шагов и времени, необходимых, чтобы пройти это расстояние... <...>.

* * *

На собрание, заинтересованные его повесткой, собрались почти все офицеры полка, и тут роль Юрченка выяснилась во всей ее неприглядности, тем более что, будучи инициатором заявления, он уклонился поставить свою подпись под ним наряду с другими. Я ждал, что Юрченко прикроется маской оборончества, что могло бы спасти его положение, но он не учел этого и выявлял себя ярым шовинистом. Прижатый к стене, он сделался начальным и топил себя все больше и больше. Источник начавшихся разногласий между офицерами обнаружился. Это собрание, бурное в начале и перешедшее в конце в спокойную товарищескую беседу, решило судьбу Юрченка в полку, а также имело большое влияние на всю дальнейшую судьбу полка до конца его существования. Оглянувшись спокойно на прожитые вместе тя-

желые боевые дни, все уяснили себе, что поднятый вопрос о группировке офицеров не имел и не имеет под собой почвы. Единичные редкие столкновения по этому вопросу обычно были столкновениями личного характера и объяснялись невыдержанностью 20-летних «стариков» из числа кадровой молодежи. Договорились: «страна, в какой бы стадии революции она ни находилась, каким бы правительством ни возглавлялась, всегда будет нуждаться в боеспособной армии, почему разлагать полк своими мелкими ссорами и дрязгами мы не имеем права. Наша главная и независимая от политики задача сохранить боеспособность полка». Подавшие заявление о Суслове взяли его обратно, согласившись, что этот не всем приятный человек, как работник, теперь особенно необходим на своем месте. Решение этого нашего общего неофициального собрания до конца поддерживалось офицерами и проводилось в полку.

Уже на втором заседании офицерского комитета было решено делать только объединенные собрания солдатского и офицерского комитетов. На первом объединенном заседании уже было ясно, что комитет в полку может быть только один, что и было тут же проведено в жизнь. Мы очень гордились потом тем, что это почувствовано и проведено у нас в жизнь раньше других и даже раньше, чем это сделал армейский комитет, также слившийся потом свои разрозненные части.

Дошел до нас приказ № 1*. Он, конечно, не попал в штабы, а сначала робко, как бы из-под полы, читался в окопах. Мне его показал Гурьянов. Поймав меня как-то одного в ходе сообщения около моего блиндажа, он протянул мне печатный листок.

— Вот, ваше высокоблагородие, документик, почитайте-ка.

Оказался приказ № 1, перепечатанный и распространяемый от каких-то организаций в Риге. Читаю и вижу, что Гурьянов с напряженным любопытством за мной наблюдает.

Отмена отдания чести, обращение к солдатам на «вы», обращение к офицерам по чинам, комитеты, — все ясно, нужно и последовательно. Но дальше хуже: выборное начальство. Это уже, ясно, или конец войне, или полное поражение армии.

Отменяется параграф 19-й устава внутренней службы. Стараюсь вспомнить этот параграф и не могу.

— Отмена запрещения играть солдатам на деньги в карты, — поясняет мне Гурьянов, очевидно, детально ознакомившийся с приказом.

— Ну, как, ваше высокоблагородие? — задает он мне вопрос.

Объясняя свои впечатления и свое недоумение по поводу карт в таком важном по существу документе.

— Тут, верно, неустойка вышла, — соглашается он со мной. — Надо бы и офицерам запретить, а они и солдатам разрешают. А насчет выборов, по-моему, тоже хорошо, ежели к ним сознательно отнестись. А что насчет войны, так и ладно, ни к чему она, — закончил он, протягивая руку за приказом.

Однако, по моей просьбе, он оставил листок у меня, взяв обещание вернуть ему его на другой день обратно.

Только у себя на свободе рассмотрел я, что этот приказ по «петроградскому гарнизону» и будто бы к нам отношения не имеет. Кроме того, увидел, что он не Временного Правительства, а Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, т.-е. величины, для нас по тем временам не имевшей ясных юридических форм. Тем не

менее было очевидно, что он уже проник в массы и рано или поздно войдет в жизнь.

Говорил с Кузьмичевым, который командовал полком. Этот решительный раньше, не задумывающийся ни над чем человек окончательно растерялся под напором идущих событий.

— Ни черта не понимаю, — откровенно сознался мне он. Все же договорились провести в жизнь через комитет этот приказ, за исключением выборности.

— Ну, тебе видней, недаром с революционерами якшался, — закончил наш разговор Кузьмичев. — Только не подведи, смотри.

— С какими революционерами? — спросил я, недоумеая.

— Ну, ладно, дурака не валяй, ведь я теперь командир полка, для меня секретных бумажек нет, спроси Игнатия Васильевича.

Суслов, что-то писавший тут же за столом, поднялся и объяснил мне непонятные слова Кузьмичева.

— Теперь можно познакомить вас, Геннадий Николаевич, с одной бывшей «секретной» бумажкой. Вы помните, когда прибыли в полк пред войной и вам командир полка не дал роты и назначил младшим офицером. Я теперь ужасно доволен, что имею возможность открыть всю эту историю, а то меня все время огорчало, что вы могли быть на меня в претензии за эту историю.

— Ну? — перебил я его, заинтересовавшись.

— Что, задело за живое? — усмехнулся Кузьмичев.

Суслов тоже улыбнулся.

— Ну, так причиной этому была секретная бумажка, полученная в полк пред вашим приездом. Да лучше я ее вам покажу.

И, достав папку с секретными бумагами, он открыл ее и нашел эту злополучную бумагу. Какой-то отдел какого-то департамента ставил командира полка в известность, что прибывающий в полк капитан Чемоданов по службе его на Нерчинской каторге выявил свою политическую неблагонадежность, почему ему рекомендуется, так и написано: «рекомендуется», не давать никакой должности, связанной с самостоятельностью.

Я весело свистнул. Новые для меня сведения теперь были только комичны.

— Вот, Геннадий Николаевич, — закончил Суслов, — исключительно поэтому вам и пришлось пробыть все варшавские бои в тяжелой роли младшего офицера.

Приказ мы провели, хотя начальство нам его не подтвердило; разговоры о выборном начале, начавшиеся было среди солдат, тоже замолкли в связи с приказом № 2.

Наш армейский комитет стал на ту точку зрения, что приказ № 1 в целом относится к петроградскому гарнизону, но тем не менее вытравить его из фронта было невозможно, и он хоть не везде сразу, но прошел и укрепился в жизнь.

Помню этот приказ в офицерском армейском комитете. Председатель Кучин разбирал вопрос об отношении к отдаванию чести. Толково, спокойно он доказывал о несвоевременности и ненужности его, но многим, видимо, слова Кучина показались неубедительными. Небольшие группы сторонников отдавания чести перебивали Кучина протестующими возгласами. Выступил с трибуны и «защитник чести».

Высокий, бравый, с пышными усами ротмистр, недурной оратор, взялся выразить мнение протестующих.

Разврат, развал, честь России... Все беды должны были обрушиться на наши головы с отменой отдавания чести. Россия пускай

себе делает революцию, но армия должна остаться вне жизни.

Страсти разгорались.

Чувство стыда и недоумения вызывала эта сцена. Дикими и непонятными казались эти взрослые люди, шумевшие и протестовавшие против ненужного и неизбежного, люди, не понимавшие революции, не чувствовавшие ее неукротимого движения.

Атмосферу несколько разрядил командир одного из латышских полков, полковник Вацетис. Небольшого роста, с полным, поактерски бритым лицом, он показался на трибуне в спокойном насмешливым тоном заставил остыть разгоряченных протестантов. «Уж большинство солдат все равно не отдадут чести, — говорил он между прочим, — и, поверьте, не в этом смысл и не на этом держится дисциплина».

— Вот сегодня, — рассказывал он дальше, — я сегодня нарочно опыт произвел. Смотрю — идет солдат, вижу — рука — привычке тянется, а хочется свободу почувствовать, честь не отдать. Я ему сам первый козырнул, и он сейчас же ответил, и вижу — охотно прикладывает руку к козырьку. Значит, это не дисциплина, а только естественное желание почувствовать себя свободным, осязать эту свободу.

Страсти утихли, и вопрос для всех стал бесспорным.

Это было одно из моих многочисленных участия в заседаниях комитета, на котором были представители-офицеры всех частей XII армии. И каких разнообразных деятелей периода революции выделил этот комитет! Из него вышел и бывший главком Вацетис, и соратник Юденича полковник Родзянко, так импониравший собранию своим блестящим внешним видом и родством с председателем государственной думы. Он же дал и довольно крупную в свое время фигуру революции Сиверса, скромного по тем временам поручика одного из армейских полков.

Теперь, когда прошло уже восемь астрономических лет, равных столетию по нашему общественному росту, когда минувшие годы отходят в историю, мне кажется, что не правы те, кто делит и делит до сих пор старую армию на два лагеря: сочувствующих и врагов революции, и которые, без обиняков и оговорок, к первому присоединяют огулом солдат, а ко второму — офицерство. Армия всегда была отражением, точным слепком своего народа, часть которого она составляет. Темен народ — темна и армия. Попробуйте придать немецкой армии особенности и качества французской и наоборот. Никакой школой, никаким режимом, никакими писаными уставами вы этого не добьетесь и не выдавите общего армии и народу импульса. Заставьте петь армии западных народов. В них вы не услышите пения, а русская армия поет и пела и с горю и с радости, в часы отдыха и во время самых тяжелых переходов. Она ищет развлечения, утешения и бодрости в пении, это ее особенность, особенность породившего ее народа. Рабочий поет за станком, пахарь — за сохой, бурлак тянет свою унылую песню на Волге. Был невежественный народ, такой был и солдат. Офицерский класс тоже был точным отражением того общества, из которого он вышел, с которым был кровно связан. Были Родзянки, но были и Сиверсы. Политическая каторга и ссылка, имеющие в своих рядах представителей всех классов, сословий и профессий, немалый процент имели людей, носивших до этого офицерский мундир. Общество дало Пуришкевичей, Марковых-вторых, — естественно, таковые были и в армии.

Не сплошь была в те времена революционна и солдатская

масса; крестьянская в большинстве, инертная в силу этого к политике, она имела на своих флангах представителей революционно-рабочего класса с одной стороны и представителей мелкой городской буржуазии, торгашей и деревенского кулачества, с другой. Если на стороне революции, в ее первых рядах, вы имели унтер-офицера Буденного, то немало унтер-офицеров дошло до больших чинов и на белой стороне. Как поделилась солдатская масса на красную и белую половины, так в той же пропорции и по тем же причинам поделилось и офицерство. Не правы те, кто путает понятие «белое офицерство» и «старое офицерство»: первое является определением классовым, а второе — только профессиональным. Предо мной № 193 «Известий» за 1924 г. и в нем отчет о деле заграничной контр-революции на Кубани. Главные герои: полковник Орлов, подполковник Козликов, хорунжий Семилетов. Первый бывший казначейский чиновник, поступивший добровольцем в денкинскую армию и там получивший чин полковника, второй — вахмистр старой армии и третий — урядник, — это «белые», никогда не бывшие «старыми». А кто не знает другой группы, большой, очень большой группы, начиная с главкома Каменева, «старых», никогда не бывших «белыми». <...>

* * *

Первые числа ноября 1917 года.

По России грозной могучей волной прокатилась Октябрьская революция. В ней не было оттенков наивности и сентиментальной красочности дней февраля — это была революция мести. Потоками крови пробивала она свой прямой твердый путь.

Вдохновленный могучим именем Ленина и руководимый партией большевиков, питерский пролетариат первый поднял свою голову и дал мощный окрик выдыхающимся героям февраля. Откликнулась Москва. Омылась кровью. Загорелась пламенем. Загудела провинция.

Но спокойно шли эти дни у нас на непосредственном окопном фронте.

Не было чувства неожиданности и новизны. Все лозунги, выставленные Октябрем, за которые лилась кровь в тылу, на фронте, на окопном фронте давно проводились в жизнь и считались непреложной истиной одними и неизбежным злом несогласными. Только армейский комитет в своем Валке, который по нашему масштабу был уже глубоким тылом, оторванный от масс, от окопной действительности, продолжал ненужную безнадежную борьбу против стихии.

Полк стоял в резерве.

На этот раз помещение для штаба попало неудачное. Низкий длинный приземистый серый дом какого-то латышского хуторянина, неуютно, как будто случайно, неуклюже был брошен вдоль грязной дороги. Две-три старых ивы впереди, три-четыре корявых яблони сзади дома, с остатками бурых мокрых обтрепанных листьев, полуразрушенные надворные постройки, растасканные на топливо заборы подчеркивали общую неприглядность картины.

Внутри дома было еще тоскливей. Грязный трухлявый пол, оборванные клочки обоев по стенам, заткнутые тряпкой набитые стекла в рамах, теснота и спертый сырой воздух удручающе действовали на нас, случайных его обитателей. Прошли месяцы,

а казалось — пролетели годы, так все изменилось в нас и вокруг нас. Кузьмичева нет, и вот уж почти два месяца, как я команду полком. «Командую», пожалуй, это будет не то слово, верней, я стараюсь командовать, я обманываю себя и окружающих. У меня никогда нет полной уверенности, что то или другое мое приказание будет исполнено. Я лавирую между возможным и нужным. Нельзя допустить неисполнения приказа, — тогда все потеряно, тогда не будет полка, за видимую хотя бы целость которого мы так бьемся, и офицеры и полковой комитет.

Я одновременно и несмеяемый член полкового комитета, и это большой плюс, дающий мне возможность ориентироваться в окружающем, знать ближе настроение полка.

Недавно переизбранный общим полковым собранием полковой комитет, являющийся уже действительным представителем масс по тому времени, видимо, не мог угнаться за их настроением, за их быстрыми скачками в сторону разложения.

Ротные комитеты переизбирались по несколько раз в неделю. Каждое слово и решение такого комитета, направленное на видимость порядка и законности, вызывало его падение и новые выборы. Требования, а иногда и с угрозами, одно нелепей другого, поступали в полковой комитет. На-днях «Латышский исполком», состоящий из группы латышей, служивших в полку, представил мне свое постановление о своем уходе из полка в латышские части.

Не протестовал и отпустил.

А вчера явился председатель «полковой рады» и потребовал от имени этой самой рады, чтобы я выдал документы, деньги и продовольствие для пятисот человек украинцев, служивших в полку, т. к. рада постановила отправить своих членов в украинские части. Случайно лучшие пулеметчики и почти вся служба связи состояла из украинцев, уход их обессилил бы полк окончательно. Долго говорили с председателем, перенесли разговор в самую раду и условились на месячном сроке, во время которого я сумею подготовить, заменить уходящих специалистов. Это была крупная победа, так как в других полках дивизии украинцы ушли еще раньше и даже самочинно.

14-я рота требовала убрать ее ротного командира, совершенно безобидного, честного и ранее, видимо, ею любимого поручика Н., и выбрала на его место своего младшего офицера, нечистоплотного, интриговавшего и грубо игравшего на популярность недавно появившегося в полку прапорщика З.

6-я рота выбрала своим председателем и членом полкового комитета присланного в полк после революции юркого жандармского унтер-офицера. Уговоры, разъяснения полкового комитета, что это лицо не может быть избираемо, не оказывали никакого действия, и спровоцированная рота явно разлагалась. Возвышение этого жандарма крайне характерно и показательно. У хозяина, на хуторе которого стояла рота, пропала свинья. Поступила жалоба мне и в комитет. Решили, что 6-я рота, как вероятная виновница, должна заплатить хозяину по существующей расценке около 40 рублей.

Жандарм применил свою старую профессию, произвел слежку и доказал, что свинью украла 8-я рота, стоявшая на соседнем хуторе; даже еще не успевшая попасть на стол свинья была обнаружена в ротной кухне 8-й роты. Это-то обстоятельство, сохранившее по четвертаку в кармане каждого стрелка роты, наконец

самый прием «шерлоковщины» так повлияли на роту, что она не остановилась перед конфликтом, с полковым комитетом и отстояла своего фаворита.

Каждая рота, команда так или иначе старалась выявить свое лицо, криво, косо подчас и вслепо. Все это, сложенное вместе, производило впечатление сумбура, плохо укладывалось в голове и нервировало. Не видно было, где кончается смех и начинаются слезы.

На дворе против обыкновения светило солнышко; его слабые осенние лучи с трудом пробирались чрез грязные с зелено-фиолетовым налетом стекла оконных рам, и солнечные бледные блики на грязном столе, на тухлявом полу не радовали, а еще больше подчеркивали убожество обстановки.

Адъютант, поручик Лукин, насистывая что-то унылое, разбирался в каких-то ведомостичках и заканчивал составление приказа по полку. Любитель кулинарного искусства начальник связи поручик Ковалевский тут же около ярко горевшей плиты комбинировал на сковороде какое-то новое кушанье. Он уже выложил в пенящую маслом сковородку содержимое двух банок мясных консервов, накрошив туда же луку, и теперь с озабоченным лицом сбивал в большой эмалированной кружке яйца, насыпая туда понемногу муки и каких-то специй. <...>

В это время в комнату шумной веселой толпой вошла группа офицеров.

— С солнышком вас, Геннадий Николаевич, — приветствовал меня Суслов, подходя и здороваясь со мной, Лукиным и Ковалевским.

Он уже около двух месяцев, по своему желанию, сдал должность адъютанта и командовал 10-й ротой.

— Великолепная погода, — потирая руки, заявил Волокигин. — Давно солнышка не видели, на душе легче, бодрит.

— Вижу, вижу, что бодрит, — подвинченный общим весельем, сказал я, пожимая руки вошедших. — Надо будет тоже вылезать из своей берлоги, воздуха нахвататься.

— Да, у вас тут насчет воздуха слабо, — комично покрутил носом Хмыров.

— А нас, Геннадий Николаевич, Хмыров всю дорогу смешил, рассказывал, как его денщика Алешу сегодня рота на руках от него таскала.

— Как таскала? — заинтересовался Лукин.

— Да вот как послов великой княгини Ольги. Заявил мой Алексей, что ни на конях не поедет, ни на ногах от меня не пойдет, ну и потащили в лодке.

Дело, оказывается, было вот в чем.

11-я рота постановила отобрать у своих офицеров денщиков.

— Нет, вы обратите внимание на мотивировку, Геннадий Николаевич, — смеялся Хмыров: — «Не может солдат, носящий погоны, холуем быть», это я вам прямо из протокола ротного собрания жарю. Понимаете, «носящий погоны», — ведь это уж «честью мундира» пахнет. Это, пожалуй, кой-кого из наших господ офицеров к ним поучиться послать можно. Вчера еще они вечером постановили. Ну, денщики, конечно, упираются. Погрозили им лишить пайка, жалованья и всякими другими мерами воздействия. Васька ротного сдрейфил, ушел. Прапорщика ден-

щик тоже. А мой Алеха уперся. И вот сегодня утром пришла к нему депутация, — так, мол, и так, пожалуйста, стрелок Шурыгин, на взвод, виштовочку в руки, дневальство по роте и прочие удовольствия.

Уперся мой Алеха. «Свободный, говорит, я гражданин и, как хочу, так и живу». А те ему писаное постановление в нос суют. И вот, знаете, взяла эта самая депутация моего Алеху на руки и торжественно поцесла в первый взвод. Несут по всей роте, он ничего, не брыкается, а только ругательски ругается. Вся рота собралась, хохот кругом, вообще развлечения первый сорт.

— Ну, а вы что же? — сорвался у меня вопрос.

— Да я что же. Как знаете, сам четвертый день член ротного комитета, против себя итти не могу, да и, наконец, уважая в Алехе права гражданина, считаю это его личным делом, — усмехнулся Хмыров. — Нет, вы послушайте дальше. Спустили его на землю, он выругался да опять прямым трактом к себе обратно. Загототала рота, опять за ним, опять принесли, уж чуть ли не всей ротой, а он опять домой. Плюнули, отступились.

— А в каком положении этот вопрос сейчас? — спросил я, чувствуя скверный осадок, несмотря на комичность положения.

— Да ничего, отстоял мой Алексей свое положение, был уж и на кухне, обед получил, — думаю, этим и кончится. Впрочем, я ему посоветовал сделать общее собрание денщиков и выбрать комитет для ограждения своих интересов, — под общий смех закончил Хмыров свое повествование.

Телефон, стоявший на столе у адъютанта, зазвонил.

— Геннадий Николаевич, вас начальник штаба дивизии просит, — протянул он мне трубку.

— Здравствуйте, полковник, — услышал я знакомый голос. — Начальник дивизии просит у вас справиться, сумеете ли вы с полком сменить завтра или послезавтра 2-й полк на позиции.

— Позвольте, вы что-нибудь путаете. Как же это так? — удивился я. — Ведь мы только недавно стоим в резерве и перед этим и так лишних пять дней отстояли на позиции, очередь 1-му полку.

После отступления от Риги и нашего вторичного продвижения вперед мы заняли опять довольно определенную и устойчивую линию позиций. Немец, видимо, оттянул войска с этого фронта, тревожил нас мало, непосредственной опасности на фронте не было. Кто, как и почему, не знаю, но недавно было решено на дивизионном участке держать на позиции один полк, три остальных в резерве, на второй укрепленной полосе верстах в десяти за первой. Позиционные полки сменялись через каждые две недели. Участок нашей дивизии, длиной до восьми верст, теперь занимал 2-й полк, имея впереди себя, на авангарде позиции, 1-й ударный батальон, прикомандированный к дивизии.

2-й полк кончал свой двухнедельный срок и заявил, что, если его во-время не сменят, он уйдет с позиции самовольно. Ударники, измученные боевой работой в течение более чем месяца, тоже требовали смены. Я с полком только неделю назад сменился с позиции, где мы в течение трех недель занимали участок чужой дивизии, в которой ни начальство, ни комитет не могли уговорить части занять позицию ввиду споров между полками об очереди. <...>

Кончалась третья неделя нашего пребывания на позиции, то есть тот срок, после которого большинство рот постановило само-

вольно уйти в тыл. Уговаривание полков, могущих нас сменить, продолжалось, но результатов не давало. Не было нужных доводов и у меня уговорить роты на дальнейшее пребывание на позиции, все было против этого: сменили и стали на позицию вне очереди, простояли лишнюю неделю, и никакой уверенности в возможности смены. Лисицын чесал себе по привычке затылок и вздыхал. Он охрип от речей, но не помогло и его «правильно ли я говорю?». Оказалось, что для большинства рот он против обыкновения перестал говорить правильно.

— Что ж, господин полковник, ведь уйдут? — спрашивал он меня, очевидно, ожидая какого-то утешения.

В конце концов договорились до дела. В тиши «кабинета» мы с Лисицыным, Гурьяновым выработали резолюцию общего собрания полкового и ротных комитетов и назначили это общее заседание на завтрашний, последний пред трехнедельным сроком день.

«Полк стал на позицию вне очереди, стоя вместо положенных двух уже три недели, — говорилось в этой резолюции. — и заявляет, что, понимая всю важность и свою ответственность пред пролетарской революцией, он простоят без смены еще неделю, то-есть в два раза больше положенного. Но справедливость требует, чтобы полк был сменен после этого срока. Полк заявляет, что если этого не будет сделано, он считает себя в праве, сняв с участка артиллерию и саперную роту, в полном порядке оставить позицию и отойти в резерв для заслуженного им отдыха».

Собрание было шумное. Чуть не испортил дела Майский, внесший свою резолюцию и говоривший в ее духе. В оглашенной им резолюции он ругательски-ругал другие части и беспомощность нового армейского комитета, не желавшего, по его мнению, прийти к нам на помощь. Прошла наша резолюция с постановлением передать ее телеграфно в дивизию, корпус и армейский комитет. От всех членов собрания заручились обещанием проводить наше постановление в ротах во что бы то ни стало.

Сегодня я в речах Лисицына заметил новые нотки: «земли и воли» уже не было, «мир хижинам, война дворцам» — звучало в его словах.

— Здорово вышло, — сказал мне довольный и сияющий Лисицын, когда мы возвращались с собрания в штаб полка. — Пускай-ка начальство наш орешек разгрызет.

Мне тоже было легче: бороться уже не хватало сил, и ясность вопроса успокаивала.

— А что, Лисицын, как ваши партийные дела? — обратился я к нему.

— Какие? — смутившись, ответил Лисицын.

— Как какие, ведь вы же эс-эр?

— Не хожу, не знаю, я думаю, что тут тоже ошибок много.

— А помните, Лисицын, как вы возмущались, когда я вам говорил, что не горячитесь, молоды еще, перекраситесь? — задал я вопрос, смеясь над его смущением.

— Я вам всегда говорил, что вы хитрый человек, — смущенно, но также смеясь, ответил Лисицын.

Слово «хитрый» для него почему-то означало высшую похвалу умственным способностям человека.

Живем еще неделю. Проводили своих симпатичных приятельниц сестер милосердия, вызванных в отряд. Получаем какие-то бумаги, отвечаем на них, отдаем распоряжения, пишем приказы,

приказаний, но чувствуется, что это все так, нарочно, никому не нужно. В силу инерции катится внешняя, видимая жизнь полка, а его уже нет.

Через неделю нас сменил второй полк. Но сменил только тремя ротами, так как остальные девять не пожелали покинуть своих насиженных мест и на позицию не вышли. Неделю бился над ними армейский комитет, высылая своих лучших агитаторов для собеседования с ротами полка. Но все было тщетно. Это, видимо, был как раз тот переживаемый последовательно везде короткий момент власти толпы в худшем значении этого слова...

— Вчера вечером, — разъяснил нам наше недоумение начальник дивизии, — получено распоряжение о проведении в армии выборного начала, об отмене чипов и всех знаков отличия *. Как видите, последнее в штабе дивизии уже проведено в жизнь.

Он, как мне показалось, горько улыбнулся и обвел глазами присутствовавших.

— Я, — потом объяснил мне начальник дивизии, — не хотел передавать этого распоряжения по телефону и вызвал всех командиров полков. Нужно это провести в жизнь быстро и решительно, чтобы не вызвать эксцессов со стороны стрелков. Надо, чтобы это было сделано прежде, чем об этом узнают солдаты.

В штабе узнал еще новость: мой первый батальон по тем же причинам, как и пятая и восьмая роты, выбрал себе стоянку в 12-ти верстах от штаба полка, в поселке бумажной фабрики «Лигат». Связаться с полком телефоном пришлось через дивизионный лазарет, который находился там же, и штаб дивизии.

— Ничего нельзя было сделать, — передал мне по телефону командир батальона, и в тоне его я уловил те же нотки безразличия, сознания своей безответственности, которые я только что обнаружил в себе.

Пообедав по приглашению начальника дивизии в штабе, мы через час быстро возвращались уже теперь знакомой дорогой в полк. Перед отъездом я передал распоряжение Ковалевскому вызвать в штаб к десяти часам всех офицеров полка, и надо было торопиться к сроку.

Быстро наступили зимние сумерки, и вплотную за ними спустилась темная ночь. Резкий встречный ветер начавшегося заморозка обжигал лицо, дождь, перешедший в ледяные тонкие иглы, колот щеки, забивался за шею и лез в уши. Пришлось снять пенсне, что всегда нервирует близорукого человека. Я совершенно отдался в распоряжение лошади. Не менее меня слепой адъютант оказался в таком же печальном положении; только ехавший впереди Цыбакин со своими рысьими глазами чувствовал себя совершенно уверенно и великолепно, ориентировался в мало знакомой сложной дороге. «Тут канава, сучок, наклоните голову», — то и дело уверенно доносился сквозь завывание ветра его голос. Но вот, наконец, выехали на большую дорогу. Настроение лучше, только четыре версты до штаба, можно пустить рвущихся лошадей полной рысью, и, что самое главное, заморозивший лицо ветер начал дуть в спину.

— Ну, наконец-то выбрались из этой дебри, — радостно заговорил Лукин под веселый дробный стук лошадиных копыт. — Сейчас дома чайку горячего хратим и все невзгоды забудем.

— Опоздали, кажется, сильно, как бы офицерство не разошлось, — невольно прищипорил я лошадь, действительно озабочен-

ный этим обстоятельством и совершенно потеряв представление о времени.

— Только половина шестого, как раз поспеем, — сказал Лукаш, на ходу вытаскивая свои часы с светящимся циферблатом.

Вот проехали хутор, где расположился наш околоток. Заехать бы отогреться. Соблазн. Но гоним без остановки дальше, и через десять минут свернули с шоссе на липкую, размолотую, хотя и примороженную грязь двора штаба.

Сквозь грязные закоптелые окна слабо освещенной комнаты видны массовые силуэты людей. Сквозь бумажные заклейки разбитых стекол доносится шум большого сборища. Вот взрыв хохота. Темные сени, низкая дверь.

«Господа офицеры!» — официально раздается при моем появлении громкий возглас старшего из присутствующих подполковника Редькина.

Последний раз слышу я этот возглас, приветствующий входящего начальника. И опять удивился. Удивился радостным удивлением. Никакой горечи не было в моих переживаниях.

Сбросить шинель, обтереть полотенцем мокрое застывшее лицо было делом одной минуты.

Сразу притихло шумное веселье, целая гамма переживаний прошла по лицам присутствовавших, когда я начал передавать полученное мною распоряжение о проведении выборного начала и об уничтожении чинов.

— Погоны, товарищи, — серьезно подчеркнул я это непривычное обращение, — я просил бы вас снять, не выходя из этой комнаты. Во-первых, мы будем, как всегда, исполнительны и точны до конца в этом последнем приказании, полученном нами, как офицерами, а, во-вторых, как говорится, «па людях и смерть красна». Николай! — крикнул я копящемуся в моей комнате денщику.

— Что прикажете, господин полковник?

Насмешка! В ту минуту, когда я снимаю с себя этот чин, он, наконец-то, решил меня им назвать.

— Поздно, брат, спохватился, — невольно улыбаясь этому совпадению, сказал я ему, — во-первых, дай ножницы, а во-вторых, знай, что никаких полковников больше нет и называть ты меня должен «товарищ командир полка» и никак больше.

— Ну, уж на это я согласен не буду, господин полковник, — упрямо ответил он, направляясь за ножницами.

И действительно, до последних дней нашей совместной жизни он, вопреки всему, именовал меня полковником, упрямо подчеркивая это обращение.

— Итак, товарищи, за дело, — обратился я к присутствовавшим, вооружаясь ножницами и снимая китель, — как командир полка, я делаю почин.

Я не торопясь развязал шнурки у погонных пуговиц и срезал их у основания. Все быстро и нервно прилились за работу. Кто аккуратно продельвал это ножницами, кто возбужденно срывал их с плеч, чуть ли не с мясом. Я видел перед собой ряд лиц, очевидно, глубоко, но по-разному переживавших момент. Бледный, недоумевающий, растерянный Редькин уставился на меня жутким, молящим и что-то спрашивающим взглядом. Весь красный, со злобным лицом, крепко, по-солдатски выругался, сам того не замечая, за войну из фельдфебелей выслужившийся до чина поручика Федоренко. Вот ряд лиц, только растерявшихся и не су-

мевших еще переварить и осознать значение совершившегося. Но есть и не удивленные, спокойные лица, только, видимо, крепко задумавшиеся над этой переменой, над этой похоронной песней нашей старой армии.

— А ну вас к черту! — раздался резкий возглас Свечина, и он со злобой швырнул только что срезанные погоны на пол. — Извели меня, проклятые, измучили, — как бы ответил он на общее удивление окружающих. — С ними все казалось, что я все что-то должен, что-то обязан, пред кем-то виноват, а теперь сняли погоны с 3-го полка — и нет полка. Нет ни долга, ни ответа. Прощай, полк, — тихо, почти шопотом, но ясно, отчетливо раздавшимся среди наступившей напряженной тишины, окончил он громко начатую речь. Слезы слышались в этом прощании. Почувствовалось, что его настроением заражались окружающие. Выручил, как и всегда в таком случае, Хмыров.

— Ты что, Ваня, куксишься, погончики долго режешь? — обратился он заботливо к самому молодому из присутствовавших, прапорщику Марину. — Жалко, что ли? Правда, тяжеленько тебе будет без привычки без золотых погон щеголять.

— Без привычки? — засмеялся кто-то. — Да он всего два месяца как их одел.

— Для кого два месяца, — серьезно возразил Хмыров, — а для Вани это полжизни, с пеленок, можно сказать, в погонах ходил — и на вот тебе, снимают, — сочувственно хлопнул он по плечу как пион покрасневшего Марина.

Атмосфера разрядилась, каждый поддержал шутку, стараясь скрыть, замаскировать свое подлинное настроение. Официальная часть собрания кончилась. Поднялся шум, обычный шум возбужденной взволнованной толпы, где сквозь горячие возмущенные окрики, жалобные нотки прорывались звуки то иронического, то искренне веселого смеха.

— Я все понял, — подошел ко мне Солнцев, лицо его сияло, и глаза весело блестели, — я все понял, Геннадий Николаевич, — возбужденно повторил он. — Большевики правы: гнилому, отжившему нет места в нарождающейся новой жизни. Это надо повясть всем...

— Вы, Владимир Васильевич, забыли, что о покойниках или не говорят совсем, но во всяком случае их не ругают, — деланно спокойно перебил Вову стоявший тут же Майский.

— Да не ругаю я, голубчик, Анатолий Николаевич, нашего покойника, — также восторженно возразил ему Солнцев, — только морщусь от его трупного запаха. Это же позволительно? Я верю в него больше, чем вы. Помните, вы говорили, что армия гибнет, а с нею гибнет и Россия.

— Да, говорил, убежден в этом и теперь, — сухо ответил Майский.

— А я верю, — горячо подхватил Солнцев, — что то, что совершается кругом, есть не смерть, а воскресение: умерло прогнившее язвами тело старой армии, а свободный от рабской оболочки ее дух найдет более подходящее помещение и будет с честью служить делу освобождения человечества.

— Вы ничего не сказали о России, — сказал резко Майский.

— Я говорю о человечестве, — в тон ему ответил Солнцев.

— Вы большевик?

— Утром им не был, сейчас да.

Ирония и презрение слышались в вопросе Майского, вызов и восторженность в ответе Солнцева.

Непримиримая смертельная вражда невидимо легла и отделила этих двух так недавно расположенных друг к другу людей.

В разных углах, во многих группах шли горячие споры. Не бесследно прошли эти тяжелые месяцы политической борьбы и опыта. Уж не безграмотные дети слышались в спорщиках. На безличном политическом фоне массы бывших офицеров стали появляться неясные, но уже приметные оттенки, а иногда и резко очерченные фигуры. Дешикинцы, колчаковцы и будущие красные командиры намечались этим собранием. Люди, четыре года рука об руку боровшиеся в окопах империалистической войны, расходились, чтобы в будущем поднять друг на друга руку в борьбе классовой, в борьбе кровавой и беспощадной.

Но старая армия не умерла. Как слепок, как нераздельная часть своего народа, она и не могла умереть, она лишь вместе с ним проходила чистилище, болела с ним одной болезнью и вместе же воспрянула в новом преображенном виде, чтобы под Красной Звездой бороться за мир всему миру.

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ. Роман печатается с сокращениями по Собранию сочинений в 12-ти томах. Том II. М., Изд-во «Правда», 1967.

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (псевдоним — настоящая фамилия Сергеев) родился 18 (30) сентября 1875 года на Тамбовщине, скончался 3 декабря 1958 года в Алуште. Участник первой мировой войны, призванный в качестве прапорщика в 1914 году. Печататься начал с 1901 года, продолжая лучшие демократические традиции русской военной литературы. В годы Великой Отечественной войны написал роман «Брусиловский прорыв» (1943 год; часть первая — «Бурная весна», часть вторая — «Горячее лето»), который имел большую популярность в то время, способствуя патриотическому воспитанию нашего народа.

К с. 19. *Иванов Николай Иудович* (1851—1919) — генерал, с начала мировой войны до марта 1916 года командовал Юго-Западным фронтом, проявил себя как слабый и робкий военачальник, на этом посту его сменил генерал А. А. Брусилов.

Фредерикс Владимир Борисович (1838—1927) — генерал, никаких побед не одержавший, с 1897 по 1917 год — министр императорского двора и уделов, пользовался особым доверием Николая II.

Эверт Алексей Ермолаевич (1857—1918) — генерал, в 1914 году отличился в Галицийской битве, командуя 4-й армией. С августа 1915 года командовал Западным фронтом, в ту пору сильнейшим, но оказался явно не способным для такой крупной должности.

К с. 20. *Алексеев Михаил Васильевич* (1857—1918) — генерал, профессор военной истории в военной академии, штабной офицер во время русско-японской войны, один из самых одаренных и образованных военачальников начала XX века. С начала мировой войны — начальник штаба Юго-Западного фронта, с марта 1915-го — главнокомандующий этого фронта. С августа 1915 года стал начальником штаба при верховном главнокомандующем Николае II, по сути, руководил действиями русской армии до весны 1917 года. Не обладая сильной волей, порой не

мог довести верных планов до осуществления. В Ставке был вовлечен в масонскую ложу.

...две русские власти того времени — царя и Распутина. — Сильное преувеличение реального влияния Распутина, распространяемое обывательскими сплетнями той поры, а в позднейшие годы прочно осевшее в беллетристике.

К с. 23. *Крымов Александр Михайлович* (1871—1917) — генерал, командующий соединениями во время мировой войны, в дальнейшем участник неудавшегося корниловского мятежа, застрелился.

К с. 24. *Щербачев Дмитрий Григорьевич* (1857—1932) — генерал, во время мировой войны командовал армиями, с марта 1918 года — помощник главнокомандующего Румынского фронта.

Клембовский Владислав Наполеонович (1860—1921) — генерал, окончил Академию Генерального штаба в 1885 году, во время мировой войны находился на высших штабных и командных должностях, с мая 1917 года командовал Северным фронтом. С 1918 года добровольно перешел на службу в Генштаб Красной армии, позже был расстрелян по обвинению в измене.

К с. 26. *Сухомлинов Владимир Александрович* (1848—1926) — генерал, окончил Академию Генерального штаба, военный министр с 1909 года. Отличался военными познаниями и способностями, но был склонен к авантюризму и не разборчив в связях. В июне 1915-го был снят с должности, а в марте 1916 года арестован по обвинению в измене. Большинство современных историков признает эти обвинения необоснованными, хотя личность Сухомлинова является, безусловно, темной.

К с. 27. *...подлинные русские патриоты.* — Перифраз из «Мои воспоминаний» А. А. Брусилова (М., 1963, с. 53), однако необходимо отметить, что сам мемуарист проявил тут неточность оценок, а романист усугубил их.

К с. 57. *Каледин Алексей Максимович* (1861—1918) — генерал, с начала мировой войны командовал корпусом, с мая 1916 года — 8-й армией. В июне 1917 года избран атаманом войска Донского, стал одним из руководителей казачьей контрреволюции, потерпев поражение, застрелился.

К с. 64. *...генерал-лейтенант Константин Лукич Гильчевский...* — персонаж, вымышленный автором.

К с. 79. *...«Если бога нет, то какой же я капитан?»* — Речь идет о сцене из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», глава «У наших».

К с. 101. *...атаку немецких позиций на Ипре...* — 7 июня — 6 ноября 1917 года англо-французские войска пытались прорвать германский фронт во Фландрии, но потерпели неудачу, понеся при этом огромные потери. 12 июня немцы впервые в истории

войн применили горчичный газ, получивший по месту его использования название «иприт».

Генерал Макензен — германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1849—1945), один из самых способных генералов мировой войны, отличился во время Горлицкого прорыва русского фронта немецкими войсками в 1915 году, с июля 1916 года действовал против Румынии, одержав ряд успехов.

Конрад фон Гетцельдорф — начальник штаба австро-венгерской армии во время мировой войны, фактический главнокомандующий при эрцгерцоге Фридрихе.

Фалькенгайн (правильно *Фалькенхайн*, *Эрих фон*, 1861—1922) — немецкий генерал, в 1913—1914 годах военный министр, в сентябре 1914 года назначен военачальником Генерального штаба. После неудач на всех фронтах в августе 1916 года был смещен с поста, в дальнейшем командовал армиями.

К с. 119. ...*«Фронт противника... на Луцком направлении прован»*. — Ввиду того, что под городом Луцком (ранее его иногда именовали Слуцком) произошли наиболее ожесточенные бои, Брусиловский прорыв в тогдашней печати порой именовали «Луцким прорывом».

К с. 136. ...*старый боевой генерал Драгомиров...* — Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — видный военный деятель и теоретик, оказавший большое влияние на развитие отечественной и мировой науки о войне; горячий патриот, продолжатель суворовских традиций, он отстаивал значение личности солдата, как главной ценности военного дела.

К с. 152. ...*ближайшие родственники Ренненкампа оказались германскими подданными...* — Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918) — генерал, командовал соединениями в русско-японской и мировой войне. Не проявил воинских талантов, но упреки по его адресу Сергеева-Ценского в предательстве, почерпнутые из бульварной печати 1914—1917 годов, не имеют серьезных оснований.

К с. 158. ...*от Николая Николаевича из Тифлиса Брусилов все-таки получил телеграмму...* — Николай Николаевич (1856—1929) — двоюродный дядя Николая II, профессиональный военный, генерал, с начала мировой войны до 25 августа 1915 года был главнокомандующим русской армии, уволен от должности Николаем II, опасавшимся роста его влияния, назначен наместником Кавказа с резиденцией в Тифлисе. Николай Николаевич был популярен среди русского офицерства.

К с. 189. ...*лучшие генералы германской армии — Гинденбург и его начальник штаба Людендорф...* — Гинденбург, Пауль фон (1847—1934) — генерал-фельдмаршал, в 1914 году командовал 8-й германской армией в Восточной Пруссии, с ноября того же года — германским Восточным фронтом, с августа 1916 года — начальник штаба, фактический главнокомандующий вооруженных сил Германии; отличался твердостью и решитель-

ностью, по стратегическим талантам не обладал. Людендорф Эрих (1856—1937) — генерал, ближайший сподвижник Гинденбурга, в 1914 году — начальник штаба 8-й германской армии, затем начальник штаба германского Восточного фронта, в 1916—1918 годах — генерал-квартирмейстер верховного главнокомандования Германии, военный теоретик, один из основоположников теории «молниеносной войны».

К с. 211. ...«маньчжульца»... — в разговорном языке начала века это слово означало участника русско-японской войны 1904—1905 годов; генералы П. И. Мищенко, Л. В. Леш, А. Е. Эверт и А. С. Куропаткин воевали в Маньчжурии на высших командных должностях, однако успехов не добился никто из них.

К с. 215. ...великий князь Сергей Михайлович... (1869—1918) — опытный и образованный артиллерист, во время мировой войны был главным инспектором артиллерии.

К с. 236. ...видеть нужно было своими глазами... — здесь начинается вольный пересказ воспоминаний А. А. Брусилова о посещениях им с женой Германии летом 1914 года; надо особо подчеркнуть, что германофобские высказывания в этом отрывке («эти Амалии и Берты» и т. п.) викакого отношения к подлинным брусиловским взглядам не имеют (см. «Мои воспоминания». Указ. изд., с. 57 и далее), Брусилов относился с глубоким уважением к немецкому народу, что неоднократно выражено в тех же воспоминаниях.

К с. 297. ...Союза Земств и Городов... — имеется в виду «Главный по снабжению армии комитет Всероссийского земского и городского союзов», в просторечии — Земгор. Создан в июле 1915 года с целью помощи в снабжении русской армии. Практическая деятельность была невелика (получив заказы на 242 миллиона рублей, он выполнил их лишь на 80). Стал центром объединения буржуазных сил, рвущихся к власти, во главе стоял масон Г. Е. Львов.

А. Н. ТОЛСТОЙ. Полн. собр. соч. Т. III. «НА ВОЙНЕ». М., с. 12—15, 19—21.

А. Н. Толстой в 1914—1915 годах, будучи военным корреспондентом, несколько раз посетил различные участки фронта.

К с. 371. *Нестеров П. Н.*, русский военный летчик, штабс-капитан, основоположник высшего пилотажа. Погиб в воздушном бою, впервые применив воздушный таран и сбив австрийский самолет.

В. В. ВИШНЕВСКИЙ. Собр. соч. Т. II. «ВОЙНА». М., 1954, с. 216, 222, 231—235.

Русский советский писатель В. В. Вишневский мальчишкой, в четырнадцатилетнем возрасте, бежал на фронт. Воспроизводимые отрывки из его воспоминаний относятся к 1914—1915 годам.

ДЖОН РИД. ВДОЛЬ ФРОНТА. М.-Л., 1928, с. 135—137, 141—144, 153—157, 162—164.

Американский журналист летом 1915 года, без разрешения

соответствующих властей, совершил длительную поездку вдоль русского фронта.

К с. 386. *Граф А. А. Бобринский* — генерал-губернатор Галиции, вел крайне неумелую, нерасчетливую политику, вызвавшую недовольство местного населения, главным образом поляков, которые в начале войны отпосились к русским войскам в целом доброжелательно.

К с. 387. *Лемберг* — немецкое название Львова.

МИХ. ЛЕМКЕ. 250 ДНЕЙ В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ. Петроград, 1920, с. 7—9, 30—33, 140—143, 179—181.

Военный корреспондент М. Лемке в течение длительного времени имел возможность наблюдать за деятельностью русской Ставки. Приводимые им в дневнике сведения по большей части носят весьма достоверный характер.

К с. 393. *Н. Н. Янушкевич* — русский генерал, до войны — начальник Генерального штаба, с начала ее — начальник штаба Верховного главнокомандующего.

БАДАЕВ А. Е. БОЛЬШЕВИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. М., 1932, с. 326—341.

Депутат 4-й Государственной думы от рабочих Петербурга, большевик А. Е. Бадаев в своих воспоминаниях рассказывает о борьбе большевиков против войны и об аресте в ноябре 1914 года думской фракции большевиков.

К с. 404. Фракция большевиков в IV Государственной думе состояла всего из пяти человек: А. Е. Бадаева, М. К. Мурапова, Г. И. Петровского, Ф. И. Самойлова, Н. Р. Шагова.

К с. 407. *М. В. Родзянко* — один из лидеров партии октябристов, председатель IV Государственной думы.

Н. С. Чхеидзе — один из лидеров меньшевиков в IV Государственной думе.

К с. 414. *Сноски на письма В. И. Ленина А. Г. Шляпникову:*

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 35.

² Ленин В. И. Там же, с. 36—37.

А. А. САМОЙЛО. ДВЕ ЖИЗНИ. М., 1958, с. 141—159, 161—169.

Генерал-майор дореволюционной армии, а в Красной Армии — генерал-лейтенант, А. А. Самойло в воспоминаниях сообщает много интересных и достоверных сведений о своей службе в годы первой мировой войны.

К с. 416. *А. А. Свечин* — генерал-майор русской армии, в Советской России — видный военный историк.

К с. 418. Дело по обвинению жапдармского полковника Мясоедова в шпионаже в советской литературе оценивается по-

разному. Подробнее смотри об этом в воспоминаниях М. Д. Бонч-Бруевича, публикуемых в настоящей книге.

К с. 426. *П. П. Лебедев* — генерал-майор дореволюционной армии, в годы гражданской войны — начальник Полевого штаба РВСР Красной Армии.

К с. 439. *Б. М. Шапошников* — полковник дореволюционной армии, впоследствии начальник Генерального штаба Красной Армии, Маршал Советского Союза.

М. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ. ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ. М., 1964, с. 19—28, 33—39, 44—50, 55—67, 90—101.

Генерал-лейтенант дореволюционной русской армии (в Советской Армии — тоже генерал-лейтенант) М. Д. Бонч-Бруевич был одним из первых старых генералов, перешедших на сторону Советской власти. Воспоминания его отличаются точностью и полнотой приводимых фактов.

К с. 432. *Н. Н. Духонин* — генерал-лейтенант, в ноябре 1917 года — верховный главнокомандующий, убит революционными солдатами.

Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ. СОЛДАТЫ РОССИИ. Киев, 1986, с. 138—150.

Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский начал военную службу мальчишкой-добровольцем в годы первой мировой войны. Воспоминания написаны от имени мальчика Вани. События относятся к началу 1915 года.

А. А. БРУСИЛОВ. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. М.-Л., 1929, с. 160—168, 230—238.

А. А. Брусилов — генерал от кавалерии, выдающийся русский полководец, организатор знаменитого прорыва Юго-Западного фронта в 1916 году.

Д. ОСЬКИН. ЗАПИСКИ СОЛДАТА. М., 1929, с. 74—78, 93—97.

Сельский учитель, участник войны Д. Оськин рассказывает о боевых действиях на Юго-Западном фронте в конце 1914—1915 годах.

АЛЕКСЕЙ КСЮНИН. НАРОД НА ВОЙНЕ. Петроград, 1916, изд. 2-е, с. 175—181, 207—210.

Военный корреспондент на нескольких фронтах Алексей Ксюнин в приведенных отрывках описывает взятие русскими войсками мощной крепости врага Перемышль в марте 1915 года.

К с. 486. *Перемышль* — австро-венгерская крепость на территории Польши. Во время первой мировой войны 9 (22) марта 1915 года, после четырехмесячной осады, 120-тысячный гарнизон ее капитулировал. Крепость оставлена русскими войсками 21.05 (3.06) 1915 года.

К с. 492. Львов был оставлен русскими войсками 9 (22) июня 1915 года.

Я. ОКУНЕВ. ВОИНСКАЯ СТРАДА. Петроград, 1915, с. 62—68, 78—86.

Участник первой мировой войны рассказывает о боевых впечатлениях в 1915 году.

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ. ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ. Изд. 2-е. Л., 1933, с. 54—65, 329—332, 334—335, 477—480, 540—550.

Русский советский писатель, участник войны повествует о пережитом. Время событий — 1915 год, отступление русской армии.

ГЕРОИ И ТРОФЕИ ВЕЛИКОЙ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ. Петроград, 1916. Выпуск 1, с. 6—16.

В годы войны выпускались специальные материалы об особо отличившихся солдатах и офицерах. Один из таких выпусков предлагается вниманию читателей.

К с. 533. *Георгиевский крест* — один из самых уважаемых орденов в дореволюционной России. Имел четыре степени. Награждение производилось в порядке постепенности, начиная с четвертой степени. Поскольку награждение солдатскими георгиевскими наградами производилось только за боевые отличия, георгиевские кавалеры заслуженно пользовались всеобщим уважением как храбрые и достойные люди.

ВЛ. ПАДУЧЕВ. ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА. М., 1931, с. 94—101.

Советский литератор, рядовой участник войны, повествует о пережитом на фронте.

В. АРАМИЛЕВ. В ДЫМУ ВОЙНЫ. М., 1930, с. 94—98, 104—105, 121—125.

В воспоминаниях В. Араμίлева даются яркие зарисовки быта солдат и моментов сражений.

АЛИ АГА ШИХЛИНСКИЙ. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Баку, 1944, с. 157—165.

Автор воспоминаний, генерал-лейтенант русской армии, рассказывает о боях на Западном фронте летом 1916 года.

К с. 543. Имеется в виду главнокомандующий Западного фронта генерал от инфантерии А. Е. Эверт.

К с. 547. Срыв наступления войск Западного фронта тяжело отразился на боевых действиях Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова. Германское командование смогло перебросить против Юго-Западного фронта крупные подкрепления.

М. Н. ГЕРАСИМОВ. ПРОБУЖДЕНИЕ. М., 1965, с. 51—54, 114—118, 137—153.

Генерал-лейтенант Советской Армии делится с читателями воспоминаниями о днях далекой юности. События происходят в 1915 году.

ДОКУМЕНТЫ о положении рабочего класса и рабочем движении в 1915—1916 годах печатаются по изданию:

А. В. БЕРКЕВИЧ. Петроградский пролетариат и большевистская организация в годы империалистической войны. Л., 1939, с. 123—125, 156—158, 175—176, 183—188.

Г. С. РОДИН. ПО СЛЕДАМ МИНУВШЕГО. Тула, 1968, с. 74—76.

Генерал-лейтенант Советской Армии повествует о братании солдат на фронте с немцами в июне 1917 года.

К с. 575. *Братание* — форма протеста солдат воюющих держав против империалистической войны. На русско-германском фронте случаи братания имели место уже в октябре 1915 года. После февральской революции братание приобретает широкое распространение.

Г. Н. ЧЕМОДАНОВ. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРОЙ АРМИИ. М.-Л., 1926, с. 3—7, 48—49, 51—52, 56—59, 80—84, 129—130, 133—136.

Офицер дореволюционной армии, участник войны рассказывает о разложении армии с конца 1916 по начало 1918 года.

К с. 586. Приказ № 1 Петроградского Совета был отдан по Петроградскому гарнизону 1 (14) марта 1917 года. Будучи распространен на фронте, приказ способствовал демократизации армии и сыграл немалую роль в ее революционизировании.

К с. 594. Декрет Совета Народных Комиссаров о демократизации армии был опубликован 26 (29) декабря 1917 года.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Справочный том, ч. 1.

ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ:

- Гинденбург П. Воспоминания, пер. с нем. Пг., 1922.
 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны, пер. с франц. М.-Пг., 1923.
 Пурталес Г. Между миром и войной. Мои последние переговоры в Петербурге в 1914 г., пер. с нем. Пг., 1923.
 Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары, пер. с нем. М.-Пг., 1923.
 Шейдеман Ф. Крушение германской империи, пер. с нем. М.-Пг., 1923.
 Лютендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., пер. с нем., т. 1—2. М., 1923—1924.
 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата, пер. с англ. М., 1924.
 Извольский А. П. Воспоминания, пер. с англ. Пг.-М., 1924.
 Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907—1916 гг., т. 1, М., 1924.
 Переписка Николая и Александры Романовых, т. 1—5. Берлин — М.-Л., 1922—1927.
 Сухомлинов В. А. Воспоминания. М.-Л., 1926.
 Дневник Николая Романова (16 декабря 1916-го — 30 июня 1918-го). «Красный архив», 1927, т. 1—3. 1928, т. 2.
 Брусиллов А. А. Мои воспоминания. М., 1929.
 Гофман М. Записки и дневники 1914—1918-го, пер. с нем. Л., 1929.
 Черчилль В. Мировой кризис, пер. с англ. М.-Л., 1932.
 Ллойд Джордж Д. Военные мемуары, т. 1—6, пер. с англ. М., 1934—1938.
 Пуанкаре Р. На службе Франции. Воспоминания, пер. с франц. М., 1936.
 Фош Ф. Воспоминания (война 1914—1918 гг.), пер. с франц. М., 1939.
 Шеер Р. Германский флот в мировой войне, пер. с нем. М.-Л., 1940.
 Тирпиц А. Воспоминания, пер. с нем. М., 1957.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Т. 1—7. М., 1920—1923.

Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне в международном отношении. М., 1926.

Гарле Е. В. Европа в эпоху империализма 1871—1919. М.-Л., 1927.

Зайончковский А. М. Мировая война 1914—1918 гг., т. 1—3, 3-е изд. М., 1938—1939.

Шигалин Г. И. Военная экономика в первую мировую войну (1914—1918 гг.). М., 1956.

Готлиб В. В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны, пер. с англ. М., 1960.

Лосев Ю. Г. Международное рабочее движение в годы первой мировой войны. Крах II Интернационала. М., 1963.

Вержховский Д. В., Ляхов В. Ф. Первая мировая война 1914—1918 гг. М., 1964.

Полетика Н. П. Возникновение первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.). М., 1964.

Флот в первой мировой войне. Т. 1—2. М., 1964.

Строков А. А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. М., 1974.

Ростунов И. И. Первая мировая война. М., 1977.

Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917—1920. М., 1988.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Толстой Алексей. Хожение по мукам, трилогия. Роман «Сестры», любое издание.

Шолохов Михаил. Тихий Дон. Книга первая, вторая.

Сергеев-Ценский С. Н. Преображение России, эпопея. Романы: «Брусилловский прорыв», «Пушки выдвигают», «Пушки заговорили».

Ричард Олдингтон. Смерть героя, пер. с англ.

Эрих Мария Ремарк. На западном фронте без перемен, пер. с нем.

Эрнест Миллер Хемингуэй. Прощай, оружие! Пер. с англ.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> . С. Н. Семапов	5
С. Сергеев-Ценский. Брусловский прорыв. <i>Роман</i> .	17
Воспоминания, репортажи, очерки, документы	365
<i>Комментарии</i>	598
<i>Рекомендуемая литература</i>	606

ИБ № 6010

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

*

Заведующий редакцией
А. Житнухин

Редактор
С. Елисеев

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Н. Носова

Корректоры
**Н. Самойлова, И. Ларина,
Н. Хасаия, Е. Дмитриева,
Т. Песнова**

OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

Сдано в набор 20.09.88. Подписано
в печать 23.01.89. Формат
64X108^{1/32}. Бумага типографская
№ 1. Гарнитура «Обыкновенная
новая». Печать высокая. Услови.
печ. л. 31,92. Условн. кр.-отт. 32,44.
Учетно-изд. л. 39,3. Тираж 200 000
экз. (100 001 — 200 000 экз.). Цена
3 р. 20 к. Заказ 2201.

*

Типография ордена Трудового
Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Б-30,
Суцеская, 21.

ISBN 5-235-00324-1 (2-й з-д.)

